Грамадскае аб’яднанне
«Саюз беларускіх пісьменнікаў»

Васіль Быкаў

Поўны збор твораў
у чатырнаццаці тамах

Васіль Быкаў

Поўны збор твораў

Том 9

Кінасцэнарыі

Мінск
«Кнігазбор»
2012

УДК 821.161.3-2
ББК 84(4Беи)-6
Б95

Укладанне і каментары Сяргея Шапрана

Асаблівая ўдзячнасць за дапамогу падчас падрыхтоўкі гэтага тома дырэктару Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Ганне Запартыцы, кінарэжысёрам Леаніду Мартынюку і Валерыю Панамарову, дырэктару Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Таццяне Гараевай, генеральнаму дырэктару кінастудыі імя М. Горкага Станіславу Яршову, пісьменніку, старшыні Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Расіі» Валерыю Казакову, перакладчыку Васілю Сёмуху, а таксама сынам Васіля Быкава — Сяргею і Васілю Быкавым.

ISBN 978-985-7007-44-8

ТРЕТЬЯ РАКЕТА
Киносценарий

Я лежу в окопе на разостланной шинели и дремотно гляжу вверх. С бруствера надо мной свисает травинка, на которой, суетясь, не могут разойтись два муравья. Дальше высокое солнечное небо, спокойные кучевые облака, и там, далеко-далеко, привольно парят аисты.

Вокруг все спят. Кто-то даже похрапывает в углу.

Мы — сорокапятчики. Еще нас называют расчетом ПТО — противотанкового орудия, еще пушкарями или пренебрежительно — «прощай, Родина». Последнее часто нас злит. Не так уж и «прощай!». Ведь воюют же многие — например, наш командир Желтых — с самого сорок первого года, все с сорокапяткой, и ничего: жив. Правда, бывает разное. У немцев уже не те стали танки, что были три года назад, появились «тигры», «пантеры», «фердинанды», случается, что нам бывает несладко...

Объектив в это время медленно обходит окоп. Беспорядочно сгрудившиеся тела. Вот он задержался на первом. Небритое, усатое, пожилое лицо с выражением характера и хозяйской уверенности, не покидающим человека и во сне. На плечах — помятые, покрученные погоны старшего сержанта. На груди его два ордена и три медали «За отвагу». Все в нем покойно, уверенно, кроме рук разве — широких, грубых, мозолистых, пальцы которых порой шевелятся, подрагивают. Это Желтых.

Объектив идет дальше. Откинутая к стенке рука. Скуластое смуглое лицо спящего человека. Полураскрытый рот, чуть скошенные глаза. На погонах лычка. Покойная, хотя и стесненная окопом поза. Это наводчик якут Попов.

Следующий, подложив под голову скатку, не то спит, не то лежит в полудреме. Молодое, нервное, чернявое лицо его прикрыто пилоткой, на щеке ото рта рваный неровный шрам. Уха совсем нет, только маленькое отверстие возле челюсти. Зубы его то и дело поскрипывают, губы криво сжимаются, шевелятся. Это Кривенок.

Следующий спящий, прикрытый до подбородка шинелью, порою вздрагивает. Лицо бледное, удлиненное, с белесыми бровями. Глаза прищурены, веки мелко вздрагивают. Это Лукьянов.

Объектив опять поворачивается в небо на аистов.

Вдруг на бруствере — чвик! чвик! Несколько комочков земли падают в окоп. Это вырывает меня из задумчивости. Я вздрагиваю. Голова встревоженно поворачивается в сторону...

На нижней ступеньке в конце окопа — шестой наш солдат. Он в далеко не свежей нательной сорочке с распущенными на груди завязками вместо пуговиц, на коленях у него гимнастерка с недошитым подворотничком. Лицо красивое, крупное, самоуверенное и озорное. Стриженая под бокс голова плотно сидит на сильной загорелой шее. В руках он держит лопату и высовывает ее черенок над бруствером. Это Лешка Задорожный. Выше над ним видны станины, сошник, замаскированный снопами щит орудия.

«Чвик!» — и от черенка отскакивает толстая щепка.

— Не порть лопату! Тоже нашел занятие, — говорю я с досадой.

— Нет! Уж я его подразню! Ах ты, фриц вшивый! А ну еще! — говорит Лешка и снова приподнимает лопату. Но выстрела нет. Еще раз высовывает повыше. Немцы молчат. Еще...

И вдруг тишину сотрясает грохот крупнокалиберной пулеметной очереди. С бруствера брызжет в стороны земля, песок, разлетается колосье снопов на бруствере. Падает продырявленный котелок. Пыль заволакивает окоп.

Аисты, торопливо замахав крыльями, улетают прочь.

И все стихает.

— Что? Что такое? — вскакивает на дальнем конце окопа Желтых. В окопе зашевелились, встают, отряхиваются.

Босой, без ремня, злой и встревоженный, Желтых, пригнувшись, пробирается к Лешке.

— Тебе что? Тесно в окопе? — строго спрашивает он Задорожного и сердито глядит на него сверху вниз. Лешка, осыпанный землей, сидит немного напуганный и нагловато ухмыляется, показывая здоровые крепкие зубы.

— Да я-то при чем? Ганс вон едва иголку не вышиб!

— Иголку у него не вышиб! Ты что — сосунок? Малолеток? Разъяснить тебе, что к чему?

Несколько секунд еще Желтых зло оглядывает Задорожного, а затем начинает отрясать со своей стриженой головы и усов песок. Потом переводит взгляд на остальных. Глазки у него маленькие, брови сердито насуплены.

— Что разлегся? А ну подъем, такую вашу мать! Не на курорте! — толкает он меня босой ногой. Нехотя я поднимаюсь, встаю на колени. Рядом по-прежнему лежит Кривенок.

— И ты, Одноухий! Подъем!

— Не понукай! Не запрег! — ворчит, поднимаясь, Кривенок.

— Что не запряг? Подъем, говорю!

Кривенок неохотно подбирает с прохода ноги, жмется к стенке, ворчит:

— Порядки! Не успеешь вздремнуть — подъем!

Попов тем временем вытаскивает из ниши ящик со снарядами, ставит его на проходе и раскрывает. Ему помогает Лукьянов. Я тоже подхожу к ним. Нехотя, потягиваясь, к нам пробирается Кривенок. Лешка натягивает на себя тесноватую гимнастерку и с неприкрытой иронией подтрунивает:

— Давай, давай, не задерживай! Трудись, ребятки!

Желтых переводит на него строгий взгляд.

— А ну, марш чистить! Хватит наряжаться! Футболист!

Лешка пожимает плечами.

— Футболист!.. — передразнивает он и с гордостью уточняет: — Центр нападения!

— Ну, хватит болтать! Исполняй, что приказано.

Желтых слегка толкает Задорожного к нише. Тот, однако, заглянув в ящик, проскакивает мимо.

— Ну, стоит пачкаться? И без меня управятся, — бросает он и устраивается поодаль в другом конце окопа.

Мы перетираем снаряды. Попов уверенными, широкими движениями трет вдоль гильзы. Четыре взмаха — снаряд, четыре взмаха — снаряд. Медленней входит в рабочий ритм Кривенок. Лукьянов трет неумело, осторожно поворачивая на коленях снаряд, стиснув в двух пальцах маленькую тряпицу. Желтых опускается на дно окопа, по-турецки скрещивает босые ноги и свертывает толстую самокрутку. Неторопливо прикуривает от зажигалки и, прищурив глаз, сквозь дым оглядывает хлопцев. Брови его недовольно хмурятся.

— Слушай, Лукьянов... Ты до войны парикмахером был?

— Нет. Я до войны в архитектурном учился, — серьезно и тихо, будто не чувствуя издевки, отвечает Лукьянов.

— А-а... А я думал, парикмахером, — притворяясь, говорит Желтых и вдруг прикрикивает: — А ну три крепче! Не разорвется! Не бойсь!

Лукьянов внутренне вздрагивает, движения его тонких рук убыстряются, а снаряд выскальзывает из пальцев и падает головкой в песок. Лукьянов отшатывается к стенке.

— Архитектор! — бросает Желтых. Потянувшись, вытаскивает из-под шинелей полевую сумку и говорит:
— Иди сюда. Другую работу дам.
Лукьянов кладет снаряд, вытирает о брюки ладони и с заметным облегчением на лице подвигается к командиру. Желтых достает из сумки помятые листки.
— Вот карточку ПТО изобрази. Начальство требует: почему неаккуратно? Если бы не было кому, а то полный расчет грамотеев: архитектор, футболист да вон учитель, — кивает он головой на меня.
Лукьянов поудобнее устраивается, прислонившись спиной к стенке, раскладывает на коленях бумаги и начинает перечерчивать карточку ПТО. Движения его тонких пальцев обретают уверенность, даже вдохновенность. Лицо светлеет, только в глазах да в уголках тонких губ тихая скорбь.
— Во, тут, вижу, ты мастер! И танк, гляди, как живой! Вылитый «Тигр»... Хорошо, — довольно говорит Желтых, дымя самокруткой и неотрывно следя за кончиком его карандаша. На бумаге возникают линии, цифры, ориентиры.
Нагнувшись от снарядов, я заглядываю в карточку.
Наконец все. Лукьянов осматривает чертеж, вздыхает и говорит, будто с сожалением:
— Вот заделаю подпись и все.
Красиво и бойко он выводит внизу: «Командир орудия ст. с-нт» — и покрупнее в сторонке: «(Желтых)».
— Тут вам расписаться, — он передает карточку командиру.
Желтых осматривает чертежи, сопя начинает выводить каракули своей подписи. Карандаш при этом ломается, оставляя на бумаге только «Жел...».
— Фу, черт!.. — ругается командир.

* * *

Темнеет.
Небо еще светлое, но по земле, в окопе уже расстилается полумрак.
У Лукьянова опять угасает, становится апатичным лицо. Равнодушным глазом он обводит окоп, бруствер, заглядывает в небо. Потом на верхнем ящике в нише замечает остатки чьей-то оставленной с утра хлебной пайки и глотает слюну. Поглядывает на командира, переводит взгляд на хлопцев и опять — в нишу. Присмиревшим голосом спрашивает:
— Ребята, хлеба никто не хочет?

Хлопцы сдержанно глянули в нишу, но никто ему не ответил.

— Так я... съем, — тихо говорит он.

С места он тянется рукой к нише. Худыми подрагивающими пальцами берет усохший кусок и начинает медленно мучительно есть. Тугие желваки под бедной кожей щек искажают его истощенное лицо. Взгляд отчужденно потуплен. Я срываю нависшие с бруствера несколько колосьев и растираю их в ладони. Потом жую зерна.

В окопе встает Желтых. Он уже обут в ботинки с низко навернутыми обмотками, подпоясывается широким немецким офицерским ремнем и сипловато командует:

— А ну приготовиться за ужином!

Хлопцы заметно оживляются. Попов, звякая гильзами, водворяет ящики в нишу. Кривенок, отодвинувшись в сторону, начинает закуривать из двугорлой солдатской масленки. Я, став на колени, отряхиваю гимнастерку.

— Пойдет сегодня Лукьянов и...

Желтых обводит взглядом подчиненных.

— И я, командир! — тут же вскакивает в конце окопа Задорожный.

— Откуда такая прыть? — спрашивает Желтых, оглядывая ладную фигуру Лешки. Лешка горделиво выпячивает грудь с сияющим гвардейским значком, сдвигает под ремнем складки коротенькой гимнастерки. Ворот его расстегнут на три верхние пуговицы и белеет свежим подворотничком. Голенища сапог подвернуты. Лешка хитро улыбается и подмаргивает одним глазом.

— Дело есть, командир.

— А-а, — догадывается Желтых. — Люся! Ну что ж! Только чтоб живо! И не очень там... С Люськой! Знаю тебя...

У Кривенка почему-то надвое разламывается самокрутка.

Встревоженно глянув на командира, он в сердцах швыряет остатки под ноги. Я, однако, не замечаю этого — ошеломленный, я гляжу на Лешку.

Задорожный, будто ничего не замечая, надевает на плечо автомат. Лукьянов собирает котелки, за спиной у него карабин. Лешка подходит к концу окопа, очень осторожно выглядывает, сутулится, поднимается на ступеньку и оглядывается.

— Ауфидэрзэй! Пропаду на кухне — считать членом асоавиахима.

Он исчезает за бруствером. Следом из окопа вылезает Лукьянов.

* * *

Ночь. Тускло светит низкая еще луна.

Я лежу на бруствере и озабоченно грызу соломину. Вокруг в полумраке поле, сбоку и сзади снопы, составленные в бабки. Вдали в небе взлетают и одна за одной гаснут пунктиры трассирующей очереди.

Возле орудия шевелятся две фигуры — командира и наводчика. Они поправляют маскировку, тихо переговариваются.

Вдоль бруствера ко мне подходит Кривенок. Молча он садится рядом.

— Вот же сволота: каждый день бегает, — помолчав, вдруг говорит Кривенок.

Вынув изо рта соломинку, я настораживаюсь.

— Кто?

— Лешка, кто же, — раздраженно бросает Кривенок.

Я не знаю, что ответить. Приподняв голову, снизу вверх гляжу на Кривенка.

— Слушай, Кривенок! Ты откуда родом?

— А ниоткуда.

— Как это?

— А так. В детдомах вырос. А где родился, не знаю.

— Это плохо — без дома.

— А на черта мне дом! — мрачно говорит Кривенок. — Кто теперь дома живет? Все расползлись по свету.

Стараясь что-то понять, я снова вглядываюсь в него.

— Что это ты такой нервный?

— Ты бы не был нервным! Расписали б тебе морду так — небось занервничал бы.

— Ну это ты напрасно! Кого стесняться? Девок же у нас нет.

Кривенок молчит, потом нехотя отвечает:

— Плевать мне на девок. Не в девках дело. — Однако он заметно нервничает, швыряет в темноту ком земли, вытягивается на бруствере и снова садится. — Да и тут не без девок. Люська эта ходит... Как к малому ко мне стала. Или к больному. Раньше такой не была...

Меня вдруг пронзает догадка, от которой холодеет сердце: неужели и он?!

Затаив дыхание, я жду, что Кривенок скажет еще, но он молчит. На огневой слышится тихий говор. Звякает затвор. Объектив приближается к орудию. Здесь Попов и Желтых. Желтых, вглядываясь в сторону противника, говорит:

— Что-то совсем умолкли... С чего бы это?..

— Так! — говорит Попов. — Два день умолкли. Почему умолкли?

Они стоят, слушают. Молчат.

* * *

Я все лежу на бруствере. Кривенок тихо сидит рядом. Вдруг из темноты слышится голос и вскоре доносится девичий смех. Кривенок вскидывает голову. Я вскакиваю и сажусь.

Это идет Люся! Мы бы ее услышали за километр. Мы знаем ее шаги, ее голос — это она! Она идет! Буря смятенных чувств в моей душе поднимается ей навстречу, я хочу вскочить, кинуться туда.

В это время из темноты гремит голос Лешки:

— Полундра! Ложки к бою, гвардейцы.

К огневой подходят три силуэта.

Тяжело, по-матросски ступая, выходит из огневой Желтых, за ним Попов. Из темноты вскоре появляются Задорожный, Лукьянов и Люся.

— Добрый вечер, хлопчики, — говорит Люся.

— Добрый вечер, — отвечает Желтых.

Кривенок сидит мрачный.

Я, удивленный и обрадованный, с полураскрытым ртом смотрю на Люсю.

— Вот ужин, — говорит Лешка и ставит на расстеленную палатку котелок, кладет буханку хлеба. Лукьянов ставит котелок с чаем.

— А вот ясноглазка Люсек, — продолжает Задорожный. — сама захотела отведать, проведать и так далее и тому подобное.

— Молодец, Люська, — довольно говорит Желтых. — Не забываешь старых друзей...

Он становится на колени у края палатки, с деловитой неторопливостью достает из кармана большой нож на цепочке, раскрывает его и с каким-то уважением к хлебу берет буханку.

— Ну как же я могу забыть вас! — говорит Люся, опускаясь рядом с командиром. — Вот вам мазь принесла.

Она раскрывает сумку, подбородком прижимает к груди крышку и находит в ее недрах нужную баночку.

— Ага, вот спасибо, — польщенный ее вниманием, говорит Желтых и осторожно берет лекарство. — Теперь мою экзему как ветром сдует.

— Только мажьте регулярно — каждый день на ночь. Мазь хорошая. У нас не было, так в медсанбате еле выпросила. И

еще, — говорит она, застегивая сумку, — в четверг комиссия. Так что комиссуют, может. Или на худой конец отпуск получите.

Лешка с деланным удивлением вскакивает на колени.

— Да? Вот здорово, командир! На Кубань, к Дарье Амельяновне на пироги и пышки!.. Возьми меня в адъютанты, а, командир?..

— Ну, ты! — грубовато говорит Желтых Задорожному. — Рано еще ржать. Думаешь, комиссуют? Пошлют в медсанбат да мазь припишут.

Желтых, позванивая медалями, старательно разрезает буханку на шесть равных частей.

— О, тоже неплохо! Медсанбат. Сестрички-лисички. Авось не хуже Амельяновны, — скороговоркой объявляет Лешка. Он примеряется и норовит ухватить из-под ножа пайку побольше. Желтых бьет по руке.

— А ну, погоди, порядка не знаешь? «Динамо»!

* * *

Возле Люси, переминаясь с ноги на ногу, стоит Попов.

— Товарищ Люся, тебя много, много проси хочу.

Люся поворачивается к нему.

— Ну что, Попов? Говори.

— Жена много, много числа письма не пиши. Надо документ штаб пиши. Печать ставь. Почему не пиши? Сельсовета проси.

— Запрос, значит, послать? — внимательно слушая его, догадывается Люся.

— Так, запрос послать.

— Хорошо, Попов. Я завтра в штаб схожу. Скажи мне твой адрес.

Попов опускается рядом на колени.

— Якутия. Район Оймякон.

— Хе! — с полным ртом говорит Лешка. В руке он все-таки держит пайку. — Испугался, что жена того... с шаманом закрутила, — и хохочет.

— Ну брось ты, Задорожный, — говорит Люся. — Все шутишь...

— Жена нету ходи шаман, — обижается Попов. — Шаман мало, мало Якутия, — говорит он, делая в слове «Якутия» ударение на «и».

— Не слушай ты его, Попов. Я сделаю, как надо.

— Ну, дочка, садись с нами, — приглашает Люсю Желтых. Люся, однако, встает.

— Нет, нет. Вы ешьте. Я уже.

Она застегивает на боку сумку, но вдруг останавливается.

Взгляд ее падает на Лукьянова, который смирно сидит напротив.

— А вы, Лукьянов, акрихин весь выпили?

— Раза на два еще осталось, — тихо отвечает Лукьянов.

— Это мало. Я вам еще дам. Только не выплевывать.

— Ха! Выплевывать! — хмыкает Лешка. — Из таких пальчиков! Я бы полмешка съел. Вот только никакая холера не берет. Хоть ты плачь, — говорит он, уплетая хлеб и уставясь взглядом на Люсю. — А поболеть так хочется!..

— Ну и шутник ты, Лешка. Насмешник, — легко говорит Люся.

* * *

На палатке уже все готово. Пять паек хлеба лежат в ряд, стоит круглый котелок с кашей, рядом плоский — с чаем.

Желтых прячет в карман нож и прикрикивает на хлопцев:

— Ну, чего ждете? Калача? А ну, налетай!

— Налетай, подешевело! — поясняет Лешка.

Попов и Лукьянов важно берут по пайке, Лукьянов внимательно оглядывает свою и не спеша откусывает. Лешка пододвигает поближе котелок и говорит Люсе:

— Люсек, айда ко мне. На пару, так сказать, и так далее.

— Нет, вы ешьте. Мне еще во второй батальон нужно.

— Успеется. Второй батальон — не волк. В лес не уйдет. Садись.

Люся обходит палатку, чтобы уйти, но Задорожный вскакивает, деликатно, но настойчиво берет Люсю за узенькие плечи и ведет к своему месту.

А мы с Кривенком, словно забытые, мрачно сидим на бруствере. Кривенок перетирает в песок комья земли. Я стараюсь ничем не выдать волнения, но мои руки сами нервно сжимаются на коленях.

Люся, однако, послушно садится рядом с Лешкой. Лешка подвигает ей хлеб, оборачивается.

— Эй ты, Кривенок! — грубо окликает он. — Не ешь — дай ложку!

— Пошел к черту! — тихо, но зло отвечает поникший Кривенок.

— У, жмот!.. Лозняк, есть ложка?

Опешив, я не сразу реагирую на его вопрос. Затем медленно вытаскиваю из кармана ложку, встаю и делаю шаг к Люсе.

Но Лешка подскакивает ко мне и вырывает ложку. Свою отдает Люсе.

— Ну, я только попробовать, — смеясь, говорит Люся. — Коль уже вы такие гостеприимные.

— Мы? Ого! Мы парни на все двести! Светлые головы, золотые руки.

— Руки! Скажи: языки, — поправляет его Желтых.

Командир зачерпывает из котелка полную ложку и бережно несет ко рту, подставив хлебную пайку. Деликатно, дождавшись, когда зачерпнут соседи, заносит свою в котелок Лукьянов. Спокойно, сосредоточенно ест Попов. Загребая побольше в ложку, с полным ртом усердно работает челюстями Лешка.

Час от часу все хуже. Едва сдерживая себя, я твержу: ну вот и дождался! Вот и пришла!.. Уходи скорее!.. Иди отсюда!.. Почему ты так поддаешься ему? Что за гнусная покорность? Эх ты!.. Но я все молчу. Разве я имею права на нее? Мы все для нее одинаковы, и я, страдая, понимаю это.

— А каша будто и ништо. Питательна, — рассудительно говорит Желтых. — Ну что там слышно, в тылах? — обращается он к Люсе. Почему это наступать застопорили — не слышала?

Люся пожимает плечами.

— Куда спешить? Успеется. Нанаступаешься, — говорит Лешка.

— Много ты понимаешь. Успеется! До Берлина еще вон сколько.

— А зачем до Берлина? Мы до границы.

— До границы? А остальное кому?

— А наше какое дело? Нам больше всех надо, что ли?

После паузы Желтых замечает:

— Мало, видать, в твоей «Динамо» политзанятий проводили. Скажи ему, Лукьянов, докуда воевать.

Задорожный выжидательно ухмыляется про себя, не забыв о котелке с кашей. Лукьянов, дожевав, тихо говорит:

— Конечно, вы правы. Придется освобождать и Европу. Иначе нельзя. Историческая необходимость, что делать?

— Ну что ж, — неожиданно смиряется Лешка. — Орденов и заработаем... Я согласен!

Пошевеливая усами, Желтых исподлобья поглядывает на него, Люся слушает, изредка черпает из котелка, потом оглядывается и замечает меня с Кривенком.

— Что же это: я ем, а хлопцы голодные.

— Не помрут, потерпят! — бросает Лешка.

— Ну как же! Идите кушать, ребята, — зовет Люся.

— Сиди, говорю! Они не голодные. Лозняк, ты голоден, что ль?

— Сыт! — кусая губы, зло говорю я.

— Ну вот видишь: он сыт!

— Ой, неправда. Притворяется, — говорит Люся, все оглядываясь.

Я молчу.

— Павлик, а ты чего занатурился сегодня? — ласково говорит она Кривенку.

— А ничего.

— Иди кушать.

— Ладно, отстань.

— Ну что это вы такие? Хлопчики? Тогда это оставьте им.

Люся берет с палатки хлеб, котелок с остатками каши и идет к нам.

— Ешьте, — просто говорит она, подавая мне котелок, хлеб и ложку. С минуту смотрю на еду, затем примирительно говорю Кривенку:

— Давай есть будем.

Тот не отвечает. Подержав в руках, я ставлю котелок на землю и вздыхаю. Люся отходит к палатке.

— Теперь чаек, — говорит Желтых. — Люсенька, держи.

Он протягивает Люсе крышку с чаем, но вздрагивает...

* * *

Где-то сверху, в ночном лунном небе, внезапно взвывает, мгновенно усиливаясь:

— Пи-у-у-у-у-у... Пи-у-у-у-у... Пи-у-у-у-у-у...

— Ложись! — натужно вскрикивает Желтых.

Пригнувшись, ребята вскакивают. Я переваливаюсь через бруствер и падаю вместе со всеми в черную тьму окопа. Кто-то наваливается на меня, больно ударив каблуком в спину. Земля под нами рвется, вздрагивает раз, второй, третий. По головам, согнутым спинам лопочут комья земли. Неожиданно все стихает.

— Собаки! — говорит в напряженной тишине Желтых. Толкаясь в темноте, он начинает вставать. — Засекли или наугад?

За командиром шевелятся остальные. Кажется, все целы.

— Ох и напугалась же я! — вдруг совсем рядом отзывается Люся. Я вздрагиваю — ее теплое, упругое, слегка дрожащее

тело прижалось к моей спине. С непонятной неловкостью я оборачиваюсь, обрушивая спиной землю в окопе, и даю девушке место.

Через минуту по одному все выходят из окопа. И тут в тишине раздается хохот. Это Лешка. Он сидит, как сидел у палатки с куском хлеба в руке, и хохочет.

— Ну и быстры на подъем, братья славяне! — с издевкой говорит он. — Трах-бах — и уже в траншее. Вояки!

Желтых какое-то время вслушивается, а затем поворачивается к Лешке.

— А ты того... не очень. Гляди, доиграешься.

— Подумаешь! Двум костлявым не бывать, одной не миновать.

Все еще вслушиваясь и поглядывая на пригорки, хлопцы подсаживаются к палатке. Мучительно хмуря брови, стою поодаль и почему-то удивленно гляжу на Люсю. Та приводит себя в порядок и говорит:

— Неужто ты не боишься, Леш?

— А зачем? И не думаю!

— Смелый! — вздыхает Люся. — А я все не привыкну.

А в стороне на прежнем месте сидит Кривенок. Сидит, уставившись в одну точку, и грызет, кусает во рту соломину.

Она завидует Лешке. Я тоже. Кривенку же никто не завидует. Я только удивляюсь его мрачному безрассудству, которое к тому же явно остается незамеченным. И тут понимаю: это опять она — Люся!

— Ну что ж, хлопчики, пойду, — говорит она в немножко настороженной тишине. — Спасибо за ужин. И тебе, Вася, за ложку, — обращается она ко мне.

Обходя огневую, она направляется в ночь. Провожаю ее пристальным взглядом. Потом подхожу к Кривенку. На земле опрокинутый котелок, хлеб. Я поднимаю кусок и сдуваю песок.

Потом сажусь и начинаю медленно жевать хлеб.

Ночь. Вовсю светит полная луна. На передней тишина. Лежат мрачные горбы немецких пригорков.

Желтых стоит у неприбранной, закиданной землей палатки и, поглядывая в сторону противника, осторожно затягивается из кулака. У его ног лениво и удовлетворенно качается по земле Задорожный. Рядом на снопах сидит Попов. Возле него я. Время от времени все поглядывают в сторону противника. Лукьянов остатками чая моет котелки поодаль. Кривенок попрежнему молча сидит на отшибе.

— Любота на войне, — докурив и шумно вздохнув, откидывается на спину Желтых. — Отдохновение. Теперь у нас,

на Кубани, ой как жарко! От зари до темна, бывало, в степи. Вкалываешь до седьмого пота. А тут лежи... Спи... Поел и на боковую. Правда, «Динама»?

— Точно! — подтверждает Лешка.

— Точно! — передразнивает его Желтых и вдруг почти вскрикивает: — Какое там, к черту, «точно»! Гадость это — война! В японскую у меня деда убили. В ту германскую — отца. В Монголии в тридцать девятом брата Степку покалечило. Пришел без руки, с одним глазом. Теперь это правда, тут уж ничего не скажешь. Тут надо. Но все же, мне думается: неужель и моим детям без отца расти?

Крутнувшись, со спины на живот переворачивается Лешка.

— Слушай! Вот ты говоришь: война! А ты вспомни, кто ты до войны был? Ну кто? Рядовой колхозник! Быкам хвосты закручивал. Цоб-Цобэ! Голыми ногами кизяки месил. Точно?

— Ну и что? — настораживается Желтых.

— А то! Был ты ничто. А теперь? Погляди-ка, кем тебя эта «гадость» сделала. Старший сержант — раз! Командир орудия — два! Кавалер орденов и медалей — три! Член партии — четыре! Мало?

Желтых встает, садится и после паузы тихо, но очень значительно говорит:

— Кавалер! Я бы все свои бляшки отдал, чтоб только детей сберечь. А то вот до нового года не кончим — старший мой, Дмитрий, пойдет. Восемнадцатый год парню. Не пожив, не познав! А то медали! Хорошо тебе: ни кола, ни двора, сам себе голова! А тут четверо дома и все подростки.

Все молчат. Командир вздыхает. Попов говорит:

— Этот война — последний. Больше нет война. Никогда не война. Конец война — долго, долго мир. Не надо очень плохо думай, командир.

— Тихо! — вдруг останавливает его Желтых и вслушивается. Мы тоже вслушиваемся. Из-за пригорков доносится невнятный далекий гул. Он еще очень тихий, но что-то в нем есть зловещее. Вскоре, однако, он затихает.

— Не о себе разговор, — продолжает прерванную мысль Желтых. — Сам я готов, черт с ним, на все. Но... Чтоб детям не пришлось хлебать все то же хлебово.

— Ничего, пусть повоюют, — непонятно, шутя или всерьез, говорит Задорожный. — Умнее будут. Война, как академия, — учит.

— Академия! — ворчит Желтых. — Сам вот сперва пройди эту академию, а потом говори.

* * *

Вдруг Желтых оборачивается, вслушивается и поспешно поднимается на ноги.

Вдали от пехотинской траншеи кто-то идет. Лунный свет высеребривает плечи и головы двоих. Они подходят все ближе и ближе... Оба в касках, передний в плащ-палатке, накинутой на плечи.

Ну что, артиллеристы? — слышится из темноты надтреснутый голос командира батальона. — Дружно спите?

— Никак нет, товарищ капитан, — спокойно говорит Желтых и не торопясь, одергивая на ходу гимнастерку, идет навстречу.

Остальные, выжидательно повернув головы, сидят на месте.

Комбат и его связной подходят к огневой позиции. Поспешная поступь капитана выдает его озабоченность. Со скрытой угрозой он спрашивает:

— Почему часового нет?

— Так мы все тут. Никто не спит, товарищ капитан, — оправдывается Желтых.

— Ага, все тут! А кто наблюдает за противником?

— Да вот все и наблюдаем.

— Все. Ну и что же вы наблюдали?

— Так, ничего. Гудело только...

— Гудело!..

Он идет дальше вдоль окопа к площадке огневой. За ним следует притихший Желтых. Сзади с автоматом поперек груди идет связной. У входа на площадку комбат останавливается, молча смотрит на окоп.

— Сколько вы тут стоите, на этой огневой?

Желтых сзади переступает с ноги на ногу и деловито уточняет:

— На этой огневой? На этой огневой, товарищ капитан, мы второй день, значит.

— И за два дня вы не могли вырыть укрытие для пушки?

Комбат насторожен, в его сдержанности чувствуется гнев.

— Могли, почему...

— Почему же не выкопали?

— Так приказа не было, товарищ капитан. Думали, вперед двинемся. Наступать надо. А тут чего-то вдруг остановились. К чему?

— Вы кто, командир орудия или командующий фронтом? — язвительно спрашивает капитан, повернувшись к Желтых.

— Командир орудия. Куда там мне — фронтом!..

— Так вот и соображайте, как командир орудия, — со сдержанной злостью бросает комбат. — А вы дурака валяете. Спать больно горазд.

Он умолкает, с полминуты топчется на месте. Хлопцы настороженно молчат сзади. Потом комбат объявляет:

— Вот завтра пехоту поддерживать будете. Ясно?

— Как поддерживать?

— Как? Хотя бы огнем.

— Отсюда? — удивленно спрашивает Желтых.

— Отсюда. Откуда же еще?

— Ну, отсюда нельзя, товарищ капитан. Тут нас как пить дать накроют.

— Возможно, — с деланным равнодушием соглашается капитан. Если вы окапываться как следует не хотите, могут и накрыть.

Поспешно один за одним встают с земли хлопцы. Темными силуэтами подходят поближе и маячат за командиром. Желтых хмурится.

— Нет, так нельзя. Все накроется по-дурному. — И вдруг он сердито оживляется. — А что, с закрытой позиции нельзя? Вон гаубишники, дармоеды. За неделю ни разу не выстрелили. Вот им и поддержать.

Комбат, однако, нетерпеливо повернувшись, в упор спрашивает Желтых:

— Вы поняли задачу?

Но Желтых тоже начинает нервничать, глазки его начинают моргать, брови смыкаются.

— Что задача? Как ее выполнишь? Под самым носом стоим. Тут же вон — попробуй высунься. Враз башку продырявит. Надо приготовиться.

— Готовьтесь.

— Ага, готовьтесь! Легко сказать. Надо огневую сменить. Окопаться. Это не шутка. За ночь не сделаешь...

— Вот что, — обрывает его капитан. — Мы не на базаре — торговаться, старший сержант. Приготовиться, окопаться, укрыть орудие. И утром доложить. Ясно?

Комбат поворачивается и направляется куда-то во мрак. Желтых молча стоит на месте и бессмысленно смотрит вслед. Мы, ошеломленные, молча стоим рядом. Первый не выдерживает Задорожный. С запоздавшей злостью он плюет в траву.

— Ну вот, дождались! За-да-ча! Хорошо ставить задачи, в блиндажиках сидя. А тут попробуй — стрельни. Он тебе задаст, что за день трупы не поокопаешь.

— А ну замолчи, трепло! — зло обрывает его командир.
— Главная опасность, конечно, минометы, — после паузы тихо говорит Лукьянов. — По моим предположениям, где-то на водоразделе их корректировочный пункт.
Желтых какое-то время молчит, вслушиваясь в темноту, напряженно стараясь что-то сообразить, не обращая внимания на хлопцев. Потом, выругавшись про себя, идет в окоп, выносит оттуда автомат и говорит:
— Попов, остаешься за меня. Кривенок, хватит валяться. Пошли, — и идет куда-то в тыл. Кривенок нехотя встает, на ходу надевает на себя винтовку. Лешка садится на бруствере.
— К начальнику артиллерии пошел. Ветеран к ветерану. Может, договорятся как-нибудь, — мрачно говорит он.
Я сажусь на бруствер. Рядом присаживается Лукьянов. Попов стоит и поглядывает вокруг.
— Ему-то что, — раздраженно ворчит Лешка. — Ему лишь бы приказать. На твою голову ему наплевать.
Попов поворачивает к нему скуластое свое лицо.
— Зачем так говоришь? Дурно говорить, зачем? Мало, мало думай надо.
— Думай, думай! Что там ни думай, а вот приказал и все. Так по глупости и Европы не увидишь. И до Берлина не дойдешь. С такими командирами...
— Командир здесь ни при чем, — тихо и рассудительно говорит Лукьянов. Командир посылает. А подчиненному кажется, что несправедливо. Почему именно его? Психологическая неподготовленность. Обычный конфликт на войне.
Лешка несколько удивленно вглядывается в спокойное лицо Лукьянова, что-то старается понять, затем говорит:
— Ну уж ерунду отколол. Коли приказ правильный, так я его нутром понимаю. А если нет, так уж ты мне не докажешь. Как ни крути!
— Зачем доказывать, — пожимает плечами Лукьянов. — Приказы не доказываются. Тут важны не доказательства, а конечный результат.
— Ох, какой ты умный, гляжу, — начинает злиться Лешка. — Результат! Ты бы сказал это комбату. Может, он тебя командиром поставил бы.
Лукьянов пожимает плечами.
— Что с вами спорить не по существу!
— Подумаешь, нашелся «по существу»! Умник такой! Думаешь, я глупее тебя? Вот дудки! Я, брат, институтов не кончал, но и не сдавался! Как ты!

Гримаса боли дергает лицо Лукьянова, он болезненно сжимает губы и медленно опускает голову. Это меня коробит. Ах ты, негодяй! В осторожной тишине я отчетливо говорю:

— Сволочь ты, Задорожный! И подлец!

Лешка медленно с обозленным лицом поворачивается ко мне.

— Это почему я сволочь? Что я, неправду сказал?

Едва сдерживая в себе ненависть, я гляжу на Лешку.

— Ай-ай, нехорошо! — кивает головой Попов. — Очень много нехорошо...

Лешка взрывается.

— Пошли вы все к черту! Вот дождетесь завтра — будет вам хорошо! До чертиков!

Он вскакивает и, отойдя, садится на другом бруствере. Попов смотрит не него и качает головой:

— Ах, ах — нехорошо! Ах нехорошо.

Затем, вслушавшись в ночную тишину, говорит мне:

— Лозняк! Часовой надо. Слушать надо. Хорошо слушать. Что-то много, много нехорошо там, — указывает он в сторону врага.

Я поднимаюсь с бруствера.

* * *

С автоматом на плече бреду возле огневой. Поглядываю на луну. В душе озабоченность.

Ночь тихая. Где-то вдали слышится дробь пулемета. Далеко в стороне вспыхивает и гаснет в небе пятно — отсвет далекой ракеты. Ну бруствере возле орудия маячат три тусклых фигуры.

Небольшая забота — ходить часовым на огневой, когда никто из наших не спит, ходить и думать. Особенно когда ты взволнован. А поступок Лешки действительно взбудоражил меня. Не знаю, почему я так возмутился — ведь в самом деле он сказал правду. Но эта сказанная им правда ударила меня, может, сильнее, чем самого Лукьянова, хоть я никогда и не был в плену.

Вдруг кажется мне: по тропинке от передовой кто-то быстро идет.

— Кто идет? — приглушенно спрашиваю я, сняв автомат и ступая навстречу.

— Свои, свои, хлопчики!

В душе моей радость и страдание одновременно. Поспешным движением я поправляю пилотку, сдвигаю на сторону диск на ремне, одергиваю гимнастерку.

— Управилась, — говорит Люся, подходя быстрым торопливым шагом. — Вы еще не спите?

Я еще не нахожу, что сказать в ответ, как на огневой вскакивает Лешка.

— Люсек? Ты? Уже? Молодчина! А мы тут ждали — все жданки погрызли. Ну иди сюда, посидим, помечтаем...

— Нет, хлопчики, пойду. Доброй ночи, — говорит Люся, проходя мимо.

— Ну что ж, не задержим, — вдруг говорит Лешка. — Я провожу. — Он церемонно подсовывает под Люсин локоть руку, но Люся уклончиво отводит свою в сторону.

— Если не против, конечно, и так далее. Ну скажи, не против?

— Не против, — смеется Люся. — Только без рук. Мы же не обезьяны, правда?

— Пусть без рук, — насмешливо соглашается Лешка и берет девушку за плечи. По тропинке они идут в тыл.

— Кто позволял? Товарищ Задорожный, почему нет дозвол?

— Ерунда, чего там! Пять минут, — слышится издали, и Попов в замешательстве остается на бруствере.

Я закидываю за плечо автомат и снова медленно иду возле огневой.

Все снова меркнет, и мне вдруг такими ничтожными кажутся наши заботы, и опасения, и тревоги. В самом деле: что там пехота! Пехоту поддержим. Не мы, так другие... Это просто. На войне это просто. А это? Что делать тут? Почему так сложно? И трудно?

В душе моей тревога. Поглядывая на пригорки, я быстро хожу по тропке взад-вперед. Снова слышится приглушенный далекий гул. Едва затихнув, он нарастает, ширится. Я останавливаюсь.

А ведь Лешка ей нравится... Конечно... Иначе не смеялась бы так. Видный. Красавец. Спортсмен. А я?..

Что-то во мне обрывается. Я устало опускаюсь на землю. Гул все продолжается. Но я не слушаю его.

Кажется, кто-то идет. Вскинув голову, я оглядываюсь. На огневую, запыхавшись, вбегает Желтых. Сзади неторопливо идет Кривенок.

* * *

— Какого черта сидите? Почему сидите? Почему не копаете? — почти кричит Желтых, выдавая свое крайнее раздражение. — Где Лозняк? Где лопаты? А ну давай все сюда. Нечего рты разевать...

Он хватает лопату и с размаху вонзает ее в землю у сошника.

— Лукьянов! — командует он. — Меряй пять шагов и начинай. Где Задорожный?

— Задорожный пошел Луся, — говорит Попов. — Попов не давал разрешай.

— Куда пошел? Дармоед! Ну, пусть придет, оболдуй! — грозно сопит командир, разворачивая бруствер. — Лозняк! Убирай снопы! Чего стоишь!

— Все-таки огонь открывать придется? — спрашивает, подходя, Лукьянов.

Желтых деланно удивляется:

— Нет! Будем сидеть, пока за шиворот не возьмут! Спать сейчас ляжем, — раздраженно говорит он. Лукьянов, Попов и я удивленно стоим, уставившись на командира.

— Ну что рты разинули! — крикливо злится Желтых. — Непонятно? Завтра поймете. Слышали — гудело?

— Да, слышали, — говорит Лукьянов.

— Ну вот! Даром не гудит, запомните. Немцы «тигров» подбрасывают.

Молча поглядывая в сторону противника, мы начинаем копать. Часто, полной лопатой далеко в сторону отбрасывает Желтых. Ровно, в одном ритме копает Попов. Лукьянов копает медленно, осторожно несет лопату с землей к краю укрытия и бессильно бросает с ней недалеко. После нескольких выброшенных лопат отдыхает, тяжело дыша.

Лукьянов — неважный помощник в этом деле. Когда-то такая его работа раздражала нас. Но что возьмешь с человека, который столько пережил, измотался. А еще и болен вдобавок. А Задорожный! Вот когда он нужен, так его нет. Опять сачканул, пройдошный этот человек.

Я изредка оглядываюсь в тыл. Неровно, рывками, то медленно, то снова с яростью копает рядом Кривенок. Вдруг он выпрямляется и тихо спрашивает:

— Люся заходила?

— Заходила.

— Он с ней пошел?

— Да.

Я выпрямляюсь и минуту отдыхаю, опершись на лопату.

— Гляди-ка, а «Динамы» все нет, — говорит Желтых. — Ну я ему дам! Пусть придет только. Давно я до него добираюсь.

— Не грозился б, а давно б дал, — зло бросает Кривенок.

— Уж тут не спущу. Ишь прилип к девке. И Люська, гляди ты, не отошлет его.

— Люся, она ничего, — говорит Лукьянов. — Она умная девушка.

— Умная! — возражает Желтых. — При чем тут ум. Он вон бугай какой — на это гляди. А то — умная!

— Оно да, конечно. Но мне все же кажется, ваши тревоги необосновательны, — тяжело дыша и переставая копать, не соглашается Лукьянов. — Люди — они разных нравственных уровней. И в этом, конечно, предохраняющий, если можно так сказать, фактор.

Желтых неопределенно хмыкает, сморкается и прислоняется к стенке.

— Ну и скажешь — фактор. Знаешь, у нас на Кубани было. Фельдшерица одна была в станице. Молодая, ничего себе с лица, образованная, конечно. И что ты думаешь? Одна, а вокруг все — простые. Приспичило девке замуж, и выскочила за нашего станичника, хохла одного. Тоже ничего себе парень. А потом разгордился, как же, жена фельдшерица. Разбаловался, к бутылке привадился. И бил. Сколько она натерпелась от него! И терпела. Что сделаешь — дети пошли, за юбку ухватились. Вот тебе и фактор!

— Это, конечно, вполне возможно. Но не показательно. Ведь женщины тоже выбирают. И куда более тщательно, чем мужчины. Особенно такой, как Задорожный.

Возле огневой в сумерках лунной ночи появляется Лешка. Ленивым шагом он ступает на бруствер и устало опускается на свежие комья земли. Выкидывая очередную лопату, я вдруг замечаю его.

— Так, так! — многозначительно говорит Лешка. — Значит, все-таки роем? Ну и ну!

Все поворачиваются к нему, переставая копать. Один только Попов не прерывает работы в самом глубоком месте.

— Пришел наконец, дармоед! — угрожающе начинает Желтых. — Где шлялся? Кто разрешил? Мы что — ишаки на тебя работать? А?

Но Задорожный улыбается. Сблизи видно, как тускло поблескивают его широкие чистые зубы.

— Эх-ма! Ну что вы кричите? Что вы понимаете в высоких материях? — с невозмутимой иронией говорит он.

— Гляди ты! — почти кричит командир. — Он еще нас упрекает! А ну копать! Я тебе покажу! Я те покажу, как брындать всю ночь! Война тут тебе иль погулянки?

Задорожный, однако, никак не реагирует на этот крик.

— Все ерунда, братцы, — каким-то спокойным, убеждающим голосом говорит он. — Капитуляция. Была Люська и кокнула. Точно!

От этих слов вздрагивает Кривенок, настораживается Лукьянов. Почему-то не поняв их смысла, я часто-часто моргаю глазами, глядя на Лешку.

— Капитуляция! — цинично ржет Задорожный. — А дивчина — первый сорт. Свежанинка! Побрыкалась, да...

— Тьфу! Подонок! — плюет Желтых под его ноги и бросает на землю лопату.

Но Задорожному хоть бы что. Он по-прежнему сидит на бруствере, расставив коленки, и луна тускло высвечивает его круглый лоб.

— Вот платочек на память. Смотрите, — бесстыже хвалится он, взмахнув платком. — Завтра придет опять. В одно место. Хоть женись теперь. Законно! Хе-хе...

Ребята начинают молча копать, затаив что-то в себе, а я вдруг вскакиваю наверх и черенком лопаты со всего маху бью в Задорожного.

— Ух! — вскрикивает от боли Лешка, хватается руками за лопату и, стремительно вскочив, бросаются на меня. Лицо его свирепо в гневе. Он сваливает меня на бруствер, наваливается всем своим сильным телом. Я выкручиваюсь, как могу, стону от боли и бешенства, вырываюсь и хватаю Лешку за лицо. Задыхаясь в борьбе, мы несколько секунд катаемся на земле, потом Лешка хватает меня за горло и начинает бить затылком о землю.

— Стойте! Стой! Ошалели, собаки! — кричит Желтых и выскакивает из укрытия. За ним бросаются Попов и Кривенок.

— Подлюга! Дешевка! Драться!.. — хрипит Задорожный.

Хлопцы подбегают к нам. Я, напрягшись, вскидываю ногами, Лешка теряет опору, и оба мы падаем с бруствера в укрытие. Испуганно отскакивает в угол Лукьянов.

Здесь я поднимаюсь на ноги и, оторвавшись от Лешки, бросаюсь к стенке укрытия. Но тотчас на меня наскакивает Лешка. Несколько ударов один в другого. Потом Лешку сзади хватает Желтых.

— Опомнись! Собачья душа! Взбесились!..

Лешка рвется из его рук и кричит мне:

— Сопляк! Сволочь! Я тебе морду в гуляш скрошу! Драться? Ах ты, салага вонючая!

— Лошка, Лошка... Не надо!.. Лошка... — успокаивает его Попов.

Едва справившись с дыханием, я отхожу на площадку к пушке и прислоняюсь к щиту.

— Ах, и вы за него! — звереет все Лешка. — И ты за него? Все за него? На меня? Ах, вот что??!..

— Иди к черту! — толкает его от себя Желтых. Лешка обессиленно отскакивает к стенке окопа и останавливается. Самый накал его лютости уже миновал.

— Заступники! Обормоты! Тоже юбка дорога? Сами за нее цепляетесь? И ты, старик? Тоже?

— Дурак! — презрительно бросает Желтых. — Дурак! Придурок ты, вот...

Стоя поодаль, он дрожащими еще руками достает кисет и начинает свертывать цигарку. Медленно берутся за лопаты остальные. Мрачно смотрит на всех Кривенок. Я тихо стою у пушки. Руки Желтых все подрагивают, лицо же спокойно.

— Ишь ты! — говорит он. — За юбку цепляетесь! При чем тут юбка, обормот? Люся мне жизнь спасла, вот. Тебе, конечно, что? Тебе плевать. Ты тогда в ординарцах ходил. А меня на расстрел схватили. И если бы не она... Никто вот не помог. Ни комбат. Ни начарт. А она не испугалась. Ни минометов. Ни того дурака-генерала бешеного. Догнала. Обратилась. Втолковала. Из-под дула, можно сказать, вытащила. А ты!.. Эх!..

Тяжело дыша, Лешка молча стоит у стенки. Возле пушки не могу отдышаться я. В душе у меня отчаяние.

Лешка неохотно берет лопату. Молча в другом конце укрытия начинаю копать я.

* * *

Между станин на площадке одну к другой сбрасываем лопаты. Укрытие готово. Желтых достает из кармана и бережно застегивает на руке часы с черным циферблатом и центральной секундной стрелкой. Потом, вглядевшись, сообщает:

— Три часа. Скоро рассвет. Та-ак. Лозняк, Лукьянов — за завтраком, — командует он.

Лукьянов послушно начинает собирать котелки. Я беру из ниши в окопе автомат. По тропинке мы молча направляемся в тыл. Ночь на исходе. Луна опустилась к горизонту. Небо на востоке посветлело. Тихо лежит ночной простор.

В этот момент я не думаю о Лешке — он перестал существовать для меня. Я думаю о Люсе. Конечно, она хозяйка своим поступкам, но это подло! Это низко и подло по отношению к каждому из нас — Желтых, Кривенку, Лукьянову, — ко всем, кто уважал ее. И ко мне тоже. Она обманула в наших чувствах святое. Мне теперь не хочется верить ни во что в мире. Я только жажду кричать обидные ей слова. Я ненавижу и его, и ее — оба они с Лешкой встают передо мной одинаково мерзкие, низкие и подлые.

— Стой! — говорит Лукьянов, и мы останавливаемся. Сзади взлетает ракета, гаснет. Слышится далекий натужный рев многих моторов.

— Гудит! — тревожно говорит Лукьянов.

— Черт с ними! — безразлично бросаю я, прислушиваясь, однако.

— Да-а-а, — неопределенно говорит Лукьянов, и мы направляемся дальше. Ритмично поскрипывают дужки котелков.

— Почему вы ему в морду не дали, когда он зацепил вас? — спрашиваю я, не оглядываясь на Лукьянова. — Стоило.

Лукьянов вздыхает.

— Вряд ли стоило. В таких случаях обычно начинается драка. Да и не он первый... Я уже привык...

— Напрасно. Так он и будет... тиранить. Если сдачи не дать. Он такой.

— Никто человека не тиранит больше, чем он сам себя.

— Это если у человека совесть есть. А у Задорожного ее и в помине не было.

— Нет, почему? — подумав, отвечает Лукьянов. — По-своему он прав. Относительно, конечно. Но ведь в мире все относительно.

Тропинка приводит нас к стене пшеницы. Тихо стоят поникшие к земле стебли. Дальше за пшеничной полосой дорога. Там слышатся голоса. Где-то загорается и гаснет цигарка. Доносится приглушенный короткий смех. Своим чередом течет невидимая во мраке жизнь.

Лукьянов тихо идет сзади. Я мрачно спокоен. Вдруг я спрашиваю:

— Скажите, а как вы в плен попали? Просто ранили и попал?

Он вздыхает.

— А потом что?

— Потом? Потом начался ад. Лагеря. Голод. Смерть товарищей.

— Вы, кажется, офицером были?

— Лейтенантом. Командиром саперного взвода.

— Ну а потом?

— А потом вот рядовой, — грустно улыбается Лукьянов.

— Это почему так?

— Так, — уклоняется от ответа Лукьянов.

Некоторое время молчим.

— Это, брат, так, — говорит Лукьянов, уже идя рядом. — В войну мне ужасно не повезло. Во всех отношениях.

— А еще что?

— Понимаешь, случился нелепый парадокс. Отец командир бригады. Герой Советского Союза. А я вот... неудачник. Абсолютный, можно сказать, неудачник.

Это меня настораживает. Я слушаю.

— После плена так и не написал отцу. Не решился. Да и что писать? В сорок первом вместе из дома ушли. Отец на фронт, я — в училище. Друг другу клятву давали. И вот как дико получилось.

— Ну что ж! Разве вы виноваты? Война все.

— Война — это да. Но не в этом дело. Разлом! Отец, пожалуй, мне не простит. И черт ее знает... Конечно, виноват я. Только... — Он, не договаривая, умолкает. Я что-то понимаю в нем и говорю:

— Плохо?!

— Вот именно.

— Ну, ничего. Еще не поздно. Может, восстановят звание. Быть бы живым. И очень не обижайтесь. Все же не все в армии такие, как Задорожный, — почему-то стараясь его утешить, говорю я.

— Это безусловно. Я знаю, но... Кстати, ты не верь этому Задорожному. В отношении Люси тоже, — переводит он разговор на другое. — Он хвастун. Набрешет с три короба, а на деле и не было. Таких много среди нашего брата.

— Правда? — удивленно спрашиваю я.

— Я почти не сомневаюсь в этом. Люся порядочная девушка. Не может она... Вообще много наших бед от того, что мы не доверяем женщине. Мало уважаем ее. Не на словах, конечно. А ведь в ней — святость материнства. Мудрость веков вырабатывала в ней человеколюбие. Как мать она антагонист человекоубийства. Она много выстрадала. А страдания делают человека человеком в высоком смысле. Это так.

Лукьянов останавливается, шевелит ногой. Я выжидательно молчу.

— Черт, песку насыпалось...

Лукьянов кладет на траву котелки, садится и начинает расшнуровывать ботинок. Я терпеливо жду.

— Страдания, переживания, — говорит он и с заметным оживлением продолжает: — Я вам скажу. Я долго ошибался, жизни по-настоящему не понимал. Плен научил меня многому. В плену человек наглеет. Вместе с формой он утрачивает все, что есть на груди, в петлицах, в карманах. Все содержимое его — только в душе, — говорит он, вытряхивая из ботинка песок. — Я за двадцать восемь лет жизни не понял того, что за год плена. И все думал: немцы — это Бах, Гете, Шиллер, Энгельс. А оказалось, наивысшее их воплощение — Гитлер.

Лукьянов дошнуровывает ботинок, встает и подбирает с земли котелки.

— Это страшно — бездумно продать одному все души. Даже гению. Он неизменно станет дьяволом. Пример тому Гитлер. Превратил в преступников целый народ. Хотя, правда, не всех. Есть, конечно, такие, что думают по-своему. Может, и борются. Был у нас в лагере Курт из батальона охраны. Мы иногда беседовали. Он ненавидел Гитлера. Но он боялся. И больше всего — фронта. И вот этот человек, ненавидя фашизм, покорно служил ему. Стрелял. Бил. Кричал. Потом, правда, он повесился. В туалете. На ремне от карабина.

Навстречу идут пехотинцы с завтраком. Низко согнувшись под огромным термосом, бредет маленький солдат. Я вглядываюсь в него, спрашиваю:

— Мы не опоздали?

— Нет. Еще только начали давать. Вот пульрота первая. — Останавливается и словоохотливо сообщает это маленький пулеметчик.

— Из пополнения, наверно, — едва заметно улыбаясь, говорит Лукьянов и как-то печально смотрит на подходящего парня с термосом.

— Да, — говорю я, возвращаясь к прежнему разговору. — Чего уж там ждать от немцев. Если вот наши... Сколько набралось и власовцев, и полицейских, и разной нечисти.

— Безусловно. Трусость и корыстолюбие губят всех — и наших, и немцев. И рядовых, и генералов. Тут нет сфер исключений, — со сдержанной страстностью говорит Лукьянов. — Но, победив в себе корыстолюбца и труса, не победишь врага. Это бесспорно. В этом проблема жизни и проблема истории.

Помолчав немного, он уже веселее добавляет:

— Вижу, ты из-за Людмилы терзаешься. Не надо. Она славная. Пустяки все. Кончится война, кого-то осчастливит. Да... Война, война!

И я вдруг чувствую, что верю ему. Верю, как брату, как другу, как доброму гению. Он сбрасывает с меня невидимый груз страданий, эти его слова зажигаются во мне радостным светом надежды и раскаяния за мои недавние мысли. Только теперь я понял, сколько заняла Люся в моей душе. И мне становится легко и радостно. Даже завтрашние испытания, предстоящие нам, отодвигаются далеко в неопределенное, неясное будущее...

Лукьянов поглядывает на светлеющее с востока небо.

— Давай быстрее, брат, — говорит он. — Как бы успеть до рассвета.

* * *

Светает.

Мы сидим в узком окопчике-ровике и ждем. Ждем напряженно, тихо, молчаливо. Попов запоздал с завтраком и теперь в конце окопа доедает из котелка кашу. Кривенок, глядя перед собой, ковыряет в зубах соломиной.

— Соль мало, — вдруг в напряженной тишине слышится голос.

Желтых вздрагивает и с недоумением оглядывается.

— Что?

— Соль мало, — спокойно сообщает Попов. Желтых плюет под ноги: до соли ли теперь!

— А каска, каска где? — вдруг спрашивает командир. — Опять забудешь?

Попов, покопавшись под шинелями, достает старую, ободранную, простреленную в боку каску и одевает ее на голову.

— Вот так, — одобряет Желтых.

Опять все молча ждем. Слышно, как под утренним ветерком шелестят колосья в снопах.

— Ничего! Не впервой. За землю крепче держитесь — она выручит, — успокаивает нас Желтых. Он оглядывает всех ровным отеческим взглядом, замечает в углу подрагивающего, закутанного в шинель Лукьянова. — Что, Лукьянов, трясет?

— Трясет немного.

— Ну потерпи. До вечера. Обойдется — в санчасть отправлю. А пока надо помочь... В случае чего. И ты, «Динамо», чтоб без задержки мне! — построже приказывает он Лешке.

— А когда это я задерживал?

— Я наперед говорю. А вообще-то ты ловкач! На все руки мастер!

— То-то же! — ухмыляется Лешка. — Вот кабы к медальке представил. А то голословно все.

— А это посмотрим. Может, и представлю. Если будет за что.

— Послушай, командир. Даже если и авансом — оправдаю. Кровь из носа — заслужу! — обретая свой прежний шутовской тон, бахвалится Лешка.

Поднимается солнце. В поле по-прежнему тихо. Лица у хлопцев постепенно оживляются. Освещенный сбоку, ярко блестит один бруствер.

— Ни одна мина нет. Хорошо! — говорит Попов, глядя в небо.

— Ну вот. А боялись. Столько наделали паники: копать, копать, — вспоминает Лешка.

— Да, что-то притихло, — неопределенно говорит Лукьянов.

— Паника все. Конечно. Ничего и нет, а начальству приснится. Давай кого попало гонять, нервы испытывать. На растяжение, — говорит Лешка.

Желтых, жмуря один глаз, молчит. Я тоже молчу.

Нет! Все-таки медленно, но неуклонно зреет в этом ясном утреннем небе. Время от времени я замечаю, как во всепонимающих глазах Желтых мелькает недремлющая, спрятанная в самую глубь тревога. Я тоже предчувствую что-то, вслушиваюсь и жду.

Лешка вдруг достает из кармана пачку «Беломорканала» и небрежно бросает Желтых.

— Держи!

— Что? Ого! Где это ты раздобыл? Гляди-ка, как до войны! — удивляется Желтых, разглядывая пачку. Лешка с деланным безразличием достает еще одну, разрывает и сует папиросу Лукьянову.

— Кури, малярик!

Лукьянов нерешительно, словно раздумывая, берет. Остальное Леша отдает наводчику.

— Папирос кури? — удивляется Попов, получив угощение. Кривенок, колупаясь в затворенной коробке пулемета, делает вид, что не замечает этого. Мне Задорожный папирос не предлагает

— Где это ты в ночь раздобыл? — удивляется Желтых.

— Кореш из продсклада угостил. Земляк!

Кривенок исподлобья вопросительно смотрит на него. Я тоже.

— Ну, а наболтал про Люсю... Ох, и трепло же ты, погляжу, — беззлобно ворчит Желтых.

— Нужна мне твоя Люся как собаке пятая нога.

— Не нужна? А поглядеть, так вон какие... разлюбезные.

— Разлюбезные! — иронически хмыкает Лешка. — Пока мы тут головы под пули подставляем — она там с тыловиками милуется. Тоже медаль зарабатывает. Капитан там один из связи... как его? Мелешкин. С ним крутит, знаю я, — говорит Задорожный, сладко дымя папиросой.

— Да ну уж, крутит, — слабо возражает Желтых.

— Конечно... Ну, кому что, а я подремать, — говорит Лешка, откидываясь в тесноте на бок.

Дремлет Лукьянов. Возится с пулеметом Кривенок. Приподняв брови, вслушивается в тишину Желтых. Попов снимает с себя гимнастерку и начинает вшивать костяные пластинки в погоны. Над окопом, обманутый тишиной, появляется жаворонок, и мирная его песня сонно струится над полем. Желтых, прищурив глаза, вглядывается вверх и ласково нам говорит:

— Хе! Гляди ты — запел. И не боится, малявка.

Я гляжу на умиротворенное дремотное лицо Лешки и не знаю, что и думать. То ли он притворился, коли так пренебрежительно отзывается о Люсе, то ли говорил правду? И я не могу понять, почему он так переменился к ней — той, перед которой столько лебезил.

Попов пристраивает погоны и, надев гимнастерку, любуется своим изделием. Гимнастерка у него действительно хороша: аккуратная, с отличными, почти новенькими погонами, орденом и тремя узкими нашивками за ранения.

— Ого! Как генерал, — усмехается Желтых. — А знаешь что, сделай и мне такие. А то эти в веревки свились, — он трогает на плечах свои измятые погоны. — После войны сквитаемся. Приглашу тебя в гости из твоей Колымы...

— Зачем Колымы? Якутии, — несколько обиженно поправляет Попов.

— Ну из Якутии. У вас мерзлота, а у нас, на Кубани, фруктов, арбузов завались. Сколько хочешь! Накрыли бы столик в садку, поллитровочку. Ну и повспоминали бы... Как Беларусь освобождали... Кстати, надо бы написать Дарке, — вдруг спохватывается Желтых. — От самой Орши не писал. Хлопцы, у кого бумажка?

Попов вынимает из кармана потертый номер дивизионки, Желтых выбирает кусочек поля пошире, достает из сумки чернильный карандаш и, пристроившись на сумке, начинает выводить каракули.

— Так и напишем: жив, здоров, чего и тебе желаю. Маркел Иванович Желтых. И число, чтоб знала. Число, оно, брат, самое главное.

Потом он отрывает неровную полоску с этими словами и, сложив ее, как порошок в аптеке, прячет в отворот пилотки.

Хлопцы с забавным любопытством поглядывают на него.

— А зачем много писать? Главное — жив. А остальное бабе оно не интересно. Вот надо бы чаще, да черт ее знает, все некогда. Только карандаш послюнишь, приказ: туда, сюда: то пулемет, то транспортер. То пехота нажимает. А то танки. Сколько мороки с ними! Желтых — то! Желтых — это! Приходится успевать.

В дремоте я склоняю голову. Откинувшись, начинает храпеть Лешка.

Лукьянов неподвижно сидит, глядя в одну точку. Кривенок собирает затвор пулемета. Попов сидит возле Желтых и, моргая, внимательно слушает его.

Вдруг я вздрагиваю, открываю глаза. Удивленно оглядывается Кривенок. Поднимает одну бровь Попов. Вытягивает из шинели голову Лукьянов. С раскрытым ртом замирает Желтых. Раскрывает, но опять с силой закрывает глаза Лешка.

Из-за вражеских холмов доносится протяжный со свистом выдох шестиствольных минометов, и сразу же в воздух, быстро нарастая, ввинчивается пронзительный визг.

Испуганные глаза Задорожного. Он вскакивает и падает. Сваливается набок Желтых. Падает лбом в землю Попов. Падаем я и Лукьянов. Кривенок закрывает собой пулемет. В этот момент землю сотрясают взрывы, разлетаются брустверы. Над огневой в небе вырастают черные тучи земли и пыли. Бьют новые взрывы, на головы рушится земля, комья, песок. Отваливается от бруствера огромная глыба и засыпает кого-то. Чьи-то руки судорожно вцепились в шинель на груди. Обезумевшие глаза. Дергающаяся от тика щека. Взрывы. Руки, дрожащие на голове.

И в этом аду вдруг раздается крик:

— Попов! Прицел! Так твою...

Это Желтых. Попов вскакивает и сквозь смерч пыли, пригнувшись, бросается через площадку в укрытие. Что-то кричит Желтых, но взрывы глушат его. Еще вспышка рядом. Удар! В окоп обрушивается земля. Желтых падает. В облаках пыли — Попов с прицелом под гимнастеркой. Снова взрыв. Я вскидываю и прячу лицо.

Взрывы терзают нас вместе с землей. Наши тела болезненно сжимаются от неослабного напряжения. От каждого разрыва вонзается в мозг мысль: Конец! Этот!.. Нет, этот!.. Вот этот!.. Но вот, кажется, мелькает надежда: выжили!

Неужели выжили? Загорается слабенькая еще, готовая вот-вот погаснуть радость...

Вверху утихает. Взрывы колотят землю поодаль. Песок перестает низвергаться в окоп. Потный и страшный выгребается из земли Желтых. Вскакивает Лешка. Слабо шевелится в углу Лукьянов. Отрясается Кривенок. Я медленно встаю и чуть вздрагиваю, чувствую, как глаза мои округляются. Задорожный дико кричит:

— К-к-к-омандир!.. К-к-к-омандир!.. Танки!!!

* * *

— Т-т-т-танки! Т-т-танки! Гляди! — кричит он, то высовываясь из окопа, то снова приседая. Мы все враз выглядываем из-за разрушенного бруствера. Желтых на мгновение замирает, часто-часто моргая сузившимися от песка глазами. Будто не веря в то, что видит, он первый ошалело выскакивает из окопа. За ним кидается Попов, потом остальные.

Пригнувшись, через изрытую площадку мы влетаем в укрытие к пушке. Я вцепляюсь в станины. Мне помогает Кривенок, остальные тужатся внизу возле колес. Пушка медленно трогается, но укрытие завалено комьями земли из развороченного минами бруствера и колеса идут боком. Желтых люто ругается.

— Поворачивай станины! Станины поворачивай! Лозня, такую твою...

Напрягаясь изо всех сил, мы кое-как выкатываем орудие на площадку, заносим станины. Желтых вглядывается вдаль. Низко склоненное его лицо потное, злое и страшное. На лопатках мокрые пятна пота.

Танки ползут на первой траншее. В воздухе гремит, грохочет, поднебесье воет и стонет. Тяжелый чугунный гул ползет по земле. Хлопцы бросают сошники, я хватаю стопоры, Задорожный сзади так рвет станину, что едва не сбивает меня с ног. Левой рукой я открываю затвор, сам Желтых с лязгом вгоняет в ствол бронебойный.

Я выглядываю из-за щита — один танк горит, распустивши в воздухе шлейф черного дыма. Другие идут вдоль дороги к деревне. Несколько пехотинцев бегут, согнувшись, по полю в тыл. Желтых что-то кричит, Попов впивается в прицел и вскоре резкий выстрел бронебойного глушит нас всех. Пушка подскакивает, толкает в плечо, я падаю, это хлопцы не успели закрепить станины. Под казенником первая гильза. Из ее шейки струится легкий дымок.

— Сошники! — кричит Желтых, низко пригнувшись за наводчиком, и кулаком толкает в спину Кривенка. Тот хватает заправило и начинает загонять сошник в землю. Второй сошник, стоя на коленях, старается сдвинуть в ямку Лукьянов.

— Гах! — бьет второй выстрел. Что-то черною вспышкой мелькает позади танка, но танк идет.

— Огонь! Огонь! Не медли, огонь!

— Гах!

— Гах!

— Гах! — часто бьет пушка, подскакивая на колесах.

Однако танки уже проходят первую траншею и, ускоряя ход, вдоль дороги стремительно катятся в тыл. Уже видим на бортах их черно-белые кресты, машины тяжело переваливаются на брустверах ходов сообщения, волоча за собой хвосты пыли. Пушки их то и дело грохочут выстрелами.

— Огонь! — ревет Желтых. — Наводить лучше!

— Гах! — гремит выстрел. Тотчас же на броне танка коротко сверкает огонек, но танк идет. Желтых уже без бинокля вглядывается, и в его широко раскрытых глазах отражается отчаяние.

— Не берет холера! Дьявол им в глотку, не берет! Бей по гусеницам! По гусеницам огонь!

Рассеявшись по полю, бежит наша пехота. Десятки людей в страхе шарахаются в стороны, падают, отстреливаются и снова бегут. Их уже настигают танки.

Недалеко от огневой, припав к самой земле, обессиленно трусит сержант с потным красным лицом. Одной рукой он тащит «Горюнова», другая, словно плеть, свисает к земле. За ним, боязливо оглядываясь, бежит низенький боец с коробками в руках. Это наш ночной встречный с термосом.

— Стой! — кричит им Желтых. — Стой, сволочь! Расстреляю! Стой!

Сержант кричит что-то в ответ, но его не слышно. Тогда он, присев, тычет в сторону пшеничной полосы. Желтых оглядывается, танки уже на фланге. Командир приседает от неожиданности и ругает неизвестно кого.

— Станины влево!

Лешка и Кривенок, вырвав из земли сошники, быстро заносят станины.

Одну бросают под бруствер, другую — на середину площадки, ровнять некогда. Попов обеими руками лихорадочно вращает маховики. «Гах!» «Гах!» — гремят выстрелы. Звякая, вылетают под ноги гильзы. Лешка с перекошенным гримасой лицом стоит между станин на одном колене. Остальные гнутся

к самой земле. Один Желтых выглядывает из-за щита позади припавшего к прицелу Попова.

— Ага! — наконец кричит он злорадно. — Есть! Один есть! Попов! Огонь!

У края пшеничного поля стоит танк. Верхний люк его уже отброшен. Возле него открывается второй. Он несколько секунд медлит, затем подворачивает гусеницами в сторону огневой позиции. Перед пушкой вдруг сверкает черная молния, и поток земли накрывает расчет. Через пять секунд встревоженный крик Попова:

— Сноп! Товарищ командир, сноп!

Танк в створе с крестцом. Опять удар!.. Пыль... Смрад!..

Я понял: снопы надо немедля раскидать. Но неподвластная мне тяжесть сковывает ноги. Ненавидя себя, я медленно встаю из-за щита и напряженно, мучительно иду: вот-вот грохнет третий, и, может, последний разрыв. Сейчас! Сейчас! Во мне все напряглось. Переждать выстрел, затем... затем... Но я не дождался!

— Лукьянов! Убрать! — после короткого промедления кричит Желтых.

Лукьянов в расстегнутой шинели встает из-за ящиков, почему-то оглядывается, в его глазах не страх и не испуг, а только всепоглощающая предсмертная тоска. Несколько коротких секунд он медлит, затем не спеша, словно обессилев, влезает на бруствер и, не пригибаясь, расслабленно бежит к крестцу. Там он стаскивает верхний сноп, крестец падает, и за ним рукой подать — танк. Он мчит на огневую. Лукьянов делает попытку разбросать снопы, но в это время совсем рядом — взрыв!

Пыль, песок бьют по щиту. Я, оглушенный, пригибаю голову, но, через мгновение опомнившись, вскакиваю — сквозь редкие клубы пыли, словно ослепленный, склонившись и спотыкаясь, медленно бредет Лукьянов. В десяти шагах от него горячо курится воронка.

— Огонь! — сорванным голосом ревет сзади Желтых. Я, поняв, что случилось, ошалело бросаюсь на бруствер.

— Стой! Назад! — взвивается предостерегающий крик командира. Однако я только пригибаюсь и в три прыжка достигаю Лукьянова. Он уже падает. Я подхватываю его под мышки и, напрягаясь, волоку на огневую.

Навстречу, обдав нас горячей волной, бьет из пушки Попов. В то же мгновение где-то рядом черный огненный блеск — и удар! Вместе с Лукьяновым я падаю боком на землю, но тотчас же вскакиваю и уже по самой земле неловко тяну Лукьянова

к огневой. На мгновение оглядываюсь — танк в ста метрах. Размахивая стволом орудия, он мчит к нам.

Наконец бруствер. Весь в поту, я переваливаюсь через него вместе с Лукьяновым и падаю под колеса пушки. Несколько пуль вдогонку бьют по щиту и рикошетят в стороны.

В окопе строчит пулемет — это Кривенок бьет по пехоте. Командир с Задорожным лежат меж станин, возле прицела один Попов. Тяжело дыша, я на коленях ползу к ним, Задорожный шарахается в сторону, всем телом жмется под бруствер и гребет-гребет руками землю. Сзади грохает пушка. Станины сильно дергаются. Мне в спину больно бьет гильза. Я хватаю командира за плечо — он безжизненно переваливается со станины наземь. Побледневшие веки его судорожно дергаются, взгляд гаснет, зрачки закатываются. Он уже не узнает меня.

— Командир! — раздается рядом хриплый и запоздало испуганный голос Задорожного. — Ребята! Командир! Командир!..

Этот страшный выкрик пугает и меня. Я припадаю к земле, она трясется от тяжести близкой громадины. Попов оборачивается от прицела и кричит:

— Заражай! Заражай! Собака! Заражай!

Лешка, однако, не двигается из-под бруствера, только приподнимает и снова прячет голову. Нижняя челюсть его мелко дрожит. Я толкаю его в бок сапогом и озверело кричу:

— А-а! Ты-ты! Заряжай!

Он боком, как рак, переползает к ящику. Танк гремит где-то за бруствером. Не выдержав, я отрываюсь от командира, хватаю снаряд и, привстав, за секунду толкаю его в ствол. Из шеи Желтых снова вырывается тонкая струйка крови, обдает мне брюки и сапоги, но быстро ослабевает. Когда я снова подползаю к командиру, она почти пропадает. Остекленевшие глаза Желтых останавливаются.

На четвереньках я кидаюсь к снарядам — танк в пятидесяти шагах. Одной гусеницей он подминает под себя остатки крестца, взмахивает в воздухе стволом, из-под его днища вместе с землей летит стерня. Попов вскакивает за прицелом, в тот же миг бахает пушка. Танк, окутанный пылью, будто споткнувшись, с разгона клюет стволом в землю, однобоко дергается и замирает. Впереди сквозь пыль остро торчит оголенное от гусеницы направляющее колесо.

Но башня его живет, она рывками обходит полукруг и направляется в нас. Попов, не целясь, широко расставив ноги и пригнувшись, бешено крутит маховички наводки. Наш ма-

ленький коротенький стволик с самоотверженной готовностью направляется навстречу.

На четвереньках, объятый ужасом надвигающегося, я приподнимаюсь с земли.

— Быстрей — или смерть!

Я бросаюсь к ящикам, в пыли мы сталкиваемся с Лешкой. Сильно стукнувшись, разлетаемся в стороны. Его пилотка падает мне под ноги. В его руках, однако, снаряд, Лешка вгоняет его в ствол.

— Прочь! — на секунду обернувшись, кричит Попов. С удивительной ловкостью через меня кувыркается Лешка. Танковое орудие, как-то дрожа и судорожно дергаясь, опускается все ниже и ниже. Это последнее, что я замечаю и вниз головой бросаюсь за Лешкой.

Выстрелы и взрывы гремят одновременно. Огромная глыба окопной стены рушится на мои плечи. Что-то колючим градом больно обдает затылок, и я мертвею, полузакопанный.

И вдруг становится очень тихо. Обрывается громовой грохот, исчезают близкие разрывы, только издали плывет ропот танков и мелко дрожит земля. Я почему-то ужасаюсь, выкарабкиваюсь из земли и выскакиваю из заваленного, разбитого окопа.

* * *

С краю площадки — воронка. В нее одним колесом провалилась пушка. Возле станины неподвижно лежит засыпанный землей Желтых. Рядом, тоже засыпанный землей и пылью, сползает на лопатках с бруствера отброшенный туда взрывом Попов. На его голове уже нет ни пилотки, ни каски. Грудь залита чем-то мокрым. Наводчик безумным взглядом смотрит вдаль и правой рукой зажимает окровавленную левую кисть.

Я оглядываюсь и столбенею. *Никогда еще я не испытывал столь странно противоречивых чувств отчаяния, испуга и внезапной радости, почти в одно мгновение охвативших меня.* Огромная пятнистая громада танка, вперив в нас длиннющий ствол, пылает бешеными языками пламени. Черный густой дым, едва относимый ветром, валит из его зада.

Попов, сжав зубы, стонет. Поднимает руку. По рукаву на штаны и сухую, жадную к влаге землю льется кровь.

Я бросаюсь к Попову, но наводчик завертывает руку в подол гимнастерки и кричит, глядя вдаль:

— Лозняк, огон!.. Огон!..

Я кидаюсь от него к пушке. Танк все разгорается, шипят и чадят языки пламени, смрадное облако обволакивает огневую. Остальные прорвались. Подминая под себя пшеницу, сшибая бабки, они устремляются вдоль дороги в деревню, на переправу. Деревня горит, все вокруг стонет от гулких танковых выстрелов. Издали слышно, как с коротким стремительным визгом проносятся их болванки.

— Лешка! Лешка! — кричу я, но он уже не появляется из окопа. Тогда я сам вгоняю в ствол перекошенной пушки бронебойный и хватаюсь за механизмы наводки. Они еще повинуются мне.

В прицеле: угольничек настигает силуэт танка и — выстрел. Пыль, грохот... Тугой резиновый наглазник прицела сильно бьет в бровь. Я на четвереньках кидаюсь за новым снарядом. На горящем танке вдруг откидывается верхний люк, из него появляется черная дрожащая рука в перчатке. Она хватается за край, но срывается и снова слепо, безнадежно цепляется. Из окопа бьет короткая очередь...

— Огон! — строго требует Попов. — Прицел болше два!

Я заряжаю, кручу дистанционный барабанчик прицела на увеличение, стреляю и снова кидаюсь к ящикам. С короткими перерывами гремит пулемет Кривенка. Попов сидит, зажав руку, дрожит почему-то весь и кричит:

— Огон! Огон!

И я, скользя по разбросанным гильзам, мотаюсь между пушкой и снарядными ящиками. Пот слепит мне глаза, каплет на руки. Дьявольски горячо палит солнце. Но вот все стихает. Я, зарядив, бешено вращаю маховички в одну сторону, в другую — везде пусто, танков нет, они прорвались. Бой гремит за деревней, на переправе. Я откидываюсь к казеннику, голова падает, руки безжизненно роняю на землю. Пальцы тихонько мелко дрожат. Из-под бруствера рядом торчат полузасыпанные землей ноги Лукьянова.

Я готов умереть, мне не хочется жить. То, что случилось, ужасно. Я обессилел, оглох, ослеп от ядовитого пота, в ушах гудело, трещало, выло; перед глазами расплываются желтые, оранжевые, черные круги.

Едва справляясь с дыханием, я медленно возвращаюсь к жизни. Вдруг огромной силы взрыв сотрясает землю. Он заставляет меня вскочить. Это взорвался танк. Башня, сорванная с круга, перекосилась, врезалась пушкой в землю и тоже горит. Пламя с еще большим бешенством пожирает резину колес, краску, полыхает залитая бензином земля.

И в этот момент из окопа выскакивает Задорожный.

— Братцы! Что делать? Братцы? — начинает вопить он.

— Прятаться?! Прятаться! Негодяй! Почему прятался? — кричу я, готовый зареветь от обиды и несчастья, постигшего нас. Лешка, пригнувшись, стоит на коленях, на лице его явный испуг. Однако мой гнев отрезвляет его.

— Кто прятался? — кричит он. — Я — во, гранаты!..

В руках у него действительно гранаты. Это несколько успокаивает меня. Я снова бессильно опускаюсь на землю. Попов, замотав в подол руку, неподвижно сидит, сжав челюсть.

Из окопа появляется Кривенок. Деловито спрашивает:

— Сколько снарядов осталось?

— Мало, — говорит Попов. Мы выжидательно смотрим на него — теперь он наш командир.

— Ну, что сидим! — нервно выпаливает Лешка. — Попов, командуй. Какого черта...

Попов Задорожному протягивает руку.

— Давай, Лошка, перевязал моя рука.

Лешка неохотно откладывает гранаты, разрывает перевязочный пакет. При этом он оглядывает поле — вокруг только трупы. Вон и незнакомец — солдатик с пулеметными коробками. Лежит, бедняга, воткнувшись лицом в стерню, и в обеих руках все еще держит коробки. Кривенок подходит к командиру, склоняется и под мышки оттаскивает его в укрытие. Затем берет из-под бруствера полузасыпанного Лукьянова и тоже сволакивает с площадки.

Лешка торопливо перевязывает руку Попова.

— Лешка!.. Ух ты! Болно! — морщится Попов.

— Терпи, командир! — уже превозмогши испуг, говорит Задорожный. — Так давай рванем. А?

— Нет! — говорит Попов. — Приказ нету — не можно ходи!

— Чудак! — запальчиво удивляется Лешка. — Какой тебе, к черту, приказ! Фронт прорвали...

— Приказ оборона была. Приказ отступай не была. Стреляй надо.

— Ну прямо одурел! — удивляется Лешка. — Куда стреляй?

— Не знай куда стреляй? Гитлер стреляй! — спокойно говорит Попов.

— Балда! — плюет Задорожный. — Я думал, ты человек, а ты чурбан с двумя глазами.

Обессиленно сидя, прислонившись к казеннику, я не могу еще отдышаться. *Что-то во мне готово вот-вот взорваться от этой его неприкрытой наглости. Я даже пугаюсь от мысли, что теперь, без Желтых, он навяжет нам свою настырную волю, одурачит Попова, и мы попадем в еще худшую беду.*

— Чего кричишь? — с нескрываемой злобой бросаю я ему. — Чего ты хочешь?

— Как чего? К своим!

— А пушка?

— Что пушка? Пушка подбита.

— Где подбита? Стреляет. Ты что, обалдел? Не слышал?

— Идиоты! — искренне возмущается Лешка. — Голова и два уха — не больше. Что ж, по-вашему, сидеть тут до героической гибели?

Из укрытия показывается Кривенок. Шрам на его искривленном лице краснеет от злости.

— Заткните ему рот! — кричит он. — Заткните! Или пусть идет к чертовой матери! На все четыре стороны! Ну?

Задорожный хмурится, плюет в песок и ругается:

— Ну что ж! Пропадайте, черт с вами, от дураков шкорлупки! Командир этот — тоже балда косоглазая.

Терпеливый Попов взрывается:

— Почему Попов бальда? Почему бальда? Лошка бальда! Вот! Нельзя бросай. Попов присяга давал! Желтых не бросай — Попов не бросай. Сволечь бросай! Молчи ты!..

Лешка молчит, мрачно оглядывая окрестности. Потом Попов нервно приказывает:

— Нет ходи будем. Стреляй будем. Яма копай, — говорит он, показывая на воронку. — Ровно делай.

Он встает на колени, смотрит в сторону деревни, где гремит бой. На лице его непреклонность.

Лешка, посидев еще, берет лопату и идет зарывать воронку на огневой.

* * *

Я и Кривенок сидим в укрытии.

Перед нами лежат Желтых и Лукьянов. С площадки сюда сползает Попов.

— Командир уже... Отошел, — не поднимая головы, говорит Кривенок. — Лукьянов кончается. Перевязал немного.

Попов, прижимая к груди свою руку, смотрит на Желтых и Лукьянова. Затем говорит:

— Иди, Кривен, пулемет. Мало мало гляди. Надо...

Кривенок молча выползает из укрытия.

— Ах, ах плохо!.. Очень плохо, товарищ командир! Ай-ай!

Они лежат рядом на разостланной плащ-палатке. Желтых — на спине, запрокинув вверх сухой щетинистый подбородок.

Лукьянов с потным побледневшим лицом до пояса накрыт своей припорошенной землей шинелью. Он лихорадочно дышит.

Мы сидим над ними, и мне почему-то начинает видеться немой упрек на измученном лице Лукьянова. Ведь это я должен был побежать к снопам! Я первый увидел, что они мешают стрелять, но командир выбрал Лукьянова — он знал, что возврата ему не будет. И вот теперь они лежат рядом! Это странно и страшно видеть: лежащих бок о бок посланного на верную гибель и рядом того, кто послал. Великая слепая сила войны! Неужели в этом твоя справедливость?

Я чувствую, как влажнеют мои глаза, и я прикрываю их. Через минуту снова открываю их, вижу: Попов тихо сидит над командиром и гладит его. Затем берет откинутую в сторону руку, кладет ее на грудь. Но рука уже затвердела и медленно разгибается. На запястье ровненько тикают часы, и вокруг циферблата бегает тонкая красная стрелочка.

— Товарищ командир... — едва шевеля губами, шепчет Попов. — Товарищ командир... что делай Попов? Отступай надо, а?.. Стреляй надо, а?.. Кажи! Мало, мало кажи, командир... Задорожный плохо слушай... Тебя хорошо слушай... Попов мало слушай... Скажи, командир... Что делай Попов?

Я притихаю и жду. Я тоже жажду его ответа. Мне тоже не понятно, как быть нам. Начинает казаться, что Желтых вот-вот откроет глаза, чудится, что-то шепчут его губы, я вслушиваюсь, но не слышу ничего...

— Плохо, командир... Очень плохо, — говорит про себя Попов. — На Днепре погибай — жив оставался. На мала горка погибай — жив оставался. На деревня Ольховка погибай — жив оставался. Тут погибай, совсем погибай...

Задумчивым движением он поднимает лежащую рядом пилотку Желтых, достает неотправленное коротенькое письмо и прячет себе в нагрудный карман. Пилотку одевает себе на голову. Затем, посидев еще, бережным прикосновением закрывает Желтых правый и левый глаза.

— Спи, командир!

Вздыхает и оглядывается.

На моем лице, наверно, отчаяние. Попов пожимает мне руку у локтя и говорит:

— Ничего. Не надо. Война!

Да, война! Будь она трижды и навеки проклята, — это наихудшее из всех человеческих бед на земле. Она висела над нами все недолгие годы нашей жизни, собиралась, накапливалась с

самой колыбели, которую, придя с очередной войны и снова собираясь на следующую, ладили нам наши отцы. Под ее распростертым черным крылом росли, учились, готовились к грядущим боям мы — сыновья солдат и сами будущие солдаты. Чем-то она увлекала нас в детстве, когда мы читали о ней в книжках и играли с деревянным оружием. Может быть, потому, что молодые наши души жаждали подвигов и самоутверждения, но теперь, познав ее во всей жестокости, мы проклинаем ее.

* * *

Сидя возле Желтых, Попов поворачивается боком ко мне. Я прислоняюсь спиной к стенке окопа. Жарко. Тень от брустверов стала коротенькой, и солнце жжет плечи. Наверху вблизи тихо. Но вдали за деревней, где-то на переправе, все гремит, грохочет, и земля то и дело содрогается от взрывов.

В укрытие заглядывает Лешка. На его голове каска Попова.

— Ну, докуда ж сидеть? Пока в плен не возьмут, что ли?

Попов все прижимает к груди окровавленную, забинтованную руку. Лешке он не отвечает.

— Было бы геройство, — ворчит Задорожный. — А то глупость одна. Ухлопают, и никто не узнает. Напишут: пропали без вести. Или еще лучше: в плен посдавались.

Попов медленно поднимает голову.

— Командир Желтых не отступай — Попов не отступай. Трус отступай.

— Желтых, Желтых... Что вам Желтых? Желтому теперь все равно. А мы еще живы!

— Эх, Лошка, Лошка, — говорит Попов. — Плохой твой голова...

— Что голова! — огрызается Задорожный. — Вот гляди: хоть бы ты! Геройство, можно сказать, проявил — танк подбил. А толку что? И знать никто не будет.

Попов молчит. Задорожный выжидательно смотрит на него.

— Или возьми Лукьянова. Чем не герой? Под огонь лез. А его трусом считают.

— Лукьян, да? — спрашивает Попов и ненадолго задумывается. Что-то щемящей болью отражается в его наивных глазах. С полминуты он глядит на умирающего Лукьянова, потом говорит:

— Наверно, Лошка, твой правда. Надо комбат ходи. А кто ходи? Лошка ходи? Лозняк ходи? — спрашивает он и поглядывает на нас.

Этот вопрос застает меня врасплох. Я понимаю, что очень нелегко пробраться к своим, но все-таки в том еще есть какая-то возможность спастись. Только именно эта возможность и не дает мне решимости вызваться. Мне нестерпимо неловко оставлять их тут, почти обреченных на гибель, и за их спинами спасать сою жизнь.

— Я пойду, — после короткого раздумья выпаливает Лешка.

— Говори комбат: Желтых погибай. Лукьян очень много рана. Лукьян смелый солдат, не надо пиши плохо. Награда надо Лукьян. И что пушка делать? Приказ отступай надо. Попов будет ждать, Лошка. Иди, Лошка.

Лешка, не заставляя себя ожидать, встает на колени, глубже надвигает каску и подхватывает автомат.

— Я в обход. Ауфидерзей! — бросает он и, пригнувшись, бежит в сторону от дороги.

— Эй! Каску отдай! Не твоя! — кричу я вдогонку.

Лешка, обернувшись, машет рукой.

— Ладно! Не надо каска, — говорит Попов. И идет на площадку. Я, приподнявшись в укрытии, гляжу на удаляющегося Лешку.

— Верно Попов делай? — спрашивает у меня наводчик. Ошеломленный тем, что произошло, я молчу, и Попов сам себе отвечает:

— Верно. Лукьян хорошо солдат. Хорошо пиши надо. Приказ надо. Людей спасай надо.

Он вылезает из укрытия к орудию, а я, сидя возле Лукьянова, мучительно пытаюсь сообразить что-то.

Вдруг рядом раздается тихий протяжный стон. Это Лукьянов. Я поворачиваюсь, тихонько касаясь его колена.

— Лукьянов! А Лукьянов!

Он ослабело приподнимает веки.

— Плохо... Душит... Ох!..

— Потерпи, брат, — говорю я. — Отобьемся — как-нибудь выручим.

— Только не бросайте! — безразличный к моим утешениям, просит он. — Лучше добейте... Застрелите.

В таких случаях обманывать человека нельзя. Он не поверит. И я обещаю:

— Ладно! Так не оставим.

— Спасибо, — тихо шепчет Лукьянов. — В голову только. Чтоб сразу...

Он снова закрывает глаза. Лоб его покрывается обильной испариной. Дыхание неглубокое и частое-частое...

Я думаю: вот он — тихий истощенный болезный человек, так мало приспособленный для такого ада, чем была война, победил сегодня самого себя. Это было так трудно — броситься туда, навстречу верной гибели, и он, наверно, с ужасом в душе, но решился, не струсил. А вот Задорожный струсил. Забился под бруствер, спрятал голову, отсиделся в окопе... но ведь вот теперь побежал. Сквозь огонь и смерть, а потом побежит обратно. Это ведь тоже храбрость. И вдруг меня ослепляет тоскливая мысль: а вдруг это он из-за Люси? Да, да, это так! Она там, в тылу, и он будет с ней. Они встретятся. Мы, может, погибнем, а они останутся вместе.

Я теряю самообладание, вскакиваю в укрытии, начинаю метаться от стенки к стенке.

* * *

— Лозняк! Лозняк! — вдруг окликает меня с площадки Попов. Это неожиданно, хотя тревоги в его голосе и нет. Я вскакиваю из укрытия. Наводчик приподнимается на станине, а навстречу ему через бруствер перелезает незнакомый солдат.

— Отвоевався! — сообщает он нам каким-то неуместно легкодумным тоном. Мы же с Поповым настораживаемся. Лицо у солдата неестественно бледное. Оружия у него нет. Правой рукой он сжимает левую, перетянутую у запястья узеньким брючным ремешком. Перебитая кисть с растопыренными сизыми пальцами кое-как держится еще, свисая на кончике кожи.

— Отвоевався! От бачить — ранен. У кого е ножик?

— Ой, ой, — говорит Попов. — И не болно?

— Отстал, — невпопад отвечает солдат. — Вси погибли, а мене як вдарить! Коли встал, гляжу, никого нигде нема.

— Ты что, не слышишь? — кричу я в самое его лицо. В его глазах на мгновение мелькает напряженность мысли.

— Из шестой роты я. Панасюк. Таперича додому, — снимая с плеча вещмешок и усаживаясь под бруствером, говорит он. — На, одриж, хлопец.

Подхватив здоровой рукой, отвисшую кисть он подставляет мне. Я бегу в укрытие, быстро достаю из кармана Желтых его нож и возвращаюсь. Отрезанную кисть Панасюк кладет в ямку под бруствер и ботинком сдвигает на нее песок.

— А бинтец е? — спрашивает он без намека на боль. — Теперь полечусь и — в Ивановку. Рука не беда. Специальность у мене — пчеляр, и однoруч управлюсь.

Из оголенной раны падает на песок несколько капель крови.

— Дай гимнастерку, — дергаю я за его подол. Солдат поднимает на меня удивленные глаза.

— Ну, скажешь! Вона ж нова: тильки в травни отримливали. Лучше от спидняй одирви.

Я вытаскиваю и отрываю клок нижней сорочки. Затем коекак обертываю его обрубок.

— Отвоевався, — снова довольно говорит он. — От тильки медаль згубыв, — показывает он взглядом на грудь. На левой стороне ее висит серая с ушком колодочка от медали «За отвагу». — Тэпэрыча не с чым и додому показатыся.

Мы молчим и во все глаза глядим на него.

— Ну вот, гарно, — говорит он, когда я заканчиваю перевязку, и поудобнее устраивается под бруствером. Вещмешок он пододвигает под локоть. — Спичну трохи и пийду.

— Куда ты пойдешь? Кругом немцы! — кричу я в самое его ухо.

— Га? Винницкий я.

Мы переглядываемся с Поповым. Панасюк устало закрывает глаза и медленно склоняет голову.

* * *

— Где Лошка ходит? — озабоченно спрашивает Попов и оглядывается. Я тоже оглядываюсь. Над деревней стоят кучи дыма, разрывы по-прежнему рвут землю. Вдруг Попов, энергично крутнувшись, оглядывается назад.

По дороге из-за немецких пригорков, подняв хвост пыли, выползает колонна машин.

Передышка кончилась.

Попов здоровой и забинтованной руками хватается за маховики наводки, быстро поворачивает ствол. Я, поскользнувшись на гильзе, хватаю в ящике снаряд и толкаю его в казенник. Снаряд не доходит. Черенком лопаты я толкаю в донышко гильзы — затвор, лязгнув, закрывается.

Машины быстро мчат по дороге.

— Скоро! Скоро! — кричит Попов.

Надо развернуть станины. Вцепившись в правила, мы с усилием поворачиваем орудие. Попов снова припадает к прицелу. Быстро крутит маховичок поворота. Передняя машина вот-вот скроется за пшеницей. И тут: «Гах!»

На дороге сразу же вспышка. Машина съезжает в кювет, сваливается и горит.

— Заряжай!

Я на коленях опять вгоняю снаряд. Пот слепит глаза. Вытираться некогда. Хватаю следующий. Попов бьет. Кривенок в окопе густо сыплет из пулемета. Горящую машину пытается объехать следующая, но Попов настигает и ее. Она останавливается, и из ее высокого кузова ссыпаются на землю немцы.

Больше я не гляжу на дорогу. Попов бьет ловко и чисто. Я, ползая на коленях в пыли выстрелов, едва успеваю заряжать.

— Давай! Давай! Давай! — кричит Попов. И стреляет, стреляет. Между станин у нас куча гильз. В конце огневой десяток пустых ящиков. Ниша в окопе уже пуста. Вдруг я обнаруживаю, что мы расстреливаем последний ящик. Я останавливаюсь со снарядом в руках, Попов удивленно оглядывается.

— Последний.

— Да. Вот пять штук и все.

Я кладу снаряд обратно. Попов вытирается рукавом и глядит на свою работу. Три машины на дороге горят, две кособоко стоят в кюветах. Передние все же прорвались в деревню, задние повернули назад.

Мы опускаемся меж станин и, трудно дыша, тупо глядим на пять последних снарядов. Наконец Попов встревоженно оглядывается. Он ждет Задорожного.

— Ой, Лошка!

Я начинаю перекидывать ящики — в надежде найти где-нибудь завалившийся снаряд. Но все они легкие и пустые. Из окопа от пулемета за мной наблюдает молча мрачный Кривенок.

— Все. Больше нет, — говорю я Попову.

Уронив на колени руки, мы садимся на станины. И тут я впервые обращаю внимание на Панасюка. Он сидит на прежнем месте под бруствером, подобрав под себя вещмешок. Голова его, однако, как-то неестественно обвисла. Я тихонько толкаю его сапогом.

— Эй ты! Иди в окоп.

Но Панасюк не шевелится. Тогда я поднимаюсь, тормошу его. Голова Панасюка неестественно перекатывается по шее, в прищуренных глазах смерть:

— Гляди, умер!

Удивленный, я несколько секунд гляжу на него.

— Помирал, — соглашается Попов. — Давно помирал. Там помирал, — показывает он на пехотную траншею, откуда пришел этот солдат.

Эта неожиданная и, казалось, беспричинная смерть незнакомого мне человека потрясает меня. Ведь вот же он только что был жив и имел право жить, ведь он же действительно отвоевался, и надо же было именно после этого так тихо и нелепо умереть!

— Тащи его яма. Тут не надо ложись, — говорит Попов.

Я беру Панасюка за руки и оттаскиваю его в укрытие. Там опускаю у стенки рядом с Лукьяновым. Лукьянов еле дышит. Я трогаю его, но он не реагирует. Несколько минут я молча гляжу на покойников.

Вдруг слышится голос Попова:

— Кривен! Огонь! Огонь!.. Нашто молчи? Огонь!

Я выскакиваю из укрытия, так и есть: с дороги от подбитых машин к пшенице, пригнувшись, воровски перебегают немцы.

— Кривен! — кричит Попов.

Но Кривенок молчит.

На коленях я подползаю к окопу, заглядываю в него. На бруствере стоит пулемет, рядом валяются пустые ленты. Кривенка здесь нет.

Мы молча переглядываемся с Поповым. На его скуластом, буром от пота лице — растерянность.

— Немец ходи? Плен ходи?

Я молча пожимаю плечами.

Немцы тем временем скрываются в пшенице. Попов смотрит то на дорогу, то на снаряды в ящике. Но их у нас только пять. Вдруг он хлопает себя рукой по бедру.

— Ой дурной! Попов! На что послал Лошка? Хитрый Лошка! Нехороший Лошка! Бросай нас Лошка! Снаряд мало — плохо. Кривен нет — плохо! Много-много плохо!

Я тоскливо наблюдаю за немцами на дороге. Между машин их не видно, наверно, все уже перебежали в пшеницу. Теперь надо ждать оттуда.

Нет! Не хочу верить, что Лешка нас бросил. Это уж слишком и для Лешки. Как посмеет он не прийти? Его заставят, даже если он не захочет. Только бы пробился к своим! Может, ему дадут в подмогу автоматчиков? Они спасут нас, иначе не может быть. Только бы продержаться! Как можно дольше держаться!

Где-то по щиту пушки звонко звякает пуля. Это из пшеницы. Мы пригибаемся. Попов, выждав, выглядывает из-за щита. В пшенице, заходя нам в тыл, разбредаются немцы. Наводчик обессиленно садится на землю.

— Лозняк! Кривен! — вскинув голову, говорит он. — Окоп копай надо. Глубоко копай. Плохо будет...

Я лезу в окоп и берусь за лопату.

* * *

Прислушиваясь к звукам наверху и стоя на коленях, я копаю. Окопчик наш обмелел, края обрушились. Под лопатой какая-то одежда. За рукав я вытаскиваю из песка измятую шинель. В поле рваная дыра. На погонах широкая полоска. Это шинель Желтых. Под ней его вещевой мешок с чернильной надписью на боку. Вещи погибших всегда обретают какую-то новую значительность. Я, присев, рассматриваю их. В вещмешке что-то непонятно твердое. Развязываю лямки. Вафельное полотенце. Сверток грязного белья. Новенькие еще портянки. Запустив руку поглубже, достаю два куска твердой подошвенной кожи, мотоциклистские перчатки. Какую-то испещренную немецкими надписями шкатулку...

С минуту сижу в раздумье над всем этим...

Затем заталкиваю все обратно и, не завязывая лямки, со злостью швыряю вещмешок за бруствер.

* * *

— Лошка! Лошка иди! Лошка! — вдруг кричит наверху Попов. Отбросив лопату, выскакиваю на площадку. Попов здоровой рукой показывает в сторону от деревни в поле. По склону далекого холма кто-то бежит.

Это еще далеко, но уже отчетливо видно, как быстро катится в нашу сторону маленькая одинокая фигурка человека в зеленовато-желтой выцветшей на солнце одежде.

На некоторое время человек исчезает в лощине, потом снова показывается из-за ближнего гребня и быстро бежит вниз.

— Молодец Лошка! — радостно говорит Попов.

Прилив внезапной огромной радости наполняет меня. Сейчас он будет здесь! Он принесет нам избавление! Комбат уже знает о нас, он позаботился, он что-то нам посоветует, чтобы спасти нас. И Лешка! Напрасно я так скверно думал о нем. Оказывается, вовсе неплохой он, только грубоват. Но ведь он — товарищеский и смелый. Разве это не искупает мелкие его недостатки? Только бы он прошел, только бы не помешали ему немцы!..

Я оглядываюсь на дорогу, пшеницу — там никого не видно пока. Но ведь они там. На дороге догорают автомобили. Вблизи едва заметно дымит подбитый нами танк...

Но почему это умолкает Попов? Я гляжу на него. Он по-прежнему не отрывает взгляд от Лешки, но лицо его медленно хмурится, радость исчезает, взгляд заволакивает тревожной напряженностью. Я опять вглядываюсь в поле и тут только начинаю различать, что это не Лешка! Он действительно бежит к нам, но это не солдат, не мужчина — это ведь женщина в военном. Еще минуту я тревожно вглядываюсь и вскрикиваю:

— Люся!!!

— Правда, Луся, — соглашается Попов и его потное лицо снова яснеет. Несколько минут мы, не отрываясь, глядим, как мелькают и мелькают в траве ее быстрые ноги и развевается на ветру золотистая шапка коротких волос. Одной рукой она придерживает на бегу санитарную сумку.

— Вот молодец! Ну, молодец! Ох, молодец! — восхищается Попов, навалясь грудью на бруствер. На его вспотевшем широком лице — добродушная наивная улыбка.

Люся подбегает все ближе.

Несколько пуль бьют по огневой, чвикают по брустверам и пушке. Попов подается ниже, я плотнее прижимаюсь к земле. Очередь из пшеницы гремит снова.

На минутку Люся исчезает в низинке, затем снова показывается уже ближе. И в это время из пшеницы гремит длинная очередь. Я стремглав бросаюсь в окоп, хватаю пулемет, но в лентах пусто — ни одного патрона. Тогда я выскакиваю на площадку, толкаю в ствол один из пяти снарядов и прикладываюсь к прицелу. Из пшеницы торчит ствол пулемета, я быстро навожу в него.

— Гах!

— Лозняк! — оглянувшись, кричит Попов и, подскочив к ящику, одной рукой захлопывает крышку.

Пулемет молчит. Люся от взрыва на секунду останавливается, окидывая поле взглядом, и уже напрямик бежит к нам. Нам уже хорошо видно, как горячо сверкают на солнце ее волосы, поблескивает медаль на груди. Под коротенькой юбчонкой быстро-быстро мелькают ее коленки. Она уже видит нас и улыбается — радостно и обнадеживающе.

Но вот она снова падает и тотчас доносится очередь, на этот раз из траншеи. Я быстро поворачиваю голову — над бруствером вдали мелькают черные каски бегущих там немцев.

Они нас обходят уже с трех сторон! Эх, куда ты бежишь, Люся? Как же ты выберешься из этой западни? Что-то надо сейчас же сделать, что-то предпринять, иначе... Иначе будет поздно. Но что? Что? Что сделать?

— Ложись! — кричу я Люсе. — Ползком. Ползком!

— Луся! Ползай! — кричит и Попов.

Люся понимает и падает в заросшую травой стерню.

И вот она уже близко. Из траншеи стреляют, но, очевидно, наугад, ибо в траве не видят ее. Нам отсюда тоже едва-едва заметно, как шевелится трава и временами показывается только узенькая гибкая ее спина да проблескивает на солнце ее золотистая голова. Ползет она ловко и быстро.

И вот она у самого бруствера.

— Быстро! Быстро! Рывком! — подгоняю я. Несколько секунд перед последним усилием она устало лежит, по-прежнему как-то обнадеживающе улыбаясь нам. Потом вдруг вскакивает и кувыркается в укрытие. Мы бросаемся навстречу.

Потом, запрокинув голову, она сидит под стеной и часто, суматошно дышит. Тонкие ноздри ее ровного носика лихорадочно раздуваются. На шее бьется тоненькая синеватая жилка. Устало и неровно дрожат на земле ее исцарапанные тонкие пальцы.

Как это я мог думать плохо о ней? Почему я так сомневался в ее чистоте и ее святости? Почему это? От собственного ничтожества? От нелепых труднейших обстоятельств? Или, может, это — то самое чувство, что издавна люди называли ревностью? Все это мне непонятно. Только теперь все оно просто нелепо. Ведь вот она, может быть, впервые передо мной — такая ничем не омраченно любимая.

— Ой, хлопчики... хлопчики... — хочет сказать она что-то, но только задыхается от усталости.

— Отдыхай мало-мало... Отдыхай, — говорит Попов, сидя на коленях и с благоговением глядя на нее.

Она постепенно превозмогает усталость, чуть-чуть ровнеет ее дыхание. И она говорит:

— Вот... Приказ принесла... Комбат сказал... расстрелять снаряды и... уходить.

Я вскакиваю, срываю с головы пилотку и бью ей о землю.

— Зачем прибежала? Что, солдат не было? Куда бежала? Куда вот теперь к чертям пробьешься?

Люся виновато молчит.

Попов, раскрыв свои узкие с будто припухшими веками глаза, какое-то время поглядывает на нее, затем зло сплевывает в песок.

— Правда говори Лозняк. Зачем бежал? Поздно бежал. Не надо бежал. Теперь что делай?

— Ладно, хлопчики. Не злитесь на меня, — вздыхает Люся. — Как-нибудь выберемся.

Она выпрямляет голову, и взгляд ее падает на наших покойников. Тревожная озабоченность мгновенно гасит усталое возбуждение на ее лице.

— Кто это?

— Панасюк из шестой роты, — мрачно говорю я. — А там Лукьянов и командир.

— Командир?

— Командыр, командыр, Луся, — вздыхая, говорит Попов.

Люся страдальчески хмурится. Мы тоже умолкаем.

— А Кривенок где? — спрашивает Люся.

— Кривенок пошел, — говорит Попов.

— Куда?

— Так. Пошел одно место.

Однако Попов врать не умеет, и Люся недоверчиво смотрит на него.

— Где Задорожный? — спрашиваю я.

Люся выходит из оцепенения, вздыхает, поджимает под себя ноги, поправляет коротенькую юбчонку на исцарапанных коленках и говорит:

— Задорожный ранен. В руку. Я вот за него...

— Почему так? — хмурится Попов.

По огневой наверху откуда-то бьет очередь. Выждав, я тихонько выглядываю и вдруг хватаюсь за автомат. Через бруствер с мелким металлическим звоном падает возле станин моток немецких пулеметных лент и следом переваливается потный, перепачканный землей Кривенок. Рубаха на нем завернулась, нижняя сорочка выбилась из брюк. В его левой руке широкий эсэсовский кинжал, в правой автомат. На кинжале кровь.

— Кривенок!

Все мы — я, Попов и Люся кидаемся к нему, но очередь вынуждает нас залечь на выходе из укрытия. Кривенок, пригнувшись, заползает под орудийный щит.

— Где, зачем ходи? Почему никто не сказал? — набрасывается на него Попов. Кривенок, отдышавшись, привстает на коленях и начинает заправлять в брюки подол гимнастерки. Потом вытирает о них кинжал. На его лице какое-то мрачное безразличие к нам.

— Где был? — спрашиваю я.

Он впервые направляет на нас недружелюбный взгляд.

— А вам что? — спрашивает он и сообщает: — Вон пехота с фланга ушла.

— Как ушла? Куда ушла? — удивляется Попов.

— Не спрашивал! — отрезает Попов.

Мы оглядываемся на фланг прорванной обороны, туда, где наша траншея поднимается на покатый холм, и видим там редкие группы людей. Задние несут БТР, кто-то тащит станковый пулемет. Они переходят открытое место и по одному скрываются в лощине, что ведет в тыл. В траншее уже никого не видать.

И вот мы совсем уже одни в этом огромном поле — покинутые, отрезанные от своих, с пятью снарядами в ящике, пушкой и спасительным, но опоздавшим приказом. Уходить отсюда уже поздно и вдобавок ко всему в этой западне еще и Люся.

На лице у Попова тоска и растерянность. Я сжимаю челюсти. Люся молчит. Только Кривенок, будто давно примирившийся со всем, волоча за собой ленты, лезет в окоп. Какое-то время все мы уныло молчим, сидя в укрытии. Потом Попов говорит:

— Воевай надо! Стой надо! Крепко стой надо! Будешь крепко стой — жить будешь! Не будешь крепко стой — пропадай будешь.

Он берет из-под стены автомат и выползает к орудию.

* * *

Сидя в укрытии, я снаряжаю диски. Пальцы мои плохо слушаются: патроны в пазах падают, я выколупываю их и снова ровненько укладываю. Рядом ощупывает Лукьянова Люся. Она серьезная и очень усталая. На откинутой руке Желтых тихонько тикают его часы. Стрелки показывают пять часов дня.

Только еще пять часов, а кажется, с утра прошла целая вечность, целая эпоха, за которую погибло столько людей. Столько натерпелись живые, столько передумали, пережили! Другим, наверное, хватило бы такого и на жизнь...

Очень хочется пить, спать, очень устали нервы. Но где-то сама по себе живет во мне тихая слабенькая радость, и я чувствую это от Люси. Я ощущаю ее тут, слышу ее дыхание, каждое ее движение рядом, только я очень боюсь, удастся ли нам уберечь ее?

Люся приподнимает голову Лукьянова, отстегивает от пояса флягу и подносит ее к его иссохшим губам. Вода льется по за-

мыленной шее, течет под воротник, Лукьянов тихо вздрагивает, царапает пальцами землю и слабо пробует встать. Запекшиеся губы его шепчут:

— Я сейчас... Сейчас...

— Не надо. Лежите. Нате, еще пейте, — ласково говорит ему Люся и наклоняет фляжку. Лукьянов пьет. Кадык на его худой шее судорожно ходит вверх-вниз. Наконец солдат поднимает посиневшие веки.

— Спасибо, — тихо говорит он. Затем беспокойно оглядывает бруствер, небо и встревоженно спрашивает: — Немцы?

— Лежите, лежите, — успокаивает его Люся. — Все хорошо. Лежите. Не надо о немцах.

Видно, это настораживает Лукьянова, глаза его сосредотачиваются, становятся зорче, он переводит взгляд на сторону убежища.

— Мы не в санчасти? Нет?

— Молчите. Нельзя вам разговаривать — хуже будет, — будто ребенку, разъясняет Люся. Лукьянов как-то спокойно опускает веки, прикусывает губы и в настороженном раздумье спрашивает:

— Кажется, я умру? Да?

— Ну что вы, — удивляется Люся, — зачем так думать? Вот отобьемся, возьмут вас в госпиталь и все будет хорошо.

— Отобьемся, — шепчет Лукьянов, кусает губы и снова пробует встать.

Люся мягко, но требовательно укладывает его на спину. Вдруг каким-то чужим, натужным голосом он сипит:

— Где мой автомат? Дайте автомат!

— Ну лежите же! Что вы такой неспокойный! — уговаривает Люся.

Я заряжаю три автоматных диска, потом ползу по ту сторону площадки в окоп, чтобы подобрать наши запасы.

Наверху, кажется, стало тише. Грохочет где-то вдали за деревней — а тут только кое-где стреляют и эхом раскатываются в небе винтовочные выстрелы. Попов из-за колеса наблюдает за полем. Я переползаю площадку и падаю в окоп, в котором одиноко сидит Кривенок. Он бросает на меня неприязненный взгляд и подтягивает под себя ноги.

— Лукьянов ожил, — говорю я. — А ты все злишься?

Кривенок прижимается к стенке и ничем не реагирует на мои слова. Это, наконец, злит и меня — нашел время показывать характер, когда тут вся наша жизнь еле держится на волоске!

— Ну и напрасно, черт бы тебя побрал, — говорю я. — Что ты надулся! Ты знаешь, что нам драться придется?

— Открыл Америку!

— Ну?

— Ну и черт с нами! — бросает он и умолкает.

Я разрываю землю возле ниши, нападавшую с бруствера, выкапываю три наши гранаты, вытягиваю из-под песка тяжелые просмоленные пачки с патронами. Прижав все это к груди, начинаю готовить гранаты. Люся сидит, как сидела, над Лукьяновым, опершись на откинутую назад руку. Лукьянов стонет и часто прерывисто говорит:

— Ну зачем обманывать? Зачем? Разве этим поможешь?!. Знаю, все! Умираю ведь...

Люся молчит, очень озабоченно глядя на него, а Лукьянов, передохнув, продолжает:

— Ну что ж... Только не думал... Ужасно бессмысленно и зря. Конец! — говорит он и умолкает. Бледное лицо его покрывается обильным потом. — Конец всему. Теперь нечего скрывать! Зачем? Кто я на войне? Трус презренный! — тихо, но с внутренней силой говорит он. — Всю жизнь боялся. Всех! Всего! И вот... Ведь я врал про плен-то...

Я удивляюсь. Поднимаю на него глаза. Встречаюсь с его взглядом, но он отводит свой в сторону.

— Да, Лозняк, я тебе врал. В плен сам сдался. В окружение попал, ну и... Только потом начал понимать. Да поздно. И вот — все. Эх, зачем было, — хрипит он. — Ну что ж... Что поделаешь? Храбрость — талант. А я бесталанный! Для войны бесталанный. Будь она проклята, эта война!

— Эх, Лукьянов! Ну что же ты так? — говорю я.

Не часто приходится нам слышать такое. И это его неожиданное признание озадачивает. Значит, совсем он не тот, за кого выдавал себя. Мало, что он трус, он еще и обманщик? Но мы чувствуем его неподдельную предсмертную искренность и знаем, что далась она ему нелегко, и потому не презираем его.

— Дайте гранату, — просит Лукьянов, напрягшись, он приподнимается на локте, вперив в меня дрожащий затуманенный взгляд.

— Лежите, лежите. Нельзя вам так.

— Лозняк! Может, в последний раз... Повезет... Убью гада! Чтоб не напрасно...

Я сую в его руку «лимонку» и отворачиваюсь.

Лукьянов падает спиной на землю. По его грязным щекам сползает две слезы.

— Спасибо! — умиротворено и ослабленно говорит он. — И вам спасибо, — поднимает он взгляд на Люсю. — Поберегите себя. Вы красивая! Это так много... И не надо так... жалеть нас. Не стоит.

В укрытие заглядывает Попов.

— Лукьян жив?

— Живет еще, — тихо отвечает Люся. Она очень серьезная, какая-то собранная и повзрослевшая за этот день. — Идите, перевяжу.

— Скоро приду, — улыбаясь говорит Попов. — Немец маломало гляжу.

Он исчезает. Вскоре Люся с досадой говорит:

— Опять! Опять потерял сознание. И воды нет.

Кусочком ваты она вытирает с лица Лукьянова пот. Я подхожу и сажусь рядом с ней. Она достает из сумки какой-то пакет, открывает флакон.

— Держи!

Я помогаю ей, а Люся что-то вливает в полураскрытый Лукьянов рот. Он, однако, больше не раскрывает глаза.

Я впервые так близок к Люсе и впервые нас двоих объединяет общая беда. Рядом лежат убитые и умирает наш пятый товарищ, но я почему-то не чувствую особой остроты этой потери. Видно, нервы притупились, привыкли к неизбежности. Но вот близкое Люсино соседство какой-то неизведанной волнующей теплотой охватывает меня. Из самых потаенных глубин моей души поднимается волна ласкового чувства к ней. Что-то теплое, даже не дружеское, а братское вливается в мое сердце. Очень хочу прикрыть ее, защитить, не дать в обиду. Теперь мне не так уже важны их отношения с Лешкой, с тем капитаном Мелешкиным, теперь она со мной и разлучить нас может разве что смерть.

«Милая хорошая девчушка! — хочется сказать мне. — Я люблю тебя! Люблю! Навсегда! Навеки... — пусть мы погибнем, пусть пропаду я, все равно я буду любить тебя до последнего мгновения. Как же мне без тебя?»

И мне почему-то становятся слышны мои слова, может, я говорю их вслух — я гляжу на Люсю — нет, она сидит в задумчивости...

А что, если сказать?

Так вот, как думаю и чувствую, скажу — пусть знает, что из того, что наша жизнь еле теплится, что лежат четверо наших товарищей — наша ли в том вина, что судьба уготовила нам такую молодость? Что будет после того, как я признаюсь

в этом, — не могу представить. Но, видно, та необыкновенная значительность, которая наступит после моих слов, и не дает мне решимости.

— Люся! Побереги ты себя. Прошу, — говорю я и с затаенной надеждой на то, что она уступит мне, согласится, гляжу на нее. Люся словно пробуждается, вздыхает и печально улыбается одними уголками губ.

— Как? Может, бежать? Бросить раненого?

— Зачем? Бежать некуда... Но все же... — возражаю я, хотя и чувствую, что сказать нечего.

— Все же, все же... Немножко сподличать, да? Война спишет? Думаешь, я зачем примчалась к вам? Оттого, что подлость доняла, вот! Задорожный ведь в санроту прибежал за бумажкой с красной полоской — в тыл, значит. Я говорю — а как же хлопцы? А он: хлопцы уже... отстрелялись. К тому же я ранен, говорит. А рана там — царапина одна. Вот как! — говорит Люся.

Я немею. На минуту забыв о немцах, осовело гляжу в строгие, но по-прежнему очень ясные Люсины глаза.

— Этого от Лешки я не ждала. От кого хочешь, но не от него, — нервно продолжает Люся. — Выбежала, смотрю — вы тут бьетесь. Оставила его в санчасти, бросила все, полетела. И разрешения не спросила... Только вот... опоздала.

— Подлец! — вырывается у меня. — Надо было комбату доложить.

— Что докладывать! — говорит Люся. — Все же он ранен, формально прав. Правда, с такой раной никто его в тыл не пошлет.

— Да, формально он прав. Сволочь! — говорю я. — Попов! Ты слышал?

— Слышал, — говорит Попов, лежа под бруствером. — Морда бить надо!

Он лезет здоровой рукой в карман, достает пачку папирос, взглянув на нее, прячет опять и вытаскивает кисет. Размахнувшись, бросает его в укрытие.

— Лозняк! Папирос крути мне.

И вдруг пуля бьет ему в голову. Падает пилотка. Опускается голова. В землю каплет кровь.

— Ну, подлая тварь, — возмущаюсь я, не видя ничего этого. — Только бы добраться до него. Я ему не морду набью. Я убью его.

Я говорю это и сбоку гляжу на Люсю. Ее лицо по-прежнему сосредоточенно и печально. Я свертываю цигарку.

— И зачем ты его послал, Попов?

Попов молчит.

Я выползаю из укрытия и с папиросой ползу к Попову. Но он почему-то лежит ничком, уткнувшись лбом в бруствер.

— Попов!

Быстро бросаюсь к нему, переворачиваю на спину его тело. Полузакрытые веки его несколько секунд часто-часто вздрагивают и медленно утихают.

Я не понимаю, что тут случилось, ощупываю голову Попова, где-то в волосах кровь — она остается у меня на ладони. Потом я выглядываю над бруствером. По щиту пушки бьет пуля.

— Берегись! Берегись! Лозняк! — кричит из укрытия Люся. Я пригибаюсь, беру наводчика под мышки и с отчаянием в душе волоку его. В конце площадки меня встречает Люся. Вдвоем мы оттаскиваем его в укрытие. Люся сразу же наклоняется над ним, расстегнув гимнастерку, припадает к груди и вскоре медленно отстраняется.

Несколько секунд мы неподвижно сидим над ним и молчим. Я едва сдерживаю слезы и стараюсь проглотить тугой комок, подкативший к горлу.

* * *

За руки и за ноги мы с Люсей укладываем Попова в солнечный припек у ног остальных. Потом садимся на землю. Долго молчим.

Вот он лег и четвертый. Пока это не я! Но с каждым из них все ближе и мой черед. Хотя бы дотянуть до вечера. Или, может, собраться и кинуться на прорыв? Может, кое-кому удалось бы? Но кому? Мне? Люсе? Кривенку?

Нет, только стоять! Так говорил Попов. Я тоже думаю так. Иначе нельзя. Правда, я не герой, не храбрец — я, кажется, самый обыкновенный солдат. Но я постараюсь. Вот из-за них постараюсь. Тут Люся, для нее постараюсь.

Тихо. Солнце клонит к вечеру. На часах Желтых без четверти восемь.

— Эй, вы! — вдруг кричит из окопа Кривенок. — Вон Фриц ползет.

Я хватаю автомат и вскакиваю. Вскакивает Люся. Осторожно выглядываем из-за бруствера. Возле танка между разбросанных снопов что-то шевелится, будто кто-то ползет. Я говорю:

— Может, наш кто?

— Фриц, — утверждает Кривенок.

Отсюда плохо виден этот человек, хоть он и ближе к нашему укрытию, чем к окопу Кривенка, но Кривенок вскоре лязгает затвором.

Да, видно, это все-таки немец. Мы замечаем только, как прогибается, шевелится трава и из нее то и дело высовывается темная спина. Кривенок, однако, почему-то медлит, не стреляет, и тогда издали слышится слабый страдальческий стон:

— Пауль! Пауль!

Немец! И, кажется, раненый. Он ползет, судорожно, медленно, пластом прижимаясь к земле. Люся надламывает свои узкие русые брови и просит Кривенка:

— Не стреляй! Погоди! Может, у него вода...

Я то прячусь за бруствер, то снова выглядываю. Опять рядом брызжет в лицо землей. Из подсолнухов доносится выстрел. «Следят, сволочи!» Немец тем временем то ползет, то замирает, слышится его натужное «Пауль! Пауль!». Я беру автомат и отвожу рукоятку. Присев над бруствером, мы ждем.

Сначала с бруствера скатывается ком земли, потом еще два, и затем появляются две страшные, обожженные до красноты руки. Они высовываются из обгоревших манжет рукавов, напрягаются, вгребаются в бруствер, и вот из-за комьев показывается голова с непонятно короткими, курчавыми от огня волосами. Немец поднимает лицо, и мы с Люсей одновременно ужасаемся. Лицо его, как и руки, сплошь в бело-красных ожогах, веки на глазах слиплись, запали и не раскрываются.

Какое-то время мы неподвижно вглядываемся в это привидение, потом я строго командую:

— Вниз! Быстро! Шнель!

Но немец, оказывается, не слышит. Ничто не меняется на его лице, он все как бы вглядывается в пустоту и стонет:

— Пауль!

Я хватаю его за плечо, рывок на себя — обрушивая комья, немец переваливается в укрытие и падает наземь. Заметив нашу суетню, из пшеницы бьют несколько пуль, но мимо.

И вот он лежит в укрытии. Это чуть живой немец-танкист, молодой, видно, наших лет парень. Широко раскинув ноги, он тяжело стонет. Комбинезон его весь в пропалинах, местами на одежде курится дым. С чувством гадливости я смотрю на этот живой труп, а Люся, присев подле, быстро ощупывает комбинезон и отстраняется.

— Нет ни пистолета, ни фляги.

— Ага, припекло, чертов фриц! — говорю я со злостью и поддеваю его сапогом в бок, чтоб отодвинуть подальше. Люся вскидывает на меня свои строгие глаза.

— Зачем так? Умирает ведь!

— Черт с ним, что умирает.

Люся, однако, с какой-то непонятной мне терпимостью берет его под мышки, оттаскивает из-под ног и кладет рядом с Поповым. *Пятый. Странно, не думал, что пятым тут будет немец.* А немец стонет и каждую минуту судорожно вздрагивает. Девушка ловко расстегивает на его груди молнию, и там, на кармане мундира, никелированной каймой блестит «железный крест». Этот крест вдруг вызывает во мне острую неприязнь к танкисту. Сорвав его, я бросаю за бруствер, потом обшариваю его карманы. Там множество разных книжечек, бумажек, масленка из красной пластмассы, часы в футляре, несколько потертых писем в узеньких конвертах, расплющенная авторучка и расческа в металлическом футляре. Коротко взглянув на каждую вещь, я швыряю ее через бруствер.

Я хочу найти повод, чтоб оправдать мою злость, хочу увидеть в этом танкисте виновника всей нашей сегодняшней трагедии. Но в этих бумажках только цифры, номера, немецкие слова, написанные неразборчивой скорописью, и всюду свастика, орлы, синие, красные, печати. Но вот завернутые в целлофан снимки с замысловатым обрезом. На первом — улица какого-то аккуратного немецкого городка с островерхими крышами, готическими вывесками. Грейсфальд — написано внизу. На втором — снята группа юношей на стадионе, у переднего на траве футбольный мяч, среди них, наверное, и этот танкист, на третьем интересная блондинка с локонами до плеч. Она мило улыбается с фотографии. Четвертый снимок заставляет меня задуматься.

На нем, безусловно, этот наш «недогарок». Заложив назад руки, он стоит в мундире. На выпяченной его груди тот самый крест. Глаза немца, однако, невесело поглядывают куда-то на мое ухо. Рядом в кресле сидит немолодая уже, одетая в траур женщина, лицо ее грустно, заплаканно, в глазах тревога.

Чем-то не нашим, далеким, чужим, но и понятным повеяло вдруг на меня от этого снимка, и я стараюсь разобрать надпись на обороте.

«Майн либер кнабе! — выведено синими чернилами. — Фюр мих бист ду дер лецте, ундер ду золост даран денкен, Зай форзихтих. Ду бист майн. Ду рост ихт дэм офицер, генераль, одер фюрер, сондерн алляйн мир. Ду бист майн! Майн!

Дайне цуттер. 29.III.44»[1].

Я долго стою с фотографиями в руках.

Я хочу быть злым, злость придает мне силы, но я теряю ее вместе с остатками этой силы.

Погибают наши, гибнут немцы, гибнут молодые и старые, хорошие и злые, подлые — и кто виноват? Один Гитлер? Нет: чувствую я, не один Гитлер, великая несправедливость царит в мире, который издавна истекает людской кровью! Мне хочется закричать на все поднебесье. Страшно, не по-людски, выругаться...

«Глупая фрау, — думаю я. — Чего захотела в такое время: присвоить собственного сына! Хватит того, что ты родила его, взрастила и отдала. Теперь он не твой. Он принадлежит всем: офицерам, ефрейтору, гитлерюгенду, фюреру. Только не тебе, отняли у тебя это право на него живого. И на мертвого. Нет у тебя и последнего. Все! Ты одна!»

* * *

— Идут! Они идут! — отшатывается от бруствера Люся и хватает из-под ног автомат. Я вскакиваю. Из траншеи редкою цепью идут сюда человек тридцать немцев. Слегка пригнув головы в касках, с подвернутыми рукавами мундиров. Передние уже отошли от бруствера, сзади еще кое-кто вылезает из траншеи и догоняет остальных.

Молча, пригнувшись, я вскакиваю на площадку и со звоном вгоняю в казенник снаряд. Горячая резина наглазника обжигает лоб. В прицеле отчетливо видны увеличенные полусогнутые фигуры, торопливые шаги широких сапог. Кто-то на ходу сменяет магазин, выдернув его из-за голенища.

— Гах!

Сзади что-то кричит Люся. Оказывается, она здесь, подает мне снаряд и кричит. Я выхватываю у нее снаряд. Но что это? Ствол остается на откате, по земле из-под низко нависшего казенника течет зеленоватый ручеек веретенки.

Бросив между станин снаряд, я упираюсь руками в казенник, нечеловеческим напряжением толкаю ствол вперед. Медленно он возвращается на место. Торопливо заряжаю.

---

[1] «Мой милый мальчик! У меня ты остался последний, и ты должен помнить это. Будь осторожен. Ты — мой! Ты не офицеров, не генералов, не фюреров — только мой! Ты мой! Мой!

Твоя мама. 29.III.44» (*нем.*).

Над огневой рой автоматных пуль. Густо палят брустверы. Брызжет окалина со щита. Пули высекают искры из стали ствола. Куски гусматики разлетаются с колес.

В окопе захлебывается, трещит, не умолкая, пулемет Кривенка.

Вижу в прицеле, кто-то упал. Кто-то лежит, беспечно раскинув руки. Кто-то перебегает. Настигаю и бью в него — высокого, длинноногого немца с распахнутым воротом. Выстрел. Сразу же взрыв. Пыль. Песок и смрад. Ничком бросаюсь к казеннику — ствол опять на откате. В еще не осевшей пыли мои руки встречаются с горячими мягкими руками Люси. Лежа на земле, она помогает мне. Единым страшным усилием мы возвращаем ствол на место. Потом я заряжаю. В ящике остается последний снаряд.

Бью, уже не целясь. Что-то со звоном звякает рядом. Пушка, подпрыгнув, сильно толкает меня. Наглазник больно бьет в лоб. Я падаю. Едва не встав, вижу сквозь пыль, что стрельба наша окончилась: сорванный с люльки ствол вогнало глубоко в бруствер. Рядом лежит побледневшая Люся. В ее огромных глазах испуг.

После короткого замешательства мы бросаемся в укрытие. Хватаем автоматы. Немцы опять идут. Я выпускаю первую очередь. Что-то коротко дергает меня. Глянув, вижу рваную дырку на плече. Это сзади. Оглядываюсь. Из пшеницы между бабок тоже идут. Человек пятнадцать. Прячутся за бабками. Перебегают.

Я кидаюсь навстречу — по другую сторону укрытия. Старательно прицеливаясь, расстреливаю бабки. Летит вверх солома, мякина, колосья тоже. Густо брызжет перезрелое сухое зерно. Немцы прячутся.

Затем я кидаюсь на другую сторону укрытия — к Люсе. Она тоже бьет длинной трескучей очередью. Ее автомат сыплет на меня горячие гильзы. И вдруг она останавливается, умолкает, приседает к стене и начинает торопливо дергать рукоятку. Заело! Я вырываю у нее автомат, сую свой, перезаряжаю дважды. Люся прицеливается, но я дергаю ее за гимнастерку. Она оглядывается.

— Перебегай! — кричу я. — Меняй место!

В ее ясных, полных напряжения больших глазах коротко вспыхивает дружеская благодарность. Люся приседает, переносит автомат на два шага и снова прицеливается. Странно, но кажется, будто она совсем не боится. Лицо ее спокойно. Только глаза прищурены и щеки потеряли прежний румянец. У меня

же все дрожит внутри, но внешне руки кажутся спокойными, я боюсь только что-то прозевать, не успеть, не увидеть и бросаюсь из стороны в сторону по укрытию.

Мы ведем бой по обе стороны. Кривенок в окопе вдруг умолкает. Я тревожно вслушиваюсь, но его пулемет грохочет дальше, в самом конце позиции. Ага, это он бьет по дороге. Оттуда, где неподвижно стоят четыре машины, редкой широкой цепью бегут сюда еще десятка два немцев.

Да, час от часу все хуже...

Бросив на бруствере автомат, я спешу в угол, где лежат наши гранаты, хватаю их все три, кладу себе под ноги. Затем берусь за автомат. Я стреляю по тем, что бегут, что лежат. Бью короткими очередями, уже не обращая ни на что внимания, пока автомат не умолкает. Потом, присев, выбрасываю пустой диск и от волнения долго не могу попасть в паз новым.

Вскакиваю. Ага! Не выдержали, снова залегли невдалеке от траншей. Несколько их долговязых фигур бросается назад, часть остается лежать в траве. Кривенок бьет из пулемета вдогонку. Те, возле пшеницы, также залегают и какое-то время в поле не видно никого. Только рой пуль над нами, брызжет землей бруствер. Разлетаются вдребезги разбитые комья земли...

Мы опускаемся на дно укрытия. Я, рядом Люся. Сначала она как-то печально съеживается, затем, взмахнув ресницами, глядит на меня. Чем-то удивленный в ней, я выжидающе гляжу на нее. Вдруг она говорит:

— Лозняк, поцелуй меня.

— Что?

— Поцелуй. Ты можешь? — говорит она по-прежнему очень серьезно. Кажется, на моем лице почти что испуг. Потом она опускает глаза.

— Вот. Никто не целовал меня. В детстве у мачехи росла. Потом... Потом дикаркой стала... Глупая! Все мечтала... И вот... Все.

Очень нерешительно я обнимаю ее за плечи и тихонько касаюсь губами ее щеки в уголке губ. Потом отшатываюсь. Гляжу в глаза. Они по-прежнему — очень печально строгие. Я не понимаю, что делается со мной. А она мягко, но решительно обхватывает мою шею и целует в щеки, в шею, в глаза... Затем, отшатнувшись, вдруг руками закрывает лицо и содрогается от плача.

Я сижу, пораженный непонятным. Растерянный. Испуганный. А она, уткнувшись лицом в коленки, все всхлипывает. Где-то вверху плывет тяжелый гул. Самолеты? Чьи? Я не гляжу.

— Люся! Люся! Что с тобой? Потерпи! Не надо.

И она вдруг обрывает плач, коротко взглядывает на меня серьезными большими и мокрыми от слез глазами. Как-то вдруг успокоившись, говорит:

— Ничего. Все. Прости...

— Люсенька! — я хватаю ее за руки. Что-то вдруг только теперь осеняет меня, но Люся поднимает голову. Я тоже...

* * *

Гул быстро растет. Наполняя собой поднебесье, он растекается по всей шири земли. Тревожно сжимается сердце. Конечно, это их самолеты. Они идут на деревню. Идут ровно и тяжело, поджав по-гусиному короткие лапы-колеса. Их много, и я не считаю их. Я вижу только, как трое их с хвоста этого каравана ложатся на крыло и, коротко блеснув пропеллерами, сворачивает на нас. Люся, вскрикнув, кидается мне на грудь. Я, всем телом ощущая быстро нарастающий вой, толкаю Люсю в угол и хватаю автомат. В тот же миг первая бомба выбивает из-под ног землю. Вскочив, я кидаюсь в угол, спиной закрываю Люсю. Я чувствую, как она с каждым взрывом вздрагивает. Вздрагивает земля. Вздрагиваю я. Бомбы рвутся по три сразу.

«Тр-р-рах! Тр-р-рах! Тр-р-рах!» — земля крякает во всю глубь, кажется, треснет, как огромный перезрелый арбуз.

Я напрягаюсь — рев приближается, визг — и снова «тр-рах!», «тр-рах!».

Девять взрывов рядом. Вокруг еще падает земля, сверху оседают тучи песка, поднятого бомбами, рев глохнет, но сразу нарастает снова. Сквозь пыль не видно самолетов, но кажется, они уже уходят в пике. Я слышу, как отрываются и вместе с ревом летят на нас бомбы. «Тр-рах» — бьет где-то по окопу Кривенка. Сразу же новый визг — «тр-р-рах». Я жду захода третьего пикировщика. Должны же у них кончиться, наконец, эти проклятые бомбы.

Третий «лапотник» несколько запаздывает, пыль успевает осесть, пока он заходит от солнца. По взрытой огневой мелькает сначала его стремительная тень, и вдруг пронзительно визжат бомбы. Они рвутся несколько сбоку, и у меня появляется надежда — уцелеть. Гул отдаляется — теперь надо ждать пехоту. Я отстраняюсь от Люси, она вскидывает голову — с ее волос сыплется песок, оба мы в земле. Убитых забросало также, из-под глыб торчат одни только ноги. У Панасюка, видно, осколком распорот ботинок, из которого вылез клок грязной портянки.

Я отряхиваю песок с автомата и вскакиваю. Бруствера нет, укрытие завалило землей, подбитая пушка скособочилась, а станина задралась сошником вверх.

Немцы! Они бегут из траншеи в поле, дальше нам в тыл, к деревне.

Видно, как болтаются ремни их автоматов. Двое ближних осторожно пригибаются и на бегу поглядывают в нашу сторону. Я дергаю рукоятку и, быстро прицелившись, стреляю раз, второй, третий. Однако немцы все бегут. Видно, для автомата они далеко. Но почему молчит пулемет? Неужели?..

— Кривенок! Кривенок! — кричу я. — Огонь! Слышишь, огонь! — Я вижу его — он жив и сидит в углу своего также полузасыпанного и обмелевшего окопа, почерневший, как цыган, и осоловело смотрит на меня. Рот его открыт, на лице гримаса отчаяния.

— Огонь! Видишь? Кривенок!

— К черту! Все к черту!!! — вдруг кричит она таким голосом, от которого у меня содрогается сердце, и вскакивает. Он вытаскивает из земли голые, без сапог ноги, и, шатаясь, вылезает из окопа к нам. Пулемета его не видно.

— На черта сидеть! Хватит! Прорываться! Слышишь? — кричит и ругается он, вваливаясь в наше разрушенное укрытие. Я в замешательстве прикусываю губы. Кривенок хватает возле моих ног гранаты, Люсин автомат.

— Убираться отсюда! Довольно! Прорываться! Ну? — кричит он и бросается на бруствер.

— Стой!

Я хватаю его за ногу, он сползает вниз, увернувшись, вскакивает на колени и упирает в меня обезумевший взгляд.

— Ага! И ты! И ты из-за нее? И тебе она люба? Геройство нужно? Геройство? Тот в тылу герой! Ты — тут. Это она все наделала! Она! — кричит он на Люсю. На губах его пена.

Я быстро выглядываю через бруствер — немцев уже нет. Они прорвались в лощину, в наш тыл и во фланг отступившего полка.

— Замри! — кричу я. — Замолчи! Очумел, дурень!

Я потрясаю кулаками. Но глаза Кривенка по-прежнему бешеные. Стоя на коленях, он наступает на меня и хрипит:

— Ага! Бить! Бей! Стреляй! На, стреляй! На!!

Ухватив на груди гимнастерку, он рвет ее до низу, затем его дрожащие пальцы ищут сорочку. Я хватаю его за грудь, он цепко сжимает мои руки.

— Замолчи! — кричу я и, собрав силы, рывком бросаю его наземь. Меня трясет от возмущения против него. — Дурак

ты! Балда! Ослиная твоя голова. Зачем ты ее обижаешь! Задорожный сочканул, чтоб не идти сюда. А она прибежала. Из-за нас. Всех! По-хорошему! По-человечески! А ты! Чего ты бесишься?

Кажется, мои слова ввергают его в замешательство. Он враз умолкает, недоверчиво поглядывает на Люсю, потом, опершись на землю, долго сидит в оцепенении. А Люся, какая-то с виду далекая от нашей ссоры, как загнанный зверек, жмется к стене, глаза ее полны напряжения. Она не плачет, но видно, как изо всех сил старается сдержать в себе обиду и отчаяние.

Кривенок встает. Черная с взлохмаченными волосами его голова бессильно свисает, как у пьяного. Я гляжу на его босые ноги, на плечи с оторванными погонами. Рукав ниже плеча рассечен осколком, на боку мокрое кровавое пятно.

Что с ним случилось? Какой он всегда был твердый, ровный и в бою держался, как надо! Неужели это нервы? Или Люся? Теперь он слаб, беспомощен, я чувствую это, но я не хочу успокаивать, уговаривать его. Я знаю, что для того, чтобы привести его в чувство, нужна суровая строгость. Но ее недостает и мне...

Я снова выглядываю над бруствером. Вокруг пыльное земляное крошево. Стерня смешана с землей, раскиданные снопы вокруг, солома. И воронки, воронки. Немцев не видно.

— Ладно, все, — несколько успокоенно бросает Кривенок и встает. — Что делать будем? Пулемета нет.

— А что делать? — говорю я. — Отбиваться надо. Может, до вечера как-нибудь...

— До вечера! — недоверчиво бросает он, что-то думает свое, морщась от боли, трогает рукой пятно на боку. Люся, заметив это, поворачивается к нему и так, будто ничего между нами не было, говорит:

— Павлик! Сними гимнастерку, перевяжу.

Кривенок машет рукой и отворачивается.

— На кой черт? Теперь все равно... — говорит он, выглядывая над бруствером.

* * *

На земле начинает шевелиться Лукьянов.

— Пить!.. Пить!.. — шепчет он одними губами. Люся наклоняется над ним, тихонько гладит по рукаву и сжимает челюсти. На ее грязных щеках проступают желваки. Будто сговорившись с Лукьяновым, рядом тоже начинает шевелиться,

пытается приподняться на локтях немец. Это ему не удается и он прерывисто, отчаянно просит:

— Вассер! Айн шлюк вассер! Пауль!

— Пить! — царапает пальцами землю Лукьянов. Люся круто взламывает на лбу брови. Кривенок мрачно сидит у стены. Я стараюсь не смотреть вниз.

Это нестерпимо — наблюдать последние страдания людей и быть беспомощным. Во мне все накапливается, накапливается злоба, она готова вот-вот прорваться в отчаяние и я едва сдерживаюсь. Только бы не дрогнуть, только бы не потерять самообладание!..

По траншее идут немцы. Я снова вижу, как мелькают над бруствером их каски, темные пилотки — они идут куда-то в тыл, во фланг нашей прорванной обороны. Видно, они махнули рукой на нашу огневую и спокойно обходят ее.

— Огонь! — приказываю я сам себе. — Огонь!

По чем огонь? Мой автомат выпускает две очереди и умолкает — затвор в последний раз тупо лязгает и больше уже не взводится. Люся в укрытии ползает на коленях и перебирает магазины, ее автомат также без диска. Кривенок безразлично сидит на земле, опустив голову. Ну что ж, остались гранаты!

Я подбираю возле Лукьянова не нужную уже ему «лимонку», вытаскиваю из песка РГД и поочередно поворачиваю их рукоятки. В прорезях появляются красные отметины, гранаты на боевом выводе.

Запихиваю их в карманы. Теперь будем ждать.

— П-и-ить.. Пи-и-ить... — клянчит Лукьянов.

Я не отрываю взгляда от траншеи, знаю — рано или поздно они все полезут на нас. Солнце уже на закате, оно слепит глаза, но надо смотреть, не прозевать. Немного успокаиваюсь, как меня потрясает испуганный вскрик Кривенка:

— Люся!

В голосе его такой ужас, что я на секунду мертвею, повернувшись, оглядываюсь, но поздно. На бруствере мелькают подошвы Люсиных сапог, и она сразу исчезает в ближней глубокой воронке. Меня бросает в жар от страха — что это надумала? Куда это она? Неужели и она?

— Люся? Ты куда? Люся!

Но она, не отвечая, сразу же выскакивает из воронки, бросается на присыпанную землей стерню и быстро-быстро ползет к танку. Вот она уже минует его, тряхнув головой, отбрасывает со лба волосы и ползет, ползет дальше. Я напряженно слежу за ней и только тогда понимаю — это она к ближнему уби-

тому немцу. В руках я сжимаю гранаты, окидываю взглядом простор, кажется, врага не видно, но кто их знает... пшеница в двухстах шагах от нас.

Люся подползает к немцу и какое-то время копошится над ним. Да, кажется, она нашла там то, что искала — в руках у нее появляется фляжка, и девушка поворачивает обратно. Оглядываясь, она быстро и ловко ползет, снова исчезает на мгновенье в воронке и снова показывается, и только тогда из пшеницы бьет первая длинная очередь. Пули неровной кривой цепочкой взбивают пыль на разрытой земле. Люся вздрагивает, притихает на секунду и еще быстрее ползет вперед. Почуяв недоброе, ко мне на бруствер бросается Кривенок, я чувствую, как он впивается в землю руками и замирает. У меня самого холодеет сердце, но что мы можем сделать без патронов?

Низко склонив голову, она упрямо ползет к нам. В одной ее руке обитая войлоком немецкая фляжка (наверное, вода), в другой какая-то сумка или кабур. Ну скорее же, скорее! Из пшеницы снова слышится очередь, и снова замирает мое сердце. Но Люся ползет, она направляется в окоп, где до сих пор сидел Кривенок, туда ей ближе, чем к нам. Кривенок отскакивает от меня и стремглав бросается через площадку. Я с гранатами бегу вслед за ним.

Тут несколько глубже и тише. Люся уже близко, она уже подползает к первым комьям бруствера. Видно, в наших глазах большой испуг и страх за нее, ибо она, встретив наши взгляды, опять, как днем, обнадеживающе улыбается издали. Эта ее улыбка переворачивает все в моем сознании. Я хочу закричать от напряжения и страха за нее — столько невыносимости обрушила она на меня своим поступком! Но она уже поднимается на уцелевший в этом месте бруствер. Кривенок, несмотря на опасность, встает во весь рост и протягивает навстречу ей руки, она протягивает ему свои, приподнимается на ногах и... падает...

Бешеная очередь разрывных пуль гулко щелкает по брустверу, по земле, по траве. Песок и комья хлещут по моему лицу, запорашивает глаза. Инстинктивно я пригибаюсь и вдруг слышу, как вскрикивает Кривенок.

Сквозь слезы от песка я все же бросаю взгляд на Люсю — она молча с непонятной покорностью ложится на бруствер. Рядом, обхватив руками свое окровавленное лицо, опускается на дно Кривенок. Вот оно! Вот самое страшное, самое худшее, оно не миновало нас! А из пшеницы бьет вторая, третья очередь. Пуля сбивает с моей головы пилотку, и я снова прячусь за бруствер.

* * *

— Люся! Люся! Люся! — бешено кричит в окопе Кривенок, и я, взглянув на него сбоку, еще раз ужасаюсь. На окровавленном лице парня красные пустые глазницы...

— Люся! Где Люся?

«Люся тут, тут Люся», — шепчу я про себя. Она тихо лежит на бруствере, положив голову на протянутую вперед руку, и на ее лице угасает милая светлая улыбка, которую в последнее мгновенье, наверно, увидел и Кривенок. В протянутой руке девушки фляга, а в другой брезентовая кобура с ракетницей. Ракетница толстой своей рукояткой выступает из нее — все это свисает с бруствера. Опомнившись и поняв, что случилось, я беру ее за тонкие еще теплые кисти и вместе с землей стягиваю в окоп. Маленькое гибкое Люсино тело легко ложится на мои руки...

— Люся! — дико кричит Кривенок, слепо шарит по брустверу окровавленными руками, и я какое-то время боюсь отозваться, боюсь сказать ему правду. Тогда он таким же голосом начинает звать меня.

— Сядь, — говорю я как можно спокойнее, но чужим приглушенным голосом. — Сядь... Сиди...

— Где Люся? Гад, Лозняк, где Люся?

Я чувствую, он снова приходит в бешенство, и больше не скрываю от него.

— Все. Нет Люси.

Кривенок замолкает, потом сползает вниз, прикрывает ладонями свое окровавленное ослепленное лицо и снова вскакивает:

— Сволочи! Гады!.. Собаки!..

Он снова, как зверь в клетке, мечется в окопе, спотыкается о брошенную лопату на дне окопа и хватает ее.

— Где фриц? Где тот недобитый фриц? Где он?..

Парень вылезает из окопа, зацепившись за сошняк, падает, снова вскакивает. Он в бешенстве, ничего не видит, а я держу на коленях Люсю и не в силах остановить его, уговорить, успокоить. Пока он отыскивает наше укрытие, из пшеницы снова бьет очередь. Разрывные звучно щелкают вокруг.

— Ага! — услышав выстрелы, обрадованно кричит Кривенок. — Ага! Сволочи! Гады!

Босой, оборванный, в расстегнутой гимнастерке, с лопатой в руках, он вылезает на бруствер и, широко расставив ноги, слепо направляется туда, в сторону выстрелов. Не выпуская из рук Люси, я медленно поднимаюсь в окопе, а он широко

и невидяще идет и идет, высоко, угрожающе подняв лопату, продолжая ругаться. Через пять шагов падает в бомбовую воронку. Это обнадеживает меня, я прихожу в себя и кричу:

— Кривенок! Стой! Стой, не вылазь!

Но он недолго лежит там, сразу же вылезает и снова бросается туда, навстречу врагу. Я знаю, что все пропало, что только несколько мгновений отделяют человека от его гибели. И когда из пшеницы раздается очередь, я закрываю глаза. Открыв их, Кривенка уже не вижу.

Я снова опускаюсь на дно окопа и тихо, осторожно кладу Люсю на землю.

Так я остаюсь один. Один со своей ненавистью и своей такой трудной любовью. Все уже кончено. Впервые я так остро чувствую нелепую беспомощность человека — былинки в этих огромных жестоких жерновах войны. Что я могу сделать один в этом тесном кольце врагов, без патронов, с тремя гранатами?

Я осторожно вынимаю из тоненьких Люсиных пальцев ремешок фляжки, там, кажется, плещется глоток воды. Потом из другой руки беру ракетницу — в кожаных гнездах кабура торчат три цветных ракеты.

Мне уже не хочется ни пить, ни есть, ни жить. Исчезает желание и биться — отстаивать эту вконец разбитую огневую позицию. Хочется только умереть, тихо и тут, рядом с Люсей... Не знаю, сколько времени я так в оцепенении сижу над ней...

Потом вспоминаю беднягу Лукьянова и погибших друзей. Не очень прячась, с флягой в руках переползаю площадку. Лукьянов неподвижно лежит в прежней позе. Мне очень хочется, чтобы он очнулся, чтобы заговорил, взглянул — погибать одному очень страшно. Я отвинчиваю флягу, поднимаю его запорошенную землей голову. На веке левого глаза лежит ком земли, я сбрасываю его, но зубы Лукьянова уже сжаты. Нет, уж все в нем омертвело — человек, видно, давно умер.

Безразличным ко всему взглядом я окидываю остальных. Неподвижные, глухие, слепые фигуры, омертвевшие, заброcанные землей лица... А красная длинная стрелочка на часах Желтых все так же торопливо бежит и бежит по черному циферблату. Эта ее живучесть возмущает меня — с каким-то суеверным страхом я бью по ней флягой, стекло рассыпается и стрелка останавливается на цифре «II».

— Ну, что дальше?

Рядом начинает что-то ворчать «недогарок». Живуч! Наши все до одного полегли тут, а он вот жив. Во мне загорается желание добить его, задушить гада. Я замахиваюсь толстой

рукоятью ракетницы, но останавливаюсь. *Люся не дала мне сделать этого в самом начале, и я верю ей. Видно, она своей женской душой чувствовала что-то такое, что недоступно нам, ослепленным кровью, ненавистью, горячиной боя. Черт с ним. Пусть умирает сам.*

Немец же все дергается, ворчит что-то — видно, что-то его беспокоит.

— Пауль, Пауль...

— Пить? — говорю я. — Нет, черта с два: пить ты у меня не получишь.

Запрокинув голову, я выпиваю несколько глотков теплой вонючей воды. Остатки выливаю в песок. Швыряю флягу за бруствер. Потом ползком возвращаюсь в окоп.

Люся лежит, руки ее беспомощно вытянуты вдоль тела, ноги ровненько сложены. Я сажусь над ней, поправляю на загорелых коленях ее юбчонку. Тонкое девичье личико уже заметно побелело, похудело... Ее последняя улыбка, что взбудоражила наши с Кривенком сердца, постепенно гаснет, уступая место безучастной неживой неподвижности. Меня удивляет эта мертвенность всегда такого подвижного Люсиного лица, удивляют и глаза, они оказываются совсем не синие — они серые, и я не понимаю, почему они всегда казались нам синими, как васильки. Столько безмерно разного было в них, в этих радостно светлых глазах!..

Я закрываю их поочередно, правый и левый!..

В углу в земляной трухе ползет муравей. Земля мелкая, вместе с муравьем она то и дело осыпается. Муравей выкарабкивается из песка и начинает лезть снова. Что значит бездумное упрямство!

Я беру его на ладонь и сдуваю на бруствер — пусть идет, спасается. Тут ему добра не будет.

Я выкладываю свой боезапас — три РГД, одна «лимонка» в кармане, три ракеты, все же не голые руки.

Кажется, начинает темнеть. Небо еще блестит далеким низким светом, но в окопе уже темновато. Бой все грохочет вдали, только не поймешь, в какой стороне. Дрожат, стонут земля и воздух. Тихо только на вражьих холмах.

И вдруг — знакомая трескотня по брустверу. Песок, комья земли, пыль — на голову. Сыпанет и утихнет... Через пять секунд снова, потом еще и еще.

— Начинается...

Держись, Лозняк! Кажется, это последний твой бой, за родную землю, держись.

Приподнявшись на ноги, я одним глазом выглядываю из-за бруствера — ползут. Потные покрасневшие лица с автоматами в руках. Сбоку кто-то падает, кто-то перебегает воронку. Беру две гранаты. Они взведены. Прижимаюсь к стене. Жду. Слушаю. Какая-то жилка под коленом часто и надоедливо дрожит.

Над бруствером что-то шипит. Гранаты? Щелкает запал, затем — оглушающий взрыв. Снова комья земли, пыль, песок застилают небо...

Размахиваюсь и в одну, другую, третью сторону бросаю свои РГД. Сразу же взрывы — один, второй, третий! Выхватываю из кармана «лимонку» — и тут — удар в бруствер. Отскочив от него, рядом шлепается длинная палка немецкой гранаты, с остервенением я хватаю ее и бросаю обратно. Сразу же взрыв. Чей-то глухой близкий вскрик.

Беру в правую руку «лимонку», зубами отгибаю концы чеки. Левой заряжаю ракетницу, взвожу боек.

Сзади, за бруствером, — шаги, я сразу слышу их. Вырываю зубами чеку, отпускаю планку и, продержав секунды три, бросаю туда гранату. Взрыв! В тот же момент рвет на бруствере, над моей головой. Удар где-то сзади и — еще взрыв! Одна граната взрывается возле пушки и сквозь пыль — темная долговязая фигура в каске.

— Хендэ хох!

— Скулу в бок! — кричу я и в упор стреляю из ракетницы. Длинная струя бьет из окопа, пышет клубком искр. Немец хватается за грудь и, подломившись в коленях, падает на спину. Несколько секунд из его груди брызжет ослепительно яркое пламя...

Немец горит, ракета рассыпает вокруг пучки искр, его сапоги свисают в мой окоп. Это ему за Люсю.

Я быстро снова заряжаю ракетницу, высовываюсь и бью в тех, кто поближе. Видно, удивленные моим огневым отпором, они утихают. Ракета подскакивает и катится по траве яркоогневой кометой. Зеленые отблески, догорая, пляшут на комьях бруствера.

Выбрасываю гильзу и заряжаю снова. Судя по головке, это ослепительно белая. Я жду новой атаки и благодарю Люсю. Мертвая, она спасает меня.

Но немцы уже молчат. Молчат минуту, две, пять... я прислушиваюсь и жду. Может, они подползают? И тут откуда-то издалека вновь доносится танковый рев.

Озадаченный, я вслушиваюсь, а рев все растет, ширится, приближается. Еще через десять минут уже вовсю дрожит,

гудит, сотрясается земля. Несколько стремительно синеватых трасс пролетают над бруствером. Это уже оттуда, с нашей стороны.

Радостная догадка осеняет меня. Удивленный, я медленно встаю в окопе. Где-то в вечернем просторе заливаются, грохочут пулеметы, и все оттуда, с нашей стороны сверкают над землей все новые и новые трассы.

С последней Люсиной ракетой в ракетнице, готовый ко всему, я выскакиваю из окопа.

* * *

Да, я спасен. Все страшное, адски нестерпимое позади...

Наискосок полем, через пшеницу, к дороге, с длиннющими, как бревна, стволами, идут советские «САУ-100». За ним бежит, стараясь нагнать машины, пехота. Я сижу на бруствере с единственной своей ракетой. У ног лежит маленькое тело Люси.

Идет время, а я все сижу.

Пехотинцы о чем-то спрашивают, что-то кричат, но я не слышу их и не отвечаю. Какой-то курносый парень с надетой поперек головы пилоткой бросает мне:

— Дурной или контуженный, — и второй, что бежит возле него с пулеметом, смеется. Им радостно. А я думаю: *кто мог подумать вчера, что сегодня постигнет нас. Все эти долгие месяцы я мечтал об одном: только бы добраться до немцев, и вот дорвался. Как это сложно и трудно. На сколько же фронтов надо сражаться нам — и с врагами в окружении, с разной сволочью рядом, наконец с самим собой? Сколько же побед надо добыть этими вот руками, чтобы они сложились в ту, что будет написана с большой буквы? Как это мало — одной решительности, добрых намерений и сколько еще надо сил! Земля моя родная, люди мои добрые, дайте мне эту силу! Мне она так нужна теперь и больше ее просить не у кого.*

Темнее. Сражение перемещается за теперь уже наши пригорки. По полю идут минометчики, согнувшись под тяжелыми катушками, бредут связисты...

И вдруг из сумерек меж воронок появляется Лешка. Торопливым уверенным шагом он подходит к огневой. В его здоровой руке два котелка, под мышкой второй, что белеет бинтом, — буханка. На голове каска. Самоуверенно, с таким видом, будто он только десять минут не был тут, Лешка здоровается:

— Привет! Ну как? Выдержали! Герои! Порядок!

Опустившись на колено, осторожно ставит на неровную землю котелки, кладет хлеб.

— Война войной, а есть надо. Правда? Вот, раздобыл. А где же хлопцы?

Я молчу, все в моих глазах закружилось, заколыхалось и поплыло в тумане бешеной ненависти. Видно, он замечает это и серьезнеет.

— А меня, знаешь, немного тюкнуло. Пока до санроты добежал, перевязался, ну и... задержался... Вот еще Люська пропала. Была и пропала. Искали, искали... так где же хлопцы: остынет...

Туман передо мной расплывается: воронки, бугры, бруствер и Лешка во всей рельефности встают перед глазами.

— Иди сюда, гад.

Я встаю, поворачиваюсь к огневой, и Лешка, предчувствуя что-то, послушно лезет наверх.

— Не там ищешь. Гляди! — кричу я. — Гляди, сволочь!

На несколько секунд он нахмуривается, осматривает покойников, но сразу же здоровой рукой начинает одергивать свою коротенькую гимнастерку.

— Ну и что? Чего смотреть? — зло огрызается он. — Подумаешь! Война! Вон не таких побило. Комбату голову оторвало. Что — я виноват?

— А кто же? Твоя работа! Гад ты! Судить тебя!

— Судить? — разъяряется он. — За что?

— Ах, за что? Ты не знаешь, за что? Ты погубил их. Ты! Мы ждали тебя. Свою шкуру спасал?

— Ранило вот! Смотри! На, смотри! Не веришь? Показать тебе? — он тычет в мое лицо своей забинтованной кистью и начинает срывать с нее бинты.

— А у нас не ранение? Лукьянов не ранен? Ноги ведь у тебя целы, гад ты ползучий! Почему комбату не доложил? Почему Люсе сказал, что нам конец? Почему?

Каждая клетка во мне протестует, я готов растоптать его, искалечить, смешать с землей. Он же — я вижу — деланно горячится, нахально старается скрыть тревогу, утопить ее в ругани. Вдруг тон его ядовито смягчается.

— Если хочешь знать, никакого разрешения не было: вот! Комбат убит, он не приказывал. Я ничего не знаю. Ранен вот!

— Что-о-о? — кричу я, теряя над собой власть.

— А то! Комбат мне ничего не приказывал! Вот! Я Люсе ничего не говорил! Что вы натворили тут — не моя вина. Я в стороне.

— Ах, ты в стороне! Негодяй! Сволочь!

Не чувствуя себя, я подскакиваю к нему, готовый ринуться в драку, как тогда ночью на этом самом месте.

— Да, в стороне! — кричит он. — Иди докажи! Пусть оживят комбата, Люсю, пусть спросят! И прочь от меня, сопляк!

Он замахивается на меня своей натренированной ногой футболиста. Но я в беспамятстве от гнева даже не отскакиваю — я вскидываю ракетницу и огненной стрелой бью в его ненавистное, искаженное злобой лицо.

Выстрел оглушает. Ободранная каска с его головы катится на площадку. Яркое сияние ракеты, все разгораясь, ослепительным светом заливает огневую и покойников в укрытии: Желтых, Лукьянова, Панасюка, Попова, немца. На несколько мгновений на бруствере с необыкновенной яркостью вспыхивает прямая и удивительно маленькая фигурка Люси. Коротко и горячо осветившись, она медленно меркнет, и все поглощает вдруг упавшая тьма.

Я швыряю куда-то ракетницу и, отойдя в сторону, опускаюсь на бруствер около Люси. Огромная, накопленная за день злость вдруг прорывается неудержимой болью. Спазмы рыданий сотрясают меня. И я не сдерживаюсь. Я плачу — горько, безутешно, как в детстве.

За холмами медленно утихает бой. Отсветы далеких ракет скупо мерцают на ободранном покосившемся щите пушки. Чернеет неподалеку исковерканная громадина танка.

Из темноты доносятся голоса. Равномерно позвякивает валек. Коротко фыркает лошадь. Потом появляется вдали темноватая фигура бойца.

— Давай сюда! Тут они! — зовет он кого-то из сумерек.

Я медленно поднимаюсь на бруствере. Губы мои плотно сжаты. Брови упрямо сдвинуты. Я иду.

Вот и они. Так долго я ждал их! Появление товарищей несет мне облегчение. Правда, придется мне многое объяснить и, может, за что-то ответить. Но я не боюсь. Что бы со мной ни случилось, я готов на все, хуже и страшней, чем сегодня, мне никогда уже не будет.

1962 г.

АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА

Литературный сценарий

Пролог

Руки и письмо — длинный узкий конверт со странным адресом: «Родителям Ивана Терешки, погибшего в Альпах. Деревня Терешки у Двух Голубых Озер. Белоруссия, USSR».

Письмо в руках у почтальона — беленькой девчушки с тяжелой сумкой на плече. Ее окружает группа колхозниц в низко повязанных платках с граблями на плечах. Они только что встретились на полевой дороге.

— Кто ж его знает! Где только наши Иваны не поклали свои головоньки, — говорит пожилая женщина.

— Где она, эта страна, — Альпы? — говорит другая.

— То ж не страна. То горы Альпы, — замечает третья, помоложе

— Может, это Пилипёнок? — говорит еще кто-то. — За столько лет ни слуху ни духу.

— Или кривого Змитрока меньшой.

— Плохо, коли в деревне усе Терешки. Ды скольки Иванов. Ищи теперь. Если б адрес правильный — другое дело.

* * *

Девушка-почтальонка останавливается у низенькой калитки. Во дворе, орудуя топором, что-то мастерит худенький со вздернутой бороденкой старичок в неподпоясанной рубахе. На стук он выпрямляется и вскидывает голову.

— Не ваш это, дядька Пилип?

Старик втыкает топор, идет к калитке, берет конверт и крутит его в руках.

— Мне? Может, и мне. Сколько этих квитков разных! А что там написано?

— Да вот, наверно, об Иване. Где ваш Иван погиб-то?

— Иван? Да под энтим, чтоб ему ни пепла ни дыма, — Берлином, — говорит старик и достает закурку. — Значит, как их армия хварсировала, значит, этот, чтоб ему высохнуть, Одар, так он, значит...

— Тогда нет, деду. Не вам, — обрывает его девушка. — Тут сказано, который погиб в Альпах.

— В Альпах?.. В Альпах — нет, — почти обиженно говорит старик и недоуменно глядит вслед девушке.

* * *

Почтальонка останавливается у плота. В огороде, склонившись над грядками, копается женщина.

— Тетка Пелагея! Ваш дядька где похованый?

Женщина распрямляется, поправляет платок на голове.

— А тебе што? Где ни похованы — не уваскресне.

— Во письмо тут.

Женщина вздрагивает:

— Письмо? Ой, божечки! Ой, святые! Ой!..

Она устремляется к улице.

— Ды не от него. Где он похоронен, скажите.

Женщина останавливается.

— Ды на Украине ж. Под городом Ильвовом.

— Тогда нет! Это не ваш дядька. Другой.

* * *

Почтальонка стучит в дверь. Никто не открывает. Еще постучав, она недовольно говорит про себя: «Этой бобылки никогда не застанешь» и сбегает с крыльца. Тут же на углу сталкивается с пожилой женщиной — маленькой, высохшей, какой-то неизъяснимо скорбной, одетой во что-то темное. Тяжело ступая босыми ногами, она несет на спине огромное рядно с травой.

— Добрый день, тетка Борисиха, — говорит почтальонка.

Женщина, тихо поздоровавшись, опускает на мураву свою ношу, поправляет платок на голове.

— Вашего старшего, кажись, Иван звали, — неуверенно говорит девушка.

Женщина устало опускается на крылечко.

— Иванка. Ага ж, — скорбно говорит она.

— А где он погиб, вы не знаете?

— Кто ж его знает. Как пошел на службу, началась эта окаянная, так и все. Ни одного письма, никакой весточки...

— Ой, теточка, — вдруг заволновалась почтальонка. — Тогда он! Это он! От него это... Вот письмо... О нем тут пишут.

В глазах у матери благоговейный испуг, почтальонка торопливо разрывает конверт. С улицы во двор заходит и уважительно останавливается в трех шагах знакомый старичок, подходит кто-то из подростков, несколько женщин.

— Он, он! Ей-богу, он, — говорит почтальонка и разворачивает лист лощеной бумаги...

Начальные титры

1

На раскопанной земле — несколько пар ног в колодках. Полосатые брюки, напряженные руки с ломами. Внизу под ломами шевелится огромная сигара бомбы. Слышно трудное дыхание людей, топот колодок, наконец ломы окончательно выворачивают бомбу из земли. Люди распрямляются, вытирают лбы, обессиленно откидываются к стенкам глубокой, в рост человека, ямы. Они все в полосатом с мишенями на груди и спинах. Их тут пятеро: сильный, коренастый, с решительным лицом, бывший моряк Голодай, щуплый чернявый, с нервным лицом, Жук, пожилой, в недавнем прошлом колхозный бригадир, Янушко, высокий чахоточный Сребников и 25-летний, крепкий и рослый, хотя и исхудавший, Иван Терешко.

Они были гефтлинги, точнее флюгпункты, — люди, лишенные всякой надежды выжить на этом комбинате смерти, и единственное, что еще беспокоило их, — это желание в последний раз попытаться добыть свободу или, в случае неудачи, покинуть этот свет, посильней стукнув дверями фашистского рейха.

Это в яме. А над ямой — полуразрушенное помещение цеха, из разбитой в проломах крыши падают вниз лучи солнца, поодаль снуют люди в полосатом — мужчины и женщины, они на тачках, носилках и вручную разбирают завалы — результаты ночной бомбежки. Начальственно поглядывая по сторонам, прохаживается офицер эсэсовец. Это командофюрер Зандлер.

В яме у всех на усталых лицах — ожидание и настороженность, говор сдержанный, взгляды осторожные — рядом опасность.

Голодай откидывает ломик, берет из угла ключ. Налегши всем телом и тихо крякнув, он повертывает взрыватель; Жук, оглянувшись, опускается на колени возле — движения их то-

ропливы и четки. Повернув несколько раз ключом, Голодай вывинчивает неисправный взрыватель. Тут же Жук выхватывает из-под куртки новый и ввинчивает его в освободившееся отверстие в бомбе.

— Ну, теперь ахнем! Этот сработает! — кинув злой взгляд на товарищей, негромко говорит Жук.

— Помолчи! — бросает Голодай. — Не кажи гэп раней часу.

Оба встают на ноги.

— Ничего, братцы, ничего, Теперь уж или так, или этак, — вытирая лоб, говорит Янушко.

Сребников, содрогаясь, кашляет; нахмурив брови на суровом лице, молча стоит Иван.

Голодай о полосатые штаны вытирает ладони и бросает на людей строгий, вопрошающий взгляд.

— Кто ударит?

Все на секунду смущенно прячут глаза, видно, это очень трудный вопрос, а умирать никому не охота.

— Значить, добровольцы вычхались. Всем жить хочется? До мамы!

Все молчат.

— Ну что ж!.. Тогда потянем.

Окинув взглядом развороченную землю, он хватает какую-то соломину и, отвернувшись от остальных, быстро ломает ее на 5 частей. Выставив коротенькие кончики, зажимает в кулаке жребии.

— Ну, кто первый?

Четверо, притихнув, подаются к нему. Первым решительно выдергивает жребий Жук, важно тянет Янушко, спокойно, почти безразлично берет Иван — у них у всех отрезки одной длины. Последним нерешительно тянет Сребников — и сразу видно, жребий его.

Все, облегченно вздохнув, отворачиваются, пряча неловкие взгляды от Сребникова. Голодай широким жестом хватает из угла ямы кувалду на длинном черенке и ставит ее перед Сребниковым.

— Так что по справедливости. Без обмана. Да тебе уж все равно загибаться. Так хоть с пользой, — говорит Голодай.

Сребников сосредоточивается, будто вслушиваясь в себя, перестает кашлять и, повертев в руках черенок кувалды, тихо опускает его.

— Не разобью я, — тихо, тоном обреченного, говорит он.

Все, снова притихнув, хмуро глядят на него. Голодай меряет его злым взглядом.

— Ты что?

— Силы мало.
Голодай зло ругается.
Жук с досады плюет под ноги:
— Вот тебе и ну! Убежали называется!
— Дела! — говорит Янушко. — Как теперь быть?
Тяжелым нахмуренным взглядом смотрит на Сребникова Иван, что-то про себя решая. Потом молча делает шаг вперед.
— Дай сюда! — и берет из рук Сребникова кувалду.
Нет, он тоже не стремился умереть — жаждал жить, но, оказывается, в жизни бывают моменты, когда недостает накопленной с годами выдержки, чтобы пережить одну минуту неловкости.
Голодай поднимает удивительный взгляд.
— Иван! Ну молодец, — он пожимает его плечо. — Кажись, ты из Белоруссии? Так? Слышите, вы? — громким шепотом обращается он к остальным. — Повезет кому, чтоб запомнили...
Каменное доселе лицо Ивана неестественно оживляется, видно, чтобы побороть неловкость, он приглушенным голосом прикрикивает:
— Ну, чего стали? Берем! Чего ждать?
Все вдруг оживились, берут ломики, подступают к бомбе, чтобы взять ее и выносить из ямы. Голодай в последний раз вполголоса напоминает:
— Значит так: под стеной бросаем и — в стороны. Он бьет!
— Да уж понятно. Лаги давайте! Жук, где лаги? — громко говорит Иван и выглядывает из ямы. И тут взгляд его вздрагивает, медленно выпрямляясь, Иван становится во весь рост. Поодаль пристально глядит сюда, заложив за спину руки, Зандлер.
— Ком! — кивком головы зовет он Ивана.

2

Иван тихо про себя ругается и вылезает наверх. Сзади, растерянно притихнув, замерли товарищи.
Зандлер стоит на освещенном через пролом в потолке квадрате. Торопливо простучав колодками, Иван останавливается в трех шагах перед ним.
— Ви ист мит дер бомбе?[1]
— Скоро. Глейх! — сдержанно отвечает Иван.

---

[1] Ну как там бомба? (*Нем.*)

— Шнеллер гинаус траген![1]

Они еще несколько секунд напряженно глядят друг на друга — загадочно-мрачный эсэсовец и сдержанный, готовый ко всему Иван. Из ямы торчат настороженные головы хлопцев. Потом немец, ступив ближе, ставит на пол ногу в запыленном сапоге.

— Чисту! — говорит он и дергает за козырек фуражки.

Иван секунду медлит, а потом опускается на колени и натягивает зажатые в кулаках концы рукавов. Начинает чистить.

На сапоге появляется блеск. Немец закуривает. Искры из сигареты сыплются Ивану на шею. Он едва сдерживает в себе гнев. Но вот сапог готов. Немец убирает его, чтобы подать вперед второй.

В короткий этот перерыв Иван бросает взгляд между сапогами вдаль и что-то заставляет его вздрогнуть. Поодаль, опустив на землю носилки, остановились две женщины, в огромных черных глазах той, что помоложе, гнев и презрение к нему, униженно стоящему на коленях.

Между тем у его колен уже второй сапог немца. Иван промедлил, и Зандлер бьет его носком в грудь. В бешеном внезапном порыве Иван вскакивает и сбивает немца кулаком в челюсть. Зандлер летит на бетонный пол. Подпрыгивая, катится его фуражка.

Широко расставив ноги и сжав кулаки, Иван стоит, еще, видимо, не осознав, что он наделал. На полу не спеша садится Зандлер в запыленном и блестящем сапогах, тянется к фуражке, стряхивает к нее пыль, надевает. Затем поднимает на Ивана угрожающий взгляд и, решительно дернув за язычок кабура, вскакивает.

Иван понимает: конец, и головой вперед бросается на врага.

В этот момент грандиозный взрыв сзади накрывает все пылью.

3

Иван вскакивает в еще не осевшей пыли, сверху падает земля и куски кирпича. Рядом на полу, тщетно стараясь встать, копошится Зандлер, его сапог шаркает по полу. Иван хватает из-под бока кусок бетона и бьет немца в спину. Тот дергается и затихает. Иван выхватывает из его руки пистолет и бросается в вихревое облако пыли.

---

[1] Быстрее выносите! (*Нем.*)

Сейчас же он падает, споткнувшись, вскакивает, переваливается через какую-то глыбу, встает, растеряв колодки, перепрыгивает железную ферму, обрушенную взрывом, взбегает на сильно покосившийся простенок. Вверху пыль оседает, ее разгоняет ветер, Иван взбегает на самый верх развалин, балансируя по бетонному брусу, добегает до края обвала. Впереди в трех шагах утыканная острыми шипами стена внешней ограды, и дальше — мирные в зелени черепичные крыши домиков, а вверху на склоне лес и над ним — серые громады Альп.

Иван зажимает в зубах пистолет и прыгает. Ему удалось ухватиться руками за шипы, он тут же перебрасывает свое тело на другую сторону стены, на секунду повисает на руках и обрывается в бурьян. Потом бежит вдоль сетчатой проволочной ограды, перебирается через нее и мчится по колючей шлаковой дорожке.

Сзади крики, стрельба, лай овчарок.

Иван мчится по дорожке к окраине мимо домов, мимо испуганных ребятишек. Выскочившая из огорода девушка вскрикивает и в испуге роняет на дорожку поливашку.

Но вот и окраина. Иван прорывается сквозь пыльную стену насаждений и падает в траву. Перед ним на склоне лужайка. Тихо. Солнечно. Жарко. В полуденном зное тихо шевелятся ромашки, колокольчики. Иван оглядывается, утирает рукавом вспотевшее лицо и бросается по лугу в ближний распадок, к лесу.

Выбиваясь из сил, он едва одолевает пригорок. Но вот уже распадок. Иван оглядывается. Сзади крик, лай, автоматные очереди — там разбегаются. Он бежит вдоль ручья вверх к лесу.

Только бы достичь леса, спасительной хвойной чащи, только бы успеть скрыться, прежде чем появятся преследователи — это намерение в те несколько минут отмежевало от него все его прошлое и будущее, сосредоточив всю его волю на жажде спастись. Но добежать до леса он не успел.

Уже совсем близко первые елочки, как вдруг сзади из-за пригорка прорывается лай. Через бугор, мелькая в траве спиной, мчится овчарка. Иван бросается к ближайшей елочке и вскидывает пистолет.

4

Между тем собака замечает его и заливается громким лаем. Он направляет пистолет к ближнему каменному выступу и ждет. Собака уже хорошо видна — с поджатыми ушами, вытянутым хвостом, раскрытой клыкастой пастью. Иван, при-

гнувшись, стреляет, но мимо. Собака мчится. Она уже совсем близко, Иван торопливо стреляет второй раз, и коротенькая радость пронзает его — собака отчаянно взвизгивает, взвивается в воздух, ударяется о землю и бьется всем телом в траве — в двадцати шагах от него. Иван хотел было кинуться дальше, но из-за пригорка выскакивает вторая — огромный в подпалинах волкодав, басовито гавкая, мчится на него. Сзади в траве, дергаясь, тянется ременный поводок.

Иван торопливо прицеливается, нажимает на спуск, но выстрела нет, пистолет заело, он бьет по затвору ладонью. Но волкодав уже рядом и, басовито рявкнув, прыгает. Иван едва успевает увернуться, волкодав, задев ветки, проносится мимо, сразу же изворачивается в воздухе и бросается на человека. Иван вскидывает навстречу руки.

Это был сильный прыжок, пистолет летит наземь, оба падают и катятся по склону. Короткая, но отчаянная борьба. Иван хватает собаку за ошейник и удерживает ее пасть, волкодав рвет лапами, трещит одежда, Иван перебрасывает собаку через себя и сильно давит коленом, другой рукой держа его переднюю лапу. Собака рвется, Иван чувствует, что долго так не удержит, и снова всем телом надавливает на собаку. Та, однако, отчаянно дергается и вырывается из-под него.

Волкодав отскакивает в сторону и распластывается на траве, казалось, готовый вот-вот прыгнуть снова. Опустив наземь руки, стоит на коленях Иван. Оба озверело смотрят друг другу в глаза, боясь пропустить первую попытку к прыжку. Так проходит минута, и Иван, отпрянув в сторону, хватает камень. Собака не двигается. Иван делает шаг в сторону, поняв, что волкодав искалечен, тот, однако, угрожающе заворчав, подается за ним, волоча зад, но вскоре замирает. А Иван смелее бросается в сторону и вверх к елке, подбирает в траве пистолет и, оглядываясь, обессиленно бежит в лес.

5

Он бежит по крутому склону в лесу вдоль ручья. Лес еловый, негустой, склон усеян скалистыми обрывами и камнями. Вскарабкавшись на одну из круч, Иван перезаряжает пистолет, затвор выбрасывает патрон, Иван наклоняется, чтобы подобрать его и замирает — сквозь журчанье ручья слышится говор. Иван, оставив патрон, бросается наискось по склону вверх, пролезает сквозь чащу молодняка и, опустившись на четвереньки, замирает.

Тихо. Только шумят деревья, в небе надвигается взлохмаченный край тучи — будет дождь. Иван вскакивает, чтобы бежать дальше, как слышит долетевшее издали:

— Руссо!

«Кто это? — подумал он. — Эсэсовец? Нет! Это не эсэсовец. Значит, гефтлинг? Но не хватало еще забот — тащить с собой какого-нибудь доходягу». На двоих сил у него не было.

Он склоняется ниже, оглядывается по сторонам, вскакивает и бежит дальше. Лицо его все в поту, полосатая одежда изодрана. В руке пистолет. Вдруг он слышит: в стороне затрещали мотоциклы — это погоня. В то же время он явственнее слышит: сзади кто-то бежит. Иван бросается за дерево, вскидывает пистолет. Мотоциклы трещат ближе. Иван сжимается за деревом, зажатый между двумя опасностями.

6

На прогал из ельника ниже того места, где затаился Иван, выскакивает тоненькая фигурка в полосатом. Метнувшись по склону взглядом, она замечает его за комлем дерева.

— Руссо!

Женщина! Иван удивлен и раздосадован. Мотоциклы ревут уже совсем близко. Иван, не зная куда податься, кидается под скалу в неглубокую нишу. Прижавшись к скале, расставляет ноги, вскидывает пистолет. Слушает.

Внизу в двадцати шагах из-за обрыва появляется она — в шароварах и куртке, на ее голове копна коротко остриженных волос, черные глаза ее с нескрываемой беспечной радостью увидели его.

— Чао!

Мотоциклы, обдавая их грохотом и треском, проносятся над головой. Она, однако, будто безразличная к опасности, оборачивается и быстро говорит что-то тому, кто следует за ней. Иван переводит взгляд — внизу испуганно бросается в ельник кто-то в полосатом. Девушка же вскакивает на обрыв, одевает колодки, которые до этого держала в руке, и, оглянувшись, бежит к нему. Иван бросается навстречу, хватает ее за руку, ругается. Одна колодка с ноги девушки отскакивает в сторону.

— Ой, клумпес! — вскрикивает девушка и, вырвав руку, бросается за колодкой. Вверху трещат мотоциклы. Иван в два прыжка настигает ее, хватает за руку и, не сдержавшись, ладонью бьет по лицу.

Упав под скалой, она из-под локтя бросает на него удивленный взгляд, одевает на стопу колодку и, неумело картавя, повторяет его ругательство. Мотоциклы уже промчались.

Это было так неожиданно, как и его пощечина, и показалось ему таким необычным, что в Иване будто сдвинулось что-то, сместилось — человеческое на минуту озарило его заскорузлую от страданий душу.

Иван от удивления широко раскрывает глаза.

— Ого!

— Ого! — повторяет она, будто передразнивая, и капризно поджимает полные губы. В черных глазах ее, однако, озорство и ни тени страха. Он в злом недоумении оглядывает ее.

— Ты куда бежишь?

— Вас?

— Вас, вас! Куда бежишь?

— Руссо бежишь — их бежишь.

Он, исподлобья вперив в нее взгляд, с полминуты молча старается понять ее. Ее густые, сросшиеся над переносьем брови высоко вскинуты.

— Ты знаешь, куда я бегу? Русланд бегу. Поймают, мне будет пуф! А тебе это! — он касается пальцем шеи и указывает вверх.

В ответ она только пренебрежительно фыркает.

Недоумение его сменяется злостью.

— Смелячка! Расхрабрилась! Ну беги! Только без меня! Я тебе не помощник.

— Конэчно! — дружелюбно улыбается девушка и легко вскакивает на ноги.

Иван бросается дальше по склону.

7

Начинается дождь. Небо в тучах. Лес тревожно шумит.

Иван, не сбавляя темпа, лезет и лезет вверх между стволов и камней. Одна штанина его разорвана, колено в крови.

Сзади все тихо. Девушка, то отставая, роняя с ног колодки, то снова догоняя его, бежит сзади. Он, однако, не оглядывается.

Он старался быть безразличным к ней, если бы она отстала совсем, возможно, вздохнул бы с облегчением, но все же, пока она шла за ним, не мог и прогнать ее.

Одежда их скоро намокает. Вокруг мокрые камни. Мокрые ветви елок. В туго натянутой лесной паутине дрожат капли дождя.

Но вот Иван натыкается на дорогу. Широкая бетонированная магистраль. Иван останавливается, глядит в одну сторону, в другую. На дороге пусто. Сзади останавливается девушка. Придерживаясь за верхушку елочки, вытряхивает колодки. Он оглядывается и окидывает ее недовольным взглядом. Потом быстро идет к дороге.

Возле дороги он останавливается и подает ей, руку: «Иди сюда!» Она молча протягивает свою. Они быстро выбегают на мокрый бетон. В кювете она стучит колодкой. Он бросает: «Скидай!» И они перебегают дорогу босиком.

За дорогой опять подъем.

8

Крутой склон. Осыпь. Иван первый взобрался на нее и остановился под густой сосной. Устало оглянулся. Ниже лезет она. На середине обрыва одна ее колодка спадает с ноги и катится далеко вниз. Девушка вскрикивает: «Парка мадонна!» и замирает. Потом, взглянув на него, спускается вниз за колодкой. Он пытается вытащить из пятки занозу и ждет. Девушка подбирает колодку и лезет вверх.

— Брось ты их к черту! — говорит он.

— Нон брось! — говорит она, шевельнув своей маленькой ножкой.

Добравшись до него, она в изнеможении опускается рядом.

— Руссо очень, очень фурьёзо? Как это дойч? Бёзе? — говорит она.

Иван все ковыряется в пятке, заноза не дается его пальцам.

— Будешь бёзе! Когда жареный петух клюнет! — говорит он и добавляет: — Какой я бёзе! Я — гут.

— Гут?

Она, пригладив руками мокрые волосы, придвигается к нему.

— О, дай!

Она легонько и просто берет его стопу, недолго колупает там пальцами, потом наклоняется, коснувшись ее зубами. Прежде чем он успевает выдернуть ногу, в ровненьких белых ее зубах уже чернеет воросинка занозы.

Иван удивленно потирает ногу. В глазах у него впервые появляется нечто хорошее к девушке.

— Ловкая, — одобрительно говорит он.

— Лёф-ка-я! — игриво повторяет она. — Что ест лёфкая?

— Как тебе сказать? Ну в общем, гут.

— Гут?
— Я. Гут.
— Ду гут. Их гут! — радостно заключает она и смеется. 0н, однако, хмурится.
— Кто это бежал за тобой?
— Бежаль, да? Гефтлинг. Тэдэско-гефтлинг.
— Что, знакомый? Товарищ?
— Нон товарищ. Кранк-гефтлинг.
Указательным пальцем она притрагивается к своему виску.
— А, сумасшедший, — догадывается он.
— Я, я.
Иван с полминуты глядит вниз, что-то думает, потом бросает: «Ладно. Черт с ним!» и встает.

9

Мрачная бесприютная ночь застает беглецов в каменистом, заросшем редким кривым сосняком ущелье. Они устало пробираются по его склону. С одной стороны громоздятся почти отвесные скалы, с другой обрыв исчезает в туманной пропасти. Сеет мелкий дождик, вокруг туман и тишина.
Вслушиваясь и вглядываясь, Иван идет впереди. Вдруг он слышит, как сзади стукнуло что-то, с обрыва сыплются камни.
Он оборачивается. Девушка лежит на обрыве и не пытается встать.
Он немного ждет, отдыхиваясь, потом идет к ней. Он понимает, что это она от усталости, и по пути находит пристанище под нависшей вверху скалой.
— Что, все? Пойдем отдохнем немного, — говорит он.
Она не поднимается.
— Ну, шлауфен, понимаешь?
Он притрагивается к ее плечу, но она тяжело дышит и не поднимается. Опираясь на руки и низко склонив голову, она будто не слышит его.
Он, злясь, стоит над ней, потом хватает ее под колени и подмышки и поднимает, чтобы перенести в более укрытое место. Но она внезапно вздрагивает всем телом и вырывается из его рук. Он, минуту помедлив, в злом нетерпении машет рукой и идет под скалу один. Там отбрасывает из-под ног камни и, устало опустившись, натягивает на затылок ворот куртки. Через минуту он уже спит, уткнув лицо в колени.

Первый сон

Тревогой охвачен мир. Предгрозовые сумерки. Иван бежит в густой траве-бурьяне — жестком и корявом. Оглядывается. Сзади — лай собак и немецкие выкрики. Он падает. Вскакивает. Впереди стоит лес.

Крики немцев усиливаются, собачий лай уже совсем рядом. Но вот-вот, совсем близко, и лес. Иван бежит. Падает. Ползет. Когда же опять вскакивает, оказывается, что лес будто отодвинулся от него и черным силуэтом виднеется едва не на горизонте.

Иван бежит. Сзади бегут собаки. Мчатся мрачные тучи в небе — догоняя и опережая его.

Вот-вот он достигнет леса. Он уже весь обессилел и страшен. Вот уже осталось несколько десятков шагов. На светловато-небесном фоне отчетливо виднеются вершины деревьев. Но когда он опять вскакивает после короткой передышки, лес опять уходит вдаль. Впереди голое поле...

В напряженной безысходности видения его меняются, и вот уже другая картина — он, оборванный, грязный дистрофик, открыв дверь, стоит на пороге немецкого дома, и во все глаза жадно глядит на протянутую к нему руку немца-бауэра. В ней хлеб. «На», — говорит немец, Иван протягивает руку, но немец в жилетке и шапке с козырьком отступает на шаг и открывает дверь в следующую комнату. Иван невольно идет за ним, в комнате на накрытом скатертью столе — завтрак: кофе, масло, бутерброды. Иван подается к столу, однако немец шагает дальше, вместо шапки на его голове уже фуражка гестаповца и на ногах сапоги со шпорами, но Иван не замечает этого. Немец раскрывает следующую дверь — там в полумраке над ярким светом из-под абажура большой, роскошно сервированный стол с вином, хрусталем, фарфором. Иван помутившимся взглядом впивается в яства, но тут же замечает на краю стола руки — пальцы с перстнями, он поднимает взгляд — в сумраке у края стола немцы в форме.

Раздается злорадный громовой хохот, Иван содрогается, и от несносности переживаемого видения меняются.

Он уже в лагере. Разбежавшись, легко и воздушно прыгает через внутреннюю проволочную ограду и попадает в длинный узкий коридор между двумя проволочными заборами. Сзади раздаются крики, сбоку — собачий лай, Иван бросается в другую сторону, бежит в тесном коридоре, преследуемый лаем. Но впереди немцы. Он бросается назад, но там собаки, потом

снова вперед, там все ближе подбегают немцы. Иван запутывается в колючей проволоке, которая обволакивает его ноги, руки, тело, колючки ее вонзаются в тело, рвут одежду, Иван неистово рвется, но только еще более застревает в ней.

А немцы и собаки уже рядом.

Он просыпается.

10

— Ха-ха-ха! — беспечно раздается звонкий девичий смех.

Он вскидывает от колен голову, ощупывает шею, она прячет за спину стебелек, которым, пощекотав, только что разбудила его. Он недоуменно трет ладонью шею и широко раскрывает заспанные глаза.

В горах погожее летнее утро. Ущелье на той стороне сияет всеми цветами гор, безоблачное небо, кажется, звенит от чистой утренней голубизны.

— Баста шляуфен. Марш-марш надо! — улыбаясь, говорит она.

Он вскакивает, готовый идти дальше, делает несколько гимнастических движений, чтобы согреться. Она, пристукнув колодками, кидается за ним. Он останавливается.

— Ты куда пойдешь?

Она, не понимая, поводит бровями.

— Марш-марш куда? Туда или туда? Куда бежала? — начиная раздражаться, спрашивает он.

— О, Остфронт! Рус фронт!

Он удивленно смотрит на нее.

— Си, си! — подтверждает она. — Синьорина карашо тэдэски пуф-пуф.

— Глупости! — говорит он.

— Вас? Что ест глупост? Руссо будет синьорина училь русски шпрэхен?

— Посмотрим.

— Посмотрим ест карашо? Согласие, я?

Он оглядывает свою полосатую одежду, с треском срывает винкель и номер. Она сразу же берется сорвать свои. Но нашивки держатся прочно, она ничего не может сделать своими тоненькими пальцами и обращается к нему:

— Дай.

— Не дай, а на, — небрежно поправляет он и поворачивается к спутнице. Остро оттопыренные бугорки под ее волглой курткой заставляют его нахмуриться. Она, уловив его взгляд,

спохватывается и, оттянув складку, подставляет ему винкель. После короткого колебания он сильным рывком срывает ее нашивки и сует их под камень.

— Грация. Спасибо.

— Ты где по-русски училась? — спрашивает он.

— Италия. Рома училь. Лягер русска синьорина Маруся училь. Карашо русски шпрехен, я?

— Хорошо.

— Понималь отшень лючше карашо, — словоохотливо поясняет она.

Он, однако, думает о другом.

— Где Триест — знаешь?

— О, Триесто — Италия, — живо отзывается она.

— Знаю, что Италия. Но где, в какой стороне?

Она бросает взгляд на горы и уверенно машет в одну сторону.

— Там. Дорога Триесто.

«Дорога! — невесело подумал Иван. — Ничего себе дорога!» Но выбор у них был небольшой, и, если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы спасовать и дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке.

— Так вот: я в Триест. К партизанам, — объясняет он. — А ты как знаешь.

— Си, си! — охотно соглашается она. — Руссо Триесто, синьорина — Триесто.

Он окидывает ее недоверчивым взглядом и говорит:

— Ну, посмотрим.

Они трогаются в путь.

11

Крутой каменистый склон распадка. Впереди лезет она. Он за ней.

Колодки ее скользят, на середине склона она снимает их и берет в одну руку, другой хватаясь за колючие твердые стебли травы.

— Руссо, — говорит она. — Ты ест официр?

— Никакой не офицер. Пленный.

— Пленни, плени. Я понималь. Кто до война биль?

— Колхозник.

— Что ест кольхозник?

— Не понимаешь, а спрашиваешь, — грубовато упрекает он. — Ну вроде бауэра. Форштей?

— А, понималь: ляндвиршафт?

— Вот, вот. Колхоз.

— О, я очень люблю кольхоз! — оживленно говорит она. — Кольхоз карашо. Ля вораре — компани. Отдых — компани. Карашо компани. Руссо кольхоз карашо. Правилно я понималь?

Он не успевает ответить, сдвинутые ее ногами, на него сыплются земля и камни. Он отскакивает в сторону. Она вверху озорно смеется, припав к склону.

Он со злостью:

— Тише ты!

Она спохватывается и ладонью закрывает рот.

— Пардон.

— Пардон, пардон. Тихо надо! Что разошлась?

У него это получилось чересчур грубо, она стреляет на него выразительным взглядом и поджимает губы.

— Мой имя ест Джулия. Синьорина Джулия.

Он строго оглядывает ее — ну и что!

Эти слова для него мало что значили. Он думал: «Кто она? Какая-нибудь европейская гуррен, как их называют немцы? Бездомная бродяжка суетных итальянских городов, опаленная безжалостным огнем войны? Вряд ли из нее получится надежный товарищ в этом его четвертом побеге», — думал Иван, утешаясь только той мыслью, что в спутники себе он ее не выбирал.

12

Они выбираются из распадка на край каменистого обрыва и останавливаются. Тут привольно, с одной стороны поднимается громада гор, с другой в сиреневой дымке далеко виднеется долина. Огромный склон порос горным сосняком.

— Баста! — запыхавшись, говорит она. — Немножко отдыхай.

Они садятся на камни, оглядываются, вдруг она вскакивает, что-то заметив внизу.

— Руссо! Мэнш! Челёвэк!

Вдали по тропинке снизу идет человек. Иван пригибается, достает из-за пазухи браунинг, потом трогает ее за плечо (сиди тут) и, пригнувшись, идет в сосняк.

Он быстро идет по сосняку, на склоне на ходу вынимает магазин и пересчитывает патроны — их пять, шестой в стволе.

Тропинка неожиданно появляется в десяти шагах впереди, он оглядывается вверх, вниз — нигде никого. Тишина. Он прячется за камень вблизи и начинает ждать.

Человек появляется из-за поворота, на спине его — ноша, он быстро идет, шаря глазами в сосняке, Иван сжимается и постепенно поворачивается за камнем, ругаясь в душе оттого, на что он вынужден теперь пойти.

Когда человек проходит его, Иван вскакивает и в несколько широких шагов достигает тропы. Австриец оглядывается и, замахав руками, почти кидается к парню. Иван вскидывает пистолет.

— Гер гефтлинг! Гер гефтлинг, — бормочет австриец. — Во цу ди пистоле! Эсэс![1]

Иван и верит и не верит тому, что говорит этот пожилой уже толстяк в кожаной куртке на плечах и тирольской шляпе на лысой голове.

— Эсэс! Дорт эсэс! Штрейфе![2]

Австриец взволнован, пот ручьями льется по его немолодому лицу, в груди, словно гармонь, удушливо скрипит и свистит на все голоса. Иван оглядывается и закусывает губу.

— Где эсэс?

— Дорт, дорт! Их метхэ инен гутмахен![3] — горячо говорит австриец, держась за лямки мешка.

— Ду нэйн люген?[4] — спрашивает Иван.

— О найн! Найн! Их бин гутэр мэнш![5] — заверяет австриец и, сменив тон, произносит по-русски: — Я биль рус плен Сибир.

В его встревоженных немолодых глазах мелькает что-то теплое, как воспоминание, и Иван понимает: он не обманывает.

— Ду вэр? Ворум гир?[6] — строго спрашивает парень и за рукав тужурки бесцеремонно дергает австрийца с тропинки.

— Их бин вальдгютер. Дорт ист мэйн форстей[7].

Иван бросает взгляд вверх, но дома там не видит, зато в сосняке замечает полосатую фигуру Джулии.

— Руссо! Руссо! Бежаль! Руссо! Иван, не обращая внимания на ее предостерегающий крик, хватает мешок на плече у австрийца.

— Эссен?[8]

---

[1] Господин заключенный! Не надо пистолет. Эсэс! (*Нем.*)
[2] Эсэс! Там эсэс! Облава! (*Нем.*)
[3] Там, там! Я вам желаю хорошего! (*Нем.*)
[4] Ты не врешь? (*Нем.*)
[5] О, нет, нет! Я честный человек! (*Нем.*)
[6] Ты кто? Почему здесь? (*Нем.*)
[7] Я лесник. Там мой дом (*нем.*).
[8] Съестное? (*Нем.*)

— О, я, я! — подтверждает австриец и опускается на колени. — Брот[1].

Дрожащими пальцами австриец расстегивает молнию мешка. Иван запускает туда руку и выдергивает буханочку хлеба. Австриец не протестует, только как-то обмякнув, покорно повинуется его решительным движениям. В это время к ним подскакивает Джулия, Иван бросает в ее руки буханочку, а сам снова делает поспешный шаг к человеку.

— Снимай!

Он дергает его за рукав тужурки, австриец будто не понимает, на лице его — растерянность.

— Шнеллер! — бросает Иван.

— Шнеллер! Шнеллер, руссо! — торопит его из сосняка Джулия. И австриец с непонятной тоской в глазах снимает с себя тужурку. Иван почти вырывает ее из его рук — он понимает, конечно, что это черная неблагодарность, если не хуже. Но иначе нельзя.

Он бросается в сосняк, где его нетерпеливо поджидает Джулия, и в последний раз оглядывается. На тропинке растерянно замерла старческая фигура в подтяжках.

13

Они опять ошалело бегут вверх.

Сосняк оканчивается, они выбираются на травянистый пологий косогор у верхней границы лесов. Вверху присыпанный снегом хребет. Подъем упирается в крутую, почти отвесную скалу.

Беглецы сворачивают в сторону и бегут вдоль этой стены.

Все время его точило сомнение в отношении австрийца, от которого теперь можно было ждать разного. Но что Иван мог сделать? Разве он грабитель с большой дороги — зачем бы ему останавливать этого человека, направлять на него пистолет, отнимать хлеб? Зачем бы ему пойти на это, если бы не фашизм, не война, не плен с тысячью мук и унижений. Они вынудили его и на это унижение, и оттого он еще более ненавидел их.

Наконец впереди в стене узкая расселина. Продравшись через заросли рододендрона, они вбегают в эту расселину. Это глухое дикое место: мрак, клочья травы, кости внизу; вспугнутая людьми, вглубь ущелья бросается какая-то птица.

---

[1] Да, да! Хлеб (*нем.*).

Иван останавливается, поджидая спутницу. Она устало подходит к нему, на ее оживленном лице теперь — испуг и ожидание.

— Парка мадонна! Ми уходиль, да?

Он нетерпеливо:

— Давай быстрей!

— Что есть бистрей?

Он не отвечает, она подбегает к нему и оба по камням торопливо пробираются дальше.

— Много карашо фатэр! Комунисто фатэр! — оживленно говорит Джулия, имея в виду австрийца.

— Какой там коммунист! — бросает он. — Человек просто.

— Си, си, человек. Бене человек.

Она вырывается несколько вперед, и он впивается взглядом в буханочку у нее под мышкой. Она, почувствовав этот взгляд, оборачивается.

— Эссен? Хляб, да?

И, на ходу быстро отломив край буханки, протягивает кусок ему. Он берет и сразу же проглатывает, только раздразнив тем свой голод. Джулия, поняв это, останавливается, приседает и на коленках отламывает от буханки больший кусок. Крошки она бережно собирает с полы куртки и бросает себе в рот.

Иван нерешительно берет, подумав, разламывает на две части и, будто взвесив эти части в руках, одну протягивает ей. Она, усмехнувшись, берет.

— Данке. Нон: грацие — спасибо!

В глазах у нее признательность. Он, вслушиваясь, быстро жует на ходу.

Они быстро пробираются по расселине дальше. Джулия впереди. Оба глотают слюну. Вдруг она резко поворачивается к своему спутнику.

— Руссо! Давай все-все манджаре! Согласие, си?

В глазах ее прежняя озорная живость, пальцы впиваются в обломанную буханочку. Иван почти в испуге бросается к ней и вырывает хлеб.

Джулия удивленно вскидывает брови, а Иван быстро завертывает хлеб в тужурку — дальше от глаз. Вдруг она громко смеется.

— Ты что?

— Руссо правилно! Джулия нон верить хлеб. Слово — верить, любовь — верить. Хлеб — нон верить. Джусто руссо!

Смеясь, она подходит сзади и легонько касается ладонью его лопатки. Он от неловкости поводит плечами.

— Ладно! — бросает он, намереваясь прыгнуть с камня. В это время сзади тишину вспарывает первая длинная очередь.

14

Оба в испуге замирают в расселине, при этом она жмется к нему и он не замечает того, сам прижимаясь к скале. Сзади доносятся очереди, крики. Пули, однако, сюда не долетают и тогда испуг у беглецов проходит, уступив место недоумению.

Иван бросает на камни тужурку и быстро карабкается по отвесному склону вверх, чтобы выглянуть из расселины. Джулия, оставаясь внизу, широко раскрытыми глазами следит за ним.

Кое-как вскарабкавшись по скале, он видит, как на опушке сосняка возле усадьбы лесничего мечутся несколько мотоциклов, которые из пулеметов бьют вверх по склону. Иван продвигается несколько выше и в сторону, и тогда ему становится видно, что немцы стреляют по одинокой фигуре в полосатом, которая то бежит, то падает, чтобы тут же снова вскочить. Иногда человек оглядывается, иногда вроде кричит.

— Руссо! Руссо! Что смотришь? Руссо! — нетерпеливо притопывая на камне, спрашивает Джулия.

Иван, однако, не отвечает, он все следит за беглецом, пока тот не падает в траву и не затихает стрельба. Тогда он спускается вниз и бросает Джулии:

— Капут.

— Капут? — широко раскрыв глаза, не понимает девушка.

— Кампаниё твой.

— Кранк-гефтлинг?

— Ну.

— Ой, ой!

Он хватает у ошеломленной Джулии тужурку, она проворно подбирает в руку колодки и они бросаются по камням вверх.

15

Медленнее, чем прежде, они все пробираются тесной, как коридор, расселиной. Становится холодно, небо вверху закрывает низкая наволочь туч, которые, цепляясь за острые вершины утесов, быстро несутся вверху.

Иван устал, но еще больше устала Джулия, и он то и дело испытующе поглядывает на нее.

Силы их заметно сдавали, но Иван думал, что как-нибудь перейдет хребет, лишь бы только не напороться на какую нелепость — вынесет, стерпит все: на свободе — не в лагере.

Вот только Джулия... С виду она старается казаться бодрой, но несвойственная ее порывистой натуре медлительность движений выдает ее усталость.

Наконец расселина упирается в скалистый тупик, надобно выбираться наверх.

Иван, найдя доступное место, сворачивает на склон. Взобравшись на середину склона, он останавливается, поджидает Джулию и подает ей руку. Потом молча тащит ее до самого верха.

Наконец они выбираются на голый каменистый склон, сразу же их обволакивают порывистая промозглая мокредь, словно сырым паром, она окутывает все вокруг. В грудь бьет сильный высотный ветер.

Они останавливаются. Джулия опускается на выступ скалы. Иван выкладывает на камни хлеб и с тужуркой подступает к спутнице.

— О, нон, нон! Я тепло.

Усталые глаза ее сразу оживляются, она протестующе вскидывает руку, ветер отчаянно треплет ее короткие волосы. Иван, не обращая внимания на ее протест, накидывает на ее плечи тужурку. Она сразу же зябко закутывается и втягивает голову в плечи. Он опускается над общипанной буханочкой.

— Ильпано! Хляб! — с голодной несдержанностью говорит она и сглатывает слюну. Иван осматривает буханочку, прикидывает и острым кремневым черепком начинает отрезать ломоть хлеба. Джулия с радостным умилением на лице покорно следит за движениями его грубых пальцев, которые делят кусок хлеба на две пайки.

— Хорошо?

— Си, си. Карашо.

Но Иван еще подравнивает куски и бросает девушке:

— А ну отвернись!

Она понимающе исполняет его команду.

— Кому?

— Руссо, — с готовностью говорит она и живо поворачивается к нему и хлебу.

Берет свою пайку Иван. Чуть живее хватает свою Джулия.

— Гра... Спасибо, руссо, — говорит она.

— Не за что.

— Руссо, — торопливо жуя и кутаясь в тужурку, говорит Джулия. — Как ест твой имя? Иван, да?

— Иван, — несколько удивленно подтверждает он. Она, закинув голову, хохочет.

— Иван! Джулия угадаль. Как ето угадаль?

— Не трудно угадать.

— Все все руссо — Иван? Правда?

— Не все. Но есть. Много.

Она обрывает смех и запахивается в тужурку, незаметно для спутника поглядывая на остаток буханочки. Он замечает этот ее красноречивый взгляд и берет буханку, чтобы спрятать ее за пазуху. Но вдруг Джулия вскрикивает, он бросает на нее взгляд — она испуганно смотрит мимо него вдаль. Иван, вздрогнув, быстро оборачивается.

16

Поодаль среди разорванной ветром в тумане прогалины, опершись на расставленные руки, сидит на скале страшный в изодранной полосатой одежде гефтлинг. У него лысый череп, тонкая шея, глубоко запавшие глаза, которые, будто остановившись, глядят на них. Наверно, он видит в их руках хлеб и неуклюже подпрыгивает на месте.

— Брот! Брот! Брот!

Крик его обрывается, и он совсем уже человеческим полным отчаяния голосом требует:

— Гип брот!

— Ге, чего захотел! — саркастически усмехается Иван. Сумасшедший, выждав несколько секунд, с неожиданной злобой кричит:

— Гип брот! Гип брот! Их бешайнэ гестапо![1] Гип брот!

Иван поднимается на ноги.

— Ах, гестапо! А ну марш отсюда! Ну, живо!

Он угрожающе двигается к безумцу, тот соскакивает со скалы и с удивительной ловкостью отбегает дальше.

— Гип брот — никс гестапо! Никс брот — гестапо![2] — кричит он.

— Ах ты, собака! — кричит сквозь ветер Иван, стоя меж камней. Ниже, выжидая, стоит сумасшедший.

— Гип брот!..

Иван выхватывает пистолет и щелкает курком.

— Пистоле! — в испуге вскрикивает немец и бросается вниз.

Иван закусывает губу. Сзади к нему подбегает Джулия.

---

[1] Дай хлеба! Дай хлеба! Я донесу в гестапо! (*Нем.*)

[2] Дай хлеба — не буду гестапо! Не дашь — гестапо! (*Нем.*)

— Дать он хляб! Дать, Иван, хляб! — испуганно говорит она. Немец тем временем отбегает, приостанавливается, оглядывается и быстро шагает вниз.

— Иван, дать хляб! Дать! Нон гестапо! — тревожно требует девушка.

Иван с минуту зло колеблется, проклиная в мыслях этого выродка. Но делать нечего.

— Эй! — кричит он. — На брот!

Немец, ухватившись за скалу, останавливается, оглядывается, сквозь ветер доносятся его слова:

— Никс!.. Ду шиссен! Их бешайнэ гестапо![1]

И, не оглядываясь, подается вниз.

— Пошел к черту! — кричит Иван. — Никс шиссен! На вот!.. На...

Иван действительно отламывает от буханки кусочек и поднимает его в руке. Рядом напряженно ждет Джулия. Немец останавливается, но, помедлив немного, опускается на выступ скалы. К ним он подходить боится.

— Ах ты, собака! — кричит Иван, теряя терпение. — Ну и черт с тобой! Иди в гестапо! Иди!

— Иван, нон гестапо! Нон! — тормоша его за рукав, упрашивает Джулия. — Дать немножко хляб. Нон гестапо.

Иван зло:

— Черта с два ему хлеб. Пускай идет!

— Он плохой гефтлинг. Он — кранк!

Иван, не ответив, кладет за пазуху остатки буханочки, пистолет и идет к прежнему месту вверх. Джулия, оглядываясь, молча идет следом. На них налетает серая мгла, она окутывает камни, в промозглом тумане исчезает и сумасшедший. Заметив на лице девушки тревогу, Иван бросает:

— Никуда он не пойдет! Врет все.

Он успокаивает ее, однако сам уверенности в том не испытывает и все оглядывается. Они уже отправляются в путь в обход огромного скалистого выступа, как Иван возвращается и кладет на камень, где они сидели недавно, кусочек хлеба.

— Ладно! Пусть подавится, сволочь! — будто оправдываясь, зло говорит он. Джулия согласно молчит, видно, она слишком хорошо знает, что такое предательство.

---

[1] Нет! Ты будешь стрелять! Я донесу в гестапо! (*Нем.*)

17

Ветер гонит и гонит бесконечные космы тумана, куртка на Иване становится волглой, дрожь то и дело сотрясает его тело.

В это время впереди появляется тропка. Не очень приметная и неровная, она куда-то ведет наискось по склону.

Иван и Джулия торопливо выбираются из камней на нее и оглядываются. Внизу среди прядей тумана мелькают мрачные скалы, пропасти, кое-где проплывает сизая даль. Вверху же в высоком затуманенном небе горит освещенный солнцем густо заснеженный хребет. Собственно, хребтов там два: дальний могучий и широкий, похожий на огромную неподвижную медвежью спину, и ближний — зубчатый, чуть присыпанный снегом.

Грозное великолепие гор очаровывает и пугает, Иван переводит взгляд на Джулию и впервые ощущает тихую радость оттого, что перед этой грозной стихией он не один, что с ним друг, спутник, пусть себе и женщина.

Они бодро направляются по тропинке через голый скалистый косогор.

18

В то время на том месте, где Иван оставил корку, появляется безумец. Пригнувшись, он ищет что-то среди камней, потом находит, жадно съедает. Еще недолго шарит руками по камням и, ничего больше не найдя, бросается вверх по следам беглецов.

19

Иван и Джулия идут по тропинке, Они поднялись еще выше, вверху появляется солнце. Клочья облаков преображаются и ослепительной белизной сияют на склонах гор. По скалам и безднам быстро несутся черные лоскутья теней и рядом — яркие пятна света. Ветер, не утихая, рвет одежду, пузырем надувает продранные Ивановы брюки.

Джулия близко подходит к Ивану.

— Иван, — говорит она, делая ударение на «и». — Ты не имель зло Джулия?

— А чего мне злиться?

— Ты нон бёзе?

— Можешь не бояться.

— Нон бояться, да? — улыбается она.

— Да.

Однако улыбка скоро сбегает с ее лица, которое становится сосредоточенным и усталым.

— Джулия руссо нон бояться. Джулия снег бояться.

Иван бросает тревожный взгляд вверх на хребет. Вслух, однако, он говорит:

— Куртка у тебя есть. Чего бояться? Манто не жди.

Джулия вздыхает и, помолчав, вспоминает с грустью:

— Рома Джулия много манто имель. Фир манто: черно, бело...

Он настораживается и замедляет шаг.

— Что, четыре манто?

— Я. Фир манто. Четири.

— Ты что — богатая?

Она смеется.

— О, нон богата. Бедна. Политише гефтлинг.

— Ну, не ты — отец. Отец кто твой?

— Отэц?

— Отец. Ну фатэр. Кто он?

— А, ла падре! — догадывается она. — Ла падре коммерсанто. Директоре фирма.

Он тихо присвистывает — ну и ну! И резко оборачивается к ней.

— Фатэр фашист.

— Си, фашисто, — просто соглашается Джулия. — Командор милито.

Он отступает на шаг, чтобы оглядеть ее ладненькую, неказисто одетую фигурку, и, кажется, впервые чему-то в ней удивляется. Она же покорно и преданно глядит на него, сцепив в рукавах тужурки руки и привычно постукивая по тропке своими неуклюжими клумпес.

— А ты что ж... Тоже, может, фашистка? — со сдержанным подозрением спрашивает он. В ее глазах мелькает упрек.

— Джулия фашиста? — удивляется она и с сознанием собственного достоинства объявляет: — Джулия комунисто.

— Ты?

— Си, я!

— Врешь, — после паузы говорит он.

— Комунисто. Си. Джулия комунисто, — упрямо твердит она.

— Что, вступила? И билет был?

— О, нон! Нон латесаро. Формально нон. Моральменде комунисто.

— А, морально! — он машет рукой и обгоняет ее. — Морально не считается.

— Почему нон читается?

Иван отвечает не сразу. Кажется, несколько утратив вдруг вспыхнувший к ней интерес, он идет впереди.

— У нас тогда считается, когда билет в кармане.

— А, Русланд! Русланд я понимайт. Русланд Советико. Русланд свобода..

— Вот именно.

— Советико очень карашо: эмансипация, либерта. Братстко. Да?

— Ну.

20

Лицо ее, несмотря на усталость, теплеет, по тропке она подбегает к Ивану и обеими руками берет его за руку выше локтя. Он, сторожко оглянувшись, придерживает шаг.

— Это очень, очень карашо. Джулия очень уважаль Русланд. Русланд нон фашизм. Нон гестапо. Очень карашо. Иван счастлив твой Русланд. Скажи, Иван, как до война жиль. Какой твой дэрэвня? Слюшай, тэбе синьорина, дэвушка, любиль? — вдруг спрашивает она и испытующе заглядывает ему в глаза.

— Какая там девушка! Не до девушек было.

— Почему так?

— Так?

— Плёхо жиль? Почему?

— Так, всякое бывало, — уклоняется он от ответа на этот вопрос.

— Ой, неправда говориль, — лукаво скосив на него глаза, говорит она. — Любиль много синьорино. Я знай.

— Куда там!

— Какой твой провинция? Какой место ты жиль? Москва? Киев?

— Беларусь.

— Беларусь? Это провинция такой?

— Республика.

— Република? Это карашо. Италия монархия. Монтэ — горы ест твой република?

— Нет. У нас больше леса. Пущи. Реки и озера, — отдаваясь воспоминаниям, охотно говорит он. — Моя деревня Терешки как раз возле двух озер стоит. Когда в тихий вечер взглянешь — не шелохнется. Словно зеркало. И лес висит вниз вершинами.

Ну просто нарисованный. Только рыба плещется. Щуки — во! Что эти горы!

Солнце опять скрывается за серым туманом облака, на гладкий косогор с протоптанной наискось тропинкой надвигается стремительная тень, дымчатые влажные клочья быстро несутся поперек склона.

Ощутив грусть воспоминаний, Иван омрачается лицом. Джулия медленно высвобождает его руку, удерживая шершавые пальцы.

— Иван, твой мама карашо?

— Мама? Хорошая.

— А ла падрэ? Отэц?

Его лицо подергивается печалью.

— Не помню.

— Почему? — удивляется она и приостанавливается. Их руки вытягиваются.

— Умер отец. Я еще малый был.

— Морто? Умиор? Почему умиор?

— Так. Жизнь сломала.

Она деликатно высвобождает пальцы, заходит сбоку, ожидая ответа. Но он не говорит больше ничего, уйдя в себя.

— Иван, обида да?

— Какая обида?..

— Ты надо счастливо, Иван! — не дождавшись его ответа, говорит она. — Твой болшой фатэрлянд побеждай Гитлера война. Это болшой счастье. Си Иван?

— Да. Конечно, — соглашается Иван. — Это конечно!

21

Вечереет. Быстро темнеют горы внизу, исчезает серебристый блеск дальнего хребта. На фоне слегка просветленного неба чернеет гигантская вершина с меньшею рядом. В седловину между ними ведет тропинка. Там перевал.

Путники очень устали. Джулия, приотстав, едва плетется по склону. Холод все усиливается. Буйствует ветер.

— Иван! — говорит она, делая ударение на «и». — Иван!

Иван оборачивается и поджидает, пока она не нагонит его. Ноги его окоченели, все тело содрогается от холода.

Подходит Джулия.

— Иван! Очен очено уставаль...

Он переступает с ноги на ногу.

— Давай как-нибудь. Видишь, хмурится.

Из-за двух вершин, переваливаясь, оседает на склоны густая туча. Небо гасит свой блеск, исчезает единственная крошечная звездочка над хребтом, все вокруг — скалы, косогоры, ущелья и долины заволакивает сумеречная мешанина облаков.

— Почему нон переваль? Где ест переваль?

— Скоро будет. Скоро, — обнадеживает Иван, сам не зная, как еще долго добираться до седловины.

Они снова идут, но уже очень медленно. На крутых местах он оборачивается, подает ей руку и втаскивает наверх.

Дует сильный ветер, крутит, рвет из всех направлений.

22

Вовсе темнеет. Громады скал сливаются в непроглядную массу, небо черной беспросветностью смыкается с горами.

Иван теряет тропинку. Поняв это, пробует нащупать ее ногами, потом ощупывает камни руками. Потом, подождав Джулию, бросает ей: «Постой тут», а сам отходит в сторону и ищет среди скал. Джулия покорно и молча опускается на камни.

Он долго ходит так, но тропинки нет. В воздухе вокруг замечает какое-то мелькание, вытягивает руку и понимает — это пошел снег. Снег быстро обсыпает камни, и Иван замечает под ним беловатую кривизну тропки.

— Эй, Джулия! — негромко окликает он девушку. Но она молчит. Тогда он, выждав с минуту, недовольно возвращается назад и застает ее беспомощно сжавшейся на холодном камне.

— Джулия!

Она не отзывается, и в Иване появляется недоброе предчувствие.

— Ты что?

— Баста, Иван! — тихо говорит она, не поднимая головы, мелко дрожа всем телом.

Он полминуты молчит. Потом отчужденно:

— Как это баста? А ну вставай.

— Нон вставай.

— Ты что, шутишь?

Она молчит.

— А ну поднимайся! Скоро перевал.

Она молчит.

— Ну ты слышишь?

— Финита! Нон Джулия марш! Нон!

— Понимаешь, нельзя тут оставаться. Закоченеем к утру. Видишь, снег, — мягче говорит он.

Однако его слова уже никак не воздействуют на девушку. Иван, поняв это, умолкает. Потом, подумав, вытаскивает из-за пазухи помятую краюшку хлеба и, отвернувшись от ветра, бережно отламывает от нее кусочек.

— На вот хлеба. Съешь.

Вдруг оживившись, девушка вскидывает голову.

— Хляб?

Она быстро съедает кусочек мякиша и просит:

— Еще хляб?

— Нет. Больше не дам. На перевале.

Она сразу съеживается и замыкается в себя.

— Нон перевал.

— Какой черт нон? — вдруг кричит Иван. — А ну вставай! Ты что надумала? Замерзнуть? Или в лагерь вернуться?

— Нон лягер!

— Нон, нон! Так замерзнешь же, чудачка! К утру станешь сосулькой. Слышишь?

Джулия молчит.

Ветер сыплет снежной крупой, небо без всякого просвета, тело содрогается от стужи.

— А ну встать! — вдруг зло командует Иван. — Встать!

Джулия, помедлив, ослабело поднимается на ноги и, хватаясь за камни, медленно бредет за ним к тропке. Вдруг сильный порыв ветра стегает их по лицам и сильно толкает в грудь. Они задыхаются, а Джулия падает.

23

Иван пытается помочь ей встать, но девушка не встает, сильно кашляет. Наконец, отдышавшись, садится на камень и решительно говорит:

— Джулия финита! Аллес! Иван идет Триесто! Джулия нон Триесто.

— И не подумаю! — бросает Иван и, отойдя на пять шагов в сторону, прислоняется к камню.

— А еще говорила — коммунистка! — упрекает он. — Паникер ты!

— Джулия нон паникор! — с обидой говорит она. — Джулия партыджано!

— Партыджана, партыджана! Какой ты к черту партыджана? Трусиха ты!

— Нон трусиха. Нон паникор. Силы малё.

А ты через силу.

Джулия молчит.
— А ну вставай.
Молчание.
— Ну какого черта молчишь! Замерзнешь же, дура.
Молчание.
Он, промерзнув, вскакивает, босыми ногами озабоченно шагает по тропе туда и назад, потом решительно останавливается напротив.
— Так не пойдешь?
— Нон, Иван.
— Ну что ж! Пропадай, — с деланным равнодушием говорит он и требует: — Давай тужурку.
Она снимает с себя тужурку, кладет ее на камень, потом сбрасывает с ног колодки и составляет их рядом. Он застывшей ногой отодвигает колодки в сторону.
— Оставь себе. В лагерь бежать, — говорит он, натягивая на себя тужурку. — Что ж, прощай!
— Чао! — покорно говорит она, сжавшись на камне. Отчего-то Ивану становится не по себе, но он пересиливает себя и торопливо, почти бегом взбирается на крутизну. Однако он не в состоянии справиться со своими невольными чувствами, что-то гнетет его, бунтует в нем, и он оглядывается. Она темным пятнышком едва сереет на снегу. Тогда он, чего-то не одолев в себе, сбегает вниз. Джулия испуганно вскидывает голову:
— Иван?
— Я.
Она настораживается, видимо, о чем-то догадываясь.
— Почему?
— Давай клумпес!
Она покорно вынимает из колодок ноги, и он быстро насовывает их на свои ступни. Затем торопливо скидает с себя тужурку.
— На, надевай.
Она быстро запахивается тужуркой, он помогает, придерживая рукава, потом трогает ее за локоть.
— Иди сюда!
Она упрямо отстраняется, испытующе заглядывая ему в лицо
— Иди сюда!
— Нон!
— Вот нон мне еще!
Он хватает поперек ее дрожащее тоненькое тело, рывком вскидывает на плечо. Она, как птица, стремясь вырваться, тре-

пещет, что-то говорит, но он, не слушая, закидывает ее за спину, руками перехватывает под коленки. Она вдруг притихает, чтобы не упасть, обхватывает его за шею и замирает. Вскоре он чувствует, как горячая капля катится ему за воротник.

— Ну ладно. Как-нибудь!..

Он и сам задыхается, но не от ветра, а от чего-то незнакомого и доброго, что вдруг наполняет его, и быстро лезет вверх по тропинке. Она не шевелится.

24

Снежная крупа уже густо обсыпала шершавые камни, деревяшки скользят на тропе, на слишком крутых местах, чтобы не упасть с ношей, Иван старается идти боком.

Перевал уже близок, впереди возвышаются пестрые склоны вершин. Ветер по-прежнему шалеет в своей неуемной ярости. Вокруг все стонет, воет, гудит.

Мелкими шажками Иван взбирается все выше. Джулия молча прижимается к его спине. Пальцы ее, сомкнутые у него на груди, тихо вздрагивают. Он, однако, выбивается из сил и, взобравшись на очередную крутизну, прислоняет ее к скале.

— Ну как? Замерзла?

— Нон, нон.

— А ноги?

— Да, — тихо говорит она. — Ноги да.

Не оборачиваясь, Иван нащупывает ее окоченевшие босые ноги и, подхватив горсть снега, начинает растирать их. Джулия вздрагивает и пытается вырваться, но Иван удерживает их.

— Ну что? Щекотно?

— Болно! Болно!

— Потерпи. Я тихо.

Постепенно Джулия притихает.

— Ну как, тепло?

— Тепло. Тепло. Спасибо.

— На здоровье.

Он все еще тяжело дышит, стоя к ней спиной.

— Хлеба хочешь?

— Нон! — поспешно отвечает она. — Джулия нон хляб. Иван эссен хляб.

— Так? Тогда побережем. Пригодится.

Он намеревается идти дальше, пригибается, берет ее под коленки.

— Ну, берись.

Молча, с готовностью она обхватывает его за шею.
— Иван, ты вундершон[1]!
— Ну, какой там вундершон.
— Руссо аллес, аллес вундершон! Да?
— Да, да, — соглашается он.
Они идут дальше, вдруг она за его спиной спрашивает:
— Правда Иван хотель пугат Джулия? Да? Иван нон бросат?
Он с уверенностью, в которую был готов сам поверить, отвечает:
— Ну конечно.
— Тяжело много, да?
— Что ты! Как пушинка.
— Как ето — пушинка?
— Ну, пушок. Такое маленькое перышко.
— Ето малё, малё?
— Ну.
Гибкие тонкие пальцы ее вдруг бережно гладят его по груди, и от этой неожиданной ласки он слегка вздрагивает.
— Ты научит меня говорить свой язык?
— Белорусский?
— Я.
От неожиданности такой просьбы он засмеялся.
— Обязательно. Вот придем в Триест и начнем.

25

Наконец вершины вырастают по обе стороны от тропинки, которая, еще попетляв в камнях, заметно устремляется вниз. В ветряной ночной темени сыплет редкий снежок.
— Перевал! — радостно восклицает у него на спине Джулия.
— Перевал, да.
— О, мадонна!
— Ну а ты говорила — капут. Видишь, дошли.
Она вдруг рвется с его спины.
— Данке! Грацие! Джулия будэт сам.
— Ладно, сиди!
Остановившись, он не отпускает ее.
— Нон сиди! Иван усталь!
— С горы легко.

---

[1] Чудесный (*нем.*).

Она, чтобы не упасть, обхватывает его шею, припадает щекой к настылому его плечу и пальцами шутливо треплет его небритый шершавый подбородок.

— О, ричо — ёж. Колучо!

— В Триесте побреемся.

— Триесто! Триесто! — с подъемом подхватывает она. — Партыджан Триесто. Триесто Иван э Джулия тэдэски тр-р-р, тр-р-р! Фашисто своляч!

Они быстро спускаются вниз, местами Иван, еле сдерживая себя, бежит по тропе. Джулия на его спине испуганно вскрикивает:

— Ой, ой! Иванио!

— Ничего, держись!

— Ой, ой!

Ветер тут почти стихает. Прекращается снегопад. Вокруг запорошенные снегом скалы. Склон становится заметно положе, чем на той стороне перевала. Иван идет ровнее и молча, стараясь только не сбиться с тропы.

Джулия на его плече затихает, и он, окликнув ее, догадывается: она спит.

Он долго идет вниз, оберегая ее сон. Однажды в его колодку попадает камешек. Иван никак не может вытряхнуть его и прихрамывает.

Еще ниже снега становится меньше, он тает. Откуда-то снизу веет сыростью, из близкого ущелья доносится шум потока.

Под утро он спускается в зону лугов.

Снежные пятна вокруг исчезают, будто растаяв. Стихает ветер. Теплеет. Появляются клочья тумана. Иван теряет тропку и идет по траве, которая все густеет и становится все выше, до колен.

Тогда он понимает, что совершенно лишился сил. Джулия спокойно спит у него на спине. Чтобы не разбудить ее, он осторожно опускается на колени и бережно ложится вместе в ней на бок.

Она не просыпается.

Второй сон

Тихий спокойный летний день. Белорусский пейзаж. Высокое небо, в котором громоздятся, переворачиваясь, кучевые облака.

Иван водит Джулию по родной земле. Он в белой сорочке, она в лагерной одежде. Они идут полем, дорогой через высо-

кую рожь. Поют жаворонки, волнуются хлеба. Симфония покоя и радости плывет над краем.

Потом идут по бескрайнему лугу, вдоль речки. Плывут облака, низко над водой склоняются ивы, бежит, бежит стремительная речка...

Потом дубовая роща. Вековые дубы-великаны гордо простирают в небе свои кроны. Толстенные стволы. Могучие сучья...

Потом сосновый лес, пронизанный косыми лучами предвечернего_солнца. Потом тихое лесное озеро с опрокинутым небом и вершинами деревьев. Джулия радостно восхищается, смеется, но смех ее затихает, будто отдаляется...

Иван тревожно оглядывается. Джулия отстает, он зовет ее, но она становится прозрачной, тает, как дым в зное. Он в тревоге бросается к ней, но она исчезает, Иван зовет ее, кричит — вокруг никого. Он просыпается.

26

Горы пробуждаются от ночи, светлеют вершины, яркими разноцветными красками загораются склоны. Расправляются соцветия маков, под солнечным лучами бриллиантами вспыхивают капли росы на цветах. Теплое солнечное утро.

Лежа в чаще маков, Иван раскрывает глаза, недоуменно глядит на ближний, низко склоненный к лицу цветок, с полминуты вслушивается в басовитый голос шмеля и вдруг вскакивает на колени. Ошеломленным взглядом он осматривается вокруг, широко раскрывает глаза — огромный солнечный склон безмятежно и торжественно сияет широким разливом альпийских маков. Крупные, лопушистые, нетроганные ногой человека маки, миллионами цветов переливаясь на слабом ветре, раздольно устремляются вниз, на самый край этого прикрытого горами луга.

Удивленный столь неожиданной красотой природы, Иван, однако, оборачивается — рядом лежит тужурка, Джулии нигде не видно. Он бросается к тужурке — под ней обкрошенный остаток буханки и пистолет; колодок же поблизости нет.

Иван сгребает тужурку, хлеб, пистолет и бросается по траве вниз.

Пробежав какое-то расстояние, он вдруг останавливается, оглядывается — сзади в росистых маках пролегает заметная тропка его следов. Тогда он бегом возвращается назад. Действительно, от того места, где он только проснулся, заме-

тен шнурок спадов — он ведет куда-то в сторону, к распадку. Иван устремляется туда.

Он смятен, почти испуган, не знает, что предположить, он не хочет потерять ее. Скорым шагом он преодолевает колючие заросли рододендрона, усыпанные большими цветами, и тогда слышит шум водопада. Он взбегает на небольшой пригорок перед распадком — впереди из почерневшего от сырости каменного желоба хлещет водяная струя. Вокруг в туманном мареве висят мелкие брызги, и в стороне от них мерцает разноцветное радужное пятно. Иван взбегает выше и вдруг, тихо ахнув, опускается на траву. В полусотне шагов под дождистой россыпью водопада спиной к нему стоит на камне и моется Джулия.

Не в состоянии сдержать в себе чего-то застенчиво радостного, Иван медленно ложится на землю, поворачивается, над ним начинает кружиться небо, горные цепи и земля, от предвкушения чего-то счастливого он тихо про себя смеется и начинает машинально рвать цветы, складывая их в букет. Лежит так, качаясь в траве, пока вблизи не слышатся ее шаги. Тогда он вскидывает голову — под водопадом уже никого нет, — Джулия, натягивая на ходу полосатую куртку, спешит туда, где недавно оставила его. Иван, не окликнув ее и тихо смеясь, берет тужурку и идет следом. Она добегает до измятых маков и в растерянности бросает взгляд вниз, в сторону, потом все же что-то заставляет ее оглянуться.

27

— Иван! — с испугом и радостью вскрикивает она, всплескивая руками, и бросается к нему. Обеими руками она обхватывает его за шею и, повиснув на ней, влепляет ему возле рта поцелуй.

Он растерянно, почти с испугом смотрит на нее, а она, легко оттолкнув его и засмеявшись, на вытянутых руках откидывается в траву. Глаза ее сияют озорным радостным смехом, не застегнутая на палочку-пуговицу распахивается куртка и в обнаженном треугольнике на груди становится виден маленький крестик. При виде его у Ивана легко вздрагивает одна бровь, она замечает это и торопливо поправляет куртку.

В нем недолго, но неукротимо борются два чувства к ней: ошеломляющая притягательность и непонятная настороженность по отношению к безудержности ее порыва, он ненадолго нахмуривается, но она, вдруг заметив у него цветы, вскакивает:

— Иван! Это ест твой сюрприз? Да? Сюрприз?

Он и сам только сейчас замечает в своих руках букет маков, она, выхватив их у него, окунает в них свое лицо, потом, все так же смеясь, бросает букет на землю и быстро-быстро начинает рвать вокруг себя маки.

— Джулия благодарить Иван. Благодарить очен, очен...

— Не надо, что ты!..

— Нон не надо. Очен очен надо! Надо Иван!..

Нарвав их много, она бросается с целым красным ворохом ему на грудь, он неловко принимает, не выпуская из рук тужурки с хлебом, и Джулия, прикоснувшись к ней, вскрикивает.

— Хляб?

— Ага! Давай вот поедим, — словно обрадовавшись перемене темы их отношений, говорит Иван и опускается в траву. Джулия с готовностью садится рядом.

28

На разостланной тужурке Иван старательно делит хлеб на две части, остаток граммов в двести засовывает в карман тужурки. Одна часть из двух нарочито получается крупнее, да еще с горбушкой, и Иван, окончив дележку, пододвигает ее девушке.

— Это тебе, это мне.

Она протестующе вскидывает смоляные брови.

— Нон! Ето Иван, ето Джулия, — говорит она и передвигает пайки.

— Нет, наоборот! — упорствует он.

Джулия берет свою пайку, но вдруг, схватив с нее добавку, сует ее в руки Ивану. Иван не соглашается, начинается возня со смехом, и вдруг они почти сталкиваются, борясь руками. Джулия хватает его за плечо, чтобы не упасть, и он отшатывается. Она же, озорно взмахнув ресницами, прикусывает губу и начинает поправлять на груди куртку.

— Бери ешь. Это же твоя, — говорит Иван, пододвигая ей корку.

— Нон!

С озорным упрямством в глазах она принимается грызть свою горбушку.

— Бери!

— Нон!

— Ну и упрямая!

Вскоре они съедают каждый по своей пайке, одинокая корка продолжает оставаться на тужурке.

— Будешь? — спрашивает он.
— Нон будэшь. Ето Иванио.
— Тогда давай так: пополам.
— Что ест пополам?
— Немножко Джулии, немножко Ивану.
— Карашо.
Он разламывает корку пополам и оба с наслаждением сосут кусочки.
— Гефтлингон чоколядо, — говорит она.
— Да уж. При такой жизни и хлеб — шоколад.
— Джулия бежаль Наполи — кушаль чоколядо. Хляб биль малё, чоколядо много, — говорит она, все щуря свои черные глаза.
— Бежала в Неаполь? — не поняв, переспрашивает Иван.
— Си. Рома бежаль. От отэц бежаль.
— От отца? Почему?
— А, уна, една историй, — неохотно говорит она, рассматривая корку. — Отэц хотель плёхой морито. Русски ето муж.
— Муж?
Иван хмурится, она, заметив это, с лукавинкой в глазах бросает на него понимающий взгляд.
— Нон морито! Синьор Дзангарини не биль муж. Джулия нон хотель синьор Дзангарини.
Иван с еще не миновавшей настороженностью спрашивает:
— А почему не хотела?
— То биль уно секрето.
— Какой секрет?
Она искоса бросает смешливый взгляд на Ивана, который дергает пальцами пучки травы.
— Маленько секрето. Джулия любиль, любиль... Как ето русско? Ун джованатто — парень Марио.
— Вот как!
Иван бросает на ветер траву.
— Карашо биль парень. Джулия браль пистоль, бежаль Марио Наполи. Наполи гуэрра — война. Итальяно шиссен дойч. Джулия шиссен. Партыджано итальяно биль мало, дойч тэдэски мнёго. Мнёго итальяно убиваль. Мнёго концлягер. Джулия концлягер.
— Что, против немцев воевали?
— Си. Да.
— А где же твой Марио?
Она вздыхает.
— Марио фу учизо.

— Убили?
— Си.
— Плохо.
Оба помолчали. Иван, однако, превозмогает свою скованность, смотрит на Джулию. Заметно опечаленные ее глаза под его взглядом теплеют, короткая грусть в них исчезает и она смеется.
— Почему Иван смотри, смотри?
— Так.
— Что ест так?
— Так есть так. Пошли Триесто.
— О, Триесто!
Она легко вскакивает в траве, он также встает, размашисто перекидывает через плечо тужурку. Среди огромного поля маков они идут вниз.
Солнце припекает все больше, коротеет, суживается тень от Медвежьего хребта напротив, на дальнем подножье гор дрожит пепельное знойное марево.
— Триесто карашо! Триесто партыджано! Триесто море! — говорит Джулия и, видимо, от избытка радостных чувств, запевает:

Ми пар ди удире анкора,
Ля воче туа, им медзо ой фьори
Пэр нон софрире,
Пэр нон морире
Ио ти пенсо, о ти амо...

Он, идя рядом, слушает, вдруг она обрывает мотив и говорит:
— Иван! Учит Джулия «Катуша»!
— «Катюша»?
— Си. «Катуша».

Ра-а-сцветали явини и гуши,
По-о-пили туаны над экой...

Иван смеется.
— Почему Иван смехно?
— Расцветали яблони и груши, — отчетливо произносит он. — Поплыли туманы над рекой.
Выслушав, она понимающе кивает головой.
— Карашо! Понималь.

Раа-сцветали явини и груши...

— Вот теперь лучше. Только не явини, а яблони, понимаешь? Сад, где яблоки.
— Да, понималь.
Она поет «Катюшу», поет усердно, перевирая слова, хотя мелодия у нее получается неплохо. Он идет рядом, вслушиваясь в ее голос, ему хорошо, ласково, очень тепло на душе, но эта его хорошесть никак не может совместиться с тем их положением, о котором он не имеет права забыть.

29

Становится жарко, и он срывает с себя полосатую куртку, обнажив солнцу широкие крутые плечи. Джулия обрывает пение, заулыбавшись осматривает его и гладит по лопатке.
— О, Эрколе! Геркулес! Руссо Геркулес.
— Какой Геркулес! Доходяга.
Она берется за его руку.
— Сильно корошо руссо! Почему плен шёль?
— Шел! Вели, так и шел.
— Надо биль фашисто!
— Бил, пока мог. Да вот...
Подняв локоть, он поворачивается другим боком, и на ее подвижном лице отражается испуг.
— Ой, Санта Мария!
— Вот и Геркулес.
— Болно? — спрашивает она, касаясь его синего шрама на боку — следа ножевого штыка.
— Уже нет. Отболело.
— Ой, ой!
— Да ты не бойся, чудачка! А ну сильней!
Он берет ее пальцы и надавливает шрам. Она испуганно вскрикивает и прижимается к нему. Иван придерживает ее за плечи. Нечаянная эта близость заставляет его замкнуться. Пересилив себя, он говорит:
— Это вот что! Надо... Надо быстрее идти. Понимаешь?
— Я. Си, — соглашается она, с какой-то пугливо затаенной мыслью глядя ему в глаза.

30

Они спускаются по лугу от верхней его границы к середине. Вокруг маки, душистые незабудки, скопления желтой азалии. Они находят землянику и набрасываются на нее. Долго едят сочные крупные ягоды.

Ползая на коленях в траве, Иван вдруг оглядывается, с лукавой улыбкой на губах к нему подходит Джулия. На измазанной земляничным соком поле ее куртки несколько горстей ягод.

— Битте, руссо Иван! — жеманно предлагает она.

— Не надо. Зачем? Я наелся.

— Нон наелся. Эссен!

Захватив в горсть ягод, она почти насильно заставляет его съесть, потом ест сама. Так она шутливо кормит его. Наконец ягоды съедены. Он встает и поднимает брошенную в маках тужурку.

— Айда?

— Айда! — задорно отвечает она.

Они опять идут вниз.

31

— Земляника — это хорошо, — говорит он, нарушая их тихое согласное молчание. —Я до войны не одно лето ею кормился. Земляника да молоко. И ни крошки хлеба.

— О, руссо — веджитариани! — удивляется она. — Джулия нон веджитариани. Джулия любиль бифштекс, спагетти, омлет.

— Макароны еще, — добавляет он и оба они смеются.

— Я, я, макарони! А руссо — землянико.

— Бывает. Что же поделаешь! Когда голод прижмет, — невесело соглашается Иван.

Джулия настораживается.

— Почему голяд? Русланд как голяд?

Она замедляет шаг, удивленная невольным его признанием, а он несколько медлит на ходу, потом говорит:

— Ты что же думаешь: у нас голода не бывало? Ого, еще какой! В тридцать третьем, например. Траву ели.

— Как траву?

— Какую траву? Вот эту самую, — нагнувшись, он срывает горсть травы. — С голоду и отец умер.

Джулия удивленно останавливается, строгое лицо ее мрачнеет, испытующе-подозрительным взглядом она смотрит на

Ивана. Он, опечаленный невеселым воспоминанием, тихо идет дальше.

— И Сибирь биль! Плёхой кольхоз биль? — с каким-то вызовом в неожиданно похолодевших глазах спрашивает девушка.

Остановившись, он внимательно смотрит на нее.

— Ты что? Кто тебе сказал?

— Один пляхой руссо сказаль. Ти хочешь сказаль. Я зналь.

— Я?

— Ти! Говори!

— Ничего я тебе не скажу.

— Биль несправьядливост?

— Какая несправедливость?

— Невинни люди Сибирь гналь?

— В Сибирь?

Бросив взгляд в её колючие глаза, он быстро идет вниз, понимая, что надо что-то ответить: солгать или сказать правду. Но лгать он не умеет.

— Как раскулачивали — гнали.

— Нон правда! — вдруг вскрикивает сзади Джулия. Он оглядывается — в ее глазах горечь, обида и самая неприкрытая враждебность.

— Нон правда! Нон! Иван — Влясов!

Она вдруг громко вхлипывает, Иван бросается к ней, но Джулия останавливает его категорическим гневным «Нон!» и бежит по склону в сторону.

Отдалившись от него метров на двести, она взбирается на голую плешину-взлобок и опускается на землю.

32

— Ну и ну! — говорит себе Иван, в растерянности затоптавшись в траве. Джулия сидит поодаль, отвернувшись от него.

Ну конечно, она что-то слышала о том, что происходило в его стране в те давние годы, возможно, ей представляли это совсем в ином свете, нежели было на деле. Только как теперь объяснить Джулии это, чтобы она поняла и не злилась? Разве соврать?

Но нет! Он не станет ей врать. Он скажет все, как было, и, если у этой девчонки честное сердце в груди, она поймет, что никакой он не власовец, и как должно отнесется к нему и к его достойному уважения народу. Иван это понял с отчетливой ясностью, и ему стало легче и спокойнее, будто решилось что-то и осталось только дождаться результата.

Иван, постояв, нерешительно идет к ней, но Джулия, заслышав его шаги, вскакивает и отбегает еще дальше по склону, где прячется за камнем, торчащим из травы. Он взбирается на взлобок возле того места, где только что сидела она, и, бросив под ноги тужурку, опускается наземь.

Становится жарко. Солнце полуденным зноем обжигает голые Ивановы плечи. В траве суетится луговая мошкара. Иван, изредка поглядывая на камень, начинает ковыряться в земле, на душе у него тяжело, он никак не может сообразить, что надо сделать, чтобы вернуть недавнее ее расположение к себе. Чувствует, что в чем-то сам допустил оплошность, и готов корить себя за несдержанность в разговоре, за излишнюю откровенность. Видимо, надо было смолчать.

Из травы под руки Ивану выползает большой черный жук, парень хочет отбросить его, но только притрагивается пальцами, как слышит сзади незнакомые шаги. В мгновение ока он выхватывает пистолет и оборачивается.

33

Это сумасшедший немец. Он подкрался очень близко и теперь настороженно стоит в траве, умоляюще глядя на Ивана.

— Привет! — иронически улыбнувшись, говорит Иван, опустив пистолет. — Живем, значит?

Немец страшен, почерневший от пота и грязи, с искаженным выражением нечеловечески худого лица, в расстегнутой куртке и в клочья изодранных штанах. Иван молча несколько секунд вглядывается в него.

— Брот! — тихо, но с отчаянием в голосе произносит сумасшедший.

— Опять брот? — удивляется Иван. — Ты что — на довольствии у нас?

Немец делает несколько нерешительных шагов к Ивану.

— Брот!

— Ты же собирался в гестапо. К своему Гитлеру.

— Никс Гитлер! Гитлер капут!

— Капут? Тогда другое дело. Давно бы так.

Вряд ли понимая его, сумасшедший, растопырив костлявые руки, настороженно ждет.

— Ладно. Несчастный ты фриц!..

Запустив руку в тужурку и не вынимая буханки, Иван отламывает маленькую корку хлеба. Увидев ее в его руках, немец оживляется, глаза его загораются, дрожащие кисти рук в коротких оборванных рукавах тянутся вперед.

— Брот, брот!
— Держи! И проваливай отсюда!
Иван бросает корку сумасшедшему, тот, не поймав, опрометью бросается наземь, хватает ее вместе с песком и травой и, оглядываясь, бежит по склону.
Иван, сжимая пистолет, провожает его невеселым озабоченным взглядом.

34

— Зачем отдаль хляб? — вдруг раздается над ним голос Джулии. Иван, вздрогнув, оборачивается.
— Зачем отдаль хляб? — с напряженностью на лице опрашивает Джулия. — Ми нон идет Триесто. Аллес финита? Да?
— Ну что ты! — поняв ее тревогу, говорит он. — Я только корку отдал.
Она недоверчиво хмурит лоб, уставившись в него, и Иван достает из тужурки кусок хлеба.
— Вот только корку, понимаешь?..
Джулия молчит, однако лоб ее постепенно разглаживается.
— Ми идет Триесто?
— Пойдем, конечно. Откуда ты взяла, что не пойдем?
Девушка вдруг почти падает наземь рядом с ним и садится, оперев руки на колени. Лицо она прячет в рукавах куртки. Он думает, что она вот-вот заплачет, но она не плачет — преодолев что-то в себе, она поднимает голову.
— Руссо! Ти кароши, кароши руссо! — говорит она. — Джулия плёхой!
— Ладно, не надо, — с неловкостью говорит он.
— Очен, очен, — не слушая его, говорит она. — Иван нон бёзе Джулия?
— Ничего! Все хорошо...
Сидя рядом, он осторожно берет ее маленькую ладонь.
— Нон бёзе, Иван! — она взглядывает ему в глаза. — Нон бёзе Джулия. Иван знай правда. Джулия нон знай правда...
— Ладно, ладно.. Ты это, вот что...
— Джулия будэт очен очен уважаль Иван. Любит Иван...
Его рука в ее ладонях едва заметно вздрагивает.
— Ты это, пить не хочешь? Воды, а?
Она вздыхает и умолкает, глядя на него и тая в глубине своих широко раскрытых глаз бездну тепла к нему.
— Вода? Аква?
— Да, воды, — вдруг радуется он, что нарушил очень непривычный для него разговор. — Там ручей, кажется. Айда!

Он быстро вскакивает. Поднимается она. Обнимает его руку выше локтя и щекой прижимается к ней. Он другой рукой гладит ее волосы, но она как-то внутренне настораживается, и он опускает руку.

Они не спеша идут к краю луга.

35

Ручей неглубокий, но очень бурливый. Широкий поток ледяной воды бешено мчит по камням.

Иван и Джулия входят в него, пьют из горстей, потом Джулия выходит и садится на берегу. Иван моется. Трет свои шершавые с отросшей бородкой челюсти.

— Я страшный, небритый? — спрашивает он девушку. Та сидит задумавшись и не отвечает.

— Говорю, я страшный? Как старик, наверно? — повторяет он свой вопрос.

— Карашо.

Иван втихомолку поглядывает на Джулию, которая опять будто ушла в себя — задумалась и умолкла. Он старается понять, что происходит с ней.

Умывшись, Иван набирает в пригоршни воды и брызгает на девушку. Джулия вздрагивает и улыбается, он тоже улыбается навстречу — сдержанно, но во все лицо.

— Испугалась?

— Нон.

— А чего задумалась?

— Так.

— Что это так?

— Так, — покорно отвечает она. — Иван так. Джулия так.

Он выходит из ручья на траву.

— Быстро ты наловчилась по-нашему-то. Способная, видно, была в школе?

— О, я биля вундеркинд, — шутливо, говорит она и вдруг, всплеснув ладонями, ойкает: — Санта мадонна! Ильсангвэ!

— Что?

— Ильсангвэ! Кровь! Кровь!

Он нагибается — на его мокрой голени от колена течет узкая струйка крови, это открылась царапина-рана.

— О, Иванио! — Джулия на коленях бросается к нему. — Где получаль такой боль?

— Да это собака. Пока душил, ну и деранула.

— Санта мадонна! Собакя!

Ловкими пальцами она начинает ощупывать его ногу, стирать потеки крови. Он садится в траву. Джулия, приподнявшись на коленях, приказывает:

— Гляди нах гура. Нах гура.

Он послушно отворачивается, она что-то рвет на себе, и в ее руках появляется белый лоскут.

— Медикаменто надо. Медикаменто.

— Какой там медикамент! Заживет, как на собаке.

— Нон. Такой боль очен плёхо.

— Не бол. Рана это. По-русски рана.

— Рана, рана. Плёхо рана.

Он, оглядевшись, срывает несколько листков похожей на подорожник травы.

— Вот и медикамент. Мать всегда им лечила.

— Нон медикаменто, — говорит Джулия, прикладывая к ране лоскут. — Это плантаго майор, — говорит она и берет у него листки. Он вырывает их обратно.

— Какой там майор. Это подорожник. Раны знаешь как заживляет?

— Нон порожник. Это плантаго майор по-латини.

— А, по-латыни. А ты и латынь знаешь?

Джулия лукаво вскидывает бровями.

— Джулия мнёго, мнёго знайт латини. Джулия изучаль ботаник.

Она, стоя на коленях, перевязывает его ногу, а он, откинувшись в траве, тянется рукой и срывает цветок.

— А это как по-латыни?

— Перетрум розеум, — говорит она, бегло взглянув на цветок.

— Ну, а по-нашему, так это простая ромашка. А эта? — он срывает новый стебелек.

— Это? Это примула аурикулата.

— А эта?

— Гентина пиринеика.

— Знаешь, гляди-ка. Молодец.

36

Повязка готова, Иван пытается приподняться, но Джулия шутливо и легонько толкает его на траву.

— Лежи надо! Тихо надо!

Он с покорной послушностью подчиняется, откидывается на бок. Она поджимает под себя коленки и тихо оглаживает его голень.

— Кароши русо. Кароши.

— Хороший, говоришь, а власовцем обзывала, — вспомнив недавнюю размолвку, говорит Иван.

Джулия, вдруг посерьезнев, вздыхает.

— Нон влясовэц. Джулия вэришь Иванио. Иванио знат правда. Джулия нон понимат правда.

Иван пристально вглядывается в ее строгие опечаленные глаза.

— А что он тебе наговорил, тот власовец? Ты где его слушала?

— Лягер слюшаль, — с готовностью отвечает Джулия. — Влясовэц говори: руссо кольхоз голяд, кольхоз плёхо.

Иван усмехается.

— Сам он сволочь. Из кулаков, видно. Конечно, жили поразному, не такой уж у нас и рай. Я, правда, не хотел тебе всего говорить, но...

— Говорит, Иван, правда! Говорит! — настойчиво требует Джулия. Он срывает под руками ромашку.

— Вот. Были неурожаи. Правда, разные и колхозы были. И земля не везде одинаковая. У нас, например, одни камни. Да еще болота. Конечно, всему свой черед: добрались бы и до земли. Болот уже вон сколько осушили. Трактора в деревне появились. Вот война только помешала.

Джулия подвигается к нему ближе.

— Иван, говори Сибирь. Джулия думаль: Иван шутиль.

— Нет, почему же. Была и Сибирь. Высылали кулаков, которые зажиточные. Вроде бауэров. И врагов разных подобрали. У нас в Терешках тоже четверо оказалось.

— Враги? Почему враги?

— За буржуев стояли. Коров колхозных сапом — болезнь такая — хотели заразить.

— Ой, ой! Какой плёхой человек!

— Вот-вот. Правда, может, и не все. Но по десятке дали. Ни за что не дали бы. Так их тоже в Сибирь. На исправление.

— Правда?

— Ну а как ты думала?

Лежа на боку, он сосредоточенно обрывает ромашку.

— Иван очень любит свой страна? — после короткого молчания спрашивает Джулия. — Белоруссио? Сибирь? Свой кароши люди?

— Кого же мне еще любить? Люди, правда, разные и у нас: хорошие и плохие. Но, кажется, больше хороших. Вот когда отец умер, корова перестала доиться, трудно было. На картош-

ке жили. Так то одна тетка в деревне принесет чего, то другая. Сосед Апанас дрова привозил зимой, пока я подрос. Жалели вдову. Хорошие ведь люди. Но были и сволочи. Нашлись такие — наговорили на учителя нашего Анатолия Евгеньевича — ну, его и забрали. Честного человека. Умный такой был, хороший. Все с председателем колхоза ругался из-за непорядков. За народ болел. Ну и какой-то сволота донес, что он якобы против власти шел. Тоже десять лет дали. По ошибке, конечно.

— Почему нон защищаль честно учител?

— Защищали. Писали всей деревней. Только...

Не договорив, Иван умолкает, кусая зубами оборванный стебелек ромашки. Озабоченно-внимательная Джулия тихо гладит его забинтованное горячее колено.

— Все было. Старое ломали, перестраивали — нелегко это далось. С кровью. И все же нет ничего милее, чем родина. Трудное все забывается, помнится только хорошее. Кажется, и небо там другое, ласковее, и трава мягче. Хоть и без этих букетов. И земля лучше пахнет. Я вот думаю: пусть бы опять все далось пережить, но чтоб без войны только. Все пережил бы. Потому что сволочная она, такая житуха, бесправному да без родины.

— Руссо феномено. Парадоксо. Удивително, — горячо говорит Джулия.

Иван, сплюнув стебелек, перебивает:

— Что ж тут удивительного: борьба. Надо же было вон такую мощь накопить, для обороны, для армии.

— О, Армата Россо побеждаль! — восторженно соглашается Джулия.

— Ну вот. Видишь, силища какая — Россия! А после войны если эту силу на хозяйство пустить — ого!

— Джулия мнёго слышал Россия. Россия само болшой справьядливост. Джулия за этой мысли от фатэр, ла падре, отэц убегаль. Рома отэц деляй вернисаж — юбилей фирма. Биль мнёго гост, биль офицер СД. Официр биль Россия, официр говори: Россия плёхо, бедно, Россия нон култур. Джулия сказаль: это обман. Россия лючше Германи. Официр сказаль: фройлен комунисти? Джулия сказаль: нон комунисти — так правда. Ла падре ударял Джулия, — она прикасается рукой к своей щеке. — Пощечин это русски говорить. Джулия убегаль вернисаж. Убегаль Марио Наполи. Марио биль комунисти. Джулия всегда думаль: руссо карашо. Лягер Иван бежаль, Джулия бежаль. Руссо Иван — герой.

— Ну какой я герой! Просто солдат.

— Нон просто сольдат. Руссо сольдат герой. Само смело. Само сильно. Само... Само... — воодушевленно говорит она, стараясь подыскать русские слова. Ми видаль ваш герой лягер. Ми слышаль ваш герой на Остфронт. Ми думаль ваш Россия само сильно, само справьядливо.

— Она и есть самая справедливая, — замечает Иван. — Я вот на тракториста выучился, и бесплатно. А учителей сколько стало. Из тех же мужиков.

Пауза. Джулия задумывается.

— Ничего, — улыбнувшись, говорит Иван. — Главное — вот этого душегуба бы одолеть — Гитлера.

— Я, я. Так.

Нахмуренные до сих пор брови ее изламываются, и в глазах впервые после размолвки появляются веселые смешинки.

— Удивительно, руссо, — говорит она. — Руссо неправилно, феноменално. Джулия всегда любит неправилно, феноменално.

37

С затаенной улыбкой на губах она ласково гладит его ногу, потом голый бок. Иван смущенно съеживается, ощущая щекотливое прикосновение ее ласковых рук. Вдруг она наклоняется и целует его синий шрам на боку. Он вздрагивает, вскидывает руку, чтобы защититься, но она ловит эту руку, прижимает ее к земле и в каком-то безудержном порыве начинает целовать его шрамы: осколочный в плече, пулевой — выше локтя, от штыка в боку, осторожно касается губами повязки выше колена. Иван щурится, сжимается, а она все целует.

Отдаваясь какой-то непреодолимой власти ее, Иван вдруг приподнимается на локте, второй рукой обхватывает девушку наискось через плечо и, закрыв глаза, неуверенно касается губами ее разомлевших трепетных губ.

Потом сразу же откидывается спиной в траву, разметывает руки, не сразу решаясь открыть прижмуренных глаз. А когда раскрывает их, в солнечном ореоле растрепанных волос видит склоненное ее лицо и полуоткрытый, сияющий, белозубый рот.

В первую секунду она будто обмирает, хочет сказать что-то и не находит для того слов, глаза ее широко округляются и сразу же в них появляется бездна разнообразных чувств — и испуг, и радость, и вдруг вспыхнувшая нежность к нему. Преодолевая смущение, она падает ему на грудь, обхватывает его за шею, и с ее уст слетает в ласковом шепоте:

— Иванио!.. Амика!..

38

Распростершись на земле, Иван гладит и гладит ее узенькую, нагретую солнцем спину. Джулия, облегшись на его грудь, трется щекой о его рассеченное осколком плечо. Губы ее, не переставая, шепчут что-то непонятное, иноязычное. Вверху пьяно колеблется высокое небо, качается земля. У самого его лица горячо тлеют два больших черных угля широко раскрытых девичьих глаз. В них теперь ничего — ни озабоченности, ни страдания, ни озорства, только всевластный в своем молчании зов.

Что-то недосказанное, второстепенное, все время державшее их на расстоянии друг от друга, было преодолено, пережито счастливо и почти внезапно. Среди дремучей первозданности гор в одном шаге от смерти родилось неизведанное, таинственное и властное, оно жило, жаждало, пугало и звало...

У Ивана нет сил противостоять этому зову, и он снова нащупывает губами влажную подвижность ее рта, ощущает твердость зубов, он привлекает ее и обмирает.

Становится тихо-тихо, и в этой тишине величественно, как из небытия в вечность, льется, клокочет горный поток.

А земля все качается, кружится небо. Сквозь полураскрытые веки он близко-близко видит нежную округлость ее щеки, горячей розовостью сияет подсвеченная сзади тонкая раковина ее уха. Невольно он тянется к маленькой мочке и нащупывает ее зубами. Джулия взвизгивает в упругом трепете, ее руки быстро сползают на его лопатки...

Он обхватывает девушку, и земля с небом меняются местами.

Где-то совсем близко, будто в глубинных недрах земли, гудит, рвется шальной поток. Как рыба, недолго бьется девушка в его руках, на устах ее рождаются и умирают слова. Только они уже не имеют значения.

Земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли, согласно притихнув, благословляют великое таинство жизни.

39

Вечереет. Солнце уже скрылось за потускневшими зубцами гор. Погруженный в густеющий мрак, бедно, почти неуютно выглядит луг. Даль густо обволакивается туманом, сумеречная дымка подмывает далекие сизые хребты. Медвежий хребет, потеряв лесное подножие, будто подтаявший, плавает в сером туманном море.

Иван вдруг прохватывается из сна, вскидывает голову — нет, Джулия рядом. Она лежит ничком, уронив повернутую на бок голову на вытянутую в траве руку, и спит. Полураскрытые губы ее тихо шевелятся во сне. Брови слегка вздрагивают. Сонная, она преисполнена нежности и доброты.

Иван поворачивается на бок и садится, оглядываясь.

Кто бы мог подумать, что эта девчонка за два дня станет для него тем, чем не стала ни одна из своих соотечественниц — пленит его душу в такое, казалось бы, самое неподходящее для этого время? Разве он мог предвидеть, что во время четвертого побега, спасаясь от гибели, так неожиданно встретит первую свою любовь? Как все запуталось, перемешалось на этом свете, неизвестно только, кто перемешал это — бог или люди?

Надо бы идти, но она спит так покойно и сладко, что он не решается нарушить этот ее сон. Он начинает вглядываться в ее лицо, стараясь постичь тайну этой загадочной девичьей души. По ее рукаву ползет божья коровка, он снимает ее. Потом осторожно поправляет на ее шее перекрученную тесемку с крестиком. Опять вглядывается в ее чернобровое красивое лицо. Надо бы идти, но он отводит от ее головы низко нависшие бутоны маков и сам тесно пристраивается к ее боку.

40

Снова будит его уже Джулия. Наверное, от холода она, завозившись, прижимается к его спине, обхватывает его одной рукой и шепчет незнакомке, чужие, но теперь очень понятные ему слова. Он обнимает ее, и губы их смыкаются.

Становится совсем уж темно. Черными в полнеба горбами высятся ближние горы, вверху ярко сверкают звезды, рядом ровно и мерно клокочет поток. Ночные тени смутно блуждают по ее лицу; трепетно ласкают Ивана ее нежные руки.

— Джулия! — тихо зовет он, прижимая ее к себе. Она покорно отзывается — с лаской и преданностью:

— Иванио!

— Ты не сердишься на меня?

— Нон, Иванио.

— А если обману, оставлю тебя?

— Нон, амика. Иван нон обман. Иван — руссо. Кароши, мили руссо!

Торопливо и упруго, с неожиданной для нее силой она прижимает его к себе и тихо счастливо смеется.

— Иван — морито! Муж! Нон синьор Дзангарини, нон Марио. — Руссо Иван морито. Муж.

Он с затаенной гордостью в душе спрашивает:
— А ты рада? Не пожалеешь?
Она широко раскрывает пушистые ресницы, и звезды в ее зрачках дробятся.
— Иван кароши, кароши морито. Ми будем маленько-маленько филиё. Как это русски скажи?
— Ребенок?
— Нон! Как это маленько руссо?
— А, сын? — удивленный, догадывается он.
— Да, син. Это карашо. Такой маленько-маленько. Кароши син. Он будет Иван, да?
— Иван? Ну, можно и Иван, — соглашается он и, взглянув поверх нее на черный массив хребта, вздыхает.
Они опять забываются в объятиях.

41

Вдруг она, чем-то встревоженная, высвобождает его из объятий и вскидывает голову.
— Иванио! А где ми будем жить? — спрашивает она и, немного подумав, говорит: — Нон Рома. Рома отэц уф бёзе. Триесто?..
— Что наперед загадывать! — говорит он.
— О! — вдруг тихо восклицает она. — Джулия знайт. Ми будэм жить Россия. Белоруссио, Дэрэвня Тэрэшки, близко близко два озера. Правда?
— Может быть. Что же...
Вдруг она, что-то вспомнив, спохватывается.
— Тэрэшки кольхоз?
— Колхоз, Джулия. А что?
— Иванио, плёхо кольхоз.
— Ничего. Придет время, получшает.
Большой своей пятерней он ворошит ее жестковатые густые волосы. Она, уклоняясь, высвобождает голову и приглаживает ее.
— Волёс будет болшой. Джулия растет болшой кароши волёс. Болшой волёс красиво, да?
— Да, — соглашается он, думая о другом. — Красиво.
Помолчав немного, она, возвращаясь в мыслях к прежнему разговору, говорит:
— Иван будет кольхоз. Джулия будет кольхоз. Карашо!
— Да, да, — задумчиво соглашается Иван. У него заболела нога. Иван возится, устраивая ее поудобнее в траве, Джулия говорит рядом:

— Ми будэм много-много счастя. Я очен хочу счастя. Должен бить человек счастя, да Иван?

— Да, да...

Голос ее, одолеваемый сном, становится, однако, все тише, и вскоре девушка умолкает. Он тихо гладит ее, сонную, и долго смотрит в ночное небо — один на один со Вселенной. Тревожное беспокойство все настойчивее заглушает его короткое счастье.

42

Она безмятежно спит на боку, поджав к животу коленки. Он встает, не в силах превозмочь тревогу в себе, прихрамывая, обходит Джулию, вглядываясь в ночь, и снова садится рядом. Сильно болит нога, он ощупывает колено, оно распухло, давит повязка. Иван ослабляет ее, парня начинает пробирать дрожь. Он берет из травы куртку, закутывается, съеживается.

Что-то уже навсегда меняется в его настроении, непонятная тревога все более овладевает его чувствами.

Рядом сонно шумит поток, мерно посапывает Джулия, Иван клонится головой к земле и, кажется, под утро засыпает...

Третий сон

Ночной дремучий лес. Деревья без листьев, сухие голые суки торчат во все стороны. Под ногами валежник, хлам, пни.

Он мечется по этому лесу в поисках выхода, достигает опушки, но там говор немцев, смех — там засада.

Он бросается в другую сторону, бежит по лесу. На голых ветвях деревьев сидят черные совы, воронье, грачи. На другой опушке — тоже немцы.

Он бежит в новом направлении, и тут ему встречается Джулия. Спокойная и ласковая, она стоит в светлом нарядном платье с накинутой поверх его тужуркой и ждет его.

Он бросается к ней, она берет его за руку и выводит на просеку, которая превращается в великолепную аллею, усыпанную галькой.

Иван помалу успокаивается. Они идут по аллее, в конце которой мрачная арка в стене. Эта арка — вход в неизвестность — его настораживает, он замедляет шаг, но идет. Подходят они совсем близко, и тогда из арки-подъезда доносится знакомый крик сумасшедшего:

— Ву бист ду руссэ?

43

Он содрогается, вскидывает голову — вблизи слышится все тот же непонятный нелепый крик:

— Ву бист ду руссэ? Зи гейбэн фир игн брот! Зи габэн филе брот![1]

Вокруг помалу светает, гор еще не видно, над лугом ползет низкое облако — клубчатые пряди тумана, цепляясь за поникшие росистые маки, ползут вдоль склона.

Иван сразу сдергивает с Джулии тужурку, девушка вскакивает на коленки, а он во все глаза вглядывается сквозь туман вниз.

— Гультс мауль![2] — доносится оттуда. — Фарфлюхтер швайнэ!..

Услышав эти слова, Джулия бросается к Ивану, вцепляется руками в его одежду, внизу в тумане мелькает несколько тусклых силуэтов людей. Иван и Джулия, пригнувшись, бросаются к ручью. В одной своей руке Иван держит руку девушки, в другой — ее куртку. Колодки их остаются в маках.

44

Молча они бегут вдоль ручья вверх.

Иван не выпускает пальцев Джулии. Девушка, растерянно оглядываясь, едва поспевает за ним. Стремительные клочья тумана пока что укрывают их.

«Проклятый сумасшедший, почему я не убил его? — в отчаянии думал Иван. — Все они сволочи, одного поля ягоды...»

Они минуют поворот потока, выбираются на открытое место. Иван падает на колени, оглядывается, внизу лежит луг и на нем сквозь редеющий туман становятся видны немцы. Неширокая тень их приближается к тому месту, где беглецы только что провели ночь.

Они снова бегут вверх. Немцы еще не замечают их. Иван прихрамывает, Джулия изо всех сил старается не отстать от него.

Шумно дыша, они взбираются на верхний участок луга. Ноги их по колени мокры от росы. Иван хромает все заметнее. Джулия испуганно дергает его за руку.

— Иванио, нуга?

---

[1] Где ты есть, русский? Они дадут хлеб! У них много хлеба! (*Нем.*)

[2] Молчать! (*Нем.*)

Он проволакивает ногу по траве, стараясь ступать как можно естественнее, но это ему плохо удается, и Джулия бросается перед ним на колени.

— Иванио, надо вязать да? Я немножко вязать да?

Он решительно отрывает ее руки.

— Не надо! Давай быстрей!

— Болно, да? Болно? — спрашивает она с тревогой в огромных глазах. От усталости под полосатой ее курткой бешено ходит грудь, вскинутые над глазами жесткие брови нервно дрожат.

— Ничего, ничего...

Превозмогая боль, он торопливо ковыляет дальше, Джулия, поминутно оглядываясь, бежит следом.

— Иванио, амика, ми будет жит? Скажи, будет? — в отчаянии спрашивает она. Оглянувшись, он встречается с ее взглядом, в котором столько мольбы и надежды, что он отвечает:

— Будем, конечно! Быстрее только...

— Иванио, я бистро. Я бистро. Я карашо...

— Хорошо, хорошо...

Они добегают до верхней границы луга, ищут начало тропинки, которая ведет с перевала. Но тропы нет. Тем временем облако совсем сползает с луга, заметно светлеет. Выше на крутом склоне они обнаруживают заросли горного стланика и направляются к нему.

«Черт! Неужели не вырвемся? Неужели увидят? Этого не должно быть!» — успокаивал себя Иван. Имея уже немалый опыт побегов, он понимал всю сложность такого положения и знал, что если немцы обнаружат их, то уже не упустят.

Хромая, Иван лезет вверх. Джулия не отстает. С окровавленными ступнями она лезет чуть впереди от него, и, когда оглядывается, он видит на ее лице такую решимость избежать беды, какой не замечал за все время их бегства из лагеря.

— Иванио, скора, скора!..

Она уже торопит его. Иван сжимает зубы, его нога все более наливается тяжестью и болит. Украдкой он поднимает разорванную штанину и сразу же опускает — таким нехорошим кажется ему посиневшее распухшее колено.

А тут как на беду последние клочья облака проплывают мимо и совсем открывают край луга, сдержанно зардевшийся маками. И сразу же из тумана выскальзывает одна, вторая, третья — темные, как камни, фигуры немцев. Человек восемь их устало бредут вверх по лугу, настороженно вглядываясь в склоны гор.

Дальше уже нечего скрываться...

45

Иван бросает наземь тужурку и опускается на одно колено. Рядом опускается Джулия. От усталости несколько секунд они не могут произнести ни слова и молча смотрят на своих преследователей.

А немцы вдруг загалдели все разом, кто-то из них вскидывает вверх руку, указывая на беглецов; доносится зычный голос команды. Посреди цепи тащится человек в полосатом со связанными за спиной руками — это сумасшедший. Его толкают в спину два конвоира. Немцы с гиканьем бросаются вверх.

— Ну что ж, — говорит Иван. — Ты только не бойся. Пусть идут!

Он надевает в рукава тужурку и достает из ее кармана пистолет. Джулия застывает в унылом молчании, брови ее смыкаются, на лицо ложится тень упрямой решимости.

— Пошли! — бросает он. — Пусть бегут — запарятся.

— Шиссен будэт? — удивленно спрашивает Джулия, будто только сейчас поняв, что им угрожает.

— Стрелять далеко.

Немцы пока не стреляют, лишь кричат свое «хальт!» Но беглецы торопливо поднимаются выше к зарослям стланика. Джулия вдруг оживляется, видно, она пережила свой страх и опять становится подвижной и бесстрашной.

— Пусть шиссен! Пуст! Я не боялся.

Оглядываясь, она подскакивает к Ивану и хватает его руку.

— Иванио! Эсэсман шиссен — ми шиссен. Ми нон лягер, да?

Он решительно двигает бровью.

— Конечно. Ты только не бойся.

— Я нон бойся! Руссо нон бойся — Джулия нон бойся.

46

Наконец они добираются до стланика, но прятаться в нем уже поздно.

Осыпая ногами песок и щебень, хватаясь руками за колючие ветки, Джулия первой взбирается на край крутой осыпи и останавливается. Иван, с усилием занося больную ногу, карабкается следом. На слишком крутом месте у самого верха он просто не знает, как ступить, чтобы выбраться из-под кручи. Тогда она, став на колени, подхватывает его под мышки и помогает взобраться на кромку обрыва.

— Скоро, Иван! Скоро! Эсэс!

Действительно, немцы уже нагоняют их. Некоторые уже карабкаются по крутизне. Последним бредет сумасшедший. Кто-то из передних, увидев их возле стланика, закричав, выпускает длинную очередь из автомата. Выстрелы, протрещав в утреннем воздухе, гулко несутся по далеким ущельям.

Джулия содрогается, но вдруг, почувствовав себя живой и невредимой, возбужденно кричит.

— Сволячи эсэс! Фарфпюхтэр эсэс! Швайн! Никс эршиссен, ага!

Лицо ее загорается злым озорством, голос бесстрашен и звонок от негодования.

— Брось ты! — говорит Иван. Но она уже не может сдержаться.

— Гитлер капут! Гитлер кретино! Ага! Ну, шиссен, ну!

Немцы выпускают еще несколько очередей. Но беглецы значительно выше их на склоне и пули не долетают.

— Шиссен, ну кретино! — кричит Джулия.

Она раскраснелась от бега и азарта, глаза ее горят злым черным огнем, короткие густые волосы на голове ворошит ветер. Видимо, исчерпав весь запас бранных слов, она хватает из-под ног камень и, неумело размахнувшись, швыряет его вниз.

Они лезут дальше. Подъем делается все круче. Занятая перебранкой с немцами, Джулия несколько отстает. Он опускается на склон, вытянув больную ногу. Джулия опять тревожно бросается к нему.

— Иванио, нуга?

Он не отвечает.

— Иванио, нуга, да?

Он молча встает, бросает взгляд вперед — там еще более крутой сыпучий обрыв. Лицо Джулии болезненно передергивается.

— Иванио, морто будэм? Нон Терешки. Аллес нон.

— Давай быстрей! Быстрей! — строго прикрикивает он и сворачивает в непролазную чащу стланика.

47

Они лезут стлаником. Иван все время оглядывается. На обрыве, который они только покинули, вот-вот должны показаться немцы. Вскоре там и появляется первый эсэсман, Иван торопливо прицеливается и стреляет.

В горах катится гулкое эхо.

Эсэсман юркает обратно, из-за обрыва трещит длинная автоматная очередь, однако какое-то время оттуда никто не появляется. Затем вылезает шаткая полосатая фигура. Джулия вскрикивает:

— Иванио, гефтлинг.

Широко расставляя ноги, сумасшедший взбирается на обрыв и, шатаясь, кричит противным сорванным голосом:

— Руссэ! Руссэ! Хальт! Ворум ду гэйст вэг! Зи волен брот габэн![1]

— Цурюк! — кричит Иван. — Шиссен!

Сумасшедший испуганно пригибается и падает. Там — слышно — на него кричат немцы. Через минуту они все, сколько их там было, высыпают из-за обрыва.

Иван падает на колено, прислоняет ствол пистолета к шаткой ветке стланика и стреляет раз и второй. К нему испуганно подскакивает Джулия.

— Иван, нон патрон аллее! Нон аллее!

Он успокаивающе касается ее худенького плеча. Несколько секунд они, пригнувшись, на четвереньках лезут по стланику, потом во весь рост бросаются вверх к седловинке.

Падая, оступаясь, цепляясь за стланик, они добегают наконец до седловинки и почти катятся с другого ее склона.

48

Поднявшись на ноги, Иван оглядывается. Перед ним лежит пологий склон, сбоку высочезный утес. Впереди их ожидает небольшая горная складка. Тут довольно высоко — там и сям, раскиданные над горами, плывут белые, как овечьи отары, облака, выше сплошная завеса туч закрывает снежные вершины.

Он оглядывается. Джулия сзади стоит на коленях, и губы ее почти беззвучно шепчут какие-то слова.

— Ты что? Быстрей! — торопит он. Она вскакивает и догоняет его.

— Санта Мария поможет. Я просиль очен очень, — говорит она, подбегая. Он удивляется.

— Брось! Кто поможет...

Они наискосок бегут в лощину. Немцев в седловине еще нет. Иван сильно хромает. Джулия временами опережает его и

---

[1] Русский! Русский! Стой! Почему ты убегаешь? Они хотят дать тебе хлеба! (*Нем.*)

часто оглядывается. То, что им удалось оторваться от немцев, наполняет девушку неудержимым азартом.

— Иванио! Ми будет жит! Жит, Иванио! Я очен хотел жит! Браво вита!

Иван молча на бегу хмурится, понимая, что рано еще радоваться. Он беспрестанно оглядывается на седловинку и сразу замечает, как там появляется первый эсэсман.

Высокий, в подтянутых бриджах и расстегнутом мундире, он тяжело выбирается из-за обрыва. Нет, стрелять он не спешит, он с полминуты всматривается в беглецов, потом вдруг начинает хохотать.

Джулия на бегу начинает тормошить Ивана за рукав.

— Иванио, Иванио, смотрит! Он блягородни тэдэско! Он пустиль нас! Пустиль! Смотри!

Хромая и оглядываясь, Иван хмурится еще больше, он не может понять этот поступок немца. Вскоре в седловинке появляются и остальные эсэсманы, все они останавливаются. Кто-то из них, замахав автоматом, кричит вдогон:

— Шнеллер! Шнеллер! Ляуф шнеллер![1]

— Иванио, тэдэски пускай нас! — с вдруг разгоревшейся радостью лепечет Джулия. — Ми жит! Ми будэт жит!..

Иван молчит. На его лице почти что растерянность. Почему немцы прекратили преследование?

«Что за напасть, что они хотят?» — думал Иван. Все это действительно казалось ему странным. Но он был уверен, что это неспроста, что немцы не от доброты своей прекратили погоню, что готовят они нечто еще худшее.

Но что?

49

Они добегают до самого низа лощины, продираются через колючие заросли рододендрона и ослабело плетутся на невысокий пологий взлобок.

Джулия, казалось, на седьмом небе от радости, она то опережает Ивана, то возвращается к нему, то и дело оглядываясь на седловину с немцами. Радость ее все увеличивается по мере того, как они отдаляются от седловины. Однако его хмурый вид наконец встревоживает и ее.

— Иванио, почему фурьёзо? Нуга, да? Нуга? — обеспокоенно спрашивает она.

---

[1] Быстрей! Быстрей! Удирай быстрей! (*Нем.*)

— Не нога...
— Почему? Ми будет жить, Иванио... Ми убегаль...
Не отвечая ей, он пристально вглядывается вперед и живее ковыляет на взлобок. Тревога все больше охватывает его — взгляд его устремлен вдаль. Джулия взбегает на взлобок и тут также о чем-то догадывается. Оба они замедляют шаг.
Горы впереди расступаются, поперек пути беглецов необъятным простором синеет воздух — внизу лежит мрачное ущелье, из которого, клубясь, ползет к небу туман.
С вдруг похолодевшими сердцами они молча добегают до обрыва и отшатываются — склон круто падает в затуманенную бездну, в которой кое-где сереют пятна нерастаявшего зимнего снега.
Джулия со стоном падает на камни.

50

Джулия лежит в пяти шагах от обрыва и плачет. Иван сидит рядом, опершись руками на замшелые камни. Дальше податься некуда, пришел конец.
Казалось, все уже кончено, и он не успокаивал ее, не утешал — он не находил для этого слов.
Из пропасти несет зябкой промозглой сыростью, вокруг в скалах, словно в гигантских трубах, воет, гудит ветер.
Немцы сидят в седловине, чего-то ждут. Развлекаясь, они тычут сигаретами в сумасшедшего, тот вьюном вертится между ними и они довольно ржут, издеваясь.
— Руссе! Рэттэн! Руссе![1] — долетает оттуда истошный крик обреченного.
Выплакавшись, Джулия перестает вздрагивать, только поеживается от холода. Иван снимает с себя тужурку и укрывает девушку. Встрепенувшись от его внимания, она пересиливает себя, садится и запачканными кулачками начинает вытирать глаза.
— Нон счастья Джулия. Фина вита, Джулия, — в отчаянии говорит она.
— Руссе, рэттэн! Рэттэн! — доносится крик безумца.
Джулия приподнимается на колени и вскидывает маленькие свои кулачки.
— Фашисто! Бриганти! Своляч! Нэйман зи унс![2]

---

[1] Русский! Спаси! Русский! (*Нем.*)
[2] Фашисты! Бандиты! Сволочи! Берите нас! Ну! (*Нем.*)

В седловинке примолкают, затем оттуда долетает приглушенный расстоянием крик:

— Эй, рус унд гуррин! Ми вас скоро убиваль!

И второй следом:

— Ком плен! Бросай холодна гора! Шпацирен горячо крематориум!

Лицо Джулии снова загорается запальчивой злостью.

— Нейм! Нейм! Ком нейму унс! Ага, габен зи ангст![1]

Немцы один за другим начинают выкрикивать непристойности. Джулия кусает губы. Иван берет ее за плечи и прижимает к себе — девушка припадает к его груди и в безысходном отчаянии, как маленькое дитя, плачет.

— Не надо, не надо! Ничего, — некстати успокаивает он, едва подавляя в себе приступ злобного отчаяния.

Джулия вскоре притихает и он долго еще держит ее в своих объятиях.

51

Успокоившись, Джулия садится рядом и поправляет рукой растрепанные ветром волосы.

— Мале, малё волёс. Нон болшой волёс. Никогда.

Он сидит напротив и только скрежещет зубами.

— Иванио! — вдруг оживившись, восклицает Джулия. — Давай манджаре хляб. Ест хляб!

Она достает из кармана тужурки последний кусок хлеба, разламывает его пополам и одну половинку протягивает ему.

Они съедают хлеб, и обоим становится ясно, что больше уже ничего не осталось. Заламывая руки, Джулия в отчаянии скользит взглядом по мрачным утесам. Вдруг она настораживается и что-то хочет сказать, но Иван нетерпеливым жестом останавливает ее. Ветер доносит из-за седловины лай собак.

— Иванио, собак! — вскрикивает Джулия.

Вглядываясь в седловину, Иван медленно встает на ноги, прижимаясь спиной к скале. Достает из-за пазухи пистолет.

Собачий лай становится все явственнее.

Джулия, поняв все, вдруг бросается к Ивану и начинает тормошить его за одежду.

— Иванио, нон собак! Нон! Шиссен! Скоро, скоро!

Иван, не обращая на нее внимания, вглядывается. Он спокоен и тверд. Вдруг Джулия замирает.

---

[1] Нате! Нате! Идите берите нас! Ага, боитесь! (*Нем.*)

— Иванио, где ест бог? Где ест Мадонна? Почему нон кара фашизм?

Какой-то мускул на Ивановом лице вздрагивает.

— Будет кара! — точно очнувшись, говорит он. — Будет!

— Кто кара? Кто? Энглиш? Американи? Совет унион?

— Да! Советский Союз! — почти кричит Иван. — Он свернет головы этим гадам!

— Да, правда? Вэрнот голови?

— Да! Свернет! Уж он им не спустит! Не-эт!

— Он карашо? Лючше лючше все? Иван говори неправда вчера? Иван шютиль?

— Да! — твердо говорит он. — Я пошутил. Я соврал! Россия чудесная! Самая лучшая!

Больше он ничего не может сказать, почувствовав комок в горле. Джулия в отчаянии прижимается к нему. Глаза ее полны слез.

— Я зналь. Руссо очен любят шутиль, — сквозь слезы, но светло улыбается она.

52

В это время немцы пускают собак.

Пять пегих спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремляются по склону вниз. Иван большим пальцем взводит курок пистолета. Он собран, суров и спокоен. Джулия, как-то вдруг просветлев лицом, вскидывает голову и запевает:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Иван тоже начинает подпевать. Над бездной ущелья, над мрачными утесами, над крутыми склонами гор несется, ширится светлая мелодия жизни. Это конец.

Камера уходит, оставляя двоих за несколько секунд до гибели, отдаляется, кадр заполняют суровые виды гор.

Песня звучит тише, она смешивается с лаем собак, потом начинает заглушаться усиливающимся лаем. Возникает музыка, это величественно — скорбный реквием, камера все ускоряет свой ход по горам, все отдаляясь от места, где остались двое. Музыка становится все мажорнее, хотя по-прежнему сурова и драматична.

И вот в кадре пейзаж меняется, горы исчезают, появляются нивы, поля, перелески, озера, и над всем этим на фоне утиха-

ющей музыки звучат величественно, скорбно, человечно слова из письма Джулии:

— Здравствуйте, родные Ивана, здравствуйте, люди, знавшие его, здравствуйте, деревня Терешки Возле Двух Голубых Озер в Белоруссии...

Это пишет Джулия Новелли из Рима и просит Вас не удивляться, что незнакомая вам синьора знает вашего Ивана, знает Терешки у Двух Голубых Озер в Белоруссии...

Конечно, вы не забыли то страшное время в мире — черную ночь человечества, когда, приходя зачастую в отчаяние, тысячами умирали люди. Одни, уходя из жизни, постигали смерть как благословенное освобождение от мук, уготованных им фашизмом, — это давало им силы достойно встретить финал и не преступить совести. Другие же в героическом единоборстве сами ставили смерть на колени, являя человечеству высокий образец мужества, и погибали, удивляя даже врагов, которые, побеждая, не чувствовали удовлетворения — столь относительной была их победа.

На экране — жизнь страны: пашут поле, идут плоты по реке, дымят заводские трубы...

Таким человеком оказался ваш соотечественник Иван Терешко, с которым воля провидения свела меня на трудных путях неравной борьбы и утрат. Мне пришлось разделить с Ним последние три дня его жизни — три огромных, как вечность, дня любви, познания и счастья. Богу не угодно было дать мне разделить с ним и смерть — рок или случай сохранил мне жизнь, которая без него поначалу казалась мне лишенной всякого смысла. Долгие месяцы моего одиночества полнились лишь тремя скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним.

На экране молодежь, клуб, в скверике силуэт двоих, склонившихся один к другому.

Я бы могла описать вам, какой это был человек, но, думаю, вы лучше меня знаете Его. Я хочу только сказать, что вся моя последующая жизнь проходит в ярком свете, излученном встречей с его личностью, так же как и моя скромная общественная деятельность в Союзе борьбы за мир, в издании профсоюзной газеты, наконец в воспитании сына Джиованни, которому уже 18 лет и который готовится стать журналистом.

(Между прочим, это он перевел на русский язык мое письмо, хотя и я изучила этот язык, но, конечно, не так совершенно, как сын.) Еще в моем кабинете висит карта Белоруссии, страны, так сердечно любимой Иваном. К сожалению, я не могу найти на ней деревни Терешки у Двух Озер — надеюсь, вы мне великодушно поможете в этом. И еще — фото... хотя бы какое-нибудь: детское, юношеское, или чего лучше — солдатское.

Камера идет дальше. На экране — памятник на площади, и голуби и дети.

Иногда, вспоминая Его, содрогаюсь от мысли, что могла бы попасть в другой лагерь или не заметить его схватки с командофюрером и не побежать за Ним после памятного взрыва — пройти в жизни где-то близко от него и не соприкоснуться с Ним. Но этого не случилось. И теперь я говорю спасибо провидению, спасибо всем испытаниям, выпавшим на мою долю, спасибо случаю, сведшему меня с Ним.

Вот и все. Финита.

Прощайте, незнакомые земляки Его, прощайте, Его родные, прощайте, далекие Терешки у Двух Озер, жить возле которых очень заветно хотела и я. Не забывайте своего земляка, как не забываем его мы.

С благодарением всем — родившим, воспитавшим и знавшим Человека, истинно русского по доброте и достойного восхищения в своем мужестве.

Спасибо, спасибо за все.

Уважающая вас *Джулия*.

1964 г.

ЗАПАДНЯ

Сценарий короткометражного фильма по мотивам повести «Западня»

По земле видна тень бегущего человека. Слышно его простуженное дыхание. Перед его глазами мелькают — прошлогодняя стерня, немецкая каска, брошенная винтовка. И вдруг — резкий, лихорадочный стук пулемета и разрывы пуль, надвигающиеся на тень бегущего, и слова сознания: «Упасть! Упасть! Нет, нет! — Отпрыгнуть в сторону...» И стон, хриплый, утробный.

Камера, словно повторяя движение этого человека, резко склоняется к его босым ногам, потом к животу, и мы видим — из-под скрещенных рук появляются струйки крови.

Так он медленно падает на бок, скорчившись, прямо себе под ноги.

Он видит свои босые ноги, а за ними и небо, и быстро разрастающееся облако, и показавшееся на мгновение солнце, которое плеснуло ему светом в глаза. И сразу наступила темнота.

Начальные титры

Он лежит в поле. Молодой красивый парень, в выгоревшей гимнастерке, с оборванными погонами, с вывернутыми на груди карманами. Слева видна дырочка и темный силуэт ордена Красной Звезды. Подпоясан он солдатским немецким ремнем с пряжкой. Темные пятна расплывшейся крови на животе. Он бос, на ногах — весенняя грязь.

Лицо его мертво.

Но вот слегка шевельнулись ресницы. И он медленно открыл глаза. Этот вначале туманный, неосмысленный взгляд постепенно яснеет, и мы слышим трепещущий голос жаворонка. Жизнь возвращается к этому человеку. И, словно наслаждаясь пением птиц, он блаженно улыбается.

Прямо над ним, в небе — жаворонок.

* * *

В кадре — только земля с обнаженными и местами обрубленными, видимо, лопатой, корнями. Слышен жаворонок. К нему примешиваются другие звуки: вначале неясный мужской говор, потом позвякивание солдатской ложки о котелок, щелкание затвора автомата.

— И этот паек рассчитан на три дня...

— Ребята! Посмотри на Костю — он не жрет, а все прячет в мешок...

— Он будет жить вечно...

— А что, как ты?.. Всегда сожрешь перед атакой, а потом — по другим мешкам...

— А это я смерть задабриваю...

— Я не хочу с ней иметь дело...

— Интеллигент! Она тебя не спросит. Что, спросила тех, что лежат там, плашмя, в поле после нашей атаки?..

— О, о! — слышен возглас всеобщего восторга.

— Горячий харч!

— А что сегодня?

— Все поедите!..

— Опять шрапнель...

— На такой жратве и до половины поля не добежишь...

— Точно. По нужде назад полезешь...

— Буди лейтенанта...

— Пущай еще подремлет.

— Да ведь атака скоро.

— Товарищ лейтенант, харч прибыл...

Он повернулся на бок, и мы видим, что он лежит в нише траншеи, а в небольшом окопчике напротив него сидят солдаты.

Это старый солдат Голанога. Он мастерит самодельную зажигалку «катюшу», ординарец Костя укладывает вещмешок, здоровенный пулеметчик Иван нежно протирает тряпочкой свое оружие.

Перед ним на патронном ящике дымят четыре котелка.

— Эх, сейчас бы бабоньку круглую, — нежно говорит он.

Резкий вой снаряда и все мгновенно прижимаются к стене траншеи.

Взрыв, летят комья земли, пыль.

Но вот она рассеивается, и мы видим, что солдатские котелки полны земли, два из них опрокинуты. Солдаты стряхивают с себя землю.

— Товарищ лейтенант, — вползает на четвереньках в окоп молоденький солдат, — вас к себе ротный, на рекогносцировку...

Лейтенант встает из ниши, и в этот момент Голанога протягивает ему «катюшу».

— Это вам, — говорит он, — спичек не напасешься.

— Спасибо, — благодарит лейтенант. — Люди готовы к атаке?

— Готовятся, — отвечает старый солдат.

— А мы всегда готовы, — говорит Иван, уплетая мясную тушенку.

Лейтенант пробирается вслед за молодым солдатиком по траншее. Время от времени они прижимаются к земле, когда слышится вой снаряда и взрыв.

Солдаты в траншее деловито готовятся к атаке.

Вот пожилой солдат, выбросив из сумки противогаз, набивает ее патронами.

Кто-то чистит автомат.

Кто-то набивает диск патронами.

Кто-то ест.

Кто-то переобувается.

И все это видит лейтенант мимоходом.

Траншея петляет то влево, то вправо, словно лабиринт.

* * *

Это был глубокий, без единого кустика овраг. По дну его протекал ручей, вокруг него была грязь. Ротный — капитан Орловец — сидел на склоне оврага у рации и, держа в руках цигарку, послушно отвечал в трубку:

— Да. Ясно. Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь.

Заметив подошедшего лейтенанта, он прикрыл рукой трубку и недовольно проворчал:

— Можно, Климченко, и побыстрей, когда вызывает командир роты.

Потом он еще некоторое время слушал трубку, а все настороженно смотрели в его сторону.

Чуть ниже его расположились курносый глазастый связист, молчаливый, хмурый с виду лейтенант Зубков и подпоясанный, в новой шинели, с новыми погонами лейтенант Иваницкий.

Положив трубку в телефонный ящик, Орловец, коротко посмотрев на своих подчиненных, спросил:

— Вы знаете, почему мы сорвали атаку?..

Все ждали его ответа. Только Климченко недовольно поморщился.

— Третий взвод отстал и залег, — Орловец сделал паузу, посмотрев на лейтенанта. — Второй растянулся, как кишка, третий вообще устроил бег на месте. Вы командиры или пастухи, черт вас побрал?!

Климченко, который не смотрел на него, вдруг поднял голову и, запинаясь от волнения и обиды, выпалил прямо в лицо ротному:

— А вы что кричите? Мы что, во рву отсиживались? Или струсили? Фриц вон — подойти не дает...

Капитан злобно взглянул на лейтенанта:

— Ты что? — выдавил он угрожающе и в то же время будто недоумевая от дерзости подчиненного. — Ты что, митинговать вздумал?

Лейтенант поднял воротник своего иссеченного осколками полушубка, из дырок которого торчали серые клочья шерсти.

— А то! Хватит на чужом горбу в рай ехать! — запальчиво проговорил Климченко и отвернулся.

Ротный сполз с обрыва на каких-нибудь три шага и, перепоясанный ремнями, стал напротив взводного.

— Это кто едет! Я еду? Да?

— Да и вы не прочь! — бросил лейтенант.

Ротный, посмотрев на двух других взводных, которые делали вид, что рассматривают травку под сапогами, уже сдержанней сказал:

— Придержал бы язык, болтун!

Климченко вскинул голову.

— Ага! Правда глаза колет!

— Ах, правда? — вскипел Орловец. — Так и я тебе скажу правду! Твой взвод — самый худший! Самый разболтанный. Он сорвал темп наступления... Залегли, понимаешь, когда еще бы рывок, и вы в немецких траншеях...

— Или на том свете! Я же говорил — не подавим пулеметов, которые бьют нам с фланга, — не пройдем. Не пройдем и сегодня.

— Стратег! — Орловец оглянулся на взводных и даже на телефониста, ища у них поддержки, но по их глазам он понял, что они на стороне Климченко. Здесь ротный вдруг вспомнил про цигарку и начал искать в кармане спички. Достал, чиркал, но они не зажигались.

— Умники. Вот заставлю одним взводом высоту брать. Тогда и запищишь, — ворчал он, ломая одну спичку за другой.

Тогда Климченко достал «катюшу», высек искру и подал этот «инструмент» Орловцу.

Капитан прикурил, глотнул дыма, окинул взводного испытующим, но уже незлобливым взглядом и вытащил из-за пазухи карту.

— Ладно, — сказал он мягче. — На том и точка. И чтоб мне ни-ни... Я здесь командир, а не пастух. Понятно? Ну, чего надулись, как суслики? Давай ближе, говорю.

Лейтенанты придвинулись.

— Климченко прав, — сказал Зубков, глядя прямо в глаза Орловцу. — Не накроем фланговых крупнокалиберных пулеметов — не пройдем.

Разложив всю в подпалинах полу шинели на земле, Орловец расстелил на ней карту и сказал:

— Огонька попросим. Эй, Капустин, свяжи с батареей.

Солдат закрутил ручку телефона.

— Так, все, точка. Слушай задачу. Ударим снова... И главное — только вперед!.. — сказал капитан Орловец.

* * *

Без единого выстрела все разом высыпали из оврага и бросились на высоту, на которой оседали клубы дыма и пыли. Только что закончилась артподготовка. Был только слышен беспорядочный топот полсотни пар ног.

Сжав в руке пистолет, с ремешком, одним концом прикрепленным к поясу, Климченко бежал вместе со всеми.

Впереди него бежало несколько солдат.

«Шасть-шасть... шасть-шасть», — мяли струхлевшую прошлогоднюю стерню старые валенки, ботинки с сизыми и черными обмотками, запыленные грязные «кирзачи». У кого-то поблизости в вещевом мешке настойчиво лязгал пустой котелок.

— Не мог закрепить, дурак, — оглянулся Климченко.

Люди бежали по обеим сторонам от него, расширенные глаза их настороженно скользили по высоте, сипло дышали простуженные груди, болтались на ветру ремни автоматов.

Ветер стлал по стерне длинные пряди пыли.

Рота выбегала из-за пригорка на пологий открытый склон.

Климченко и люди, что бежали около него, пригнулись, они уже видели изрытую траншеями высоту — всю от леса до покатого косогора под самой деревней, на котором еще рвались наши снаряды. Но вот и там все стихло.

Климченко уже видел над бруствером длинный ряд глубоко надвинутых на голову касок. В тот же миг ветер донес ослабленный расстоянием вскрик:

— Фойер!

Прежде чем в пространстве погас этот вскрик — тишина взорвалась громом «Ура!».

И тут же первые очереди разорвали упругий воздух. Запели пули. Один из солдат, бежавший впереди лейтенанта, тонко не по-мужски вскрикнул и упал.

Климченко склонился ниже, оглянулся и тут же выпрямился — в пяти шагах от него бежал ординарец Костя.

В этот момент каска на голове бойца вдруг дернулась, наверное, сбитая пулей, одним краем осела на ухо, парень толкнул ее рукавицей на место и коротко, одними глазами, улыбнулся...

И здесь с фланга ударили крупнокалиберные пулеметы.

Разрывы легли в цепи бойцов. Двое из тех, что бежали впереди лейтенанта, упали и суконными комками шинелей застыли на стерне. А оставшийся среди них пулеметчик Иван вдруг остановился, выронил пулемет, обхватил лицо руками и с криком бросился назад.

— Вперед! — крикнул лейтенант, но в это время колючие клубки разрывов взметнулись перед ним. Климченко упал. Над головой пели пули. А перед лицом лейтенанта, в траве, бегали муравьи. Двое из них, не поделив какое-то зернышко и ухватившись за него, тянули каждый в свою сторону. Стрельба стихла и лейтенант осторожно поднял голову.

Сквозь не осевшую от разрывов пыль он увидел, как в траншее напротив засуетились зеленые каски. Немцы убегали. Климченко, вскинув пулемет, выстрелил три раза. И сразу же откуда-то из-за спины его полетела в траншею граната и глухо там лопнула.

Лейтенант оглянулся.

Шагах в десяти Костя стрелял из автомата.

К нему бежали наши бойцы. И здесь опять пронесся стук крупнокалиберного пулемета. И солдаты попадали на стерню.

— Вперед, — крикнул Климченко Косте и, когда тот начал подниматься, то лейтенант рывком вскинул свое тело с земли, преодолел последние метры, отделявшие его от траншеи, взлетел на бугорчатый, усыпанный гильзами бруствер, выстрелил в загадочный зев траншеи и сразу же сунулся в нее сам.

И тут же он натолкнулся на фигуру в каске, казалось, без лица, с одной только худой кадыкастой шеей. Климченко выстрелил и на мгновение увидал недоуменные глаза падающего

немца. Впереди была пустая траншея. В этот момент сзади, наверху разорвалась граната и тут же возник стон:

— Братцы! Братцы! Бра...

Лейтенант резко повернулся на этот крик, как вдруг навстречу ему брызнуло землей и, падая на спину, лейтенант увидел падающее к нему в траншею лицо Кости с помутневшими, неживыми глазами.

Костя упал прямо под ноги Климченко. На спине его дымился разорванный вещмешок, из которого вывалились галеты и банка мясной тушенки, пробитая осколком гранаты.

Лейтенант поднял голову и увидел вверху, на фоне неба, там, где только что был Костя, молодого в расстегнутом мундире с безумными глазами немца. Он вдруг улыбнулся и опустил автомат. Перед лицом Климченко мелькнул сапог и приклад немецкой винтовки. И наступила темнота.

* * *

Климченко с усилием открыл глаза, приподнял голову и увидел...

Прямо перед собой чью-то согнутую спину.

Хлястик с оловянной пуговицей и черный кожаный ремень под ним. Вторая пуговица была оторвана, а вместо нее осталось проволочное, залепленное землей ушко.

Ниже хлястика — сумка.

А под мышками этого человека — ноги лейтенанта. Так нелепо впрягшись, немец тащил Климченко по траншее.

Лейтенант рванулся, пытаясь высвободить ноги. Немец сразу же остановился, оглянулся: на его густо заросшем щетиной немолодом лице отразилось переходящее в испуг удивление: нижняя губа его оторвалась от верхней и на ней, наискось прилепясь, дымил желтый окурок сигареты.

— Майн гот! — сказал немец и, встретившись взглядом с Климченко, выпустил из рук его ноги. Сапоги лейтенанта глухо ударились о дно траншеи. Почему-то оглянувшись, немец стал снимать с груди автомат. Однако автомат был на коротком ремне, он цеплялся за воротник, и солдат, набычив голову, с усилием стаскивал его поверх зимней, с длинным козырьком, шапки. Климченко провел правой рукой по боку — кобура была пуста.

Немец потянул курок автомата.

Вверху над ними плыли тучи, и стебли бурьяна на бровке часто-часто мельтешили от ветра. И здесь лейтенант услышал немецкую речь.

Солдат опустил автомат.

Через плечо лейтенанта переступил испачканный землей сапог, щеки Климченко коснулась пола шинели.

Немцы о чем-то говорили. Они расплывались в глазах лейтенанта, словно тени в неспокойной воде. Но вот солдат, склонившись над ним, сказал:

— Вставайт, рус! Вставайт!

Ответа не последовало, и тогда солдат подхватил его, поставил на ноги и толкнул в спину.

Его вели по траншее, которая напоминала о только что закончившемся бое. Развороченная снарядами... трупы... носилки... раненые... солдат выкрикивал в телефон одно и то же слово.

Климченко поднял голову.

В небе пел жаворонок.

* * *

Лейтенант шел по неглубокой, в пояс, траншее, тяжело переставляя ноги. Впереди его шел офицер, сзади — солдат с автоматом.

* * *

Климченко замедлил шаг и взялся обеими руками за голову. Остановился. «Шнель!» — толкнул его в спину солдат.

Мимо них проходили шестеро солдат-связистов, обвешанных катушками с кабелем, сумками и оружием.

Они уступили офицеру дорогу и, минуя пленного, разглядывали его настороженно враждебными взглядами.

* * *

Они шли по дороге. В неглубоком, но широком овражке, возле мостика с высохшим ручьем, стояло несколько беспорядочно расставленных, крытых брезентом машин. Машины, видимо, находились тут давно, земля возле них была вытоптана и густо залита маслом. Рядом валялось несколько бочек, и солдат в комбинезоне, откинув в сторону руку, нес к машине канистру.

Два других, наклонив бочку, наливали в ведро бензин.

Офицер спросил что-то у солдата с канистрой. Тот поставил ее, вытянулся и ответил.

Климченко, конвоир и офицер направились туда, где под обрывом землянки чернели двери.

* * *

Офицер прошел вперед, открыл выкрашенные под дуб, видно, снятые в каком-то доме двери с крохотным, врезанным в верхней филенке окошком и зашел в землянку. Следом, подталкиваемый конвоиром, вошел Климченко, и дверь, скрипнув, захлопнулась.

* * *

Он ступил на шаткие, наспех настеленные доски пола и в лицо ему ударил жаркий свет накаленной железной печки, которая стояла тут же, справа, у входа.

На застланном шерстяным одеялом столе лежали бумаги. Рядом мигала стеариновая плошка.

Молодой, с приятным, даже красивым лицом, офицер подскочил к вошедшему и щелкнул каблуками. Они заговорили о чем-то, а Климченко огляделся.

Сзади сквозь филенчатое окошко проникал свет пасмурного дня. Вместе с огоньком в плошке он скудно освещал переднюю стену землянки, в несколько рядов оклеенную одним и тем же плакатом — широколицый красноармеец что-то хлебал из котелка, глуповато при этом улыбаясь немцу в каске, стоящему рядом с такой же неестественной, деланной улыбкой на лице.

А немцы переговаривались уже втроем. Солдат-конвоир снял с плеча сумку Климченко и подал вошедшему вместе с ними офицеру. Тот вытряхнул все на стол.

Обложка командирского удостоверения.

Комсомольский билет.

Удостоверение о наградах.

Расчетная книжка.

Справки о ранениях.

Тут же был портсигар, письма, карманные часы и другие мелочи, которые месяцами лежали в его карманах и сумке.

Офицеры бегло листали документы. Наконец начальник что-то приказал, раза два прошелся по землянке, прогибая половицы, и, взглянув на Климченко, вышел.

Конвоир с автоматом также последовал за ним и стал за дверью. Сквозь чистое протертое стекло лейтенант увидел его

печать с погоном, козырчатую шапку, дальше был виден край кузова машины-фургона с маленьким решетчатым окошком.

Офицер встал из-за стола и указал жестом на табурет, что стоял на середине землянки.

Климченко подошел, и в это время над его головой вспыхнул свет. Лейтенант в этот момент наклонился к табурету, голова у него закружилась, все поплыло перед ним и он упал.

* * *

Солдат держал перед носом Климченко какой-то пузырек. Климченко пришел в себя и сидел на табурете, широко расставив ноги. Офицер стоял напротив. Потом он прошел за спину лейтенанта и, дотронувшись до разбитой в кровь головы Климченко, что-то сказал солдату. Тот вышел и тут же вошел с санитарной сумкой.

Климченко сидел, низко опустив голову. По доскам вокруг табурета тяжело ступали поношенные сапоги солдата.

Руки немца бесцеремонно поворачивали его голову, пролязгали ножницы, и на пол упали светлые спутанные пряди волос.

Климченко только раз вздрогнул, когда рану обожгло лекарство. Санитар проворно обмотал голову бинтом и вышел.

— Ну, так лучше? — просто, чисто по-русски и даже будто с сочувствием спросил немец.

Климченко удивленно поднял брови, исподлобья глядя на офицера.

— Ты не удивляйся. Я русский. Как и ты. Москвич. На Бутырке жил, — сказал он.

Климченко смотрел на него уже с явным любопытством.

— Познакомимся?.. Чернов. К сожалению, не Белов. Можешь называть меня Борисом... Ты же не комиссар. А немцы уважают достойных противников. Строевых командиров. Работяг войны. Специалистов. Ты с какого года?

— Там же все написано, — кивнул на стол Климченко.

Чернов взял комсомольский билет, заглянул в него:

— Ну вот, почти одногодки. Конечно, здесь все написано. У нас, то есть у вас, на этот счет полный порядок. Как говорят, ажур, — и он начал ходить по землянке, иногда останавливаясь и бросая Климченко какой-нибудь вопрос:

— Да. Все написано. И где родился, и где крестился, и был ли за границей, и имел ли колебания. Все знаю. Сам был такой. Куришь?

— Не хочу.

— Послушай! И зачем эти бессмысленные жертвы? Сколько их уже понесла Россия? Революция, коллективизация, тридцать седьмой год. Из твоих никого не посадили?..

Климченко молчал, глядя на Чернова.

— ...Ты думаешь, если был Сталинград, так уже и все?.. Скоро, я тебе точно говорю, скоро немцы введут такое оружие, что сами побежите за Урал, если не одумаетесь. Орденишко за что получил?

— Что ты от меня хочешь?

— Я не хочу, чтобы тебя расстреляли... Ты должен выступить по радио...

— По радио?..

— Да. По звуковещательной установке. Несколько слов к конкретным лицам. Это подействует. Это всегда действует.

— Я не предатель.

— Зачем такие слова?.. Ведь жизнь дается человеку только один раз.

Климченко молчит, а потом отрицательно поводит головой: «нет».

— А ты подумай, подумай. Ведь для тебя сейчас главное — выиграть время, а значит — жизнь.

— Нет! — твердо сказал Климченко.

В это мгновение стукнула дверь, и в землянку стремительно вошел высокий офицер. Вместе с Черновым они остановились у стола и о чем-то заговорили. Чернов подавал ему документы Климченко, что-то объясняя. Потом он и Чернов подошли к лейтенанту. Заметив на груди Климченко орден «Красная Звезда», офицер вновь сказал что-то Чернову и, достав портсигар, хотел уж было закурить, как вдруг протянул его лейтенанту. Тот посмотрел сначала на сигареты, а потом на немца с пренебрежительной улыбкой. И тут же получил сильный удар в челюсть от Чернова.

— Отказываться у немцев не принято, — услышал он над собой его голос. И перед лицом лежащего на полу Климченко упала догорающая спичка. Тогда лейтенант с трудом приподнялся и сел на пол. Офицеры, закурив, смотрели на него. Потом длинный бросил Чернову какую-то фразу и вышел.

— Не сердись, — примирительно, будто ничего особенного не произошло, сказал Чернов. — Это так: для порядка. Иначе... сам понимаешь: начальство! Садись! Садись сюда, ну...

— А ты, земляк, — порядочная сволочь! — сказал Климченко, садясь на табурет.

— Ну к чему такие слова? Приходится. Служба. Так что иногда лучше ударить.

— А ты зря стараешься.

— А ты зря отказываешься! Ведь все можно сделать и без тебя.

Чернов порылся в документах:

— Вот смотри. Командир отделения Голанога Иван Фомич. Ефрейтор Опенкин. Вот тут твоя пометка — посовет. с ротн. как сообщить о смерти жены. На этом тоже можно умно сыграть. Красноармейцы... Имя и отчество не проставлено. Плохо. Не любишь людей, а им сегодня, — и он постучал по столу пальцами, — на наши пулеметы идти. Всего двадцать два человека. Вот и выбывшие отмечены. Командир роты тоже известен — Орловец. А до него был Иржевский. Вот здесь и адрес госпиталя... Кто скажет, что все это было у тебя в записной книжке, а не в голове?.. Я даю тебе возможность выиграть время, а значит, и жизнь. Я понимаю тебя... все могло быть, скажем, и наоборот — я на твоем месте. Так что надо поступать в зависимости от обстоятельств. Ты ж видишь — я с тобой откровенен.

— А что я должен говорить? — спросил Климченко, взявшись за голову, но в то же время глядя на список в руках Чернова.

— Надо прочесть эту бумагу, — встал тот из-за стола и подошел к лейтенанту. — И добавить эти фамилии. — Он оставил листовку Климченко, а сам вернулся к столу.

Климченко взял листовку и начал ее читать, а Чернов положил список на стол, потом, что-то подумав и видя, что лейтенант занят изучением листовки, быстро спрятал листок в карман. И начал выставлять на стол закуску.

«Дорогие граждане! — читал Климченко. — Однополчане! К вам обращается бывший командир...»

А голос Чернова совсем доброжелательно гудел:

— Пойми же — какой смысл умирать из-за какого-то дурацкого принципа.

Климченко смотрел из-за листовки на стол, где лежали его документы.

— ...Живем только раз, — говорил Чернов, расставляя на столе закуску. — Вот давай это дело и замочим. Как-никак людей от смерти спасаем... это скорее смелый взгляд на вещи, на сущность жизни.

Климченко прыгнул, схватил лежащие на столе документы, бумажки и, отскочив к выходу, раскрыл дверцу печки и бросил

все в огонь. Чернов в это время доставал бутылку коньяка из ящика в углу землянки и не успел ему помешать.

Открылась дверь и вошел солдат с автоматом.

Климченко стоял у печки и смотрел на Чернова.

— Идиот! — выдавил он с презрением. — Вот на таких дураках они и выезжают.

Он налил одну, вторую рюмку коньяка и, подойдя к Климченко, сунул рюмку ему в руку.

— На! Выпей! Выпей! Можешь поверить — это твоя последняя выпивка, если не одумаешься.

— Нет! — бросил коньяк Климченко.

Тогда Чернов заорал, и в землянку ввалились два немца. Они схватили лейтенанта, завернув ему руки за спину.

Чернов подошел к нему.

— Климченко! Это все! Опомнись!

— Сволочь!

— Ну что ж, прежде чем ты помрешь, ты не раз пожалеешь, что отказался. Я тебе такое устрою, что смерть тебе покажется раем. Ну?..

— Трус!

И в то же мгновение лейтенант получил бешеный удар в левую щеку, в правую, в подбородок. Тело помимо его воли стремилось сжаться, свернуться в малюсенький тугой комок, чтобы как-нибудь выдержать безжалостные удары — в голову, в лицо, в живот, в грудь...

Чернов бил яростно и молча, как можно бить только за личную обиду, за собственные неудачи, за непоправимое зло в жизни, вымещая все на одном человеке.

* * *

Климченко лежал в углу какого-то «газен-вагена». Глаза закрыты. Лицо черное от побоев. Ночь. Сквозь маленькое решетчатое окно черноту разрезает рассеченный решеткой луч полной луны. Где-то там, в поле, трещит коростель. И тихо, откуда-то издалека, к этому голосу птицы начинает примешиваться нежная, задушевная мелодия русской песни. Лицо лейтенанта тронула улыбка. Звук песни то уходил, то возвращался снова. И вдруг послышался голос — кто-то говорил по радио:

— ...Голанога Иван Фомич... я к тебе... как к бывалому солдату... и ты, Круглов, и ты, младший лейтенант Телушкин... плюньте Орловцу в лицо — он только перед начальством выслуживается... а их не сломишь... не выдержала, Иван Фомич,

твоя женка, померла, а ведь не от доброй жизни... вот и мать мне об этом пишет...

Первые секунды, не понимая, что происходит, Климченко с напряжением вслушивался в голос динамика. Потом он вскочил, дернул раз, второй решетку и начал исступленно бить в двери машины. Железо громко брякнуло, а Климченко бил и бил по нему. Потом, обессилев, подошел к окошку. Двое часовых с автоматами с любопытством смотрели на него.

— Хальт! Шиссен будэм делайт! — сказал один из них.

А он смотрел на них из-за решетки с бешеной ненавистью.

Динамик вдали еще звучал, но напряженно и тяжело дышавший лейтенант ничего не слышал, кроме глухого стука своего сердца. Но вот остался только этот стук. Там все стихло, как вдруг ночь прорезали далекие очереди пулемета.

Немецкие солдаты видели, как пленный отошел от окна и начал вновь колотить в кузов машины. О чем-то переговариваясь, они с удивлением смотрели в сторону, откуда неслись тугие, тяжелые удары об металл.

* * *

В будке-кузове уже посветлело, серая мгла расступилась, и на пол из окошка легло пятно робкого утреннего света: ярко заблестела под дверью щель.

Климченко спал. И несмотря на то, что лицо его избито, было в нем что-то ребячье, что-то милое, мальчишеское.

Он лежал на полу у самой двери, откинувшись на спину в угол. А там, за железным кузовом машины, нарастал говор людей, вокруг затопали шаги, откуда-то приехала и остановилась машина. Щелкнул замок — засов.

Климченко открыл глаза.

Дверь раскрылась, и в кузове стало совсем светло.

Тогда он поднялся и отступил к выходу.

Перед дверью стояли и смотрели на него два немца — один в каске, с автоматом на груди, другой с непокрытой головой, в мундирчике, без шинели. За ними толпились по-разному одетые и разные по возрасту немцы, которые, одинаково притихнув, с нескрываемым злобным любопытством смотрели на него.

Взгляд Климченко только на секунду задержался на этой группе немцев. Тут же он увидел Чернова.

Нисколько не похожий на вчерашнего, холодно сдержанный, в высокой офицерской фуражке и подпоясанной шинели,

он стоял возле входа в землянку и, засунув руки в карманы, глядел на лейтенанта. Рядом было еще два офицера: тот, вчерашний, высокий, и другой — широкий, в шинели с черным воротником.

Увидав все это, Климченко рванулся из машины к Чернову. Его тут же схватили, скрутили. Но лейтенант как мог рвался, выкручивался, отчаянно сопротивляясь силе вцепившихся в него четверых солдат.

— Абшнайден кнопфе! — приказал Чернов.

И еще два солдата пошли к лейтенанту. Один из них на ходу достал нож. Климченко рванулся, но его крепко держали.

Кто-то из солдат схватил его за ноги. Солдат с ножом быстро срезал лейтенанту все пуговицы на брюках. И сразу все отскочили.

Брюки сползли вниз, и лейтенант вынужден был нагнуться, подтянуть их и так держать.

Немцы хохотали.

А Чернов, расстегнув кобуру, достал пистолет и что-то сказал солдатам.

Те, взяв наизготовку автоматы, подошли к лейтенанту, который стоял, низко опустив голову.

— Пшель! Пшель! — сказал солдат, указывая дулом автомата дорогу.

— Что, боишься? — спросил Чернов, проходя вперед. — За мной!

Они спускались в узкий, длинный овраг, закрытый туманом. Климченко был бос. Погоны вырваны. Орден отвинчен. Карманы на груди вывернуты. На голове белела повязка.

Впереди шел Чернов, сзади лейтенанта — два солдата.

На склонах оврага стыли клочья тумана, низко нависало матово-серое небо. В поисках пищи куда-то пронеслась стайка воробьев.

* * *

Чернов спрыгнул в траншею — она была неглубокой — и быстро пошел, оглядываясь по сторонам. Вдали раздалось несколько выстрелов и вверху с тугим жужжанием, замирая вдали, пронеслись пули.

Вот они встретили группу солдат с поднятыми воротниками и натянутыми на уши пилотками. Они прижались к стенам траншеи, почтительно пропуская офицера... В руках у них были плоские алюминиевые котелки, видно, с завтраком.

Под враждебно-любопытными взглядами притихших солдат Климченко шел, по-прежнему придерживая брюки.

Один из солдат протянул навстречу лейтенанту ложку с кашей, но, столкнувшись с его взглядом, испуганно убрал руку.

* * *

Траншея упиралась в пулеметную ячейку.

Из ячейки выглянул молодой пулеметчик — небольшого роста, ладно сбитый крепыш в длинной, выпачканной глиной шинели.

Чернов подошел к нему и что-то сказал.

Пулеметчик встал и окликнул кого-то.

— Ну, иди! — просто сказал Чернов.

Климченко с удивлением посмотрел на него и, видя, что и Чернов, и пулеметчик уступили ему проход, решительно шагнул вперед. Он слышал, как в это время по траншеям передавалась какая-то команда.

Но траншея здесь была довольно-таки глубокая, и он сорвался, ударившись о бруствер подбородком. Тогда ему кто-то протянул солдатский ремень. Климченко оглянулся. Это был молоденький пулеметчик.

Лейтенант подтянул брюки, опустил гимнастерку и подпоясал ее ремнем. Потом, напрягшись каждым мускулом, он вскочил грудью на бруствер и вылез из траншеи.

Впереди распростерлась притуманенная необъятная ширь русского поля, близкий у подножия высоты овраг.

Климченко встал, распрямился и смело шагнул вперед. И тут же за его спиной раздался лязг взведенного затвора пулемета. Этот звук заставил на секунду его сжаться, но он не остановился, а продолжал твердо идти вперед с распрямленной грудью. Но чем дальше он шел, тем больше недоумение рисовалось на его лице. Ветер тугой волной толкал его в грудь, лохматил волосы и концом бинта хлестал по щеке. Лейтенант на ходу сорвал его и отбросил в сторону.

Цепляясь за жнивье, повязка запрыгала по ветру.

Тогда Климченко остановился и повернулся лицом к немцам. Вдоль всей траншеи над бруствером торчали, шевелились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов.

— Рус, шнель! Дом, дом, шнель! Рус, пуф! пуф! — и солдатский хохот и говор.

И тогда он вновь пошел вниз, к своим, к оврагу.

Впереди, в стерне, головами к немецким окопам, лежали убитые в бою наши солдаты.

Лейтенант побежал.

И здесь раздался громовой голос радиовещательной установки:

«Внимание! Внимание! Солдаты! Не стреляйте! К вам идет лейтенант Климченко. Пусть Орловец сам решит, как с ним поступить».

Все это настолько ошеломило лейтенанта, что он замедлил шаг, остановился и потом в растерянности обошел по стерне безвыходную замкнутую петлю.

* * *

Чернов, видя остановившегося в поле Климченко, нагнулся к пулеметчику и что-то пояснил. Тот поднял пулемет выше фигуры лейтенанта и дал очередь.

* * *

Пули пропели над головой Климченко. Они как бы пробудили его оцепенение, и он устало побрел в сторону своих.

Он шел, низко опустив голову, глядя на свою тень, как вдруг эту тень разорвали фонтаны пулеметной очереди.

— Не стрелять! — донесся до него истошный крик Орловца.

Климченко поднял голову — по всему берегу оврага и траншей и окопчиков торчали шапки и каски наших автоматчиков.

Он медленно брел к своим.

Вот он увидел чьи-то руки на свеженарытой земле, пустые гильзы, клочок газеты, прибитый ветром в бурьяне.

Дойдя до склона, он несколько боком, чтоб не свалиться, сошел вниз. Рядом были люди, но он не видел их, они все молчали, из-под ног сыпался и шуршал по обрыву гравий.

А вот в поле его зрения попали знакомые валенки Орловца — с темными старыми подпалинами, и он, вздрогнув, поднял голову: напротив него стоял командир роты. За ним — настороженные лица солдат.

Орловец сделал шаг вперед и сильно ударил Климченко в ухо. Тот упал.

— Командир... советский командир... с немецкой пряжкой... — зло выплевывал слова капитан.

Климченко медленно, с трудом встал и ударил в ответ ротного. Ротный повалился на землю и, потирая щеку, удивленно смотрел на лейтенанта.

— Пристрелить его! — крикнул кто-то.

Ротный обернулся на этот крик. И в его взгляде было удивление.

Климченко же расслабленно опустился на землю, защемил меж колен лицо и выдавил из себя нечеловеческий, полный отчаяния и боли стон:

— Братцы мои!

Кругом гневно загудели бойцы:

— Я же говорил...

— Это все они, сволочи!

— Все равно ЧП.

— Ти-хо! — прокричал ротный, отряхивая штаны. — Молчать! Коли ни черта не понимаете!

— Ну, если возьмем высоту, — сказал кто-то из солдат.

— Возьмем! — тихо, но уверенно проговорил рядом с Климченко Голанога. — Что ж, сынок! Что теперь сделаешь! Стерпи! Закон. Как-нибудь...

Климченко вскочил и вырвал из его рук автомат. В следующую секунду он, будто обезумев, бежал по склону из оврага туда, вверх, к высоте.

За ним побежал один солдат, второй, третий, четвертый и еще целая группа.

— Отставить! Стой! Назад! — летел им вслед голос Орловца. — Климченко, назад! Все назад!

И люди остановились. И пошли обратно к оврагу.

* * *

Ротный стоял и слушал торопливый говорок своего ординарца, который указывал рукой на овраг.

Климченко шел к ним, волоча за собой автомат. Но то, что он увидел в следующий момент, заставило его остановиться — из оврага поднимался офицер в белом полушубке в сопровождении двух солдат из комендантского взвода.

— Особый отдел, — сказал сзади Голанога.

Солдаты, бежавшие вместе с Климченко в эту стихийную атаку, остановились за его спиной.

Орловец о чем-то говорил с офицером в белом полушубке.

Тот отстранил капитана, достал пистолет, ступил два шага навстречу Климченко и сказал:

— Солдат прошу разойтись!

Но никто не сдвинулся с места.

— Лейтенант Климченко, отдайте оружие.

— Постойте, — бросился к особисту Орловец, — мы сами разберемся — у нас через десять минут атака...

— Трибунал решит без нас...

— А ты человек? Ты что, сам не соображаешь? — вновь разгорелся ротный.

— Взять его! — приказал офицер солдатам.

Те нехотя вышли вперед и остановились — солдаты взвода Климченко окружили своего командира.

— За что? — крикнул он, стараясь протиснуться сквозь их плотный строй к особисту. Но солдаты его не пускали.

— За что? За что? — кричал он.

— Уходите! Я здесь командир! — преградил офицеру дорогу Орловец.

Офицер, говоривший до этого строго и по-казенному, вдруг взвизгнул:

— Порядка не знаешь? Сдать оружие!

И, стараясь оттолкнуть Орловца с дороги, он ухватил его за погон, нитка лопнула, пуговица отскочила, и погон оказался в руке особиста.

Оскорбленный Орловец начал судорожно расстегивать кобуру. Но в это время между ними стали солдаты.

В небе гулко прошелестели снаряды и разорвались на высоте.

— Атака! Все по местам! — заорал Орловец.

— Ты еще за это ответишь! — с глухой яростью проговорил офицер и, вздрогнув от очередного залпа, повернулся и пошел к оврагу. За ним потрусила его охрана.

— И отвечу! — не поворачивая головы, твердо проговорил Орловец.

Перед ним стоял только Климченко.

— Пойдешь в атаку? — спросил ротный.

— Пойду!

— В таком виде?.. Ну, брат, быстро!.. Приказ знает Голанога.

Лейтенант быстро, по-военному повернулся через левое плечо и, сверкая голыми пятками, побежал в гору, к траншеям.

— Советский командир, — с улыбкой сказал Орловец и потом твердо добавил: — Советский! — и пошел вслед лейтенанту.

* * *

Высота была укутана разрывами снарядов.

Рота поднялась и плотной волной пошла в атаку с криком: «Ура!». Вместе со всеми бежал Климченко.

А кругом его — солдаты, которых сегодня не остановишь.

* * *

На земле видна тень бегущего человека. Слышно его простуженное дыхание и стук многих солдатских сапог. Перед его глазами мелькают — прошлогодняя стерня, немецкая каска, брошенная винтовка. И вдруг — лихорадочный стук пулемета и разрывы пуль, надвигающиеся на тень бегущего, и слова сознания: «Упасть! Упасть! Нет, нет! — отпрыгнуть в сторону...» И стон хриплый, утробный.

Камера, словно повторяя движения человека, резко склоняется к его босым ногам, потом — к животу, и мы видим — из-под скрещенных рук появляются струйки крови.

Так он медленно падает на бок, скорчившись, прямо себе под ноги.

Он видит свои босые ноги, а за ними — и небо, и быстро разрастающееся облако, и показавшееся на мгновение солнце, которое плеснуло ему светом в глаза. И сразу наступила темнота.

* * *

Он лежит в поле. Молодой красивый парень, в выгоревшей гимнастерке, с оборванными погонами, с вывернутыми на груди карманами. Слева видна дырочка и темный силуэт ордена Красной Звезды. Подпоясан он солдатским немецким ремнем с пряжкой. Темные пятна расплывшейся крови на животе. Он бос, на ногах — весенняя грязь.

Лицо его мертво.

Слышна песня жаворонка.

И, словно поднимаясь вместе с птицей над полем, мы видим, что не только Климченко был убит в этом бою. Их много. Все они лежат головами к высоте и напоминают издали неубранные с осени снопы.

В поле, среди павших в бою, ходят санитары с носилками.

Пятеро солдат также ищут кого-то.

Вот они остановились возле Климченко.

Камера все ниже и ниже опускается к ним.

Один солдат встал на колени и приложил голову к груди лейтенанта. Потом сказал что-то солдатам. Они медленно снимают каски. Почтив так память своего командира, они сбрасывают с себя плащ-палатки, расстилают их одну на другой и, встав на колени, осторожно перекладывают Климченко.

Они берутся за концы этого нехитрого последнего солдатского ложа и, подняв убитого, медленно несут его в гору, на высоту, до которой он так и не успел добежать.

Мы видим удаляющихся от нас четверых солдат, пятый ждет в стороне, держа в руках автомат лейтенанта. Так они медленно уходят за склон, словно входят землю, за которую он и другие, что лежат в поле, отдали в этот день жизнь.

Последующие титры.

Конец.

[1965 г.]

ДВОЕ В НОЧИ

Киносценарий по повести «Сотников»

Это древняя, как мир, история на тему о том, как один, спасая себя, погубил другого. Может, и не стоило бы вспоминать о ней, будь то заурядное в жизни отступничество, но тут рядом с расчетом и низостью соседствует также высокое понимание своего воинского долга и бескорыстная самоотверженность, о которых несправедливо забыть. Тем более что относятся они к одному из самых трудных и героических времен нашего недавнего прошлого, которому мы обязаны свободой и независимостью своей Родины.

Пролог

Заснеженная лесная чащоба, разлапистые ели. Темень, в которой неярко поблескивает несколько догорающих костерков. Вокруг них в разных позах сидят и лежат партизаны: кто греет руки, кто подкладывает в огонь головешки. Несколько человек скорчившись лежат на лапнике. Изредка слышится кашель, хриплые, простуженные голоса.

У ближнего костерка, который вдруг разгорается ярче других, хлопочет Рыбак. Отстраняясь от дыма и морщась, он подкладывает в огонь остатки валежника. Напротив, покашливая и кутаясь в шинель, лежит, глядя на огонь, Сотников.

Поодаль слышится команда:

— Второй взвод — подъем! Первый взвод — строиться!

— Куда это? — настораживается Сотников.

— Да на шоссейку. Вчера-то с мостом не удалось, сегодня идут, — говорит Рыбак.

— Может, подрубать что добудут. А то уже кишка кишке кукиш кажет, — говорит партизан, который переобувается у костра.

— На шоссе вряд ли добудут. Харчи в другом месте добывать надо, — говорит Рыбак.

— Где они, другие места? Обложили, сволочи, носа не высунешь.

— Обложили, да.

— Второй взвод, строиться! Выходи на просеку! — доносится команда. Несколько силуэтов поднимаются от костров, поправляя оружие, идут на голос команды. Откуда-то из темени появляется человек в кожанке. Это командир

— Рыбак! А ты что, на отдых расположился? Отставить!

— Так только пришли, товарищ командир. В охранении были. А что, тоже на мост?

— Нет, не на мост. Пойдете за продовольствием.

Рыбак заметно оживляется.

— Это другое дело. Только скажите, куда?

— Вот в том-то и дело, куда? — озабоченно говорит командир. — Разве на хутор? Что за болотом? Знаешь?

— А, Кульгаев? Знаю, бывал. Ничего вроде мужик, Кульгай этот.

— Вот и подскочишь. Пять километров. Пять туда да обратно пять, к утру тут будешь.

— Один, что ли?

— Зачем один? Напарника возьмешь. Ну, хотя бы Вдовца, — указывает он на партизана, который переобувается у костра. Тот недовольно оборачивается.

— Так это... Ходил за водой, в болото провалился. Посушиться бы.

Командир оглядывает сидящих.

— Ну, Матюшенков!

— Так пулемет! — поднимает голову Матюшенков, который возится с пулеметом. — Затвор заедает, думал. Исправлю... Хотя я что? Я могу, мое дело маленькое.

— Нет, чини затвор, — говорит командир. — Тогда Сотников! Затвор как, в порядке?

— Затвор в порядке, — говорит Сотников и начинает вставать на ноги. Рыбак говорит:

— Так он приболел. Кашляет.

— Ладно, молчи, — обрывает его Сотников.

— Кашель — не хвороба, — говорит командир. — Пройдет. Так что давайте, не тяните резину. К утру чтоб тут были.

— Что ж, попробуем! — говорит Рыбак и надевает варежки. Сотников закидывает за спину винтовку.

1

В небе сквозь ползущие тени облаков поблескивает тоненький серпик месяца, под ним стынут черные вершины деревьев, еще ниже по лесной целине идут два человека.

Тяжело шагая по снегу, первый в полушубке, шапке, с винтовкой за плечом настороженно вглядывается в серые сумерки леса, вслушивается. Это Рыбак. На повороте дороги он останавливается.

Сотников отстал и кашляет. Одет он явно легковато для зимней дороги — в коротковатой шинели, пилотке, опущенной на уши; руки от стужи прячет в рукава шинели. Шаг его не очень уверенный, шаткий. С заметным усилием он догоняет товарища.

— Ну как? Терпимо? — спрашивает Рыбак.

— Так, — неопределенно отвечает Сотников. — Далеко еще?

— Теперь уже близко.

У Сотникова вдруг прорывается кашель — злой, запущенный, простудный кашель, который минуту сотрясает все его тело. Рыбак озабоченно ждет, лицо его хмурится.

— А ты снегу, снегу возьми. Снег перебивает.

Сотников наклоняется, берет горсть снегу, жует, и кашель в самом деле унимается.

— Черт, привяжется, хоть разорвись, — говорит он, тяжело дыша, и поправляет на плече винтовку.

Рыбак озабоченно хмурится, но молчит, и они идут дальше, по переметенной лесной дороге. Обходят овраг, из которого выбегает по снегу ровная цепочка волчьих следов, дальше они идут по этим следам. Но вот лес кончается, сквозь голый кустарник проглядывает опушка, и Рыбак расслабляет свое настороженное лицо.

— Ничего... Вот придем, отогреемся... Любка там — прямо огонь девка...

— Что? — недослышав, спрашивает сзади Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— Тебе еще девки на уме...

— А что ж! Подрубать бы только...

Сотников, тяжело дыша, говорит на ходу:

— Вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Будто теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится. Неделю пареную рожь лопать...

— Да и рожь уже вышла. Вчера Гронский остатки роздал.

— Ничего. Что-нибудь расстараемся. Не может быть. Уж у дядьки Романа что-нибудь да найдется.

Рыбак прибавляет шаг, Сотников отстает, но Рыбак, не спуская с дороги глаз, идет все быстрее. Возле кустарника они поднимаются на пригорочек, отсюда уже видна крыша сарая, поломанная изгородь. Рыбак торопливо проходит в пролом, огибает сарай. Взгляд его становится все настороженнее, даже испуганнее, наконец на лице отражается замешательство, и он останавливается.

— Вот тебе и хутор!

На том месте, где когда-то был хутор, теперь бугрится под снегом несколько остатков построек, где возвышается темный силуэт печи с обрушенным дымоходом. Хата, хлевы, постройки — все уничтожил огонь, уцелел только сруб колодца да журавль над ним, который тихо раскачивается на ветру.

— Ах, гады, гады!

Сзади на бывшую усадьбу хутора притащился Сотников и тоже застыл на краю двора. Рыбак обошел пожарище, потрогал сапогом сломанную полузасыпанную снегом повозку, ударом ноги отбросил в сторону пустое дырявое ведро.

— Выдал кто-то, — хрипло сказал Сотников.

Он отошел к колодцу и устало прислонился к срубу. Туда же спустя минуту пришел и Рыбак. Сокрушенно помолчав, Рыбак достал из кармана горсть ржи, протянул ее Сотникову.

— Хочешь?

Сотников подставил ладонь, в которую Рыбак отсыпал немного зерен. Оба молча пожевали у колодца.

— Подрубали, называется.

Проглотив последние зерна, Рыбак оценивающе оглядел Сотникова.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников промолчал, только зябко поежился и глубже в рукава засунул озябшие руки.

— Что ты шапки какой не достал? — осуждающе сказал Рыбак. — Разве эта согреет?

Сотников ответил не сразу.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зачем в лесу? В деревне у каждого мужика шапка.

— Что ж, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как. По-хорошему.

— Ладно. Давай, потопали.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Ветер зло подхватил полы Сотникова, тот отвернулся, глубже в воротник втянул голову, и Рыбак на ходу вытащил из-за пазухи мятое вафельное полотенце.

— На, обмотай шею. Все теплее будет.

— Да ладно...

— На, на! Оно знаешь как греет. А то окочуришься на ветру.

Сотников нехотя остановился, зажал между колен винтовку, скрюченными пальцами закутал полотенцем шею.

— Ну во! А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Авось что-нибудь расстараемся. Не может быть...

2

Они идут полем, напрямик, без дорог. Опять Рыбак впереди, он вслушивается и осматривается по сторонам. Сотников, покашливая, бредет сзади. Сильный ветер зло хлещет по его тонким ногам короткими полами шинели.

Проходят редкий кустарничек, и Рыбак останавливается, поджидая товарища.

— Вот лощинку протопаем, а там, за бугром, деревня. Недалеко уже.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Еще с осени все тут облазал.

— Когда у Дубового был?

— Ну. Дубовой — мужик мировой. Был жив, давал немчуре прикурить.

— И ему доставалось.

— Попадало. Как тогда, у Островка. Если бы не ты, был бы мне конец и две палки. Это точно.

— Пожалуй, да. Гляжу, бежит вроде свой, в гимнастерке, а сзади дюжина немцев. Явно живьем норовят взять. Ну я и врезал.

— Хорошо врезал. Молодец! Теперь я тебе вроде жизнью обязан.

— Ладно. Свои люди, как-либо сочтемся.

— Постараемся. Только вот не вовремя ты со своей хворью.

— Может, пройдет.

— Пройдет, конечно. Только бы до жилья дотопать. А то... Такой славный хуторок был! Ах, сволочи, сволочи!..

Пологим ветряным косогором они вышли к дороге, оттопали от снега свои сапоги, и Рыбак показал рукой.

— Вот, узнаешь? Гузаковский маслозаводик-то. Одни головешечки да кирпич.

— Это до меня еще.

— Ах, до тебя. Это мы с группой Лукашкина постарались. В декабре. И мост на Ислянке. В одну ночь — два объекта. Тих!.. Что такое?..

Сквозь ветряную ночь из того направления, куда повернулся Рыбак, донесся крик, оба на дороге замерли. Несколько секунд ничего не было слышно, затем снова долетел невнятный крик и раскатисто громыхнул выстрел. Рыбак повернулся к Сотникову.

— Понял? Полицаи! Шуруют, сволочи. Для великой Германии... Что ж получается? И туда не сунешься? Вот гадство!

Они еще постояли, послушали, и Рыбак предложил:

— А может, давай ложбинкой пройдем. Тут, помнится, еще какая-то деревушка была. Как ты?

— Давай! — односложно согласился Сотников.

Они свернули с дороги на целину и пошли по лощине к кустарнику.

3

Обойдя угол кустарника, Рыбак снова остановился: впереди из ночных сумерек проступили крыши домов, сараи, сады. Всюду было тихо, нигде не пробивалось ни пятнышка света из окон. Вслушавшись, Рыбак встал стороной, задами обошел несколько изб и остановился за углом сарая. Где-то поблизости раздавался стук топора, похоже, рубили дрова.

— Слышь?

Сотников кивнул головой, и они не спеша вышли на тропку, которая привела их к вросшей в землю избушке при одном сарайчике. Рыбак осторожно обогнул угол сарая, перешагнул концы брошенных на снегу жердей. Во дворе женщина неумело рубила дрова. Заслыша чужие шаги, она испуганно обернулась и вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — сказал Рыбак.

— Ой господи-боже, и испужалась же я! Ох господи...

— Хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаев. Был один, так перебрался в местечко. А больше нету.

— Деревня как называется?
— Лясины. Лясины деревня.
Рыбак оглядел двор, сарай, глянул на прикрытую дверь в избу.
— Кто еще дома?
— Так одна ж я.
— И никого больше?
— Никого. Одна вот живу, — пожаловалась тетка.
Рыбак прошелся по двору, заглянул в сарай, в котором ничего не было слышно.
— .Что, пусто?
— Пусто, — подтвердила женщина. — Забрали все чисто.
— Кто забрал?
— Известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться!
— Да!.. — Рыбак в нерешительности сдвинул на затылок шапку, взгляд его упал на полено с зажатым в нем топором. — Что, не расколешь?
— Да вот лихо на него! — вбила, не выдеру. Ни туда, ни сюда.
— А ну дай!
Закинув за спину карабин, Рыбак несколько раз сильно ударил топором, и полено развалилось на две половины. Он расколол еще и половины.
— От спасибо, сынок. Дай тебе бог здоровьичка.
— Спасибом не отделаешься, мамаша. Продукты имеются?
— Продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что — заходите, сварю затирки.
— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.
— Э, где ее взять, скотину.
— А там кто живет? — Рыбак показал через огород. Кажется, там топили, ветер доносил запах дыма и чего-то съестного.
— А Петра Качан. Он теперь староста тут, — простодушно сообщила тетка.
— Да? Здешний староста? Ты слышь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, безучастно стоял над стеной.
— Ну. Поставили старостой.
— Сволочь, да?
— А не сказать. Свой человек. Тутошний.
— А ну, пошли к старосте.

4

Они пролезли под жердь в изгороди, пересекли огород и вошли во двор старосты. Рыбак легко открыл дверь в сени и в темноте нащупал дверь в хату.

В хате тускло горела коптилка, за столом сидел седовласый, но крепкий еще старик в накинутом на плечи полушубке и читал книгу.

— Добрый вечер в хату, — поздоровался Рыбак.

Старик оторвал взгляд от книги, сдержанно ответил. Сзади Сотников неумело пытался закрыть дверь, и Рыбак, обернувшись, привычно прихлопнул ее.

— Ты здесь староста?

— Староста, ну, — ровным, без испуга или подобострастия голосом ответил старик. Рыбак снял с плеча карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу, коли с оружием. Но ежели за водкой, то нету. Всю забрали.

Рыбак переглянулся с Сотниковым.

— Мы не полицаи, чтоб требовать водки.

Староста промолчал, подвинул к краю стола опрокинутую миску с коптилкой.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки, — заговорила вышедшая из-за занавески женщина, очевидно, хозяйка дома. Подхватив скамейку, она поставила ее возле печи. — Тут будет теплее. Наверное же, намерзлись. Мороз такой!

— Можно и присесть, — сказал Рыбак и кивнул Сотникову. — Садись, грейся.

Сотников тотчас опустился на скамейку, прислонился спиной к побеленному боку печи. Рыбак, расстегнув полушубок, прошелся по избе, заглянул за занавеску.

— Там никого, детки, никого нет, — следя за ним взглядом, сказала хозяйка.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет, — печально отозвалась женщина. — Может, вы поели б чего? Наверно ж, голодные. Ведома ж, с мороза да без горячего.

Рыбак потер озябшие руки.

— Может, и поедим? Как думаешь? — с деланной нерешительностью обратился он к Сотникову.

— Вот и хорошо. Я сейчас... Капусточка вот теплая еще. И это... может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда.

Староста, облокотясь на стол, сидел в прежней позе. Над ним в углу над полотенцем темнели три иконы, в простенке висела застекленная рамка с фотографиями. Рыбак подошел к фотографиям.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится, — вздохнул старик. — Что поделаешь.

— И много платят?

— Не спрашивал. И не получал. Своим обхожусь.

Среди нескольких различных фотографий в рамке Рыбак рассмотрел молодого парня в военной форме со значками на гимнастерке.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сын. Толик наш, — ласково подтвердила хозяйка.

— В полиции, наверно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— На фронте. Красноармеец он.

— Так, так, — сказал Рыбак и повернулся к старику. — Опозорил ты сына!

— Опозорил, а как же! — подтвердила хозяйка. — И я ж ему о том твержу каждый день.

— Не твое дело! — прикрикнул на нее старик и повернул лицо к Рыбаку. — А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Да-а, — неопределенно протянул Рыбак.

Хозяйка тем временем накрыла на стол, поставила миску со щами, положила краюшку хлеба.

— Вот, подмацуйтесь немного.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай, садись, — бросил он Сотникову, и тот, едва держась на ногах, пересел к столу.

Он чувствовал себя все хуже, едва превозмогал озноб, все время донимал кашель. Щи показались безвкусными, хотелось покоя, и он скоро положил ложку на стол.

— Почему же ты не ешь? Может, брезгуете нашим? — заговорила хозяйка. — Может, не догодила чем?

— Нет, спасибо. Я не хочу, — тихо сказал Сотников и пересел ближе к печи, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Рыбак удобно остался за столом и, защемив меж колен винтовку, быстро доел щи.

— Так. Хлебушко я приберу. Это на его долю, — кивнул он в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки, — согласилась хозяйка.

Рыбак скосил взгляд в сторону на старосту, который все сидел за столом над книгой.

— Книжки почитываешь?

— Что ж, почитать никогда не вредит...

— Советская или, может, немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Что за библия? Никогда не видал.

Подвинувшись, Рыбак повертел в руках толстую книгу, полистал страницы.

— И плохо, что не видал, — сказал староста. — Бо не мешало и почитать.

Рыбак решительно захлопнул книгу и нахмурился.

— Это уже не твое дело. Не тебе нас учить. Ты — немцам служишь, поэтому для нас враг.

— Это еще как посмотреть, — сказал старик. — Своим я не враг.

Рыбак выбрался из-за стола, расставив ноги, остановился посреди избы.

— Что, может силой заставили? Против воли?

— Зачем силой! Силой тут не заставишь.

— Значит, сам?

— Как сказать. Вроде и так.

Рыбак помедлил, что-то обдумывая, и решительно кивнул головой в сторону двери.

— Так! Пошли!

Вскинув руки, к нему бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты его? Не надо! Пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста тем временем вылез из-за стола, надел в рукава тулуп.

— Замолчи! — сурово приказал он жене, и та враз умолкла. — Что ж, ваша воля. Бейте! Не вы, так другие. Вон, — он коротко кивнул на простенок. — Ставили уже, стреляли.

Рыбак посмотрел на стену, в которой чернели отверстия от пуль.

— Кто стрелял? Наши?

— В тот раз полицаи. Водки требовали.

— Нам водки не надо... Корова есть?

— Есть пока что.

— А ну пошли.

Староста надел снятую с гвоздя шапку, Рыбак закинул за плечо карабин и кивнул Сотникову:

— Погоди пока.

Вдвоем они вышли из хаты.

5

Как только дверь за ними захлопнулась, хозяйка метнулась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? За что? Ой, господи!

— Назад! — хрипло приказал Сотников, вытягивая поперек ногу.

Хозяйка отпрянула, все всхлипывая, прислушиваясь к звукам извне. Сотников сидел, чувствуя себя очень скверно.

— Сыночек, дай же я выйду. Дай гляну, что они там...

— Нечего глядеть.

— Он же его застрелит.

— Надо было раньше о том думать.

— Сыночек, разве ж я не говорила. Разве не просила! На какое же лихо ему было браться. Пусть бы еще кто. Но хорошие сами не хотели, а недобрых люди боялись.

— А его не боятся?

— Ну что ты, сынок! Он же тутошний, деревенский, его же тут все знают. Это ж как получилось! Пришел приказ: старост в район вызывают. А у нас никакого старосты. Вот мужики и упросили. Говорят: ты в ту войну у них в плену был, норов их знаешь. А то еще Будилу поставят — беда будет.

— А с ним — рай? Не беда?

— Сыночек, всякое бывает. С него тоже ведь требуют. То полицаи, то немцы. Каждый божий день грозятся, кричат, наганом в лоб тычут, к стенке вон ставят...

Всегда и на все есть причины. Причины на измену тоже. И на нее оправдание. Каждое преступление ищет себе оправдание. Но в этой жестокой борьбе с фашизмом Сотников не хотел принимать во внимание никакие причины и никакие оправдания, потому что надо было победить вопреки всем причинам и всем оправданиям.

Сотников попытался подняться, но его так повело по хате, что он едва не упал. Хозяйка поддержала его, он подобрал с пола выпавшую из рук винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной. А божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо... Подожди, я зелья заварю скоренько.

— Не беспокойтесь! Ничего не надо.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Если, может, некогда, то я дам малинки сухой. Может, заваришь где да попьешь. А еще вот зельечка...

Она шмыгнула в запечье, вынесла ему что-то в мешочке, но он отстранил ее руку.

— Ничего не надо.

— Это как же не надо? Ты же больной...

— Не хватало еще у немецкого прислужника лечиться.

Женщина умолкла, на ее немолодом лице отразились укор и страдание.

— Разве он прислужник! Боже, боже!

В это время застучала дверь, и на пороге появился староста.

— Там товарищ зовет.

Сотников встал и, пошатываясь, вышел на крыльцо. Во дворе стоял Рыбак, у его ног на снегу лежала черная тушка овцы.

— Так. Ты иди. И прикрой дверь, — сказал Рыбак вышедшему следом старосте. Тот послушно скрылся в сенях, плотно закрыв за собой дверь.

— Что, может, прихлопнем? — тихо сказал Рыбак. Сотников махнул рукой.

— А, черт с ним! Переполох поднимать...

Сильным рывком Рыбак вскинул на плечо овцу и пошагал за угол сарая.

Сотников потащился следом.

6

По прежним своим следам они перешли огороды. Обогнули гумно, перешли через изгородь. Ободренный удачей, Рыбак живо зашагал с ношей на плече. Сзади, отставая, шел Сотников.

Выйдя в поле, Рыбак сбросил на снег овцу, снял с плеча карабин. Подождал, пока его догонит напарник.

— Ну как?

— Да так. В стороны водит. Как пьяного.

Рыбак всмотрелся в товарища.

— Слушай, какого черта ты шел! Те двое отказались, а ты, больной, — не отказался.

— Потому и не отказался, что те отказались.

Рыбак, устало дыша, посмотрел в ночь.

— Чудак! Ну ладно. Потопали. Теперь нам перейти поле, речку, а там и лес. Там мы, считай, дома... Стой! Что это?

Что-то послышалось в ветряной ночи, Рыбак вслушался, а потом и различил какое-то движение вдали. Похоже, по недалекой дороге быстро ехало двое саней.

— Вот черт! А ну скорее! Бегом!

Рыбак забросил за спину ношу и с места пустился в поле. За ним шатко потрусил Сотников.

Они шли, бежали, едва справляясь с дыханием, и когда, казалось, уже вот-вот должны были скрыться за пригорочком, с дороги донеслось требовательное:

— Эй-й! А ну стой!

— Бегом! — негромко скомандовал Рыбак и еще быстрее припустил по снегу.

— Стой! Будем стрелять! Стой!.. — донеслось им вдогон.

Не оглядываясь, с овцой на плечах, Рыбак бежал. Спустился с пригорка, перебежал лощину, достиг кустарника. Сзади началась стрельба, Сотникова поблизости не было.

Весь мокрый от пота, Рыбак забежал в кустарник. Нерешительно прислушиваясь к выстрелам сзади, минуту пробирался в кустарнике. Но вот выстрелы затихли, и это озадачило Рыбака. Держа на плечах овцу, он остановился, и что-то противоречивое отразилось не его лице. Потом опять побежал, но когда сзади донесся звук выстрела, он остановился. После следующего выстрела он бросил на снег овцу и быстро пошел по своему следу назад.

7

Сотников вяло бежал с пригорка, далеко отстав от Рыбака, который уже был в низинке. Но вот он упал в снег, оглянулся. Сзади догоняли, голоса в сумерках раздавались совсем близко, и он выстрелил.

Потом, опираясь на винтовку, он встали снова, шатаясь, побежал по склону вниз. Впереди уже стал виден кустарник. Но еще не добежав до него, Сотников вздрогнул: сзади разом прогремели три выстрела, и он почувствовал, что ранен.

Несколько шагов он еще бежал, сгоряча не чувствуя боли, но нога все тяжелела, и наконец он рухнул на снег.

Его настигали, сзади опять раздались голоса, и он, дослав в патронник новый патрон, выстрелил. Они там, на склоне, остановились и начали стрельбу по нем. Он лежал, припав щекою к прикладу. Одна пуля ударила ему под локоть, обдав лицо снегом, другая прошла над самой головой. Он ждал.

Похоже, они начали окружать его: на пригорке мелькнула тень, за ней другая. Он перезарядил винтовку и снова выстрелил. Но патроны надо было беречь, у него оставалось всего две обоймы.

Шло время, он был обложен, истекал кровью и чувствовал, что замерзает. Но полицаи все медлили. Тогда, испугавшись, что они его окружат и возьмут живым, он отложил винтовку и обеими руками вцепился в бурок. Он долго с огромными усилиями тащил его, мучаясь от боли. Наконец после шестой попытки ему удалось разуть здоровую ногу. Он отбросил бурок и примерился к винтовке. Стоило пальцем ноги нажать спуск, и все будет кончено.

Он не боялся умереть в бою, но он страшился своей беспомощности. Самое худшее в его положении — живым попасть в руки врагов. Но теперь живым они его не возьмут. У него было две обоймы патронов, девять пуль он пошлет по немцам, десятую пустит в себя.

Но полицаи где-то запропали в ночи. Начала мерзнуть босая нога. И вдруг он увидел, как кто-то на пригорке пошел вверх, к дороге. За ним следующий.

Сотников испугался: они оставляли его. Но долго ли он выдержит на этом морозе в поле? Он попытался сесть, но тотчас с пригорка раздался выстрел, значит, там кто-то остался.

Все-таки у него появилась надежда. Лежа на боку, он дотянулся до бурка и попытался снова надеть его на ногу. Это было мучительно трудно. По нем еще выстрелили. Кое-как он натянул бурок. И тогда услышал:

— Сотников... А, Сотников...

Это его поразило и обрадовало, лежа, он обернулся: из сумерек по снегу к нему полз Рыбак, и он, прихватив винтовку, начал разворачиваться, чтобы подползти к другу.

8

Они долго ползли к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Когда Сотников выбивался из сил, Рыбак разворачивался и волок его за собой. С пригорка раза два прозвучали выстрелы, но полицаи их не преследовали.

Добравшись до ольшаника, они обессиленно залегли между кочек. Рыбак был весь в поту, Сотников, откинувшись на локте, лежал на боку.

— Ну как ты? — спросил Рыбак.

— Плохо, — едва слышно ответил Сотников.

— Куда попали?

— В ногу.

— Черт! Угораздило же!..

Рыбак завозился, полотенцем стал перетягивать ногу Сотникова выше колена, и тот замычал от боли.

—Терпи!.. Идти сможешь?

— Попробую.

Сотников стал подниматься, Рыбак нетерпеливо подхватил его под руку.

— А ну!

— Подожди. Сам, может...

Держась за товарища, Сотников сделал два шага, потом еще и еще. Это их ободрило, и они полезли в негустой здесь, занесенный снегом кустарник.

За кустарником оказался довольно высокий пригорок, они едва одолели его крутой склон и, взобравшись наверх, попадали без сил.

— Патроны остались? — едва справляясь с дыханием, спросил Рыбак.

— Одна обойма.

— Если что, будем отбиваться.

Сотников молча лежал рядом, подавляя стоны.

— Очень болит?

— Болит.

— Что делать, — сказал Рыбак, оглянувшись. — Сейчас пойдем. Куда только идти? Не пойму...

Он осмотрелся, припоминая дорогу, потом встал, повесил на плечо обе винтовки.

— Ну, давай! Как-нибудь...

Сотников взял свою винтовку и, опираясь на нее, помалу пошел по снежному полю.

Они перешли пригорок, лощину, начали взбираться на косогор. Сотников едва тащился и сильно отставал. Однажды упал и закашлялся. Рыбак впереди остановился.

— Что, плохо?

— Хуже некуда.

— Так. Тогда подожди.

Оставив товарища, Рыбак взобрался на пригорок, прошел немного и вдруг увидел дорогу. Дорога им очень нужна была в этом поле — только она могла скрыть их следы. И Рыбак бегом вернулся к товарищу.

— Слышь? Там дорога...

Сотников поднял маленькую, в пилотке, голову.

— Дорога?

— Да, дорога. Понимаешь, на ней запутаем след. А потом сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть до утра.

Сотников молча поднялся, непослушными пальцами обхватил ложе винтовки.

Они медленно побрели к дороге.

Рыбак тревожно оглядывался в сумерках, его беспокоил рассвет. В небе медленно гасли звезды, светлело, в поле стало видать далеко.

— От черт! Светает! — сказал Рыбак. — Неужели не успеем до леса?..

— Не успеем, — согласился Сотников.

— Давай скорее. Вон там вроде лесок, спрячемся.

И они торопливо зашагали в направлении крохотной рощицы, к которой вела дорога.

9

Однако они еще не дошли до рощи, как Рыбак впереди остановился и выругался.

— Твое-мое! Это ж кладбище.

То, что они приняли за рощу, было небольшим сосняком на кладбище. В свете наступившего утра стали видны кресты, могильные холмы, ограды. Из-за сосен проглядывали крыши деревенских хат; ветер косо относил в небо дым из печной трубы.

— Ну что делать?

— Пошли. Что же делать, — сказал Сотников, и они поплелись по дороге.

Никого не встретив, они подошли к кладбищу и свернули с дороги. Обошли свежий холмик детской могилки, прошли между оград, и Сотников рухнул в снег возле большой старой сосны. Чувствовал он себя скверно, в голове кружилось, он смежил веки и сидел так, безмолвно и почти бездумно.

Рыбак сидел подле и настороженно оглядывался, прячась за комлем сосны. Он думал, что предпринять дальше.

— Слушай, ты подожди тут. А я подскочу. Вон хата близко. В случае чего — перепрячемся.

Сотников раскрыл и закрыл глаза, молча кивнул головой. Рыбак встал и осторожно пошел между могильных оград к деревне.

Сотников остался один. Чтобы удобнее устроить ногу, ухватился за поперечину ограды, и та, тихо хрустнув, сломалась. Могилка была старая, заброшенная; струхлевшая оградка доживала свой век.

Все живое в мире изо всех сил отстаивает свою жизнь. Для каждого самое дорогое — жизнь. Когда-нибудь в совершенном

человеческом обществе она станет мерой и ценою всего. Каждая жизнь, являясь главным смыслом живущего, станет не меньшей ценностью для всего общества в целом, силой и смыслом всех. А пока... А пока вот надо умирать. Жертвовать собой для других. Потому что без жертвенной смерти одних невозможна жизнь для всех.

Медленно замерзая, Сотников все нетерпеливее поглядывал в ту сторону, где исчез Рыбак. Там же он и появился. Сотников дождался, когда тот обогнул угол кладбища и приблизился к нему со стороны поля.

— Кажись, порядок, — еще издали заговорил Рыбак. — Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, никого будто...

— Ну?..

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Наступила неловкая пауза, которую оборвал Сотников.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так будет лучше. А мне надо. Только где тот чертов лес — не пойму.

— Спросить.

— Ну. А ты... Потерпи пока. Потом, может, переправим куда. Понадежнее.

— Ладно, — помрачнев с лица, согласился Сотников и начал вставать. — Обо мне какой разговор. За себя смотри...

10

Они взошли на крыльцо, и Рыбак, вынув из пробоя щепку, пропустил напарника в сени. Тут было сумрачно, стояли какие-то сундуки, кадки. В углу виднелись жернова и вверху чернел лаз на чердак.

Рыбак открыл дверь в избу. Сотников перелез через высокий порог и сразу опустился на скамью возле печи. В углу на полу стояли веник, горшки, ухваты. Рыбак отстранил занавеску и заглянул в другую комнату.

— Вы одни тут?

— Ну, — отозвался детский голос.

— А где отец?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит, на хлеб зарабатывает. Нас же четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят. Ты чем покормить нас найдешь?

— Бульбу мамка утром варила.

Из-за занавески на кухню выскользнула черненькая быстроглазая девочка лет двенадцати, окинула их любопытным взглядом, направилась к печи. Сотников подобрал свою бедолагу-ногу.

Девочка стала собирать на стол: вытряхнула из чугунка в миску картошку, достала огурцов. Потом отошла к печи и со сдержанным любопытством стала наблюдать за гостями.

Рыбак сразу подался за стол.

— А хлеба что — нет?

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Помедлив, Рыбак достал из-за пазухи прихваченный у старосты кусок хлеба, отломил горбушку.

— На вот, угощайся.

Девочка взяла хлеб, но есть не стала, отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— Ну, подрубаем? — сказал Рыбак, но Сотников покачал головой.

— Ешь, я не буду.

— Не будешь? Плохо твое дело тогда.

— Хуже некуда.

— Да. И давно мать молотит? — спросил Рыбак девочку.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Понятно. Ты старшая?

— Ага. Я большая. А Катя с Леником еще малые.

— А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Геленке ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников съел пару картошек, и его начал донимать кашель. Откашлявшись, он откинулся на скамье. Винтовку поставил у изголовья. Рыбак смачно хрустел огурцом и все допрашивал девочку.

— А мать твою как звать?

— Демчиха.

— Ага. Значит, папка — Демьян. Так?

— Ну. А еще мамку Авгиньей зовут.

— Понятно. А тебя как зовут?

— Меня Гэлька. Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать. Пацанка еще.

— А вот и знаю, что партизаны. Вон звездочка на шапке.

— Ну и хорошо. Знаешь, так и молчи.

— А того дядю, наверно, ранили? Ага?

— Ранили или нет, о том ни гу-гу. Поняла?

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно закричала детвора за перегородкой.

Рыбак, обернувшись, бросил взгляд в окно — через огород по тропке шла немолодая женщина в теплом платке, кожушке, длинной юбке. Вскоре она скрылась за углом, стукнула дверь в сенях.

За столом приподнялся Сотников, Рыбак подвинулся на конец скамьи. Женщина не успела еще открыть дверь, как из-за перегородки навстречу ей высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а босой, лет пяти мальчик в дырявых штанишках бросился к порогу.

— Мамка, а у нас палтизаны!

Женщина бросила на них недоумевающий, не очень довольный взгляд.

— Здравствуй, хозяйка, — приветливо поздоровался Рыбак.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя ребенка. — Сидите, значит.

— Да вот как видишь. Тебя ждем.

— Это зачем я понадобилась вам?

Она стала раздеваться — сняла рукавицы, кожушок, повесила на шест платок.

— Что вам от меня надо? Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотели?

— Мы не немцы.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она девочке и стала прибирать возле печи.

За столом начал кашлять Сотников, и она покосилась на него.

— Напрасно, тетка. Мы к тебе по-хорошему, а ты ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Гэля, возьми Леника, сказала. Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотреть хочу.

— Я те посмотрю! Партизаны!

— А где твой Демка? — спросил вдруг Рыбак.

Демчиха выпрямилась, почти испуганно взглянула на него.

— А вы откуда знаете Демку?

— Знаем.

— Что же тогда спрашиваете. Вам лучше знать, чем теперь мужики занимаются.

— Да... Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...

Она подозрительно взглянула на Сотникова, который лежал на скамье.

— Видишь, плохо ему, — сказал Рыбак, подходя к товарищу.

Сотников задвигался, попытался подняться, но только сжал зубы от боли, и Рыбак успокоил его:

— Лежи, лежи. Не дергайся. Тебя же не гонят.

— Подложить под голову надо, — смягчаясь, сказала Демчиха и вынесла из-за перегородки старую ватную телогрейку. — На, все мягче будет. Больной, — уже другим тоном, спокойнее, сказала Демчиха. — Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет, — сказал Рыбак. — Ничего страшного.

— Ну, конечно, вам все не страшно. И стреляют — не страшно, и что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, напиться, спотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее, — сквозь кашель сказал Сотников.

— Нам бы теплой водички, рану обмыть, — попросил Рыбак. — Ранили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон под Староселье сегодня всю ночь бахали. Говорят, одного полицая подстрелили.

— Кто говорит?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то точно. Бабы все знают.

Она подала в чугунке воду, Сотников сжал зубы, и Рыбак стащил с его ноги бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников выдавил:

— Я сам.

Он сдвинул к коленям брюки, среди подсохших кровоподтеков на бедре была небольшая пулевая ранка. Рыбак осмотрел ее и сказал:

— Слепое. Придется доставать пулю.

— Ладно, ты же не достанешь, — начал раздражаться Сотников. — Завязывай.

— Ничего. Что-то придумаем. Хозяюшка, может, перевязать чем найдется?

Демчиха принесла лоскут чистой материи, которым Рыбак перевязал ногу.

— Ну вот и все. Хозяюшка! — позвал он, ополаскивая в чугунке руки.

— Вижу, не слепая.

— А что дальше, вот загвоздка, — Рыбак сдвинул на затылок шапку.

— А я знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

В их отношениях наступила заминка, Сотников притих на скамье, Рыбак озабоченно глянул в окно.

— Немцы!

Он отпрянул к порогу, за столом подхватился Сотников, зашарил подле рукой в поисках винтовки. Демчиха, побледнев, тоже метнулась к окну.

— Сюда идут! Трое...

Несколько немцев, не спеша, шли по тропинке с кладбища к дому.

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак! — паническим шепотом подсказала Демчиха.

Рыбак выскочил в сени, вспрыгнул на жернова, в черный чердачный лаз сунул винтовки — свою и Сотникова. Потом встащил на жернова товарища. Взобраться на чердак стоило немалых усилий, особенно Сотникову, но другого выхода у них не было. Снизу отчаянно помогала Демчиха, и они в конце концов оказались под крышей.

Здесь царил полумрак, валялась всякая рухлядь, на жердке висели веники, и под сносом соломенной крыши лежала куча пакли. Завидев ее, Рыбак толкнул туда Сотникова, потом залез сам, завалил себя и его паклей.

Кажется, они спрятались вовремя. Снизу доносились голоса, немцы уже вошли в сени.

— Привет, фрава. Как жисть?

— Что молчишь? Зови в гости.

— Пусть вас на кладбище зовут, гостей этаких, — отвечала Демчиха.

— Эге, ты что — недовольна?

— Довольна. Радуюсь.

— То-то! Водка есть?

— А у меня лавка, что ли?

— Лавка не лавка — гони пару колбас!

— Еще чего захотели. Подсвинка забрали, а теперь колбас им.

— Вот ты нас как встречаешь! Партизан так, небось, сметанкой бы кормила.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это проверим.

Их шаги гулко раздавались в сенях, что-то там загремело, упало на пол. Сотников вдруг содрогнулся, едва сдерживая кашель, и Рыбак испуганно покосился на него.

— Где хозяин? В Московщине? — послышалось снизу. Они уже прошли в хату.

— А мне откуда знать.

— Не знаешь. Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает. А ну, врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — закричала Демчиха. — Чтоб вам околеть до вечера. Чтоб вам глаза ворон повыклевал.

— Ах, вот как! Стась!!

— Яволь, гер Будила!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. В избе все враз смолкли.

— Кто там? — раздалось внизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная. Ну и кашляет, — испуганно заговорила Демчиха.

— Стась! — властно скомандовал свирепый бас Будилы.

Стукнула дверь, полицаи выскочили в сени, несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались под крышей.

— Лестницу сюда!

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились! — плакала Демчиха.

Стук, скрежет каблуков по бревнам и совсем близко — запыхавшийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать! Лезь, я приказываю, туды-т твою мать.

— Эй, кто там? Вылазь, а то гранатой влуплю! — пригрозил Стась.

— Так он тебе и вылезет! Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырани винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка. На автомат. Автоматом чесани! — ярился Будила.

Рыбак вздрогнул под паклей, напряженно уставился в Сотникова.

Все! Пропали...

Сотников, весь сжавшись от потуги сдержать рвущийся кашель, с мукой на лице глядел на стреху, где трепетала на сквозняке какая-то соломинка.

Пусть убивает! Только бы не полез!.. Только бы не обнаружил их тут — и не погубил детей и эту несчастную женщину.

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — это полицай взвел автомат. И тогда, ужаснувшись, Рыбак отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

С опаской вылезая из-под пакли, Рыбак поднял руки, сзади поднимался Сотников. Полицай взлез на чердак, наставил на них автомат.

— А, попались, голубчики! В душу вашу мать! — почти ласковой бранью приветствовал он пленников.

11

С поднятыми руками они стояли возле дымохода, и Сотников кашлял — теперь можно было не сдерживаться. Полицаи перетрясли паклю, забрали винтовки. Внизу плакала Демчиха.

Нелепый проклятый случай — он погубил обоих и, наверное, и эту безвинную женщину. Почему они забрались сюда, почему зашли в эту деревню, почему не погибли в поле, когда их было лишь двое?

С грубыми окриками их толкнули вниз, к лестнице. Рыбак слез быстро, а Сотников задержался, сползая на руках, и старший полицай Будила, гориллоподобный детина в черной шинели, так рванул его за плечо, что он полетел вместе с лестницей на пол.

— Что вы делаете, злодеи! Он же ранен, или вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Демчиха.

Будила важно повернулся к молодому полицаю, что был в военном бушлате и кубанке, кивком головы указал на Демчиху.

— Стась!

Стась выдернул из винтовки шомпол и без размаха коротко и больно ударил им женщину.

— Сволочь! — теряя самообладание, хрипло выкрикнул Сотников. — За что? Женщину-то за что?

— Будет знать за что! — ухмыльнулся Стась, вдевая шомпол в винтовку.

В сенях их обыскали, выгребли все из карманов и связали ремнями руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди. Потом усадили обоих на земляной пол сеней. В дверях с винтовкой на ремне стал Стась. Два полицая и немец шарили в хате, третий побежал за санями.

Стась, прислонясь к дверному косяку, насмешливо оглядел пленников и начал лускать тыквенные семечки.

— Ха, за паклю залезли! Как тараканы! Но мы выкурили, ха! А теперь повесим. Немножко покачаться. Ха! — и вдруг совершенно другим голосом он жестко выругался. — Такие-сякие немазаные! Ходоронка ухлопали. За Ходоронка мы вам размотаем кишки.

— Не знаем мы никакого Ходоронка, — сказал Рыбак.

— Не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Ребра попереломаем — признаетесь.

— А не опасаетесь? — с вызовом бросил Сотников.

— Это чего нам опасаться?

— Что самим хребты попереломают!

— Не переломают — за нас Германия, чмур! А за вас кто? Кучка бандитов, в бога душу их мать! — злобно закончил Стась.

Во двор пригнали двое саней, появились еще немцы, Стась отшатнулся в сторону, и на пороге встал толстый немецкий фельдфебель в фуражке с черными наушниками. Окинув пленников взглядом, он крикнул:

— Аллес вэк!

Немцы и полицаи схватили партизан, вывели во двор. Из хаты вытащили Демчиху.

— Куда, куда вы меня толкаете? На кого я деток своих оставлю? Гады вы!

— Живо, сказано! Живо!

Полицай сильно толкнул женщину, и она упала.

— Звери, немецкие ублюдки! Куда вы меня забираете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гелечка, как же ты!..

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты, погань несчастная! Ты еще меня упрекаешь! Что я вам сделала?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты. А те, как люди: зашли и вышли. Что, я знала, что они на чердак залезли? Фашисты проклятые!

— Швейг! — гаркнул фельдфебель, и старший полицай подскочил к женщине.

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили!

— Так, Стась! Сюда.

Они навалились на женщину, скрутили ей руки, всадили в рот рукавицу. Демчиха умолкла.

— Палачи! — сказал Сотников. — Изверги и палачи!

— Ты, заступник! Закрой нюхалку, а то тоже портянку сожрешь! — вызверился Стась.

— Изверги и палачи! — повторил Сотников.

— Ладно, молчи, — одернул его Рыбак.

— Женщина ни при чем, запомни, — громко сказал Сотников. — Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать, — осклабился Стась. — Вот попадешь к Будиле, кровью похаркаешь, тогда иначе запоешь.

Двое саней выехали со двора и по той самой дороге возле кладбища быстро поехали в районный центр, в полицию.

12

Местечковой улицей они подъезжали к зданию СД и полиции. В голых ветвях деревьев, нахохлившись, сидели воробьи, кружилось воронье над березами, шел дым из труб. Женщины, несшие воду из колодца, остановились, кто-то испуганно глядел из окна.

Возле широких ворот часовой взял на ремень винтовку, толкнул ногой дверь.

— Привезли?

— А то как же? — хвастливо отозвался Стась. — Мы да кабы не привезли. А ну принимай кроликов.

Сани въехали в очищенный от снега двор районного СД и полиции. Из задних саней выскочил фельдфебель, выбрались немцы. Полицаи начали поднимать арестантов.

Кое-как, превозмогая слабость и боль, Сотников выбрался из саней и очутился лицом к лицу с Демчихой. Вдруг связанными руками он дернул из ее рта кляп.

— Ты что! Ты что, чмур! — взревел Будила и так ударил его сзади, что он вытянулся на снегу. — В штубу его!

Услужливый Стась подхватил его со двора и, не дав опомниться, поволок в помещение. В какой-то пустой комнате он швырнул его на затоптанный пол и удалился.

Превозмогая боль, Сотников огляделся. На обоих окнах были прочные железные решетки, в углу стоял стол с креслом за ним, посередине торчал легонький гнутый стульчик. Больше здесь никого не было, и, не сдержавшись, Сотников простонал, громко и протяжно.

Ну вот, кажется, он и дошел до того рубежа, за которым хода уже не будет. Тут ему придется сдать свой последний экзамен за жизнь, показать, на что он способен. Конечно, ре-

шимости у него хватало, но вот как быть, если не хватит выдержки и простой физической силы?

Сотников начал кашлять, никак не в состоянии откашляться, и не заметил, как в комнату вошел человек. Он только увидел рядом его тщательно начищенные сапоги и, кашляя, поднял голову.

Перед ним стоял интеллигентного вида мужчина при галстуке, в пиджаке, бриджах и сапогах, волосы его были аккуратно расчесаны на пробор, под носом топорщились короткие усики.

— Кто это вас? Гаманюк? Ах, подлец! А ну, Гаманюка ко мне! — крикнул он в коридор, и тотчас на пороге, лихо щелкнув каблуками, появился Стась.

— Слушаю!

— Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — вытянулся Стась.

— Вас что, не инструктировали? Не разъясняли, как по германским законам надлежит относиться к пленным?

— Виноват! Исправлюсь! Виноват!

— Немецкие законы обеспечивают гуманное отношение ко всем, кто...

— Напрасно стараетесь! — выдавил Сотников.

— Что вы сказали?

— Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский помедлил, затем достал нож и разрезал ремень.

— Что еще?

— Пить.

— Гаманюк, воды!

Гаманюк выскочил в коридор, полицай кивнул на стул.

— Можете сесть.

Сотников поднялся и боком, отставив раненую ногу, сел на стул. Тем временем Гаманюк принес кружку воды, и он ее всю выпил. Полицейский прошел за стол.

— Ну, познакомимся. Моя фамилия Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим.

— Не возражаю. Пусть Иванов. Из какого отряда?

— А вы думаете, я вам скажу правду? — помедлив, ответил Сотников.

— Скажешь, — убежденно произнес Портнов, поигрывая прессом. — Какое имели задание? Куда шли? Как давно агентом у вас эта женщина?

— Никакой она не агент. Мы случайно зашли в ее избу, забрались на чердак.

— Ну конечно! Случайно! Так все говорят. А к лесиновскому старосте вы тоже забрели случайно?

— Да, случайно, — после паузы ответил Сотников.

— Не оригинально! Вы же умный человек, а пытаетесь выехать на такой примитивной лжи. Придумайте что похитрее. Это не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, он только жалел несчастную, ни в чем не повинную Демчиху, которую он должен был выручить.

— С нами вы можете поступить, как вам угодно. Но не трогайте женщину. Просто ее изба оказалась крайней. А я не смог дальше идти.

— Где ранен?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет, — глядя в упор, объявил следователь. — Не в лесу, а на большаке этой ночью.

— А если я, например, подтвержу, вы отпустите женщину? Вы можете обещать?

Следователь поднялся за столом.

— Я вам ничего обещать не обязан. Я задаю вопросы, а вы обязаны на них отвечать.

Сотников замолчал.

Широко распахнулась дверь, и в канцелярию быстрым шагом вошел шеф СД и полиции безопасности. Это худосочный, болезненного вида немец в черных перчатках, по обе стороны от него застыли два немецких солдата в жандармской форме.

Портнов, вытянувшись, отдал честь по-нацистски.

Шеф, небрежно ответив, сложенной плетью поднял подбородок Сотникова, который в упор, ненавидяще глядел на немца.

— Партизант?

— Бандит, гер обер-лейтенант, — шагнул вперед Портнов.

— Признавальсь? А?

— Не очень, господин шеф. Главное скрывает.

— Карошо допросить, гер Портноф. Корошо, крепко! Ви умель. Узнайт секрет — получиль медаль, плёхо узналь — получил, как ето... Ди шлинге — айн петля. Понималь, гер Портноф?

— Понимаю, господин шеф.

— Карошо помниль?
— Хорошо запомнил.
— Ди шлинге — петля. Таков слюжба. Пардон.
— Я честно. Я постараюсь.
— Гут! — сказал немец и быстро вышел в дверь. За ним исчезли жандармы. Портнов прошелся по канцелярии.
— Слыхал? Петлей угрожает. Но я не намерен за тебя пропадать.
— Каждый пропадает за себя, — сказал Сотников.
— Ты мне брось эту агитацию! — повысил голос Портнов. — Я уговаривать не намерен. Если мне петля, то тебе будет хуже. Итак, назовите отряд! Его командира. Связных. Количественный состав. Место базирования.
— Не много ли вы от меня хотите?
— Куда шли?
— Мы заблудились.
— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.
— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.
Морщинистое лицо следователя зло передернулось.
— Жить хочешь?
— А что, может, помилуете?
— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем. Расстреляем. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем все кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко жалели.
— Не дождетесь. Не выдам.
— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Ну как?
Сотникову становилось плохо. Лицо его покрывалось испариной. Он удрученно молчал.
Ясно, это не пустая угроза — они это могут. Гитлер освободил их от совести, человечности, элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же оставался человеком, обремененным многими обязанностями перед людьми и страной, возможности изворачиваться у него были совсем малые. Да, их силы в этом поединке оказались неравными, все преимущества были на стороне следователя. Но у него оставалось последнее — это его решимость, с которой и надлежало стоять за себя.
Между тем Портнов ждал. В руке он держал пресс. Глаза его были устремлены в Сотникова.
— Ну?
— Нет!

— Подумай, а то пожалеешь скоро. На коленях проситься будешь.

— Никогда!

— Мертвого поставим. Если живой не станешь.

— Мертвого возможно. Живого нет.

— Ах так? Будилу — ко мне!

В коридоре звучно раздалось, как эхо: «Будилу к господину следователю», и Сотников уронил голову.

Минуту спустя дверь отворилась, и на пороге появился уже знакомый ему Будила. Войдя, он плотоядно осклабился при виде очередной жертвы и протянул к ней волосатую руку.

— А ну!

Сотников продолжал сидеть, и Будила сделал решительный жест в его сторону. Огромная рука палача сгребла пленника за ворот шинели, оторвала от стула.

— А ну, ходь ко мне! Ужо я перемацаю твои косточки, большевистская гнида!

13

Тем временем Рыбака и Демчиху повели по ступенькам в подвал.

Прежде чем затолкать их туда, Рыбаку развязали руки, вынули ремешок из брюк. Потом втолкнули в какую-то мрачную каморку с зарешеченым окошком, захлопнули дверь. Он в нерешительности остановился. Сзади еще доносился разговор полицаев.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня.

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка осталась.

Рыбак, несколько пообвыкнув в темноте, рассмотрел человека, который, возясь, устраивался в углу. Заметив его нерешительность, тот сказал:

— Садись. Чего стоять. Стоять уже нечего.

Рыбак удивился: оказывается, это был их ночной знакомый староста из Лесин.

— И ты тут? — вырвалось у Рыбака.

— Да вот, попал. Овцу-то опознали и...

— А при чем тут мы? Мы же ее забрали силой.

Староста прислонился спиной к стене.

— Как сказать... Ежели забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что! Теперь уже все равно.

Несколько озадаченный этим соседством Рыбак, как был — в полушубке, опустился под стену. В камере воцарилась тишина.

Что же делать? Черт возьми, что же делать? Может, сговориться с этим Петром и отрицать заход в Лесины? Пусть бы он сказал, что заходили другие, не они. Если разобраться, то старосте действительно уже все равно, а они, может быть, еще и вывернутся.

— Говорили, кто-то полицая ночью поранил. Неизвестно, выживет ли, — сказал Петр.

— Тебя уже брали наверх? — спросил Рыбак.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Ну и как? Здорово били?

— А за что меня бить? Бьют того, кто скрывает что-либо. А мне что скрывать?

Они помолчали.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый, как черт. Все знает, — озабоченно сказал Петр.

— Но ты же вывернулся.

— А мне что выворачиваться? Вины за мной никакой нет. А что про овцу не побег докладывать, так стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а, — вздохнул Рыбак. — Значит, кокнут. Это у них просто — пособничество партизанам.

— Что ж, значит, судьба. Куда денешься.

Нет, надо бороться! А что если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, направить следствие по ложному пути. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им, возможно, и поможет.

Вдруг староста в углу заворошился, брезгливо двинул ногой: «Кыш, вы, холеры!», и Рыбак увидел под стеной крысу.

— Развелось проклятых, и на человека не смотрят, — сказал Петр.

— Крысам теперь только и плодиться.

За дверью послышался топот сапог, звякнул засов, открылась дверь, и камеру высветило солнечным светом. На пороге стоял Стась.

— Ну, где цвай бандит? К следователю.

Рыбак с упавшим сердцем поднялся, вышел, подождал, пока полицай закрыл дверь. Потом впереди Стася взошел по ступенькам.

— Вот полушубочек и скинешь, — с силой хлопнул его по плечу Стась. — А ничего полушубочек-то, ей-богу. И сапоги. Ну, сапоги-то будут мои. Какой номер?

— Тридцать девятый, — солгал Рыбак.

— Маловаты, холера! Ну все равно на пропой сгодятся. Эй ты, шире шаг, в рот тебе оглоблю!

Они прошли коридор, и Стась деликатно постучал в дверь.

— Можно?

14

Рыбак переступил порог, и первое, что ему бросилось в глаза, была черного цвета голландка напротив от входа. За столом у окна стоял Портнов. Лицо его не предвещало хорошего.

— Фамилия?

— Рыбак, — слегка замявшись, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь отошел от окна и сел в кресло. Держал он себя настороженно, но не так угрожающе, как это показалось сначала.

— Садись!

Рыбак осторожно опустился на жиденький стульчик.

— Жить хочешь?

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно...

— Так. Куда шли?

— Шли за продуктами, — подумав, ответил Рыбак. — Надо было пополнить припасы.

— Так. Хорошо. Проверим. Куда шли?

— На хутор... На хутор шли, а он оказался спаленный. Ну и пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Да этот, Кульгаев или как его. Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. А Кульгай и все кульгаята расстреляны. Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... Зашли к старосте.

— Так, понятно... Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли на хутор, я же сказал.

— На хутор, понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, уставился в Рыбака. Рыбак замялся.

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь. — Прохвост! Уже и с Дубовым снюхался! Осенью не взяли — и вот пожалуйста... Где отряд?

— В лесу.

— Понятно, не в городе. В каком лесу? В Борковском?

— Ну.

Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва на Ислянке обложен со всех сторон. Хватит того, что там остался отряд этого Дубового, остатки же их группы перебрались за шестнадцать километров на Горелое болото.

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

— Было больше, а теперь всего тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь довольно поерзал в кресле.

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал, его настроение заметно тронулось в гору.

— Так! — следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побежал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, — сказал Рыбак, не очень, однако, решительно.

— Значит, тот, так?

Рыбак не ответил. Портнов не настаивал.

— Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Рыбак снова замялся.

— Не знаю. Я недавно в отряде, так что...

— Не знаешь. А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

— Не знаю. Слыхал, в деревне его зовут Петр.

— Это мы знаем, что Петр... Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля, — поправил Рыбак.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.
— Сколько до него километров?
— Откуда?
— Отсюда.
— Не знаю точно. Но километров восемнадцать будет.
— Верно. Будет. Какие деревни рядом?
— Деревни? Дегтяри, Ульяновка, ну эта, как ее... Драгуны.
Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.
— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?
— Демчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перепрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...
— А ребята и нагрянули. Молодцы ребята. Так говоришь, никаких?
— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.
Следователь вскочил за столом, локтями поддернул сползавшие брюки.
— Ни при чем? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?
Рыбак, вздохнув, продолжал сидеть молча. Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках.
— Так, хорошо! Мы еще поговорим. А вообще должен признать, парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что — не веришь? Мы можем. Это Советы могли только карать. А мы можем и миловать.
Он вплотную приблизился к Рыбаку.
— Так вот! Ты нам расскажешь все. Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии.
— Я? — не поверил Рыбак и встал.
— Да, ты. А что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди, подумай. Гаманюк!
На пороге появился Стась.
— В подвал.
— Так это... Будила ждет.
— В подвал! — гаркнул следователь.
— Яволь в подвал! Битте! Прошу!
Рыбак вышел во двор.
— Гы, значит, откладывается? — дернул его за рукав полушубка Стась.
— Да, откладывается, — твердо сказал Рыбак.
— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

15

Двое полицейских втаскивают в камеру бесчувственное тело Сотникова, бросают на солому. Когда дверь закрывается, к нему подползает Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Как изуродовали человека!

— Воды! — еле слышно попросил Сотников.

Петр поднялся, не сильно, но настойчиво постучал в дверь.

— Черта! И не слышит никто.

В камеру привели и Рыбака. Он сразу же опустился возле товарища, поправил его руку, накрыл шинелью. Стась шагнул за порог.

— Хлопец, тут это... воды надо, — сказал Петр.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай.

— Пусть полицай. Извините. Человек помирает.

— Туда и дорога бандиту. Тебе тоже.

Дверь с грохотом затворилась.

— Звери!

— Тихо вы, — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть. Теперь чего уж бояться...

Шаги Стася отдалились, хлопнула входная дверь, и все смолкло.

— Да, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак пристально посмотрел на товарища.

— Да, вряд ли Сотников выживет, — подумал Рыбак. — А впрочем... Может, даже и лучше, если не выживет. Ему уже все равно, а Рыбаку... Рыбаку без него было бы куда как сподручнее. Его бы шансы увеличились. Других здесь свидетелей нет, можно будет сказать, что окажется выгодным.

— А тебе, гляжу, больше повезло, — намекнул старик.

— Мое еще все впереди, — ответил Рыбак.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Снова загремела дверь, и на пороге появился Стась с котелком в руках.

— На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык. А ты, старый хрен, марш к Будиле.

Рыбак взял воду, Петр уставился в Стася.

— А зачем, не знаешь?

— Знаю. В подкидного сыграть. Ну, живо.

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик, вышел из камеры. Тяжелая дверь захлопнулась.

Встав на колени, Рыбак стал тормошить Сотникова. Потом, приподняв его голову, поднес воду. Сотников вздрогнул и жадно припал к котелку.

— Кто это? — спросил он, напившись.
— Это я. Ну как? Лучше?
— Рыбак! Фу ты! Дай еще.
Сотников выпил еще и пластом слег на солому.
— Что, били здорово? — участливо спросил Рыбак.
— Да, брат. Досталось... А тебя?
— Что?
— Били?
— Нет. Не очень, — смешавшись, сказал Рыбак. Он прислушался, но вроде вокруг было тихо. — Слушай, я вроде их обхитрю, — шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза. — Только нам надо говорить одинаково. Значит так: шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали в Лесины. Понял?
— Ничего я им не скажу, — подумав, сказал Сотников.
— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из отряда Дубового, отряд в Борковском лесу. Пусть проверят.
— Но Дубовой действительно там.
— Ну и что? Ты послушай меня. Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? А то, может, как выкрутимся.
Сотников на минуту задумался.
— Ничего не выйдет.
— Не выйдет? А что же тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего. Ты послушай, нам надо их поводить. Как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смирными. Знаешь, мне предложили в полицию.
Веки Сотникова вздрогнули.
— Вот как! Ну и что — побежишь?
— Не побегу, не бойся. Я с ними поторгуюсь.
— Смотри, переторгуешься.
— Так что же — пропадать? — озлясь, почти вскрикнул Рыбак.
Сотников задышал чаще, труднее.
— Напрасно лезешь в дерьмо. Позоришь себя. Живыми они нас не выпустят.
— Как сказать.
— Что говорить, разве не ясно? Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.
Наверно, не в карты. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть жизнь — разве этого мало для самой отчаянной игры. А там оно будет видно. Только бы вырваться из этой западни,

остаться в живых. И ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь, — сказал он спокойнее. — Я тоже не лыком шитый.

Сотников коротенько вымученно усмехнулся.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь!

— Это ж машина. Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок.

— Я им послужу!

— Только начни!

— А что же тогда — погибать? Чего легче. Угробить им нас проще, чем клопа раздавить.

— Ты разве клоп? Ты же солдат, партизан. Защитник народа. И если уж погибать, так без позора чтоб. С честью.

— С какой еще честью? Тоже зарядил: позор, честь! Вот они тебе завтра девять грамм в затылок, и вся честь. Червей кормить будем.

— Что делать? Не мы первые, не мы последние. Зато совесть чистая будет — вот что главное.

— Хе, совесть! Сказал тоже: совесть! Совесть ты в яму с собой не возьмешь. Немцам останется.

— Людям останется. Неужели ты не понимаешь? На нас ведь люди всюду глядят. Помнишь, везли — все местечко глядело — что за такие? И стрелять будут — будут глядеть, говорить будут, другим расскажут. Надо же помнить об этом. Даже на краю ямы.

— Да ну тебя! На краю ямы не до совести будет.

— Да, брат, у тебя ветер в голове и никаких принципов.

— Зато у тебя их чересчур много!

Нет, с ним не сговориться. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолобое упрямство, какие-то принципы. Но кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, выигрывает тот, кто больше хитрит, чихая на все и всякие принципы, и думает, как спасти свою голову.

16

В камеру приводят Петра. Нагнув белую голову, старик молча прошел в свой темный угол.

Рыбак насторожился: подумалось, снова возьмут на допрос. Но на этот раз не взяли никого, шаги полицейского удалились в направлении дальней камеры, донеслись голоса, плач — в этот раз брали женщин.

Когда все затихло, Рыбак спросил старосту:
— Ну как? Обошлось?
Петр ответил невесело:
— Нет, не обойдется. Плохи наши дела.
— Хуже некуда, — согласился Рыбак.
Староста высморкался, разгладил усы.
— Подговаривали, чтоб выведал от вас. Про отряд, ну и еще кое-что.
— Вот как! Шпионить, значит?
— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.
Рядом на соломе завозился Сотников.
— Кто это?
— Да тот, лесиновский староста, — сказал Рыбак.
Широко раскрытыми глазами Сотников глядел в темноту. Стало ненадолго тихо.
Но вот опять послышались шаги, звякнул засов, все насторожились: за кем? Но на этот раз никого не забирали — напротив, кого-то привели в камеру.
— Ну! Марш!
Кто-то едва различимый в темноте неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога. Рыбак спросил:
— Кто тут?
— Я.
— Кто я? Как зовут?
— Бася.
— Кто такая? Откуда?
Девочка молчала. Тогда он спросил о другом.
— Сколько тебе лет?
— Тринадцать.
В углу зашевелился Петр.
— Это самое... Ты не Меера-сапожника дочка?
— Ага, — тихо подтвердила девочка.
— А-яй! Меера же тогда уничтожили вместе со всеми. Как же ты уцелела? Наверно, пряталась где?
Девочка не ответила. Уставившись в тусклый ее силуэт, Рыбак напряженно думал:
Странно, почему ее привели сюда, а не в камеру к женщинам? Наверно же, в подвале есть и еще места, так почему ее подсадили к мужчинам? Что они еще замышляют?
— И чего им нужно от тебя? — расспрашивал Петр.
— Чтоб сказала, у кого пряталась.
— А-а, вон что! Ну а ты же не сказала, у кого?

Бася замерла и молчала.

— И не говори, — одобрил старик. — Нельзя от таком говорить. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа вдруг послышался всхлип, коротенький, сдавленный плач. Сотников на соломе осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить?

— Дай ей воды. Ну что же ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак протянул его девочке.

— Не плачь. На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно поднявшись и неслышно ступая босыми ногами, Бася перешла в угол.

— Да-а, попались! Что они еще сделают с нами?

Ему никто еще не ответил, как со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» Застучали засовы, в подвал ввели Демчиху.

Но вместо того, чтобы повести ее в прежнюю камеру, Стась открыл их дверь и сильно толкнул женщину через порог.

— Куда толкаешь, негодник! Тут же мужчины, а божечка мой!..

— Давай, давай, черт тебя не возьмет! — крикнул Стась. — До утра перебудешь!

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, весь напрягшись во внимании.

— А утром капут всем! Понял?

Капут? Как то есть капут? Почему капут? Всем? Не может быть! Почему так скоро капут?

Рыбак подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, но постепенно стала успокаиваться. Петр в углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались? Надо терпеть. Откуда же будешь, женщина?

— Из Поддубья я, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Да Демки Окуня женка.

— Да-а... А Демьян, кажется, в войске?..

— Ну. Демка там где-то горюшко мыкает, а тут надо мной измываются. Забрали вот. Деток одних покинули... Ой, деточки мои родненькие!..

Она расплакалась снова.

Выплакавшись, однако, снова стала успокаиваться и сказала:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот.

— Портнов, что ли?

— Ну. Я же его кавалером помню, — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евоная ж матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал.

— Знаю Портнова, как же, — сказал Петр. — Батька мужик был, а он на учителя выучился. А теперь вон новой власти как служит!

— Гадина он был. И есть гадина.

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-то? Наш! Филипенок младший. Сидел за поножовщину, пришел, что выделывать стал — страх! В местечке все над евреями издевался. Добра что натаскал — божечка мой! А теперь вот и до нас, хрищеных, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а, гляди, нами кончат.

— Чтоб им на осине висеть, выродкам этим. Говорят, тот Ходоронок, что ночью подстрелили, сдох уже. Чтоб им всем передохнуть, гадавью этому.

— Все не передохнут, — вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, трудно задышал Сотников.

— Давно вы стали так думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Разве не ясно?

— Ясно? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила неловкая тишина, все примолкли. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил дрогнувшим голосом:

— Я пошел! Если бы знали... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь — поздно таиться... Отнекивался, как мог. В район не являлся. Разве я не понимал, что это такое. Да вот ночью однажды — стук, стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое при оружии. А секретарь меня знал, как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то Будилу поставят — всем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а, — неопределенно сказал Рыбак. Сотников молчал.

— Полгода выкручивался между двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое, — сказал Рыбак.

Стало тихо, все умолкли, углубившись в свои невеселые мысли, стараясь понять, что все-таки их ждет завтра.

Сотников тоже молчал и думал:

«Черт возьми, еще один сюрприз — этот староста. Кажется, свой человек, а вчера они видели в нем врага. И просчитались. Мало было Демчихи, так еще и Петр! Но что теперь делать? Завтра капут всем. Нет, это невероятно: при чем тут все? Хотя чему удивляться! Скорпион должен жалить. Иначе какой же он скорпион? Очевидно, потому и позаталкивали всех в одну камеру. Камеру смертников».

17

В камере темно. Задремавший Рыбак приподнял голову — рядом звучал разговор.

— О, бедная, намучилась, наверно, — сказала Демчиха.

— Ладно, не перебивай, — произнес в углу Петр. — Ну так рассказывай, рассказывай.

Бася продолжала рассказ.

— Ну, я сперва хотела бежать за ними, как повели. Немцы построили всех и повели в карьер, где глину брали. Выскочила я из палисадничка, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, — говорит, — прячься». Ну, побежала назад, за огороды, влезла в лозовый куст. Может знаете, большой такой куст лозы возле речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку, а как сидишь тихо, не шевелишься — нисколечко тебя и не видать. Ну, я залезла и сидела. Думала, как мамка вернется, позовет меня. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело, страшно мне стало. Кто-то шевелится будто, крадется к кусту. Думала: волк. Так волков боялась! И не заснула нисколечко. А как стало светлеть, тогда заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводы из хат местечковых все выгружают, куда-то вывозят. Так я и сидела еще день и еще ночь. И еще не помню уже сколько. Сижу да плачу тихонько. А по стежке тетки несут на речку белье полоскать. Один раз слышу, кто-то возле куста остановился, я и замерла вся. Аж слышу тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори, кто. Зачем нам про всех знать, — спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка... дает мне узелок, а там хлеб, сала немножко. Я как взяла его, так и съела все. Только хлеба осталось. А потом как заболел живот... Так плохо было, что помереть хотела. Смерти просила и маму, и бога. А потом лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый кот из местечка, оголодал и рыбу из речки ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так. Хотела я отнять рыбину, да он под другой куст убежал. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, лежит рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножко сплю. А когда голод донял, выбралась ночью на огород, у Кривого Залмана огурцы еще были, семенные которые, морковка. А вот кот мой не ест морковку, жаль мне его...

— Пусть бы мышей ловил, — отозвалась из темноты Демчиха. — У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу — не лгу. А как-то приволокла зайца огромадного, да на чердак не встащила, наверно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А так то, наверно, у нее котята были, — догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать которая. Ну а потом как же ты?

— Ну, так и сидела. Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеб давала. А потом холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась... Потом в овине пряталась, но обыск какой-то был, чуть меня не нашли. Тогда я в хлев перешла, свиньи там были. Возле свиней пряталась. Затиснусь ночью между свиньей и подсвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— О господи! И намучилась, бедная, — тихо вздохнула Демчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или носил кто?

— Так я же не показывалась никому. А еду... Ну там из корыта выбирала.

— Ой божечки!

— Однажды утром выбежала, за кленом спряталась...

— Это, наверно, что против аптеки? Так это ж там Игналя Супрон жил...

— А тебе что? Не все равно? — перебил Демчиху Петр.
— Так я ничего. Я так.
— В пустой дом стала перебегать через улицу, а тут меня патруль и заметил. Догнали на выгоне, били... — Бася всплакнула. — Особенно Будила этот. Руки мне все выкручивал... Ой-ой! — вскрикивает Бася и все прохватываются. Это появились крысы. Бася вскочила и стоит, трясясь всем телом.
— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. Я же их страх как боюсь. Дяденька!..
— Не бойся! Крысы — что! Крысы не страшны. Укусят, ну и что. Такой беды! Теперь людей надо бояться.
Бася присела возле Демчихи, в камере постепенно все успокоились. Никто не спал. Рыбак сидел, облокотясь на колени, и думал.
Опять впереди обрыв. Как и тот, в детстве. Но тогда он не растерялся, тогда он был молодцом...
Картины далекого детства. Лето. Жниво. С поля свозят снопы, стоят крестцы. Жарко.
На большом возу сидят трое ребят. Четырнадцатилетний Рыбак правит лошадью. Переваливаясь из стороны в сторону, воз катится полевой дорогой, приближается к краю оврага. Это опасное место. Но Коля Рыбак смотрит в оба.
И вдруг воз начинает наклоняться, кто-то из ребятишек падает в овраг. Коля соскакивает и, подставив плечо под край воза, не дает тому упасть с обрыва. Потом он в деревне. Вокруг люди. Упавшая девочка стоит с забинтованной до плеча рукой. Старик гладит Колю по стриженой голове и хвалит:
— Молодец, дитенок! Малый, а смотри, мужицкая хватка! Не испугался! Смелый будешь! Хороший солдат получится. Как я, бывало, в японскую... Под Мукденом от было дело...
Этот воз плечом не подопрешь, тут нужна особая сила, которой у них и нет. Но что ж тогда — погибать? Нет. На гибель он не согласен, он ни за что не примет в покорности смерть. Он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова. Пусть только подступят к нему...

18

Сотников тоже не спал, прикрыв веки, тихо лежал на подстилке и думал.
Истекала последняя ночь на свете, утро уже будет принадлежать не им.
Разумеется, иного нельзя было и ожидать от этих выродков; оставить живыми они их не могут, могут разве что замучить

в кровавом закутке Будилы. А так, может, еще и не плохо: пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, боялся погибнуть в бою. Теперь такая смерть с оружием в руках казалась ему недостижимою роскошью. Он почти уже завидовал тысячам тех счастливцев, которые нашли свой честный конец на фронте. Правда, ненадолго пережив их, он кое-что сделал для исполнения своего долга гражданина и бойца, несколько врагов все-таки нашли свою смерть и от его руки. Наверное, только это и утешало его перед концом и оправдывало его двадцатишестилетнее существование на свете, с которым ему предстояло проститься однажды и навсегда.

Но пока он был жив, с ним оставались его человеческие обязанности хотя бы по отношению к ближним. Будучи обреченным, он не опасался уже ничего, ни на что не надеялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими. Конечно, это было преимуществом смертника, но он был вправе пользоваться им по своему усмотрению. Завтра он скажет следователю, что во всем виноват только он сам. Пусть убивают его, остальные здесь ни при чем. Ни Рыбак. Ни Петр. Ни тем более Демчиха. Он все возьмет на себя.

Принятое решение принесло успокоение, Сотников задремал, и ему, как воспоминание, приснился давно забытый случай из детства.

...Тихая окраинная улочка небольшого городка, гигантские клены вверху, и под ними старинный деревянный дом. В доме — разноголосое тикание часов, и тишина. Проснувшись, двенадцатилетний мальчишка слезает с кровати и обходит пустые комнаты — нигде никого.

Он заходит в столовую, прислушивается. И вдруг видит в ящике комода заветный маленький ключик. Он отпирает ящик, дрожащими руками вынимает деревянную кобуру маузера. На одной ее стороне блестящая пластина с надписью: «Красному комэску А. Сотникову от военного совета кавармии». Мальчик вытаскивает из кобуры пистолет, со всех сторон осматривает его, прицеливается. И вдруг раздается выстрел. На пол выскакивает гильза, от ножки стола отлетает щепка...

Испугавшись, он прячет пистолет в комод, убегает. Потом стоит перед матерью, и та говорит: «Нет, я говорить не буду. Ты сам должен сознаться». Он идет к отцу, который одной рукой ремонтирует часы; другая в черной перчатке немощно покоится на коленях. В комнате по всем стенам — часы. Отец отрывается от работы.

«Ну как — одолел мариниста? Станюкович интересный писатель. Нравоучительный. Море к тому же. Тебе полезно».

«Папа, я брал твой маузер», — подавленно признается мальчишка.

«Кто разрешил?» — отец откладывает инструменты.

«И это... Он выстрелил...»

Ничего не сказав больше, отец встает и выходит из комнаты. Потом возвращается.

«Щенок! Какое ты имел право без разрешения прикасаться к боевому оружию? Как ты смел по-воровски лезть в комод?»

Отец долго еще отчитывает его и в заключение говорит:

«Единственное, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Понял?»

«Да».

«Если сам, конечно, надумал. Сам?»

Смешавшись, мальчик кивает головой.

«Ну и за то спасибо. Ступай».

Этот малодушный кивок на всю жизнь остался для него уроком. По крайней мере он понял, как поступать не надо и больше уже ни разу не соврал ни отцу, ни кому другому.

19

В камере начинало светать. Вверху послышались шаги, глуховато донеслись голоса, застучали двери. Открыв глаза и прислушиваясь, сидел под стеной Рыбак, напротив Демчиха. Петр и Бася — в углу под окном. На соломе тихо лежал Сотников. Никто не спал, все напряженно прислушивались к звукам извне.

Кто-то прошел возле самой стены, раздались громкие голоса:

— Да тут провод какой-то.

— А вожжа еще была. Вожжу посмотри.

— Что вожжа! Веревка нужна.

Рыбак насторожился — какая веревка? Зачем понадобилась веревка?

Вдруг на ступеньках послышалось движение, шаги многих ног — стало очевидно: шли к камере, за ними.

Вскоре широко растворилась дверь — на пороге появился Стась, за ним стояли еще двое.

— Генуг спать! — заорал полицай. — Отоспались! Выходи — ликвидация!

Все продолжали молча сидеть. Тогда Стась закричал еще более страшным голосом:

— А ну, выскакивай! Добровольно, но обязательно — в душу вашу мать!

Первым поднялся Петр, потом начала вставать Демчиха. С усилием заворошился на соломе Сотников. Рыбак, однако, опередил всех и, вскочив, быстро направился к выходу.

— Давай, давай! — Двадцать минут осталось! — понукал Стась. — Ну, а ты, одноногий? Живо!

— Прочь руки! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка? А ну выметайтесь! Не хотела признаваться, будешь на веревке болтаться! Гэть, юда вшивая!!

Узники подавленно выбирались из камеры. Первым по ступенькам поднялся Рыбак. Во дворе он остановился. Здесь было полно немцев, которые куда-то собирались, заряжали оружие. Двое или трое возле сарая, подвесив на суку липы, свежевали овцу, и по белому пятнышку между ушей Рыбак сразу узнал ее. Это была овца старосты, брошенная им в кустарнике.

Рассматривая двор и немцев, рядом остановилась Бася, Демчиха. Поодаль с мрачной отрешенностью на старческом лице ждал Петр. Стась втащил по ступенькам Сотникова и бросил на снег. Тот сразу же начал требовать сиплым голосом:

— Ведите нас к следователю! Где следователь?

— Да, нам надо к следователю, — спохватился Рыбак. — Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — язвительно намекнул Будила. С веревкой наготове он шагнул к Рыбаку. — Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, полицай ловко заломил их назад и стал вязать за спиной.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю, — повернув голову, дрогнувшим голосом настаивал Рыбак.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это — отследовались? Позовите Портнова. Ну что вам стоит — люди вы или нет?

— Давай сюда следователя! — жестко требовал Сотников, которому тоже начали вязать руки.

На крыльцо из помещения тем временем выходило начальство — два полицейских чина в новенькой черной форме, пять или шесть немцев в фуражках, несколько человек в штатском. Немцы во дворе притихли. Кто-то торопливо сосчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил кто-то с крыльца. Первым шагнул на ступеньки шеф СД с маленькой кобурой на поясе. Во дворе еще никто не ответил, как в наступившей тишине хрипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать заявление.

Шеф обернулся к Портнову, который шел следом.

— Что есть такое — заявление?

— Это есть ерклёрунг — просьба, — пояснил Портнов.

— Я хочу сообщить, что из всех я один партизан. Ночью я ранил вашего полицая. Тот, — Сотников кивнул в сторону Рыбака, — тут оказался случайно. Остальные ни при чем вовсе. Берите меня. Одного.

Немцы и полицаи на крыльце умолкли. Все уставились в Сотникова.

— Это и все? — холодно спросил Портнов и махнул рукой.

— Марширен, марширен! — бросил шеф, натягивая перчатки и сходя со ступенек на снег.

За ним стали сходить немцы и полицейские, и вдруг Рыбак встрепенулся, подался вперед к Портнову.

— Господин следователь! Господин следователь! Одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, я ни при чем. Вот он же сказал...

Шеф СД недовольно остановился, к нему повернулся Портнов. Он что-то бойко объяснил по-немецки, потом кивнул Рыбаку.

— Подойдите сюда!

Рыбак сделал три шага к крыльцу.

— Вы согласны вступить в полицию?

— Согласен! — искренне ответил Рыбак.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — выкрикнул сзади Сотников и задохнулся от кашля.

Рыбака развязали, от подвигал натруженными руками и отошел чуть в сторону, чтобы отделиться от остальных. Кто-то из начальства повернулся к выходу из двора, как сзади раздался крик Демчихи:

— Ага, отпускаете! Тогда отпустите и меня! Я скажу, у кого эта пряталась! Я скажу! У меня детки малые! О, божечка, как же они!..

Полицаи и немцы снова остановились. Высокий немец недовольно произнес что-то. Портнов обернулся к Демчихе.

— А ну, а ну, скажи, у кого?

— А развяжите!

— Стась!

Стась подскочил к Демчихе и быстро развязал ее руки. Та в нерешительности принялась тереть их о полу кожушка.

— Так у кого скрывалась? — подойдя к ней вплотную, напомнил Портнов.

— У этого, как его...
— Дурное болтаешь, — негромко, но твердо сказал рядом Петр. — Вспомни о боге.
— Так это... У Федора Бурака будто.
— Какого Бурака? — нахмурился Потрнов. — Бурака тут с прошлого лета нет. А ну подумай-ка лучше.
Демчиха, потупясь, молчала.
— Ну?!
— Так я же сказала.
— Врешь! Стась!!
Стась, наготове стоявший за спиною женщины, цепко схватил ее руки.
— Я же сказала, я сказала вам! — истошно запричитала Демчиха. — Ах, чтоб вас громом убило!.. Что же вы делаете? У меня же детки малые!.. Ах, деточки мои родненькие!..
— Готово! — сказал Стась.
— Ведите! — приказал Портнов и кивнул Рыбаку. — Вы подсобите тому! — указал он на Сотникова.
Рыбаку это мало понравилось, но ничего не поделаешь. Он поспешно подошел к Сотникову и взял его под руку.
Через широко распахнутые ворота их повели на улицу.

20

Пятеро обреченных в окружении полицаев медленно шли местечковой улицей к центру.
Впереди шагал Петр, за ним семенили Демчиха с Басей, сзади тащился Сотников, которого поддерживал под руку Рыбак.
Сотникову этот последний его путь давался невероятно мучительно. Лоб его покрылся холодным потом, от слабости мутилось сознание.
Это было хуже всего — ничего не добиться самому и так ошибиться в товарище. Конечно, он знал, что со страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак не был трусом, как не был он и предателем. Наверно, чего-то не хватило ему в этой его торговле за жизнь, и чтобы не потерять ее, Рыбак согласится на все.
Медленно ступая по снегу, они перешли мосток, поднялись на пригорочек. Впереди стал виден двухэтажный дом с широким полотнищем немецкого флага у входа. Перед домом на небольшой площади собралась толпа людей, которая, очевидно, ждала их приближения. Площадь была оцеплена густым рядом немецких солдат.

Они подошли ближе, и Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, свисая с перекладины старой довоенной арки.

Двое полицейских откуда-то из дома приволокли колченогую скамью, но ее длины хватило лишь на два места под петлями, на третье бросили какой-то фанерный ящик, а на остальные поставили два нетолстых сосновых обрубка.

Там временем обреченные ждали. Сотников обессиленно смежил глаза, додумывая свое, недодуманное за двадцать шесть лет жизни.

Оказывается, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает человеку какие-то возможности, которые или осуществляются им, или пропадают напрасно. Смерть же лишает всего.

Да, смерть лишает всего, но согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его солдатской морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже, все же возможность умереть честно оставалась с ним до конца. И он воспользуется ею как последним дарованным жизнью благом и уйдет из этого мира с незапятнанной совестью.

По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю петлю поставили притихшего, сосредоточенного в себе Петра. Рядом взобралась на конец скамьи Бася. У ящика оставили Демчиху. Немецкий солдат с помощью Рыбака повел Сотникова на край, к одному из двух чурбанов.

Но они еще не дошли до него, как сзади закричала Демчиха:

— Ай, паночки, простите! Простите дурной бабе, я ж не хотела, не думала!..

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал шеф, и немец, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Демчихе. Будила и немцы поволокли ее к ящику. Стась хлопотал возле Петра и Баси.

Рыбак нерешительно подвел Сотникова к чурбану и остановился. Сверху свешивалась новенькая пеньковая удавка. Сотников бросил в сердцах уныло застывшему Рыбаку «держи» и кое-как взобрался на чурбан. Рыбак обеими руками обхватил чурбан снизу.

Вот как оно получилось — и кто мог подумать? Вчера они были друзьями, а сегодня один помогает вешать другого. И все потому, что он еще не расстался с надеждой выжить. Но разве может пойти впрок жизнь, купленная такою ценой?

Рядом все плакала, рвалась из рук полицаев Демчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в черных перчатках. Шеренга стоявших в оцеплении немцев замерла. Шли последние минуты жизни, и Сотников жадным прощальным взглядом вбирал в себя неказистый вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей в толпе, молодыми деревцами посадки, поломанным штакетником ограды, бугром намерзшего льда у колонки.

Сзади хлопотали полицаи, раздавались их злые команды-окрики. Кто-то подошел к Сотникову и накинул на шею петлю. Вот и конец. Сотников перевел прощальный взгляд на людей — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, различных армейских обносках. Среди множества настороженных печальных лиц его внимание привлекла тонкая фигурка мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Мальчик с детской завороженностью на бескровном болезненном личике следил за ними на виселице, и Сотников одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток!

Сзади послышались команды, начинали вешать.

Дико закричала Демчиха:

— А-а-ай! Не хочу, не хочу!..

Но ее крик вдруг оборвался, резко дернулась перекладина. Со стороны начальства снова раздалась команда, видно, она относилась к нему, Сотникову. Чурбан под ногами слегка пошатнулся — это не решался на свой последний поступок Рыбак.

— Прости, брат! — прошептал он. Небритое лицо его было растерянным и жалким.

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников и оттолкнулся здоровой ногой.

21

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом; сбитая ими шапка с головы Рыбака упала на снег. Рыбак, распластавшись на снегу, поспешно выхватил ее из-под ног повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке. Рыбак не решился глянуть ему в лицо и видел только его зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом — вывернутую пяткой наружу грязную посиневшую стопу. На коленях он отполз в сторону и с усилием встал.

Полицаи наводили последний порядок под виселицей, Будила вытаскивал из-под Демчихи ящик, Рыбаку издали

что-то прокричал Стась, и тот, догадавшись, отбросил к штакетнику чурбан из-под Сотникова. Когда он обернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его, однако, оставались настороженно холодными.

— Гы-гы! Однако способный, падла!

— А ты думал! — буркнул Рыбак.

— И правильно! А что там — жалеть бандита! — осклабился Стась, и Рыбак вовсе смешался.

Постой, что это? О ком он? О Сотникове, что ли? Но при чем тут Рыбак? Разве это он? Он только придержал обрубок. И то по приказу полиции...

Возле повешенных встал часовой, остальные немцы начали строиться. Человек пять полицаев проворно разместились в хвосте колонны. Шеф СД и полиции безопасности мрачно наблюдал за построением. Фельдфебель в черных наушниках зычно подавал команды. Не зная, что делать, Рыбак отошел в сторону и стал на тротуаре.

— Ахтунг! Стильгестанген!

Колонна исполнительно замерла, фельдфебель повел по рядам свирепым командирским взглядом и наткнулся им на одинокую фигуру Рыбака на тротуаре. Он негромко о чем-то спросил у шефа, затем крикнул ему. Но Рыбак ничего не понял.

— Становись сзади! Быстро! — подсказал ему из строя Портнов.

В некотором замешательстве Рыбак стал в хвост колонны.

Колонна двинулась по улице вниз. Рядом на тротуаре шарахались в стороны бредущие с повешения прохожие. Полные страха и ненависти взгляды людей сопровождали жандармов. С напряженным растерянным лицом сзади, сбиваясь с ноги, шел Рыбак.

Что же это получается? Что получается? Ведь надо бежать. Сейчас же... Сейчас... Вон за тем мосточком... Нет, может, дальше...

Но рядом, приотстав на полшага, шел Стась, и Рыбак лишь косился на него. Бежать здесь нельзя.

22

Колонна входит в знакомый уже двор СД и полиции безопасности, и строй здесь рассыпается. С шутками и выкриками немцы начинают закуривать, толкаться. Несколько человек подходят к Рыбаку и грубовато, хотя и беззлобно, пинают его, хлопают по плечам. Но Рыбак не обращает на них внимание, он

оглядывается по сторонам. Тушка овцы в углу уже освежевана, ее снимают с сука и уносят в помещение. Из уборной в углу двора, подпоясываясь, выходит немец. Рыбак украдкой вдруг делает несколько шагов к ней, но его тут же окликает Стась:

— Ты куда?

— Я счас. На минутку...

Рыбак входит в тесную уборную и быстро закрывается на крючок. Начинает лихорадочно обшаривать доски задней стены. Одна вроде поддается, он отдирает ее и с усилием протискивается коленом, затем плечом. Это дается ему нелегко, но наконец он просовывает голову и вдруг замирает в испуге: неподалеку, делая свое дело, с винтовками за плечами стоят два немца.

Рыбак с не меньшим усилием осторожно протискивается назад, задвигает доску. На лице его — выражение полного отчаяния. На минуту он замирает, решая, что делать и не находя ничего.

И тут со двора доносится голос Стася:

— Ну, ты долго там?

— Счас, счас...

Лихорадочным движением рук Рыбак начинает пробовать прочность перекладины вверху, за которую можно засунуть веревку. Но веревки нет. Он расстегивает полушубок, хватается за брюки, но и ремешка тоже нет.

Черт, неужели нельзя и умереть? Неужели и умереть нельзя? Да что же это такое?..

В этот момент раздается громкий стук в дверь и настойчивый голос Стася:

— А ну выходи: шеф зовет! Быстро!!

Взгляд Рыбака в совершенной растерянности скользит по доскам уборной, опускается вниз. На лице его замешательство, в глазах безысходность.

Выхода для него нет.

[1972 г.]

ВОЛЧЬЯ СТАЯ

Привокзальная площадь большого города, запруженная потоком пассажиров из только что пришедшего поезда. В этом потоке не спеша идет пожилой человек, одетый в темный костюм и до воротника застегнутую сорочку без галстука. В единственной руке он держит небольшой чемоданчик, на его голове — серая кепка. Это Левчук. Он осматривается по сторонам, рассеянно скользит взглядом по лицам встречных прохожих. У киоска «Союзпечати» останавливает человека с газетой.

— Скажи... Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу Космонавтов?

Человек окидывает его недоуменным взглядом и вспоминает после недолгой паузы:

— Космонавтов, Космонавтов... — Он оглядывается на стоянку автобусов. — Вон садитесь на автобус. В семерку. Доедете до площади, там перейдете на другую сторону и пересядете в одиннадцатый. Одиннадцатым проедете две остановки, а там спросите. Там пройти метров двести.

— Это далеко?

— Да ну — какое далеко! Может, километра два, не больше.

— Ну, два — это ерунда, — обрадованно говорит Левчук. — Два что же ехать.

Он не спеша идет по тротуару, стараясь своим чемоданчиком не слишком мешать прохожим, которых тут немало и все они идут навстречу ему, в сторону вокзала. Изредка идут по одному, но больше по два и по три, а то и большими группами, оживленно разговаривая, смеясь и явно торопясь куда-то. Левчук с любопытством приглядывается к ним, стараясь понять эту их торопливость. Попутно он рассматривает широкую летнюю улицу с троллейбусами и автобусами, вывески магазинов, городскую рекламу. Троллейбусы, идущие в сторону вокзала, заметно перегружены, в то время как в обратном направлении они идут пустыми. Возле гастронома внимание Левчука привлекает значительное оживление, особенно в одном из его отделов, где толпятся мужчины. Он останавливается на краю тротуара и тогда замечает на другой стороне огром-

ную афишу, извещающую о футбольной встрече городской команды «Динамо» с командой гостей, и направляется дальше,

Дойдя до перекрестка, он о чем-то спрашивает у женщины с сумкой, та указывает на угол, и он сворачивает на другую улицу. С неослабевающим вниманием рассматривает дома, витрины, прохожих, не забывая на каждом перекрестке взглянуть на угол с табличкой, обозначающей наименование улицы. На одной из этих табличек он вдруг видит: «ул. Космонавтов», и лицо его проясняется.

Он идет дальше, присматриваясь к номерам домов — 68, 70, 72. Постепенно созерцательное выражение на его лице сменяется нетерпением и озабоченностью.

Но, кажется, он прошел дальше, чем следовало, — напротив был дом под номером 88 — и обеспокоенно повернул назад. Быстрым шагом он прошел возле парикмахерской, сберкассы, и снова остановился в недоумении. На углу дома белел номер 76-й. Кажется, он запутался и соображал, куда идти дальше.

— Дядя, а какой вам дом надо?

Сзади, глядя на него, стояли две девочки. Одна, беленькая, лет восьми, игриво раскручивала возле себя сетку с пакетом молока в ней, другая, черненькая, ростом немного больше подружки, доедала из бумажки мороженое.

— Мне семьдесят восьмой надо. Не знаете, где такой?

— Семьдесят восьмой знаем. А какой корпус?

Он опустил на тротуар чемоданчик и из внутреннего кармана пиджака достал помятый конверт, вынул из него письмо.

— Вот посмотрим... Какой тут указан корпус? Что-то не помню...

Но в письме после номера дома действительно следовала буква К и цифра 3.

— Вот, кажется, три. Так, что ли?

Девочки обе разом заглянули в бумажку.

— Да, три. Это где Нэлька злая живет. За песочницей, — сказала черненькая с мороженым. — Мы вам покажем.

Он взял чемоданчик и пошел за девочками. Обойдя угол дома, они все втроем оказались в огромном дворе, окруженном новыми многоэтажными домами, с асфальтированными дорожками, рядами молодых деревцев, песочницами, площадками — типичном дворе нового дома, не совсем благоустроенного квартала. Всюду суетилась, галдела, гоняла на велосипедах детвора, где-то играли в волейбол, и удары по мячу глухо отдавались в глубине застройки.

— Дядя, а почему у вас одной руки нет? — спросила беленькая с сеткой. Ее сразу же оборвала старшая.

— Ну как ты не понимаешь, Ирка! Дядину руку на войне оторвало. Правда, дядя?

— Правда, правда. Догадливая ты, молодец.

— А в нашем дворе живет дядя Коля, так он на одной ноге ходит. Другую у него немцы оторвали. Он на маленькой машине ездит. Маленькая такая машина, чуть побольше мотоцикла.

— А моего дедушку на войне убили, — забегая вперед, с печалью сообщила младшая и вздохнула.

— Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя?

— Правда, правда, — сказал он, светлея лицом от этой их детской осведомленности.

Младшая с сеткой снова забежала вперед.

— А у вас есть, дядя, медали? У моего дедушки было шесть медалей. На фотокарточке видела.

— Шесть — это хорошо, — сказал он, избегая прямого ответа на ее вопрос. — Значит, герой был твой дедушка.

— А вы? Вы тоже герой? — смешно гримасничая от солнца, спросила меньшая.

— Я? Я не герой. Так просто...

— Вон этот дом, — показала чернявая на такой же, как и все тут, пятиэтажный дом из серого силикатного кирпича. — Третий корпус. А какую квартиру надо?

— Квартира пятьдесят вторая.

— Пятьдесят вторая... А там написано. Вверху над каждой дверью написано.

— Ну спасибо вам, девочки. Большое спасибо! — сказал он почти растроганно.

— Пожалуйста, — ответила они обе разом и побежали наискосок через дорожку.

Замедленным шагом он приближался к указанному дому. Остановился, осмотрел написанный масляной краской номер, обогнул угол дома. Прежде чем войти в подъезд, внимательно перечитал различные надписи и объявления на двери: о номере почтового индекса, о недозволенности оставлять без присмотра газовые приборы, о собрании при домоуправлении по вопросам благоустройства двора. Выше над входом была табличка с номером подъезда и номерами квартир в нем, из которой он понял, что нужной ему квартиры тут не было. Он прошел следующий подъезд и свернул к третьему.

На скамейке здесь сидели две древние, несмотря на жару, одетые во все теплое старушки, они внимательно присмотре-

лись к Левчуку, но он, ни о чем не спросив, прошел мимо в подъезд. По лестнице он поднялся на третий этаж и увидел на площадке над левой дверью номер 52. Внизу лежал крохотный половичок. Он опустил у ног чемоданчик и не сразу, преодолевая волнение, тихо постучал пальцем. Потом, выждав, постучал громче. Показалось, где-то послышался разговор, но, вслушавшись, он понял, что это звучало радио, и постучал снова. На этот его стук отворилась дверь соседней квартиры.

— А вы позвоните, — сказала с порога женщина, вытирая фартуком руки. Пока он оглядывал дверь в поисках звонка, она переступила порог и нажала малозаметную на косяке кнопку. Послышался глухой треск, но и после этого дверь 52-й не отворилась,

— Значит, нет, — сказала женщина. — С утра тут малая бегала, да вот что-то не видно. Наверно, пошли куда-то.

Левчук растерянно прислонился к лестничным перилам и не знал, что делать. Но, видно, и стоять тут тоже не имело смысла.

Нелепо так получилось! Хотя что ж, оно и понятно: выходной день. Зачем сидеть дома?

Он медленно пошел вниз по лестнице. Соседка, перед тем как закрыть дверь, крикнула:

— Во, да футбол же сегодня! Наверно, на футболе они.

Может, и на футболе. Или еще где. Мало ли куда можно пойти в городе в погожий выходной день. Не то, что в деревне. Интересных мест, наверное, тут пропасть. Уж не надеялся ли он, что они будут тридцать лет сидеть дома и ждать, когда он явится к ним в гости?

Левчук спустился с лестницы и вышел из подъезда. Старушки проводили его настороженным взглядом. На краю тротуара он остановился, оглядел двор.

Но не ехать же обратно, если уж приехал за пятьсот километров. Когда еще придется выбраться в такую даль? Наверно, надо подождать. Авось до ночи вернутся...

Он увидел в глубине двора незанятую скамейку под стеной гаража и направился к ней. Поставил чемоданчик, устало сел сам и вытянул натруженные ноги. Невдалеке в песочнице играли дети, двое мужчин возились возле разобранного «Москвича». Отсюда ему хорошо был виден подъезд со старушками, и он начал ждать.

Нет, обязательно надо дождаться, если даже ждать придется до вечера. Надо свидеться. И поговорить. Все-таки есть о чем поговорить. Главное, узнать — как и что он? Да и рас-

сказать о себе. Пусть знает. Тоже не мешает и ему обо всем узнать. Хотя и через тридцать лет.

Левчук закуривает «Приму», затягивается, взор его затуманивается, сознание переносится в тридцатилетней давности прошлое, где он...

...Скорчившись на боку, задремал под разлапистой елкой. Вокруг лесная летняя ночь, шорох листьев, какие-то голоса рядом. Вдруг сквозь сон Левчук слышит:

— Левчук? Где Левчук?..

Он вздрагивает, но, не раскрывая глаз, натягивает на правое забинтованное плечо телогрейку, забывается снова. Тем временем рядом уже явственно слышатся голоса, в ночном мраке угадывается силуэт повозки и нескольких человек возле нее.

— Не пойду я. Никуда не пойду! — приглушенно звучит женский голос, и Левчук, вздрогнув, на секунду раскрывает глаза: он узнает радистку отряда Клаву.

— Каек это — не пойдешь? Как не пойдешь? Что мы тут тебе, больницу откроем? — гневно звучит бас их нового начштаба. — Пайкин!

— Я тут, товарищ начштаба.

— Отправляйте! Сейчас же и отправляйте вместе с Тихоновым. До Язьминок как-нибудь доберутся, а там у Лесковца перебудет. В Первомайской.

— Не пойду! — упрямо отказывается Клава.

— Поймите, Шорохина, — мягче вступает в разговор доктор Пайкин. — Вам нельзя тут оставаться. Вы же сами сказали: пора. И мы должны позаботиться о вашей судьбе и судьбе ребенка.

— Позаботишься тут о ней! Сама на рожон лезет.

— Ну и пусть!

— Убьют же к чертовой матери! — выходит из себя начштаба. — Ведь утром на прорыв идем, на брюхе ползти придется. Ты понимаешь это?

— Пусть убивают!

— Пусть убивают — вы слышали? Раньше надо было, чтобы убили. Поняла?

Наступила пауза, слышно было, как тихонько хлипала Клава, поодаль ездовой стеганул лошадь: «Каб цябе, ваукарэзина!»

— Пайкин! — более спокойным голосом сказал начштаба. — Хватит уговаривать. Сажайте на воз и отправляйте. С Левчуком отправляйте, — если что, он досмотрит. Но где Левчук? Ты же говорил, тут был.

— Тут, да. Я перевязывал.

Левчук под елью открыл один глаз.

— Левчук! А, Левчук! Грибоед, где Левчук?

— Ды тут недзе спау! Я бачыу, — послышался глуховатый голос ездового санчасти Грибоеда.

— Ищите Левчука! — распорядился начштаба. — Ложите на повозку Тихонова. И через гать. Пока еще эту дыру не заткнули. Левчук! — теряя терпение, окликнул начштаба.

— Я! Ну что? — раздраженно отозвался Левчук и, не спеша, выбрался из-под нависших почти до самой земли ветвей елки.

— Левчук! Топкую гать знаешь?

— Ну знаю.

— Давай, Тихонова отвезешь! А то пропадет парень. В Первомайскую бригаду отвезешь. Через гать. Разведка вернулась, говорит: дыра. Можно проскочить.

— Ну вот еще! Чего я в Первомайской не видел! Я в роту пойду.

— Какую роту! Какую роту, если ты ранен? Пайкин, куда он ранен?

— В плечо. Пулевое касательное.

— Ну вот, касательное. Так что давай на гать. Вот повозка под твое начало. И это... Клаву захватишь.

— Тоже в Первомайскую? — насторожился Левчук.

— Клаву?.. — начштаба замялся. — Клаву лучше в деревню какую. К бабе. К какой-нибудь опытной бабе.

— Бабе, бабе! — съязвил Левчук и отвернулся, передвигая на поясе кабур с парабеллумом. — Не хватало мне еще шляться по бабам. Нашли подходящего...

Ему не очень хотелось ехать. Но он не сразу нашелся, как отказаться, а начальство тем временем, видно, сочло разговор законченным. Начштаба, шурша плащ-палаткой, направился в кустарник, Пайкин исчез и еще раньше.

— Подсуропили начальнички! Ну ладно же, трасцу вашае матери!.. — растерянно проговорил Левчук, подтягивая ремень на пиджаке.

И вот они едут по лесу. Повозка в темноте с трудом пробирается через кустарник, ветви стегают по головам, царапают по доскам, по спинам. Впереди сидит Грибоед, сбоку Левчук, сзади Клава. В повозке лежит раненый Тихонов с забинтованной головой и забинтованными глазами. Слышно, как невдалеке бахают, эхом раскатываются выстрелы, иногда где-то загорается ракета и ее дрожащие отсветы отражаются в летнем небе.

Вскоре, однако, повозка выбирается из зарослей на лесную дорожку, ехать становится спокойнее. Грибоед тихо спрашивает всю дорогу молчащего Левчука:

— Гэта самае — сильно цябе паранила?

— Паранила, — уклончиво отвечает Левчук.

— Гэта каб косць не зачапила. Главное — косць. А мяса нарасце. Косць не зачэпляна?

— Я доктор, что ли? — недружелюбно отвечает Левчук. — Чертово это ранение! Все планы мне переиначило...

— Гэта где тябе?

— На Долгой Гряде. Где же еще!.. Кисель кинул «бычка» докурить, только рукой потянулся и — трах, получай! После четвертой атаки. Думал, хоть отосплюсь в санчасти.

— Дык паспау жа, — говорит Грибоед.

— Паспау, если бы не ты. Не твой длинный язык. Надо было выскочить?

— Ды я што? — пожимает плечами Грибоед. — Пыталися, я и сказау.

— Сказал! — зло говорит Левчук, неудобно сидя в повозке. Ему мешает раненый Тихонов и особенно его автомат, который Левчук хочет положить удобнее и тянет за ствол.

— Не трожь! — слабым голосом протестует Тихонов.

Левчук несколько удивленно отстраняется, вглядывается в дорогу, о чем-то напряженно размышляет. И вдруг говорит ездовому:

— Грибоед, стой!

Ездовой останавливает повозку. Вокруг почти все тихо, только шумит ветер в листве.

— Далеко гать?

— Да близка ужо, — говорит Грибоед. — Саснячок проедем, а там выгорына и грэбля.

— Туда не поедем.

— Во як! А куды ж?

— Давай куда в сторону.

— Як жа в старану? — несогласно говорит Грибоед. — Там балота.

— Поедем через болото.

Грибоед, недолго подумав, с очевидным нежеланием поворачивает лошадь. Они снова едут в кустарнике, через который с трудом пробирается лошадь. Грибоед, недовольно ворча, слезает с повозки, берет за уздечку лошадь. Левчук тоже соскакивает наземь и лезет вперед.

Они выбрались из зарослей на лужайку, стало светлее. Над росистой травой стлался туман — впереди лежало болото.

Повозка остановилась, а Левчук пошел по мокрой траве, пока под сапогами не стало чавкать, прислушался. Но впереди было тихо, в тумане дремали кусты олешника, где-то скрипела иволга. Левчук прошел дальше и остановился.

— Эй, давай там! — негромко окликнул он ездового.

Он подождал, но Грибоед очевидно не торопился ехать по его следу, и Левчук вернулся к повозке.

— Ты что?

— А куды ж ехать?

— Как куды? За мной едь! Куда я иду, туда и едь.

— У балота?

— Какое болото? Держит же.

— Тут дык дзержыць, а далей багна. Ужо я ведаю.

Левчук недоуменно чмыхнул, в упор рассматривая этого пожилого колхозника — босого, в кургузом, небрежно застегнутом немецком мундирчике и зимней шапке на голове.

— Сказали же, через грэблю трэба. Так жа сказали? А то балота...

Левчук саркастически ухмыльнулся.

— На грэблю, говоришь, да? Тебя сколько уже раз стреляли? Два? Ну так вот — на гати застрелят в третий. В третий уже хорошо застрелят. Без промаху. — И раздраженно добавил: — Что тебе немцы, дураки — без прикрытия гать оставить? Мало что разведка сказала — надо и свою голову иметь.

Грибоед внимательно выслушал и продолжительно, трудно вздохнул.

— Ну дык што ж! Я не против, ды як только?

— Двигай за мной!

Повозка тихо, почти без шума, катится по волглой траве, лошадь, которую за уздечку ведет ездовой, слегка припадает то на заднюю, то на переднюю ногу. Левчук идет впереди. Но вот и он наконец останавливается — впереди топь, кочки, осока. Над болотистым пространством ползет туман, в разрывах которого зеркально поблескивают окна воды.

— Ну во — уехали! — устало вздыхает Грибоед. Лошадиные бока тяжело вздымаются, задние ее ноги уже до колен погружены в болото.

— Ничего, ничего! А ну обожди. Пусть конь отдохнет.

Левчук бросает в повозку телогрейку и, хватаясь за ветви кустарника, смело лезет в болото. В одном месте он здорово проваливается, едва не по пояс, но как-то выбирается на более мелкое место возле ольшаника.

— Эй, давай сюда!

Повозка забултыхалась, лошадь испуганно задергалась и провалилась до живота. Минуту они бились на одном месте, но выбраться не смогли, и Левчук вернулся, здоровым плечом уперся в зад повозки, и лошадь как-то вытащила ее из топи. Сзади, молча подобрав над белыми коленями юбку, выбралась Клава.

— Ой, господи!

— Вот тебе и господи! — необщительно отозвался Левчук. — Закаляйсь, понадобится.

Он снова полез впереди. Но теперь уже всюду было болото, вода достигала до пояса. Он прошел метров сто, но всюду была трясина, осока, травянистые кочки и широкие окна топи, над которыми курился белесый туман. Тогда он вернулся к повозке и взялся рукой за оглоблю.

— А ну, взяли!

Грибоед дернул за уздечку, лошадка доверчиво шагнула раз и другой, напряглась, повозка немного сдвинулась и остановилась.

— Давай, давай!

Изо всех сил помогая лошади, они немного протащили повозку, то и дело останавливаясь, едва переводя дыхание. Так они долго боролись с этим болотом, пока наконец не выбились из сил и остановились.

Левчук был в растерянности, он уже начал сомневаться в правильности избранного им пути и, вытирая рукавом пот с лица, озабоченно оглядывался по сторонам. Может быть, действительно лучше было ехать на гать?

— Вот влезли, так влезли!

— Ну, я ж казау, — охотно подхватил Грибоед. — Улезли, как дурни какие. Як теперь вылезем?

— Может, с километр проехали, — сказала Клава. — О боже, я уже не могу...

— Трэба назад, — сказал ездовой. — А то и коня утопим, и гэтага... Ды и сами. Тут вокны ёсць — ого! Па галаву и яшчэ застанецца.

Левчук растерянно вытирал рукавом лицо и молчал.

— Подождите! — отдохнув, сказал он. — Я посмотрю.

Он снова полез в болото, стараясь как можно меньше плескаться в воде, однажды провалился едва не по шею, как-то все же выбрался на кочку. Но кочка оседала под воду, он оставил ее и взял в сторону, и так пробирался дальше — от кочки до кочки, часто отдыхая и вслушиваясь.

Вдруг тишину расколол недалекий выстрел, за ним другой, дробно раскатилась пулеметная очередь, глухо ударил миномет,

и мина с визгом описала свою крутую траекторию над лесом. Где-то невдалеке начался бой. Левчук по болоту бросился назад к повозке, возле которой встревоженно замерли его спутники.

— На гати, ага?

— На гати, — уныло подтвердил Грибоед,

— Ну вот, вашей матери! — выругался Левчук. — А вы говорили! Видишь, что делается на гати. А ну, вперед! Изо всех сил вперед! Раз-два, взяли!

Начинало светать, над болотом стлался сплошной, белый, как молоко, туман. На росистой траве на берегу, выливая из сапог грязь и воду, сидит Левчук. Рядом лежит на спине раненый Тихонов, сжалась от холода Клава. Поодаль с винтовкой в руках сидит Грибоед, и над всеми, свесив голову, стоит с хомутом на шее их конь. Сзади в болоте осталась затопленная их повозка.

— Ну вот, а вы говорили! — с удовольствием произносит Левчук, натягивая на ногу мокрый сапог.

Он то и дело оглядывается, вслушивается в звуки все еще не затихающего боя на гати. Левой рукой достает из кобуры пистолет, вытирает его о траву. Потом вынимает из карманов две раскисшие в воде картонные пачки патронов, выбрасывает их, ссыпав патроны в карман.

Тем временем светает, редеет туман, становится виден берег с кустарником, стылое болото рядом. Левчук берет автомат Тихонова, отмыкает диск, взвешивает его в руке — диск вроде полон. И вдруг на траве задвигался раненый.

— Пить... Пить дайте!

— Чего? Пить? Сейчас, сейчас, браток. Сейчас мы тебя напоим, — сочувственно отозвался Левчук. — Грибоед, а ну, сходи посмотри, может, ручей где...

Грибоед вставил в винтовку затвор и неторопливо пошел по берегу, а Левчук взглянул на Клаву, которая тихонько дрожала, прикорнув на боку. И он скинул с мокрого плеча подмоченную свою телогрейку.

— На, укройся! А то...

Клава укрылась и снова опустилась боком на влажную траву.

— Пить! — снова требовательно произнес Тихонов и неспокойно задергался. Клава, привстав, придержала его.

— Тихо, тихо! Сейчас принесет пить.

— Клава? — узнал раненый. — Клава, где мы?

— Да тут, за болотом. Ты лежи, лежи...

— Мы прорвались?

— Почти что. Ты не бойся.
— Где доктор Пайкин?
— Пайкин?
— Пайкин!
— Зачем тебе Пайкин? — сказал Левчук. — Пайкина нет тут.
Тихонов помолчал и рукой испытанно залапал подле себя.
— Автомат! Где мой автомат?
— Тут твой автомат! Куда денется, — сказал Левчук.
Раненый требовательно протянул руку.
— Дай автомат.
— На, пожалуйста! Что ты только делать с ним будешь?
Тихонов как будто успокоился, но вдруг без всякой связи с предыдущим спросил:
— Я умру, да?
— Чего это ты умрешь? — грубовато возразил Левчук. — Вынесем — жить будешь.
— Куда... Куда вы меня несете?
— В одно хорошее место.
После паузы Тихонов снова сказал:
— Позовите доктора.
— Кого?
— Доктора! Пайкина позовите. Или вы оглохли? Клава!
— Доктора тут нет. Он куда-то пошел, — нашлась Клава и ласково погладила раненого по рукаву.
Вдруг упавшим голосом тот произнес:
— Как же... Мне надо знать. Слепой я. Зачем я слепой? Я не хочу жить.
— Ничего, ничего, — сказал Левчук. — Еще будешь видеть. Потерпи!
— Мне надо... Мне надо знать...
Раненый замолк на полуслове, кажется, снова потерял сознание, и Левчук переглянулся с Клавой.
— Не повезло Тихонову, — сказала Клава.
— А это как сказать. Война не окончилась, еще неизвестно, кому повезло, кому нет, — несогласно ответил Левчук.
Скоро Грибоед принес в тапке воду, но десантник лежал без сознания и не отреагировал на его обращение. Из шапки лилась вода.
— Котелка нет? — спросил Левчук.
— Нет.
— Эх ты, дед-Грибоед. Не запасливый ты, — упрекнул Левчук.
— Я таки дед, як ты внук. Мне сорок пять годов тольки, — обиделся ездовой.

— Тебе? Сорок пять?

— Ну.

— Гляди. А я думал, все шестьдесят. Чего же ты старый такой?

— Того.

— Дела! — озабоченно выдохнул Левчук. — Надо посмотреть, может, где деревня какая?

— Залозье тут было, — сдержанно сказал ездовой. — Ну, близко Залозье повинно быть. Не спалена еще было.

— Тогда пойдем.

— А кали гэта самое... А кали там немцы? Мусиць же, их тут налезло, як тараканов?

Левчук помедлил с решением — немцев, разумеется, надо было остерегаться. Поднявшись, на мокрой траве села Клава.

— Левчук, надо идти, — с тихой настойчивостью сказала она.

— Ну вот видишь! Надо, значит, идти.

Они не сразу, по одному, повставали на ноги, взвалили на лошадь раненого, его автомат одели сверху ремнем на хомут. Раненый успокоенно положил на него свои руки, свесив вниз забинтованную голову. Придерживая его с обеих сторон, рядом пошли Левчук и Грибоед. Сзади шла Клава.

Уже рассвело. Над недалеким лесом всходило красное солнце. Они прошли через негустой кустарник и пошли краем поля. Левчук оглянулся на Клаву, которая с трудом поспевала за лошадью, неловко загребая сапогами в траве. На его лице отразилось скупое сочувствие, и, взглянув на солнце, он вдруг сказал:

— Смотри, Клава, солнце взошло!

— Солнышко всходит, смотрите, мальчики, солнышко всходит! — восторженно хлопает варежками девушка в новом полушубке, цигейковой шапке и привстает на коленях в санях. Трое парней рядом оборачиваются, глядят на разлившийся над лесом восход, улыбаются. Тут же, в санях, стоят две упаковки с рацией.

— Солнышка мы тут нагляделись, — говорит Левчук, неуклюже одетый поверх немецкого мундира в тулуп. — Разного...

— Ой, люблю, когда солнышко всходит! — не унимается Клава. Щечки ее горят от морозца, в глазах восторг от утренней благодати. По обе стороны зимней дороги сплошной стеной стоит сосновый лес, и вдруг Клава видит там летящую в ветвях белку.

— Белочка! Белочка! Глядите, вон белочка!

Она выскакивает из саней и бежит за белкой, Левчук бежит за радисткой. Поглядывая на белку, он не сводит влюбленного взгляда с девушки.

Потом они идут по лесу к дороге, здесь разлился ручей, и Клава не знает, как перейти через него в валенках. Левчук с преувеличенной осторожностью берет ее на руки и переносит на другую сторону, и она в знак благодарности целует его в щеку. Он, смущенно краснея, опускает ее наземь...

Они останавливаются на опушке кустарника, впереди раскинулась картофельная нива, и Левчук не сразу, оглядевшись, сворачивает на нее. Идет вдоль по бороздам, Клава несколько отстает, раненый то и дело сползает с лошади на бок, и они, остановившись, поправляют его, поджидая Клаву. На середине картофельного поля раненый, придя в себя, приподнимает голову.

— Долго еще? — едва слышно спрашивает он.

— Что — долго? — не понимает Левчук.

— Мучиться мне еще долго?

— Недолго, недолго. Потерпи немного.

— Где немцы?

— Да нет тут немцев! Чего ты боишься?

— Я не боюсь. Я не хочу напрасно мучиться.

Вдруг сзади раздается испуганный окрик Клавы:

— Левчук, Левчук, глянь!..

Клава присела в борозде и смотрит куда-то в сторону, где в километре от них в кустарнике стоит несколько крытых брезентом машин, между которых ходят немцы.

Левчук рванул на себя Тихонова и растянулся в картофеле. Рядом упал Грибоед, сзади — Клава. В борозде остался стоять один конь с хомутом на шее. Повернув голову, он вглядывался в непонятнее фигуры вдали.

— Во влезли, так влезли! Гэта табе не балота, — проворчал в борозде Грибоед.

Немцы, однако, занимались своими делами на дороге, кто-то вылез из кабины, кто-то пошел с ведром. Левчук пристально наблюдал за ними из картофеля.

— Што ж нам рабиць? — спросил Грибоед.

— Подожди, может, поедут.

— Холера на яго — конь! — просипел Грибоед. — А ну, гэть! Гэть! Гэть ты, холера!..

Но немцы уже заметили одинокого коня в картофеле. На дороге уже кто-то начал вглядываться в их сторону, к нему

подошел второй в шинели, с винтовкой в руках. Это встревожило Левчука, и он тоже зацыкал на бедную лошадь.

— А ну, пошла отсюда! Прочь! Прочь! Пошла прочь!..

Однако лошадь, оставив без внимания их тихие окрики, принялась спокойно скубать траву.

— Грибоед! Грибоед, а ну, отгони! Скорее!

— Гэть ты, халера! Гэть! Ах ты!..

Но никакие окрики не действовали, лошадь повернулась поперек борозды и начала пастись в картошке,

— Каб ты сдох! Каб тябе вауки сжерли!

Вдруг в борозде прохватится раненый.

— Что, немцы?

— Тихо! Лежи ты!.. — прикрикнул на него Левчук.

— Где немцы?

— Вон на дороге.

— Сюда идут?

— Да нет еще! Ты лежи...

— Якое не, — просипел в борозде Грибоед. — Идуць ужо.

Левчук на секунду выглянул из борозды. Двое немцев с дороги неторопливо зашагали по картофелю в их сторону.

— Где немцы? — снова прохватился Тихонов.

— Тихо! Замри!

— Идут?

— Идут.

— Брать идут? Нет уж, меня не возьмут!..

Рядом неожиданно треснула коротенькая очередь, Левчук бросился к Тихонову, выхватил из его рук автомат, но было поздно! Из откинутой головы раненого вдоль по борозде плыл ручеек крови.

Левчук вскочил на ноги и с колена дал очередь по немцам, которые сначала остановились, а потом бросились назад, к дороге. Рядом выстрелил Грибоед. Потом они все вскочили и что было сил побежали к недалекой опушке.

С дороги прозвучало несколько выстрелов, несколько пуль с тугим свистом прошло над их головами. Но они благополучно достигли кустарника, и Левчук выругался.

— Сволочь! Балда! Столько мучились с ним...

Сзади посреди нивы одиноко стояла их лошадь.

Вдруг Левчук, тяжело дыша, останавливается.

— Бегчи трэба, — говорит Грибоед.

— Подожди... А ну, возьми их на прицел! — говорит он и, передохнув, бежит назад по картошке. Подбежав к телу Тихонова, взваливает его на себя. Немцы с дороги открывают

огонь, несколько человек их выбегают из-за машин. Но тут с опушки начинает часто, хотя и малоприцельно, стрелять Грибоед. Немцы, постреливая, скрываются за машинами.

Левчук, низко согнувшись, несет на себе Тихонова, под обстрелом достигает кустарника, они все втроем зашиваются в чащу, некоторое время бегут в ней, пока на пригорочке среди орешника Левчук не падает вместе со своей ношей.

— Давай... Копай... Могилу копай!

Вдвоем с Грибоедом они быстро разрыхляют ножами мягкую землю, отрывают ямку. Левчук нарезает елового лапника, выстилает им дно ямки, в которую они торопливо опускают застывающее тело Тихонова.

— Ну вот! Так надо, — говорит Левчук. — Не ему, конечно.

— Гэта ты правильна, — соглашается Грибоед. — Каб им не достался.

Клава в изнеможении сидит на траве, из ее глаз скатываются две слезинки, а двое мужчин быстро засыпают могилку. Грибоед расправляется и скорбно сдвигает на затылок шапку.

— Вот, хто б подумал... Яки хлопец был!

— Ладно, — говорит Левчук. — Потом... Быстро пошли!.. А то...

Они быстро шли, бежали, нагнувшись, пробирались в зарослях, все дальше уходя от немцев. Иногда останавливались, отдыхали, поджидая все время отстававшую Клаву. На краю просторного луга она догнала их и упала коленками на траву.

— Не могу я... Не могу...

— Ну вот еще! — грубовато отозвался Левчук. — Что ж тогда нам делать? Нести тебя, что ли?

Клава, опершись на руки, минуту отдыхала, едва справляясь с дыханием.

— Кончай, пошли! — подгонял Левчук. — Луг перейдем, вон соснячок, там передохнем.

Они перешли луг, перелезли через ручей и поднялись на заросший молодым соснячком пригорок. Клава снова без сил опустилась на сухую траву. Левчук тоже сел, сбросил с головы пропотевшую кепку. Уже стало тепло, пригревало солнце,

— Да, дела! — сказал Левчук.

— Каня трэба! И фурманку. Бо без каня як? — сказал Грибоед.

— Был конь и фурманка. Все проворонили, балбесы... Слушай, дед, дуй-ка ты, поищи деревню. Может, где есть недалеко. Без немцев чтобы.

Грибоед с трудом поднялся на ноги, закинул на плечо винтовку и пошел вниз с пригорка.

— И не задерживайся. Слышь?

Клава устало лежала на боку, Левчук, посидев, поднялся, обошел пригорок. Было всюду тихо, и нигде не было видно никаких признаков жилья. Он вернулся к Клаве, снял сапоги, разбросал по траве мокрые портянки,

Клава большими глазами печально глядела в сосняк.

— Ты держись, Клава! Изо всех сил держись. А то не дай бог начнется — что мне тогда делать с тобой?

— Я понимаю. Наделала я вам забот. Ты уж извини, Левчук.

— Что извинять! После войны сочтемся.

— Ох, не дожить мне...

— Ты должна дожить. Он не дожил, а ты должна. Надо постараться.

— Разве ж я не стараюсь.

Клава тихонько заплакала, а он сидел рядом, вытянув к солнцу босые ноги, и не утешал ее.

— Главное, к какому-нибудь жилью прибиться. Да ни черта нет, все попалено, — сказал Левчук. — Интересно, как там отряд? Прорвались или нет?

Он оглядел Клаву, которая уже перестала плакать. Взгляд его задержался на ее мокрых сапожках.

— Сними сапоги. Пусть просохнут.

— Да ну...

— А ну, дай!

Он встал и стащил един ее сапог, а потом другой, Клава, подняв глаза, наверно, впервые взглянула в его лицо.

— У тебя как плечо? Может, перевязать?

— Да ну, ерунда.

Он снова сел на траву рядом.

— Ну и Тихонов! Отмочил номерок! Не ожидал такого.

— Испугался он, — сказала Клава.

— Испугался, факт. Но что бы мы делали, если бы не испугался?

— А может, он из-за нас?

— Поди вот, узнай теперь, — развел руками Левчук, — Откуда он родом хоть?

— А кто его знает! Из России откуда-то.

— А твой Платонов? Ты хоть адрес его родных знаешь?

— Адрес-то знаю, — сказала Клава. — Да что толку?

— Ах, Платонов, Платонов! — сокрушенно покачал головой Левчук. — Как я перед ним виноват!...

Клава молчала, он посидел еще, потом встал, походил по пригорку и снова вернулся к Клаве. Та спала, ему тоже очень

хотелось спать, и чтобы стряхнуть с себя дремоту, он взял автомат, отомкнул диск, снял с него крышку, пересчитал патроны. А из головы не выходила мысль:

— Ах, Платонов, Платонов!..

Запряженные парой знакомые сани мчатся по лесной дороге. В них — Левчук, двое разведчиков и Клава. Она сидит, откинувшись спиной к Левчуку, и тот удобно подставляет ей свое плечо.

Они въезжают в лагерь партизанского отряда, вокруг шалаши, землянки. Их уже ждут. Возле штабной землянки — группа командиров, все рассматривают новую радистку в санях. Среди них выделяется рослая фигура начштаба Платонова, он красиво улыбается, обнажая белые зубы.

Вдруг Клава цепенеет, глаза ее загораются радостной улыбкой. Она неподвижно сидит в санях, а Платонов, вдруг встрепенувшись, делает растерянный шаг навстречу.

— Клава!

— Виктор!

Она спрыгивает с саней, он подбегает к ней, хватает ее за руки, она счастливо улыбается, не сводя глаз с его растерянного радостного лица.

— Вот это встреча! Клавка, а я думал...

— А я знала... Я знала. Я нашла тебя.

Он бережно и смущенно обнимает Клаву и ведет ее в штабную землянку. Левчук хмурится, потом берет две упаковки радиостанции и с совершенно убитым видом несет их следом в землянку.

Левчук на пригорке, сидя придремав, прохватывается, сжав автомат. Из сосняка вылезает Грибоед, стряхивает шапку и подходит ближе.

— Ну что?

Грибоед устало опускается наземь, вытягивает ноги, кладет подле винтовку.

— Ды як сказать! Деревушка одна ёсть, да спаленая.

— Что толку — спаленая! — рассерчал Левчук. — Нам с людьми надо.

— Спаленая, ага. Гуменца и уцелело адно. С краю. Думал, пустое, гляжу, баба поркается каля жыта.

— Баба?

— Баба, ага.

— Говорил с ней?

— Да я не гаварыу. Убачыу — и назад. Спяшауся.

— Добро! — подхватился Левчук. — Клава, вставай. Это далеко?

— Не очень... Во саснячок, ров гэты, потым расцяроб... Жыта там...

— Ну сколько? Километр? Два? Три?

— Можа, два, ага. Або три.

— Пошли.

Клава с усилием поднялась, пошатнулась, едва удержавшись на ногах. Поднялся Грибоед, и они неторопливо, чтобы не отрываться от Клавы, пошли вниз. Обошли сосняк, вышли на лесную дорожку. Левчук сторожко оглядывался по сторонам.

— Ды никога няма тут, я ж ишоу, — сказал Грибоед.

— Гляди, какой смелый: шел. А вдруг — немцы?

— А черт их бери. Наверно, такая судьба. Куда денешься.

— Ну это, — знаешь!.. Это ты о себе можешь так думать. А нам еще жить хочется. Правда, Клава?

Клава, идя сзади, не ответила.

— А я, знаешь, так ужо и жить не сильно хочу, — загребая босыми ногами лежалый песок, сказал Грибоед. — Навошта мне такая жисць, коли моих никого нет. Ни бабы, ни дитенков. Война окончится, кому я трэба? Навошта?

— Чудак! Война окончится — в почете будешь. Ты же вон какой заслуженный! С первой весны в партизанах ходишь,

— С первой, ага.

— Орден заработаешь, человеком станешь. Хотя для ордена, конечно, не при повозке быть надо.

— Эт, нашто мне тот ордзин! Мне бы Володьку моего. Усех бы отдал — и дочек, и бабу... Абы Володьку одного...

— Что, убили Володьку? — спросил Левчук.

— Ну. На моих, считай что, руках. Разрывная в бок. И кишечки вылезли. Такие тоненькие, как птушиные. Собирал, собирал, ды что... Разрывная. И вот была семья, хазяйства — и ничога. Один остался...

— Плохо, значит, старался, — сказал Левчук.

— Што там старауся. Чалавекам жа хацелася быть. Пришли, попрасилися... А я што. Не выгонишь, бо параненыя...

— Это кто? Партизаны?

— Якия партизаны? Партизанау яще нигде не было. Абкружэнцы гэтыя. Двое. Адин сильно параненый.

— Принял?

— Ну, а як жа не прымеш? Узяу у хату. Ляжау параниты гэны. Палитрук оказауся. А нехта данес. Ну и наляцели. Як вауки у пилипауку.

— Это они умеют.

— Умеюць, ага. Абкружыли. Думау, на кани вырвуся. Где там! Як начали бить разрыуными. И Валодьку у санях...

— А политрук?

— Палитрука вывез. Валодьку одного потеряу. Ну и бабу. И малых дзве девачки было. Палицаи усех падчистую...

— Да, невеселые твои дела.

— Куды весялей... А ты заслужаны, кажаш. Каб хоть Валодька...

Они выходят из леса в поле, идут по меже во ржи. Впереди появляются признаки деревни — высокие деревья и сады, но построек нигде не видно, на их месте — следы пожарищ: обрушенные кирпичные трубы печей, угли, обгорелые бревна. Вокруг — запустение, разгром, на котором привольно растет сорняк: чертополох и осот.

— Куда ты привел нас? — спросил Левчук. — Где жилье?

— Чакай, чакай. Ходи сюда!

Грибоед свернул в сторону, перешел ручеек, обросший ольшаником, и они увидели маленькое в два строения гумно на пригорочке возле ржи и кустарника.

— Ну, бачыли?

— Так, тихо. Побудьте тут, — отстранил старика Левчук и быстро пошел к гумну.

Он перешел дорожку, ведшую из деревни в ольшаник, поднялся на пригорочек. Ближе к дороге стояла поветь с остатками соломы, потом — старый, с продранной крышей, обросший малинником ток. Левчук осторожно обошел его, приблизился к полурастворенным воротам. Поблизости на краю ржаной нивы росла яблоня-дичка, и на ней сидел старый ворон. Левчук махнул рукой — ворон, нехотя, снялся с ветки и полетел в сторону деревни.

Левчук приотворил половинку двери. Из тока над его головой прошмыгнули две ласточки, Левчук шире растворил дверь и переступил порог.

Напротив у стены на соломенной подстилке лежала полосатая дерюжка, здесь же стояли стоптанные бахилы и на стене висел кожушок. Кто-то здесь, видимо, жил.

— Эй! Есть кто живой? — негромко окликнул Левчук.

Но никто не отозвался, и Левчук вышел из тока, махнул Клаве с Грибоедом, напряженно выглядывавшим из кустов:

— Давай сюда!

Они подошли к току, Левчук распахнул дверь, и Клава вошла в ток. Увидев соломенную постель, она сразу упала на нее боком.

— Ну вот! Отсюда уже никуда не пойдем, — сказал Левчук. — Но где же хозяйка?

Левчук раскрыл дверь в затхлую, полную мрака осеть, по лестнице, приставленной к стене, взобрался наверх. Здесь тоже никого не было. Тогда он вышел, обследовал гумно снаружи, повглядывался в рожь, подошел к ольшанику рядом, за которым оказалась полоска картофеля. Левчук пригляделся, картошку уже кто-то копал, в конце борозды валялась подсохшая ботва, и Левчук вернулся в гумно.

— Эй, Грибоед! Давай посудину — бульбочки накопаем, — крикнул он.

Но Грибоед не отозвался. Левчук шагнул через порог, старик сидел, склонясь возле Клавы, и при его появлении недовольно замахал руками. Смешавшись, Левчук поспешил выйти наружу.

Во дворе он постоял, вслушался, потом, что-то поняв, насобирал палок и щепок, разжег посреди двора костерок. В малиннике под стеной нашел дырявый казан, заткнул щепкой дыру и набрал из ручья воды. Только он принялся греть воду, как из тока вышел Грибоед.

— Во добра, — сказал он. — Здагадливый ты.

— Ну как там? — спросил Левчук.

— Ничога. Все добра.

— А ты того... Что-нибудь понимаешь?

— Да ужо ж. Што-небудзь, — уклончиво ответил Грибоед, взял тряпку, сушившуюся на бороне под стеной, и снова исчез в току.

Вскоре он выбежал и полой мундира выхватил из огня казанок.

— Что, уже? — догадался Левчук.

— Ужо, ужо... Зараз ужо...

Грибоед побежал в ток, а Левчук подошел к двери и спросил, прислушиваясь:

— Так кто там? Парень или девка?

— Мужик! — незнакомым, ласковым голосом ответил Грибоед. — Харошы дятюк. Ходи сюды.

Левчук не очень решительно шагнул в ток и увидел в руках Грибоеда небольшой сверток из белого парашютного шелка. Рядом в полумраке чужой постели с испугом в глазах смотрела на него Клава.

— Во, гляди. Акурат Платонов.

— Ничего, ничего, — сдержанно похвалил Левчук.

— Во теперь нас, мужиков, будет трое, — озабоченно сказал Грибоед. — Чым тольки кормиться будем?

Левчук выскочил из тока, схватил пустой казанок и побежал через кустарник к картошке. Он начал лихорадочно выдергивать ботву и собирать в казанок маленькие еще, с голубиное яичко, картофелины, потом бегом направился к ручью, перемыл их, залил водой и начал варить. Он подкладывал дрова в огонь, согнувшись, дул в костерок, покорачивал казанок.

— У меня соли во трохи есть, — сказал Грибоед, выходя из тока.

— Да ну? Может, у тебя и хлеб есть? — сыронизировал Левчук.

— Не, хлеба няма. А посолить буде.

Став на колени у огня, он достал из нагрудного кармана, тряпицу, развернул ее, потом развернул бумажку и, взяв щепотку соли, бросил ее в казанок.

— Больше бери! Что это твоя щепотка, — сказал Левчук.

— Соль ощажать надо. Где ее возьмешь?

— Как там Клавка?

— Заснула. Хай поспить — ей теперь трэба.

— А малый?

— И малый спить. Сиську пососал и спить. А што ему....

— Ну добра. Сядь, посиди тут.

— Не. Я ужо у засень. Баюсь, галаву напячэ.

Он отошел в тень, под стену, и сел там в ожидании, когда сварится картошка.

Картошка весело кипела, сипя на огне, Левчук тыкал в нее протиркой от автомата и подкладывал наломанных им палок. Грибоед, наблюдая за ним, устало сидел на бороне под стеной.

— Ну что невеселый, дед? — спросил Левчук. — Все хорошо ведь.

— Харашо, да не все, — вздохнул Грибоед.

— Ну, а что? Тихонов?

— Хоть бы и Тихонов. Малады еще. Хиба жить не хотел?

— Жить всем хочется. Да всем не выходит.

— Во пра тое и думаю. А тут малый.

— А тут малый...

...Землянка, маленькое окошко бросает слабый свет на самодельный, грубо сколоченный стол, за которым у рации сидит Клава. Распахивается дверь, и на пороге появляется начштаба капитан Платонов.

— Клавка, пожелай мне ни пуха ни пера! — говорит он, радостно улыбаясь, и она бросается ему навстречу.

— Витя! — сдавленно говорит она. — А почему ты? Левчук же должен идти.

— Понимаешь, балбес этакий твой Левчук. Вчера на задании поддал, и командир его засадил в яму. На трое суток. Вот понимаешь... Но ты не беспокойся. Это пустяк...

— Ага, хороший пустяк! Там же полно полицаев. Да и немцы. Там же рота СД.

— Ерунда! Мы быстро. За одну ночь...

Он обнимает ее и выходит, она бросается следом, но раздаются звуки морзянки, и она возвращается к рации.

...Тем временем Левчук сидит на телогрейке в яме. Утро. С похмелья болит голова, он задумчив и мрачен. И вдруг сверху слышится:

— Привезли! Капитана привезли!

Левчук, не обращая внимания на крики часового, выскакивает из ямы и бежит по лесу к штабной землянке, у которой стоит повозка с убитым начальником штаба и рыдает Клава.

Вокруг, уронив головы, стоят партизаны. Останавливается и Левчук...

Очередной раз ткнув протиркой в картошку, Левчук сказал Грибоеду:

— Давай, отцеживай!

Грибоед, полой мундира прикрыв верх казанка, слил воду, снова поставил казанок на огонь.

— Хай посохне.

— Что ей сохнуть! Неси в ток, есть будем.

Грибоед взял казанок, Левчук раскрыл ему дверь, они вошли в ток. Клава, придвинув к себе маленький сверток с малым, застенчиво улыбнулась Левчуку одними губами.

— Давай есть будем. Вот бульбочка свеженькая. Наверно, свежей не ела еще в этом году?

Она попыталась подняться, и Левчук поправил под ее спиной солому, заложил от стены кожушок. Клава как-то устроилась, не выпуская из рук малого, поправила на лбу прическу.

— Спит? — спросил Грибоед.

— Спит. Что-то все спит и спит? — сказала она с некоторой тревогой.

— Ничога. Хай спить. Значится, спокойный буде.

— Спасибо вам, дяденька, — покорно сказала Клава.

— А не за што. Канешне, якая баба, можа бы, лепш управилась.

— А и ты неплохо, — сказал Левчук, устраиваясь рядом. — Не крику, ни плачу.

— Гэта не я. Я что... Гэта яна во...

Они взяли из казанка по картофелине, а Клава сидела, откинувшись к стене с малым под рукой, и Левчук заметил:

— Ну ешь! Чего ты?

— Там в сумке ложка была.

Он вытащил из-под соломы ее немецкую сумку, вынул из нее ложку.

— И фляжечка там, достань. Ради такого случая...

— Фляжка! Ого! Го-го! — обрадовался Левчук, извлекая из сумки белую алюминиевую флягу. — Самогончика?

— Спирту немного. Держала все.

— Вот молодец! — прочувствованно сказал Левчук. — Дай тебе бог здоровьичка и твоему малому тоже. Грибоед, так как? Потянем?

— Да ужо ж, кали такое дело, — смутился Грибоед, и глаза его как-то хорошо засветились в пестрых сумерках тока.

Они охотно и с некоторой даже торжественностью выпили: сначала Левчук, потом Грибоед, который тут же поморщился всеми морщинами своего обросшего щетиной, преждевременно состарившегося лица.

— А хай его! Ужо самогонка лепей...

— Сравнил! Это же чистый, фабричный. А то самогонка...

— Дык што ж, что фабричный? Кажу, самогонка приемней, мякчей будта...

— А ты выпьешь? — Левчук поднял глаза на Клаву.

— Ой, нельзя же мне, наверно...

— А чаму? — сказал Грибоед. — И выпей. Бывала, моя, як кармила, дык и выпье капли. В праздник. Рабенок тады спить добра.

— Ну я немножечко...

Она немного глотнула из фляги, и мужчины одобрили:

— Вот и хорошо! Теперь есть будем. А ну, навались. Бульбочка хотя и не чищеная, но объедение. Правда?

— Вкусная, да, — сказала Клава.

— Как грибы! Если бы только соли побольше. А, Грибоед? — сказал Левчук.

Грибоед повертел головой.

— Не, не дам. Савсем мало засталося. Ящe трэба буде...

— Не знал я. Не знал. Скупердяй ты!

— Ну и хай — скупердяй. Каб жа яе болей было. А то... На раз языком лизнуть.

Клава съела несколько картофелин и откинулась спиной на кожушок.

— Ой, как голова закружилась!..

— Это ничего! Это пройдет! — сказал Левчук. — У меня у самого оркестр играет. Так весело.

Грибоед серьезно, с укоризной посмотрел на него.
— Чего веселиться! Яще сонца вун где.
— Ну и что?
— А то. Да вечера еще вун кольки.
Левчук, проголодавшись, налег на картошку, Грибоед, помалу жуя, ушел в свои невеселые думы, Клава все успевала одновременно: и охаживала малого, и ела, и будто все вслушивалась во что-то, слышное одной ей. Левчук, заметив, это, сказал:
— Что? Что ты все ушами стрижешь?
— Я? Кажется, будто слышно что-то... Голоса будто.
Они все вслушались, потом Левчук взял автомат и вышел из тока. Но нигде никого не было, время приближалось к полудню, на дворе стояла жара. Левчук обошел гумно и вернулся в ток.
— Кажется тебе, Клавка. Нигде никого.
— Может, и кажется. Это у меня бывает. Я маленькая была такая трусиха. Боялась одна дома остаться. А вечером ни за что. Жили в Москве, на Саляной, дом старый, мышей была тьма. Отец часто в разъездах, а мать иногда припоздает с работы, так я забьюсь за буфет в угол и плачу. Мышей боялась.
— Мышей? — удивился Грибоед.
— Мышей, да.
— Мышей чаго ж бояться. Хиба мышь укусит?
— Мыши — не волки. Волка да. Волков и я напугался когда-то, — сказал Левчук и вытянулся на земляном полу. — Теперь бы кимарнуть часок. Как думаешь, Грибоед?
— Як знаешь. Ты — старший.
Грибоед доедал из казана картошку, Левчук зевнул раз и другой. Клава, ребенок. Волки и плач Клавы. И вдруг Клава всхлипнула и зашлась в каком-то неудержимом внутреннем плаче.
Левчук подхватился с пола.
— Ты что? Ты чего? Клава? Все же хорошо.
Клава минуту плакала. Грибоед со спокойной печалью поглядел на нее и сказал Левчуку:
— Ну ладна. Чаго ты? Хай и поплача. У кожнага нешта ёсть, чтоб поплакать. Хай.
Действительно, Клава еще раза два всхлипнула и вытерла рукавом глаза.
— Ладно, извините меня. Больше не буду.
— Ты брось так шутить, — серьезно заметил Левчук. — А то знаешь... И мы заревем.

Губы ее снова задрожали, казалось, она снова не сдержится, и Грибоед сказал:

— Ничога, усё добра. Галоунае — дитя ёсть. Вырасте. Война проклятая скончится, все наладится. У маладых усе наперадзе. Не то что у старога... Каб мне ваша гора!

— Да, — помолчав, сказал Левчук. — Давайте про что веселое. Вот могу рассказать, как я перед войной едва не женился.

Но Грибоед, не поддаваясь его легкости, сидел, уставясь перед собой, и говорил:

— Век сабе не дарую: ну нашто я его тады у сани взял? Почему не пакинуу дома? Можа б, и живы астауся.

— Ты это о ком?

— Да пра Валодьку. Пра сына.

— Ой, боже! — сказала Клава. — Что в мире делается! Раньше вот за себя все боялась, а теперь вдвойне мне бояться надо. За него вот! Такой малюсенький!.. Золотиночка ты моя горькая, несчастненький ты мой мальчишечка, как же мне уберечь тебя? Почему доля наша такая несчастная!

— Ладно тебе, — сказал Левчук и встал на ноги. — Будет плакаться. Вынянчим как-нибудь... Надо вот хорошее место найти. Видно, тут ни черта никого не дождешься.

— Рана яще яе чапаць. Лежать ей нада.

— Пусть и лежит. Ты карауль. Теперь я схожу. Может, в Круглянку подойти? Отсюда километров с десять.

— Кали не спалили.

— Или в Шипшиновичи. Хотя Шипшиновичи вряд ли уцелели — возле леса стоят... Дай котелок, воды принесу.

Грибоед потянулся за казанком, вдруг Клава опять встревоженно вздрогнула и вся сжалась в страхе.

— Что? — не понял Левчук.

— Слышите? Слышите?

— Да что? — переспросил Левчук и сам насторожился — откуда-то издали донесся тихий звук губной гармошки. Левчук молча схватил автомат и бросился к двери.

Дверь он чуть приоткрыл и тут же прихлопнул снова — в узкую щель и без того было видно, как по дороге из сожженной деревни ехали две повозки. За спинами седоков торчали стволы винтовок, и слышались звуки губной гармошки.

— Что, что там? — испуганно добивалась Клава. — Немцы, да? Немцы?

— Немцы! — упавшим голосом сказал Левчук и отскочил от двери. — Грибоед — в угол! Ты накройсь! — он выхватил из-под стены кожушок и набросил его на Клаву. — И лежи! Тихо только. Они — мимо.

Грибоед прильнул к щели в углу. Клава, прижимая к себе малого, сидела на постели. Левчук наблюдал в щель у дверей.

В двух повозках сидело семеро седоков, переехав ручей, повозки разом остановились, прозвучала команда, и седоки пососкакивали на дорогу. Недолго они разбирали оружие, боеприпасы, потом, разделившись на две группы, все разом направились к гумну. Левчук замер у двери, пальцем осторожно подвинул переводчик ППШ на автоматическую стрельбу.

— Левчук, что там? Что? Где они? — напряженным шепотом добивалась Клава, Но он только двинул рукой:

— Тихо!

Четверо от дороги свернули на эту сторону гумна. На минуту они скрылись за углом повети, потом появились у самой стены тока. Первым шагал рослый немец с обвисшим от тяжелых подсумков ремнем, с винтовкой в руке. В другой он докуривал сигарету. Его взгляд скользнул вдоль малинника, ненадолго задержался на двери и остановился на следах костерка посреди двора, от которого еще струился дымок. Что-то поняв, немец шагнул к двери.

Левчук прижался спиной к стене и вскинул автомат. Но не успел он нажать на спуск, как напротив подхватилась на постели Клава, и в напряженной тишине грохнул один, второй, третий выстрелы. Едва приоткрыв дверь, немец проворно юркнул за стену, Левчук сквозь доски дверей дал коротенькую очередь и растянулся под стеной на полу. Напротив, забившись за солому, под стеной нервно тряслась с пистолетом в одной руке Клава.

— Ложись! Ложись! — только успел он крикнуть, как первая пуля пронзила стену тока, отколов от бревна длинную сухую щепку. С обеих сторон гумна часто загрохотали выстрелы, пули насквозь пронизывали старое, струхлевшее дерево стен, осыпая ток пылью.

Левчук бросился к передней стене, выглядывая сквозь щели, которых тут было много. Выстрелы грохали со всех сторон, но на полу их спасал невысокий фундамент из камня. В углу на выстрелы начал отвечать Грибоед из своей винтовки, и Левчук, полежав, бросился в осеть, со стороны которой у них не было никакого прикрытия.

Осеть эта едва освещалась маленьким подслеповатым оконцем, он вышиб его прикладом и упал на пол. Сразу же поблизости раздался выстрел, и пуля вонзилась наискось от окна в стену.

Недолго полежав, он опять выглянул сбоку. Во ржи чернели две головы в пилотках, видно, немцы караулили их с этой

стороны, и Левчук стрикнул по ним коротенькой очередью. Потом, пригнувшись, выскочил в ток. Клава лежала под стеной за соломой, прикрывая собой младенца. В углу возле стены лежал Грибоед. Грохнул одиночный выстрел, взвизгнула под крышей пуля, и стрельба вдруг прекратилась.

— Грибоед, патронов много?

— Четыре обоймы.

— И все?

— Ну.

— А у тебя, Клава?

— Было восемь штук.

— Три выстрелила. Осталось пять. Да-а... Повоюешь тут.

Левчук, не отрываясь от щели, передвинул переводчик на одиночные выстрелы — надо было беречь патроны.

— Что же нам делать, Левчук? Боже мой, что же нам делать? — готова была зарыдать Клава.

— Тихо, лежи! Гляди на дверь. Ты гляди на дверь. Появится — бей сразу в лоб.

Вдруг откуда-то, наверно из-за повети, донесся приглушенный стенами крик:

— Эй ты, Левчук! Не пора ли сдаваться?!

Левчук вздрогнул, придвинулся ближе к щели.

— Эй, слышь? Пора сдаваться, пока не поджарили. Или ты уже того — загибаешься?

Грибоед, не отрываясь от щели, сказал:

— Гэ, то ж той, што перабег да немцев. Кудрауцау той.

— Кудрявцев?

— Ну. Што вясной боты у Гусака украл. Той, немецкий агент. Вунь за паветкай... За саломай вунь вытыркается...

— А ну, дай...

Левчук взял у ездового винтовку и, тщательно прицелясь, выстрелил. Потом выстрелил еще два раза. Но, видно, напрасно.

— Достреляешься, падла! — прозвучало в ответ. — Подвесим за челюсть. На телеграфном столбе подохнешь.

— А хо-хо ты не хочешь, подлец! — в ответ крикнул Левчук.

— Брось дурить, кретин! Высылай из сарая радистку и поднимай руки. Жить будешь!

— Я и так буду жить! А вот ты в веревке подохнешь, продажный пес!

— Ну, пеняй на себя. Огонь!!

Опять дружно и часто загрохотали выстрелы, пули со злым треском дырявили стены, крышу, мусором и пылью осыпая земляной пол.

Так продолжалось четверть часа, если не больше, и Левчук испугался, что они пойдут со стороны осети. По лестнице он бросился наверх, упал возле дыры во фронтоне и выглянул сверху на рожь.

Два немца во ржи, пригнувшись, пробирались к току, и он, злорадно ухмыльнувшись, взвел затвор. Тщательно прицелясь, он хлестнул одиночным выстрелом, немец нелепо, будто удивившись, выпрямился, повернулся на каблуках и рухнул боком в рожь, другой бросился к ольшанику. Левчук торопливо выстрелил по нему, но промазал.

Как только первая пуля ударила по засыпке осети, он скатился на ток и растянулся под стеной возле Клавы. От повети еще раза два хлестнули выстрелы, а потом почему-то все стихло, и в этой тишине снова раздался знакомый голос Кудрявцева:

— Эй ты! Живой еще? Хватит швыряться пульками. Давай радисточку и катись к чертовой матери! Слышь?

В току все молчали, Грибоед напряженно глядел на Левчука. Клава положила на солому младенца и заплакала.

— О боже! Ой, что же мне делать?.. О боже!

И тогда Левчук, лежа за камнями фундамента, громко закричал в щель:

— Эй ты! Иди возьми радистку! Ну! Иди, подлюга!..

И, вскинув автомат, пальнул сквозь стену — всего один раз, больше он не мог позволить себе, надо было беречь патроны.

— Ну, падла! — донеслось от повети. — Тогда держись! Сейчас мы тебя, как кабана, зажарим в соломе!..

Трое осажденных напряженно молчали, пристально наблюдая сквозь щели.

— Грибоед, смотри! — сказал Левчук. — Будут подползать — бей!

Но шло время, а к току никто не полз, и было тихо. Потом раздался выстрел, и пуля, сверкнув под крышей, пронизала навылет солому. Потом грохнуло еще раз, хотя трассы и не было видно. Но когда выстрелили в третий раз, Левчук понял, что они надумали, и у него от гнева перекосилось лицо.

Они начали обстрел зажигательными.

После четырех или пяти выстрелов в току потянуло дымом, это загорелась крыша. Клава испуганно обернулась и закричала, будто от боли:

— Левчук, Левчук!

— Тихо!

Крыша над их головами занялась дымным пламенем, в соломе быстро прогорала дыра, в току стало дымно и жарко,

посыпались искры и головешки от стропил. Грибоед ползком подался поближе к двери, туда же с младенцем на руках переползла Клава.

— Клава, в осеть! — скомандовал Левчук.

Клава перевалилась через порог и прикрыла за собой дверь осети. В току остались Левчук с Грибоедом, они молча лежали возле порога, ожидая, что будет дальше.

Перегорев в связке, в конце тока, обдав их роем искр, рухнула пара стропил. Левчук сапогом оттолкнул от себя упавшую с огнем головню.

— Ох ты, холера! — прохрипел Грибоед. — Муси зараз згорим!

Было жарко, и они едва не задыхались от дыма.

— Грибоед! — вдруг что-то сообразив, подал голос Левчук. — Грибоед, а ну, двинь дверью.

Грибоед винтовкой толкнул половинку двери, и та приоткрылась. Сразу же от повети грохнули два выстрела, две пули выбили по большой дыре в тонких досках двери.

— Халера на их!..

Уже пылала почти вся соломенная крыша тока, пол густо засыпало пеплом, гарью и огненным мусором горящей соломы. Грибоед прикрылся полосатой дерюжиной с постели, дым выедал им глаза.

Вдруг дверь в осеть растворилась и на пороге, заходясь в кашле, появилась Клава.

— Я не могу!.. Не могу больше! Левчук! Я выйду... Сберегите малого...

— Молчи! — крикнул Левчук. — Я тебе выйду! А ну, ползи сюда...

Она подползла к двери и легла рядом, а он стволом автомата толкнул простреленную половинку дверей. Опять трахнул выстрел, и пуля расколола дверную раму. Чтобы дверь не закрылась, Левчук крикнул Грибоеду: «Держи!», а сам подался к Клаве.

— Ну, давай! Сразу за малинник и в рожь! Быстро!

Она прижала к себе малого и минуту непонимающе глядела на Левчука. И тогда Левчук, испугавшись, что они скоро сгорят тут живьем, толкнул ее к двери.

Он ожидал выстрела, но с выстрелом те замешкались, Клава успела боком выскользнуть в дверь, за малинник, когда первая пуля ударила по косяку, потом раздалось несколько выстрелов подряд.

— Ах, холеры! — давясь от дыма, просипел Грибоед. — Забьют же! Левчук, ты давай! А я тут уже...

Что-то поняв, Левчук бросился по лестнице на осеть и растянулся возле знакомой дыры в конце тока.

Рожь густо застилал дым, Левчук, задыхаясь, выглянул и никого не увидел. Но тут же в дыму сверкнули две трассы. Это немцы стреляли из ольшаника, значит, во ржи они что-то заметили. Наверно, Клаву. Левчук направил в их сторону автомат и выпустил все, что оставалось в диске. Потом, почувствовав, что задыхается, и едва не теряя сознание, ухватился за бревно левой рукой и ринулся через дыру в малинник.

Оставшись один, Грибоед достает из кармана последнюю обойму, вынимает из нее пятый патрон и сует в нагрудный карман. Остальными четырьмя заряжает винтовку.

Крадучись, из-за повети на двор гумна выбегают два немца, и Грибоед прицеливается. Он долго целится, потом стреляет. Немец роняет винтовку и, схватившись за руку, убегает назад. Второй с колена стреляет по двери горящего тока.

Минуту они по очереди стреляют друг в друга и не попадают из-за дыма. Наконец Грибоед выбрасывает на землю четвертую гильзу и достает из кармана последний патрон.

Недолго он медлит, наблюдая, как немец, поднявшись, идет к нему, он не знает, как поступить с последним патроном, но, увидев его крепкое молодое лицо, прикладывается к винтовке и стреляет.

Немец падает на спину. Грибоед пытается встать, чтобы бежать, но тут сзади сквозь дым раздается трассирующая автоматная очередь, и он тихо опускается на землю.

Левчук, пригнувшись, бежит в дыму по истоптанной ржи, падает, снова вскакивает, все дальше уходя от пожара, от немцев, к лесу. Сзади по нему стреляют, кричат, но он бежит, задыхаясь от усталости, густо обливаясь потом...

Наконец он выскакивает из ржи и тут же подается назад — между рожью и ольшаником наперерез ему бегут два немца. Первый стреляет в него, и пуля взбивает землю под его ногами.

Пригибаясь, он бежит вдоль по ржаной ниве, вскоре выскакивает на заболоченную лужайку, оборачивается, приседает. Когда сзади появляются во ржи две пилотки, он дважды стреляет из парабеллума. Потом с пистолетом в руке обессиленно бежит к кустарнику.

Бег его все замедлялся, а преследователи тем временем тоже выскочили на лужайку и открыли сзади огонь.

Первая пуля прошла невысоко над его головой, но он не ускорил бег. Он перешел на шаг. Вторая пуля прорезала по

земле косой рикошетный след, третья пробила карман, из которого посыпались патроны. Он подобрал их из травы и, уже не оглядываясь, шел, пока не скрылся в ольшанике.

Потом он долго пробирался лесом. Его уже не преследовали, от усталости он пошатывался, заплетаясь ногами. Набрел на бор-беломошник, споткнулся о корень и упал.

Он уже не поднялся, а так и остался лежать, лишившись всех сил...

Во дворе Левчук поднимается со скамейки, берет чемоданчик и идет в подъезд. Поднявшись на этаж, он звонит три раза, но безрезультатно. Дверь 52-й не отворяется.

Он спускается вниз. Не спеша, убивая время, обходит двор и снова возвращается на скамейку под стеной гаража.

...Зима, ночь. Трое партизан-подрывников в белых маскхалатах лежат под завалом у железной дороги. На насыпи удаляется двойной силуэт патрулей-немцев. Старший группы Колобов тихо говорит Левчуку:

— Я сползаю. А вы — прикройте.

Он скрывается в лесном завале, трое остаются ждать. И вот с той стороны, куда удалились патрули, несется трассирующая очередь, начинается обстрел. В то же время слышится слабый крик Колобова, Левчук бросается через завал на ту сторону, находит друга, который ранен и не может подняться. Левчук перетаскивает его через деревья, потом взваливает на себя и несет в ночь.

...Уже все стихает, стрельба едва слышится вдали, а Левчук несет на себе Колобова. Тот без сознания. Левчук выбирается из леса в кустарник и долго бредет в нем по колено в снегу. Однажды он останавливается, чтобы перевязать раненого, весь бок и бедро которого залиты кровью. Перевязав его, Левчук поднимает голову и видит, как поодаль в кустарнике, пристально наблюдая за ним, стоит волк. Левчук махнул рукой — мол, пошел прочь, но волк только стригнул ушами, и тут Левчук увидел поодаль второго. Левчук взялся за винтовку, двинул затвором, но волки, как ни в чем не бывало, продолжали стоять в кустарнике.

И вот он опять идет редколесьем, несет на себе товарища, а на некотором расстоянии от него, не отставая и не опережая, идут семь волков.

Левчук выходит из кустарника, впереди голое снежное пространство замерзшего озера. Он в изнеможении падает возле

камыша на берегу, оглядывается. Но волков с одной стороны только трое, четверо обходят с другой стороны.

Левчук хватается за автомат, взводит затвор, но рядом поднимает голову Колобов.

— Постой, ты что?

— А что? Смотри, они окружают.

— Где мы — ты видишь? — сквозь боль просипел раненый.

Левчук вглядывается в ночное пространство озера, пригорок, на котором раскинулись в ночи дома недалекой деревни.

— Заровское озеро, — сказал Колобов и упал боком на снег.

— Заровское?

— Ну. И Заровье. Знаменитый немецкий гарнизон.

Левчук растерянно огляделся. Волки, разойдясь полудугой, ждали. Он схватил автомат, винтовку, взвалил на спину Колобова и быстро пошел в разрыв этого полукруга к озеру.

Возле камыша он здорово провалился обеими ногами, кое-как выбрался на снег, под которым была вода, добрел до льда озера. Ноги его в валенках до колен были мокрые, и на льду он скоро упал.

Когда он поднялся, волки уже сомкнули свое полукольцо, оставив лишь небольшой проход в лес. Но путь в лес ему был без надобности, ему надо было вперед, на озеро.

— Сашка, ты видишь? Ты глянь, что делается, — возбужденно сказал Левчук. Колобов приподнял голову.

— Ладно, ты иди, — сказал он.

— Как? Они же тебя тут...

— Иди. Оставь автомат и иди.

— А если они... На меня.

— Не бойся. Я останусь. Пригонишь лошадь.

Левчук вскочил на ноги, схватил винтовку и, охваченный внезапной решимостью, направился к самой середине волчьей цепи.

Он шел на волка, стоящего с опущенным на снег хвостом, винтовку он держал как палку, готовый ударить ею, если волк не уберется с его пути. И волк посторонился. Сначала нехотя, присев на задние лапы, потом не очень охотно отбежал в сторону и остановился.

Левчук сначала шел, оглядываясь, потом побежал по льду озера. Волки за ним не погнались. Они теснее окружили лежащего Колобова, и Левчук изо всех сил побежал к противоположному берегу.

Скользя на обмерзших валенках, он падал, вскакивал и бежал, боясь, что не успеет, что волки прежде расправятся с

Колобовым. Когда ночную тишину сзади разрезала пулеметная очередь, он остановился как вкопанный. Ночь загремела выстрелами и очередями, послышались крики, и Левчук, сорвавшись с места, помчался обратно.

Пока он бежал, перестрелка еще продолжалась, были слышны крики людей, он очень боялся опоздать...

И — опоздал.

Он понял это, когда увидел поблизости камыш, возле которого провалился в воду, и знакомое место на снегу. Оно было истоптано множеством волчьих и человечьих следов, среди которых темнели пятна крови. Ветер сдувал со снега темные клочья шерсти. Широкая борозда-след вела в сторону деревни, откуда доносились приглушенные голоса, смех, знакомая ругань.

Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, Левчук потоптался на снегу и устало побрел через озеро.

Левчук поворачивается на бок, садится. Вокруг лес, в ночном небе высятся огромные сосны. Он недолго сидит, что-то соображая, затем поднимается на ноги.

Откуда-то издали доносятся звуки стрельбы, и он сворачивает на них. Потом останавливается и, недолго подумав, идет в сторону, — пробирается в темноте своим прежним путем назад. Вскоре выходит из леса и бредет вдоль опушки, то и дело приседая, осматривая ночной небосклон, проходит вдоль поля ржи, и ему открывается догорающее в темноте пожарище.

Издали он обходит его, вглядываясь и вслушиваясь. Но, кажется, людей там нет, и он, крадучись, приближается к току, краем ржи обходит с той его стороны, где были ворота. Возле дички-яблони на минуту затаился, послушал. Рядом дверь тока, одна половина ее валялась, сорванная с петель, другая косо зависла, густо подолбанная пулями. И вдруг он там что-то заметил и подбежал ближе.

— Грибоед!

Отворачивая от дыма и жара лицо, он нащупал руками Грибоеда. Тот был мертв, Левчук пошарил по сторонам и нашел его шапку, с которой, отойдя на несколько шагов, он застыл перед током.

— Все-таки застрелили, гады!

...Тоже ночь, горит костерок, рядом шалаш санчасти, распряженная повозка, с которой торчат чьи-то босые ноги. У костерка сидит Верховец, санитар из санчасти, к нему с обвязанной головой подходит Левчук.

— Это кто там? — кивает он в сторону повозки.

— Да Грибоед, — говорит Верховец, грея над костром руки. — Застрелили вчера. Из пистолета, в затылок. Хлопцы из разведки случайно наткнулись, привезли. Завтра хоронить будем.

— Это где же его?

— Да возле своей усадьбы. И что ему там надобно было? Пошел и попался.

Левчук присаживается к костерку, докуривает самокрутку, они греются, не обращая внимания, что кто-то подходит сзади и тоже устраивается возле огня.

— Пагреюся у вас. А то акалел, халера...

Верховец подскакивает от удивления.

— Грибоед, ты что?

— Ды акалел, кажу. Ватовку нехта забрал...

— Ты же убитый!

— Я? Не-а. Пакуль не-а.

— А голова?

— А галаву пальнули. Балить, холера...

— Теперь уж пальнули, как надо... — говорит сам себе Левчук и вздрагивает. От сожженной деревни высоко взлетает ракета. Не долетев до гумна, она падает за ручьем и догорает.

Левчук бросается в рожь, но тут снова загорается ракета, — с другой стороны, от леса; он приседает во ржи, слушая, как со стороны деревни доносится свирепый собачий лай.

Когда догорает вторая ракета, он, пригнувшись, бежит по ржи к ольшанику, но вдруг слышит во ржи слабенький детский плач и останавливается почти в растерянности. Близкая очередь от дороги заставляет его распластаться во ржи, потом он вскакивает, чтобы бежать, и снова слышит плач ребенка. Он поворачивает назад, описывает полукруг во ржи и вдруг видит светлое пятнышко на самой земле. Левчук подхватывает сверток с ребенком и, прижимая его к груди, бежит к лесу. По пути он то и дело приседает и вглядывается в рожь, ожидая где-либо увидеть Клаву, но тщетно.

— Ух, гады, гады!..

Уже недалеко заливаются лаем овчарки, несколько трасс близко прошивают мрак, сзади загораются сразу две или три ракеты. Но он достигает кустарника и бежит, прижимая к груди младенца. Потом бредет по лесу, все дальше отходя от злополучного тока.

— Ух, гады! Ух, гады! — исступленно твердит про себя.

Рассвет застает его в редком старом ольшанике на краю болота. Часто оглядываясь, Левчук бредет по колено в осо-

ке, неся за пазухой белый парашютный сверток с младенцем. Сзади, то затихая, то становясь громче, доносится собачий лай. Похоже, его настигают.

Он идет вдоль болота по его твердому берегу. Собачий лай усиливается. Тогда он круто сворачивает в болото, бредет по воде, которая сначала доходит ему до колена, потом до пояса. Малый за пазухой начинает проявлять беспокойство, и он говорит:

— Ничего, ничего, браток! Еще мы посмотрим.

Он пробирается по болоту от кочки до кочки в направлении густого лозового куста. Болото становится все глубже, он снимает с себя пиджак и, завернув в него младенца, поднимает его повыше. Вокруг расплывается водяная муть, ноги скользят по корневищам, иногда он едва удерживает равновесие, стараясь не упасть, Он обходит голые, чистые окна воды, обросшие кувшинками, стараясь держаться поближе к кочкам, заросшим ольшаником; раздвигает грудью гладкую, покрытую тиной поверхность.

Тем временем совсем рассвело, где-то взошло не видимое за лесом солнце.

И вдруг раздается сильный собачий лай рядом. Левчук оглядывается и бросается к ближней, совсем крохотной кочке с небольшой молодой ольхой, криво поднявшейся над болотом. Тут оказалось глубоко по грудь, он прикрылся кочкой и остался так, кое-как пристроив на ее краю свою завернутую в пиджак ношу. Младенец ворошился, дергался, и он очень боялся, чтобы тот не заплакал.

Немцы достигли уже болота, и Левчук осел глубже, большим пальцем сдвинул предохранитель парабеллума и замер.

Первой на берегу появилась рыжая с подпалинами овчарка. Она быстро бежала по его следу, натягивая длинный ремень, зажатый в руке высокого немца. Потом появилась вторая овчарка со своим вожатым, и, наконец, высыпала из кустов вся их свора — десяток карателей, все в одинаковых, пятнистых маскировочных костюмах, с автоматами в руках, обвешанные сумками, магазинами, круглыми коробками противогазов. Они быстро шли за собаками по его недавнему следу.

— Ох, гады, гады!.. — шептал он, замерев за кочкой.

На несколько секунд они скрылись из виду в кустарнике, и он подумал, что, может, они пройдут мимо. Собаки, очевидно, потеряли его след и беспомощно взвизгнули: послышалась какая-то команда. Он оглянулся на большой и такой удобный для укрытия лозовый куст, едва превозмогая желание сейчас же перебраться туда. Но он не успел — они возвращались.

Он снова увидел их на берегу — в том же порядке они бежали по его следу назад. Мельком бросив взгляд на свой след в болоте, он внутренне содрогнулся: след был весь на виду: примятая осока у берега, раздвинутая пленка тины. Заметят или нет?

Но, кажется, они проскочили мимо, собаки пошли по его следу назад, и он впервые с надеждой тихонько вздохнул за кочкой.

Он немного переместил в тени ноги и улучшил свое положение. Малый на кочке, однако, все настойчивее проявлял беспокойство, и он тихонько гладил его левой рукой.

Немцы, слышно было, переговаривались поодаль, там же прозвучал окрик, и ему вдруг кто-то ответил рядом, напротив на берегу.

Левчук встревоженно оглянулся, чтобы податься куда с этого места, как увидел на берегу двух немцев. Один стоял у самой воды, а другой, с подвешенными на шее сапогами, осторожно пробирался прямо к нему по болоту.

Оставшийся на берегу подбадривал товарища:

— Forwerts, dort nicht tief![1]

— Hier ist der kluft![2] — отвечал босой, высоко переставляя ноги.

Левчук положил ствол пистолета на нижний сучок ольхи. Он направил его на край окна с разболтанной пеленой тины и ждал. Тут немец и найдет свой конец. Потом тот, с берега, расстреляет его. Вот и все...

Будто предчувствуя свой конец, немец, однако, не очень спешил, пробирался нехотя, осторожно передвигая ногами в холодной воде. Он подошел к кочке с кустом крушины, ухватился рукой за ветку и, наверно поскользнувшись на корне, боком сполз в воду. Пытаясь встать, упал и еще глубже, сбил локтем шапку, которая тихо поплыла по темной воде. Подняв вокруг муть, он, уже не разбирая дороги, пустился назад, на берег, где, хватаясь за живот, хохотал приятель.

Потом он раздевался на берегу, выкручивал одежду, натягивал мокрые брюки, обувался, Но вот опять издали послышалась команда, и они побежали куда-то по берегу. Задний на ходу натягивал на себя китель.

Не понимая, что происходит, Левчук насторожился, но тут же первая очередь взбила неподалеку болотную воду. Пуля

---

[1] Вперед, там не глубоко! (*Нем.*)

[2] Тут пропасть! (*Нем.*)

срезала ольховую ветку над ним, и та упала ему на плечи. Он по шею погрузился в воду, но затем медленно поднялся снова.

Отсюда уж ему уже стало видать, что там происходило. Они построились на берегу в шеренгу и начали расстреливать из автомата болото. Медленно продвигаясь вдоль берега, они поливали огнем каждую кочку, каждый кустик лозы, каждое деревце в болоте.

Немного было воспрянувший духом, Левчук снова потерял всякую надежду и только твердил про себя:

— Ах, гады, гады!...

Малый заплакал в пиджаке, но он не обращал на это внимания — за стрельбой ни собаки, ни немцы не могли услышать его слабенький плач. Собаки, заливаясь лаем, наверно, рвались в болото, в котором все кипело от пуль. Тысячами брызг бурлила болотная вода, в воздух летела осока, трава, ветки деревьев, взбитая с водой тина. Левчук опустился, насколько было возможно, в воду и ждал своей очереди.

Тем временем очереди приближались к его кочке. Вот поток пуль полоснул по его ольхе, сбив с нее вершину, которая косо зависла на стволе. На берегу появились сразу три немца, из трех автоматов они расстреливали тут все, что можно было расстрелять. Но почему-то их очереди шли над его головой, и Левчук, погодя, оглянулся. Ну так и есть — они все втроем били по самому густому кусту лозняка, за которым он только что собирался укрыться. В воздух над ним густо летела листва.

Но вот немцы перебежали по берегу дальше, их очереди пошли стороной, и Левчук, подхватив с кочки малого, подался за поредевший расстрелянный куст.

Всюду в воде плавала листва, корни водорослей висели на ветвях, ольхи светили ободранными боками. Но очереди сюда уже не летели.

— Так, тихо, браток! — сказал он малому, перевел дыхание и боком, погружаясь по пояс в воду, подался дальше в болото.

Болото кончалось, стало больше травы, местами трясина и кочки держали его наверху. Автоматы потрескивали в стороне, и Левчук устало пробирался к недалекому берегу, неся в пиджаке малого.

Он был весь мокрый, облеплен с головы до ног ряской и водорослями, и так, прыгая с кочки на кочку, иногда проваливаясь, выкарабкался на сухое. По пологому склону он взбежал на поросший вереском песчаный пригорок. Потом пролез сквозь чащу молодого ельника и набрел на какую-то лесную дорогу.

Он бежал, чвякая мокрыми сапогами, и, наверно, от этого его бега притих, перестал плакать малый. Тогда он перешел на шаг, но вот спереди раздались близкие голоса, и он бросился в ближний папоротник. Сгорбясь за кустом можжевельника, он видел, как на дороге остановились трое верховых с автоматами; один из них крикнул:

— Эй, а ну вылезай!

Не выпуская из рук малого, он вынул из кобуры пистолет но, по-видимому, они уже заметили его, и один смело направил на него лошадь.

— Руки вверх!

Левчук медленно поднялся, однако не выпуская из руки пистолет, и молодой парень в кубанке с автоматом ППШ на груди потребовал:

— Бросай пушку! Ну! И руки вверх!

— Да ладно, — примирительно сказал Левчук. — Свой, чего там...

— Смотря кому свой.

Тем временем в папоротник въехали остальные двое и окружили его.

— Гляди, да он же из болота, — догадался другой всадник — молоденький, остроносый парнишка с живыми глазами.

— С болота, факт. С того берега, — сказал первый. Третий, пожилой дядька с рябым от оспы лицом внимательнее вглядеался в него.

— Постой! Да это же из «Геройского». Ага? Левчук твоя фамилия?

— Левчук.

— Так это же, помнишь, как мы зимой разъезд громили? Еще в нас тогда из пулемета с дрезины пульнули.

— Вспоминаю, — сказал Левчук и улыбнулся. Он сунул пистолет в кобуру, а ребята поубирали за спины свои автоматы. Рябой с интересом спросил:

— Ты что — из болота?

— Ну.

— А это что?

— Это? Человек. Где тут, чтоб бабы? Мамку ему надо. Малый он, сутки не ел.

Партизаны удивленно глядели, как он развернул пиджак и показал малого.

— Ого! Действительно! Гляди ты... А где взял?

— Длинная история, ребята. К какой-нибудь бабе надо. А то пропадет.

— В семейный лагерь отдать, — сказал тот, что был в кубанке. — Кулеш, давай отвези, потом догонишь...

— Нет, сказал Левчук. — Я должен сам. Тут такое дело... Сам я должен, ребята.

— Ну ладно, — сказал старший. — Кулеш, покажешь ему дорогу и догоняй.

Рябой Кулеш завернул коня, и Левчук пошел с ним по дороге рядом.

— Это не по тебе немцы стреляли? Там, в болоте? — спросил Кулеш.

— По мне, да. Едва ушел.

— Сегодня тут ваших много пришло. Через топкую гать прорывались.

— Да ну? — радостно удивился Левчук. — Прорвались?

— Прорвались, да. А ты — по болоту?

— Ну. Думал, пузыри пущу. А у вас как? Пока тихо?

— Где там! — сказал Кулеш и омрачился. — Защемили и нас, сволочи. До вчерашнего дня было тихо, а вчера началось. Слышь, гремит? Отбиваемся.

Левчук уже слышал, как впереди гремела стрельба, лесное эхо громом множило выстрелы.

Они быстро шагали по дороге, Кулеш на лошади, а Левчук пешком.

— Уже недалеко, — сказал Кулеш. — Переедем ручей и — лагерь.

Вдруг им наперерез из лесу выбежали какие-то люди с винтовками, один, заметив их, замахал рукой, и Кулеш потянул повод.

— Что такое?

На дорогу выбежал смуглый, с восточными чертами лица человек в немецком мундире, с немецким автоматом в руках и огромным биноклем на груди.

— Кулеш, стой! Кто такой? — кивнул он в сторону Левчука.

— Это из «Геройского», — сказал за него Кулеш. — Во ребенка в семейный лагерь несем.

— Какого ребенка! — взъярился встречный. — Все в строй! Немцы прорвались, слышь что делается?

Из леса на дорогу выскакивали партизаны и, взглянув на них, быстро бежали вперед.

— Что ж, с ребенком в строй? — удивился Кулеш.

— Ладно, ты вези ребенка, — решил командир. — А ты в строй! Где винтовка?

— Нету. Один пистолет, — сказал Левчук.

— С пистолетом в строй! Шагом марш!

Секунду помедлив, Левчук отдал малого Кулешу, который поднял его на седло и пришпорил коня.

— Главное, к тетке какой, — сказал Левчук.

— Будет сделано. Не беспокойся!..

Он уже вскачь пустил было лошадь, Левчук побежал за командиром, как всадник круто осадил лошадь.

— Эй, а зовут его как?

— Зовут? — удивился Левчук и, ничего более не сообразив, вспомнил имя Платонова. — Виктор! — крикнул он. — Виктор, скажи. А фамилия Платонов.

— Ясно!

Кулеш пришпорил коня и исчез за деревьями, а Левчук, зябко содрогнувшись в своей мокрой одежде, побежал догонять партизан.

Левчук терпеливо сидит на скамейке под стеной гаража. Солнце скрылось за крышами высоких домов. Двор живет своей привычной для него жизнью: возятся дети в песочнице, взрослые подметают дорожки, выбивают ковры. Старушки уже оставили свой пост у подъезда и скрылись в доме.

Наблюдая жизнь большого двора, Левчук думал свои, важные теперь для него думы.

Главное — узнать, какой он. Веселый, общительный? У капитана Платонова было такое лицо, приятно смотреть. И кто он? Возможно, инженер, специалист по машинам, может, даже сам строит машины, автомобили например. Это было бы здорово! Ели врач — тоже неплохо. Может, даже лучше, если бы врач. А то теперь в медицине почти сплошь женщины, а что женщины? Только ругаться с ними... Может, кандидат каких там наук. Было бы приятно. (Левчук улыбается.) Хотя, конечно, главное, чтоб был человеком: приветливым в обращении, не пьяницей, чтоб не ругался. Хорошо еще, когда человек удачливый в жизни, но не за чужой счет. А то столько их развелось, этих ловкачей, строящих свое благополучие за счет других! Умных с выгодой для себя.

Нет, на него надо надеяться, больше на кого же? Своего сына вот не дал бог — три дочки. А у дочерей все от матери, от отца ничего. Тут, конечно, ему повезло не много, если не сказать, что не повезло вовсе. Как и на войне тоже. Через то проклятое ранение пришлось расстаться с рукой, занял место Грибоеда в санчасти. Наградами тоже не баловали, и всю жизнь

грела мысль, что он спас человека. Этого вот сына радистки Клавы и начштаба Платонова.

Тем временем с улицы в подъезд проходит пожилой человек с сумкой и в шляпе; потом двое молодых парней в легких сорочках, за ними двое — молодая женщина и невысокий лысоватый мужчина с острыми худыми плечами. Из подъезда выбегает девочка с мячиком.

Левчук переводит взгляд на балкон и минуту наблюдает там молодую женщину в легком халатике. Неслышно выйдя из квартиры, она поливает из стеклянной банки цветы. К ней выходит моложавый мужчина в майке, что-то говорит, она бросает рассеянный взгляд вниз, и они оба неслышно исчезают в раскрытых дверях квартиры.

В это же время у гаража появляются две знакомые Левчуку девочки, торопливым шагом они ведут с собой третью с мячиком.

— Дяденька, дяденька, вон Танечка, она вот из пятьдесят второй квартиры.

Все три девочки останавливаются перед Левчуком, который в замешательстве рассматривает шестилетнюю Танечку.

— Танечка?.. Платонова? Ага?

— Платонова, — стеснительно говорит девочка.

— А твой папа... где?

— Папа дома. Он на футбол с мамой ходил. А я у тети Фени была.

— Вот оно как! Ну что ж... Веди меня, Танечка. Я в гости к вам.

Он поднимается со скамейки, берет чемоданчик. Танечка проходит вперед, две девочки деликатно пропускают их впереди себя.

— Ну вот, Танечка, я и дождался. Я вас тридцать лет искал. Куда я не писал только! И вот — теперь я увижу.

Преодолев вдруг охватившее его волнение, Левчук расслабленно направляется к подъезду, медленно поднимаете по знакомой лестнице на третий этаж. Знакомая дверь закрыта, но Таня, опередив его, раскрывает ее и скрывается в квартире.

Он, задержавшись, запоздало стучит в дверь, и из квартиры доносится мужской голос:

— Да, да, заходите...

1974 г.

ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

Фильм первый

Солнце высоко

Осень. Заволоченное тучами небо, ветер. В поле железнодорожный переезд с обломанным шлагбаумом и будкой-сторожкой на обочине. По грязному разбитому проселку бредет усталая колонна бойцов в шинелях с петлицами, касках, с грязными обмотками на ногах. На обочине стоит комбат — худой капитан с небритым лицом, в плащ-палатке.

— Старшина Карпенко!

Один из шагавших по дороге людей поднимает голову и выходит из колонны на обочину.

— Со взводом! — говорит комбат.

Карпенко полминуты поджидает бойцов, которые по одному сворачивают за своим командиром. Их набирается немного, и комбат говорит недовольно:

— Что, только четверо?

— Вот я пятый, — вздохнув, говорит Карпенко.

— Да-а, — озабоченно говорит комбат и оглядывается: дорога за переездом лежит пустая, батальон уходит последним, сзади могут появиться лишь немцы.

— Карпенко, получай новую задачу, — говорит комбат, — перекрыть дорогу. На сутки. Завтра, как стемнеет, отойдете за лес. А день продержаться.

— С четырьмя-то человеками? — удивляется Карпенко.

— С четырьмя, да. Хотя... — комбат кричит вслед колонне: — Свист! Ко мне!

От колонны отделяется белобрысый парнишка с подоткнутыми под ремень полами шинели и длинным ПТРом на плече.

— Вот вам бронебойщик на усиление. Последний. Отдаю, не жалко. Сам с бутылочками остаюсь...

— А шанцевый инструмент? — напоминает Карпенко.

— Ищите сами. Тут, может, что-нибудь найдется. Лопаточки-то у самих должны быть. Зароетесь и стоять! Только до вечера — одни сутки.

— Ого! Целые сутки!

— А что? Тихо пока, немцы где-то застряли. Так что — ни пера, ни пуха!

Комбат подал старшине руку, и тот растерянно пожал ее, продолжительным взглядом проводил уходящего комбата. Потом повернулся к своим подчиненным.

Все пятеро смотрели теперь на своего командира. Приземистый, мордатый Пшеничный — с недовольством и озабоченностью, высокий и худой, в очках, Фишер — с безразличной угрюмостью, статный Овсеев — нахмуря красивые брови, живой Свист — в вопросом на курносом лице, как бы ожидая, а что дальше? Любопытство теплилось и на молодом, почти мальчишечьем лице Васюкова.

— Ну что? Что смотрите! — прикрикнул на них Карпенко. — Давай за работу. Всем копать. Нечего зенки пялить.

Он перепрыгнул канаву и, шастая сапогами в бурьяне, отмерил несколько шагов.

— Вот отсюда и начнем. Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка есть, начинай.

Пшеничный положил в бурьян винтовку и вытащил из-за ремня большую саперную лопату. Карпенко отмерил от него еще десяток шагов.

— Овсеев, держи место!

Овсеев оглянулся окрест, каблуком ковырнул грунт. Карпенко прошел дальше к линии железной дороги.

— Ну, кому тут? Фишер! Хотя у него же лопатки нет! Белоручка чертов! Столько на фронте, а лопатку еще не добыл. Ждет, пока старшина даст. Теперь вот чем хочешь, а копай!

Фишер, поправляя одним пальцем очки на носу, тупо глядел в бурьян под ноги, и Свист, окинув его взглядом, подмигнул Васюкову:

— Вот задачка ученому!

— Не болтать! — оборвал его старшина. — Марш вон к тому столбику и копай.

Старшина с Васюковым подошли к будке-сторожке, старшина отворил скрипучую дверь и переступил порог. В сторожке стоял топчан и была настылая печка. Пол был затоптан случайными захожими. Сквозь выбитые окна дул ветер. Старшина потрогал холодный бок печки и по-хозяйски оглядел помещение.

— Если бы стены потолще. А то... на соплях. Одной очередью — навылет.

— Если окна завесить... — нерешительно начал Васюков.

— Некогда завешивать. Копать надо. Давай вот возле угла и рой. А я по другую сторону. В центре.

В поле вечерело, накрапывал мокрый дождь. Шестеро бойцов на переезде вгрызались в твердый глинистый грунт. Час спустя Пшеничный зарылся почти до плеч, далеко отбрасывая по полной лопате землю. Сноровисто, в распоясанной гимнастерке, копал Свист, что-то напевая про себя. Копал, недолго отдыхая, Овсеев; у самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную ячейку старшина Карпенко. По другую сторону сторожки прилежно долбил землю Васюков. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, раскрыв в озябших руках толстую книгу.

За этим занятием и застал его старшина Карпенко, когда, набросив на плечи шинель, вылез из окопа.

— Ну что? Так и сидишь? А окоп я за тебя выкопаю? Так думаешь, да?

— А я н-ничего не думаю!

— Так какого же черта расселся? Какого черта расселся, я спрашиваю?

Фишер с недовольным видом закрыл книгу и встал на ноги.

— М-можете не кричать н-на меня. Освободится лопата, и я сделаю все, что требуется. Без ненужных эксцессов. Вот.

Старшина в упор, осуждающе поглядел на бойца.

— Эксцессов! Никаких эксцессов! Не положено по уставу. Бери вон мою лопатку и за мною марш. Поставлю в секрет.

Фишер с молчаливой покорностью надел через голову лямку противогаза, закинул за плечо винтовку и отправился за старшиной. В руке он все держал книгу, заложив ее пальцем.

Они спустились по проселку в лощинку, перешли деревянный мостик и стали подниматься по косогору с двумя березами на обочине. Достигнув берез, старшина свернул по старому жнивью в поле и оглянулся, поджидая отставшего Фишера, который на ходу снова уставился в книгу.

— Ты что — направду ученый? — смягчаясь, спросил Карпенко.

— Кандидат искусствоведения, — холодно ответил Фишер.

— Вот как! А депутатом не стал?

Фишер промолчал.

— А что за книга? Не библия часом?

— Биография Челлини.

— Кого, кого?

— Челлини. Художника итальянского Возрождения.

Карпенко помолчал, деловито шагая по мокрой стерне.

— Фашиста, значит.

— При чем — фашиста! Не все итальянцы — фашисты.

— Один черт! Что итальянцы, что немцы, все фашистами оказались.

— Ничего подобного. Фашизм пришел и уйдет, а культура остается. Она принадлежит не фашизму, а народу и его истории. Вот, узнаете? — Фишер, раскрыв книгу, повернул ее к старшине. — Давид. Великого Микеланджело. Между прочим, тоже итальянца.

Карпенко с любопытством посмотрел на фотографию в книге.

— А что это он... Нагишом?

— Ну, была такая манера. Идущая от времен античности. Спартанский культ человеческого тела.

— Минометов не было тогда. Они бы им показали культ тела.

— Минометов не было, — вздохнул Фишер. — Но войн было не меньше. И крови хватало.

Карпенко прошел еще шагов пятьдесят, остановился, поглядел вперед, оглянулся на видневшийся в километре от них переезд.

— Вот тут и копай. Окопаешься и сиди. Спать ни боже упаси. Пойдут — открывай огонь и — на переезд.

Фишер кивнул понимающе и лопаткой принялся неумело ковырять землю.

— Да кто же так копает! — опять возмутился Карпенко. — А ну дай сюда!

Он взял лопатку и умело растроссировал в стерне контуры окопчика.

— Вот как надо. Кадровой не служил?

— Не довелось.

— Оно и видать. А теперь... Видно, не тебя мне надо было в секрет ставить.

— Почему? — насторожился Фишер.

— Да ну, что ты? Еще уснешь. Овсеева надо бы. Или Васюкова.

Фишер, ковыряя лопатой, промолчал. Старшина достал из кармана кисет, бумажку, начал ладить цигарку.

— Вам виднее, конечно, — сказал наконец Фишер. — Только...

— Ладно, — оборвал его старшина. — Но смотри мне! Не проворонь!

Он сунул цигарку в рот, но прежде чем зажечь спичку, замер. На востоке за лесом протрещала далекая очередь, ей ответила вторая, в темнеющее небо вспорхнули и рассыпались несколько красных ракет.

— Что такое? — удивился Карпенко. — Неужто обошли? Ах сволочи!..

И он побежал с косогора к своему переезду.

На переезде первым отрыл свой окопчик Пшеничный. Он тщательно разровнял бруствер, сделал ступеньку в стенке, наломал поблизости охапку бурьяна и, бросив ее на дно окопа, начал устраиваться на ночлег.

В это время раздался треск очередей за лесом.

Все еще копали, а Пшеничный выскочил из окопчика.

— Эй! — крикнул он товарищам. — Слышите?

— Что? — высунул голову Свист.

— Окружають, что! Или вы оглохли? Видите! Ну?

Васюков, Овсеев, Свист, бросив работу, выбрались на поверхность.

— Дела! — сказал Овсеев. — В самый раз, кажется.

— Неужели окружают? — спрашивал Васюков.

— А то что же! Факт, не булка с маком. Слышите, слышите!.. — не унимался Пшеничный.

— Ладно, хватит уши вострить! — прикрикнул на него Свист. — Где старшина?

— Фишера в секрет повел, — сказал Васюков.

— Я тут! В чем дело? — запыхавшись, заговорил старшина, появляясь из-за будки. — Чего постали, как столбы на обочине? Чего не слышали? Пулемета давно не слышали?

— А того стали — окружають! — сказал Пшеничный.

— Кто сказал — окружают?

— А что — не видать?

— Подумаешь, окружают! Ну и что? Сколько уже окружали. От самой границы. И что? Не окружили же. Вот — топаем.

— Мы-то топаем. А сколько не топают? Оттопались.

— А ты помалкивай, Пшеничный! Кому как, а тебе бы помалкивать надо. Понял?

— Что, намекаешь? На соцпроисхождение намекаешь?

— Не на соцпроисхождение. А на твою дурью башку. Понял? Сколько уже выговоров имеешь? Полдюжины. Поступим круче. Как положено. По уставу.

— Да пошел ты! Как положено! Кем положено? Не тобой положено, не тобой и взято будет, — проговорил Пшеничный, но замолчал и отошел в сторону.

Все недобро молчали.

— Баста! Помитинговали и будет. Давай копать круговую. Ячейки соединим траншеей.

— Слушай, командир, — сказал Овсеев, подпоясывая шинель. — А может, отойти? Пока не поздно?

— Не было такого приказу. Приказ был стоять. Сутки. Сутки и будем стоять. Ячейку выкопал?

— Выкопал, — сказал Овсеев.

— А ну покажь!

Старшина подошел к ячейке Овсеева, спрыгнул в нее, примерился к высоте бруствера.

— Не пойдеть! Углублять надо. На два штыка, не меньше. И траншею к Свисту. Понял?

Овсеев молча постоял и со злостью скинул ремень с шинели.

— Кажется, досталась работка!

Пшеничный еще постоял немного, вглядываясь в стемневшее над лесом небо, и спрыгнул в свою ячейку. Тут было тихо и уютно, как может быть уютно в ветреную ночь в окопе. Пшеничный устроился на охапке бурьяна, развязал вещмешок, достал из тряпицы кусок сала, горбушку хлеба. Отрезая по ломтику сало, начал жевать его с хлебом, раздраженно ворча про себя:

— И еще намекает... На соцпроисхождение намекает, хиба не ясно... Из кулаков, подкулачников... Голова дурья... Какой я ему подкулачник? Я каменщик. Рабочий, значит. А что батька был, так при чем я? Сын за отца не отвечает, вот... А он?.. Помалкивать... До войны знай помалкивай, теперь тоже. Слова сказать нельзя. Так, глядишь, молча и на тот свет отправишься...

Над его окопом появляется силуэт Васюкова.

— Дайте лопатку, а? Ваша большая, сподручнее траншею копать.

Пшеничный дожевал и ответил:

— Свою надо иметь.

— Да я имею. Но коротенькая, понимаете?

— А мое какое дело...

Помолчав, Васюков повернулся и ушел. Когда его шаги затихли, Пшеничный снова принялся ворчать.

— Все дай им! Как что — к Пшеничному. А так небось все за него... за Карпенко. А за Пшеничного никто не закинет слова. Как же — классово-чуждый элемент. Как выборы или на учебу, так классово-чуждый. А воевать вот не классово-чуждый. Голову под пули подставлять сгодится, стало быть. Но дудки!

Пшеничный тоже не дурачок. Вы еще узнаете Пшеничного. Подождите маленько...

Ночь. Моросит мелкий холодный дождь. Бойцы роют траншею, соединяя ею одиночные ячейки. Старшина Карпенко темной тенью на фоне серого неба ходит по брустверу.

— Ну как, Васюков?

— Да вот, немного осталось.

— Давай, давай! Сегодня зароешься, завтра как у мамки за пазухой будешь. Мать где живет?

— Недалеко. Да что толку? Под немцем мать.

— Худо дело — под немцем. А батя? Воюет?

— Нету батьки. Вдвоем с матерью жили. Я за хозяина был.

— Что ж, понятно. Давай, вкалывай, хозяин. А то... сам знаешь.

Карпенко подошел к Овсееву.

— Ну, а у тебя как дела?

— Да что дела? Попалась какая-то скала, не менее того. Долбишь и никакого сдвига.

— Плохо долбишь, значит. А ну дай сюда.

Карпенко спрыгнул в траншею и взял у Овсеева лопатку.

— Дома чем занимался? До войны, значит?

— Учился, — сказал Овсеев.

— На кого, интересно?

— Да так, — уклончиво ответил Овсеев. — Музыке учился.

— Музыке... Небось в столице жил?

— В столице, да. В Москве. А что?

— Да ничего. По проспектах гулял? Кино, театры...

— Были и театры. А как же.

— Были... А теперь вот нет. А теперь траншеи. Правда? И мозоли на руках? И трудно. И есть хочется. И грязь. И холод. И вши кусают. А?

— Война, — вздохнул Овсеев.

— Вот то-то. Война!.. А ну еще на пару штыков. И бруствер, бруствер! Замаскировать все бурьяном, чтоб мне за десять шагов не видать.

— Да ладно...

— Что ладно? Что ладно? Ты понимаешь, что завтра будет?

— Хана будет, — просто ответил Овсеев.

— Молчок! А ну молчок мне! Будет что будет, понял? Но до вечера надо выстоять. А раз надо, то надо. Приказ!

Овсеев, трудно вздохнув, взялся за работу.

К полуночи выгнутая дуга траншеи соединила пять стрелковых ячеек, и Карпенко, в десятый раз обойдя ее, разрешил:

— Теперь можно и зашабашить! На пару часов.

Они все сошлись в будке-сторожке, прикрыли плащ-палатками окна, Свист, расколов саперной лопаткой доску, разжег печку. Карпенко прилег на топчане, а остальные расположились перед огнем на полу.

— Пшеничный, а ну давай котелок, — сказал Свист.

— Для какого лешего? Варить все равно нечего, — недовольно отозвался Пшеничный.

— Давай, давай! И потряси свой сидор. Авось чего найдется.

— У меня ничего нет.

— У меня полпачки горохового концентрата есть, — сказал Васюков.

— Ну во. У меня полпачки пшена. Давай, Пшеничный, водички набери.

— Где ее тут наберешь?

— Под крышу поставь. Слышь, течет.

Пшеничный вскоре вылез из будки, прикрыв за собой дверь, а Свист тут же подхватил его вещмешок и ловко запустил в него руку.

— А ну проверим! Наверно, брешет, мурло. Так. Ремень командирский — ишь ты, форсануть захотел. Какая-то банка. Портянки сухие. Сахару кусок. О, братва, сало! Ей-богу! Повезло, горох с салом будет.

— Слушай, Свист, нехорошо так. Попросить бы надо, — сказал Карпенко.

— Ого, допросишься у него! Жмот такой...

Пришел Пшеничный, подал Свисту полный воды котелок и уселся в углу на свое место.

— Слушай, Пшеничный, а у тебя часом какого сальца кусочка не имеется? — лукаво спросил Свист.

— Нет, — коротко ответил Пшеничный.

Дрова в печке хорошо разгорелись, в будке стало теплее, печка зверски дымила, но дым никому не мешал. Все смотрели на огонь, ждали, когда закипит вода.

— Тихо, — сказал Васюков. — Вроде нигде ничего. И стрельбы не слышно.

— Завтра услышишь, — со значением сказал Овсеев.

— Завтра он даст прикурить — это точно, — сказал Свист. — Дорога. По дороге попрет.

— А может, еще где пойдет, — сказал Васюков. — переезд маленький, на что он ему.

— Переезд вшивый, а на нем, гляди, клювы сложим, — сказал с раздражением Овсеев. — Командир, ты про это не думал?

— Овсеев, — глуховатым голосом после паузы сказал с топчана Карпенко. — А ну бери винтовку и на пост.

— А почему я? Хуже всех, что ли?

— Без разговоров!

— Давай, давай, музыкант! Каши оставим, — сказал Свист.

Овсеев посидел немного, поднялся, запахнул шинель и вышел.

— Умный человек, промежду прочим, — сказал Свист. — Все знает.

— Пусть про себя знает. И помалкивает, — сказал Карпенко. — Нечего мне тут дезорганизацию наводить.

— А, промежду прочим, правду говорит.

— Правду? А на кой она, эта его правда? Мандража у каждого своего хватает, — зло выпалил Карпенко.

— Ладно, командир. Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь! А ну доставай ложки — кашка, наверно, сварилась.

Свист выхватил из печки горячий котелок и устроил его на полу.

Бойцы, оживившись, начали доставать ложки.

— Ну, как кашка, Пшеничный? — спросил Свист, облизывая ложку, прежде чем засунуть ее за обмотку.

— А ничего, скусная.

— Вот спасибо тебе. А то говорили — Пшеничный жмот.

— Я?

— Ты. А я говорю — добрейшей души человек. Для друзей куска сала не пожалеет. Так же ведь?

Что-то заподозрив в его словах, Пшеничный схватился за свой вещмешок.

— Ворюга ты! — сказал он, обнаружив пропажу.

— Я? — удивился Свист. — Какой же я вор? Твоим, но тебя же, дурака, и накормил. А то бы до утра с пустым курсаком сидел.

— Вор! Вор! Ну погоди. Блатняк проклятый.

— Вот съели и хорошо. А то бы завтра твое сальце какой-нибудь Гансик тоненькими ломтиками и себе на бутерброд и порезал бы. До кавы! А так вот красные армейцы скушали! Защитники родины.

— Какой обормот тебя из лагеря досрочно выпустил? — злился Пшеничный. — Тебя бы там десять лет держать.

— У тебя не спросили вот. Прокурор мне нашелся!

— Ладно, хватит! — оборвал их перебранку Карпенко и после паузы спросил: — А за что ты в лагерь попал? Небось по пьяному делу?

— Ну почему это по пьяному? — обиделся Свист. — Что я, алкаш? Я обормот, бестолочь, это верно. Но не алкаш. Так, выпить любил, но в меру.

— Так за что все-таки?

— А, было дело. Длинная история. Но...

— В Саратове жил, — откинувшись на полу и глядя в огонь, с блаженной улыбкой на белобрысом лице говорил Свист. — Городок, скажу вам, на все пять. Волга! Простор, ширина. Четыре года как не был, душа истосковалась. На Монастырке жили. С мамашей. Учиться не любил. Дисциплина хромала. Мать, бывало, ходит по вызовам в школу, лупит меня, а что толку! Подрос, работать пошел. На шарикоподшипник. Сперва ничего, а потом надоело. Утром втулки и вечером втулки. Сегодня втулки и завтра втулки. Бросил. Однажды дружки познакомили с одним. Фамилия была Фролов. Не было печали, так черти накачали. Так ловко, сволочь, подъехал. Угощал. Денег у него уйма. Хочешь, говорит, устрою на тепленькое место? И устроил. Продавцом в хлебный магазин. Время было голодноватое, сами понимаете. А мне — лафа. Продаю месяц, второй, Фролов обучает. Он по этому делу мастер. Деньга, и правда, появилась. Много денег, не привык столько иметь, не знал даже, что с ними делать. Все не пропьешь — пол-литра всего шесть рублей стоит...

— Врешь! — оборвал его Пшеничный. — С деньгами все можно сделать.

— Что все? Что все? Что ты в деньгах понимаешь, душа копеечная...

— Ладно, хватит вам, — прикрикнул старшина. — Давай дальше.

— Ну а дальше что же? А дальше появилась в нашей компании Лелька. Девка, брат, такая, — увидишь — закачаешься! Как-то гульнули на Зеленом острове, не сдержался я — сгреб ее и поцеловал. Думал, по морде хряпнет, а она куда там — обхватила, прижалась, да как вопьется в губы — дух заняло! Ну, так и пошло. Встречаемся, милуемся, но чтоб Фролов не знал. Очень Фролова боялась. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы однажды такая история не приключилась.

Снаружи отворилась дверь, и в сторожку просунулась голова Овсеева в мокрой пилотке.

— Ну, вы меня смените сегодня?

— Сменим, сменим. Постой еще немного, — сказал Карпенко.

— Вымок уже, а они тут расселись... — Овсеев захлопнул дверь. Свист продолжал:

— Договорились с ней как-то встретиться в Липках — уже не помню в какой праздник, — прихожу, а она стоит у танцплощадки рядом с этим самым Фроловым. Почувствовал я недоброе, но вида не подал, подхожу, здороваюсь. А Фролов берет меня так под локоть и выводит на боковую аллейку, говорит: оставь Лельку, не трожь — не твоя. А чья, говорю, может, твоя? Злость во мне разыгралась, поцапались мы, хорошо я ему двинул, но тут набежали его дружки, которые, оказывается, следили за нами. Оказались в отделении, протокол и так далее. Смотрю, эта собака не свою, чужую фамилию называет, и документ у него соответствующий в кармане. Взбунтовался я — ах так, тогда ведите к главному! Позвали начальника, взял я и рассказал про все. И про хлеб, и про всю эту банду. Ничего не утаил, утаил только про Лельку. Так он ее, падла, сам на суде выдал. Судили нас после, ну и получили срок. Мне пятерку дали, Фролову червонец.

— Понятно, — сказал Карпенко. — Дали. Было за что.

— Было, кто говорит, что не было. Но все отбыл, как полагается. Теперь я человек чистый. Так думаю.

— Это еще как поглядеть, — заметил Пшеничный.

— А нечего глядеть. Делом доказал. Вон два танка под Дроздами подбил? Подбил.

— Мало что — подбил! Я, может, тоже кого подбил...

— Стоп вам, точка, — сказал Карпенко. — Васюков, пойдика Овсеева подмени. Пусть каши поест.

Но не успел еще Васюков встать, как его опередил Пшеничный.

— Я пойду. А он пусть меня сменит.

— Ну, давай ты.

Пшеничный быстро собрался и вылез в дверь. В будку вошел озябший Овсеев.

— Льет? — спросил Карпенко.

— Льет и льет, — потирая руки, недовольно сказал Овсеев. — Промок весь.

— Садись, давай. Садись вот поближе к печке. Свист, а ну подвинься. Каши вот тебе оставили.

Овсеев, постепенно отходя от холода и своего недовольства, устроился подле огня и начал выскребывать из котелка. Рядом, разомлев от жары, лежал на боку Свист.

— Насмотрелся я, знаешь, и в лагере, и на воле на разных людей и скажу вам: чудной это зверь — человек. Не знает, чего ему надо. Выкомаривается, как малое дитя, пока его красный петух в зад не клюнет. А клюнет, тогда враз ум появится. Это я о себе говорю.

— Оно так, — согласился Карпенко на топчане. — Только пропади она пропадом, война эта. Мне она всю жизнь поломала. Да разве одному мне.

— Всей стране поломала, — сказал Овсеев. — Народная трагедия.

— Ничего, уж к Москве не допустим, — сказал Свист. — Я слышал от умных людей — тактика такая. Поглубже заманиваем. Как Наполеона в восемьсот двенадцатом. А что — хорошая тактика.

— Тактика-то хорошая, — раздумчиво начал Карпенко, но Овсеев его перебил:

— Никакая это не тактика. Прет все, потому что превосходство в технике. К тому же удар внезапный и вероломный.

— Пусть так. Пусть даже вероломство. Все равно Москву не отдадим. Не можем мы отдать им Москву — совесть не позволяет.

— Слышал я, — тихо сказал старшина. — Политрук говорил. Рабочий класс их должон помочь. Должон выступить, а как же. Ну, пролетариат германский...

— Жди, выступит, когда рак свистнет, — сказал Овсеев.

— А я так думаю, должон выступить, — стоял на своем Карпенко. — Ты как, Свист, считаешь?

Свист пожал плечами.

— По науке полагается. А там кто знает.

— А ты, Васюков?

— Не знаю, товарищ старшина.

— Да, выходит, в меньшинстве мое мнение. Ну ладно, посмотрим. А пока вот на самих себя полагаться будем. — Он спустил с топчана ноги. — Что ж, часок соснуть можно. Только не всем сразу.

— Соснуть — это пожалуйста! — весело отозвался Свист. — Соснуть мы всегда могём.

Карпенко, накинув шинель, вышел из сторожки, окликнул темный силуэт часового:

— Пшеничный, ну как?

— Тихо пока.

— Ну смотри! На рассвете стучи подъем.

— Сделаю...

Карпенко обошел переезд, повслушивался, вгляделся в ночь, где сидел в секрете одинокий Фишер, и вернулся в сторожку. Здесь он свернул цигарку, прикурил от угля из догоравшей печурки и растянулся на своем топчане.

Сон его почему-то не брал, хотя он не раз смеживал веки, все виднелся почему-то его уход на эту войну, момент прощания с женой Клавкой.

...В армию его провожали в первый день войны. Он и еще трое таких мобилизованных пришли к колхозному клубу, где их ждала полуторка и провожало несколько мужчин. Все были настроены бодро, мужчины жали руку Карпенко, желая скорого возвращения, скорого разгрома врага. «Ждем писем из Берлина», — говорил его деверь, а пожилой Грибовец все порывался рассказать случай из той, «николаевской», войны.

— Значит, это как окружили мы их в фольварке, как ударили в штыки, глядим, немчики: «Капут, капут!» и все руки вверх в плен, значит, сдаются. Взял я их шешнадцать человек и пригнал по дороге к штабс-капитану нашему...

— Ну ты что! — говорил деверь. — Ты тогда с винтовочкой. А Карпенко пулеметчик, ворошиловский стрелок, глядишь, не шестнадцать — шестьдесят пригонит. Давай Карпенко, не трусь!

И вот в разгар бодрых мужских напутствий в их тесный круг прорвалась его молодая жена Клавка и с ревом повисла на его шее.

— Ванечка, родненький!..

— Ты что? Ты что — постыдись людей. Чего ты ревешь? Вернусь с победой, вот увидишь. Разгромим врага на его территории.

— Ой, родненький, ой родименький мой, не вернешься же ты никогда! Никогда же я тебя не увижу больше! — повисая на его шее, причитала Клавка, и он зло оттолкнул ее от себя.

— Замолчи! Замолчи мне! И прочь отсюда!

Она, рыдая, отошла за спины людей, а он бодро повернулся к мужчинам.

— Ну, до скорой встречи, мужики!

— Однако затянулась встреча, — сказал он про себя и спустил с топчана ноги — погасла цигарка. Осторожно ступая между спящих бойцов, подошел к печке, взял уголек, прикурил. При вспыхнувшем огоньке цыгарки увидел задумчивые, широко раскрытые глаза Васюкова.

— Чего не спишь? — спросил он шепотом.

— Так, — вздохнул Васюков.

— Вздремни часок. Пока тихо.

Карпенко с цигаркой растянулся на топчане, а Васюков закрыл и снова открыл глаза. Он глядел на мерцающие огни в печке, а перед его глазами стояли другие картины: его деревенская околица и на ней новый сруб, усыпанный щепками двор и мать, согбенную под тяжестью бревна, которое она подавала концом ему на угол сруба.

— Может, хватит на сегодня, сынок? Может, отдохнул бы?

— Не, мама, — сказал он, подумав. — Последний венец уже, надо дорубить.

— Сколько ты уже порубил, дитятка мое! На такие молоденькие плечики — такая работа.

— Кто же за нас сделает, мама? Был бы отец, а так...

— Божечка, такой молоденький... Другие вон в игры играют, веселятся, а он...

— Ничего, мама! Вот достроим, повеселюсь.

И он достраивал. Спешил до зимы закончить, чтоб перейти в новый дом. Дорубил сруб. Ставил стропила. Крыл крышу соломой. Мать помогала. По мере того, как рос дом, светлело ее лицо...

И теперь ему все чудится, все видится, как его новый дом

...горит. Пламя с дымом бушует до неба, бегает, плачет мать.

...разваливается от взрыва снаряда, разлетаются стропила и бревна, и на дворе ничком лежит убитая мать.

...как дом таранит немецкий танк, и он обваливается, а в окне, вскинув руки, застыла в ужасе мать...

Когда дверь за старшиной закрылась, Пшеничный, зло оглянувшись на нее, просипел:

— Я вам постучу подъем!

И, еще подождав немного, отошел подальше от будки, перепрыгнул кювет и вышел на дорогу. Тут он остановился, вслушался. Потом быстро пустился вниз по дороге к мостку.

Быстро шагая по лужам, он что-то зло бормотал про себя, иногда оглядываясь. На востоке уже светлел край неба, начинало светать. Дождь перестал. Пшеничный прошел по дороге к двум березам, огляделся. Сторожка едва белела вдали, впереди никого больше не было.

Пройдя еще немного, он размахнулся винтовкой и швырнул ее в бурьян за канаву. Расстегнул шинель — стало тепло. Потом достал из кармана кусок хлеба и стал на ходу жевать его, поглядывая по сторонам.

Так на его пути оказалась деревня — крайний дом, изгородь, на ней забытая мокрая тряпка. Послышались какие-то голоса, и Пшеничный замедлил шаг.

Вдруг из-за хаты появился немец, с усилием кативший на дорогу мотоцикл, за ним шел другой в длинном плаще и в офицерской фуражке. Первый поставил ногу на заводную педаль и увидел Пшеничного.

— Хальт! Хальт!

Оба они схватились за оружие, и он проворно вскинул вверх руки.

— Я плен. Плен. Рус капут.

— Капут? Я, я. Гут капут.

Немцы опустили оружие, первый подошел к нему и обшарил его карманы, заглянул в красноармейскую книжку.

— Пишенишни. Ротермеен, — прочел он и передал книжку офицеру. Тот брезгливо взял ее рукой в кожаной перчатке.

— Я сам плен. Плен, плен, — растерянно твердил Пшеничный.

— Гут, гут плен, — сказал офицер и переглянулся с другим. — Форвертс плен!

Он махнул рукой вдоль деревенской улицы, Пшеничный, не понимая, потомтался на месте, и немец несколько подтолкнул его автоматом.

— Форвертс!

Он пошел — неуверенно, в полном смятении, предчувствуя скверное. Наперерез ему со двора вышла женщина с пустыми ведрами на коромысле, увидев его и еще что-то за его спиной, она ужаснулась, и он, схватив взглядом этот ужас на ее лице, понял, что все кончено.

Когда сзади ударила очередь, он упал растерянный и смятенный — такого он не ожидал, на это он не рассчитывал...

От этой очереди прохватился из полусонного забытья Фишер.

Он совершенно окоченел в своем неглубоком, по грудь, окопчике, и то дремал, то бодрствовал, теперь вскочил и ничего не увидел — стекла очков запотели от дождя. Он долго и неумело протирал их, потом цеплял дужками за уши, и когда одел, увидел, что уже светало и что на дороге никого нет. Он подумал, что выстрелы ему приснились, и начал, притаптывая, греться в окопе, как услышал отдаленный треск мотоциклов.

На несколько секунд Фишер остолбенел в окопчике, потом дрожащими руками зарядил винтовку. Когда вдали на доро-

ге появились мотоциклисты, он начал целиться. Но руки его тряслись, запотевали очки, ствол ходил в стороны, попасть в таком положении нечего было и думать. Но и мотоциклы двигались медленно по грязной разбитой дороге, их было три с колясками и тремя седоками на каждом. Фишер сгорбился, широко расставил в грязи локти и, затаив дыхание, выстрелил. Вскинув голову, посмотрел на дорогу. Но мотоциклисты катили себе как ни в чем не бывало. Тогда он прицелился и выстрелил снова. И снова никакого результата. И он, торопливо прицеливаясь, начал часто бить по дороге.

От его пятого выстрела там что-то случилось. Мотоциклы были уже возле берез на самом близком от него расстоянии, и передний мотоциклист остановился. Офицер, сидевший в коляске, оглянулся назад, к нему бросился другой, с заднего сиденья. Фишер заметил это и сильно дрожащими руками начал перезаряжать винтовку.

Но он не успел. Один из мотоциклов рванулся с дороги, перескочил канаву, и треск пулеметной очереди разорвал тишину. Фишер повернулся в узком окопчике, выпустил из рук винтовку и, обрушивая комья земли, сполз на самое дно.

Он уже не слышал, как возле остановился мотоцикл и молодой белобрысый мотоциклист в зеленом пятнистом комбинезоне, спрыгнув с сиденья, подбежал к окопчику. Сперва он запустил в него длинную очередь из автомата, потом подошел ближе и глянул на убитого. Фишер покорно скорчился в тесноте окопа. Немец постоял немного, брезгливо отбросил сапогом его противогазную сумку, из которой выпал черствый кусок хлеба и толстая книга в черной обложке. Потом сел на свой мотоцикл и покатил к дороге.

В поле никого не осталось, и ветер принялся листать страницы отброшенной книги. «Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентийца, написанная им самим» — значилось на ее титуле.

Первые выстрелы на дороге подняли с топчана Карпенко, который свирепо скомандовал спящим:

— В ружье!!

Свист и Васюков, щуря заспанные глаза, вскочили с пола и бросились из сторожки. За ними бежал побледневший Овсеев. Все попрыгали на свои места в траншее, Карпенко, передернув рукояткой, зарядил пулемет. Они вглядывались в поле, где один за другим грохали одиночные выстрелы, но дорога лежала в тумане и на ней никого не было видно.

— Где Пшеничный? — крикнул Карпенко.

— Нету Пшеничного, — сказал из-за сторожки Васюков.
— Сволочь! Я так и знал...
— Командир, командир, смотри! — крикнул Свист.
На дороге возле берез появились мотоциклисты, передний вдруг остановился и один, свернув с дороги, направился по стерне в поле, к окопчику Фишера.
— Убегай! Убегай же, дурень! — стучал кулаком по бровке окопа Карпенко, но Фишер уже не убегал. Вскоре они увидели, как мотоциклист вернулся на дорогу, и вся группа поползла по косогору вниз к переезду.
— Внимание, замри! — скомандовал Карпенко и припал к своему пулемету.
Защитники переезда замерли в своих окопчиках. Свист вел за мотоциклами длинным стволом ПТРа. Дрожащими руками удобнее устраивал на бруствере винтовку Васюков. Бледный Овсеев низко припал к брустверу и не шевелился.
Мотоциклы не успели еще спуститься в ложбинку, как из туманной дали дороги появились два бронетранспортера. Мотоциклы остановились. Из переднего бронетранспортера что-то прокричали мотоциклисты, и затем оба транспортера стали не спеша спускаться по дороге к переезду.
— Свист! — крикнул Карпенко. — Начнешь с заднего! Слышь?
— Будь спок! — просто ответил Свист.
Передний бронетранспортер еще не достиг мостика, как из него вдруг вырвалось «бу-бу-бу...», и по насыпи железной дороги, брустверу траншеи, по крыше сторожки, разбрасывая землю, пробежала первая крупнокалиберная очередь. По лицу Карпенко стегануло грязью, но он даже не утерся. Он задержал дыхание, туго вперев в плечо приклад пулемета, и дал первую очередь.
Рядом звонко ударил ПТР Свиста, на броне передней машины сверкнула искра, транспортер метнулся на обочину и съехал колесами в кювет. Второй бронетранспортер рванулся вперед. И снова рядом гулко ударил из ПТРа Свист. На дороге заметались мотоциклы, и полдесятка пулеметов оттуда ударили по переезду.
Но старшина уже пристрелялся, и его пулемет длинной очередью осыпал дорогу. Минуту спустя два мотоцикла уже валялись в придорожной канаве, передний мотоциклист, свесив руки, мертво лежал на руле. Задний мотоцикл, вырвавшись из-под огня, на полном газу удирал по дороге. После нескольких выстрелов Свиста транспортер загорелся, расстилая над

полем длинный хвост черного дыма. Другой стоял в канаве, завалясь в нее левым бортом. Несколько пеших немцев удирали вдоль дороги к березам.

Расстреляв по ним полный диск, старшина схватился за запасной и впервые оглянулся на своих бойцов. Свист торопливо бил зажигательными по второму бронетранспортеру, с оживлением на повеселевшем лице высунулся из окопа Овсеев. За углом поклеванной пулями сторожки часто бахал из своей винтовки Васюков. Карпенко рукавом шинели вытер вспотевший лоб.

— Ладно, стой! Перекур! Побережем патроны...

И откинулся к стенке траншеи.

Нехотя оторвался от своего ПТРа Свист, поднял над бруствером голову Овсеев. За углом сторожки замолчал и Васюков.

— Свист, молодец! — сказал старшина. — От лица службы тебе благодарность.

— А ты что ж думал? — огрызнулся Свист. — Ружьецо что надо. Для меня эти коробки что семечки.

— Ладно, буде хвастать! Но горит хорошо!

— Понимаешь! — оживленно заговорил Свист. — Думал — по заднему. Но как передний смолянул из пулемета, думаю: нет, я ж тебя гвоздану, сволочь! С первого выстрела!

— А я мотоцикл подстрелил, — скромно вставил Овсеев. — Вон тот, что в канаве. Моя работа.

— Хорошо, хорошо! — глядя в поле, одобрил старшина. — А и Фишер! Гляди ты...

— Фишер не подвел. Не проворонил. Без Фишера они бы нас, тепленьких...

— Пшеничный! Ну ж, гадина!.. — ударил кулаком по земле старшина. — Вот нигде нет. Я сперва думал: заснул.

— Перебег, факт! — сказал Свист.

— Жаль, упустили! Упустили змею. Теперь...

— Теперь он нас всех выдаст, — сказал Овсеев.

— Пожалуй, выдаст, — согласился Карпенко.

— Так что надо менять позицию.

— Нет, менять не будем.

— Почему?

— Приказ, слышал? Оборонять переезд.

Осеев недовольно потоптался в окопе.

— Как бы не того, старшина.

— Может, и того. Все может... Васюков, ты как? Жив?

— Жив, товарищ старшина, — ответил из-за угла сторожки Васюков.

— Давай, пока тихо, готовься к бою. Наверное же снова попрут. Не может быть, чтобы они только раз сунулись.

Бойцы дозарядили оружие, подчистили дно траншеи. Было ветрено, ветер гнал по небу рваные тучи, между которых иногда проблескивала синева неба. На пригорке было все тихо, немцы не появлялись. Внизу догорал транспортер, и Свист, все время поглядывавший туда, не утерпел.

— Командир, давай слетаю? А?

Карпенко, лопаткой подравнивавший бруствер, поморщился.

— Может, из жратвы чего расстараюсь. А?

— Ладно. Только смотри! А то какой недобитый... Они раненые лютые... Смотри!

— Я потихоньку. Давай, Овсеев, на пару.

— Нет уж, спасибо.

— Испугался? Не трусь. Хуже смерти ничего не случится. Васюков, айда!

Васюков нерешительно огляделся, оглянулся на старшину, но тот молчал. Тогда он взял винтовку и выбрался из траншеи на бруствер.

Сначала полевая неприкрытость его смутила, но, видя, как уверенно ведет себя Свист, Васюков тоже посмелел. Они перешли линию железной дороги через мостик и направились к транспортерам.

Свист, оглядевшись, подошел к брошенному транспортеру, заглянул сзади в его раскрытые дверцы. На дороге, уткнувшись лицом в грязь, лежал убитый мотоциклист, в канаве валялся другой. Бронетранспортер еще слабо дымил, горела резина колес.

Свист, ухватившись за дверцу, вскочил вовнутрь, Васюков подался следом, но испуганно отпрянул. В бронетранспортере на обгоревшем сиденье лежал немец. Его неподвижные глаза глядели в небо, и Васюков на минуту застыл, брезгливо рассматривая убитого. Свист же, равнодушный к убитым, пошарив в кузове, бесцеремонно переступил через него и, звякая металлом, высунулся из двери.

— Васюков, держи!

Васюков взял у него новенький, нисколько не обгоревший пулемет, и Свист с охапкой снаряженных металлических лент соскочил на дорогу. Ленты он тоже отдал Васюкову, а сам подхватил с дороги автомат убитого, ногой перевернул того на спину и брезгливо сплюнул.

— Довоевались, гады!

Он слазал и в другой транспортер, который еще продолжал дымить, но вскоре, отплевываясь от дыма, выскочил обратно.

— Нигде — ничего. Вся жратва погорела.

Той же дорогой они пошли к переезду. Васюков нес пулемет и ленты, Свист шел налегке. Подойдя к траншее, они увидели, как суровое лицо Карпенко довольно заулыбалось.

— Вот это молодцы! Вот за это хвалю, — сказал старшина, перенимая пулемет.

— А вот автоматик! А правда, хорош?

— Автомат — да... Но и пулемет пригодится. Держи, Овсеев, пулеметчиком будешь.

Овсеев без большой радости взял пулемет, потрогал рукоятку.

— А почему я?

— А кто же? У меня свой есть. Свой я на немецкий не променяю.

— А вон Васюков. Принес, пусть и стреляет.

— Молод еще Васюков, — сказал Карпенко. — Ты, наверно, поопытнее?

Овсеев недовольно смолчал, и Свист на бруствере повернулся к Карпенко.

— И еще вот. Трофей. Держи, командир.

Он протянул старшине часы на белой цепочке, которые Карпенко бережно взял огрубевшими пальцами.

— Трофей, значит? А ну — а ну... Хороши часики, верно. Но...

— А что — но, командир? Взяты в бою, законно.

— Законно то законно. Только как-то не так, Виктор.

— Все так, командир. А не хошь — дай сюда. Самому пригодятся.

— Действительно, на. Не люблю этих трофеев. От них мертвечиной пахнет.

— От часов ничем не пахнет. Другое дело от тряпок. От тряпок дустом несет.

Над полем и переездом лежала тишина, немцы не появлялись. Заинтересовавшись новым пулеметом, к Овсееву подошел Васюков.

— Интересно, стреляет как?

— Как машинка шьет, — сказал Овсеев. — «Эмга тридцать четыре», скорострельность огромная, не ровня нашему «дегтярю».

— Ты знаешь?

— В училище изучал. Пока не выгнали.

— А за что тебя из училища отчислили?

— Много знать будешь — скоро состаришься, — ответил Овсеев и вдруг спросил: — Хошь пулемет? Могу отдать.

— А ты что?

— А я с винтовочкой. Привычнее.

— Давай.

Овсеев взял с бруствера пулемет и отдал его Васюкову.

— Заряжать знаешь как? Вот открыть крышку, сдвинуть рычаг и вложить ленту.

— Понятно.

— Давай, старайся. Пулеметчиком будешь.

Васюков перенес пулемет в свой окопчик за будкой и начал его изучать. Он открыл крышку, зарядил ленту. Потом разрядил его. За этим занятием и застал его подошедший Овсеев.

— Ну как? Осваиваешь?

— Осваиваю.

— Слушай, ты, кажется, парень того... Сговорчивый, а?

— Сговорчивый.

— Слушай, давай... драпанем.

— Куда?

— К своим, конечно. Не к немцам же.

— Ну что ты! А старшина?

— Черт с ним, со старшиной. Ты понимаешь, ведь скоро ударят и всем хана. Что нас — четыре человека! Разве удержимся?

— Так надо же. Солнце вон еще где, — показал Васюков в небо. — До вечера далеко.

— Неужели ты думаешь тут продержаться до вечера? Подумаешь, какой-то переезд. Как будто на нем судьба всей войны решается.

— Кто знает? Может, и решается.

— Ну уж только не тут. Где-нибудь под Москвой, может. Под каким большим городом...

— Может, от маленького больше зависит, чем от большого.

— Ну, не хочешь — как хочешь. Только перед старшиной молчок. Сам понимаешь — нельзя предавать товарища.

— Ладно.

Овсеев ушел по траншее на другую сторону будки, а Васюков тоскливо посмотрел в поле. У него заныло под ложечкой от этого разговора с Овсеевым. В глубине души он сам не меньше его опасался за свою участь, но как он мог поступить иначе? Они были поставлены защищать переезд, чтобы на нем задержать немцев, значит, уходить с него не годилось.

Тем временем Овсеев протиснулся в траншее, взглянул на старшину, который, взвалясь на бровку траншеи, наблюдал за

полем. Поняв, что за ним никто не смотрит, он боком прошел в крайнюю ячейку Пшеничного, дальше скрытого хода не было, и он выглянул над картофельным полем, изучая дорогу к лесу.

Дремотную тишину на переезде разорвал громкий голос Карпенко:

— К бою! Где Овсеев?

Овсеев метнулся было из окопчика, но услыхал, как Карпенко окликнул его, и проворно вернулся в свою ячейку.

Впереди по дороге из деревни шли танки.

Их утробное урчание все явственнее доносилось до переезда. Карпенко впился в них взглядом, Свист замер с направленным на них ПТРом.

— Три, — посчитав, сказал Карпенко. — Всего только три.

— Ну, три — ерунда. Семечки! — легко отозвался Свист.

— По одному и то не хватит. Овсеев, гранаты готовы? Васюков, подготовить гранаты.

Однако готовить не было чего, все было готово — оружие ждало на бруствере, гранаты лежали в нишах. Люди замерли в крайнем напряжении и ждали, ждали. Время тянулось мучительно долго, танки не спеша ползли по грязной дороге к месту недавнего разгрома мотоциклистов. За ними шла разбредшаяся по обочинам колонна автоматчиков.

— Эх, ярина зеленая! — бодрым голосом сказал Свист. — Слушай анекдот.

— Брось к черту, какой анекдот! — оборвал бронебойщика Карпенко. — До мостка подпустим и бей. Прицел четыре.

Возле берез автоматчики разбежались с дороги по обе стороны и на ходу стали выстраиваться в неровную, местами рваную цепь. Карпенко, сдвинув хомутик прицела, поставил его на цифру три. Глядя на него, убавил прицел и Васюков.

С середины пригорка передний из танков грохнул выстрелом — над переездом коротко фыркнуло, и сзади в поле вздрогнула от взрыва земля. Второй снаряд ударил перед траншеей, разворотив шпалы и рельсы железнодорожной линии.

— А ну, а ну! — припав к земле, приговаривал Карпенко. — А ну еще ближе.

Покачиваясь на неровностях дороги, танки спустились в ложбину. Передний танк приблизился к обгоревшим бронетранспортерам и, обходя их, слегка повернул в сторону. В это время звонко грохнуло ружье Свиста. Танк остановился. Еще ничего не было видно — ни дыма, ни пламени, но уже отскочили крышки боковых люков, и на дорогу вывалились два

или три танкиста. И тогда Карпенко дал длинную трескучую очередь.

Весь этот унылый осенний простор наполнился беспорядочным визгом, треском и грохотом. Попав под обстрел, пехота поспешно залегла в поле и открыла огонь по переезду. Второй танк уже осторожнее продвигался по дороге. Он оттолкнул в сторону транспортер и, приостановившись, задвигал орудием, наводя его на переезд.

— Свист! Свист! — предостерегающе закричал старшина, но не успел его крик утонуть в грохоте боя, как мощный взрыв черной земляной тучей накрыл переезд. Когда ветер снес пыль, стали видны разлетевшиеся в стороны обломки досок, поленья, а в том углу, где была печка, курилась небольшая воронка.

— Васюков! Васюков! — крикнул старшина, и из-под обломков сторожки показалось грязное лицо Васюкова. — Живой?

— Живой, товарищ старшина.

— Огонь! Теперь только огонь. Огонь!

С переезда ударили два пулемета, звонко хлестнуло несколько выстрелов ПТР, и снова разрыв на бруствере накрыл пылью траншею. Ближе всех он пришелся к окопу Свиста, полминуты там ничего нельзя было разглядеть, потом в нем показалась обсыпанная землей фигура Свиста.

— Ох гады! Ох же подонки! Старшина! Командир, ты погляди!..

Он потрясал своим ПТРом, который теперь стал вдвое короче, перебитый осколком.

— Огонь! — свирепо требовал старшина, на секунду оторвавшись от пулемета. — Гранаты!..

Это была последняя команда Карпенки. Не договорив ее, он вдруг выпрямился, выпустил из рук пулемет и, обрушивая спиной землю, сполз на дно траншеи. С его головы со сбитой пилоткой лилась на воротник шинели темно-бурая кровь.

Овсеев пугливо скорчился в траншее, а Свист, минуя его, бросился к старшине.

— Командир! Старшина!.. Ванюша...

— Все, Свист... Я все. Не пропущай танки... — слабеющим голосом сказал старшина.

Свист вскочил в траншее. Немцы с поля перебегали в лощину, а два танка, осторожно обойдя бронетранспортеры, уже приближались к мостку. Очереди из их пулеметов секли землю, железнодорожную насыпь, бурьян, рикошетили от рельсов. Единственное место, где еще можно было задержать танки, был мостик, и Свист понял это с первого взгляда.

Он минуту промедлил, решаясь, затем несколькими рывками скинул с себя шинель и ухватил обеими руками по противотанковой гранате старшины. Васюков из трофейного пулемета бил по пехоте, а Свист перевалил через бруствер и скатился с насыпи. Потом он вскочил и в три прыжка скрылся в вырытой разрывом воронке. Сразу же над головой прошло несколько очередей, но они не задели его. Как только они отдалились, он выскочил из воронки и, пригнувшись, скатился под невысокую дорожную насыпь.

По бедру его все же хлестнуло, под насыпью он почувствовал боль и кровь, но перевязываться уже было некогда. Под насыпью он устремился к мостику, навстречу танкам. Передний из них уже взбирался на настил, на другой его конец взбежал Свист. Слабо размахнувшись с усталости, он одну за другой швырнул под его гусеницы обе гранаты и упал грудью на сырую землю дороги.

Грохнули взрывы. Танк, проломив мост, рухнул в трясину, а Свист остался лежать в 15 метрах от него, судорожно загребая под себя дорожную грязь. Но движенья его рук все замедлялись и наконец замерли вовсе...

Уцелевший танк, дав задний ход, медленно пополз в гору. За ним стала отходить пехота.

Васюков оторвался от пулемета и обоими рукавами шинели вытер с лица пот. Огонь по переезду прекратился, и он бросился к старшине.

Карпенко без движения лежал в траншее, Васюков тихонько окликнул его:

— Товарищ старшина! Товарищ старшина...

Тот не шевельнулся, тогда он приподнял его и позвал Овсеева:

— Овсеев!

Ответа не последовало.

Васюков, поразмыслив, поглядел в поле. Немцы уходили за березы в сторону деревни. На гребне пригорка начинали окапываться.

Он глянул на проблеснувшее в неба солнце — оно было еще высоко.

Васюков взял под мышки тело старшины и поволок его в конец траншеи. Возле ячейки Овсеева остановился. Та хранила следы его ног, локтей на бруствере. Но самого Овсеева нигде не было.

С гримасой обиды и отчаяния на лице Васюков огляделся и снова потащил старшину.

Он свалил его в крайнюю ячейку Свиста, вернулся, подобрал утоптанную в землю пилотку, стряхнул с нее землю и прикрыл ею лицо убитого.

В траншее было просторно и пусто.

Он остался один.

— Овсеев! — позвал он еще раз, но переезд молчал. И новая гримаса обиды прошлась по молодому лицу Васюкова.

— Подлюга! Одного оставил...

Он сглотнул обидный ком в горле и, поглядывая в притихшее поле, прошел к своей ячейке. Он взял там пулемет, остаток лент и все это приволок на середину траншеи, в бывшую ячейку старшины.

Потом туда же перенес и оставленные в ячейках гранаты, ровненько разложил их в аккуратной нише Карпенко. Потом подобрал чью-то брошенную в траншее лопату и подчистил дно, подровнял разбитый разрывом бруствер. Копая, он то и дело останавливался, прислушивался и выглядывал в поле.

Немцы все отошли на пригорок, огня они не вели. И он решил максимально использовать передышку — подготовиться к новому бою.

Наконец, он все сделал — подготовил ячейку, углубил траншею. Удобно расположил два пулемета на бруствере. Подготовил диски и соединил патроном две последние металлические ленты к «МГ».

Устав сам, сел с тыльной стороны на растоптанном бруствере и поглядел в небо. Там немного прояснилось, иногда из-за туч выглядывало осеннее солнце.

Но оно было еще высоко.

Было тихо, и он сидел, поглядывая через бруствер в поле и понимая, что скоро для него все окончится. Все время он чутко прислушивался, но вокруг было тихо. И вдруг до его слуха донесся новый, сперва даже не понятый им звук. Он поднял лицо в небо и увидел в облачной выси вытянувшийся клин журавлей. Они улетали туда, где теперь было тепло, корм и солнце. Он же оставался на переезде.

И вдруг, когда журавлиный клин уже отдалился, с неба послышался тревожный, полный отчаяния крик:

— Курл!.. Курл!.. Курл!..

Вдогонку за исчезнувшей стаей, из последних сил перебирая крыльями, словно прихрамывая, на небольшой высоте летел отставший, видно, подстреленный, журавлик. От его

почти человеческого отчаяния Васюков вздрогнул. Он впился в него полным отчаяния взглядом, но было понятно, что догнать стаю журавлик не мог.

Васюков схватился за голову, зажал уши, чтобы не слышать его тоскливого крика, и сидел так, пока тот не исчез из облачной выси. Когда же боец опустил руки, новые звуки появились в пространстве. Где-то шли танки.

Он взглянул в поле и снова застыл в неподвижности. По обе стороны от дороги по пригорку расползались танки, их было много, за ними разбегалась, занимая для атаки боевой порядок, пехота.

Танковый гул и грохот наполнили простор, дрожала земля, осыпались края траншеи. Гул все усиливался, и Васюков спрыгнул в траншею.

Он взял в обе руки по тяжелой противотанковой гранате и прижался спиной к дрожащей стене траншеи.

Ждать ему оставалось немного.

Уходить было некуда.

Фильм второй

Высота в тумане

Раскисшая дорога, ветер, снег пополам с дождем. Ветер рвет с головы капюшон, надувает пузырем на спине плащ-накидку, и командир роты Ананьев то и дело хватается за фуражку, чтобы удержать ее на голове. Он упрямо идет против ветра, за ним бредут бойцы. Это рота автоматчиков, колонна которой довольно-таки растянулась по грязной дороге, бойцы идут по обочинам и даже за канавой в поле.

На склоне пригорка Ананьев повернулся спиной к ветру и прошел так задом, осматривая колонну.

— Старшина Пилипенко!

Бредший по обочине командир первого взвода старшина Пилипенко не расслышал команду, и Ананьев повторил громче:

— Пилипенко! Глухарь старый...

Пилипенко вздрогнул, обернулся к бойцам, тихо подогнал некоторых и побежал к командиру роты.

Ротный, нахмурясь, смотрел вдоль колонны.

— Ванина — ко мне!

Команду передали по колонне, Ананьев проследил за тем и ждал, когда на обочине появится командир второго взвода младший лейтенант Ванин.

Но вместо Ванина из колоны выскочила Пулька — игривая молодая собачонка, она пробежала по грязи к командиру роты, испуганно тявкнула на него и повернула назад. Боец в длинной плащ-палатке, угол которой волочился сзади, прихлопнул подошвой по грязи, разбрызгав снеговую кашу, и Пулька испуганно метнулась за канаву.

Бежавший по дороге Ванин остановился.

— Ты что?

— А что она... лает!

— На дурака лает. А ну лезь, доставай!

Но боец не хотел лезть в воду, забирал в сторону, и Ванин, ступив в лужу, взял на руки мокрую Пульку.

Ананьев шагнул по дороге.

— Напрасно! Надо бы того пентюха заставить.

Ванин коротко доложил о прибытии, но ротный не ответил — из ветреных сумерек появился замполит роты лейтенант Гриневич. Отряхнув от снега мокрую палатку, спросил:

— Что случилось?

— Да вон Лоскутников Пульку в воду загнал, — сказал Ванин. — Мешала ему...

— А вообще — зачем вам собака? — подумав, сказал Гриневич.

— Как это зачем? Живое существо ведь.

— Какое существо! Хотя бы существо, а то...

— А то щенок шелудивый, — закончил за него Ананьев.

— Вот именно. Только демаскирует. На месте командира роты я бы приказал пристрелить и все.

— Пусть живет! — тихо сказал Ананьев. — Или боишься — нас переживет?

— К нам это не относится. А вот лает некстати.

— Если на Пилипенковых, то кстати. Командир взвода не командует, так хоть собачонка полает.

Устало бредший за командиром Пилипенко насторожился.

— Усэ вам Пылыпэнко! Што я буду пидгоняты кожного. Бачытэ, яка дорога?

— Бачым, какая дорога! И какой командир!

Все замолчали, после паузы Ананьев командирским тоном сказал:

— Вот что. Под носом немцы. Подтяните людей. Удвойте наблюдение по сторонам. Назначьте слухачей. Пилипенко, сменить головной дозор.

— Так мои ж от пивдня шлы. Ще ёго час не вышав, — он кивнул в сторону Ванина.

— Что — ёго! Я тебе приказываю.

— Кого я назначу? Попрыставалы уси.

— Некого назначить — сам отправляйсь!

— Как это вы рассуждаете, старшина? — повернулся к нему Гриневич. — У вас же взвод.

— Взвод! Яки цэ взвод? Двадцать человик и у тих нога за ногу чэпляется.

— Будто у одних у ваших чепляется, — сказал Ванин.

— Так у тэбэ скильки? Тридцать два. А у мэнэ двадцить три.

— Мои ночь в охранении были.

— А мои ничь копалы.

Пригибая голову от ветра, Гриневич на ходу осуждающе поглядел на старшину.

— Что ж — боевая обстановка! А в присяге как сказано: стойко переносить все тяготы и лишения военной жизни.

— Та чулы!

— Вот и плохо. Сами чули, а бойцам не внушаете.

— Что мораль читать! — сказал Ананьев, раскуривая трофейную сигарету. — Отставаки есть?

— Нэ мае, — с некоторой заминкой ответил Пилипенко.

— Проверял?

— Я?.. — Пилипенко не ответил, но было понятно, что не проверял.

— Где Чумак? — оглядев проходящий возле командиров строй, сказал командир роты.

— Тут був. Сдается...

— Був? А теперь где?..

Пилипенко молчал, вглядываясь в тени бойцов, и Ананьев сказал после паузы:

— Вот так и получается, ядрена вошь! Найти и доложить!

Пилипенко молча и покорно зашлепал по снеговой слякоти назад по дороге, и командир роты смягчился:

— Отставить! Веди взвод.

И негромко окликнул бойца, стоявшего в плащ-палатке за его спиной:

— Васюков! А ну! И заодно глянь повозку.

— Есть!

Разбрызгивая в сторону снежные лужи, Васюков побежал в хвост колонны. На его по-прежнему моложавом лице появилась уже заметная возмужалость — следствие двух лет войны и всего пережитого на ней. На плечах была плащ-палатка. На

груди автомат Шпагина. Бойцы, завидя бегущего ординарца, на ходу окликали его:

— Васюков, что случилось?

— Что, Васюков, немцы?

— Ординарец, куда бежишь? Иди перекурим...

Не отвечая бойцам, Васюков бежал по обочине, выглядывая среди них Чумака. Но Чумака не было.

Разбредшаяся колонна наконец кончилась, Васюков остановился, вслушался и заметил, что сзади еще кто-то идет. Он подождал, и вскоре из сумерек вышли двое — отставший, с подоткнутыми под ремень полами Чумак и замыкающий колонны санинструктор Цветков в перешитой на офицерский манер шинели.

Цветков недовольно ворчал на Чумака:

— Тебе трудно, да? А мне вот легко с тобой? Как полагаешь?

Завидя на дороге Васюкова, Цветков пожаловался:

— Надоело толкать. Прямо безногий.

— Что — пристал?

— А черт его знает. Пристал или притворяется.

Поняв затруднительность своего положения, Чумак, трудно дыша, сказал:

— Пусть бы вы шли. Я уж сам как-нибудь.

— Ну да! — сказал Цветков. — Мы пойдем, а ты — в кусты? Знаем таких.

— Не-е, я потихонечку. Я догоню. Мне бы водички глотнуть. Нету водички, а? — спросил он.

— Нет, — сказал Васюков.

— А может, у товарища сержанта есть? Во фляжечке, — сказал он, заметив на ремне у Цветкова фляжку.

— Это не вода, — сказал Цветков. — Это водка.

— А дай водки!

— Еще что надумал!

Цветков шагнул по дороге вперед, а Васюков сказал:

— Цветков, дай глоток. Может, поможет.

— Ну да! Моя, что ли, фляга? Это старшины водка.

— Обойдется старшина. Не последняя, наверно.

Цветков замолчал, размышляя, но потом отстегнул флягу и протянул Чумаку.

— На. Только глоток, не больше.

— Не, не...

Чумак остановился и, запрокинув голову, отпил пару глотков. Цветков вырвал у него флягу.

— Дорвался...

— От спасибочко, — не замечая того, сказал Чумак. — И тебе спасибочко, ординарец.

— Мне не за что, — сказал Васюков.

Пока Цветков пристегивал к ремню флягу, Чумак обернулся к Васюкову.

— У тебя кирзовки, ага?

— Кирзовки. А что?

— Так это... У меня сапоги справные, намецкие, правда. Если что, так... Пусть тебе будут.

Васюков недоуменно взглянул на его заляпанные грязью сапоги, еще не совсем понимая смысл его слов, а Цветков ухмыльнулся в сумерках.

— Тоже хохмач! Будто на фронте угадаешь. Вот врежет, так оба враз копытами кверху.

— Так я говорю...

— Да уж ты скажешь. Помолчи лучше.

— Ладно, пошли живее, — сказал Васюков.

Они быстрее зашагали по дороге, догоняя колонну, и Чумак, будто оправдываясь, говорил:

— Так я ничего... Если что говорю. Хорошие ведь сапоги, ногам сухо...

Только он сказал это, как небо над пригорком огненно вспыхнуло, в воздухе замельтешил рой снежинок, ракета поднялась ввысь и, посветив в небе, погасла.

— Ого! — сказал Васюков.

— Напоролись! — подтвердил Цветков.

Васюков, оставив товарищей, быстро побежал догонять роту, колонна которой уже остановилась на ночной дороге. В голове ее уже собрались командиры, все напряженно всматривались в ненастные сумерки.

— Да, это не дозор, — сказал Ананьев.

— Дозор был ближе, — подтвердил Гриневич.

Они помолчали, вслушиваясь, и Ананьев с досадой выругался.

— Какого же хрена тогда он молчит? Может, сигналы проворонили?

— Не могло быть. За сигналами я сам следил, — сказал Ванин.

— Разгильдяи! — нервничал Ананьев. — Сидят и молчат. А ну бери человека и дуй сам, — приказал он Ванину. Тот живо повернулся к строю.

— Кривошеев!

— Я.

— За мной!

Слегка пригнувшись, они побежали дорогой и скоро скрылись в ночи.

Некоторое время все обеспокоенно молчали, напрягая слух, потом впереди снова загорелась ракета, правда, несколько дальше, чем первый раз.

— А ну пошли! — сказал Ананьев и зашагал по дороге. За ним направились Гриневич, Пилипенко. Васюков накинул автомат поверх плащ-палатки.

Дорога спускалась вниз, они быстро шли по обочинам, пока не услышали бегущего навстречу им человека. Это был рядовой Щапа, боец из головного дозора.

Ананьев остановился.

— Ну?

— Немцы, товарищ старший лейтенант.

— Новость! Где Ванин?

— Там, — дыша паром, Щапа показал в темень. — Наблюдает. Немцы за лощинкой на бугре копают.

— Что копают?

— А черт их знает. Оборону, видно.

— На бугре?

— Да, на бугре.

— А село далеко?

— Какое село?

— Ну это... Как его...

— Рудаки, — подсказал Гриневич.

— Нет, села не видно. Вот тут, под горой, речка. Не очень чтоб. Перейти можно. А дальше бугор, а на бугре копают, — негромко и взволнованно докладывал Щапа, шепелявя из-за выбитого спереди зуба.

Подумав, Ананьев вытащил из-за пазухи карту.

— А ну заслони.

Присев на корточки, он натянул на себя полы накидки, включил фонарик. К нему склонился Гриневич.

— Так, мы тут, вроде, вот речка. А там высота, что ли. Сто семнадцать ноль.

— Да, сто семнадцать ноль, — подтвердил Гриневич.

— Хе, так за ней же станция.

— Выходит так.

— Утром Сыромятников все твердил: станция, станция. Думаю, где она? А она вон где. Вот бы захватить!

— Еще чего! — сухо сказал Гриневич.

Ананьев выключил фонарик, поднялся.

Все вдруг повернули головы — по дороге снизу кто-то бежал. Из темноты вынырнула фигура автоматчика, завидя своих, он перешел на шаг.

— Кривошеев, ты? — негромко спросил Ананьев.

—Товарищ старший лейтенант, надо ударить! Копают на бугорке, охранения с этой стороны никакого. Младший лейтенант говорит: надо ударить. Только быстрее.

Он выпали это на одном дыхании, возбужденно тыча в пространство, и это его возбуждение передалось командиру роты, который круто повернулся к замполиту:

— Ударим?

— Может, сначала разведать? — без особого энтузиазма возразил Гриневич.

— Тоже скажешь — разведать! Всполошим только. А так пока тихо.

— Ну. Пока охранения не выставили, — подхватил Кривошеев. — А ракеты ни черта не светят, снег с дождем забивает. Мы подползли к самой траншее, видно, как землю выкидывают, — дрожащим от возбуждения голосом твердил дозорный.

Гриневич несогласно и молча посмотрел вокруг.

— А соседи? Третий батальон вон где. И со вторым разрыв на два километра.

— Подтянутся ночью твои соседи. Никуда не денутся.

— Допустим, подтянутся. А патронов у нас хватит? Положим, собьем, а удержим?

Ананьев на минуту замер, размышляя, однако соблазн захватить высоту был слишком велик, и он с решимостью взмахнул кулаком.

— А — была не была! Рубанем — посмотрим! Васюков, дуй за ротой!

Гриневич смолчал, и Васюков побежал на пригорок за ротой.

Минуту спустя полсотня автоматчиков сбежала с пригорка. По обочине, радостно обгоняя строй, мчалась Пулька, пока кто-то из бойцов не сгреб ее и не упрятал за пазуху. Как только рота поравнялась с командирами, Ананьев скомандовал:

— За мной, марш!

То шагом, то бегом рота быстро спустилась с пригорка. Ананьев с Гриневичем бежали впереди. Рядом бежали дозорные и Васюков.

— Мы им сбоку зайдем. Они вправо развернулись, а мы с фланга. Ей-богу! Так в землю зарылись, ни черта не видят. Турнем, что и не пикнут.

— Ладно, — устало дыша, оборвал Ананьев. — Молчи пока.

На бегу, оглядываясь, он отдавал распоряжения:

— За речкой — в цепь! Комиссар — с Пилипенко, я — с Ваниным. И бегом!

Густо сыпались с темного неба снежинки, впереди дорога упиралась в разрушенный мостик, под которым шумел ручей. На той его стороне появился Ванин. Он ловко перебежал по уцелевшей балке-бревну на эту сторону и присоединился к Ананьеву.

— Копают. Давайте быстрее!

Бойцы по бревну начали перебегать через ручей. Сначала перешел Ананьев, потом Васюков и остальные. Гриневич перешел речку вброд.

— Быстро! И в цепь! — подгонял Ананьев.

За речкой они попали на пашню, раскисшую под мокрым снегом. Близко уже были немцы. Рота кое-как разбежалась в цепь, загнув левый фланг. Ванин, щелкнув затвором, взвел ППШ, Ананьев выдернул из-под накидки «вальтер». Васюков удобнее перехватил автомат.

Перебежав пашню, цепь начала взбираться по круче на высоту. Бойцы осклизались на мокрой траве, цеплялись за редкий кустарник. На ходу Ананьев бросил Васюкову: «Гранаты есть?», и тот вынул из кармана и отдал ему «лимонку».

Впереди послышался стук, Ананьев на секунду остановился, но тут же снова полез вверх. Скоро они поднялись на вершину и замерли.

Перед ними была траншея.

В ней кто-то шевельнулся неподалеку, но Ванин из-за обрыва метнулся к нему с лопаткой, туда же бросились Ананьев с Васюковым. Но не успели они одолеть каких-нибудь двадцать шагов до бруствера, как невдалеке над полем взвилась ракета. Она осветила траншею, бегущих из-за обрыва автоматчиков и замерших в траншее немцев.

И сразу же ударил автомат.

Ананьев спрыгнул в траншею, за ним спрыгнул Васюков. Ананьев куда-то выстрелил, присел, метнул за изгиб траншеи гранату. Когда там грохнуло, Васюков бросился вперед, но командир роты дернул его за палатку и осадил вниз. Воздух над их головами пропорола горячая очередь.

— Вперед! — крикнул Ананьев. — Гранатами огонь!

Натыкаясь на повороты траншеи, задевая плечами стенки, они бежали ее ходами. Но вот рядом в траншее хлопнул красноватый огонек выстрела, Ананьев исчез, но тут же вскочил и тоже выстрелил. Впереди за поворотом метнулась серая тень, ротный впопыхах ткнул туда пистолетом, Васюков, опережая его, дал очередь. Кто-то выскочил из траншеи в поле, кто-то перемахнул через бруствер. Тут и там вспыхивали автоматные очереди, на высоте шел бой. Но похоже — немцы удирали.

Ананьев с Васюковым вскочили коленями на бруствер и выбрались из траншеи.

Впереди из траншеи бежали два немца. Ананьев выстрелил, один из них упал на колено и выстрелил в ответ, Ананьев вскинул пистолет, но выстрела не последовало, и он крикнул с тревогой:

— Васюков, бей!

Васюков тыркнул коротенькой очередью, которая тут же оборвалась — кончились в магазине патроны. Немец пустился наутек, и Ананьев зло выругался.

Пока Васюков, припав на колено, перезаряжал автомат, Ананьев бежал за немцем, на бегу подхватил брошенную им винтовку и швырнул ее вдогонку. Но вдруг немец обернулся и, увидев одного командира роты, сделал резкий поворот, чтобы броситься на него.

Но тут подоспел Васюков.

Он дал длинную очередь, немец упал. Но тут откуда-то из ночи ему под ноги ударила граната, Васюкова обдало грязью, он побежал еще шагов пять, и тут рвануло. Он упал, оглушенный. На несколько секунд он перестал ощущать себя и не мог понять, что кричит наклонившийся к нему командир роты и что вообще случилось.

Но Ананьев энергично махал рукой, подзывая кого-то, и в треске очередей прозвучала его команда:

— Стой! Рота, стой! Назад! В траншею назад!

Васюков начал вставать на ноги.

Ананьев кого-то подозвал из бойцов, кто-то подобрал автомат Васюкова, поправил на голове его каску, Васюков зажимал рукой правое плечо, из рукава на снег густо капала кровь...

С помощью бойца Васюков направился назад к траншее, в которой уже хозяйничали бойцы взвода Пилипенко. Боец сначала поддерживал Васюкова, но тот сказал ему:

— Не надо, я сам.

Он соскочил в траншею. Здесь трое автоматчиков возились с убитым немцем, стараясь выбросить его за бруствер. Кто-то, узнав Васюкова, окликнул:

— Что, Васюков, попало?

— Попало, — сказал Васюков. — Не видели, где Цветков?

— А кто его знает. Под горой, наверно.

Васюков еще прошел по траншее и наткнулся на Пилипенку, который организовывал оборону. Завидя Васюкова, старшина закричал:

— Ты куды? А ну гэть на мисто, — и, спохватившись, спросил: — Цэ хто?

— Это я. Где Цветков — не видели?

— Васюков? — удивился старшина. — А дэ командир роты?

— Там, — киснул Васюков в сторону, где все еще слышались очереди.

— Тэбэ поранило, га? Дужэ? Пишлы, Цвитков блиндаж освоюе. Таки гарный блиндаж.

Они пошли по траншее, в которой валялись немецкие плащ-палатки, ящики с боеприпасами, брошенные немцами лопаты. Автоматчики Пилипенко врезали в тыльном бруствере ячейки для стрельбы.

— Швыдэнько, парубки! — подгонял их Пилипенко. — Ударять мыны — траншея мамочкой будэ.

Они нашли Цветкова возле блиндажа, вход в который тот тщательно заделывал палаткой.

— Цветков! — окликнул его старшина.

— Да.

— Ось поранены.

— Кто?

— Васюков, — сказал старшина.

— Сейчас. Заделаю, посмотрим.

— Богато ранэных? — спросил Пилипенко.

— Ерунда. Три человека. Не считая Кривошеева.

— А что Кривошэив?

— Готов — что! Перевязал — только бинты испортил.

— Кривошэив? — чего-то не мог понять Пилипенко.

— Ну. Чего удивился? Что он, от пуль заговоренный?

— Так вин же так рвался сюды. Турнэм, кажа...

— Вот и турнули. Семь пуль в грудь — не шуточки. Ну заходите.

— Пидлюги! — сказал старшина и, повернувшись, пошел назад к своему взводу.

Васюков подлез под палатку и очутился в блиндаже. Следом влез Цветков, зажег спичку и осмотрелся. Потом под стеной подобрал сброшенную взрывом плошку, сдунул с нее песок и зажег.

— Ну, куда тебя?

— Да вот, в плечо.

— Садись на это вот.

Васюков послушно опустился на какой-то ящик, Цветков скинул с себя мокрую палатку и достал на поясе разведчицкий нож.

— Ты что — резать?

— А что же еще?

— Сниму как-нибудь.

Не без помощи санинструктора Васюков снял ремень, сумку с дисками, распахнул свою зеленую, английского сукна шинель. Окровавленный рукав гимнастерки Цветков располосовал ножом сверху донизу.

— Так, так, — неопределенно проговорил он, ощупывая рану. — Касательное осколочное. Две недели санбата.

— А кость как? Цела?

— Абсолютно, Васюков.

Он начал перевязывать рану.

— Не ранение, а укус комара. Первый раз?

— Четвертый, — сказал Васюков.

— Ого. Давно воюешь?

— С осени сорок первого.

— Вот как. А я гляжу — молодой... Какого года?

— Двадцать третьего.

— И я двадцать третьего. Ровеснички, значит.

Васюков вслушивался в звуки, долетавшие извне, — треск очередей там редел, кажется, бой прекращался. Из траншеи доносились сдержанные голоса автоматчиков, и вдруг невдалеке раздался коротенький собачий визг. Цветков, собирая в сумку бинты, удивленно двинул бровями:

— Пулька?

Зашуршала палатка на входе, снаружи послышался бас Пилипенко и голос Ванина, кто-то не мог влезть в блиндаж, похоже, вносили раненого. Под палатку просунулась пригнутая голова, плечи, и Цветков с Васюковым вздрогнули — в блиндаж лез немец. Выбравшись из-под плащ-палатки, он остановился, придерживаясь за стену, одна его нога была без сапога — похоже, ранена. Следом влез Ванин.

— Куда бы его? — оглядывая блиндаж, сказал младший лейтенант. — Вот, давай на шмутки. Биттэ, фриц, садись!

Перебирая по стене руками, немец запрыгал на одной ноге в угол и плюхнулся на тряпье. Пулька, замирая перед ним, настороженно урчала, готовая сорваться на лай.

— Перевязать надо, — сказал Ванин.

Цветком метнул на него злым взглядом.

— Я что вам — немецкий фельдшер?

Ванин круто повернулся к сержанту.

— Сержант Цветков, перевязать немца!

В это время в блиндаж влез Пилипенко.

— Кого — нимця! Да вы жартуетэ!

Ванин, однако, молчал, не сводя глаз с санинструктора, и тот взялся за сумку.

— Вот, при свидетелях. По приказу старшего.

Старшина сплюнул и недовольно затоптался у входа.

— Я б ёго перевязав! Хай бы сдох, подлюка! Як нашы вид них здыхають.

Не отвечая старшине, Ванин потормошил немца, который, казалось, придремал в углу. Вдруг он вскинул лицо и сильным коротким ударом руки толкнул Цветкова, тот, отскочив к стене, едва не сшиб Пилипенко.

— Вот гад!

— Дай ему, падле!

Пилипенко рванулся к немцу, лаем залилась Пулька, искаженное злобой лицо немца враз побледнело.

— С автомата ёго!

— Тихо! — сказал Ванин и шагнул к пленному. — Цветков, бери бинт.

Он ловким выпадом сгреб немца, навалился на него и держал.

— Перевязывай!

— Я? — удивился Цветков, но приблизился к немцу, содрал с его ноги грязный носок и наспех обернул бинтами окровавленную стопу.

— От так! — сказал Ванин и встал.

— Бинты на ёго псуваты. Свайму Ивану не хватает, а ёму. Я б ёго пэрэвязав!

— Вы бы меньше трепались, старшина, — сказал Ванин.

— А што, нэ правда?

Ванин поправил ремень.

— Мы за ним едва не до станции бежали. Он в меня весь «парабеллум» разрядил. Он в полку нужен. А вы — бинты, бинты!

— Нэ бачылы в полку такой гниды!

Цветков молчал. Ванин поднял из-под ног истоптанную шапку.

— Ладно, я пошел. Смотрите немца.

Он, пригнувшись, вылез из блиндажа, за ним выскочила Пулька.

Но вскоре в блиндаж влезло трое раненых, Цветков начал их перевязывать. Стало тесно. Васюков накинул на себя шинель и вылез в траншею.

Было темно, дул сильный ветер. В воздухе носились снежинки.

Васюков пошел искать Ананьева, чтобы проститься с ним, прежде чем отправиться в санроту.

Автоматчики уже поустраивались в чужой траншее, некоторые свернулись в своих же ячейках, другие грелись, притаптывая и пристукивая каблуками.

— Где командир роты, не видели?

— Там, впереди. С Ваниным.

Васюков прошел еще по траншее и услышал голос Ананьева. Командир роты притишенно рассуждал с кем-то:

— Конечно, могут и ударить. Но теперь пусть сунутся. Это им не в голом поле. Вот переночуешь, а утречком всех раненых — в тыл. К завтраку в медсанбате будешь.

— Нет, уже все. Не дожить мне, — возражал кто-то ослабевшим голосом.

— Да ну, брось! — мягко успокаивал Ананьев. — Не дожить, не дожить! Доживешь! Попадешь в госпиталь, быстро на ноги поставят.

Васюков пошел на голоса и из-за поворота траншеи увидел недостроенный блиндаж-яму с четырьмя бревнами-стояками по углам. В нем кто-то лежал на шинели, обвязанный бинтами, и у его ног тихо сидел Ананьев. Гриневич с Пилипенко молча стояли в траншее, возле них прислонился к стенке траншеи Зайцев, автоматчик из взвода Пилипенко.

— Кто это? — тихо спросил Васюков, указывая на раненого.

Ананьев поднял голову.

— А, Васюков! Ну как?

— Да ничего, — сдержанно ответил Васюков. — В плечо вот.

— Могло быть хуже, — сказал командир роты. — Я было подумал: хана ординарцу.

Раненый слабым движением повернул голову.

— Васюков...

Васюков подошел ближе и в темноте едва узнал Кривошеева.
— Васюков, и ты тоже?..
— Да я легко, Кривошеев. А ты как? Трудно?
— Да вот попало... — выдохнул, не договорив, Кривошеев.
— Ничего, не унывай, — слабо утешил его Васюков.
В траншее трудно вздохнул Гуменюк, земляк раненого. Все помолчали, и Ананьев строго спросил:
— Ну где тот разгильдяй Цветков? Долго его ждать надо?
— Цветков в блиндаже, — сказал Васюков. — Раненых перевязывает.
— Тяжелые?
— Да нет, вроде легкие.
— Легкие! Тут вот Кривошеева спасать надо. А то перевязал и бросил. Ну погоди, доберусь я до этого Цветкова!..
— Ладно, потом, — тихо сказал из траншеи Гриневич.
— Нет уж, откладывать не буду. Я его научу родину любить! Потерпи немного, Кривошеев.
— Так я уж терплю...
— Я как чувствовал, — скорбно сказал Гуменюк. — Когда младший лейтенант позвали, екнуло мое сердце! То всегда вместях были, а тут... Земляки все же, из одного села. Вот отлучился, и надо же...
Вскоре кто-то появился в траншее, и в яму-блиндаж с сумкой на животе протиснулся Цветков.
— Почему долго ждать заставляешь? — набросился на него командир роты.
— А я с ранеными.
— А почему этого бросил? Он что тебе — легче других ранен?
— Я перевязал.
— Перевязал и все?
— А что еще? Он безнадежный!
Ананьев порывисто шагнул от стены.
— Молчать! Я тебе покажу — безнадежный! Не смей так и думать! Спасти надо.
— Что я, бог? — обиженно сказал Цветков. — У него три проникающие в брюшную полость. Да в грудь навылет...
— Молчать! Чтоб мне ни слова! Он должен жить! Понял?
— А я против, что ли? Пусть живет...
Цветков подошел к раненому, развернул полы его шинели. Потом что-то ощупал там, насторожился, взял за руку и на минуту притих.
— Ну вот... Даже пульса нет. Я же говорил...

— Не может быть, — сказал Гриневич, выходя из траншеи. — Минуту как разговаривал.

— Все. Готов! — объявил Цветков и поднялся.

Ананьев вскипел.

— Обрадовался: готов! Я без тебя, дурака, видел: будет готов! А вот он не должен был знать. Понял? Он должен был надеяться, что жить будет. Он же человек, а не животное...

Гуменюк тем временем, видимо, не веря санинструктору, кинулся к Кривошееву. Стоя на коленях, минуту тормошил его, потом вдруг уронил руки и заплакал.

— Ладно, — отходя от гнева, сказал Ананьев. — Пусть полежит до утра. Придет подвода — отвезем, похороним.

Он вышел из блиндажа и пошел по траншее. За ним пошли Гриневич, Зайцев и немного погодя — Цветков.

Васюков, выждав минуту, спросил у Пилипенко:

— Где второй взвод?

— Дальшэ, — махнул тот рукой.

Васюков пошел по траншее, за ним потащился Пилипенко. Вскоре они набрели на отросточек-тупичок, глубоко вдававшийся в сторону немцев. Пилипенко окликнул:

— Чумак, цэ ты?

— Ага, я, товарищ старшина.

— Ну, што чуваты?

Они подошли ближе, Чумак почтительно посторонился перед командиром взвода. На бруствере стоял немецкий МГ с заложенной в приемник лентой. Услышав их, в траншее зашевелился и встал еще один боец, это был пулеметчик Шнейдер. Узнав командира взвода, тот толково, без излишней торопливости объяснил:

— Сначала стреляли. Вон из-за того бугорка. Овражек там или кочка — черт его знает. Бил пулемет. Человек пять перебежали краем — скрылись. Теперь тихо.

Пилипенко, подумав, сказал:

— Ни черта! Воны не дурни ночь в ровы сыдить. Драпанули на станцию. Завтра поднапруть.

— Завтра дадут прикурить, — согласился Шнейдер.

— Може завтра, а може и сегодни, — добавил Пилипенко. — Нэ здумайтэ спати. Гранаты хоть е?

Шнейдер ощупал карманы.

— Есть одна.

— А у тэбэ, Чумак?

— Да нету.

— Хиба вы уси побросалы?

— Ну да! — сказал Шнейдер. — Где это он их побросал? Только в траншее взвод нагнал.

Чумак виновато переминался с ноги на ногу, и Васюков, не выдержав, достал последнюю свою лимонку.

— Вот возьмите.

Чумак с заметной опаской взял гранату — опустил ее в глубокий карман шинели.

— Сколько вам лет? — спросил Васюков.

— Мне? А пятьдесят.

— Брэша вин! Яких пятьдэсят? — сказал Пилипенко. — Мини сорок шисть, так вин хиба старший?

— Ей-бо, не брешу, — скоренько заговорил Чумак. — Чтоб мне так жить — пятьдесят. А брали меня в нестроевые.

— Так уже и в нестроеви?

— Ей бо, правду говорю. Значит так. Сначала я в транспортной роте был. Ну, старшина строгий попался, придираться начал. Перевели в комендантский. А из комендантского, как под Дроздами неуправка вышла, то к вам направили. Кто уцелел, потом назад вернули. А меня вроде забыли.

— Да не забыли, — сказал Васюков.

— Не забыли?

— Конечно. Лучшего взяли.

Чумак, видать было, помрачнел с лица, и Васюков сказал:

— Ну что ж, счастливо вам. Только не отставайте больше.

— А уж не буду, — пообещал Чумак. — А тебя что — ранило?

— Да вот. В плечо, — сказал Васюков. — Так что Цветков был прав. В санбат иду.

Чумак, сгорбившись, уныло посмотрел на него.

Взвод Ванина весь работал — углублял недокопанную немцами траншею. Командир тоже копал — раздетый, в одной гимнастерке, запальчиво похакивая, далеко за бруствер швырял комья земли. Тут же в траншее стоял его молчаливый помкомвзвода сержант Закиров.

Васюков остановился рядом.

— Что, Васюков? — сказал Ванин. — Помогать пришел?

Васюков промолчал: помощник из него был уже никудышный.

— Глубже копаешь — дольше живешь, — сказал Ванин. — Пойдешь — вряд ли вернешься. А тебе же на медаль послали.

Застегнув ремни, Ванин опустился на бруствер.

— Они там не смотрят, из какой части. Шлют, где нужнее. А пехота всюду нужна. Я вот до этой части в гвардейской служил.

В разведке. А из госпиталя отдел кадров сунул сюда. Сколько ни доказывал. Так что старайся дальше санбата не ехать.

— Как постараешься?

Не ответив, Ванин бросил настороженный взгляд по траншее.

— Опять там перекур! Вот сачок! Ну я ему дам.

Стремительно вскочив, он быстро пошел по брустверу. Издали донеслось:

— Закиров, ты где Лунина поставил?

— В своем отделении был.

— Был да весь вышел. Нет его там.

Васюков остался стоять на бруствере, прислушиваясь к ночи и трудно переживая предстоящую разлуку с ротой. Двое автоматчиков колупали землю в траншее. Один сказал:

— Всыплет сейчас Лунину.

— И правильно сделает, — устало отозвался другой. — Пусть не сачкует.

Этот последний был знаком Васюкову, фамилия его была Горькавый, и Васюков прислушался.

— Ванин — командир на все пять, — говорил Горькавый. — Гонит, верно, зато и заботится. Не то что другой — лишь бы кричать. А наш на все руки мастер.

— Как он тогда часового снял! Ого! И не пикнул.

— Не гляди, что званием маловат.

— Не в званиях дело. Другой и со званием, а дурак.

— Ну не говори так. Все-таки звания и за ум дают. Дураку много не дадут.

— Не дадут? Эх ты, голова садовая! Кино не видел, ну это, как оно называется? «Фронт», во!

— «Фронт» видал, а как же.

— Какие там звания, видел? Генералы, брат. И что? Много умных?

— Ну, то кино.

— А в жизни еще похлеще. Я знаю. С августа сорок первого воюю. Нагляделся.

— Оно всякое бывает. Конечно. В армии, как в большой деревне. Хватает и дураков, и умных.

Они оборвали разговор, из сумерек показался Ванин. За ним быстрым шагом шел кто-то еще.

— Вон Васюков, — сказал Ванин.

Васюков поднялся с бруствера, к нему подошел Зайцев.

— Иди, командир роты зовет, — сказал он. — Ужинать.

Васюков обрадованно молчал, и Ванин сказал:

— Давай! Вот окопаемся, и я забегу. Пока некогда.

В блиндаже было людно и накурено. На ящике, пристроенном посередине блиндажа, блестела желтая немецкая банка с отогнутой крышкой, там был мармелад. Ананьев в расстегнутой шинели, с папиросой в зубах отвинчивал обшитую войлоком флягу. Тут же сидел с унылым видом Цветков, всегда серьезный Гриневич; Зайцев, как только вошел, достал из-за пазухи полбуханки хлеба. Дальше сидело двое раненых, и в темном углу, уронив светловолосую голову, застыл немец.

— Кто это? Васюков? А где Ванин? — спросил Ананьев.

— Во взводе окапывается, — сказал Зайцев.

— Почему не пришел? Ты сказал, что я зову высоту замочить?

— Сказал. Говорит, не пью.

— Ну и дурак, — объявил ротный. — Пусть не пьет, нам больше достанется.

Он отвинтил флягу.

— Садись, Васюков. Поужинаем на прощание. Обедать уже в медсанбате будешь. Как рука?

— Болит.

— Правильно. Должна болеть. Мне когда предплечье перебило, полмесяца болело. Шестое ранение. А теперь ничего. Зажило, как на собаке.

Ананьев плеснул в кружку.

— Держи, Васюков. Выпьешь — враз полегчает.

Васюков выпил. Ананьев налил еще.

— Теперь по старшинству пью я. Чтоб ты там скорее это самое... Да в роту. А пока Зайцев побегает.

Он выпил и, даже не поморщившись, налил снова.

— Теперь очередь комиссара. Или ты не будешь?

— Я не буду, — твердо сказал Гриневич.

— Вот другой чудак. А, знаю, ты пожрать метишь.

— Пожрать я не против.

— Не выйдет. Это — для закуси. Васюков, чего стоишь, иди садись рядом, — сказал Ананьев и подвинулся. Васюков сел рядом.

— Жаль Кривошеева, хороший солдат был... Ну так что? Выпить чарку не забудь, на том свете не дадут. Давай, старшина, твоя очередь.

Пилипенко молча взял кружку и сразу потянулся к самому большому куску на ящике. В это время прошуршала палатка и в блиндаж влез длинный нескладный Шнейдер.

— Товарищ старший лейтенант...

— Шнейдер, — перебил его Ананьев. — Ну-ка вот этого цуцыка допроси.

Обросший черной щетиной Шнейдер снял автомат и опустился у порога. Ананьев сгреб откуда-то с пола пачку бумаг пленного и протянул Шнейдеру.

— Вот посмотри сперва, из какой части фриц этот.

Шнейдер стал разбираться в бумагах, немец поднял голову и пристально наблюдал за ним.

— Ви ист игр намэ унд диенстград?[1]

Немец криво усмехнулся и молчал, будто и не слушал. На его груди поблескивало несколько немецких значков и медалей.

Шнейдер повторил вопрос, все смотрели на немца, как тот вдруг рявкнул:

— Вэк, юдэ!

Гриневич начал подниматься на ноги, Пилипенко выругался. Шнейдер вдруг сделал ошеломляющий выпад и ударил немца кулаком в лицо. Ананьев захохотал.

— Отставить! — крикнул Гриневич. — Вы что?

— А что — он? — в ответ крикнул Шнейдер и замолчал. Он был в бешенстве. Ананьев с фальшивым оживлением спросил:

— Ты не боксером был?

— Я слесарем был, — со сдержанной яростью сказал Шнейдер. Они с немцем продолжали есть друг друга глазами.

— Вы что — чепе захотели? Есть приказ по армии относительно пленных, — сказал Гриневич.

Ананьев кисло поморщился.

— Ладно, черт с ним. Загляни-ка в книжку, какая там часть?

Шнейдер дрожащими руками полистал солдатскую книжку пленного.

— Триста двадцать четвертый отдельный саперный батальон. Третья рота. Командир взвода оберфельдфебель Фердинанд Гросс. Дальше тут прохождение службы. Награды. Группа крови. Адрес семьи: Дюссельдорф...

— Начхать на адрес, писать не придется. Спроси лучше, какое подразделение обороняло высоту?

Шнейдер полистал свой русско-немецкий разговорник.

— Вас фюр... Вас фюр айн абтэйлюнг?

Немец повел взглядом и набычил голову.

---

[1] Ваше имя и звание? (*Нем.*)

— Может, не понимает? — сказал Ананьев. — Смотрю, из тебя переводчик, как из меня гармонист.

— Зразумие, чакайте. Кулак вин проще разумее, — сказал Пилипенко.

— А ну еще.

Шнейдер спросил еще, но пленный совершенно не реагировал на него. Тогда в тесноте блиндажа угрожающе поднялся Ананьев.

— Ты, цуцык! — произнес он таким тоном, что все в блиндаже притихли. — Если ты будешь мне в молчанку играть, то я враз из тебя отбивную сделаю. Не посмотрю и на приказы.

Но немец и на это не отреагировал.

Тогда Ананьев обернулся, взгляд его упал на кружку с водкой, которая стояла на ящике. Он схватил ее и сунул под нос немцу.

— Пей, сволочь!

Немец вдруг выхватил кружку, секунду помедлил и вдруг выпил всю водку. Кружку протянул ротному.

— Нох!

— Что?

— Нох!

— Шнейдер! — крикнул командир роты. Переводчик начал торопливо листать свой разговорник, но все в блиндаже и без того поняли жест немца.

— Еще просит!

— Еще?

Ананьев выпил в кружку все, что оставалось во фляге, и немец с жадностью снова выпил до дна. Кружку швырнул на пол.

— Смотри-ка! — удивился Ананьев. — Вот это фриц! Ну, теперь он развяжет язык. Шнейдер! Спрашивай про высоту.

Шнейдер задал все тот же вопрос, но пленный, не дослушав его, вдруг рявкнул:

— Шиссен!

Он начал срывать с себя мундир.

— Шиссен, рус швайн! Шиссен!

— Гадина, — сказал Шнейдер. — Застрелить требует.

Немец истерично рвал на себе борта мундира, все в землянке со злым удивлением глядели на него, не зная, что делать. Тогда он, несколько успокоясь, будто картавя, запел на чужом языке:

Вен ди зольдатен
Юбер ди штад марширен

Офнен ди медхен
Фенстер унд ди тирен...[1]

Голос его, однако, слабел, он уронил на плечо голову и вовсе затих.

— Пилипенко! — сказал Ананьев. — А ну тряхни его!

Пилипенко сгреб немца за борта мундира и сильно встряхнул, но немец даже не встрепенулся. Похоже, он спал.

— Ах ты, обормот! — удивился Ананьев. — Да он же был пьяный. А мы еще... Только водку извели. Ну что теперь ты от него добьешься! Пусть дрыхнет пока...

— Мне разрешите идти? — спросил Шнейдер, вставая.

Ананьев ответил не сразу: его внимание занимал немец.

— Смотрите там! — ответил он наконец. — Могут сунуться ночью. Чтоб не проспали.

— Не проспим.

— То-то!

Закинув за плечо автомат, Шнейдер вылез в траншею.

Ананьев сел на прежнее место, подобрал длинные ноги.

— Пилипенко, давай толкового хлопца. Донесение отправить.

Старшина молча встал и двинулся к выходу. В блиндаже наступило молчание. Фляга Цветкова незавинченной лежала на ящике, хлеба остался небольшой кусок. Командир роты взял его и сразу откусил половину.

— Комиссар, — сказал он, мощно двигая челюстями. — Дайка бумажку и карандаш.

Гриневич расстегнул туго набитую полевую сумку, пошарил там, вырвал из какой-то тетради чистую страничку, из кожаного сота достал карандаш и все это протянул Ананьеву.

— Думал, пошлю пару сведений о противнике, — сказал Ананьев. — Да вот пошлешь тут! Обормот, не фельдфебель. Цветков, а ну-ка посвети, ни черта не видать.

Цветков снял с полочки плошку и на коленях услужливо склонился к командиру роты. Дожевывая хлеб, Ананьев начал писать. Он не очень бойко выводил твердым чернильным карандашом. Цветков одним глазом косил туда, при этом выражение его освещенного снизу лица как-то странно менялось.

---

[1] Когда солдаты
Маршируют по городу,
Женщины и девушки
Раскрывают окна и двери.
(*Нем. солд. песня.*)

Что-то снисходительно- насмешливое появилось в его взгляде. Спустя минуту санинструктор грубовато заметил:

— Не донисение, а донесение.

Ананьев недоверчиво на него покосился:

— Ну да? Скажи мне! Может, еще учить будешь?

Цветков никак не отреагировал на эту реплику, невозмутимо добавил:

— И не занил, а занял. Занял высоту, так правильно.

Ища поддержки, Ананьев в притворном недоумении взглянул на Васюкова, потом на Гриневича. Замполит передернул уголками губ, но смолчал. Обращаясь к нему, старший лейтенант сказал:

— Смотри, он и в самом деле учить меня начинает! Ха! Будто я сам не знаю! Занил-занял. Конечно, занял! — уверенно объявил ротный.

Васюков с удивлением взглянул в тетрадь. И как раз в этот момент тупо заточенный карандаш Ананьева с нажимом исправлял «и» на «я». Наверное, это по достоинству оценил Цветков, потому что дальше уже молчал. Через пять минут старший лейтенант выпрямился и вслух, слегка любуясь написанным, прочитал:

— Вече 35004, майору Сыромятникову. Карта — трофейная. Донесение. Занял высоту 117, 0. Взял в плен обер-фельдфебеля. Уничтожено около пятнадцати немцев... — Вроде прислушиваясь к чему-то, Ананьев молча поглядел на Гриневича: — Мало пятнадцать, а?

— Откуда там пятнадцать? — подумав, сказал замполит. — Сколько трупов было? Штук восемь? Так что же ты? По правде надо.

Ананьев нахмурился.

— Да ну тебя! По правде, по правде! Все у тебя по правде! Подумаешь — трупов! А может, они с собой трупы унесли?

— Зачем фантазировать?

Ананьев глубоко, со значением вздохнул.

— Знаешь, комиссар! Хороший ты хлопец. Но есть у тебя один недостаток.

Апатичный Гриневич с неожиданным любопытством повернул лицо к ротному. В его серых глазах шевельнулась усмешка.

— Это какой же?

— Какой? Слишком правильный! Все у тебя правильно-неправильно. А я чихать хотел на это правильно! Мне — чтоб лучше! Для роты чтоб лучше! Понял?

Гриневич, нагнувшись без надобности, подобрал карту из тех, что валялись под ногами.

— Не будет правильно — не будет и лучше, — рассудительно сказал он. — Будет хуже... Ибо, кроме роты, есть еще полк, дивизия, армия. Вот так!

— Знаешь что?.. Ты это скажи бойцам, а не мне. Я, брат, с сорок первого между пуль бегаю. Потому знаю. Если бойцам лучше, так и роте лучше, и полку, и дивизии.

— Ошибаешься, командир.

— Черта с два ошибаюсь.

Гриневич, задумавшись, разорвал пополам трефовую девятку и бросил обрывки под ноги. Командиру роты он не ответил. Вокруг были бойцы, и тактичный замполит не хотел в их присутствии развивать спор.

— Вот напишу сорок семь! — вдруг сказал Ананьев. — И будет правильно. Понял? Пусть кто посчитает. Ну, да свети ты! Ни черта не видно.

— Нечем: догорает.

Плошка, действительно, догорала.

Ананьев долго держал карандаш над бумагой и сердился. Потом бросил косой взгляд на политрука и, не меняя цифры, размашисто зло подписал.

Огонек в руках у Цветкова превратился в крошечную искорку и погас. Сплошной мрак заполнил блиндаж.

— Так, — проговорил в этой темени командир роты. — Кимарнем на пересменку. Давай, комиссар, начинай первый.

— Да ну! Не очень кимарнешь тут...

Замполит не договорил, но и без того все поняли ход его мыслей. Люди здорово измотались за это наступление по слякоти, было голодновато, патронов осталось не больше, чем на один непродолжительный бой. К утру вряд ли подойдут соседние батальоны: второй завяз под Курпятином, третьего что-то вовсе не было слышно в ночи. А где-то рядом притаился противник — кто знает, что он выкинет в любую минуту.

Будто в ответ на это командир роты сказал:

— Посижу чуток и пойду во взвода. А ты, Васюков, давай, дави ухо. Привыкай. Теперь у тебя новая должность — ранбольной.

У входа послышались шаги, зашуршала палатка, кто-то невидимый влез в блиндаж и затих, ослепленный теменью.

— Кто это? — спросил Ананьев.

— Рядовой Щапа, товарищ старший лейтенант, — совсем рядом раздался знакомый шепелявый голос.

— А, Щапа! Слушай! Тебе важное боевое задание. Рванешь в Бражники с донесением. Знаешь Бражники? Ну, где нас «юнкерсы» бомбили. Разыщешь майора Сыромятникова — вручишь. Понял?

— Понял, товарищ старший лейтенант.

— Километров двенадцать. Знаю, не спал, не ел, не отдыхал. Но — надо. Встретишь старшину — направляй сюда. Скажи: я из него душу вытряхну и новую вставлю.

— Ясно.

— Если ясно, бури документ и — аллюр три креста!

Заворошилась палатка. Щапа вышел.

Ананьев вольнее вытянул ноги, откинулся спиной к холодной стене блиндажа.

— Комиссар, не спишь?

— Нет, а что?

— Знаешь, вот думаю: майор, товарищ Сыромятников. Исполняющий обязанности командира полка. Дважды орденоносец и так далее. Вызывает какого-то ваньку-взводного — у того коленки дрожат. А ты знаешь, год назад мы с ним в третьем батальоне ротами командовали.

— Ну и что? — сонно отозвался в темноте Гриневич. — Что тут такого: война, выдвижение.

— Да, вот именно: выдвижение. Говорят, не узнаешь друга, пока он твоим начальником не заделается. Редко кто останется прежним. А то — будто подменят. Сначала имя твое забудет, потом на «вы» перейдет. Такая это противная штука — выковка! Терпеть не могу. Ну, если уж начальство, старший кто-то, понятно. А то я старший лейтенант и он старший лейтенант, мне двадцать восемь и ему столько же. И один другого на «вы».

— Ты это о ком? О Кузнецове?

— А хотя бы! Стал командиром батальона, и уже он меня на «вы». Сыромятников, правда, не таков. В общем, он неплохой мужик...

В блиндаже стало тихо и темно, послышались чьи-то шаги в траншее. Где-то рядом долбили лопатой землю — за стеной глухо отдавались ее размеренные удары. В углу громко сопел немец.

— Никогда не забуду подполковника Бобранова, — снова заговорил Ананьев. — Таких командиров грех забыть. Под Невелем это было, в сорок первом. Я тогда еще старшиной ходил. Дрались, помню, двое суток, в батальоне ни одного среднего командира не осталось, бойцов — горстка. Ну, я за комбата. Семь атак отбили, а на восьмой не удержались. Танками, сво-

лочь, сбил с бугра — гранаты все вышли, артиллерия кверху колесами. Под вечер драпанули за речку, бредем, как чокнутые, ни черта не слышим, не соображаем — одурели от усталости. И тут откуда ни возьмись из леска командир корпуса, еще какое-то начальство и наш командир полка подполковник Бобранов. Комкор выхватывает пистолет: стой! Так вашу растак — расстреляю, под трибунал отдам! И к Бобранову, давай его с грязью мешать. Накричался, в «эмку» и — здоровеньки булы. Думаю, теперь еще от командира полка будет. А наш Бобранов, как только комкор скрылся в лесу, спокойно так подходит ко мне. Дай, говорит, твою руку, герой! Молодцы, стойко держались. От лица службы тебе благодарность. И еще — чем бы тебя наградить? Вынимает из кармана часы, отстегивает цепочку и вручает мне. Знаешь, не выдержал я, заплакал, ей-богу!

— А где он теперь, Бобранов этот? — спросил Васюков.

— Месяца два командиром дивизии был. Не нашей, правда, соседней. А потом я в госпиталь загремел, а вернулся, в армии его уже не было. Говорили, будто тоже по ранению выбыл. А часики те у меня, как был без сознания, уволок кто-то. Не сберег — всю жизнь жалеть буду. Они мне дороже ордена были.

Ананьев докурил и каблуком сапога затоптал окурок.

— Ну, хватит болтать. Пойду пройдусь, — сказал он и, толкнув Васюкова, встал. — Вы тут хотя не все спите. Не курорт вам.

Но никто в блиндаже не спал. Сидели и прислушивались. Слышно было, как он вылез и прошлепал по грязи в траншее. Как только его шаги затихли вдали, Цветков потянулся руками к ящику, зазвякал чем-то, наверно, искал свою флягу.

Стало тихо и скучно.

Васюков то открывал, то закрывал глаза, чутко реагируя на звуки извне: приглушенный кашель, редкие слова; временами кто-то там прохаживался сюда-туда по траншее.

Вдруг что-то там, в траншее, изменилось. Васюков, а затем Гриневич насторожились. Рядом кто-то бежал, кого-то окликнул поблизости и стих. Но тут же на входе зашуршала палатка, человек, пригнувшись, заглянул в блиндаж:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант Гриневич!

— Я. Что такое?

— Товарищ лейтенант! — запыхавшись, говорил боец. — Командир роты зовет.

— А что случилось?

Боец помедлил, переводя дыхание.

— Там... Немцы шурудят.

Гриневич быстро поднялся и, споткнувшись о чьи-то ноги, вышел из блиндажа.

Васюков, накинув шинель, вышел следом. В темноте задвигался Цветков, но остался на месте — видно, поудобнее устаиваясь. Насторожились раненые, поглядывая на храпящего немца...

Снегу за ночь прибавилось, им были густо запорошены бруствер и дно траншеи, на котором проступили темные пятна грязи. Вокруг посветлело, стало дальше просматриваться поле, кустарник, бурьян на взмежке. Над тускло-серым пространством висело сумрачное, без единой звездочки небо.

Бойцы из взвода Пилипенко, стоя в траншее, глядели куда-то в сторону. Двое грелись: устало сопя, сосредоточенно толкали друг друга плечами. Они дали пройти Васюкову и тоже стали, вглядываясь в сумерки.

Командир роты был на середине траншеи, как раз в месте стыка позиций двух взводов. Тут же стояли Гриневич, Пилипенко, несколько бойцов и Ванин. У ног младшего лейтенанта вертелась Пулька.

— Да не там. Левее бери. Видишь, кустики, вот возле них, — показывал командир роты Гриневичу.

Гриневич, пристально вглядевшись, пожал плечами:

— Ничего не вижу.

— А ты всмотрись. Не слепой же, наверно?

К ним степенно повернулся Пилипенко, который был теперь без палатки, в шинели с зябко наставленным воротником.

— Мы тэж сперва нэ бачылы. А прыдывалися — хтось ворушится. Всим не можа здатыся.

Ананьев оглянулся, увидел Васюкова, нисколько не удивившись его тут появлению, ухватился за рукав:

— Ну-ка глянь, Васюков. У тебя глаз ватерпас!

Васюков тщательно всмотрелся в серые сумерки, в которых слабо угадывалось вдали что-то наподобие кустарника или, может, пригорок, но ничего живого там не заметил.

— Ну, видишь!

— Нет.

Ананьев нахмурился, помолчал и бросил Пилипенко:

— Тащи пулемет!

Пилипенко молча пошел по траншее и вскоре принес откуда-то РПД с примкнутым магазином. Командир роты сноровисто укрепил пулемет на бруствере.

— А ну, понаблюдайте.

Очередь обвальным грохотом разорвала ночную тишь, красноватые отблески от ствола лихорадочно затрепетали на бруствере, в траншею сыпануло горстью горячих вонючих гильз.

Выждав, пока вдали смолкнет эхо, Ананьев отнял от плеча приклад и выпрямился.

— Ну что?

— А нычого, — сказал Пилипенко. — Ни гу-гу.

— Гадство! — подумав, выругался командир роты.

Ему никто не ответил. Все стояли молча, не зная, как разгадать эту тревожную загадку ночи. Тогда от бруствера повернулся Ванин, который до этого тихо стоял возле комроты в своей коротенькой волглой фуфайке.

— Давайте я схожу, — сказал он просто, будто речь шла о какой-то мелочи. — Если что — пулеметом...

— Давай! — вдруг обрадованно сказал комроты. Гриневич возразил:

— Один? Не положено. Вдвоем надо.

Ванин оглянулся.

— Пласкунов, айда!

Низкорослый и кривоногий автоматчик Пласкунов, от холода подрагивавший сзади в неподпоясанной шинели, нерешительно переступил с ноги на ногу. В одной руке он держал жестяную коробку с дисками от РПД.

— Так я это...

— Що ты? — зло гаркнул на него Пилипенко.

— Так это... пулемет.

— Не втэчэ твий кулепет. Бэри автомат и дуй.

Ванин между тем до стал из кармана гранату, точным движением вставил запал и планкой нацепил ее на ремень у пряжки.

Пласкунов все еще маялся. Вся его тщедушная фигура была воплощением тоскливой нерешительности. С трудом превозмогая ее, он снял с плеча автомат, поправил шапку и, когда Ванин, опершись коленом о край бруствера, вылез наверх, тоже начал выбираться из траншеи.

Ванин, однако, вспомнив о чем-то, шагнул к командиру роты.

— Подержите пока, а то...

— Нэ вэртайтесь! — крикнул Пилипенко.

Скинув через голову планшетку, младший лейтенант подал ее Ананьеву и торопливо сбежал с бруствера.

— Вэрнувся! От дурень, — ворчал Пилипенко.

Кто-то недоуменно спросил:

— А что, если вернулся?

— Що, що! Нэ знаешь що?

Пулька жалостливо заскулила, забегала, стараясь выскочить из траншеи. Пилипенко пнул ее сапогом: «Холера, тэбэ щэ нэ хапало!» — боец в бушлате попытался поймать собачонку, но та, взвизгнув, прошмыгнула между ног, норовя вспрыгнуть на бруствер. Гриневич негромко прикрикнул:

— Что за псарня еще? Космачев!

— Я.

— Пристрелите собаку!

— Ну что вы, товарищ лейтенант! — взмолился боец. — Как можно!

Гриневич оглянулся.

— Сидорец!

— Так слипота у мэнэ курина. У траншеи нэ бачу нычога.

Гриневич, наконец, толкнув кого-то траншее, протиснулся в ту сторону, откуда доносился скулеж Пульки. Стоящие в траншее обернулись вслед уходящему замполиту. Однако выстрела, которого сейчас все ожидали, не было слышно, послышались торопливые шаги и, пряча в кобуру пистолет, появился Гриневич.

— Ну, как там? — спросил он командира роты.

— Вроде прошел... Тихо пока, — ответил, не оглядываясь, Ананьев.

— А Пулька? — робко спросил кто-то.

— Смылась куда-то... — ответил Гриневич.

Все снова стали смотреть в предутренние сумерки, скрывшие Ванина.

Еще постояли, ожидая выстрелов или криков, но вокруг было тихо.

Напряжение постепенно стало ослабевать, люди в траншее задвигались, кто-то присел закурить. Пилипенко справился о времени, ему ответили. Дольше всех в предутренний полумрак всматривался Ананьев, но и он наконец отступил от пулемета и прислонился к тыльной стенке траншеи.

— Слушай, комиссар, — начал он, оглянувшись через плечо. — Ты сходи в тот конец... как там — не позасыпали?.. А я тут у Ванина...

— Ванин скоро должен вернуться, если там... — и, не договорив, Гриневич пошел вдоль траншеи в сторону блиндажа.

— Та-а-ак... Васюков! — позвал Ананьев и, не услышав ответа, снова окликнул: — Васюков!.. Черт, только же здесь был!

— Я здесь, товарищ старший лейтенант!

К Ананьеву, запыхавшись, протиснулся Васюков. Шинель на нем была надета в один рукав, на раненое плечо была просто накинута, забинтованную руку он держал как-то неестественно, широко отставив локоть.

— Ты вот, Васюков, забирай немца, раненых и шагом марш в санроту. До речки Цветков проводит.

Васюков потоптался нерешительно, хотел что-то сказать, но Ананьев добавил:

— Давай лечись.

В голосе Ананьева Васюков, хорошо знавший своего командира, услышал несвойственные ему нотки беспокойства и ответил душевно:

— Ну что ж... Тогда до свидания.

И когда Васюков, подойдя вплотную к командиру, протянул руку для пожатия, то увидел, что Ананьев смотрит не на него, а на мордочку Пульки, высунувшуюся из-под его шинели.

— Ну, давай, пока тихо! — сказал Ананьев коротко, пожал руку и снова повернулся в притуманенной дали. Молча подал широкую кисть Пилипенко. Затем Васюков торопливо пожал холодные руки бойцов, молча проводивших его подчеркнуто внимательными взглядами.

Васюков рванул над входом палатку и влез в блиндаж.

— Подъем! Раненые, за мной шагом марш!

Раненые быстро поднялись, разобрали оружие. Вместе с Цветковым растормошили немца и вылезли в траншею.

Обер-фельдфебель немного проспался и вроде бы протрезвел, потому что хотя и без усердия, но все же исполнял команды. Правда, идти ему было трудно, он почти не ступал на раненую ногу и прыгал на одной, перебирая по стенам руками.

Между тем начинало светать.

Небо прояснилось, на востоке стал виден край леса над пригорком, где была дорога, — из серых сумерек медленно выплывал оснеженный, неуютный простор. Было ветрено, холодно, снег, однако, не шел. Похоже, будто чуть-чуть подмораживало.

Они немного прошли по траншее, дальше надо было вылезать наверх. Цветков первым вскочил на бруствер и подал Васюкову руку. Затем выбрался автоматчик с перевязанной головой. Вдвоем они вытащили другого автоматчика и протянули руки немцу. Обер-фельдфебель нерешительно посмотрел снизу вверх: вряд ли он понимал, куда его вели, наверно, думал — расстреливать, и только сейчас начинал кое о чем догадываться.

— Ну, что лыпалы выкатил? Давай руку!

Он протянул руку, его с усилием выволокли на бруствер. Но тут оказалось, что он совсем не может идти и сразу опустился наземь.

— Как же его вести? — ругался Цветков. — Подвода нужна. Слушай, — настороженно продолжал Цветков, обращаясь к Васюкову. — Разве Ананьев не до санроты меня посылал?

— Только до речки, — ответил Васюков.

— А от речки вы как? Вот с этим?

— Как-нибудь.

Цветков с раздражением рванул рукав немца:

— А ну, встать!

Пленный встал, санинструктор взял его под руку.

Впятером они сошли с бруствера и по скользкому от снега травянистому склону направились к мостку вниз. Цветков довольно бесцеремонно волок немца, тот, часто падая на свободную руку, едва успевал за ним. Васюков с двумя автоматчиками обогнали их, скользя по пересыпанной снегом траве, сошли к речке и все по тем же балкам разрушенного мостка перебрались на другой берег. Дальше надо было дождаться Цветкова, чтобы взять у него пленного, и Васюков придержал ребят, которые с заметной поспешностью стремились в тыл. Однако провести одноногого человека по бревну было не просто, во всяком случае, Цветков на это не отважился. Подойдя к мостку, он нерешительно остановился, посмотрел в мутный водяной поток, шумно бурлящий между мокрых, оснеженных берегов.

— Ну что? — спросил Васюков.

— Не пройти. Какая тут глубина?

— Давай, не утонешь!

— Что давай? Иди помоги!

Лезть в холодную воду Васюкову не очень хотелось, но все же, одной рукой подобрав полы шинели, он вошел в речку, быстро перебежал поток, и вдвоем они взяли немца. Оберфельдфебель тотчас повис на их руках, и они с усилием приподняли его довольно-таки тяжеловатое тело. В воде он раза два прыгнул на здоровой ноге и благополучно очутился на другой стороне.

— Гадская работа! — поморщился Цветков. — В сапогах полно воды.

В сапогах у них здорово чавкало, ноги начали стыть, надо было скорее идти, чтоб согреться, но Цветков не отпустил от себя немца.

— Вдвоем поведем.
— А в роту не вернешься? — спросил Васюков.
Уже стало светло даже вдали. Васюков хорошо видел посеревшее от бессонницы лицо Цветкова, который слегка поморщился и, наверно, больше для того, чтоб успокоить самого себя, объяснил:
— Санинструктору полагается сопровождать раненых до санроты. Так что...
Он не окончил фразу, однако смысл ее был и без того ясен.
Они молча пошли по дороге, которая тут пролегала по довольно высокой насыпи. Немец при каждом прыжке сильно шлепал по грязи подошвой, Васюкову было неудобно держать его одной рукой, к тому же мешал автомат на правом плече, да и Пулька начала выказывать беспокойство.
— Брось ты ее, в самом деле, — сказал Цветков.
— Ну да! Еще убежит. А там...
Васюков не закончил фразы и оглянулся, почувствовав, что там, на высоте, что-то случилось. Немец в их руках встрепенулся, стремительно вывернувшись, и на его лице отразился короткий радостный отблеск. На высоте пронзительно затрещали автоматы, послышались крики, несколько одновременных гранатных взрывов.
По фронтовой привычке все торопливо соскользнули с насыпи и попадали на ее кособоком мокром откосе. Ниже была грязь, канава, но высокая насыпь хорошо укрывала, пули с высоты сюда не залетали. Пулька выскользнула из-под шинели и сразу угрожающе зарычала на немца. Тот опасливо отодвинулся от нее.
— Что такое? — сказал Цветков. — Что там случилось?
Васюков боком вскарабкался наверх и выглянул из-за насыпи. На склонах высоты никого не было, но на самой ее верхушке, еще затянутой утренней дымкой, уже улавливалось какое-то движение, пыль, вспышки выстрелов — там разгоралась ожесточенная схватка.
Когда Васюков опять спрятал голову и оглянулся, то оказалось, что рядом с ним один только немец да Пулька. Остальные с Цветковым, пригнувшись, перебегали за насыпью вдоль дороги, вверх на пригорок.
— Стой! Назад! — неожиданно для себя во все горло закричал Васюков.
Цветков приостановился, оглянулся.
— Назад! — снова закричал Васюков.
Цветков уныло оглянулся на раненых и неохотно полез вверх по скосу. Не успел он опуститься рядом с Васюковым,

как о дорогу ударили пули. Ворот Васюкову залепило грязью, оба они сунулись головами в мокрядь, но Васюков тут же выглянул на дорогу и вскрикнул.

По склону высоты вниз, перегоняя друг друга, беспорядочно бежали автоматчики.

Сначала взвод Пилипенко, а затем и вся рота, оставив траншею, врассыпную мчалась к реке. Несколько человек уже упало, кто-то сзади пытался подняться — повозился и затих на снегу. Некоторые, коротко припадая на колено, торопливо отстреливались одной-двумя очередями. Другие тем временем безостановочно мчались вниз.

Рота рассыпалась по склону, грохали взрывы гранат; над высотой выло и трещало.

Передние из автоматчиков уже приближались к мостку, другие забирали в сторону, к кустарнику на болоте. Несколько человек с ходу, почти не задерживаясь, сунулись в воду, и тогда сзади, вдобавок к автоматному огню, ударил пулемет. Приготовленные для ночи трассирующие огненными молниями стеганули наискосок по склону, пули рикошетом метнулись в небо. У мостка кто-то упал, кто-то, наверно, раненый, пронзительно завопил в отчаянии, но тут же этот его вопль и заглох в стоголосом грохоте боя.

Но вот сквозь визг пуль и треск очередей приглушенно, как неведомо из какой дали, донесся из-за речки знакомый надсадный крик:

— Стой! Стой! Такую твою... Стой!

Васюков встрепенулся, вскочил и бросился навстречу этому крику.

— Стой!.. Стой!

Это кричал Ананьев!

Без шапки, в распахнутой шинели, с пистолетом в руке он метался между бойцами по склону, пытаясь задержать беглецов и одновременно догнать передних, чтобы с ними остановить всю роту.

— Стой! Стой!

— Сто-о-ой! — не своим от ожесточения голосом заревел и Васюков, подбегая к мостку. По его бревнам навстречу мчались двое бойцов, вид их был довольно растерянный. Крича страшным голосом, Васюков одной рукой затряс автоматом, и бойцы, кажется, что-то поняли. Метнувшись от близких ударов пуль, они торопливо упали за насыпью. Туда же бегом кинулись те, что вылезли из речки. С их мокрых шинелей ручьями лилась вода.

Два пулемета на высоте, захлебываясь, извергали потоки пуль. Очереди, каждая третья пуля в которых была трассирующей, жалили землю, снег, воду в реке, брызгали снегом и грязью.

Ананьев выскочил из речушки едва не последним — грязный, мокрый, с зажатым в руке пистолетом, затвор которого застопорился в заднем положении, выдвинув вперед тонкий вороненый ствол. Пулеметная очередь обдала его брызгами грязного снега, но он даже не уклонился от нее — одним махом взлетел на обмежек, и Васюков подался ему навстречу. Командир роты, однако, даже не взглянул на него. Темное его лицо было искажено гневом, по щекам стекал пот. Грудь и живот старшего лейтенанта были в грязи, шинель сбоку распорота. Он подбежал к насыпи и, увидев бойцов, беспорядочно залегших на откосе, с ожесточением закричал:

— В цепь! В цепь!

Его тут же послушались, несколько человек поднялись и, пригнувшись, отбежали, чтобы залечь пореже. Нисколько не укрываясь от пуль, которые взвывали вверху, Ананьев проследил за бойцами, затем оглянулся в другую сторону и крикнул:

— Васюков!

Васюков без слов вскочил с откоса и, сиганув через лужу, бросился к командиру.

— Васюков, всех — в цепь!

Не оглядываясь, Васюков помчался короткими перебежками, то и дело плюхаясь в мягкий подтаявший снег, через десять секунд вскакивая снова. Сначала с высоты по нему не стреляли, затем, наверно, все же обратили внимание на одинокого беглеца, и пулемет с рассеиванием в глубину сыпанул горстью пуль. Одна из них хлестко щелкнула под руками. Васюков с маху упал на пересыпанную снегом стерню. Последняя пуля ударила в приклад автомата, расколов его пополам, и очередь метнулась к насыпи.

Еще один бросок — и Васюков укрылся за ольшаником.

Крайние в цепи автоматчиков взвода Пилипенко, расползшись по обмежку, начинали окапываться, Васюков подбежал и растянулся возле одного из них, что невозмутимо лежал, широко раскинув ноги. Кажется, он что-то жевал.

— Где Пилипенко?

Боец молча кивнул в сторону и натянул на затылок ворот шинели.

Пригибаясь за голым, местами довольно-таки густоватым кустарником, Васюков побежал вдоль цепи и вскоре вместо

Пилипенко в какой-то впадине-ямке наткнулся на лейтенанта Гриневича.

Замполит был ранен и, откинувшись на локте, со страдальческим видом лежал на боку. Брюки его были сдвинуты к коленям, незнакомый боец в телогрейке, склонившись над лейтенантом, поспешно и неумело бинтовал тому бедро и низ живота. Руки плохо слушались бойца, бинт закручивался, и Гриневич раздраженно покрикивал:

— Да сильней ты затягивай! Кровью сплыву.

— Сейчас, сейчас!..

Васюков вбежал в ямку и опустился рядом.

Лейтенант коротко из-под каски взглянул на него и поморщился.

— Сволочи! — выдавил он. — Что натворили! Дразнили с одного бока, а ударили с другого.

— Командир роты приказал: всем в цепь! — сказал Васюков.

Гриневич приподнялся на локте:

— Беги, передай Пилипенко. И чтоб ни шагу назад! А то на склоне положит всех.

Васюков было поднялся бежать, как увидел поодаль старшину — громко ругаясь, тот гнал в цепь трех бойцов, которых вернул, наверно, от самого пригорка.

— Гэть! Гэть, вашу мать! Я вам покажу тикаты!

Автоматчики в цепи не стреляли, прекратили огонь и немцы.

Пилипенко устало пробежал еще немного, пока от немцев его не заслонил кустарник, затем по взмежью свернул в сторону замполита.

Однако не успел старшина добежать до впадины-ямки, как с другой стороны послышалось торопливое чавканье ног, все оглянулись — решительной походкой сюда направлялся Ананьев. Он по-прежнему был без фуражки, в наспех застегнутой на пару крючков шинели, сбоку которой непривычно болталась знакомая планшетка Ванина.

Командир роты вдруг остановился над ямкой, будто неожиданно для себя наткнулся на нее.

— Ну! — произнес он тоном, от которого у всех похолодело внутри. — Что расселись? Что расселись, так вашу мать! Бегите дальше! Драпайте к чертовой матери!

Он уставился в какую-то точку у ног замполита и стоял так, вызывающе грозно возвышаясь над всеми. Гриневич, автоматчик, который перевязывал замполита и теперь без дела ерзал внизу, потный, усталый Пилипенко, что на беду как раз сунулся сюда, — все молчали.

— Почему драпанули? Драпанули почему? Я вас спрашиваю, старшина Пилипенко!

— Так цэ ж... обкружалы, — неуверенно начал Пилипенко и замолчал. Вскоре, однако, он уже решительнее выпалил: — А хиба мои одны драпанули?

— Ах, не твои одни! — подхватил Ананьев. — Оправдался! Выкрутился, как... Не его одни! И Ванина тоже — это ты хотел сказать?! Но Ванин на высоте остался, а ты тут! На какого же хрена тогда ты тут нужен!

Ананьев зло, раздраженно кричал.

Васюков то вскакивал, то садился — хотелось ему куда-нибудь убежать от этого командирского гнева, хотя он ни в чем не чувствовал себя виноватым. Гриневич тоже неловко застыл на боку, пытался было что-то сказать, но Ананьев никому не давал вымолвить слова. Наконец замполит вставил:

— Что материться без толку? Окапываться надо.

— Материться? — грозно сказал Ананьев. — Мало материться! Надо высоту вернуть! Поняли?

Гриневич с непроницаемой сосредоточенностью на темном, тронутом гримасой боли лице сказал:

— Вряд ли вернешь!

Ананьев не ответил и, минуту помедлив, сунул пистолет в кобуру.

Рота уже вся залегла двумя группами, на этой стороне речки не было заметно никакого движения, но позиция была тут более чем неудачная: все подходы с тыла находились на виду у немцев.

— Что ж теперь получается? — сказал командир роты, поворачиваясь лицом к высоте. — Получается, Ананьев — трепач! Донес про высоту, а сам в болоте сидит!

— Я же говорил вчера! — напомнил Гриневич. — Не надо было лезть. Пусть бы сидели, черт с ним. Приказа на атаку не было, зачем было выпендриваться!

— Ты мне про атаку не дуди! — снова загорячился Ананьев. — Атака первый сорт вышла. А вот сегодня обос...я! — закричал командир роты и повернулся к унылому Пилипенко. — Я же приказал тебе остановить взвод! Какого же ты черта сам кинулся за всеми?

— Так биглы ж!

— Видели его: биглы! И ты побежал! Ну тогда и бегай! Рядовым бегай! Я снимаю тебя со взвода! Понял?

— Знимайтэ, — покорно сказал старшина, пожимая плечами. Затем, как-то враз приняв независимый вид, стянул с го-

ловы шапку и ее подкладкой вытер с лица пот. — Така мини бида! Тьфу!

— Тебе стадом овец командовать, а не взводом! Тюфяк с мякиной!

— Та хто е.

Пулеметчик с высоты, кажется, что-то заметил на этой стороне и длинной очередью запустил через кустарник. Две пули щелкнули на краю ямы, пырснув в небо черной землей. Ананьев, однако, не шевельнулся и по-прежнему грозно стоял над ямой. Потом, не сказав ни слова, круто повернулся и стремительно зашагал к дороге.

Васюков выбрался из ямы и побежал следом.

Заняв свои окопы, немцы совершенно затихли на высоте, будто все остальное их не касалось.

Ананьев сначала бежал, а потом просто пошел скорым шагом. Васюков догнал ротного и, то и дело поглядывая на высоту, пошел сзади. Их легко было подстрелить тут, но Ананьев не бежал, и Васюков вынужден был идти за ним шагом. Так они и шли по почти открытому полю при абсолютной тишине с обеих сторон.

Уже рукой подать была насыпь у моста, когда на том месте, где Васюков недавно сидел с пленным, он увидел Щапу. У его ног лежал автомат, чем-то туга набитый вещевой мешок. Он кормил Пульку.

Ананьев тоже увидел его, но ничем не обнаружил своей заинтересованности — изредка поглядывая на высоту, дошел до насыпи, перепрыгнул лужу в канаве и по откосу взобрался к бровке дороги.

Щапа повернулся к командиру роты.

— Ваше приказание выполнил, товарищ старший лейтенант.

Ананьев молча опустился на откос и, высунув голову, впервые сосредоточенно осмотрел склон высоты.

— Там второй батальон развертывается, — Щапа показал в сторону бугра за дорогой.

На дороге, на склонах высоты снега уже осталось немного: снег таял. В нескольких местах на склоне видны были трупы убитых — серые неподвижные бугорки шинелей между истоптанных снежных пятен.

— Где старшина? — мрачно спросил Ананьев.

— А там, за бугром, — подхватив вещмешок и подвигаясь с ним выше, сказал Щапа. — Повозка сломалась. Вот тут перекусить пока что.

— Он что — вещмешком думает роту накормить? — покосился в его сторону Ананьев.

— Да это пока что. Для вас.

Боец торопливо развязал лямки, достал три сухаря, банку консервов и флягу. Ананьев протянул руку и первым делом сгреб флягу.

— Дай сухаря.

Щапа с услужливой поспешностью выбрал сухарь побольше, но старший лейтенант разломал его пополам. Боец с недоумением взглянул на командира роты.

— Остальное разделишь на всех. Понял? — сказал Ананьев, протягивая вторую половинку сухаря Васюкову.

— Что делить, товарищ старший лейтенант?

— Что есть.

Лежа на боку, казалось, безучастный ко всему Ананьев отвинтил флягу и, вскинув ее, отпил несколько глотков. С виду комроты становился спокойнее, грубоватое лицо его приобретало привычное выражение твердой суровой властности.

Бойцы на откосе усердно окапывались, изредка бросая любопытные взгляды в сторону командира роты. Взводные цепочки казались чересчур коротенькими — десятка полтора автоматчиков лежало за кустарником да столько же возле насыпи. Тут же находились и раненые.

Грызя сухарь, командир роты оглядывал свои боевые порядки.

— От тебе и рота! — сказал он. — Докомандовались...

— А что, и Зайцева нет? — осторожно спросил Васюков.

Ананьев не ответил и даже не взглянул на Васюкова — он снова вперил взгляд в высоту, будто ждал кого-то оттуда.

Сжевав остатки сухаря, Ананьев осмотрел взвод:

— Так, где Цветков?

— Вон Куркова перевязывает, — сказал Щапа.

— Передай: пусть собирает раненых, этого цуцика, — ротный кивнул на немца, возле которого опять настороженно сидела Пулька, — и по канаве — в тыл.

Щапа, пригнувшись, помчался по откосу.

Васюков вопросительно взглянул на Ананьева, но выражение лица того оставалось непроницаемым.

— Если третий батальон там, — вслух про себя рассуждал Ананьев, — то тогда не все еще потеряно. Еще мы посмотрим.

Ананьев сполз ниже, сидя, подтянул на шинели ремень.

— А что комиссар? Видно, серьезно ранен?..

— Наверно, серьезно. В бедро и живот.

— В живот? — обеспокоенно сказал Ананьев. — Худо дело!

Он о чем-то подумал еще и вскочил на ноги.

— Ладно. Ты побудь тут.

Но не успел он сбежать по откосу, как откуда-то издали долетел крик. Что-то похожее на протяжное «эй» послышалось вдали и исчезло.

— Товарищ старший лейтенант! — вдруг вскрикнул автоматчик на откосе.

Застыв с лопаткой в руках, он выглядывал над дорогой, и в его голосе сквозила тревога. Комроты остановился.

— Что такое?

— Гляньте.

То, что заметил автоматчик, кажется, было уже видно всем; бойцы встревоженно замерли в своих окопчиках, никто не промолвил ни слова. Ананьев поднялся на скос и упал на колено.

С высоты опять донеслось далекое, явно не нашенское «геей», и на высоте у верхней границы зяблевого участка показались двое. Они не спеша шли вниз — один почти впритык за другим. Задний при этом широко махал руками, судя по всему, подавал знак, чтобы не стреляли.

— Ге-эй! Нихт шиссен! Никс стгаляй!

Вся рота застыла в немом удивлении, видя и не веря своим глазам. Странные какие-то это были немцы. Хорошо вглядевшись, Васюков перво-наперво заметил, что одеты они не одинаково: заднего трудно было рассмотреть, а на переднем была очень похожая на нашу, серая, коротковатая, без пуговиц и без ремня шинелька. Да и шапка на нем тоже оказалась наша — зимняя, с растопыренными в стороны клапанами.

— Чумак! — вырвалось у Васюкова.

Двое на склоне остановились.

— Чумак! — испуганно прошептал автоматчик, сидевший рядом с Васюковым. И по цепи побежало страшное слово узнавания: «Чумак!.. Чумак!.. Чумак!» А Чумак стоял, уронив голову и виновато сутулясь в своей обвисшей помятой шинельке. За спиной, явно хоронясь, что-то кричал немец с автоматом на груди, в каске, с круглой противогазной коробкой на боку.

— Шнейдер! — встрепенулся Ананьев. — Где Шнейдер? Шнейдера сюда! Пулей!

Тем временем Чумак и немец продолжали неподвижно и молча стоять на склоне. Немец так плотно жался к Чумаковой спине, что выстрелить в него, не рискуя попасть в Чумака, было невозможно. Автоматчики в цепи загалдели, каждый по-своему понимая суть происходящего.

— От гад! Предатель!

— Какой предатель? Влип он!

— Да тикать надо! Растяпа!..

— Где Шнейдер? — рявкнул, оборачиваясь к Васюкову, Ананьев.

Но Шнейдер уже бежал. Только этот длинный, нескладный человек просто, видать, не умел спешить. Бег его скорее напоминал ленивую ходьбу с прискоком — сгорбившись, он то вяло трусил, то путано сигал по мокрому полю.

— Бегом! — крикнул командир роты.

Шнейдер наконец одолел открытое болотце, перескочил через лужу воды в канаве и с какой-то неуклюжей развалкой полез на откос. Ротный несколько мягче сказал:

— Что он кричит? А ну, послушай.

Шнейдер криво передернул губами.

— Что слушать! На Чумака фрица выменивает.

Ананьев сполз ниже, а затем и вовсе отвернулся от высоты.

Настала трудная пауза. В цепи все притихли. Ниже под насыпью напряжено застыл пленный обер-фельдфебель, над которым в выжидательной позе стоял Цветков.

Вдоль канавы к командиру бежал Щапа.

В цепи, перебивая друг друга, галдели:

— За Чумака такого фрица? Нема дурных.

— Так что ж, Чумаку погибать?

— Тикать надо.

— Гляди, утикешь, когда на мушке держат.

— С пулемета тогда обоих. Все одно...

Три автоматчика из взвода Пилипенко принесли на плащ-палатке раненого Гриневича. Лейтенант был плох и едва приподнялся с плащ-палатки, когда его опустили на землю под насыпью.

— Ты видишь, комиссар? Что делается? — не отрываясь от высоты, сказал Ананьев.

— Скверная штука, — тихим голосом сказал Гриневич.

— Ах, сволочи!

Ананьев то садился, то вскакивал и все время ругался.

— Пулемет ко мне! — наконец, приказал он.

— Пулемет — к командиру роты! — передал по цепи Щапа, и тут же появился маленький узкоглазый Батурбаев с заряженным РПД в руках. Подбежав, он взобрался на откос, и Ананьев с безучастным, каменным видом выждал, пока тот укреплял перед ним на бровке пулемет. Наконец Батурбаев щелкнул затвором, определяюще взглянув на высоту, пододвинул хо-

мутик прицела, планка которого круто поднялась вверх, — до цели оказалось довольно далеко. Пулемет был готов, боец отстранился, уступая место командиру роты.

Автоматчики умолкли.

Вдруг автоматчик вскричал:

— Ты что мне его суешь? Сам не умеешь?

Батурбаев сконфуженно переморгнул узенькими щелочками глаз.

— Умею, товарищ командир. Почему не умею?

— Умеешь! — передразнил командир роты, вытягиваясь за пулеметом. Он полежал недолго, будто даже прицелился, и опять встал, опершись об откос. Его пальцы на широкой руке едва заметно вздрагивали. — А он у тебя исправный?

— А как же! Исправный, товарищ командир!

— Где же он, к черту, исправный? — закричал Ананьев. — Он грязью забит.

Батурбаев виновато сковырнул с приклада присохший комочек грязи.

— Убирай к чертовой матери свой драндулет! — прокричал Ананьев и отвернулся. Батурбаев с готовностью подхватил пулемет и сбежал вниз к канаве.

— Цветков, давай фрица!

Цветков послушно подтолкнул фельдфебеля, и тот несмело еще поднялся и с готовностью запрыгал на одной ноге, падая рукой на откос.

— Ты сдурел? — ослабело приподнял голову Гриневич. — Или выпил лишнее? Что ты делаешь?

— А что? — непонимающе сказал Ананьев.

— Как это что? Он еще спрашивает! Ты понимаешь, чем это пахнет?

— Чем?

— Я просто не знаю! — Гриневич хотел подняться, но вдруг застонал и, откинувшись навзничь, несколько секунд молчал, закрыв глаза. — Он еще спрашивает — чем!.. С ума сойти можно!.. Ты приказ два ноля девятнадцать знаешь?

— Пошел ты!.. — не очень решительно прокричал Ананьев. — У меня рота! Видишь? А вон немцы!

В цепи опять насторожились: автоматчики, перестав копать, слушали. Цветков в это время подвел немца, и тот, плюхнувшись на землю, замер.

— Ну ты подумай! — продолжал тихо Гриневич. — Было бы кого, а то Чумака! Из-за этого придурка такого гада отпускать. Надо додуматься!

Ананьев повернулся к нему лицом:

— А что, Чумак — не человек, по-твоему?

— Не о том разговор. Человек. Да какой?

— Советский, — сказал Ананьев. — Колхозник! Так что же его — на растерзание немцу?

Гриневич поморщился:

— Давай без общих слов. Давай конкретно!

— Твои же слова. Ты ими бойцам мораль толкаешь.

— Что я толкаю? — Гриневич поискал глазами автоматчика, который перевязывал его и, не найдя, позвал: — Цветков!.. Перевяжите меня. А то... Кровь идет.

Цветков торопливо подполз к Гриневичу и, откинув шинель, посмотрел на бинты. Белый бинт на животе был весь в крови. Он тронул пальцем, кровь была свежей — рана текла. Он испуганно оглянулся на ротного и полез в сумку.

— Я политработу веду... А ты за раз все насмарку!

— А воевать с кем? С кем мне воевать — ты подумал? — Ананьев вскочил на колени и рукою широко взмахнул над насыпью. — Вон, видел: взвода по двадцать человек! А вон высота, видел? Раз не удалось, думаешь, все? Ошибаешься! Приедет Сыромятников, прикажет взять. А с кем брать буду? А?

— Это не оправдание, — еще тише проговорил замполит. — Этого Чумака теперь на километр нельзя подпускать к роте...

Поодаль на откосе поднял голову Щапа.

— Товарищ лейтенант, зачем так? Жаль же Чумака.

— А ну молчи! — строго прикрикнул Ананьев. — Не твое телячье дело!

Цветков, закончив перевязку, откинулся от Гриневича и сел, отрешенно поглядывая то на командира роты, то на его замполита. На изжелта-бледном, каком-то странно-успокоенном лице Гриневича появилось подобие виноватой улыбки. Ананьев, может быть, впервые внимательно поглядел в лицо Гриневича и испугался.

— Ты что, комиссар?

— Дрянь мое дело... Видишь, Цветков и бинтов пожалел... Хотя — что ж... не удалось... довоевать.

— Сволочи! — выругался Ананьев и отвернулся.

В это время с высоты опять что-то прокричал немец, и в небо взвилась желтая ракета.

Неожиданно пленный фельдфебель вскочил с места и истошным голосом закричал, что-то требуя. Ананьев взглянул на Шнейдера.

— Что это он?

— А своим кричит. Чтоб не тянули, вели. Ведите, говорит, русские болваны обменяют.

— Ах, собака!

Все были ошарашены этим криком и возмущены. Не так тем, что он прокричал, как тоном, каким это было сказано. Похоже было, что он вовсе не пленный, а барин, случайно оказавшийся в несколько затруднительном положении.

— Ах ты!.. — хотел выругаться Ананьев, но в это время все услышали далекий голос их Чумака:

— Братцы! Не слушайте! Не слушайте! Что я — начальник какой, что ли... Да пошли они к ... матери!.. Чтоб их!..

Чумак вдруг повернулся к сопровождавшему его немцу, замахнулся. Все вздрогнули, когда с высоты долетела коротенькая автоматная очередь... Чумак начал медленно оседать на землю, но еще не упал, как на скосе вскочил Ананьев.

— Ах гады! Ну погодите! Щапа — дуй во второй взвод!

— Есть! — прокричал Щапа.

— Пилипенко в третий!..

— Зараз! — радостно-взволнованно отозвался старшина.

— Приготовиться к атаке! — Я ж вам сейчас покажу болванов! Я вам покажу болванов!..

Ананьев сдвинул кобуру «вальтера» к пряжке и бросил Васюкову:

— Дай каску!

Васюков быстро стащил через подбородок мокрый брезентовый ремешок каски.

— Только там донышко криво подвязано.

— Что?

— Донышко, говорю, неровно подвязано.

— Черт с ним, с донышком.

Он привычно надвинул каску на голову.

— Жареному карасю кот не страшен! — со значением сказал он. — Понял? Смотри за комиссаром!.. Ах, сволочи, болванов нашли!..

Он взглянул вправо и влево — автоматчики вдоль насыпи в напряженной готовности ждали команды, и командир роты дернул язычок кобуры.

— Да, — спохватился он в самый последний момент и перебросил через плечо узенький ремешок планшетки. — Держи!

Правой рукой Васюков на лету подхватил ванинскую планшетку, и не успел еще сопровождавший Чумака немец добежать до своих, как комроты вскочил на бровку дороги.

— Вперед!

Автоматчики быстро повскакивали под насыпью и вдоль канавы бросились к речушке.

Гриневич, будто неживой, ровно лежал под насыпью, незряче подставив начавшемуся дождю бледное, в темной щетине лицо.

— Васюков! — тихо позвал он.

Васюков сбежал вниз с насыпи.

— Ну как вы?

— Плохо, брат...

— Дать воды?

Сделав два мучительных глотка, Гриневич спросил:

— Рота пошла?

— Пошла, — облегченно вздохнул Васюков. — На той стороне уже.

— Посмотри...

Оставив лейтенанта, Васюков взбежал на откос и присел, высунув голову над дорогой. Внизу возле раненого сидела Пулька.

Дождик все сыпал, все шире расползался туман в лощине, снегу на той стороне речки осталось немного — рваные сизые пятна на мокром пологом склоне, по которому в третий раз бежали автоматчики. Ананьев то бежал, то быстро шел наискось по склону. Вот он нагнулся, торопливо перевернул на спину тело убитого, забрал его автомат. Потом минуту бежал, занимая свое место в цепи, а кто-то, кто шел позади него, надолго задержался над трупом — кажется, снимал сумку с дисками или гранатами.

Рота достигла середины склона. Уже непросто было и различать ее за мглистой завесой дождя, которая, к счастью, скрывала, наверно, автоматчиков и от немцев. Немцы молчали. Трудно было поверить, что они и во второй раз зазевались настолько, что не замечают атаки...

— Васюков! — окликнул Гриневич. — Где рота?

— Пошла, пошла.

— А почему не стреляют?

Васюков не знал, что ответить, и только пожал плечами, не отрывая глаз от высоты. Странная атака продолжалась. Все так же в дождевой дымке, в мертвой тишине плыла цепочка роты. Верх высоты был уже совсем близко. Уже вся рота скрылась во мгле. Только пристально вглядевшись, можно было различить кое-где под самой вершиной маленький намек на движение. И по-прежнему не было слышно ни выстрела, ни крика, ни голоса — высота замерла, затаилась, молчала.

Гриневич поднял голову и напряженно вслушивался в непонятную тишину. Пулька, забравшись под палатку к раненому, высунула оттуда мордочку и тихо-тихо скулила, поглядывая вверх на Васюкова. Васюков, привстав на колени, замер, боясь произвести какой-нибудь малейший шорох, чтобы не пропустить хоть один звук с высоты...

И тут грохнуло.

Сперва показалось, что это взрыв, но тут же мглистое небо над лощиной туго вспороли пронзительные потоки пуль, вокруг защелкало, завыло — дождливое пространство в мгновение наполнилось звеняще-грохочущей сумятицей огня. Послышался крик, возможно, команда или ругань, однако на каком языке — было не понять. Автоматные очереди слились в сплошной стонущий гул, залпами заухали гранатные взрывы — они заглушили собой все.

Несколько шальных пуль тугими шлепками вошли в насыпь дороги, и Васюков, юркнув вниз, вобрал голову в плечи. Когда он снова высунул голову — все было кончено. Высота замолкла. Он не поверил, подумал, что заложило уши, замотал головой, здоровой рукой поковырял в ухе. Тишина не проходила. Все вокруг смолкло. Тогда он вскочил, поскользнулся, подмяв полы шинели, сполз до канавы.

— Кажется, взяли. А может...

— Дай пить.

Васюков поднес к сжатым зубам замполита край котелка.

— Не идут? — порывисто выдохнул Гриневич.

— Кто?

— За нами не идут?

Васюков снова вполз на насыпь, выглянул — нет, за ними еще не шли.

— Нет никого! — прокричал Васюков, стараясь придать голосу бодрость.

Вокруг было тихо, мокро и совершенно пустынно. Васюков сел боком на откос, то и дело поглядывая то на туманные склоны высоты, то на Гриневича внизу.

— Ну где же они? — опять начал напрягаться под плащпалаткой Гриневич. — А может... накрылись?

— Сейчас, сейчас. Скоро придут, — утешал Васюков, сам теряя уверенность в том, что говорил. — Может, мне сбегать туда? — предложил он.

— Нет, — сказал Гриневич сквозь стон. — Ни в коем случае.

Васюков посидел на корточках у его ног и поднялся.

— Пулька!

Пулька выскочила из-под палатки и, ласково взвизгнув, подпрыгнула перед Васюковым, виляя коротким хвостом.

— Пулька, беги к нашим... К нашим, Пулька, пошла, пошла! Туда! Пошла к нашим!

Указывая рукой в сторону высоты, Васюков подтолкнул собаку. И вдруг Пулька взвизгнула по-щенячьи, отбежала немного вперед, тявкнула разок и, выбирая проталины, засеменила к высоте...

— Тошнит! — выдохнул Гриневич, встрепенулся и с торопливой решимостью произнес: — Васюков! Иди в тыл.

— А вы?

— Я уже. Все! Погляди, не идут?

Нет, ни на склонах, ни на дороге никого не было, вовсю сыпал дождь, суживая и без того ограниченное ненастьем пространство. Пульки уже не было видно.

Васюков снова опустился к раненому.

Молча минуту он вглядывался в раненого, не желая беспокоить его своим тут присутствием, но он, видно, услышал и с тихой настойчивостью выдохнул:

— Ты тут?.. Спасибо за Пульку... И это самое... Ведь мы земляки.

— Как? — сорвалось у Васюкова. — Вы разве из Белоруссии?

— Именно. Из Борисова.

— Почему же вы не сказали? — упрекнул Васюков с досадой, опускаясь подле него на колени.

— А зачем? Зачем отделяться?

Вдруг он напрягся, круче запрокинул голову и, вытянувшись, повернулся на бок.

Васюков ухватил его за плечо, не давая ему вовсе скатиться с фуфайки, и Гриневич задвигал ногами, будто пытаясь скинуть с себя палатку.

— Что с вами? Что с вами? — испуганно заговорил Васюков, но замполит уже не ответил. Потом он вдруг содрогнулся, оперся на руки и приподнялся, пристально и недоуменно взглянув в лицо солдату широко раскрытыми, но уже вряд ли что выражающими глазами.

— Лает... Там лает!.. Слышишь?

И, как подрезанный, упал навзничь.

— Кажется, я все...

— Что вы? Товарищ лейтенант! Что с вами?

— Ладно, ты иди... встречай, — вдруг внятно произнес он. — Я умираю.

— Что? — криком вырвалось у Васюкова...

И, как эхо, издалека послышался заливистый радостный собачий лай.

Он становился все ближе и ближе...

С высоты бежали три серые солдатские фигуры...

Фильм третий

На восходе солнца

Отличное бетонированное шоссе с густым движением в оба конца: колонны автомашин с боеприпасами, бензозаправщики, грузовики, между ними санитарные, автолетучки, специальные — «студебеккеры», «доджи», «виллисы». Рядом идут солдаты, едут верховые, навстречу ползут грузовики с ранеными в кузовах. С неба пригревает солнце, распускаются деревья. Весна.

По обочине шоссе идут два бойца. Они в распахнутых на груди шинелях, в зимних шапках, с тощими вещмешками, небрежно закинутыми за плечи. Один из них Васюков.

— Однако пригревает, — говорит он и снимает шинель. На его гимнастерке две медали «За отвагу», на погонах нашивки младшего сержанта. Другой, пожилой усатый боец, в ботинках с обмотками, размеренно топает по обочине.

— Пригревает, да. Весна-матушка, землю пахать надо.

— Скоро будем пахать. Вот доколотим гада...

— Должны доколотить. Вон какую силу собрали! Слышал, вчера говорили, на Запад кинулся. К союзникам. Нашим в плен не хочет сдаваться.

— Ничего, догоним. Теперь уж никуда не денется. Теперь наша сила. Вот бы скорее до части дойти.

— Хуже нет, чем ждать и догонять, — говорит боец. — Пока до части дойдешь, сапоги стопчешь.

— Значит, хорошо часть идет. Ходко!

Они сторонятся проносящихся мимо машин с тяжелыми минометами на прицепе, потом, хлопая вздувшимся брезентом, проходят несколько «катюш», и за ними появляется видавшая виды полуторка с несколькими случайными пассажирами в разбитом кузове. Из машины разносятся веселые звуки гармошки, и Васюков с бойцом на обочине замедляют шаг.

— Старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! — вдруг кричит Васюков и срывается вдогонку за машиной. Он машет рукой, кричит, и полуторка не сразу останавливается на дороге.

Васюков, оставив своего попутчика, подбегает к ней, лицо его горит радостью встречи, гармонист, приглушив музыку, недоуменно глядит на младшего сержанта. Трое пассажиров в кузове поворачивают головы в его сторону.

— Товарищ старший лейтенант! — радостно говорит Васюков, и гармонист вскакивает с гармонью в руках. Это Ананьев. Но он уже не старший лейтенант, на его защитных погонах по одной майорской звезде и на груди четыре ордена с золотой звездочкой героя.

— Васюков! Ядрена шиш! Живой? Васюков! Давай сюда лезь!

Васюков карабкается через борт, на него с любопытством поглядывает санинструкторша Зина, сидящая рядом с Ананьевым, снисходительно окидывает его взглядом разведчик-сержант с орденом Красного Знамени на груди и с автоматом между коленей.

— Товарищ старший... Виноват, товарищ майор! — смущается Васюков. — Гляжу, вы... Давай подъедем! — кричит он своему спутнику, но тот машет рукой: мол, езжайте, я дойду сам.

— Ну вот, видишь! А ты говорил. Встретились, значит. Ну как жизнь? — говорит Ананьев. — Садись вот на скат. Куда топаешь?

— Да в Прутвиц сказали.

— И мы в Прутвиц. Так что поедем вместе. Небось, из госпиталя?

— Из госпиталя, — говорит Васюков.

— Вот, брат, дела! Чуть не опоздали. Война-то кончается!

— Кончается.

— Ты, признайся, выписался или... дал деру?

— Я? Выписался, товарищ майор. Документ имею.

— А я, скажу по секрету, дал деру. Нога еще не шибко того... выписывать — ни в какую. Ну я и драпанул. Вот с ее помощью, — обнимает он Зину. Та слегка отстраняется. Видно, ей это приятно, хотя она и говорит неуверенно:

— Да что вы, товарищ майор?

— А ничего. Это свой парень, Васюков. Когда-то был у меня ординарцем. А теперь — в пехоте по-прежнему?

— В пехоте, — вздыхает Васюков.

— Ничего, не долго уж осталось пехоте. И артиллерии, и авиации. Главное, Берлин взят, так что... Пилипенко помнишь?

— Старшину Пилипенко?

— Ну. Все мечтал: до Берлина б дорваться! Ух, злой на них был! Не дорвался. А Ванин, тот, наоборот, добряк был, не дожил. Помнишь Ванина?

— Ну.

— За высотой, где тебя ранило, его убили. Потом уже тело обнаружили.

Идущие впереди машины начинают останавливаться, останавливается и полуторка. Из кабины, став на подножку, выглядывает старший техник-лейтенант — пожилой человек в облезшей цигейковой шапке.

— Что там еще?

— Сходи глянь! — говорит Ананьев. — Может, объехать можно.

Старший техник-лейтенант захлопывает дверцу. Из кузова соскакивает на дорогу разведчик, и оба они идут в голову колонны. Ананьев накидывает на плечо ремень гармони.

— Ко мне пойдешь! — вдруг говорит он Васюкову. — В гвардейский полк. Назначу в такую роту — не пожалеешь. Орлы — не автоматчики!

— Да я... В саперах последнее время служил.

— В саперы хочешь? Назначу в саперный взвод. Куда хошь. Все могу. Я ж все-таки замкомандира полка. Не хрен собачий. Могу своим адъютантом. Хошь?

Васюков смущенно сдвигает на голову шапку.

— Где мне адъютантом!

— Ну, смотри сам! Разведчика вон уже сагитировал. Меняет дивизионную разведку на полковую. А что? В полковой еще интереснее. И вот Зина сменила свой ППГ на санчасть. И жалеть не будет. Правда, Зинка?

Зина молча влюбленными глазами поглядывает на майора.

— Люблю кадры сам подбирать. Чтоб воевать было надежнее. Кадры решают все. Или ничего. Смотря какие собрались.

Колонна машин стоит, в небе проносятся несколько немецких самолетов, откуда-то из-за холма по ним открывают огонь зенитки. Впереди слышатся несколько мощных взрывов.

— Вот еще зараза! Не хватало перед концом всю обедню испортить! — озабоченно говорит майор.

Из головы колонны возвращаются старший техник-лейтенант с разведчиком, который на ходу говорит:

— Слезай, приехали! Впереди мост взорван.

— Вот те и раз! — говорит майор, привставая в кузове. — Давай куда в объезд. В пешем строе, сам знаешь, я не ходок. А ну, поищите, где объезд!

Все вглядываются в окрестности и видят, как впереди несколько машин сворачивают на боковую дорогу.

— А вот давай дуй за ними! — говорит Ананьев. — По проселочку.

— Куда там за ними? — не соглашается озабоченный старший техник-лейтенант. Он старший машины, остальные, кроме шофера в кабине, тут лишь пассажиры.

— Давай, давай! — понукает его майор. — Раз те едут, значит, знают куда. Не один же мост на реке. Верно?

Старший техник-лейтенант молча садится в кабину, разведчик вскакивает в кузов, и машина, пробравшись обочиной, съезжает на боковую дорогу.

— Давай шпарь смелее! — говорит Ананьев. — Куда-нибудь выедем. Не стоять же, когда война вот-вот кончится.

По ровному, обсаженному деревьями проселку машина проезжает мимо аккуратной деревни с черепичными крышами, пересекает сосновую, посаженную ровными рядами рощу. Дальше дорога идет вдоль неширокой, но полноводной реки. Моста, однако, нигде не видать, и машина удаляется километров на пять от шоссе. Наконец пассажиры из ее кузова видят, что прежде их уехавшие машины перебираются через речку вброд. Две машины уже на том берегу, третья, натужно ревя, выбирается из воды.

— Ну вот и переедем! Обязательно мост? Вброд переедем, подумаешь! — говорит майор.

Полуторка осторожно спускается по скосу к воде. На противоположном берегу реки у самой почти воды среди старых деревьев приютилась какая-то усадьба — двухэтажный под черепицей особняк, несколько хозяйственных построек. Укатанная дорога от брода поднимается к этой усадьбе.

Машина заходит в воду, погрузившись до крыльев. На подножке, раскрыв кабину, стоит старший техник-лейтенант.

— Воробей, вправо, вправо давай! — командует он шоферу, молодому парнишке в гимнастерке без карманов. — Вправо, Воробей!

— Куда вправо, влево давай! — кричит из кузова Ананьев. Воробей туда-сюда поворачивает руль, вдруг машина наклоняется и, видно, попав в подводную яму, сильно оседает правым бортом. Старший техник-лейтенант до коленей оказывается в воде.

— Воробей! Газ! Газ, Воробей!

Воробей дает газ, машина дергается и наклоняется еще больше, мотор чихает и глохнет. Наступает тишина.

— Ну вот, въехали! Черт бы тебя подрал, Воробей! — ругает шофера его начальник. — Я тебе командовал — влево!

— Я и брал влево! — слабо оправдывается водитель.

— А ну заводи! Заводи, говорю!

Воробей пытается завести, но машина не заводится.

— Что пыкаться! Толкнуть надо, — говорит разведчик и, ступив на колесо, слезает в воду. Воды здесь по колено.

— Надо толкать, — соглашается майор. — Васюков!

Васюков слезает, слезает Ананьев, за ним пытается слезть Зина, но майор прикрикивает на нее:

— А ты куда? Сиди, без тебя управимся.

— Не лезьте глубоко, товарищ майор! — говорит Зина. — Вам нельзя колено мочить.

— Да ладно!

Заметно хромая, майор заходит с заднего борта. Вместе с техником-лейтенантом все принимаются толкать машину. Ананьев командует:

— А ну! Раз-два — взяли!

Воробей наконец заводит, машина дергается, дымит, но только глубже погружается передними колесами в воду.

— Ой, ой! Вы меня не утопите? — пугается Зина.

— Не бойсь! До самой смерти жива будешь! — ободряет майор. — А ну, взяли!..

— Не лезь глубоко, Петя, смотри не намочи колено! — говорит из кузова Зина.

Минуту спустя, устав и намокнув, все распрямляются, старший техник-лейтенант вытирает рукавом лоб.

— Буксир надо. Может, еще кто подъедет. Студор, может, подъедет.

— Вот где совсем мелко, — говорит Васюков, отойдя чуть в сторону. — Надо было сюда. Тут брод. Можно перейти.

— Перейти-то можно. А машина? — недовольно говорит старший техник-лейтенант.

— Ладно! Пусть ждет твоя машина, — говорит майор. — Мы вброд. Зина, слазь!

— Петя, нога! Смотри ногу, товарищ майор!

— Что смотреть. Уже мокрая.

— Ну вот.

Зина по колесу спускается в воду, и небольшая группа идет вброд. Впереди, щупая ногами дно, пробирается Васюков с разведчиком. Старший техник-лейтенант оставляет с машиной шофера и присоединяется к идущим.

Минуту спустя все благополучно одолевают брод и вылезают на берег. Тем временем день кончается, за леском опускает-

ся солнце. Становится прохладно. Все изрядно намокли, и как только оказались на берегу, принялись выливать воду из сапог и перевертывать мокрые портянки. Зина сухим бинтом перевязывает Ананьеву колено. Тот блаженно откинулся на траве.

— Все мокро! Все мокро! Нельзя же мочить, я же предупреждала, — обеспокоенно говорит Зина.

— Ничего! Ерунда! Заживет, как на собаке. Шесть ран зажило, заживет и седьмая. Вот только как мне дойти?..

— Если машину не вытащат, придется заночевать, — говорит техник-лейтенант. — Куда же без машины.

— Васюков, а ну глянь, что там в этой хоромине?

Васюков, натянув на мокрую портянку мокрый сапог, поднимается с берега.

— На, автомат возьми, — говорит разведчик. — На всякий случай. Мало чего...

Васюков приближается к парку и по усыпанной толченым кирпичом дорожке подходит к вилле. Серые, отделанные под гранит стены, узкие окна, две темные ели у входа. На углу второго этажа встроенный внутрь балкон, большое окно мансарды. Аккуратная дверь с медным кольцом закрыта, нигде никого не видно.

— Эй! Есть кто живой?

За дверью слышатся шаги, брякают запоры, и дверь открывается.

— Здрафствуйте, тофарищ!

На пороге стоит старый человек в вельветовой куртке и шлепанцах на босую ногу. На гладко выбритом дряблом лице тревога и угодливость, руки, придерживающие дверь, заметно дрожат.

— Немцев нету? Военных здесь нету? — поправился Васюков.

— Милитар? Нету, нету.

— Сейчас зайдем к вам! — громко, как глухому, говорит Васюков. — Переночевать надо, понимаешь? Шляуфен.

— А, шляуфен! Я, я. Понимаю...

Васюков бегом вернулся на берег, с которого уже поднимались его товарищи. Ананьева пыталась поддержать Зина, но он отстранил ее. На том берегу возле машины остался сиротливо сидеть Воробей.

— Отличный дом там. И какой-то старик. Говорит, можно переночевать.

Пятеро, не спеша, чтобы не обгонять майора, поднялись с берега к деревьям парка, прошли по дорожке к парадному.

Старик-немец уже дожидался их на крыльце. Разглядев впереди майора со звездой на груди, поклонился ему сдержанно, с достоинством:

— Здрафствуй, тофарищ!

— Здоров, здоров! Вот, чуть не утопли возле твоей хаты. Теперь посушиться надо.

— Я, я, — сказал немец, как будто что-то поняв. — Яволь!

— Давай, приглашай в дом.

Старик перешагнул через порог, за ним порог переступили Ананьев, Зина, Васюков и все остальные, прошли в узкую дверь.

Старик привел их в просторную комнату-зал с высокими, завешанными портьерами окнами, темной мебелью и дубовым паркетом, отчаянно заскрипевшим под их ногами. На стенах зала торчали оленьи рога, мерцали какие-то картины в золоченых рамах. На боковой стене возле двери висел огромный гобелен, изображавший бегущих косуль, преследуемых кабанами в окружении буйно разросшейся папоротниковидной растительности. В углу зияло черное жерло камина с низкой чугунной решеткой.

— Вот и добро, — сказал майор, опускаясь на широкий диван, обтянутый коричневой кожей. — Вот и посушимся. А то вон как намокли. Чертов этот ваш брод! Форштей?

— Я, я. Понимай, — подхватился напряженно рассматривавший гостей хозяин и быстро вышел из комнаты.

— Располагайся, славяне, — сказал майор. — Может, еще и подрубать тут найдется.

— Да-а! Живут же буржуи! — разглядывая убранство комнаты, сказал Васюков. — Сколько тут книг!

Огромные черные шкафы с пола до потолка были набиты толстенными книгами в кожаных переплетах.

— Действительно! — согласился разведчик. — Диван кожаный! Сколько бы сапог вышло. И бархоток заодно, — потрепал он угол бархатной портьеры.

— Ну-ну! — воспрещающе прикрикнул Ананьев. — Мне чтоб никаких шалостей! Знаешь, тебе не Орловская область. Европа.

Разведчик хитровато ухмыльнулся.

Не дожидаясь хозяина, Васюков начал хлопотать возле камина, разжег на углях несколько березовых чурок. Майор пересел в кожаное кресло, поближе к камину, протянул к огню мокрую ногу. В это время открылась боковая дверь, и в комнату вошла молодая женщина с небольшим подносом в руках, на котором лежало несколько аккуратно нарезанных тоненьких

ломтиков хлеба, намазанных маргарином. Знакомый старик нес в поднятой руке зажженный карбидный фонарь. Женщина сдержанно взглянула на гостей и по указке старика подошла с подносом к майору.

— Битте, гер официр!

— Спасибо, спасибо.

— Брот, — сказал сзади старик. — Битте дойч брот.

— Ах, брот! — удивился майор и захохотал. — Брот! Я говорил — брод! А не брот.

— Брот, брот. Я понималь, — озадаченно приговаривал немец.

— Ни черта ты не понял, — сказал, перестав смеяться, Ананьев и, взяв бутерброд, поднял веселые глаза на женщину. — Ух, ты! Вот это красотка! Глянь-ка, Зина! В штанах!

Немка действительно была хороша: изящная головка с длинно опущенными на плечи волосами, стройная шея и узенькие плечи под темной кофточкой, но Ананьева больше всего поразили узкие облегающие брючки на ее стройных ногах.

— Вот это да! — восхищенно твердил майор. — Как зовут тебя? Имя тебе как?

Немка, поводя подкрашенными глазами и кокетливо улыбаясь майору, однако не понимала, и старик сказал:

— Фройлен ест Ирма.

— Ах, Ирма! Хороша Ирма. Правда, Васюков? А?

Васюков взял с подноса свой бутерброд, встретился взглядом с немкой и смутился. У камина, развешивая мокрые бинты, неприязненно покосилась на Ирму Зина.

— Какая-нибудь фашистка...

Раздав бутерброды, Ирма вышла, сопровождаемая восхищенным взглядом майора, немец-старик остался.

— Что, дочка? — кивнул в ее сторону Ананьев.

— Вас ист дас?

— Ирма, Ирма, говорю, кто тебе? Дочка? Ну эта...

— Тохтер? — подсказал разведчик.

— Никс тохтер, — сказал немец. — Ирма швигертохтер, ферштейн?

— Ни черта не ферштейн, — сказал Ананьев.

— Вроде бы швагерка она, — сказал разведчик. — Жена сына.

— Ах, невестка! Понятно. Однако выбрал сынок невестку. А где сам? Сын-то?

— Во зон? — перевел разведчик.

Вместо ответа старик неопределенно развел руками.

— Понятно. В армии, где же еще ему быть. А ты кто? Буржуй, да?

Немец неожиданно понял и произнес длинную фразу, вслушавшись в которую, разведчик резюмировал:

— Он архитектор. Гражданские дома строил.

— Ах, архитектор! А я думал, буржуй, — сказал майор. — Здорово живешь.

— Я, я, — сказал архитектор. — Сдорофо!

Тем временем Васюков, жуя свой бутерброд, разглядывал гравюры на стенах, посмотрел на пирамидки фарфоровой посуды в застекленных шкафах, открыл дверь в смежную комнату и прошел туда. Это было небольшое помещение с множеством различных чертежей зданий на стенах, под стеклом на специальной подставке стояло несколько изящно изготовленных, словно игрушечных, макетов зданий, и Васюков догадался, что, очевидно, здесь был кабинет архитектора. Рассматривая макеты, он услышал сзади шаги и вздрогнул — в раскрывшихся дверях стояла Ирма.

Она тоже заметно смутилась, но быстро овладела собой и, улыбаясь, заговорила по-русски:

— Тофарищ хотель посмотрит? Посмотрит апартамент? Можно, битте, тофарищ...

Жестами она увлекла его что-то посмотреть. Из комнаты, где находились они, вело несколько дверей, очевидно, в смежные помещения, и он растерялся. Он не хотел уходить далеко от своих.

— Нет, нет. Я ничего...

— Нет? Идет тофарищ, посмотрит сюда...

— Нет, спасибо.

Показалось ему во время этого разговора, что за той дверью, откуда появилась Ирма, послышались удаляющиеся шаги, но он не стал заглядывать туда, а, выждав, прикрыл дверь и поспешил в общий зал к своим.

Едва он приоткрыл дверь, как понял, что здесь что-то случилось. Оцепенев от чего-то только сейчас случившегося, все молча сидели по своим местам. Ананьев в кресле перед камином, на диване Зина, разведчик застыл с ножом и банкой консервов в руке, на середине со странно вздрагивающими руками стоял старик-немец и с повернутой назад головой застыл старший техник-лейтенант. Все ошеломленно смотрели на только что вбежавшего в дверь мокрого по пояс шофера Воробья.

— Честное слово, что я, врать буду?! — давясь словами, говорил Воробей. — Это... Кончилось. Мир, понимаете... Капитуляция!

Майор вскочил в кресле.

— Кто сказал?

— Капитуляция, понимаете, броневики проезжали, сам полковник сказал. Сегодня в 12 часов. Передали по рации. Полковник сказал.

— Капитуляция? Мир?

— Мир? — не выдержал и, будто ужаленный, вскочил разведчик. — Мир, братцы!!

Схватив подмоченную гармошку, он принялся наяривать «барыню» и тут же пустился в пляс. Ходуном заходил скрипучий паркет.

— А не ошибка? — радостно спохватился Ананьев.

— Какая ошибка! Если полковник... Я говорю...

— Боже мой! Боже мой! — приговаривала Зина.

— В 12 часов, а? — не мог поверить Ананьев.

— Ровно в 12. По рации передали. Там у них рация. Сам слышал...

— Ну, славяне! Дождались. Ты, старик, — обратился Ананьев к растерявшемуся немцу, — мир, понимаешь? Капитуляция! Гитлер капут, понимаешь?

Наверно, только сейчас немец что-то понял и метнулся за дверь.

Разведчик, бросив гармошку, в изнеможении упал на диван.

На стуле, трясясь плечами, беззвучно плакал старший техник-лейтенант.

— А ну давай стол! Пир будет, славяне!.. — скомандовал майор.

— Мир, браточки! Неужели жить будем, ха-ха-ха! — не мог уняться разведчик.

В зале горит фонарь и несколько свечек. На большом столе посреди зала оживленная Ирма расставляет фарфор. Ирме помогает майор, но он все делает неумело, и Ирма перекладывает его ножи и вилки, раздвигает тарелки. Разведчик финкой вскрывает банки свиной тушенки. Васюков режет хлеб, и Зина раскладывает его по ломтю на тарелку.

— Нет, нет, так надо! — говорит Ирма и, собрав хлеб, складывает его в серебряную хлебницу. Тем временем появляется старик с темной бутылкой в руках. Ананьев шагает навстречу.

— Что такое? Шнапс?

— Никс шнапс. Зер гуте вин! Прима вин!

— А ну, а ну! Гляди ты! Тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года. Вот это выдержка!

— Да это не выдержка. Это год основания фирмы, — говорит разведчик.

— Да ну, знаешь ты! Сейчас вот проверим! Зина, а ну! У нас тоже кое-что найдется, — говорит майор, и Зина с гордостью ставит на стол алюминиевую флягу.

— Спиритус вини! Понятно?

— Браточки, значит, жить будем! Жить будем, вы это понимаете? — не утихает разведчик. — Ох, и напьюсь же я! Старший лейтенант, а вы почему такой... кислый? — обращается он к старшему технику-лейтенанту.

— Чего же мне радоваться? Чему мне радоваться? — с надрывом говорит старший лейтенант. — У меня никого. Ни жены, ни детей. Я вот уцелел, а зачем?..

— Ладно, ты это брось — зачем? Жить будешь, новую семью заимеешь, — говорит майор. — А ну давай, рассаживайся! Батя, ты тоже садись, Ирмочка, вот сюда, рядом, ты, Зина, тоже. Давай, наливай. А что, в такие маленькие?

Все рассаживаются, старик торжественно наливает из темной бутылки по полрюмки вина каждому.

— А ну, давай! Киданем за Победу! Все-таки мы ее дождались — придавили гада. Правда, господа немцы? — говорит Ананьев. — Ну, за тех, кто не дождался.

Все выпивают, и Ананьев недовольно зажмуривается.

— Ну, тоже мне вин! Ни в гузе, ни в роте! А ну дай нашу фляжечку. Что это за победа!

— Гут, гут вин, — говорит старик, отпив половину рюмки.

— Нормальная мадера, — говорит разведчик.

— Вкусное вино, да, — говорит Зина. Ирма живым взглядом окидывает русских, все больше задерживаясь на майоре. Она оживлена и даже захмелела вроде.

— Гут! Гут! Карашё!

— Ерунда! Вот давайте я вам... А ну, старик, твою чарку.

Ананьев наливает из фляги старику, Зине, пытается плеснуть Ирме, но та уклоняется. Потом наливает всем остальным и себе в большой граненый фужер.

— А теперь... А теперь я вам должен сказать, — начинает Ананьев, но вдруг замолкает и вопросительно поворачивается к Зине. — Сказать, а, Зинка?

Зина, понимающе зардевшись, пожимает плечами.

— Раз такое дело... А чего скрывать? — говорит майор и, обняв одной рукой Зину и держа в другой свой бокал, объ-

являет: — Мы вот договорились... Чтоб после Победы. Но вот же Победа, а? В общем, мы женимся. Правда, Зина?

Зина застенчиво подтверждает кивком головы, и все за столом шумно приветствуют эту новость. Разведчик кричит:

— Горько!

Ананьев, не заставляя себя уговаривать, обнимает Зину, та поднимает ему навстречу счастливое лицо, и они целуются.

— Браво, браво! — запоздало что-то поняв, хлопает в ладоши Ирма, старик растерянно улыбается доброй улыбкой. Все оживлены, только старший техник-лейтенант безучастно смотрит перед собой, никак не реагируя на происходящее за столом.

— Ах, чего только на войне не бывает! — говорит разведчик.

— Все, конец, о войне больше ни звука! — обрывает его Ананьев и обращается к Зине. — Теперь будешь мне рожать ребятишек. Взвод автоматчиков, не меньше!

— И одну девочку. А как же! Санинструкторша ведь положена, — смеясь, говорит Зина.

— Согласен. Одну, но не больше. Тремя женщинами я не укомандую. Хотя бы с одной управиться.

— Вот ехала санинструкторшей, а приеду женой замкомполка. Чудеса! — счастливо хохочет Зина. — Вот подфартило!

— Не тебе одной подфартило. Победа! — говорит Ананьев и поднимает бокал. — А ну, еще раз за Победу!

Однако он не успевает выпить, как рядом вскакивает Ирма.

— Ахтунг! Айн момент!

Она бежит к двери, за ней, что-то вскрикнув и поставив на край стола рюмку, выбегает старик. Ананьев хмурится.

— Что такое? Чего они еще?

Но никто не знает, все настороженно ждут. И майор кивает Васюкову:

— А ну, глянь там!

Васюков, отодвинув стул, выходит в соседнюю комнату — кабинет архитектора. Откуда-то доносятся голоса Ирмы и старика. Васюков распахивает еще одну дверь. Сзади к нему подбегает шофер Воробей с фонариком, луч которого освещает незнакомого человека, остановившегося на ступеньках винтовой, круто уходящей вверх, лестницы. Его за руку тянет Ирма, старик что-то взволнованно говорит ей, по-видимому, возражая ее намерению.

Человек хмурится от яркого света и спускается на ступеньку ниже. В свете фонаря видны военные брюки, заправленные в короткие гетры, молодое, испуганное лицо, густая копна светлых волос рассыпалась на голове.

— Кто такой?

Что-то быстро приговаривая, Ирма тянет его за руку к выходу из комнаты, старик, замолчав, отступает в сторону, Васюков с Воробьем, все освещающим незнакомца, освобождают проход и идут следом. И Ирма вводит человека в зал.

— Майн гатте! — торжественно говорит она. — Никс, никс зольдат, никс официр — майн гатте. Пауль Шнаке!

— Муж?

Все напряженно вглядываются в незнакомца, на котором при тусклом свете свечей можно, однако, разглядеть немало примет недавнего еще военного. Но Ирма с такой доброжелательностью представляет его, что опасения русских постепенно рассеиваются.

— Ага! — говорит Ананьев. — Понятно! Драпанул, значит?

Немец сдержанно осматривает собравшихся и вдруг говорит четко, но с сильным акцентом:

— Капитуляция!

— Во, молодец! Ну раз капитуляция — садись! Садись, черт с тобой. Значит, навоевался? Где воевал: пехота, танки? Авиация?

— Никс авиация. Гренадир группе.

— Говорит, в пехоте, — понял разведчик.

— А, в пехоте. Тогда давай, за Победу! За нашу победу! Над вашим Гитлером.

Ананьев наливает ему из фляги в свободный фужер, и немец, стукнув каблуками, четко произносит:

— Гитлер капут!

— Вот-вот! Наконец-то! За великий капут. И надолго.

Все выпивают.

В зале в разгаре пирушка, фляга уже пуста, бутылка тоже. Разведчик играет на своей гармошке, Ананьев пытается обнять Ирму, та, смеясь, уклоняется, старик курит самокрутку махорки, которую свернул для него Воробей, и кашляет. Зина молча и ревниво наблюдает за захмелевшим Ананьевым, бледный стоит у стены молодой немец и, облокотясь на стол, сидит мрачный старший техник-лейтенант.

В разгар веселья Васюков замечает за окном мелькнувший луч света и, ничего никому не сказав, выходит во двор.

На темной дорожке недалеко от входа стоит «виллис», из него выбирается темный силуэт в плащ-палатке.

— Эй, кто здесь? — окликает Васюков.

— Капитан Сафронов, — отвечает человек. — Ты скажи, здесь мост поблизости есть?

— Моста нет, — говорит Васюков, — брод. Да ночью не проедете. Мы вот днем засели.

— От черт! — говорит капитан. — А там кто? — кивает он на освещенные окна виллы.

— Майор Ананьев. И солдаты. Вот, заночевали.

— Гнидюк, распрягай! — говорит в темноту капитан. — Терещенко — сюда!

Из «виллиса» выскакивает автоматчик в шинели и каске и неторопливо вылезает кто-то еще в длинной шинели. Автоматчик пропускает его вперед, и все идут к крыльцу. Васюков распахивает дверь в зал.

Ананьев отстраняется от Ирмы и Зины, которых он пытается обнять одновременно, и недовольно глядит на вошедших. Отличив его среди остальных, капитан отдает честь.

— Капитан Сафронов. Из военного трибунала армии.

— Откуда? — спрашивает Ананьев. — С передка, с тыла?

— Из Пневница.

—Слыхал, говорят, в 12 капитуляция?

— Да ну? Нет, не слышал. Мы в 16 часов выехали, да вот с колесом промучились.

— Точно! Победа, капитан. Дай пять, поздравляю.

Ананьев пожимает капитану руку, делает шаг, чтобы пожать ее и стоящему возле автоматчика человеку в офицерской шинели. Капитан предупреждающе останавливает его.

— Ему не надо. Не положено.

— А что? Пленный?

— Нет, не пленный. Арестованный за трусость. Командир взвода, — тихо говорит Сафронов.

— Ах ты, обормот! Сдрейфил, значит? В конце-то войны?

— Именно, — вздыхает бывший командир взвода Терещенко. — В конце и не выдержал.

— А теперь что? Трибунал?

— Теперь трибунал, — опускает голову Терещенко.

— Ладно. Вы это вот что, — говорит капитан Сафронов и что-то шепчет Ананьеву. Тот машет рукой.

— Есть там у них. В чулан какой-нибудь.

Сафронов делает знак Терещенко и ведет его через зал. За арестованным, как тень, следует часовой-автоматчик. Вдруг придирчивый взгляд капитана останавливается на молодом немце.

— А это?.. Кто такой?

Пауль подбирается и отчеканивает:
— Гитлер капут! Капитуляция.
— Это вот ее муж, — говорит Ананьев, указывая на Ирму. — Драпанул. Не дожидаясь капитуляции.
— Дезертир? А почему здесь? Надо отправить в тыл. Как военнопленного.
— Ладно. Черт с ним! — машет рукой Ананьев. — Отправить всегда успеем.
— Ну, знаете! — несогласно говорит капитан. — Тогда хотя бы изолировать.
— Оставь! Что изолировать? Завтра изолируем.
Поняв, что речь идет о муже, Ирма бросается к капитану:
— Гер официр! Тофарищ...
— Тофарищ официр! Битте, битте! — говорит старик и ставит на стол бутылку с прозрачной жидкостью.
— Что это? — настораживается капитан.
— О, шнапс, шнапс, — дрожащими руками старик открывает бутылку.
— Это дело! — говорит Ананьев. — А то принес какую-то мадеру! Ладно, брось, капитан. Давай выпьем!
Капитан, однако, пропускает Терещенко с автоматчиком в дверь и делает знак Паулю следовать вперед. Тот покорно переступает порог. Ирма и старик бросаются следом.
Спустя десять минут капитан появляется и с довольным видом потирает руки.
— Вот теперь можно и выпить, майор! За Победу! Если не провокация.
— Никакая не провокация. По рации передали. Так, Воробей?
— Так точно. Полковник-танкист сказал.
— Трудно верится, — говорит капитан, пережевывая хлеб с салом, крупными ломтями нарезанный на фарфоровой тарелке. — Здесь где-то в ближнем тылу полуокруженная группировка. В лесах эсэсовские части.
— Сдадутся и эсэсовцы, — говорит Ананьев и достает часы на цепочке. — Сколько там до Победы осталось? Всего 15 минут.
— В роще нас обстреляли. Колесо пробили. Едва ноги унесли.
— Это бродячие. Бродячих мы не боимся. Завтра они нам в плен сдадутся.

В зал вбегает Ирма, за ней входит старик. Ирма бросается к капитану и заламывает руки.

— Гер официр, гер официр! Их отшень, отшень просиль! Майн гатте Пауль... Их отшень просиль!

— Ничего не выйдет, — говорит капитан. — У нас есть порядок, который надлежит соблюдать.

Ирма начинает плакать.

— Их отшень просиль. Гер официр! Тофарищ, — умоляюще обращается она к Ананьеву. Тот вскакивает.

— Ладно, капитан! Выпусти ты его. Подумаешь, куда он денется. Вот, сколько тут осталось?.. — он снова достает часы. — Еще семь минут. Ведь Победа же, ты понимаешь.

Капитан молчит.

В это время где-то далеко за лесом взмывает в небо ракета, с ней рядом вторая, далекие очереди трассирующих рассыпаются в небе. Все в зале замирают в тревоге.

— Что это?

Схватив оружие, выскакивают на дорожку, но тревога напрасна. Слышно, как палят вдали вокруг — за рекой, в стороне дороги, где-то за парком. В разных местах в небе горят ракеты, и капитан первым догадывается.

— Это ж салют! Выбрось свои часы, майор!

— В самом деле! Славяне, а ну стрелянем! Чтоб в последний раз. Ну, раз-два — пли!

Нестройный залп звучит возле виллы, затем второй и третий.

— Ну вот! Ну вот, теперь ты веришь, капитан? Ведь Победа! Победа, ты понимаешь это?..

В свете, падающем из окон, из раскрытой двери, майор обнимает капитана, затем Зину, которая счастливо льнет к нему, Васюкова. И тут они замечают, что на крыльце одиноко стоит старший техник-лейтенант, а за темным стеклом узкого окна тускло бледнеют два лица арестованных. Все входят в помещение.

— Слушай, капитан, — говорит Ананьев, — давай сюда твоего арестанта. Черт с ним, выпьем по-братски, все равно Победа!

— Ладно! — говорит капитан. — Эй, Гнидюк, выпускай арестанта. И того... немца тоже! Черт с ними!

Тихая ночь, в зале едва светит карбидный фонарь, на столе неубранные остатки ужина. На диване, раскинувшись, спит Ананьев, в кресле Зина. На разостланных на паркете шинелях спят разведчик и шофер Воробей. Рядом ворочается и садится Васюков.

— Нет, я в такую ночь не усну.

За столом в каменной позе сидит старший техник-лейтенант.

— В такую ночь можно и не поспать. Полезно подумать. Как жить, подумать.

— Чего тут думать? — говорит Васюков. — Главное — вот, выжили.

— Мы-то выжили. А сколько не дожило. Подумать страшно! Я как подумаю, как представлю себе... Была жена, двое ребят...

— Погибли?

— В первый день. Под Волковыском на аэродроме. Отца и мать расстреляли. Брат в плену пропал. Младший. Старший под Будапештом погиб. И так, считай, в каждой семье. Ужас!

— Ужас, конечно. А все равно жить надо.

Старший техник-лейтенант молчит, и Васюков начинает бессонно бродить по залу, ступая между спящими, приглядывается то к одному, то к другому. Прислушивается. Думает и вспоминает. Через распахнутую дверь проходит в кабинет, где на кушетке спит капитан и на составленных стульях конвоир. У окна стоит арестованный Терещенко. Он устало поднимает голову.

— Тихо, — шепотом говорит Васюков. — Чего не спите?

— Не спится, — так же шепотом отвечает Терещенко. — Не до сна мне.

— Да, скверное у вас дело, — понимающе говорит Васюков, садясь на подоконник. За окном едва брезжит рассвет.

— Хуже некуда.

— Судить вас будут?

— Судить, да.

— Как же это вы струсили?

Терещенко вздыхает и отвечает не сразу:

— Понимаешь, сам не пойму. Никогда со мной не было такого. Полтора года воюю. А тут... Как наперли они, ну и... Не выдержал. Побежал. За мной бойцы. Ну и смяли нас.

— Как раз в самый конец войны?

— Вот, думаю, в этом все дело. Конец войны. Жить захотелось. И появилась надежда выжить. Вот и не выдержал.

— Теперь припаяют.

— Что делать, — разводит руками Терещенко.

Они недолго молчат, потом Васюков говорит счастливо:

— Просто не верится!.. Просто не верится, неужели жить будем? Неужели мы выжили? Никогда не думалось...

— А я думаю: почему я не погиб? Почему меня не убили под Курском? На Сандомирском плацдарме... Или еще где. Зачем было доживать до такого... позора?

— Выжили! Это ж так повезло! Такое счастье! Неужели теперь до старости жить будем? — говорит о своем Васюков.

— И искупить вину невозможно. Поздно. Даже в штрафную поздно. Вот положеньице!..

Переполненный своим счастьем Васюков бредет по анфиладе комнат, поднимается на второй этаж. Всюду тихо. В окнах светится первый рассвет, Васюков счастлив и задумчив. Он выходит через распахнутую дверь на балкон, вдыхает утреннюю свежесть. Тихо дремлют рядом вершины лип с едва распустившимися листочками, в полусотне шагов блестит река. Облокотясь на перила, он смотрит на светлеющий закраек неба и вспоминает год сорок первый — гибель старшины Карпенко в окопе, подвиг Свиста. Потом переносится в сорок третий, и перед его взором проходят лица бойцов-автоматчиков Чумака, Кривошеева, Щапы, лейтенанта Гриневича и Ананьева, старшего лейтенанта в фуражке и мокрой плащ-палатке...

Светает. Матово блестит река, восточный берег ее, однако, весь погружен в тень. Не сразу до сознания Васюкова доходит смысл какого-то движения на той стороне; слышатся приглушенные звуки моторов. Но вот он видит, как в том месте, где находится брод, появляются три силуэта, они осторожно пробираются по воде к вилле. За ними тихо входит в реку колонна солдат с оружием.

Васюков настораживается, затем негромко окликает с балкона:

— Эй! Кто такие?

Люди в реке заметно обеспокоены, доносится какая-то команда, и струя трассирующей очереди с грохотом бьет в каменную стену виллы. Балкон осыпается штукатуркой, со звоном вылетают стекла из балконной двери.

— Немцы!

Васюков стремглав скатывается с винтовой лестницы и, крикнув в зал «Немцы!», хватает чей-то автомат и опять бежит на балкон. Но передние немцы уже достигли этого берега, в реке целая колонна пехоты, и за ней спускаются к броду автомашины. Пулемет с той стороны открывает огонь по вилле.

Васюков из-за бетонного парапета балкона выпускает несколько торопливых очередей по броду, его пули с рассеиванием взбивают воду, несколько человек там падает. Но успевшие переправиться открывают с берега ураганный огонь по вилле.

Вилла тоже отвечает огнем. С первого этажа доносятся команды Ананьева: «К окнам! Занять все окна! Огонь!»

На балкон к Васюкову прибегает конвоир трибунала с автоматом и несколькими дисками в сумке.

— Ложись! — кричит Васюков.

Крупнокалиберный пулемет с того берега начинает бить по фасаду, осыпая его щебенкой. Сам Васюков распластывается на бетонном полу балкона, рядом падает конвоир.

— Вот сволочи! Откуда они взялись? — говорит конвоир.

— Видно, на запад прорываются.

Когда очередь переносится на другое место, Васюков выглядывает через парапет и видит, что несколько машин с орудиями на прицепе уже на середине реки. Он бьет по ним длинной очередью, одна машина вспыхивает, разлив по воде огненные блики. По-видимому, обнаружив их на балконе, пулемет направляет на него весь поток трассирующих, и вскоре весь балкон тонет в пыли. Щебень, крупные и мелкие куски бетона летят во все стороны, и вот уже в полу и в стенках парапета зияют крупные дыры. Когда пыль слегка сносит ветром, становится видно, как между старых деревьев парка перебегают эсэсовцы.

— Бей по тем! Не подпускай! — возбужденно кричит Васюков конвоиру, но тот лежит, уронив голову на автомат. Васюков переворачивает его и видит бледное, залитое кровью лицо.

— Не повезло... Эх, как не повезло нам... — говорит солдат и замирает.

Снова очередь крупнокалиберного крошит бетон, и Васюков стреляет в ответ. Потом, испугавшись, что долго здесь не удержится, бросается с балкона за дверь. На ходу он срывает с конвоира сумку с дисками и волочит ее за собой.

Внизу слышится густая стрельба, у входа рвутся гранаты, и Васюков по какой-то лестнице бросается еще выше.

Запыхавшись, он взбирается на чердак с несколькими слуховыми окошками в массивной черепичной крыше, выглядывает на переправу. Часть эсэсовцев на этом берегу и возле виллы, другая часть схлынула с брода на ту сторону. Там же стоят автомобили, два-три из них горят ярким пламенем, развевая на ветру длинные хвосты чадного дыма. Васюков выпускает меткую очередь, и несколько эсэсовцев с брода, разбрызгивая воду, бегут назад. Остальные залегают за деревьями парка.

В бое наступает заминка.

В зале не остается ничего от вчерашнего уюта, в окнах зияют дыры, потолок и стены густо побиты очередями, все засыпано битым стеклом и штукатуркой.

Босой Ананьев с автоматом в руке бросается от окна к окну, расставляя защитников виллы.

— Разведка, держи это окно! На твою личную ответственность, Воробей, это. И на угол, на угол смотри...

— Петя, ты ж ранен! — бросается к майору Зина. Ананьев, размазав на лбу кровь, отмахивается.

— Да ерунда! Касательная. Ты береги патроны! Зина, береги патроны...

Зина размеренно стреляет из-за косяка из пистолета.

В зал вбегает старик. Растерзанный вид его страшен. Воздевая кверху руки, старик в ужасе восклицает:

— Майн гот! Майн гот! Майн либе вилла!..

— Вилла? Черт с ней, с твоей виллой! Гляди, как бы самому не хана... Капитан, что наблюдаешь? — кричит майор в открытую дверь.

— Попрятались, сволочи! Что-то гергечут, а где — не видать.

— Сейчас они бросятся. На рассвете им надо переправиться, а мы мешаем. Старшой! — кричит Ананьев.

— Я, — спокойно отвечает старший техник-лейтенант, взводя курок нагана.

— Ты держи дверь! За тобой дверь. В окна они не впрыгнут. Высоко. А в дверь — да. Воробей, тоже — на дверь!

Старший техник-лейтенант идет в прихожую к запертой входной двери, за ним бежит Воробей. Ананьев оглядывается и видит в углу бледное лицо стоящего в неподпоясанной гимнастерке Терещенко.

— А ты что?

Тот пожимает плечами.

— Оружия нет? Конечно. Капитан, вооружи арестанта! — кричит Ананьев в раскрытую дверь.

— Не полагается, — отвечает капитан.

— Черт тебя возьми! — свирепеет Ананьев. — А погибать после Победы полагается?

Разведчик от углового окна говорит:

— Эй ты! Держи! — и бросает Терещенко лимонку. Тот ловит ее на лету.

— И давай к двери! Воробей, ко мне! Где Васюков?

— А вон, слышь? — указывает Зина вверх, откуда доносится приглушенный звук очередей.

— Ах, это он! Вот молодец! Надо ему кого на подмогу.

— Не перейдешь, — говорит капитан. — Все окно разнесли, лестницу тоже.

— Ах, гадство! Ах, гадство!..

Шквал огня из парка и от реки заглушает его слова.

Начинается приступ.

Узкое подвальное помещение с маленьким зарешеченным окошком вверху. Горит свеча в какой-то подвеске, и тени от нее, изламываясь, колеблются по стенам. Пауль, нагнувшись, решительно извлекает из-за каких-то ящиков автомат и с силой вгоняет в него магазин. На дворе гремят выстрелы, заглушая слова и плач Ирмы, которая хватается за одежду мужа, за его руки, потом ноги. Она падает на колени, ее лицо в слезах, она пытается удержать мужа, и он, по-видимому, теряет решимость. Минуту он вслушивается, поглаживая узкие плечи жены, стрельба вроде затихает, она поднимается на ноги и безответно целует его лицо. На его же лице — напряженное внимание и ничего больше. Он весь там, наверху.

Но вот снова грохочут выстрелы, каменные стены подвала сотрясаются от нескольких взрывов. Пауль закусывает губу и отстраняет Ирму.

Однако она не отпускает его, она обхватывает его колени, и он не решается употребить силу. Он медлит, пока в паузе между очередями не доносятся зычные крики эсэсовцев:

— Форвертс! Хайль Гитлер!

— Эсэсшвайне! — теряет самообладание Пауль и решительно вырывается из рук жены. Та бросается следом, но он захлопывает тяжелую дверь...

Почти совсем рассветает, в зале пыль и дым от стрельбы. Рывками бьет из пистолета через подоконник Зина — выстрелит и присядет, выстрелит и присядет. Ананьев стреляет, перебегая от окна к окну. В одном из простенков стоит с гранатой в руке Терещенко.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — кричит сержант-разведчик. — Становитесь сюда! Вы — сюда, я — сюда! — указывает он по обе стороны окна, и майор становится в соседний простенок. Но не успевает он направить в окно автомат, как в зал влетает граната. Ударившись о стену, она отскакивает к столу, и разведчик, коршуном бросившись к ней, успевает вышвырнуть ее обратно. Майор приседает, за окном раздается взрыв, но никто не задет осколками. Окно, однако, остается без единого стекла, с выломанной посередине рамой.

Вслед за первой влетает вторая граната, она падает наискось от окна, и ее успевает ухватить Терещенко. Эта тоже взрывается за окном. Терещенко сразу же припадает спиной к простенку.

Но вот в другое окно влетают сразу две гранаты, сержант-разведчик бросается к одной и только успевает швырнуть ее в окно, как другая взрывается в зале. Грохот и дым заполняют зал, сержант переламывается в пояснице, хватаясь рукой за спину, и тихо опускается на пол. К нему бросается Зина.

— Ах, гады! — говорит он и замолкает.

А в углу, поджав под себя ноги, медленно свертывается калачиком Воробей. Окровавленными руками он зажимает живот.

Майор бросается к выбитому окну, из которого летят гранаты, перекинув через подоконник автомат, строчит под стену, к нему подбегает Терещенко, он швыряет туда свою единственную гранату, и под окном затихает. Оба опускаются на пол, тупо глядя друг на друга и вслушиваясь. Потом Ананьев спохватывается:

— Капитан! Капитан!

Но ответа нет. На полу в простенке сидит Зина. Ее плечи сотрясают рыдания.

— Боже, что же это делается! Ведь Победа же, капитуляция, что же это такое...

— Ничего, — говорит Ананьев. — Ничего. Как-нибудь. Подождите.

А сверху, с чердака, все строчит автомат. Это обстреливает переправу Васюков.

Ананьев вслушивается и поднимает запыленное, с подсохшей кровью лицо.

— Молодец Васюков! Давай, давай, Васюков! — тихо говорит он и кричит в коридор: — Старшой, ты держишься? Держись, старшой!

Старший техник-лейтенант тяжелым шкафом задвигает входную дверь, ему помогает старик архитектор. Выбившись из сил и тяжело дыша, они становятся по обе стороны входа и слушают. Стрельба и разрывы гранат сотрясают дом с другой стороны. С этой вроде бы пока тихо.

— Майн гот! Майн гот! Майн либе вилла, майн унглюклих Дойчленд! — мнет на голове седые волосы архитектор. Старший техник-лейтенант говорит язвительно:

— Дойчленд вам! Вот до чего довели вы свой Дойчленд! Обормоты проклятые!

Старик замолкает, за стеной слышны голоса, и архитектор в ужасе восклицает:

— Эсэс! Дас ист эсэс! Капут! Аллес капут!

— Плохо капут, ага? А нам как было? Как вы это себе понимаете? У меня всех подчистую прикончили, это как? Как

мне теперь жить? Вот меня укокошат, и весь мой род кончится. А мой род знаешь какой? Петров. Ты понимаешь — Петров я. От Петра Петровича. Ты понимаешь?

— Я, я! — кивает головой старик. — Аллес капут!

В дверь снаружи раздается оглушительный стук, потом стремительная очередь в разных местах прошивает филенки двери. Из шкафа летят щепки. Ряд рваных дыр светится на фоне рассветного утра. Старший техник-лейтенант поднимает наган и стреляет несколько раз.

— Майн гот! Майн гот! — сползая на пол, почти лишается чувств старик.

Новая очередь бьет в дверь пониже, затем раздаются удары тяжелых прикладов, и дверь выпирает, готовая вот-вот распахнуться. Старший техник-лейтенант редко стреляет, каждый раз осматривая барабан нагана. У него остается всего три патрона.

— Пауль! — вдруг испуганно восклицает старик. В прихожей откуда-то появляется Пауль с немецким автоматом в руках. Старший техник-лейтенант отскакивает в сторону, вскинув наган, но Пауль с ходу выпускает в дверь полмагазина и сам отскакивает в сторону.

За дверью все затихает.

— Караще? — говорит Пауль, обращаясь к старшему технику-лейтенанту. — Караще даль швайн эсэс?

— Молодец! — сдержанно хвалит капитан. — Наловчился. Где практиковался?

— Практик? Демянск! — произносит Пауль. — Унд Витэбск. Унд Брест. Унд Бреслау.

— Солидная практика. Ну, покажи класс!

Пауль снова бьет в дверь и, выбросив магазин, заряжает новый.

Наступает тишина, и в этой тиши четко слышатся крадущиеся шаги за стеной. Они все ближе, ближе и явственней. Пауль медленно поднимает автомат, готовясь ударить в самый нужный момент, как вдруг, взглянув в пробитую очередями дыру, испуганно вскрикивает:

— Панцирфауст!..

Мощный взрыв на пороге вышибает дверь, в щепки разносит шкаф. Все накрывает клубящаяся туча дыма и пыли, в которой появляются темные тени в касках.

Резко отпрянув от окна, Ананьев бьет почти в упор по выбитой взрывом входной двери, в которую врываются эсэсовцы. Двое из них падают, выронив оружие, и Зина, метнувшись из-

за стены, подхватывает автомат. Она укрывается за косяком у двери, Ананьев стоит напротив. Терещенко отстреливается из кабинета. Все окна выбиты, зал простреливается перекрестным огнем. Этот огонь не дает Ананьеву перебегать с места на место, он загнан в угол напротив от входа. От входа его прикрывает лишь стол.

— Зина, не выходи! Зина, стой там! — кричит Ананьев и приседает: очередь из пролома густо бьет в стену над его головой.

— Петя! — восклицает Зина.

— Ничего, ничего! — говорит Ананьев, вскакивая. — Ты держись. Главное, ты держись!

Майор стреляет по входу, но, по-видимому, у него кончаются патроны, он передергивает затвор, однако выстрелов нет. Воспользовавшись его заминкой, в зал врываются двое в касках, Ананьев бросает в них автоматом, потом, схватившись за угол стола, опрокидывает его с посудой на дверь.

Однако эсэсовцы уже ворвались в прихожую и из нее прорываются в зал. Зина из-за косяка бьет по ним сзади, двое падают, автомат из рук убитого отлетает к стене, и Ананьев бросается за ним. Не дотянувшись, однако, до оружия, он падает на колено и хватается рукой за плечо. Между пальцев его бьет кровь.

— Петя! — восклицает Зина, бросаясь из своего укрытия к раненому.

— Стой! — кричит Ананьев, но поздно. Ворвавшийся из разбитой прихожей эсэсовец почти в упор стреляет по обоим из автомата. Ананьев сразу сникает, а Зина еще находит в себе силы обернуться.

— Ах, гады вы! Гады!..

На ее лице боль и отчаяние, ненавидящий взгляд устремлен в пьяное, заросшее щетиной лицо эсэсовца, глаза которого щурятся в ненависти, а руки уверенно поднимают автомат. Почти со сладострастием на лице он разряжает его в девушку, которая покорно опускается на широкую грудь майора. В этот момент из кабинета врывается Терещенко, они встречаются взглядами, эсэсовец перекидывает ствол автомата, но Терещенко опережает его, и эсэсовец тяжело грохается спиной на паркет.

В зал врываются еще несколько эсэсовцев. Отстреливаясь, Терещенко уходит в глубину помещения...

От сильного толчка в спину Пауль падает на ступеньки крутой каменной лестницы, ведущей в подвал, пытается встать,

но, сбитый сапогом, падает снова и сползает до низа. За ним спускаются несколько эсэсовцев, среди которых два офицера, увешанных наградами, в касках, с автоматами в руках.

В подвале несколько тише, чем наверху, выстрелы здесь слышатся глуше. Эсэсовцы включают фонарики, направив их на окровавленное лицо Пауля.

— Дас ист зольдат? — сквозь сжатые зубы спрашивает офицер.

— Никс зольдат, гер обершурмфюрер. Дас ист цивильмайстер.

— Цивильмайстер? Дас ист швайне! Дас ист верротэр! Эргёген! — приказывает эсэсовец солдатам, и несколько немцев быстро пристраивают веревку на двери. Другие заламывают руки Пауля.

— Верротэр!

— Игр дас ист верротэр! Игр вердербен штурцен Дойчлянд! — кричит в отчаянии Пауль. Где-то раздается стук в дверь, и слышится голос Ирмы:

— Пауль! Пауль!

Двое эсэсовцев отпирают дверь, из которой вырывается Ирма. Поняв, что здесь происходит, она бросается к мужу.

— Пауль!!

Пауль, однако, почти не реагирует, он ждет, когда эсэсовец закрепит веревку, и спокойно дает накинуть на себя петлю.

— Будьте вы прокляты!

Рыдая, Ирма в отчаянии бросается к одному эсэсовцу, к другому, пока офицер не обрывает ее ругательством. Двое эсэсовцев уволакивают ее в темный подвал, где она затихает вскоре.

Остальные торопливо вешают Пауля.

Тем временем с крыши виллы все трещат выстрелы, и пули взбивают воду реки. Несколько машин горит в броде, несколько застряло на глубине, остальные не могут объехать их. Под огнем с чердака эсэсовцы пытаются перетащить машины, но теряют дорогое для себя время...

Преследуемый эсэсовцами, отстреливаясь, Терещенко перебегает из комнаты в комнату в поисках лестницы наверх. В кабинете, заваленный опрокинутой мебелью, лежит капитан. Он контужен, ранен, но жив. Терещенко пробегает мимо, едва уклоняясь от пуль эсэсовцев, ухватившись за обломанные перила разрушенной винтовой лестницы, подтягивается и скрывается на втором этаже. Подбежавшие эсэсовцы стреляют вслед, потом подтаскивают к лестнице столы, чтобы взобрать-

ся следом. Терещенко тем временем спускает им на головы буфет с посудой, закупорив тем узкий лестничный проход, и взбирается выше. У него уже немецкий автомат, но он бережет патроны и стреляет лишь в крайних случаях.

Пробегая мимо разбитых окон, он оглядывается на переправу, в которой возятся с машинами эсэсовцы, не преминув дать одну-две короткие очереди по ним. Наверху, слышно, постреливает автомат Васюкова. Однако эсэсовцы скоро прорываются по винтовой лестнице на второй этаж, и Терещенко едва успевает проскользнуть в люк, ведущий на чердак к Васюкову. Наверное, последней пулей он ранен, и только перевалившись за край люка, обнаруживает это. Пуля вошла в бок, его гимнастерка без ремня скоро набухает кровью.

Васюков под разбитой черепицей кровли, пригнувшись, бросается навстречу Терещенко.

— Что? Что там?

Терещенко машет рукой.

— Все?

— Все, да.

— Так, ничего, — после паузы говорит Васюков. — Вот бинт, на, перевязывайся. Сможешь перевязаться?

Терещенко кивает головой.

— Давай! А я их огоньком! Не любят огонька, сволочи! А ну, еще вам...

Он, наскоро прицелясь, стреляет очень короткими очередями, а Терещенко торопливо перевязывает себя под гимнастеркой. Потом, схватившись за автомат, приподнимает люк и едва успевает увернуться от очереди.

— Сволочи!

Хорошо, однако, бетонная балка перекрытия защищает его от пуль снизу, которые крошат ее в щебенку. Но балки этой хватит ненадолго. Наконец в стрельбе наступает пауза, Васюков лежит возле дыры в крыше, не спуская глаз с переправы. Но и на переправе наступает заминка. Бросив застрявшие машины, немцы убрались на тот берег и скрылись за стоящими в колонне автомобилями и в прибрежном кустарнике.

— Как же нам продержаться? Нам бы еще часок, — говорит Васюков. — Должны же наши услышать. Должны подойти.

— Подойдут, да, — говорит Терещенко. — Когда только?

— Вот в том и задача — когда? А где твой капитан? — спрашивает Васюков.

— Кто его знает? Погиб, наверно.

— Чудно! — после паузы говорит Васюков. — Чудно, право. Хотя чему удивляться?

— Вот, думаю, как же мне быть? Если капитан погиб, как же мне быть?

— Ничего! Был бы сам живой. Тут, знаешь, не так-то просто. Ах, сволочи, сволочи! Вот тебе и Победа! Это ж надо!..

Внизу почти во всей вилле распоряжаются эсэсовцы. Офицер отдает распоряжения, кто-то куда-то убегает, прибегает снова. Они здесь в безопасности от огня с чердака, но те за рекой отрезаны и не могут под огнем форсировать брод. В кабинете архитектора, придя в себя, поднимается из-под мебели и обрушенной штукатурки капитан, прислушивается. Ему видны ноги и спины стоящих в зале эсэсовцев, и он, с трудом поднявшись среди обломков мебели, взбирается на подоконник. Оконная рама вышиблена взрывом, он переваливается через подоконник и срывается на той стороне. Недолго лежит, прислушиваясь, но, кажется, его не заметили. Тогда он, зажимая рану в боку, шатким шагом бежит по парку от дерева к дереву — прочь от виллы. Ему удается незамеченным отойти далеко, уже его прикрывают комли толстых деревьев, уже вот-вот близко сосняк. Но путь к нему преграждает сетчатая ограда виллы из проволоки, капитан, шатаясь и падая, бежит вдоль нее, но ограда аккуратная, дыр в ней нигде нет. И высокая. Перелезть ее у капитана нет сил.

И тут его замечают от виллы. Два эсэсовца уже бегут через парк, капитан бросается в другую сторону, бежит, бежит. Но силы у него на исходе, а эсэсовцы уже рядом. Они уже на расстоянии выстрела, и он останавливается.

Ухватившись за ограду, он отдыхает, потом поворачивается к преследователям, которые, поняв его беспомощность, не спешат разрядить свои автоматы.

— Ну! Ну, что ж вы, сволочи! Стреляйте, ну!

И оба враз вскидывают стволы автоматов. Капитан медленно сползает к подножию сетки.

На чердаке возле дыры в черепице лежит Васюков. Возле люка скорчился на боку Терещенко.

— Погибнем мы, а? — говорит Терещенко.

— Может, и погибнем, — говорит Васюков. — Дурное дело нехитрое. Но пропустить их нельзя. Знаешь, что они натворить могут!

— Пропустить нельзя, — соглашается Терещенко.

— Сильно болит?

— Да, болит. Дышать трудно.

— Терпи как-нибудь. Может, еще выдюжим.

— Мне надо выдюжить. Ты понимаешь? Мне надо выдержать.

— Я понимаю...

— Потому что как же я? Так и погибну трусом? Нельзя ж мне погибать трусом. У меня братишка. Пятый класс кончает. Сколько гордости за меня.

— Смотри! Ты смотри, что это? — говорит Васюков, что-то заметив. — А, это ж они фаусты тащат!

Он быстренько прицеливается и бьет несколькими очередями по реке. Один там падает с фаустпатроном, но трое других, пригнувшись под тяжестью оружия, перебегают на эту сторону и скрываются под речным обрывом.

— О, черт! — говорит Васюков. — Сейчас врежут!

И действительно, почти тотчас слышится выстрел фауста, и одновременно мощный разрыв на углу сотрясает всю виллу. Обрушившись с конца крыши, вся разом ссыпается черепица, чердак заволакивает пылью, из которой ближе к люку бросается Васюков. Со лба его густо капает кровь.

— Попало, кажется.

— Что, ранен? — пугается Терещенко.

— Ложись, ложись! Сейчас еще врежут.

Они припадают к полу чердака за бетонной балкой и ждут. Действительно, скоро снова щелкает выстрел, и взрыв, кажется, еще большей силы обрушивается на восточное крыло здания. Крыша почти вся лишается черепицы, что-то загорается на нижних этажах, и дым с пылью поднимается к небу.

— Так! И еще будет один! — говорит Васюков.

Но третий взрыв задерживается, Васюков напряженно ждет, рукавом вытирая лоб. Кровь все плывет, заливая глаза, и Терещенко рвет на себе конец бинта.

— Дай перевяжу. А то кровью сплывешь, что тогда я?

— Себе оставь, — говорит Васюков.

— Без тебя мне он не нужен.

Кое-как Терещенко перевязывает голову Васюкову. Пыль слегка оседает, обнажая поломанные стропила, из-за которых видны вершины деревьев. Васюков ползком подбирается к краю чердака.

Немцы спешно форсируют реку, по грудь в воде обходя застрявшие машины, и он снова стреляет. Дав две-три очереди, отскакивает к люку, в который бьют чем-то тяжелым снизу, и в смятении смотрит на своего товарища.

— Что?

— Все. Патронов нет.
— У меня тоже.

Наступает тягостная пауза, немцы стараются выбить люк, оба защитника лежат возле него, истекая кровью. Кажется, задвижка люка вот-вот отскочит и на чердак ворвутся эсэсовцы.

— Как же не рассчитал я? Как же не рассчитал? — сокрушается Васюков. И вдруг, ощупав брючный карман, восклицает:

— Есть! Один...

Он вытаскивает один патрон и торопливо засовывает его в ствол автомата. Терещенко тоскливо следит за его приготовлением.

— А я... как же?

— Ты?

Люк уже почти сбит с петель, скоро здесь будут эсэсовцы. Но один патрон нельзя разделить на двоих, и Васюков, вскочив, стреляет под люк в щель, в которую уже пролезают чужие пальцы. Люк захлопывается. И наступает недолгая пауза.

Но пауза почему-то затягивается, снизу доносятся какие-то крики, топот бегущих ног, и первый отдаленный разрыв радостным эхом раскатывается в утреннем небе. Васюков отрывается на руках от пола, приподнимается. Оглушенный, он не сразу различает новые звуки в пространстве, а различив их, обрадовано кричит Терещенко:

— Наши! Ты слышишь — танки!

Он встает на колени и выглядывает за край чердака — немцы, бросив машины, бегут по берегу, бегут через парк между деревьев от виллы. И первые тридцатьчетверки, прорвавшись к реке, осыпают их градом пуль. Заметавшись возле проволочной ловушки, эсэсовцы пытаются выбежать из нее, многие падают, другие пытаются взобраться на сетку, но валятся, сраженные танковыми очередями.

Васюков рывком открывает люк и скатывается по лестнице вниз. За ним сползает Терещенко.

Он с трудом преодолевает лестницу, разбитый, заваленный рухлядью кабинет, зал с засыпанными пылью телами убитых. Он останавливается на каждом взглядом и выходит на разбитое фаустпатроном крыльцо.

Первая тридцатьчетверка, преодолев реку, взбирается на крутой берег. Заметив Васюкова, танкисты откидывают люк, и кто-то там появляется в черном шлеме, машет ему.

А Васюков, утирая залитый кровью и потом лоб, стоит, прислонившись к иссеченному пулями гранитному косяку, и пытается улыбнуться сквозь слезы.

Сзади из вестибюля выползает на ступеньки Терещенко.

За рекой над аккуратным сосновым леском поднимается красный диск солнца.

Наступило утро. Первое утро Победы.

[1974 г.]

УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ

(ОБЕЛИСК)

Киносценарий

Осенний солнечный день, городской вокзал.

К перрону подходит пассажирский состав, из которого высыпают люди. В обычной толчее не сразу разберешься, кто встречает, а кто приехал.

Зыков благополучно выбирается из вагона, минует привокзальную толчею. На ходу роясь в карманах куртки, чтобы найти монету, Зыков спешит к телефону-автомату.

Набирает номер.

— Я слушаю... — отвечает женщина лет тридцати пяти.

— Я приехал. Я люблю тебя, — говорит Зыков.

Женщина счастливо улыбается.

— Вот уже пять минут я жду твоего звонка.

— Трудно выбраться даже из вагона...

— Дома все в порядке. Анюта, наверняка, уже вернулась из школы и ждет тебя.

К женщине кто-то подходит, о чем-то спрашивает. Она кивает, а в трубку:

— Я постараюсь освободиться пораньше. Целую.

— Я заеду в редакцию и домой. Целую.

Зыков выходит из телефонной будки. Проходит через толпу все так же спешащих людей. Выходит на привокзальную площадь, к стоянке такси. Большая очередь. Тридцать-сорок человек. Идет к остановке троллейбуса. Здесь тоже очередь, но не большая. Да и троллейбус уже подходит.

Распахиваются двери. Выскакивают люди. Зыков хочет войти, но...

— Здорово! — и Зыков поворачивается на приветствие. Знакомый журналист с портфелем-чемоданом.

— Ты что, приехал?

— Да, а ты уезжаешь?

— Да, Минск–Москва–БАМ!

Очередь тем временем перелилась в троллейбус, и дверцы его захлопнулись, что с досадой отметил Зыков. Знакомый тем временем сообщал новости:

— В редакции горячка, решил на пару деньков уехать, пока начальство поменяется. Да и материал понадобился. Кстати, знаешь, Семенова подняли в завотделом информации, а Кузькина в отдел писем. Ярился целую неделю. В общем — суета сует, вот и бегу.

Снова очередь. Подходит троллейбус. Снова распахиваются двери. Снова очередь переливается с тротуара в машину.

— Ну, пока, — говорит знакомый, — пожелай мне удачи.

Он подхватывает свой портфель-чемодан, Зыков — свой, делают друг от друга по шагу, и знакомый, обернувшись, бросает:

— Да, слыхал, Миклашевич умер?

Зыков оторопело замирает:

— Как — умер?

— Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня похороны. Ну, пока!

Очередь тем временем оказалась в троллейбусе, и тот, захлопнув дверцы, уехал.

Зыков все стоит и растерянно смотрит вслед ушедшему товарищу.

...А вокруг городская суета сует.

Подошел троллейбус, а Зыков стоит.

Тем временем на секунды взглянем сверху на вокзальную площадь и далее на весь город с его движением людей и машин.

Зыков стоит еще мгновение на троллейбусной остановке, потом смотрит на часы, несколько растерянно оглядывается и быстро возвращается в сторону вокзала.

В камере хранения закладывает свой чемодан в металлический ящик, защелкивает его автоматический замок.

Заходит в будку телефона-автомата, набирает номер:

— Это — я. Прости, я должен уехать. Сейчас же. За город. В Сельцо. Там умер товарищ. Сегодня хоронят... Нет, ты его не знаешь. Сельский учитель. Постараюсь к ночи вернуться. Домой зайти не успел. Еще раз прости. Целую.

И еще один разговор:

— Аркадий Александрович, я вернулся из командировки, но сейчас должен уехать в Сельцо. Срочно. На пленуме буду завтра обязательно. Материал организую. Не волнуйтесь. Все будет в порядке. Вернусь, вернусь... В Сельцо. До завтра!

Зыков выходит из телефонной будки. На мгновение замирает, вперив взгляд перед собой.

И снова на секунду взглянем сверху на привокзальную площадь и... далее на весь город с его движением людей и машин.

После этого аппарат, упав с неба на землю, подхватит вступительные титры фильма и понесет их по загородному шоссе, врезавшемуся в тронутые первой желтизной перелески, в спокойную прозрачность далей бабьего лета.

Вот и Сельцо. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начинается старая аллея из широкоствольных, развалившихся в разные стороны вязов.

В дальнем конце аллеи на школьном дворе ждут кого-то «газик» и черная «Волга».

Зыков входит в аллею. Идет к школе. Это уже обветшалый и запущенный старосветский дворец: фигурная балюстрада веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна.

Зыков подходит к машинам. Людей не видно. Пустынно.

Решительность пропадает. Несколько растерянно оглядывается. Сам себе:

— Где же они?

Но в этот момент из аллеи выскакивает еще один запыленный «газик» и, едва не наехав на Зыкова, тормозит.

Из брезентового нутра вываливается человек в измятой зеленой «болонье». Зоотехник.

— Здорово, друг, — приветствует он Зыкова с оживлением на упитанном самодовольном лице. — Тоже, да?

— Тоже, — сдержанно отвечает Зыков.

— Опоздал, брат. Уже похоронили. Вон — поминаем, — сразу приняв сдержанный тон Зыкова, тише говорит зоотехник. — А ну, давай пособи.

Ухвативши за угол, он выволакивает из машины ящик со сверкающими рядами бутылок водки, Зыков подхватывает ношу с другой стороны и, минуя школу, они идут по тропке меж садовых зарослей в сторону флигеля с квартирами учителей.

— Как же это случилось?

— А так! Как все случается. Трах-бах — и готово. Был человек — и нет.

— Хотя болел перед тем? Или случилось что?

— Болел! Он всю жизнь болел. Но работал. А доработался до ручки. Пойдем вот да выпьем. Поминки есть поминки.

Низкие окна приземистого флигеля настежь раскрыты. Между развернутых занавесок виднеется чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом льняная копна высокой

женской прически. У крыльца стоят и курят двое небритых, в рабочей одежде мужчин. Скупо переговариваются, умолкают, перехватывают ящик и несут в дом по узкому коридорчику, заставленному вещами, вынесенными из комнаты. А небольшую комнату теперь занимают сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Видно, что грустное застолье идет не первый уже час. Десятка два сидящих людей заняты разговорами и куревом.

Молодое женское лицо с интересом взглядывает на Зыкова.

— Садитесь, вот и местечко есть, — прямо в аппарат скорбным голосом приглашает к столу пожилая женщина в темной косынке.

Еще одно лицо поворачивается к нам. Отечное немолодое, мокрое от пота, лицо.

— Опоздал? — просто говорит человек. — Ну, что ж... Нет больше нашего Павлика. И уже не будет. Выпьем. — Он сует в руки Зыкова явно недопитый кем-то, со следами чужих пальцев стакан водки, сам берет со стола другой. — Давай, брат. Земля ему пухом.

— Что ж, пусть будет пухом.

Выпивают. Чьей-то вилкой Зыков подцепил с тарелки кружок огурца, а сосед непослушными пальцами принимается вылущивать из помятой пачки «Примы» сигарету.

Женщина в темном платье ставит на стол несколько новых бутылок водки, и мужские руки начинают разливать ее по стаканам.

— Тише! Товарищи, прошу, тише! — сквозь шум голосов раздается из переднего угла громкий, не очень трезвый голос. — Тут хотят сказать.

— Ксендзов, заведующий районо, — гудит над ухом Быкова сосед и смотрит на него в упор. — Он все знает. — В голосе грустная ирония.

В дальнем конце стола поднимается с места молодой еще человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице. Держа стакан с водкой, начинает говорить:

— Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель. Активный общественник. И вообще... Одним словом, жить ему да жить...

— Жил бы, если бы не война, — быстро вставляет учительница в добротной бежевой кофточке, сидящая рядом с Ксендзовым.

Тот запинается, словно сбитый с толку этой репликой, поправляет на груди галстук. Говорить ему на такую тему непри-

вычно. С натугой подбирает слова. Да и нет у него, наверное, нужных на такой случай слов.

— Да, если бы не война... Если бы не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь спустя тридцать лет, после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования и особенно больших успехов в области...

— При чем тут успехи! — грохает по столу кулаком сосед Зыкова. Пустая бутылка, подскочив, катится между тарелок. — При чем тут успехи? Мы похоронили человека!

— Тише, тише. Ну что вы! — озабоченно склоняется к Ткачуку женщина в темном платье.

Заврайоно недобро умолкает на полуслове. Все сидящие за столом настороженно, почти с испугом поворачиваются к соседу Зыкова. Ксендзов многозначительно молчит и потом спокойно, с достоинством замечает, словно нарушившему порядок школьнику:

— Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно.

— Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему вы не вспомните про Мороза?

— Мороз тут ни при чем, — со спокойной твердостью останавливает Ткачука Ксендзов. — Мы не Мороза хороним.

— Очень даже при чем! Это Мороза надо благодарить за Миклашевича!

— Миклашевич — другое дело, — соглашается заврайоно и поднимает до половины налитый стакан водки. — Выпьем, товарищи, за его память. Пусть его жизнь послужит для нас примером.

— Мороз — вот кто пример для всех нас! Как и для Миклашевича был примером. Наглядным!

— Прежде чем говорить, следует подумать, товарищ Ткачук, — с той же начальственной твердостью произносит Ксендзов.

— Я думаю, что говорю.

— Вот именно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано...

— А его не репрессировали. Его забыли!

— Допустим, забыли! Потому что были побольше, чем он, герои. Потому что такие, как Мороз... — он умолкает.

— Ну что? Что Мороз? Про Мороза прежде всего нас спросить надо! Тех, кто был с ним рядом в то время.

— А чего спрашивать? Вы же сами подписали тот документ.

— Какой документ?

— Не притворяйтесь. Отлично помните, какой.

Лицо Ткачука болезненно передергивается.

— Подписал, потому что дураком был! Потому что не мог разобраться.

— Вот видите. А между тем правильно сделали, что подписали. Это не подвиг. Подумайте сами, что бы было, если бы каждый партизан поступил, как Мороз?

— Как?!

— В плен сдался.

— Дурак! — орет Ткачук. — Безмозглый дурак! — Он беспомощно и затравленно оглядывается и, перехватив взгляд Зыкова, умоляюще говорит: — Ну хоть ты скажи про Мороза.

— Про какого Мороза? — тихо спрашивает Зыков.

— Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим, пьем в Сельце, и никто не вспомнит Мороза! Которого здесь... Которого здесь... — Он грузно начинает выбираться из-за стола, повторяя: — Которого здесь должен знать каждый...

— Да хватит, Тимофей Титович! Ну зачем вы так... — тихо, с настойчивой кротостью пытается успокоить Ткачука его молодая соседка. — Съешьте колбаски. А то вы совсем не закусываете...

Наконец Ткачуку удается выбраться из-за стола и, бросив:

— Каждый!.. — он грузно выходит.

Ксендзов залпом выпивает водку. Остальные тоже пьют, но совсем безрадостно.

Миновав школу-усадьбу, Ткачук грузно шагает по аллее к шоссе.

Человек этот кряжист, в ботинках и сером поношенном костюме с двумя орденскими планками на груди.

По шоссе проходит порожний грузовик в направлении города, но Ткачук не останавливает его. Доходит до столбика со знаком автобусной остановки. Смотрит в одну сторону дороги, в другую и садится, где стоял, опустив ноги в неглубокую сухую канавку. За ним мы видим теперь памятник — приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Очень скромный, но тщательно досмотренный и прибранный, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой с поздней цветочной мелочью.

К обелиску неторопливо подходит Зыков. Смотрит на памятник. Его внимание привлекает что-то новое в надписи на черной табличке с именами погибших. Надпись снизу вверх:

Смурный А., Смурный Н., Кожан Т., Бородич Н. И над этими пятью именами стоит шестое имя — Мороз А.И., не очень умело выведенное белой масляной краской.

Зыков взглядывает на сидящего к нему спиной Ткачука. И снова смотрит на надпись: «Мороз А.И.»

Задумчиво отходит от обелиска к остановке автобуса.

На дороге со стороны города показывается тяжелый грузовик, кузов которого набит молодежью. Девушки и парни орут веселую песню. На мгновение песня и рев мотора захлестывают Ткачука и Зыкова. Мелькают молодые лица. И второй грузовик, такой же громкий и веселый.

Поднятая ими пыль заставляет Ткачука встать. Замечает сзади себя Зыкова. Несколько удивлен, но присутствие постороннего как-то смягчает его. Видно, одиночество Ткачуку в тягость.

— Ты что, тоже в город?

— В город. Может, какая попутная пойдет.

— Своей не имеешь?

— Пока нет.

Ткачук входит на асфальт и озабоченно смотрит на дорогу.

— Черт их дождется! — ворчливо говорит он. — Давай потопаем.

Зыков недоверчиво:

— А не далековато будет? Двадцать километров...

Ткачук: — Нагонит какая — сядем. Автобусов больше не будет. Так что пошли... В войну ходили и поболе. А до войны, бывало, эти двадцать за три часа. Скорым шагом. Ноги были молодые, крепкие.

Зыков уже перепрыгнул канаву, и они вдвоем шагают по шоссе.

— Вы не сердитесь на меня из-за Мороза. Ей-богу, я ничего о нем не слышал. И почему его имени раньше не было на обелиске? Ведь обелиск стоит уже тридцать лет.

Ткачук не спешит с ответом. Как бы про себя повторяет:

— Уже тридцать лет... — Потом, взглянув коротко на Зыкова, говорит: — Мороз был нашей болячкой. Столько лет в забвении. А правду знали только мы вдвоем — я и Миклашевич. Больше никого не осталось... Я не выдержал борьбы. Отошел в сторону. А Миклашевич не сдался и добился, что имя Мороза появилось на обелиске. Правда, сам помер. А я вот живу. И ничего, земля не разверзается. Скажи, тебя никогда не мучила совесть за что-нибудь скверное?

Зыков несколько недоуменно и обескураженно пожимает плечами. Ткачук взглядом перехватывает этот жест.

— Ну, да. Вопрос, конечно, с моей стороны идиотский. Бестактный... Мороз — учитель. Когда-то тут вот вместе начинали. — Ткачук останавливается, оглядывается. — Сегодня это можно назвать сказкой. Так это было давно. Сказка... Как у Андерсена: крибле-крабле-бум. Вот, представь себе, что нет этой гладкой дороги, а есть булыжник. Вон та церковь не разрушена, а усадьба, в которой школа, ухожена да раскрашена как игрушка. Из нее не более месяца тому назад удрал знатный пан. В усадьбе Мороз открыл школу для крестьянских детей.

Зыков смотрит по сторонам. В сторону школы, которая осталась позади. Видит: все, как на ландринной картинке. Дети, опрятненько и чистенько одетые, чинно идут в школу, у входа которой их встречает отутюженный молодой улыбающийся учитель. Из большого современного динамика-колокола звучит бравурная музыка.

В эту картинку врывается голос Ткачука:

— Э-э, нет! Несколько иначе...

Ткачук снисходительно усмехается, повторяя:

— Несколько иначе... В тридцать девятом, сразу после воссоединения с западными областями Наркомат просвещения из Минска направил меня сюда, школы организовывать. Назначили в районо заведующим. Трудное было время. Учебников не хватало, инвентаря тоже. С учителями было туго до крайности. Мотаться по району приходилось круглые сутки. И вот тут жалоба поступает: в Сельце учитель не по программе учит, а как вздумается. Пришлось отправиться проверить. Хотя дел других было по горло.

По мере рассказа Ткачука появится то же шоссе, но с булыжником и выбоинами. Тот же пейзаж, но несколько измененный временем. На велосипеде едет молодой тридцатилетний Ткачук. Трясет его неимоверно.

Он подъезжает к знакомой уже развилке. Въезжает в аллею. Под колеса велосипеда бросаются две небольшие собачонки-дворняжки и с громким лаем провожают его до самого школьного двора, на котором полно детворы. Огромное сломанное дерево. Его пилят, рубят и сносят дрова в сарайчик.

Ткачук слезает с велосипеда, хотя краем глаза следит за собачонками. А те уже сели перед ним и виляют хвостами.

Тем временем почти все побросали работу и смотрят на Ткачука.

— Добрый день, ребята! А где заведующий?

— А вот он. Алесь Иванович! — кричит мальчик лет двенадцати — Андрюша Смурный. — Тут вас спрашивают!

— Да! Я заведующий.

Из-за толстенного комля, который он пилил вместе с пятнадцатилетним парнишкой, уже выходит плечистый мужчина лет двадцати восьми. Открытое лицо, смелый и уверенный взгляд. Подходит, прихрамывая, к Ткачуку. Крепко пожимает руку.

— Мороз, Алесь Иванович.

— Ткачук, Тимофей Титович. Заведующий районо.

— Рад видеть у себя начальство. По какому делу?

— Дело найдется. А вы что, уже и деревья спиливаете?

— Да, — усмехается Мороз. — Видите, на его несчастье, — он машет в сторону комля, — будет наше теплое счастье. Бурей свалило, не пропадать же добру.

— Подожди, Коля, — обращается он к Коле Бородичу, который пытается продолжать распилку комля, но безуспешно, так как пилу придавило в распиле. — Так пилу сломаешь — достанется нам от твоего бати.

— Извините, — это он Ткачуку. И Мороз быстро возвращается к дереву. Подхватывает пилу и продолжает работу.

Но и теперь не все идет ладно. Комель заедает пилу все больше. Заело. Мороз бросает пилу. Хочет приподнять комель, но тот не поддается. Ему на помощь подбегают ребята. Облепили бревно. Не поддается. Тогда и Ткачук не выдерживает, кладет велосипед на траву и тоже хватается за бревно...

Во дворе весело звучит:

— Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!

Поддался. Коля Смурный подставляет в щель палку...

Теперь пила свободно пилит комель. А за ее ручки держатся Мороз и Ткачук. Обоим волосы лезут в глаза. Оба разгоряченные, потные, довольные.

Чуть поодаль стоят ребята. Те, кому уже нечего делать.

Пять пар глаз придирчиво наблюдают за работой старших. Тихо переговариваются:

— Этот... из города... раньше сдаст.

— А если Алесь Иванович?..

— Не-е.

— У нашего-то... нога.

— Не-е.

— Дерево толстое. Сто лет пилить.

— Не-е.

Взрослые уже несколько раз взглядывали на стоящих и, кажется, поняли ответственный момент. Спины не распрямляют. Пилят. Мороз, тихо Ткачуку:

— Не боитесь потерять начальственный авторитет? Что дети скажут?

Ткачук, обливаясь потом, так же тихо:

— Не боюсь!.. Авторитет заработать надо... И дрова в школе будут!.. А то я ехал и думал: сейчас о дровах разговор пойдет... А тут такое дело. И поработать не грех... — искоса посмотрел на оставшееся нераспиленное дерево. Потом на Мороза. Хитро и несчастно: — Учебники просить будешь?

— Буду!

— Зря! Не проси. Нету.

— Так чего же вы меня спрашиваете?

— *А* вдруг у тебя лишние есть?! Поделишься.

Мороз заразительно смеется, принимая шутку Ткачука:

— По одному учебнику на класс. И то из Минска привез.

Глазами поведя в сторону ребят, Ткачук тихо говорит Морозу:

— Смотри, как выстроились, черти. Ф-ф-у! И не бросишь. Засмеют...

Мороз: — А мы вместе... Ну! Раз! Два! Три!

Они одновременно выпрямляют спины. Ребята разочарованно отступают. Мороз и Ткачук перемигиваются.

Толик, как бы подводя черту под спором ребят, произносит свое сакраментальное:

— Не-е...

— А что, живешь ты по-барски, — говорит Ткачук, входя в маленькую комнатку-боковушку Мороза, который живет здесь же при школе. — Ты смотри, даже кушетка панская.

Кушетка действительно роскошная в стиле барокко с выгнутыми, наподобие львиных лап, ножками. Мороз усмехается.

— Неплохо, неплохо живешь, — продолжает Ткачук, явно с каким-то подтекстом.

— Ну, а чего ж. Не жалуюсь...

— Ты не жалуешься, это — хорошо. Люди жалуются — это плохо. На тебя жалуются.

— Как?.. — Мороз несколько обескуражен.

— Да вот так вот. Жалоба на тебя поступила в письменном виде.

— От кого?.. — хотел спросить Мороз и осекся, считая не нужным спрашивать, кто же жалуется. — Ну, что ж, жалоба, так жалоба. Жалобу надо разбирать.

— Учишь плохо. Без строгости. Не поддерживаешь дисциплины. Как равный ведешь себя с учениками. — Голос Ткачука сделался жестким. — Не придерживаешься учебных программ...

— А, понял, от кого жалоба. От моей коллеги Подгайской.

— Теперь уже все равно. Ты сам как считаешь? Учишь-то как советских детей? По нашим программам? Или по какой-нибудь, может, своей программе? Личной?

— Ну зачем же личной? Стараюсь по нашим, — говорит Мороз, иронически усмехнувшись.

— Программа есть программа. Ее надо выполнять.

— Надо. Только как? Когда они учились в польской школе. Когда они своего родного языка толком не знают. Родного языка! Как же их сразу учить по нашим программам. По которым ребята учатся, зная намного больше их с самого начала.

Да... Конечно, не все в порядке. Конечно, успеваемость не блестящая. Но вовсе не это главное!

Главное, чтоб ребята поняли, что они люди, не быдло, не какие-нибудь там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане. Как все: и они, и их учителя, и их родители, и все руководители в районе — все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общечеловеческой культуры.

А ведь по программе всего этого не пройдешь. Программа-то рассчитана на десять лет, а им это надо объяснить сегодня. Сейчас! Ну и как быть? Вот я и считаю, что это первейшая моя педагогическая обязанность. И я совершенно не собираюсь из них делать послушных зубрил. И не собираюсь из них делать образцовых отличников. Прежде всего из них нужно сделать людей.

— Слушай, а ты не считаешь, что это легче сказать?

— Считаю, что легко сказать... Труднее — понять. Ну, а еще труднее добиться. Ведь это в программах и методиках не очень-то разработано. И, к сожалению, часы на это не предусмотрены.

— Послушать тебя, так будто бы и верно все. Ну, а как же с программами? Значит, будешь числиться в отстающих? — говорит Ткачук, стоя у окна и глядя на школьный двор, уже прибранный и чистый, но с недостающим деревом, отчего нарушилась симметрия посадки.

— Ну, буду числиться в отстающих. Ну, год побуду в отстающих, ну, два побуду в отстающих, ну... три. Но жить-то нам еще и жить. Жить-то нам не два и не три, а двадцать, тридцать лет. Так вот те остальные годы и будут отличными, если эти первые не пропущу.

Мороз вытаскивает из печки казанок с дымящейся картошкой. Ставит на стол.

— Давайте бульбы поедим. Горяченькой. И грибочков. А водочки нету... Не взыщите. Да бросьте, все образуется.

Ткачук, не подходя к столу и оставаясь у окна:

— Ну, а если не образуется? Или вы так уверены в своей правоте? — Ткачук вдруг перешел на «вы», явно не желая сдавать позиции. — Вам ведь не сорок и не пятьдесят и опыта учительского за плечами сколько? Шесть, семь лет?

— Пять, — вставляет Мороз.

Ткачук, не останавливаясь:

— В других школах вот учат по программам и выходят с передовыми показателями. А если так рассуждать, как вы, так, значит, можно все отдать на самотек, на интуицию каждого учителя? Государство не может отдавать души и умы будущих граждан на откуп интуиции отдельных учителей. Да еще надеяться на то, что все образуется через три-пять лет.

— Ну, конечно: чем меньше надежд, тем меньше разочарований, — говорит Мороз. — Не надо надеяться — не будет разочарований.

— Как-то не хочется сейчас шутить.

— Что ж, тогда снимайте! Снимайте, пока не очень привык к ребятам.

— Не буду!.. Людей нету.

— Автобус, — говорит Ткачук, поворачиваясь на ходу.

Они с Зыковым останавливаются. Шоссе пустынно, и только вдали появился большой серый автобус. Он исчезает в ложбинке и снова появляется из-за пригорка уже намного ближе.

Солнце садится. Везде длинные тени. От человеческих фигур тени ложатся, как бревна.

— Сейчас проголосуем, — говорит Зыков.

Автобус тем временем замедляет ход и останавливается метрах в трехстах, чуть съехав на обочину. Зыков и Ткачук бросаются к автобусу. Ткачук отстает, а Зыков, крикнув: «Я задержу!» — мчится по шоссе к машине.

Из нее выходит водитель, оставив дверцу открытой. Обходит сзади, стучит ногой по покрышке. Зыков уже совсем рядом. Но тут хлопает дверца и автобус, взревев, срывается с места. Зыков останавливается и отчаянно машет рукой: дескать, стой же, возьми! Автобус чуть притормаживает. Зыков бросается к нему чуть ли не под самые колеса, но на ходу приоткрывается дверца кабины и из нее вылетает бодрое:

— Нету, нету остановки. Чеши дальше!..

Комфортабельный междугородний «Икарус», обдав дымом и пылью, уезжает.

— Чтоб ты провалился, гад! — вырывается из тяжело дышащей глотки Зыкова.

— Не взял? — говорит подходящий Ткачук. — И не возьмет. Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтоб на бутылку сшибить. А теперь нельзя — контроль, ну и жмет. Назло себе и другим.

— Говорит, остановки нет.

— Но ведь останавливался. И ведь наверняка со средним образованием. И кто его, дурака, учил? Я уж в таких случаях предпочитаю помалкивать: себе дешевле обойдется.

— Да, не надо надеяться — не будет разочарования, — говорит Зыков саркастически.

Ткачук серьезно взглядывает Зыкову в глаза. Как будто соображая о мере упрека ему в этой знакомо прозвучавшей реплике.

— Черт с ним, с автобусом, не расстраивайся, — примирительно говорит Ткачук. — Пойдем.

Зыков послушно следует за ним.

— Ведь этот вот, — он кивает в сторону умчавшегося автобуса, — и математику учил, и физику, и историю, и еще много чего, и сейчас наверняка считает, что найдись у него поболе свободного времени, так он и стихи писал бы, как Лермонтов или Рождественский, и прозу — как Толстой. А вот в свободное время он про это как-то не вспоминает. Другим занят. Всему его учили, а вот добру не выучили. Чуткости к ближнему. Участия в чужой беде. Брак... Наш брак, учительский.

Ткачук быстро идет по коридору районного госучреждения, где в одном доме обычно сосуществуют и райисполком, и райком партии, и прокурор, и районо, и много еще всяких «рай»...

Уже подходя к двери с надписью «Прокурор», Ткачук настораживается, из-за двери несется раздраженный мужской голос. Громкий и требовательный.

Ткачук просовывает голову в дверь — за столом сидит хитро молчащий прокурор Сивак, а перед ним стоит очень большой мужик в кожухе и, размахивая огромными ручищами, гремит:

— Эдак с пеленок дети начнут плевать на родителей. У кого мне просить защиты, как не у вас! Вы — народная Советская власть. А он мой законный сын. Имею я на него права?

Ткачук втискивает себя в дверь и, прикрыв ее, тут же останавливается, соображая, что к чему.

— Твой Мороз из Сельца самоуправством занимается, — говорит прокурор Ткачуку без всяких вступлений. — Переступает советские законы. Прячет в своем доме малолетнего сына вот этого гражданина Миклашевича без всяких на это законных оснований. Что будешь делать?

Ткачук, озабоченно разглядывая мужика в кожухе, спрашивает:

— Как это случилось? В чем дело?

— Это вы у него спросите. У учителя этого.

— А вы не били его? Не наказывали часом? — осторожно продолжает спрашивать Ткачук, поведя глазами на могучие ручищи Миклашевича.

Большое лицо Миклашевича делается детски удивленным.

— Ну, а если и ударил когда, так что? Мой сын? Мой. Дай ему волю... И так вон мать признавать не хочет. Матерью не называет.

Ткачук совсем сбит с толку.

— Это почему? Почему он мать «матерью» называть не хочет?

Прокурор: — Не родная она ему, вот в чем дело. Родная умерла, оказывается.

— А-а... — понимающе произносит Ткачук.

Но прокурор явно не хочет, чтобы новая тема вплелась в их разговор.

— Ты вот что, Ткачук. Собирайся и езжай с участковым милиционером в Сельцо. Забери у гражданина Мороза сына этого вот гражданина Миклашевича. И передай ему лично. Все!

— Я думаю, что в этом надо разобраться, товарищ Сивак. Я знаю Мороза и думаю...

Но что он думает, Ткачук сказать не успевает.

— В этом разобраться может только суд! — резко говорит прокурор Сивак. — Закон на стороне законного отца! — Сивак делает многозначительную паузу. — Если каждый позволит себе самовольничать, то знаешь, что будет, Ткачук? Анархия. Мы обязаны соблюдать закон! Для этого и поставлены.

— Ну, что ж, закон есть закон, — говорит мрачно Ткачук и выходит.

У подъезда присутственного дома Ткачук, участковый и старший Миклашевич садятся в милицейский возок и уезжают.

Сельцовская школа. Дом с дымящейся трубой. Заиндевевшие деревья в аллее. Тихий снег падает неестественно декоративно. Окна дома. И, заглянув в окна, увидим ребят, занятых не про-

граммным обучением, а чем-то совсем другим. Художественной самодеятельностью. Художественная самодеятельность для этих детей — непривычное дело, и Мороз, пытаясь разрушить ложное стеснение, лезет из кожи. Он выступает в «Павлинке» во всех ролях, чем приводит детей сначала в сконфуженное недоумение, а потом вызывает у них открытый восторг и смех.

На этом смехе и появляется тройка из района.

Вначале ее никто не замечает. Все заняты представлением. Дети смеются. Увлеченный происходящим, засмеялся милиционер. Чужой мужской смех все останавливает. Все поворачиваются к двери и видят приехавших.

Павлик при виде отца съеживается и прячется за Мороза, а потом за Бородича Колю.

Мороз идет к приехавшим. Ткачук за дверью объясняет ситуацию:

— Извини, Алесь Иванович, но у тебя проживает сын вот этого гражданина Миклашевича. Это противозаконно. Какникак, надо вернуть парнишку. Прокурор постановил. На стороне гражданина Миклашевича закон. Никуда не денешься.

Милиционер кивает утвердительно своей длинной маленькой головой. Сам Миклашевич-старший в довольном молчании. Мороз открывает дверь в класс:

— Павлик, иди сюда.

Мальчик, съежившись, как зверек, выходит к взрослым. Ему страшно видеть рядом отца.

— Так вот, Павлик, поедешь домой. Так надо, — говорит Мороз, глядя поверх головы мальчика.

Павлик очень тихо:

— Не поеду. Я у вас хочу жить.

— Нельзя у меня, Павлик. По закону сын должен жить с отцом.

— Чтобы он снова дрался?

— Ты будешь жить с отцом и с матерью. Так велел прокурор.

— У меня нет матери.

На глазах Павлика слезы. Крупные и горькие.

— Я у вас хочу жить.

— Ничего не поделаешь, Павлик. Нельзя у меня. Вот если бы у тебя не было дома, если бы не было отца... это другое дело. А драться он больше не будет, — говорит Мороз и вопросительно и требовательно смотрит на старшего Миклашевича.

— Там видать будет. Как аукнется, так и откликнется, — внушительно говорит тот, глядя на сына. — А то распустился.

— Давай, Паша, одевайся. Он тебя больше не тронет, — говорит Ткачук.

Паша безнадежно взглядывает на Мороза, который прячет глаза.

Еще горше заплакав, Павлик идет в комнату Мороза. Все молчат. Выходит с сумкой и накинутом пальтишке. Отец крепко берет его за руку.

— Вы должны выполнить свое обещание, — говорит Ткачук в спину Миклашевичу-старшему.

По аллее, ведущей от школы, идут отец и сын. Отец крепко держит за руку сына. А на веранде стоят Ткачук, милиционер и Мороз.

Плохо Морозу. Детвора высыпала во двор и не смотрит на учителя. А отец с сыном уже довольно далеко отошли от школы и тут останавливаются. Отец тормошит за руку сына, который начинает вырываться. Но тщетно, отец одной рукой держа сына, другой снимает с кожуха ремень и начинает бить мальчика. Доносится плач Павлика. Детвора начинает громко роптать. Все поворачиваются в сторону взрослых.

— Алесь Иванович!

Две девочки-близнецы начинают плакать. Лена, глядя на экзекуцию, с каждым ударом вздрагивает, как будто ее бьет этот страшный ремень.

— Алесь Иванович, ему больно.

— Ух, ты! Как он его пряжкой...

— Да убегай же, Пашка! — сквозь зубы говорит Коля Бородач. Сказал и грустно с упреком посмотрел на Мороза. А тот все смотрит на отца и сына, будто ожидая чего-то. Может быть, он ждет вмешательства милиционера, который стоит, переминаясь с ноги на ногу и не двигается с места?

Ткачук же отвел глаза в сторону на спокойно стоящую лошадь с бричкой. Лошадь помахивает хвостом.

Отец продолжает колотить сына у всех на глазах, что-то резко приговаривая.

И Мороз срывается с веранды!

Хромая, он бежит по аллее.

— Стойте, черт возьми! Стойте! — кричит он. — Сейчас же! Прекратите избиение!

Миклашевич перестает бить сына, поворачивается к подбежавшему Морозу. Сопит, зверем смотрит на учителя. А тот быстро подходит, вырывает руку Павлика из отцовской и говорит прерывающимся от волнения голосом:

— Вы у меня его больше не получите. Понятно?!

— Не лезь не в свое дело! — весь наливаясь, рычит Миклашевич. — Мой сын, что хочу, то и делаю. Иди-ка отсюда, пока вторую ногу не сломал!

— Замолчи, татка! — вдруг кричит Паша. — Замолчи!

— Подожди, Паша! — говорит Мороз. — Вы не смеете избивать мальчика! Я не позволю!

Встали друг против друга, глаза в глаза. А силы-то совсем не равные. К тому же в яростно сжатом кулаке Миклашевича ремень. Но тут подбегают Ткачук и милиционер.

— Но, но, но! — кричит милиционер, явно обращаясь к Миклашевичу.

Наконец-то мы слышим его голос.

— Но! — говорит он, уже стоя рядом с Миклашевичем и закрывая от него Мороза.

В этот момент Павлик вырывает свою руку из Морозовой и бежит в сторону школы. Взрослые поворачиваются ему вслед. Мальчик пробегает мимо детворы и, вбежав в дверь школы, захлопывает ее за собой.

— Тьфу! — в сердцах сплевывает Миклашевич. — Порядки. Своего дитя не смей трогать. Ладно! Я в суд подам! Я на вас в суд подам, я вас засужу!

— Можете подавать куда угодно! Но сына вы больше не получите. Вы плохой человек, Миклашевич! Вы злой человек! Это же ребенок, ваш сын! Эх, вы! — с глубокой горечью говорит Мороз и, резко повернувшись, уходит по аллее в сторону школы.

Миклашевич, скрипнув зубами и отчаянно что-то промычав, идет в противоположную сторону, бессмысленно запихивая ремень в карман своего красного кожуха.

Ткачук с милиционером переглядываются.

— Да! — говорит милиционер глубокомысленно.

— Да-а... — машинально повторяет за ним Ткачук.

Мороз, подойдя к ребятам, все еще стоящим у веранды школы, оглядывает всех и говорит очень собранным спокойным голосом:

— Идите, ребята, домой!

Те, благодарно глядя на Мороза, топчутся на месте.

— Идите домой! — повторяет Мороз, произнеся последнее слово с каким-то глубоким грустным значением, чуть растянув это слово, как бы прислушиваясь к его звучанию.

Ткачук и милиционер садятся в милицейский возок и уезжают со школьного двора. Приехали трое, уехали двое.

Мороз входит в комнату. Павлика нет. Тогда Мороз тихо открывает дверь в класс. Прижавшись к стене спиной, Павлик

стоит, не отрывая взгляда от двери. Мороз входит в класс и прикрывает за собой дверь. Так и стоят они друг против друга.

Гулко разносятся шаги, в напоенном ароматом полей, неподвижном вечернем воздухе. Солнце уже коснулось верхушек дальнего леса.

Задумавшись, тяжело идет Ткачук. Зыков достает пачку сигарет, протягивает Ткачуку. Тот молча берет сигарету. Останавливается. Зыков чиркает зажигалкой. Закуривают. Синий дымок плывет над их головами.

Ткачук:

— Да... Плохо мы знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Что такое сельское учительство в наших школах, что оно значило для нашего, некогда темного, крестьянского края? Особенно тогда, в первые годы. Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет, — скажет: врачом, летчиком, а то и космонавтом.

А прежде? Если рос, бывало, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили в деревне? Вырастет — учителем будет. И это было высшей похвалой.

Да... Ну, о Морозе. Как я тебе уже говорил, здесь школы создавались заново, почти всего не хватало. А Мороз узнал, что в Княжеве, это километрах в трех от райцентра, в брошенной панской усадьбе осталась библиотека. Я сам там был как-то, поглядел — казалось, ничего подходящего. Все на польском да на французском. Мороз же выпросил разрешение съездить туда. И знаешь, ему повезло. Где-то, на чердаке, откопал сундук с русскими книгами и среди всего не слишком стоящего — разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира Божьего», «Огонька» — оказалось полное собрание сочинений Толстого.

Книги в добротных сафьяновых переплетах, с потускневшим золотым тиснением: «Полное собрание сочинений графа Л. Н. Толстого», аккуратно уложены на овчине на дне фурманки.

Фурманка стоит у въезда на разрушенный мост, через небольшую речушку, покрытую темным, уже по-весеннему ноздреватым льдом. В наступающих сумерках на противоположном берегу смутно сереет панское именье.

Две человеческие фигурки, нагруженные связками книг, идут по льду через реку. Первый идет подросток, это Коля

Бородич. Он ловко взбирается по обрывистому бережку и осторожно кладет на дно фурманки принесенные книги.

Мороз отстал. Перед подъемом останавливается. Сам обрывчик-то небольшой, всего в рост человека, но тропинка обледенела и Морозу с его больной ногой подниматься трудно. Он осматривается и делает шаг в сторону, туда, где обрывчик круче поднимается от реки.

— Коля! — зовет он. — Возьми книги.

Бородич подбегает к обрыву и протягивает руки. Мороз с напряжением поднимает тяжелую пачку. Раздается треск, и весенний лед, не выдержав, ломается. Мороз ухает в воду.

— Алесь Иванович! — вопит Колька и бросается грудью на край обрыва, протягивая руки Морозу. — Бросайте книги! Руку, руку давайте.

— Спокойно, Коля, — говорит Мороз обычным голосом.

Он проваливается неглубоко, чуть повыше колен и двумя руками держит над головой книги.

— Возьми книги. Осторожней.

В новом кожушке, закрыв ноги овчиной и прячась в воротник от злой поземки, трясется на санях Ткачук.

— Здорово, дядька! — приветствует он встречного мужика, попридержав лошадь. — Как там школа-то у вас? Учит?

— И вам здравия желаю! — отвечает не торопясь мужичок. — А школа — что? Болеет Алесь Иванович, говорят, воспаление.

Решительно открывает школьную дверь Ткачук и останавливается — на вешалке полно одежды. Довольно крякнув, он уже осторожно открывает дверь класса, заглядывает и, широко распахнув ее, входит в класс.

Класс пуст. Ткачук изумленно оглядывается, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу, и замирает. Прислушивается: как будто разговор где-то, тихий, складный, словно молитва.

Стараясь не шуметь, Ткачук на цыпочках идет по длинному темному коридору, идет на голос. И чем он дальше идет, тем отчетливей голос, уже можно различить слова — это монолог князя Андрея под Аустерлицем:

«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел ныне... И страдания этого я не знал также... Да, я ничего этого не знал до сих пор и увидел ныне...»

Осторожно Ткачук открывает дверь в боковушку.

В глубоком кресле, в луче света, падающего из окна, сидит бледный Мороз и читает. Вся комнатушка погружена в полу-

мрак, так как окно занавешено каким-то старым лоскутным одеялом, чтобы не дуло, и только небольшая часть открыта для света. Все так неожиданно, что Ткачук замирает, так и не войдя в комнату. Только теперь он замечает в полумраке блестящие глаза и напряженные, взволнованные лица ребят, внимательно следящие за повествованием, и такая тишина стоит в комнате, что кажется, будто Мороз один. Никто не заметил появления Ткачука. Постояв, он осторожно закрывает дверь.

Ткачук и Зыков на шоссе. Ткачук, останавливаясь:

— Фу, устал. Давай постоим. Ноги совсем не те. А сколько по ней перехожено и мной, и Морозом. Ведь он каждую свободную минуту из школы то в район, то в Гродно по школьным или общественным делам. Вот по этой самой... И не за деньги, не по обязанности — просто так. По призванию сельского учителя.

Вокруг уже наступили сумерки. Только на горизонте горит яркая полоса от зашедшего солнца.

Навстречу Ткачуку и Зыкову идет человек с палочкой. Он проходит мимо них по другой стороне шоссе, и Ткачук останавливается как вкопанный. Наваждение? Это... Мороз? Зыков тоже почувствовал что-то необычное. Так они стоят и смотрят вслед уходящему хромающему человеку. Ткачук зябко оглядывается. Смотрит в небо.

Тихое ясное утро. Над селом звучит гул. Любопытно.

Открылись двери в чьей-то хате. Чье-то окно. Одно, второе, третье. А гул все громче и страшнее.

Люди: сонные дети, мужики. Бабы из коровников высунулись. Кто-то с ведром, кто-то с охапкой сена. И все смотрят в небо с нежными розовыми облачками.

Под облачками кресты черных самолетов. Их очень много: сотня, две, три. Они перекрывают облачка. Гул их становится невыносим. Они летят на восток неторопливо, уверенно.

Своей уверенностью гул подавляет смотрящих в небо людей.

Где-то заплакал ребенок. Один, второй, третий.

Глаза людей тревожны, вопросительны.

Еще ниже и облаков, и самолетов мечутся вороны. Масса ворон с паническим пронзительным криком.

Этот крик перекрывает детский плач... Безнадежно-жуткий.

Ткачук и прокурор с двумя учителями идут по лесу, уставшие и изможденные. Один ранен в живот. Его тащат под руки. Тихо переговариваются:

— Черт его знает, где фронт. Не догонишь, наверное. Так и сдохнем в этом лесу.

— А если вправду Минск уже под немцем?..

— Не дойдем до фронта. Всех укокошат.

— А где оставаться?.. У чужих? Укокошат или...

Ткачук останавливается:

— Возвращаться надо. В своем районе хоть люди знакомые. Много хороших, помогут.

Прокурор:

— Может, и верно. Пересидим две-три недели, пока наши немцев погонят. Что хлопцы?

Раненый стонет, тихо:

— Попить бы, хлопцы. Полежать бы...

Ткачук, оглядываясь, присматриваясь:

— Тут хутор есть — Старый Двор. Пошли туда.

Двинулись.

Ткачук приговаривает, нервно осматриваясь и идя впереди: — Есть у меня тут знакомец, активист, грамотный человек. Усолец, Василием звать. Как-то ночевал у него после собрания. Умный, хозяйственный. Жена гостеприимная, чистюля. Грибками солеными угощала. Все подоконники в цветочках... Помогут. Покормят. Пригреют.

Ночь. Подходят к двери. Стучат. Дверь открывается. С лампой в руке стоит тридцатилетний мужик. Узнал.

Ткачук: — Здорово, Василь. Помогай в беде. Вот, ранило человека. Учителя. Да и нам где-нибудь передохнуть. Напои водичкой... — Оборачивается к хлопцам. — Входите, хлопцы.

Но Усолец не двигается. Смотрит презрительно на Ткачука:

— Куда входить? Входите! Кончилась ваша власть, чтоб командовать! — И захлопывает дверь перед носом Ткачука, да так, что с подстрешья сыплется.

Шоссе сегодняшнее. Мрачный и задумчивый идет Ткачук.

— Да, война есть война. Все перемешивает, да так, что и в голову великого сказочника не может прийти. И не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Раненый умер. Второпях закопали. Две недели промаялись, пока не напали на группу окруженцев, которыми командовал майор, решительный мужик, кавалерист. Устроились в лесу на Волчьих ямах. А война не кончается. И поняли, наконец, что война не на несколько месяцев, и что без местных связей нам не обойтись.

Вот и послали меня с прокурором Сиваком в наш бывший район. Риску тут, конечно, было немало. Все-таки многие нас помнили. Но зато и мы лучше ориентировались и многое зна-

ли. Поначалу решали зайти в Сельцо, к прокурорскому знакомому. Но для предосторожности заглянули на хутор к бедной вдове, узнать о прокурорском знакомом...

Хата на хуторе у Сельца. Ткачук и прокурор Сивак сидят у открытой печной дверцы и сушат портянки. Вокруг них две девушки и две женщины — хозяйки дома.

Сорокалетняя: — Ни, ни, ни, к нему не ходите! Он повязку белую надел. — Она все это достаточно ловко комментирует, схватив белую косынку и приставив ее к руке, показывает, как тот ходит орангутангом. — Полицаем стал, да как зверюга бросается на людей: все отдавай, только бы ему хорошо было! Сволочь, тьфу! — Она сплевывает и отбрасывает белую косынку на кровать.

Прокурор прячет глаза от Ткачука. Стыдно ему за своего знакомого. Кряхтит:

— Гад! Мерзавец! Ну ладно, еще попадется, расквитаемся.

Ткачук: — Ну, а про учителя Мороза ничего не слышно? Куда делся? Что с ним?

Двадцатилетняя невестка хозяйки поджала губы:

— А куда ему деться? Мороз все в школе работает.

Ткачук: — Как работает?

Невестка: — Как? Детей учит. Уж месяц как собрал и учит. Немцы разрешение дали, чтоб открыть школу. Хату отвели в селе. Учит.

Прокурор, зыркнув на Ткачука:

— Вот так-так. Да-а. Давно надо было репрессировать этого Мороза. Сразу было видно — не наш человек. Сколько с ним хлебали. Все наша мягкотелость. Да-а. Наладили, называется, связи. Подготовили кадры за два предвоенных года, один — полицай, другой — немецкий прихвостень. Учитель!.. — Прокурор сейчас ненавидел их лютой ненавистью.

А Ткачук сидит, опустив голову, и молча глядит в огонь. Потом говорит в раздумье:

— Вот что, Сивак. Схожу-ка я к Морозу. Что-то не понимаю я... Ну, а если продаст, так я его гранатой взорву. — Ткачук вытаскивает руку из глубокого кармана армяка. В кулаке крепко зажата граната-лимонка.

Женщины шарахаются в сторону, крестятся.

— Брось затею, — мрачно говорит Сивак. — Все это бесполезно, только на беду нарвешься.

— Не могу. Кому же верить тогда? Ведь друзьями как будто были.

— Волк свинье не товарищ, — бубнит Сивак.

Но Ткачук, уже сунув гранату в карман, спрашивает у хозяйки, которая все еще опасливо косится на карман Ткачука:

— Где учителева хата?

— Да просто. По улице, третья хата от колодца, крыльцо со двора. У бабки-бобылки живет. А через улицу напротив — школа.

— Мальчонка этот, как его? С ним живет?

— Павлик-то? Нет, его отец забрал. У отца он.

Прокурор наматывает портянку на ногу:

— Ладно, и я с тобой. Подстрахую в случае чего. Гад! — это уж в адрес Мороза.

Ночь. Моросит ноябрьский дождь. Ветер бросает его резко и порывисто. Спрятавшись у гумна, Ткачук и Сивак смотрят на хату, что стоит в метрах тридцати, выделяясь на фоне темного неба черным верблюжьим горбом.

Ткачук: — Я пойду один. Будешь ждать... час.

Сивак: — Много.

Ткачук: — Думаю, управлюсь за час. Не приду, значит... плохо.

Сивак: — Ясно. Соображу.

Ткачук уходит в темноту.

Идет вдоль изгороди наощупь. Калитка. Остановился. Потянул калитку на себя. От себя. Не открывается. Закручена проволокой. Крепко. Безнадежно. Осматривает изгородь. Высоковата. Жерди мокрые и скользкие. Забрасывает ногу на изгородь, но скользит другая нога, и Ткачук грудью обрушивается на жердь. Та ломается с громким хрустом, и Ткачук переваливается через забор, утыкаясь носом в грязь.

В этот момент оглушительно тявкает собака и уже, не переставая, начинает лаять.

Ткачук замирает, боясь пошевелиться.

Скрипит дверь хаты и кто-то выходит на крыльцо. Прислушивается. Потом вполголоса:

— Кто тут?.. Гулька, пошла! Пошла! Гулька! — Голос Мороза, а собачонка явно та, что когда-то уже пыталась схватить Ткачука за штанину при первом знакомстве.

Ткачук молчит. Лежит. Собачонка лает. Тогда Мороз сходит с крыльца и идет к забору.

Ткачук слышит, как чавкает грязь под его ногами. Медленно поднимается. Мороз останавливается.

Ткачук: — Алесь Иванович, это я. Твой бывший заведующий.

Оба молчат. Собака, рыча, топчется у ног Мороза.
Мороз, поворачиваясь к хате, Ткачуку:
— Тут левей держите, а то корыто лежит. Тихо, Гулька!
Оба идут к хате. Входят в дом.

В комнате на столе горит коптилка, окно занавешено, на табуретке — раскрытая книга. Мороз убирает книгу, придвигает табуретку к печке, приглашая Ткачука:
— Садитесь. Пальто снимите, пусть сохнет.
Ткачук, плотно держа правую руку в кармане:
— Ничего. Пальто еще высохнет.
Мороз: — Есть хотите? Картошка найдется.
Ткачук: — Не голодный. Ел уже. — Старается говорить спокойно, а сам прислушивается ко всему вокруг.
Но голос Мороза тоже спокоен, да и замешательства никакого. Только озабоченность. Не брит. Пробивается русая бородка. Оба продолжают стоять. Тогда Ткачук ставит табуретку к самой печке и садится, не снимая армяка, почти прислонясь спиной к стенке печки.
Ткачук: — Как живем?
Мороз: — Известно как. Плохо. — Теперь и Мороз присаживается на лавку.
Ткачук: — А что такое?
Мороз: — Все то же. Война.
Ткачук: — Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?
Мороз, кисло усмехнувшись и уставившись на коптилку:
— Надо учить.
Ткачук: — И по каким программам, интересно? По советским или по немецким?
Мороз: — Ах, вот вы о чем!
Усмехнулся очень грустно, потом, зло взглянув на Ткачука, резко говорит:
— Мне когда-то казалось, что вы умный человек.
Ткачук: — Возможно, и был умным.
Мороз: — Так не задавайте глупых вопросов.
Встает с лавки и начинает расхаживать по хате. Ткачук же не выпускает его из вида ни на мгновение, сквозь зубы:
— Зачем добровольно работаешь под немецкой властью?
Мороз: — Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы — будут оболванивать они. Немцы не дремлют. Свою отраву в миллионах листовок сеют

по городам и селам. Складно пишут, так заманчиво врут. Даже свою партию назвали — национал-социалистская рабочая партия. И будто эта партия борется за интересы германской нации против капиталистов, плутократов, евреев и большевистских комиссаров. Люди постарше понимают такие подлые хитрости, всякого насмотрелись в жизни, а молодые? Нет! Я не для того два года очеловечивал этих ребят, чтоб их теперь расчеловечили. Я за моих ребят еще поборюсь. Сколько смогу, разумеется.

— Теперь все хватаются за оружие, — продолжает говорить Мороз, но уже сидя за столом.

За этим же столом сидят Ткачук и прокурор Сивак. Они раздеты. Их верхняя одежда сушится у печки.

Старушка ставит на стол мутную бутылку, картошку в мундирах, миску с солеными огурцами и кусочек сала. А Мороз говорит:

— Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно: мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому — чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней, да и применить его можно вполне безнаказанно, вот и находятся такие, что идут в полицию. Думаете, все понимают, что это значит? Далеко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить? Им бы только получать винтовку. Вон в районе уже набирают полицию. И из Сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.

Разлив мутной самогонки, все трое, опустив головы, смотрят в свои стаканы. Потом тихо и хрипло Ткачук говорит:

— Все равно — за победу!.. — и мрачно осушает стакан.

Мороз и прокурор молча выпивают. Жуют картошку и огурцы.

Ткачук нарушает молчание, глядя в глаза Морозу:

— Алесь, а может, бросай всю эту шарманку да айда с нами в лес. Партизанить будем.

Мороз насупился, потом болезненно сморщил лицо. Сивак качает головой:

— Нет, не стоит. Да и какой из него, хромого, партизан! Он здесь нам будет нужнее.

Мороз: — Сейчас, наверное, я тут больше к месту. Все меня знают, помогают. Вот уж когда нельзя будет...

Ткачук: — Ладно. Может, так-то и лучше. А ну, покажи радиоприемник.

Мороз: — Может, в другой раз? Пока из сарая вытащу, пока настрою. Уже полночь. А Москва до двенадцати передает.

Прокурор: — Только ты нам каждые вторник и пятницу сводки Информбюро присылай. Прямо в дуплянку на сосне, что у сторожки. Пацаны у тебя верные есть?

— Думаю, что найдутся.

— Вот через них и передавай. Все незаметнее. Ну, оглоблевую, — говорит прокурор и допивает мутную бабкину жидкость.

Утро. Школьная хата. Два длинных стола, стоящие параллельно друг другу. По обеим сторонам столов лавки, на которых сидят ребята. Их двадцать. Они разных возрастов: от десяти до пятнадцати лет. Больше мальчиков.

Входит Мороз. Сразу от порога:

— Смурный Андрей. Что было задано?

Андрей резво поднимается и:

— Было задано... Было задано... А у нас что сейчас — литература или география?

Класс хихикает. Мороз, как бы не замечая этого:

— Литература, Андрей.

— А-а-а... — тянет Андрей, явно не зная урока.

Мороз: — Остап, помоги Андрею.

Остап встает и мнется. Класс замолкает. Ситуация становится любопытной.

Мороз: — Ну что, и ты не знаешь?

Остап выдавливает:

— Знаю. Я не хочу подсказывать.

Мороз, помедлив:

— А ты и не подсказывай. Ты помоги.

Остап, глядя на учителя:

— Стихотворение Некрасова... Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденья, за любовь...

Мороз перебивает:

— Подожди, Остап. Ты не мне помоги. Ему. Посмотри на него.

Остап, не очень довольный замечанием учителя, все же поворачивается к Андрею. Теперь говорит ему:

— Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденье, за любовь, иди и гибни безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь...

Слышатся тяжелые шаги нескольких пар ног. Они у входа в хату. Остап замолкает. Мороз поворачивается к двери, которая тут же распахивается.

Входят трое. Один, в немецкой форме, остается у входа, двое в гражданской одежде, но в серых галифе и сапогах.

Идут к Морозу. На рукавах белые повязки полицаев. Мороз и дети замирают. Ждут. Полицаи останавливаются по бокам от Мороза. Внимательно оглядывают ребят. Мороз же, чуть поведя глазами на полицаев, нарушает нависшую тишину:

— Теперь продолжит читать стихотворение великого немецкого писателя и поэта Иоганна-Вольфганга Гете... по-немецки... Паша Миклашевич...

— Все сумки на стол, перед собой! — перебивает Мороза полицай Каин.

Ребята зашевелились. Вытаскивают сумки и кладут перед собой. Каин и второй полицай Владимир Лавченя идут вдоль обоих столов, вытряхивая из сумок все содержимое. Но сумки тощи и содержимое в них бедно. Книжек мало, но каждую книжку полицаи встряхивают, явно что-то ища.

Паша Миклашевич все еще стоит. Через полицаев смотрит на учителя, потом на немецкого офицера, который сел у доски на единственную табуретку Мороза. Паша громко, по-немецки.

Полицаи в первый момент вздрагивают от немецкой речи. Поняв, в чем дело, Каин рявкает:

— Отставить!

Мороз хладнокровно:

— Он отвечает заданный урок.

Немецкий офицер, приподняв бровь, смотрит на Пашу, на Мороза. Благосклонно усмехается:

— Говори... говори... — произносит он с сильным акцентом, обращаясь к Паше.

Паша продолжает.

Полицаи, помявшись, начинают вытряхивать следующие сумки. Так, под стихи Гете, продолжается обыск. Каин сзади Бородича. Взгляд его падает на сидящую напротив Коли пятнадцатилетнюю Марусю. Смотрит на грудь ее, уже достаточно оформившуюся, на милое личико. В глазах Маруси только испуг. Еле заметно содрогнулась. Это перехватывает Коля. Напрягается. Теперь Каин видит, что перед Колей на столе пусто. Каин берет его за шиворот и тянет вверх, шипя:

— Тебе особое приглашение? Сумку на стол!

Коля уже стоит. Одного роста с Каином. Отводит в сторону ненавидящие глаза. Тихо говорит:

— Я без сумки.

Каин, глядя Бородичу в глаза, быстрыми движениями рук обхлопывает парня по карманам. На левом кармане его рука замирает и ловко выхватывает несколько листков.

— Вот они! — вырывается у него.

Паша Миклашевич замолкает. Все поворачивают головы к Бородичу и Каину. Но Коля невозмутим, чуть морщась, как будто посмотрел на яркий солнечный луч:

— Зачем они вам? Домашняя работа по арифметике. Да и грязно.

Каин осматривает листки, Лавченя вместе с ним. Офицер от доски смотрит выжидательно на листки и на Каина.

Тот, понимая, что попал в глупое положение, наливается яростной злобой. Зловещая тишина. Должен быть взрыв!

И снова Мороз ровным голосом, но очень добрым и тихим, пытается спасти положение:

— Коля, переведи теперь это стихотворение великого немецкого писателя и поэта, который был в свое время министром при короле Германии.

Коля переводит.

Каин комкает листки в кулаке и бросает их на пол. Набычившись, идет к Морозу. А тот довольно предупредительно посматривает то на немецкого офицера, то на Бородича.

Каин: — А ну-ка, выйдем, учитель.

Мороз согласно прикрывает глаза, давая понять, что необходимо дослушать перевод стихотворения.

Коля заканчивает перевод.

Мороз, наклоняясь над классным журналом:

— Спасибо. Пять баллов... Миклашевич. — Тот вскакивает. — За немецкий текст стихотворения — «пять»... Смурный Остап! — Тот вскакивает. — Тебе, Остап, тоже «пять». Урок окончен.

Мороз закрывает журнал и быстро выходит. За ним полицаи и немецкий офицер.

Ребята остаются одни. Запихивают вываленное содержимое сумок обратно. Маруся перехватывает хмурый взгляд Коли. Почему-то смутилась. Опустила глаза.

Десятилетняя Юля:

— А чего им надо? Чего они ищут?

Паша переглядывается с Остапом и Колей.

Остап, дурачась:

— Бомбу и пушку.

Кое-кто захихикал.

— Тихо! — говорит Коля Бородич. — Чего там с Алесем Ивановичем?

Ребята замолкают. Прислушиваются.

В коридоре снова топот тяжелых немецких сапог. Ребята поворачивают головы к окнам. Видят, как выходят полицаи

и немецкий офицер. Как они идут по улице к довольно далеко стоящему немецкому грузовику. Коля Бородич, прищурив глаза, следит за спиной и затылком Каина. Те подходят к машине. Офицер садится в кабину, полицаи в кузов. Уезжают.

Голос сегодняшнего Ткачука:

— Да, с усердием служил этот Каин немцам, ничего не скажешь. Много бед принес людям. Осенью раненых командиров расстрелял. Четверо раненых в лесу скрывались. Выследил, отыскал в ельничке земляночку и ночью всех перебил. Над девками бесчинствовал с дружками. Усадьбу нашего связного Криштофовича спалил. Сам Криштофович успел скрыться, а остальных — стариков-родителей, жену с детьми — всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал. И ворвался в Морозову школу недаром. Все-таки что-то заподозрил...»

Мороз и Коля Бородич с Пашей, Остапом, Марусей, Андреем стоят и смотрят, как горит дом Криштофовича.

Коля — тихо, Морозу:

— Неплохо бы пристукнуть этого Каина. А то всех ведь переведет. Немцы тут никого не знают, а он знает всех. Чего ж нам смотреть на это? Есть возможность пристукнуть, никто и не узнает. Все будет тихо... А?

Мороз, также тихо:

— Все будет громко и глупо. И вас расстреляют...

Коля: — А никто не узнает...

Мороз: — Узнают. Шила в мешке не утаишь. Мы у всех на виду...

Коля тяжело вздыхает. Смотрит на горящую хату.

Мороз: — Выброси эту безрассудную мысль из головы. Если потребуется, этого мерзавца пристукнут и без вас. И знай — самовольничать сейчас нельзя. Это война, а не игра в войну.

Коля недобро щурится:

— Своими бы руками пристукнул...

Мороз: — Помни — одного желания мало. На одной жажде мести далеко не уедешь. К борьбе нужно созреть, нужна сноровка, нужен ум.

Коля, с трудом выдавливая:

— Ясно, Алесь Иванович. Ясно. Нужна сноровка, нужен ум...

За селом овраг. Через овраг — небольшой мост. Под мостом речка. Неширокая речка, метра четыре. И неглубокая. Не утонешь, а так — окунешься. Но мостик над речкой довольно высоко, метра три. К мосту крутоватый спуск, а потом подъем.

Уже знакомый нам немецкий грузовик, появившись на дороге над оврагом, разгоняется на спуске и, перескочив мостик, с ходу берет подъем.

За этой машиной внимательно следят шесть пар мальчишеских глаз. Коля, Паша, Остап, Тимка, Андрей и Боря сейчас спрятались в овражке в кустах и терпеливо наблюдают.

Машина исчезает за бугром на дороге, ведущей к селу.

Ребята тоже исчезают. Были затылки, нет затылков.

На ветку куста вспорхнула синичка. Прочивикала что-то свое. Улетела.

А в Сельце со двора глухого Денисчика Каин и двое его дружков-полицаев, заарканив свинью, тащат ее к грузовику. Из-за угла третьего дома за ними наблюдает Андрей Смурный.

Вторую свинью тащат со двора Федора Боровского. За ними наблюдает Остап.

Во дворе Анастасии из курятника за ноги выволакивают кричащих кур и, впихнув в мешок, бросают в кузов грузовика.

И за этим следят глаза Паши Миклашевича, стоящего за соседской будкой-уборной.

И снова овражек, и мост, и грузовик с полицаями и немцами с награбленным добром. Только теперь грузовик едет в обратном направлении, лихо проскакивает мост и исчезает за горбом оврага.

Глаза ребят провожают его. Сами сидят на том же безопасном месте, за теми же кустами.

Коля: — Сегодня он на своем хуторе будет всю ночь.

Тимка, хихикнув:

— А завтра утречком будет возвращаться...

Паша: — С ним еще четверо: два немца и два полицая.

Остап: — Так, хорошо! Вот мы их и укокошим.

Ночь. Под мостом Коля, Паша, Остап и Андрей. Попарно пилят столбы, держащие мост. Сопят и потеют.

— Стоп! — тихо говорит Коля. — Паша! Наполовину или больше?

Подходит Паша:

— Надо, чтоб человек прошел. И конь чтоб прошел. Может, еще?

Коля: — Давай сначала наполовину, а потом проверим. Машина — она тонны три весит. Может, наполовину и хватит... Вы пилите-то на скос?

Паша: — На скос.

Прислушались. Разошлись по местам. Пилят. Четыре столба уже подпилены. Взмокли. Дозорные Тимка и Боря сидят на верхних противоположных склонах оврага. Чутко прислушиваются. Всматриваются в темноту, постоянно поворачивая головы в сторону мостка, откуда несется визг пил.

Начинает накрапывать дождик. Тимка и Борька прячут носы в воротники пиджачков. Наконец все столбы подпилены. Коля свистит, и дозорные радостно сваливаются под мост.

Коля: — Шабашим. Теперь я буду тут, а вы все на мост и аккуратно попрыгайте.

Они осторожно входят на мосток с таким чувством, что он должен немедленно обвалиться. Но мосток не обваливается, и Коля слушает и щупает столбы. Дождик усилился и уже не моросит, а просто идет.

Коля: — Все, ребята. Айда по домам!

Они вылезают из овражка и еще раз оглядываются на мост. Все возбуждены. Операция удалась на славу. Даже дождь не может охладить разгоряченные головы.

Паша: — А как же мы узнаем, что получилось?

Остап: — Остаться бы надо. Посмотреть, как они вверх тормашками...

Коля: — Всем нельзя. Сейчас по домам, а под утро я с... — оа запнулся, оглядев ребят.

— Со мной, — говорит Паша.

Коля, продолжая:

— Засядем тут и посмотрим. А вы ждите нас. Как грохнутся, так мы и прибежим.

И ребята скрываются в темноте ночи.

Утро нежное и ясное. Солнышко только появляется. От ночного дождя на дороге, через овражек, остались только большие лужи и грязь. А в кустах уже сидят Коля и Паша. Со стороны деревни слышен лай собак, крик петухов, замычала корова. А тут никого. Машины не видно и не слышно. Паша шмурыгнул носом:

— Долго чего-то... А может, они ночью куда уехали?

Коля не отвечает. Сопит. Насторожился. Поднял голову вытянул шею. Видит, как наверху оврага появляется сначала лошадь, а за ней и фурманка, на которой беспечно восседает дядька Евмен.

Паша испуганно:

— Вот те на! Всю кашу испортит. Фурманку не выдержит... Чего делать, Коля?

Коля уже вскакивает и, оглядевшись, бежит к дороге. Он подбегает в тот момент, когда фурманка пересекла пригорок и Евмен, взмахнув кнутом, хотел выкрикнуть извечное понукание.

Коля, запыхавшись:

— Не едьте, дядько Евмен, не едьте! Там под мостом мина! Вот такая! Мина! — Он распахивает руки, как заправский враль-рыболов.

Евмен сначала непонимающе таращит глаза, замерев с поднятой рукой; потом, когда до него доходит смысл услышанного, он резко тянет вожжи на себя и в сторону.

— Господи Иисусе! — вырывается у него испуганно и вполголоса. А лошадь уже заворачивает; и Коля кричит Евмену:

— В объезд вам лучше! В объезд!

Евмен же, повернувшись к Коле, успевает крикнуть:

— Сам-то не ходи туда! Взорвешься! — и только теперь опускает кнут на круп своей лошаденки.

Коля минуту смотрит ему вслед и очень озабоченно и тревожно оглядывается. Опрометью бросается назад к кустам. Слышен далекий рокот машины.

Задыхавшийся Коля плюхается возле Паши:

— Каин! — коротко вздыхает он.

Тем временем грузовик появляется на склоне оврага.

— Все, как задумано... Все, как задумано... Нужна сноровка, нужен ум... — радостно и нервно дрожа, шепчет Коля. — Сейчас, Пашка... Сейчас... Сейчас мы их...

А грузовик, попав на размытую дождем дорогу, начинает тормозить и, переваливаясь с боку на бок, неторопливо ползет под уклон. В кузове двое полицаев и двое немцев. Офицер сидит в кабине с шофером. Вот и мосток. Ребята замирают, и радостное выражение лиц сменяется озабоченностью и тревогой.

— Чего же он не разгоняется? — недоуменно шепчет Паша.

Грузовик подъезжает к мостику. Въезжает на него и останавливается. Мостик себе стоит, как стоял.

На лицах ребят выступает испарина.

Мотор грузовика ревет от переключенной скорости, машина дергается вперед, и в этот момент ломается поперечина и столб. Грузовик кренится и боком летит под мост. Туда же летят и пассажиры.

— Бежим! — тихо, но восторженно вскрикивает Коля.

И ребята, опрометью, пригибаясь, кидаются в сторону деревни.

А под мостом лежит перевернутый грузовик и возле него барахтающиеся в воде речушки немец и оба полицая.

Бегут ребята. Ошалелые от счастья. Паша на ходу:
— Ну я испугался, когда он остановился. А потом: бум! И там!..
Коля: — Всем хана, паразитам! Допрыгался, Каин!

Каин живехонький, но весь вымоченный, затравленно оглядывается по сторонам. Смотрит в кусты. Успевает заметить, как в кустах мелькает фигура мальчишки. Каин смотрит на грузовик. Под ним, придавленный бортом, лежит мертвый немец. Рядом подпиленное бревно.

По улице Сельца бежит Каин. Вид его столь необычен, что появляющиеся в окнах хат любопытные лица тут же исчезают. Каин растрепан, грязен и страшен в бешенстве, обуявшем его. Вторая, третья, четвертая хата. Он вбегает во двор. Настасья Михалевич с ведром воды от колодца, увидев Каина, хочет скрыться за дверью хаты, но Каин кричит странным, высоким голосом:
— Стой! Выводи кобылу! Запрягай!
Настасья роняет ведро. Начинает причитать, и уже слезы градом текут по лицу:
— Да за что же, родименький? Да как же ж мы без кобылы-то?! Да зачем она тебе, кобыла-то? Она старая, негодная...
Каин истошно орет:
— Запрягай! Скорей! Там убийство совершили! Ну я вас теперь! Немца убили!
Настасья бежит к сараю, лихорадочно пытается открыть воротца, причитая:
— Господи, господи, господи...
Двор Настасьи наискосок от двора Мороза. Когда Каин бежал по улице, Мороз, увидев его, забеспокоился. Постарался незаметно выйти и встать за кустами у забора. Отсюда он и видит, как Каин выводит кобылу из сарая. Запряг и, вскочив в телегу, с грохотом выезжает из Настасьиного двора.
Вернувшись в хату, Мороз снова появляется во дворе уже одетый и быстро идет к школьной хате.
У крыльца школы несколько мальчишек с интересом смотрят вслед умчавшейся телеге. К школе подходят еще ребята. Здороваются с Морозом. Тот, стараясь не выказать волнения, спрашивает:
— Все собрались? — и входит в класс.
Ребята за ним.
— Нет Бородича, Миклашевича, Смурного Андрея, Бориса, Кожанов... — быстро говорит Маруся.

— Маруся, — говорит Мороз, — сходи-ка, быстро, за Бородичем. Пусть все бросит и идет в школу...

Маруся встревоженно взглядывает на учителя и выходит из класса.

— Посидите, ребята, подождем остальных, — говорит Мороз и тоже выходит.

Войдя в маленькую соседнюю комнатку, останавливается у окна. Ждет.

Улица оживает. Настасья быстро перебегает от своего двора к соседнему. Мужик приостановился, будто невзначай смотрит вдоль дороги, в сторону оврага.

Появляется Маруся:

— Его нет, Алесь Иванович. Еще чуть свет ушел...

— Куда?

— Анна Ивановна сказала, что сама не успела глаза открыть, а его уже и след простыл. Сердится она.

— Спасибо, Маруся, садись на место.

Тут он видит Павлика Миклашевича, который неторопливо и, даже чуть улыбаясь, шагает к школьному крыльцу. Подошел, увидел Мороза, не мог сдержать торжествующей улыбки:

— Добрый день, Алесь Иванович!

— Добрый день, Паша. Маруся, иди в класс. Паша, зайди сюда.

Они остаются вдвоем. Мороз испытующе смотрит в глаза Паши. Улыбка пропадает, но глаза все так же сияют.

— Павлик, ты не знаешь, где Бородич?

Павлик ведет глаза в сторону, чуть мнется, но это почти мимолетно:

— Сейчас... не знаю.

Мороз: — Павлик, случилось что-то плохое. В овраге убит немец. Полчаса назад во двор к Настасье прибежал Каин за телегой. Кричал страшные слова. Ты ничего не знаешь?

Лицо Павлика делается серым, когда он слышит о живом Каине. Глаза тускнеют. Губы дергаются.

— Павлик, ты что-то знаешь? Если так, то рассказывай. Надо что-то немедленно предпринимать...

Но Павлик не отвечает. Лицо его сводит судорога отчаяния, когда доходит весь смысл сказанного Морозом. Он поднимает вверх сжатые кулаки и, тихо застонав, бьет кулаками по коленям, топая на одном месте.

Ткачук отчаянно бьет себя по коленям. Обращаясь к Зыкову:

— Представляешь, до какой дикости было нелепо положение Мороза. Учитель! На него с надеждой смотрели ребячьи глаза — он должен был что-то придумать! А что он мог придумать, когда эти сорванцы поставили его перед свершившимся фактом. Все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Какая угрожает опасность? И кому она угрожает в первую очередь? Ужасное положение!

Мороз стоит у окна перед классом. Поглядывая на улицу и на ребячьи лица, будто слушает ученический ответ. Но мысли совсем о другом.

На шоссе глубокий вечер.

Ткачук — Зыкову:

— Возможно, заподозрят и ребят, и его самого, думалось ему. Но в деревне три десятка мужчин, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Он ждал появления Бородича. И не хотел думать, что беда так близка...

Из-за поворота шоссе навстречу с ревом вылетает «МАЗ», ослепляя Зыкова и Ткачука светом фар.

Ткачук резко поворачивает голову на свет, зажмуривается. И снова темнота вокруг.

Полночь. В дверь хаты Мороза стучат. Он скоро подходит к двери. Открывает. Остолбенел. На пороге полицай Владимир Лавченя. Но в хату не входит, а с порога выпаливает:

— Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут! — и исчезает в темноте. А Мороз еще стоит перед открытой дверью. Провокация? Но вид и тон Лавчени столь правдивы, что Мороз тихо прикрывает дверь, оглядывает комнату, берет кожух, шапку, палку...

Ткачук и Зыков на шоссе.

И снова навстречу им, в зыбких вечерних сумерках идет прихрамывающий человек. Он идет по тропинке, то исчезая, то появляясь между темных стволов старых вязов, отделяющих шоссе от тропинки. Проходит мимо Ткачука и Зыкова, не глядя на них, а те, не сговариваясь, останавливаются и смотрят ему вслед. Ткачук, выходя из задумчивости:

— Да... Беда была совсем рядом.

— Товарищ комиссар! Тут часовые задержали чужого. — Этот голос заставляет Ткачука обернуться к нам, к аппарату, и увидеть, как...

...в землянку заглядывает дозорный — долговязый партизан.
Голос Ткачука: — Кто такой?
Долговязый: — А черт его знает, вас спрашивает. Хромой какой-то.

В кадр от нас входит Ткачук, как бы войдя из сегодняшнего дня во вчерашний. А в дверном проеме показывается Мороз. Стоит молча. Взглянул на долговязого партизана. Взъерошенный вид Мороза красноречиво говорит о каком-то несчастье, и Ткачук делает знак рукой долговязому, чтобы тот вышел.

Долговязый выходит, и Мороз говорит:

— Хлопцев забрали. — Голос такой, словно похоронил родную мать.

Ткачук, не поняв:

— Каких хлопцев?

Мороз: — Моих. Сегодня ночью схватили, сам едва вырвался. Один полицай предупредил.

Ткачук, облегченно:

— Фу, напугал! Я думал, случилось что страшное. А то — хлопцев! Ну чего они там сделали, твои хлопцы? Сказали что? Или обругали кого? Ну дадут по десятку палок и выпустят. Подумаешь! На, закури. Хороший самосад раздобыли.

Ткачук подает Морозу кисет. Тот берет его, садится на нары. Говорит Ткачуку:

— Немца убили.

— Чего?!

— Посамовольничали и одного фрица ухлопали.

— Да-а... Это похуже. Ах, пацаны!..

Землянка Ткачука среди четырех похожих друг на друга землянок. Вокруг березняк и елки. Сюда въезжает телега с двумя партизанами. Ей навстречу быстро идет командир отряда Селезнев. Заглядывает в телегу. В ней два отсыревших ящика. Партизаны отводят глаза в сторону.

Селезнев: — Это что? Патроны?..

Рыжий партизан: — Гранаты... Все, что удалось достать. Все дно обшарили, товарищ командир...

Селезнев сплевывает:

— Так мы много навоюем. С таким боезапасом всех немцев перебьем и Гитлеру голову оторвем!.. — Все более раскаляясь: — Вас только за смертью посылать да с бабами валандаться!

К подводе подходят остальные партизаны. Их мало, человек двадцать. Кто с винтовкой, а кто с охотничьим ружьем.

Заглядывают в подводу. Виновники Селезневского разноса, потупясь, молчат.

— Как будем воевать, а?! Не сегодня-завтра немцы нас засекут, и что же? Перебьют, как котят! Оружия — раз-два и обчелся! Боеприпасы — вот! — Селезнев тычет в сырые ящики. — А вокруг, в каждом селе, гарнизон и немцев, и сволочей-полицаев! Так дальше нельзя! — Он оборачивается, кого-то ища. — Где комиссар?!

Дневальный: — В землянке, товарищ командир.

Селезнев резко разворачивается и идет к землянке Ткачука.

Партизаны распрягают лошадь. Снимают с телеги ящики.

Селезнев размашисто входит в землянку.

Ткачук: — Беда, командир. Вот ребят похватали.

Селезнев: — Каких ребят?

Ткачук: — Его ребят. Школьников. С отрядом сотрудничали. Ну и немца ухлопали.

Селезнев: — А я что? А мы-то при чем?

Ткачук: — Может бы, попытаться? Все-таки наши ребята. Знакомые.

Селезнев: — Чем попытаться? У тебя боеприпасы есть? Вон гранаты привезли. Из реки вытащили. Их сушить надо неделю. На неярком солнышке. А в Сельце гарнизон?

Мороз: — Гарнизон, да. Сорок полицаев.

Селезнев: — Сорок полицаев! А у нас на сегодня 22 в строю. Нет, ничего не можем. Если бы через дня 3–4? Когда отряд Мокосея придет.

Мороз: — Через день их отправят. В район отправят. Если не постреляют прежде.

Селезнев: — Ну вот, видишь!

Ткачук: — Да-а... Вот еще задача. Ну и его вот (указывает на Мороза) надо в отряд брать, — говорит он полувопросительно.

Селезнев молчит и морщится, как от зубной боли.

Ткачук: — Конечно, боец из него не очень завидный, но что поделаешь. Так уж случилось.

Селезнев, ударив ладонью по колену:

— Ладно! Выдай винтовку... ту, что с черным прикладом. Зачислим во взвод Прокопенко бойцом.

Ткачук выдает Морозу винтовку. Мороз берет ее, осматривает. Мушки у винтовки нет.

Ткачук: — Мушки нет, но стрелять можно. Вот патроны. — Выдает три патрона.

Мороз берет винтовку, засовывает патроны в карман кожуха. Смотрит Ткачуку в глаза:

— Так как же с хлопцами будет?

Ткачук отводит глаза:

— А как будет? Не знаю, как будет. Не повесят, может...

Мороз: — А если повесят?!

Ткачук, разозлившись:

— Ну, что ты жилы из меня тянешь? Что я могу сделать?! Сам воспитал таких безголовых, а нам расхлебывать! Дурости и смелости хоть отбавляй, а ума в обрез! В самостоятельность играли! Вот и доигрались!

Мороз, глядя на сломанную мушку своей винтовки:

— Могу идти?..

Ткачук, тяжело вздохнув, примирительно:

— Подождем еще день-два. Может, что и прояснится.

Подходит рыжий партизан с лопатой:

— Товарищ комиссар, где будем рыть?

Ткачук оглядывается на землянки. Говорит, прикидывая:

— Чтоб не рядом. Вон у тех берез... Нет, лучше у сосен. И чтоб землянка была больше этих.

И вот уже вырыто довольно много земли под новую землянку. Мороз, держа винтовку, как палку, стоит у края ямы, рассеянно смотрит в яму.

Но вот яма вырыта окончательно. Ткачук осматривает ее, говоря:

— Ну, что ж, теперь ее бревнами... и настил. Перекур. — Он хочет развернуть кисет, но к нему подбегает дневальный партизан:

— Товарищ комиссар, командир зовет!

— А что такое?

— Связная пришла.

— Ну?

— Ульяна!

— Сама Ульяна?!

— Ну!

Ткачук, услышав имя Ульяны, не на шутку встревожился. Это поняли окружающие партизаны, а Мороз весь напрягся, как взведенная пружина.

Так и не закурив, Ткачук почти бегом направляется к командирской землянке.

Уже у входа в землянку слышен резкий голос командира Селезнева:

— Тебе был приказ прибегать только в крайнем случае! Как ты смела ослушаться моего приказа?!

Ткачук входит в землянку. Ульяна же не собирается оправдываться перед Селезневым:

— Мне сказали, а я что, молчать буду?

Селезнев: — Во вторник передала бы.

Ульяна: — Ага, до вторника им всем головы пооткручивают.

Селезнев: — А я что сделаю? Я им головы поприставлю?

Ульяна: — Думай, ты командир.

Селезнев: — Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пущу.

Ульяна: — И не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.

Ткачук, как можно ласковее:

— Что случилось, Ульяна?

Ульяна: — А что случилось — требуют Мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен.

Селезнев, чуть ли не подпрыгнув, кричит:

— Ты слышишь?! И она с этим примчалась в лагерь. Так им Мороз и побежит. Нашли дурака!

Ткачук ошеломлен сообщением Ульяны. Подсаживается к ней на нары. Все молчат. Ульяна, прерывая это тягостное молчание, тихо:

— Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша — волосы на себе рвут. Еще бы, матери. Просят Христом-богом: «Ульяночка, родненькая, помоги. Ты знаешь как». Я им толкую: «Ничего я не знаю: куда я пойду?» А они: «Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он же умный, он их учитель». Я свое твержу: «Откуда мне знать, где тот Алесь Иванович? Может, удрал куда, где я его искать буду?» — «Нет, золотко, не отказывайся, ты с партизанами знаешься. А то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим». Ну, что мне оставалось делать?

Ткачук, удрученно:

— Да-а-а... Невеселая ситуация. Пропали, видно, хлопцы.

Ульяна: — А как жить матерям?!

Селезнев мрачно молчит. Ульяна, зыркнув на одного и другого, встает:

— Решайте, как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо. А то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень.

Ульяна выходит, следом за ней Ткачук. И нос к носу сталкивается с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки, а на самом лица нет. Ткачук сразу понимает, что тот все слышал, говорит бесцветно и скучно:

— Зайди к командиру, дело есть.
...И за Ульяной.
День солнечный и тихий. Будни партизанского отряда неторопливы и на первый взгляд беззаботны.
Человек восемь продолжают строить землянку. Двое распаковали ящики с сырыми гранатами и занимаются ими. Ткачук с Ульяной подходят к дневальному. И теперь дневальный уходит с Ульяной. А Ткачук возвращается к командирской землянке. И снова оттуда несется негодующий крик Селезнева:
— Ты с ума сошел! Да я тебя к елке поставлю. И дело с концом!
Но крик этот на Мороза явно не действует.
Селезнев — Ткачуку:
— Слыхал, хочет в село идти?
— Зачем?
— А это ты у него спроси.
Ткачук вопросительно смотрит на Мороза, но тот молчит, только тяжело вздохнул. Ткачук начинает злиться:
— По-моему, надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Идти туда — самое безрассудное самоубийство.
— Это верно, — вдруг очень спокойно говорит Мороз. — И все-таки надо идти.
Селезнев, задохнувшись от негодования, перешел на зловещий шепот:
— Если так, я тебя посажу в землянку. Под стражу! И будешь сидеть у меня под замком!
Ткачук — Морозу:
— Ты подумай сперва, что говоришь.
Но Мороз снова замолчал. Ткачук переглянулся с Селезневым, и они молча поняли друг друга, что им надо остаться вдвоем. Тогда Селезнев, устало, Морозу:
— Ладно, иди подумай.
Мороз встает и, прихрамывая, выходит. Селезнев и Ткачук сидят молча. Потом Селезнев зло бросает:
— Твой кадр.
Ткачук: — Мой, никуда не денешься. Но что я могу сделать, если у него тут явно какие-то свои принципы.
Селезнев: — Сейчас принципы могут быть только общие! Потолкуй с ним. Чтоб он эту блажь из головы выбросил. А нет — погоню в речку за ящиками нырять. Поплюхается в ледяной воде, авось, поумнеет.

Потом Селезнев вдруг грустно смотрит куда-то в угол и тихо говорит:

— Конечно, жаль хлопцев, жаль матерей. Но мы не можем помочь. Отряд слаб еще. Выходить на операцию равнозначно самоубийству.

Селезнев и Ткачук настораживаются, услышав за дверью землянки беспокойные возбужденные голоса партизан. Вместе выскакивают наружу, почуяв недоброе.

Перед первой землянкой стоит весь истерзанный, потный, мокрый по пояс, с окровавленными руками Броневич, а рядом с ним лежит мертвый партизан Пекушев.

Возле них уже весь отряд. С Броневича снимают простреленную телогрейку. Перевязывают. Тот, заикаясь, что-то рассказывает.

Мороз остается возле строящейся землянки. Он один. Поднимает голову. Осматривается. Подходит ко второй землянке, возле которой получал от Ткачука винтовку. Приставляет ее возле входа. Уходит в лес. Перед тем, как совсем скрыться за деревьями, поворачивается к лагерю. Может быть, в его движениях есть нерешительность? Может быть. Раздумье? Может быть. Но вот сделано последнее движение. Мороз поворачивается спиной к лагерю и исчезает за деревьями. Может, он снова появится? Нет, не появился.

И шел по той же дороге, до которой не раз и не два приходилось ходить. Шел прихрамывая, неуверенно и быстро. И ни вечерние сумерки, ни дорожная весенняя распутица не могли остановить его.

Теперь он стоит в окружении полицаев, держит приподнятыми вверх руки. Два полицая, обшаривая его карманы, докладывают стоящему напротив Каину:

— В карманах пусто.

— За пазухой ничего.

— Куда шел? — спрашивает Каин.

— Вот к вам и шел. Вы же меня требовали.

— Так я тебе и поверю. По какому делу шел? — Повернувшись к одному из полицаев: — Цимбалюк! Скачи в район, вези рапорт: главного поймали.

— Не поймали — сам пришел, — поправляет Мороз.

— Поймали, поймали! — вызверяется Каин. — Провели акцию и поймали. Живого! Глядишь, теперь по медальке отко-

лется. А как же? Главарь местной партизанской банды Алесь Мороз!

В Сельце, оглядываясь по сторонам, в одни из ворот проскальзывает тетка Татьяна.

— Груша, а Груша! — зовет негромко она.

Из сарая выглядывает женщина.

— Слышала? — радостно говорит тетка Татьяна. — Алесь Иванович сам пришел. В полицию пришел.

— Слава те господи! — крестится Груша. — Может, теперь выпустят хлопчиков.

В лагере в штабную землянку вваливается взводный Прокопенко и козыряет Селезневу, который сидит, склонившись над картой.

— Товарищ командир, разрешите обратиться!

— Ну, что такое?

— Этот хромой учитель исчез.

— Как исчез? — вскакивает Селезнев.

— Убег в деревню.

— Как убег? Кто упустил? Где часовой? Где дневальный?

— Обманул всех и исчез.

— Ох, обормот! Это что же такое? Это же он всех выдаст. Где комиссар?

— Я тут. В чем дело? — спрашивает с порога Ткачук.

— Ты слыхал? Учитель убег. Теперь надо лагерь менять. Все связи насмарку! Всех командиров — ко мне!

— Подожди, командир, не горячись. Еще может... — неуверенно говорит Ткачук.

— Что, может? Что еще, может? Зажмут там, в полиции, и всех выдаст. И подходы, и место базирования. Поднимать лагерь!

— Погоди...

— Чего годить? Когда немцы нагрянут? И так обложили со всех сторон.

— Да. Но все-таки. Не должен он выдать.

— Ах, не должен! На какого же хрена он тогда убегал? С какой такой целью?

Ткачук молчит.

Двое полицаев толкают Мороза через порог в полутемный амбар, где сидят, тесно сбившись в углу, ребята.

— Алесь Иванович! — в ужасе восклицает Тимка. — И вас тоже?

— И я с вами, ребята. Вот так.

— Как же вы? Почему не убежали? — с сожалением говорит Миклашевич.

— Да вот, не сумел. Схватили и меня.

— Вот через тебя все! — говорит Павлик Бородичу.

Бородич виновато молчит.

— Ничего, ребята, — говорит Мороз, устраиваясь подле. — Все правильно. Неудачно, правда, но правильно. Теперь уже не переделать.

— Лучше бы меня там убили, — в отчаянии говорит Павел. — Чем вас теперь...

— Ой, а я рады! — восклицает Смурный. — Теперь я ничего не боюсь. С Алесем Ивановичем я их не боюсь. Пусть убивают.

— И я рады, — говорит Остап. — Но если бы вам удалось спастись, я бы еще больше был рады.

Один Бородич замкнуто зло молчит, бормоча про себя: «Если бы больше убили их, и я был бы рад. А то чему радоваться: впятером — одного! Тоже радость мне...»

— Что делать, ребятки, нам придется погибнуть! — со вздохом говорит Мороз. — Но мы погибнем не зря. Мы им показали, что мы выше их всесокрушающей силы. Мы не испугались, поднялись на борьбу. И пусть мы не много сделали — мы подали пример. Другие сделают больше. Скоро загремят сотни машин с мостов, полетят под откос поезда. А главное — поднимутся люди. Тысячи, сотни тысяч людей! Которых не одолеть Гитлеру со всей его сворой. Они победят. А после победы вспомнят о нас. Поставят нам памятник, ребятки. Красивый такой памятник — на всю округу. И будут его убирать цветами...

— Одним бы глазом взглянуть на то времечко, — мечтательно говорит Павлик.

— Видно, нам не придется. Но увидят тысячи после нас... И будут вспоминать нас. А мы... Что ж, жаль, маловато вот прожили. Но что такое много? Жизнь человеческая все равно никак не соразмерна с вечностью, и то ли пятнадцать лет, то ли шестьдесят — все равно это не более чем мгновение перед лицом вечности. Главное, как прожить отпущенный тебе срок. Мы, будем считать, прожили его славно. Хоть и маловато, но честно. Главное — мы не покорились этой хищной силе и до конца остались людьми. А это в наше трудное время — уже героизм. Вот так, ребятки...

— А может, еще спасемся?.. И не надо будет умирать? — нерешительно, тоненьким голосом, спрашивает Тимка.

На шоссе уже совсем темно. Медленно идут Ткачук и Зыков. Два огонька от сигарет. Но вот сзади их освещает свет автомобильных фар, очевидно, машины, выскочившей из-за поворота. Ткачук и Зыков уже не поворачиваются на этот свет, их обгоняет газик, с ветром проскакивая мимо. Но вдруг он замедляет ход и, свернув к краю дороги, останавливается.

Впереди раздается голос, обращенный к Ткачуку:

— Тимох Титович!

Ткачук что-то ворчит, не убыстряя шага, а Зыков срывается с места и бежит к машине.

Какой-то человек, стоя у машины и придерживая открытой дверцу, говорит:

— Полезайте вовнутрь. Там свободно. — И в человеке мы узнаем заведующего районо Ксендзова.

Зыков приостанавливается, поджидая Ткачука.

— Что же это вы так задержались? — обращается Ксендзов к Ткачуку. — А я думал, вы давно уже в городе.

— Успеется в город, — бурчит Ткачук.

— Ну, залезайте, я подвезу. А то автобус уже прошел, сегодня больше не будет.

Зыков пролезает вовнутрь газика и усаживается на лавке за спиной шофера. Ткачук еще медлит, но вот и он, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втискивает свое грузное тело, и заведующий районо, хлопнув дверцей, говорит:

— Поехали.

Машина рванула вперед. Пронеслись навстречу заборы, деревья, хаты какого-то поселка.

Посторонились, пропуская машину, парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо посмотрел в яркий свет фар.

Машина выскочила на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги.

Ксендзов, повернувшись вполоборота, обращается к Ткачуку:

— Зря вы там, за столом, насчет Мороза этого. Непродуманно.

— Что непродуманно? — напрягается Ткачук.

Ксендзов, повернувшись еще больше:

— Ну в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?

— Ни одного.

— Вот видите! И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал — безрассудное заступничество.

— Не безрассудное! — обрезает его Ткачук нервным прерывающимся голосом.

— Абсолютно безрассудное. Ну что, защитил он кого? Я сам когда-то занимался этим делом и, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.

— Потому что вы близорукий! Душевно близорукий! — резко обрывает Ткачук.

— Ну, возможно, близорукий, — снисходительно соглашается Ксендзов. — Но и вы не очень-то дальнозоркий. Ведь вы же когда-то подписали бумажку о плене Мороза. И в общем сделали правильно. Подумайте, что бы получилось, если бы каждый партизан сдался в плен, мотивируя это какими-то своими принципами?

— Остановите машину! — сорвавшимся голосом произносит Ткачук.

Это сказано так резко и гневно, что шофер жмет на тормоза, и газик, заюлив по шоссе, останавливается.

— Я не могу ехать с вами! Выпустите меня!

Зыков, беря Ткачука за локоть:

— Тимофей Титович, подождите. Зачем же так...

— Выпустите меня отсюда! — уже кричит Ткачук.

Ксендзов распахивает дверцу, вылезает из машины:

— Пожалуйста, никто вас не собирается задерживать.

Ткачук и Зыков оказываются снова на шоссе. Хлопнув дверцей, газик уезжает.

Ткачук и Зыков молча стоят, потом Зыков тихо говорит:

— Ладно. Надо взять себя в руки. Пошли. Поздно уже.

— Это словно проклятье! Оно на мне висит всю жизнь... — говорит Ткачук. — И кто бы подумал. Разве я мог подумать тогда? Какая-то бумажка! Летом сорок второго из бригады потребовали сведения о потерях. Стали составлять списки, дошли до Мороза. Что написать? Ну, Селезнев и распорядился: пиши — попал в плен. Я и написал. По форме будто все, правильно, а по существу? Вон что получилось. Теперь поди разберись. Только Миклашевич и добился. Разобрались. Добились правды...

Раннее солнечное утро весны. Над селом разносится мирный крик пастухов и редкое мычание коров. В небе трещит жаворонок. Двор полицейского участка.

Ребят выводят из амбара для отправки в район. На улице почти вся деревня, женщины плачут, видны мрачные лица

мужчин. Ребят строят по два, связывают руки. И тогда из толпы выходит старший брат Кожанов Иван.

— Пан полицай! — обращается он к Каину.

— Ну, что тебе? А ну, отойди дальше!

— Пан полицай! Вы же говорили...

— Что мы говорили?

— Что отпустите их. Как учитель придет. Так он ведь пришел.

— Не твое телячье дело! Понял? Отойди дальше!

— Значит, обман, выходит?!

— Обман не обман — отойди дальше, говорю!

Каин бьет Ивана рукояткой пистолета, и тот, не стерпев, бьет его ногой в живот. Каин стреляет из пистолета, Иван падает в грязь. В толпе крик и плач. Слышатся голоса:

— Мерзавцы!

— Вот их правда какая!

— Обманщики!

— Холуи немецкие!

Каин перезаряжает пистолет:

— А ну, отойди! А ну, разойдись! А то всех перестреляю, бандитские выродки!

Он стреляет вверх несколько раз. Люди шарахаются в стороны, но не расходятся.

Из двора выводят ребят.

Ведут их до той дороге, на которой они поджидали немецкий грузовик; через тот мостик, который они подпиливали и который сейчас немного подправили, чтобы пока можно было пройти пешком. Ведут их парами, впереди Мороз с Павликом, за ними близнецы Кожаны — Боря и Тишка, потом однофамильцы Смурный Остап и Смурный Андрей. Позади два полицая волокут Бородича. У всех пленных руки связаны сзади. Охрана — семь полицаев и четыре немца. Держатся чуть в стороне, за канавой.

Проходят по мосту. Паша взглядывает на бревна моста. Видны на земле светлые пятна от опилок; выбоина от упавшего грузовика. Проходят мост. Вокруг — поля, знакомые с детства места.

Природа дружно идет к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стоят пушистые, увешанные желтой бахромой. На все это Павлик смотрит открытыми большими глазами. А руки крепко связаны сзади веревкой.

Показался лесок. Мороз только губами пошевелил, и до Павлика донеслись слова, да так тихо, что он вначале и не понял:

— Бежать можешь?

Павлик смотрит на учителя: о чем он?

Но мальчик не ошибся. Мороз повторяет очень тихо:

— Бежать можешь? Как крикну, бросайся в кусты.

Слова эти вызывают в мальчике дрожь надежды на спасение. Связанные кисти рук недоверчиво шевелятся, пытаясь сжаться в кулаки. Он смотрит по сторонам, не поворачивая головы. Охрана та же и там же. Учитель рядом, но уже молчит, будто и не было никаких слов.

За дорогой уже кустики, сосенки, ельник.

Охранники переходят от канавы на дорогу и идут уже совсем рядом. Дорога узенькая. Два полицая впереди, двое по сторонам, остальные сзади.

До ближнего кустика остается двадцать шагов, десять, потом пять. Рядом ольшанник, елочки. Справа открывается низинка — бежать будет легче. Павлик взглядывает на Мороза. Лицо Мороза непроницаемо. Павлик снова смотрит вправо на низинку. И тут Мороз вскрикивает:

— Вот он, вот — смотрите!

Сам смотрит влево и плечом и головой показывает влево, словно кого-то увидел там. Полицаи и немцы смотрят влево, в кусты, в первое мгновение поверив крику Мороза. А Павлик, как заяц, прыгает вправо от дороги в кусты и бросается к низинке, через пеньки сквозь чащобу — в лес. Десять, двадцать, тридцать прыжков. Три, четыре, пять секунд свободы! И тут ударяет выстрел. Второй, третий. Крики полицаев и немцев. Топот догоняющих ног, выстрелы.

Напряженно-замершее лицо Павлика и бешено бегущие ноги его по снежным прогалинам и прошлогодней траве. Крики врагов и выстрелы, и бегущие ноги мальчика, которые вдруг сбиваются с бега. Павлик удивляется — откуда такой удар в спину? Этот удар валит его на колени, широко распахивает глаза и в следующее мгновение заставляет его вытянуться на колючей траве в прошлогоднем малиннике.

К нему подбегают вражеские ноги. Грубые сапоги пинают его тело, переворачивая лицом к небу. Грудь Павлика заливает кровь. Вражеские руки хватают его за ноги и волокут по земле, по которой он только что бежал, надеясь на спасение.

Приволокли к дороге, на которой стоят пленники. Подошел Каин. Посмотрел на мертвенно-белое лицо мальчика и окровавленную его грудь, поднял винтовку, но не выстрелил, а тяжелым прикладом ударил по голове и ногой спихнул в придорожную канаву с водой.

Потом подошел к Морозу, с бешенством цедя сквозь зубы:

— Ах ты, падла большевистская. Чего удумал? Обманывать?! Цирк устраивать? Сейчас ты получишь цирк!

Мороза начинают бить трое полицаев безжалостно и страшно. Он падает, и его топчут ногами. Он только стонет. И тут не выдерживает Тимка. Пронзительно-тоненько он кричит:

— Не смейте убивать! Не смейте убивать! Не смейте убивать!

Один из полицаев, повернувшись к нему, поднимает винтовку.

Тимка замирает с открытым ртом. И тут Каина что-то отрезвляет.

— Стой! — говорит он полицаю. — Приказано доставить живыми... Успеем повесить. — И Морозу: — А ну, встали! Пошли!

Но Мороз лежит, не в состоянии подняться.

— Симулируешь, сволочь! Поднимайся!

Мороз, собрав все силы, поднимается на колени, но на ноги подняться не может.

— Может, теперь вы поможете своему учителю? — глядя на ребят и явно издеваясь, говорит Каин. — Он же вам помог!

Тогда Боря и Федя, не веря еще, что они могут быть рядом с учителем, подходят с обеих сторон к Морозу и преклоняют колени. Мороз забрасывает руки им на плечи, и ребята поднимают его. К ним уже подошли Остап и Андрей. И Коля Бородич, собрав все силы, тянется к ребятам, пытаясь чем-то помочь учителю.

Так они и идут, сначала окруженные стволами вражеских винтовок, а потом весенним прозрачным солнечным днем, утопающем в светло-зеленых сережках распустившейся вербы.

Так и уходят они вшестером, растворяясь в зелени, в небе, в его облаках.

1975 г.

ЕГО БАТАЛЬОН

Сценарий двухсерийного художественного фильма

— ...Я отстраняю тебя от командования! — плотное, обветренное лицо командира полка выражало предел решимости. — Ты понял?!

— Я понял, — мало что понимая, спокойно ответил Волошин и, чтобы не пошатнуться от охватившей его странной расслабленности, прислонился к стенке траншеи.

Командир полка тем временем сдержанно-мстительным взглядом окинул командиров, находящихся в траншее:

— Лейтенант Маркин! — спросил он, не глядя на Волошина.

— Я вас слушаю! — отозвался издали Маркин.

— Лейтенант Маркин, командуйте батальоном!

— Есть! — не очень уверенно ответил начштаба.

— Вызывайте командиров подразделений. Ставьте задачу. Где ваши ротные?

— Все на местах, кроме командира восьмой, который убит.

— Тут где-то Круглов был, — вспомнил замполит, сопровождавший Гунько.

— Я здесь, товарищ майор, — послышалось издали, от входа в блиндаж.

— Круглов, принимайте роту, — приказал Гунько.

Волошин вдруг понял, что надвигается неотвратимое, что вот сейчас стараниями исполнительного Маркина будет окончательно погублен батальон. И чтобы воспрепятствовать этому, он ухватился за последний свой аргумент, других у него не осталось.

— А снаряды для батареи выделены? Батарея сидит без снарядов, кто подавит их пулеметы?

— Пусть их поищет у себя командир батареи.

— Батарея — не снарядный завод, — твердо сказал сзади Иванов. — Все, что было, я уже израсходовал.

— Так уж и все?

— До последнего снаряда. Можете проверить.

Наступила тягостная пауза, командир полка растерянно поглядел по сторонам, но тут же быстро нашелся:

— Раз нет снарядов, значит, по-пластунски! По-пластунски сблизится с противником и гранатами забросать траншею. Поняли?

— Так точно, — с готовностью, хотя и без подъема, повторил Маркин

— Товарищ комполка, — снова заворошился в траншее ветврач. — Под таким огнем невозможно даже и ползком. Я видел...

— Мне наплевать, что вы видели! — вскипел Гунько. — Вы не затем присланы в полк, чтобы мешать выполнению боевой задачи.

— Я прислан контролировать ее выполнение, — озлился и ветврач. — И я доложу командиру дивизии. Вы неправильно ставите задачу...

— Не вам меня учить, товарищ ветврач. Маркин!

— Я, товарищ майор!

— Навести в батальоне порядок и атаковать высоту. К тринадцати ноль-ноль доложить о взятии! Ясно?

— Ясно, — заметно упавшим голосом выдавил Маркин, и Волошин, в последней попытке спасти положение, свой батальон, дернулся вперед.

— Каким образом он ее возьмет к тринадцати? Вон на соседней немцы. Они бьют батальону во фланг и спину. Сначала надо взять высоту «Малую»...

— Капитан Волошин, это не ваше дело! — заорал Гунько. — Я вас отстранил от батальона!

Командир полка демонстративно отвернулся от Волошина.

— Командир батареи, приказываю ни на минуту не отставать от командира батальона, — отдавал он последние распоряжения командирам, сгрудившимся возле него так, что Волошин остался один, за их спинами, никому не нужный, забытый в этой накаленной до предела обстановке.

— Пулеметы... Где пулеметы ДШК? — торопливо спросил Гунько.

— Здесь. На своих позициях, — оглянулся Маркин.

— Пулеметы — вперед! Всему батальону ползком вперед! Поняли? Только вперед! — командовал Гунько, суровым взглядом поедая Маркина.

— Есть!

Явно довольный собой и своей распорядительностью, командир полка сноровисто выскочил из траншеи, за ним вылезли остальные. По одному они перебежали открытый участок поля и скрылись в гривке кустарника...

В траншее стало свободнее, и все же Маркин, отдав распоряжение о вызове к нему командиров рот, продолжал стоять к Волошину спиной и молчал, то ли от незнания, как вести себя с бывшим своим командиром, то ли просто придавленный грузом свалившейся на него обязанности.

Иванов, чувствуя себя крайне неловко перед своим другом, которого отделял от него рядом стоящий новый комбат, пытался занять себя, тихо переговариваясь с огневой позицией.

Посыльные — те просто быстро подбегали к Маркину, выслушивали его приказания и, выказывая нетерпеливую исполнительность, козырнув, так же быстро убегали по траншее.

Волошин почувствовал себя лишним. Стараясь сохранить остатки спокойствия, он протиснулся за спиной Маркина к блиндажу и, тихо откинув палатку у входа, юркнул в темный провал двери...

В блиндаже, опустевшем и холодном, Волошин сел на солому и, откинувшись спиной к стене, хрипло вздохнул...

Сперва он пытался прислушиваться к тому, что происходило в траншее рядом: он слышал голос Маркина, отдававшего какие-то не очень разборчиво слышимые распоряжения — Маркин еще говорил негромко, не очень уверенно, и командные нотки проскакивали в его разговоре редко.

«Ничего, — думал Волошин, — этот быстро пары наберет...» Чаще были слышны четкие короткие ответы связных, приходивших к Маркину и быстро исчезавших.

«Неужели никто так и не удивится хотя бы отсутствию комбата? — болезненно-ревниво думал Волошин. — Все-таки старался быть хорошим для них командиром и, наверное, пострадал из-за этого?..»

И вот он услышал, наконец, голос Кизевича. Тот спросил у кого-то: «А комбат где? Ранен, что ли?»

Не Маркин, а кто-то другой, кажется, комсорг полка, ответил:

«Командир полка отстранен...»

«Едрит твои лапти...» — выругался Кизевич, пробормотал еще что-то безучастное к Волошину и... все!

«Вот и все! — подумал Волошин. — Вот и все поминки по тебе!.. А ты вообразил, что как бы твое отстранение не вызвало протеста среди подчиненных!.. Какой может быть в армии

протест? Отстранен — значит, за дело! — и тут же сам себе возражал: — Ну и пусть! Оттого мне хуже не будет. Как-нибудь перемучаемся до конца боя, а там видно будет... Я еще посмотрю, как они справятся без Волошина... Командиру полка, да и Маркину, еще предстоит познать, что такое высота. И поделом!.. — и снова возражал себе: — А батальон? А люди? При чем здесь они?.. И в чем твоя вина, комбат Волошин?..

* * *

...Стоя в неглубокой, наспех отрытой траншее, привычно склонившись грудью на бруствер, комбат Волошин смотрел в бинокль.

Голые, недавно вытаявшие из-под снега склоны высоты, с извилистым шрамом траншей на самой вершине, несколькими свежими пятнами минных разрывов, чахлый кустарник внизу — все застилал сумрак быстро надвигавшейся ночи.

Меняя позу, Волошин неловко повернул локоть, и ком земли с глухим стуком упал на дно. Тотчас в траншее послышался обиженный собачий визг, и на осыпавшуюся бровку мягко легли две широкие когтистые лапы.

— Джим, лежать! — тихо, не оглядываясь, скомандовал Волошин.

Собака тотчас послушно улеглась у ног хозяина, но, тихонько поскуливая, глядела на Волошина, пока он не оглянулся.

— Ну, ладно, не скули... Не нарочно ж я...

Джим, словно удовлетворенный ответом хозяина, смолк.

А Волошин снова стал смотреть на высоту. Не отрывая глаз от бинокля, он повертел пальцами окуляры, отыскивая наилучшую резкость, но видимости по-прежнему не было. Опустив бинокль, он расслабленно откинулся к задней стенке траншеи...

— Да, Джим, кажется, мы вчера дали маху, не атаковав с ходу высоту. Понимаешь, были шансы захватить ее, но... подвела артиллерия. У нашего друга Паши к тому времени не осталось и десятка снарядов... Что он мог сделать на таком голодном пайке?.. Соседний батальон ввязался в затяжной бой за совхоз много правее... кстати, тоже неудачно, а значит, и ему не до нас было... Когда я все-таки спросил про высоту компол-ка, он ничего не ответил. Он в такие минуты отмалчивается, как ты, Джим... хотя можно понять: наступление выдыхалось, задачу свою полк кое-как выполнил, а дальше, наверно, еще не было определенного плана и у штаба дивизии... И все-таки высоту надо было брать. Теперь не сидели бы почти в болоте...

Конечно, потрепанного нашего батальона было недостаточно, но и высота была не та, что сейчас... Вчера на ее голой вершине еще не была отрыта траншея, а главное — правофланговый склон над болотом, кажется не был еще занят немцами. Заняли они его утром и весь день, не обращая внимания на наш пулеметный обстрел, копали... Отсюда хорошо было видно, как там мелькала над брустверами черная россыпь земли... как урчали моторы... подошли, наверно, несколько грузовых машин, и немецкие саперы до ночи таскали по траншее бревна — ясно, для блиндажей и окопов... А ночью, пожалуй, заминируют и склоны. Теперь возьми ее, попробуй — батальон все тот же, а она уж не та, что вчера... А брать ее, наверно, все равно придется. Сколько тут просидишь, в болоте?..

Быстро темнело, над голым мартовским пространством все гуще растекались холодные сумерки, в которых тускло серели пятна еще не растаявшего снега во впадинах...

По траншее к Волошину незаметно подвинулся дежурный разведчик, наблюдавший из соседней ячейки за высотой. Зябко передернув плечами под серой замызганной телогрейкой, он сказал как бы самому себе:

— Укрепляется, гад!

Комбат молча кивнул в ответ. Было холодно, и Волошин, как и боец, невольно передернул плечами. Джим, словно поняв намерения хозяина, пробежал шагов пять по траншее и, остановившись, вопросительно глянул серьезными, немножко печальными глазами.

— Так, Прыгунов, наблюдайте, — стряхивая с локтей и бортов шинели налипшую землю, сказал Волошин. — Если что — сразу докладывайте.

— Есть, товарищ комбат.

— Только не вздумай курить.

— Некурящий я.

— Тем лучше. На ужин подменят.

Обдирая стены узкой траншеи плащ-палаткой, наброшенной поверх шинели, Волошин быстро пошел вниз к землянке...

...Сооруженная наспех землянка — временное полевое пристанище — получилась не бог весть какая: вместо бревен крытая жердями и соломой с тонким слоем земли наверху, двери тут вообще никакой не было, просто на входе висела чья-то палатка, поэтому, приподняв ее, Волошин сразу очутился возле главной радости этого убежища — переделанной из молочного бидона, хорошо уже натопленной печки.

— О, блаженство! — не удержался он от восклицания, протягивая к теплу настывшие руки. — Как в Сочи! Что улыбаетесь, Черноручено? Вы были в Сочи?

— Не был, товарищ комбат.

— То-то!

Немолодой, медлительный в движениях телефонист Черноручено, несмотря на то что не был в Сочи, почему-то продолжал улыбаться.

В землянке было четверо: ординарец Гутман, отдыхавший перед сменой на НП разведчик — тоже чему-то улыбались, и только один начштаба лейтенант Маркин в наброшенном на плечи полушубке деловито-сосредоточенно возился со своими бумагами, разложенными на ящике.

— Что случилось? — заинтригованно спросил Волошин.

— Сюрприз для вас, товарищ комбат, — отозвался ординарец.

— Что еще за сюрприз?

— Пусть Черноручено скажет. Он лучше знает.

Черноручено, смущенно улыбаясь, почему-то посмотрел на Маркина.

— Ну, говори, говори, — коротко сказал тот.

— Орден вам, товарищ комбат. Из штаба полка звонили.

Волошин как-то неопределенно хмыкнул и, не сказав ни слова, перешагнул через длинные ноги лежавшего разведчика, сбросил с себя плащ-палатку и сел подле ящика, на котором тускло светил стоящий карбидный фонарь.

Джим, с почтительной важностью воспитанного пса, опустился на задние лапы рядом.

— Так что поздравляем, товарищ капитан! — сказал ординарец. — Вот тут я и обмывочку расстарался.

Он выхватил откуда-то алюминиевую фляжку и встряхнул ее. Во фляжке булькнуло.

— Пока спрячь, Лева, — смущенно поморщился Волошин. — Обмывочка не проблема.

— Ого! Не проблема! Да я ее у старшины едва выцыганил. Во второй батальон бегал. Самая проблема! Вот лейтенант весь вечер на нее поглядывает.

— Глупости вы городите, Гутман, — серьезно заметил Маркин.

— Вот лейтенанту и отдай, — улыбнулся Волошин. — А мне лучше портянки сухие поищи.

— Ай-яй! Портянки — такое дело!

Гутман вытащил из-под соломы туго набитый вещевой мешок и ловко развязал его.

— Вот, сухонькие.

— Спасибо.

— И снимите шинель, пуговицу в петлицу вошью. А то уже третий день обещаете.

— Только чтоб одинаково было: на правой и на левой.

— Будет в аккурат. Не сомневайтесь.

Волошин неторопливо снял шинель и, передав ее ординарцу, с наслаждением вытянул на соломе отекшие за день ноги.

— И кто придумал эти пуговицы в петлицах, — широким портняжным жестом раскидывая на коленях комбатовскую шинель, сказал Гутман. — Ни складу ни ладу.

— Тебя не спросили, — буркнул Маркин. — Придумали, значит, так надо было.

— А по мне, так лучше кубари. Как прежде.

Рассеянно слушая разговор, Волошин достал из брючного кармана часы и, положив их на край ящика, чтобы видеть светящийся циферблат, начал свертывать самокрутку.

— Из полка звонили?

Маркин оторвался от бумаг, кивнул:

— Звонили.

— Про высоту шестьдесят пять не спрашивали?

— Нет, не спрашивали... А что, все копают?

— Копают, — тихо ответил Волошин и умолк.

Маркин снова начал лениво разлиновывать тетрадь...

«Скоро надо будет звонить на полковой КП, — глядя на циферблат часов, думал Волошин. — Надо же, как до отвращения неприятны эти минуты. Эта его начальническая манера разговора, крики...»

Волошин прикурил, затянулся, наблюдая, как однобоко тлеет бумага на конце его самокрутки,

«Да-а-а, высоту надо было брать с ходу. Вчера был шанс захватить ее, развивая атаку, а мы остановились... Черт! — выругался Волошин, недовольный вчерашним решением командира полка. — Предложи вчера это не Волошин, а кто-нибудь другой, или будь на месте командира полка не Гунько, бой завершился бы атакой на высоту...»

Волошин заворочался, шурша соломой, приподнялся, откинувшись спиной к стенке землянки.

— Слушайте, лейтенант Маркин, — скрывая нахлынувшее вдруг раздражение, сказал Волошин. — Бросьте вы школьные тетрадочки линовать. Возьмитесь за карту, что ли, покумекайте над обстановкой...

— Есть покумекать, — быстро отозвался Маркин. — Хотя это дело штаба полка, а не батальона... батальона! — грустно ухмыльнулся он. — Семьдесят шесть человек на довольствии... Менее половины.

Волошин погрустнел, опустил голову.

— А разлиновывал я в тетради графы формы «2-УР», — с запоздалой обидой сказал Маркин. — Для записи предстоящего пополнения...

— Какого пополнения? — удивился Волошин.

— Извините, я не доложил: из полка звонили, сказали — будет пополнение.

— Много?

— Неизвестно. В двадцать два ноль-ноль приказано выслать представителя от батальона.

— Пополне-е-ение, — протянул раздумчиво Волошин. — Как бы завтра не того... Не пришлось бы брать ее, — кивнул он в сторону выхода.

— Ну да! — усомнился Маркин. — Денька два, наверно, подумают.

— Через день-два будет хуже. Он еще больше укрепится.

Сказав, Волошин потянулся к часам, взял их, посмотрел:

— Скоро надо будет звонить... докладывать обстановку.

— А может, не докладывать? — тихо заметил Маркин, бросив беглый взгляд на выход. — Молчат, и мы промолчим.

— Нет уж, спасибо. Будем докладывать как есть.

— Ну что ж, можно и так, — тут же согласился Маркин и снова склонился над тетрадью, которую он разлиновывал с помощью карандаша и шомпола.

— Значит, можно так и можно этак? — как бы самому себе задал вопрос Волошин, но ответил уже Маркину. — Нет, Маркин. Среди всех возможностей, которые предоставляет ситуация, на войне чаще всего выпадает самая худшая, плата за которую почти всегда — солдатские жизни. Трудно бывает с ней согласиться, но поиски путей в обход обычно приводят не только к конфликту с совестью, но и кое к чему похуже.

— Да я ничего, — смущенно повел плечами Маркин. — Я просто предложил.

— Из каждого положения есть три выхода, — поднял от шитья голову Гутман. — Еще Хаймович сказал...

— Помолчи, Гутман, — сказал комбат. — Не имей такой привычки.

— Виноват!

Волошин минуту помолчал, а затем тихо спросил, вроде бы между прочим:

— Вы, Маркин, в окружении долго были?

— Два месяца восемнадцать суток. А что?

— Так просто. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц.

— Так вы же с частью вышли, — не удержавшись, вставил свое Гутман.

Волошин посмотрел на него твердым продолжительным взглядом.

— Да, я с частью, — наконец сказал он. — В этом мне повезло. Хотя от полка, а командиром полка у нас был великолепный человек — майор Русов Иван Васильевич, осталось сорок семь человек, но было знамя, был сейф с партдокументами. Это и выручило. Когда вышли, разумеется.

— А у нас ничего не осталось, — дернул на плече полушубок Маркин. — Ни знамени, ни сейфа. Горстка бойцов, десяток командиров. Половина раненые. Кругом немцы. Решили выходить отдельно, мелкими группами, Пошли, напоролись на немцев. Неделю гоняли по лесу. Кору ели. Наконец, вырвались двенадцать человек. Смотрим, что-то больно уж тощие тут фронтовички. И курева нет. Едят конину. Слово за слово, — выясняется: так они тоже в окружении! Вот и попали из огня да в полымя. Еще припухали месяц...

— Это где?

— Под Нелидовом, где же. В тридцать девятой армии.

— Да, там невеселые были дела. Тридцать девятой хватало. Двадцать девятой тоже.

— А конникам Белова?

— Тех совсем немного осталось, — согласился Волошин.

— Неудачник я! — вдруг сказал Маркин, и Гутман с Черноручено насторожено подняли головы. — Что пережил, врагу не пожелаю. В резерве встречаю товарища, вместе выпускались из училища, — два ордена, шпалы в петлицах. А я все лейтенант.

Волошин оперся локтем на ящик и искоса посмотрел на притихших бойцов.

— Напрасно вы так считаете, Маркин. До Берлина еще длинный путь.

— А! — махнул рукой Маркин, снова принимаясь за свое дело. — Мое дело линеить...

Не успел он закончить фразу, как где-то наверху с нарастанием завизжало, донеслось несколько слабых минометных выстрелов, и тотчас близкие разрывы всколыхнули землю. На солому, на печку с потолка сыпануло землей, огонек в фонаре

вздрогнул, заколебав по стене горбатые тени. Вскочил разведчик. Черноручeнко почти упал телом на телефонный аппарат, защитно обхватив его руками.

— Что за черт! — Волошин рванул палатку над входом.

Следом за ним, в одно мгновенье накинув полушубок и схватив автомат, юркнул в траншею Гутман...

...В ночных сумерках над пригорком густо мелькали туго натянутые нити трасс — оттуда, с высоты, через их головы к лесу. Очереди были длинные и крупнокалиберные: дуг-дут-дуг донеслось с высоты.

Волошин, застегивая шинель, надевая портупею, кивнул головой ординарцу;

— А ну, пулей! Туда и обратно!

— Есть! — ответил Гутман, скрываясь в густеющих сумерках ночи. Выпустив пол-ленты, пулемет вдруг замолк. Стало тихо. Только где-то в тылу за лесом от далекой канонады слабым отсветом вспыхивал край неба.

— Это артиллеристы-разини! Всегда они по ночам засветят, — с раздражением сказал Гутман.

Комбат не ответил.

Зашуршала палатка, пятно света от фонаря косо легло на стенку траншеи.

— Товарищ комбат, десятый! — сказал высунувшийся из землянки Черноручeнко.

Внутренне поморщившись, Волошин взял из рук телефониста трубку, большим пальцем решительно повернул клапан.

— Двадцатый «Березы» слушает.

— Почему не докладываете? Что там у вас за артподготовка? Опять не выполняете правила маскировки?.. Але! Что вы молчите? Или заснули там? — рокотало в трубке.

И тогда Волошин позволил себе немного иронии, на которую майор Гунько обычно реагировал вполне серьезно.

— Стараюсь привести в систему ваши вопросы.

— Что? Какая система? Вы мне не мудрите, вы отвечайте.

— На столько вопросов сразу не ответишь.

— Плохой тот командир, который не умеет как надо доложить начальству. Надо на ходу смекать. Начальство с полуслова понимать надо.

— Спасибо.

— Что?

— Спасибо, говорю, за науку. И докладываю обстановку, — решительно перебил Волошин. — Противник продолжает

укреплять высоту «Большая». Визуально отмечены земляные работы с использованием долгосрочного покрытия — бревен. Также продолжается...

— А вы воспрепятствовали? Или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи размечают?

— Траншеи, к сожалению, они разметили вчера ночью, — нарочно не замечая издевки, докладывал Волошин. — К утру все было отрыто почти в полный профиль. Пулеметный огонь наш оказался малоэффективным по причине пуленепробиваемости укрытий. Другие средства воздействия отсутствуют. У Иванова «огурцов» всего десять штук. Я уже докладывал.

— Слыхал. А кто это дразнит немцев? Что за расхлябанность такая? Наверное, костры жгут? Или из блиндажей искры шугуют?

— У меня это не принято. Вы путаете меня с кем-то.

Майор на несколько секунд замолчал, а затем другим тоном, спокойнее, однако, чем прежде, заметил:

— Вот что, капитан, не тебе поправлять, если и спутал. Молод еще.

— Попрошу на «вы».

— Что?

— Попрошу называть на «вы».

Волошин начал терять выдержку, его так и подмывало швырнуть эту проклятую трубку. И действительно, одна сторона позволяла все что угодно, а другая должна была всячески соблюдать вежливость. Вот Волошин и не выдержал, принял предложенный тон.

Голос на том конце провода заметно изменился, притих, командир полка помедлил, прокашлялся и, кажется, сам уже готов был обидеться.

— Уже и в пузырь! Подумаешь, на «ты» его назвал! Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня. А на старших в армии не обижаются, у старших учатся.

«Чему?» — хотел задать вопрос Волошин, но Гунько перебил:

— Кстати, едва не забыл, — совсем уже изменившимся тоном подхвати Гунько. — Красное знамя получишь. Приказ прибыл. Так что поздравляю.

— Вспомнил! — отвернувшись от трубки обиженно пробурчал Волошин. Не успел он положить трубку, как рядом, коротко рявкнув, вскочил на ноги Джим.

Близко в траншее послышался топот, шорох плащ-палатки, слышно было, как кто-то спрыгнул с бруствера в траншею.

Черноручено бросился к выходу, но сразу же отскочил в сторону и прижался спиной к земляной стене.
— Куда тут? — послышался голос рядом с землянкой.
— Прямо, прямо, — ответил несколько дальше голос Гутмана.
— Осторожно, ступеньки, — это уже другой, незнакомый голос.
— Вижу.
В земляной пол возле печки ударил яркий луч света из фонарика, который затем метнулся под чьи-то ноги. Отбросив в сторону край палатки, в землянку ввалился грузный человек в теплой, с каракулевым воротником бекеше.
Джим опять угрожающе рыкнул и рванулся вперед. Волошин в последнее мгновение едва успел ухватить его за косматый загривок. Пес ошалело взвился на задние лапы, человек в коротком испуге отпрянул назад и раздраженно выругался.
— Что тут за псарня?
— Джим, лежать! — строго скомандовал Волошин.
Джим нехотя отступил и стал рядом, позволив вошедшему сделать три шага к свету.
В землянку тем временем продолжали входить другие, и она быстро становилась тесной. За первым вошли еще трое, последним пролез ординарец Гутман.
Волошин впился глазами в самого первого, который выглядел явно чем-то взволнованным и рукой все держался за обнаженную голову. Сначала Волошину показалось, что он растирает рукой озябшее ухо, но человек наклонился к свету, отнял руку от головы и поглядел на ладонь. На ней была кровь. Тут же к нему шагнул второй, в полушубке, с тонкой планшеткой на боку. При свете фонаря он начал вытирать окровавленную щеку вошедшего, на широком погоне которого вдруг блеснула большая генеральская звезда.
Волошин понял, что немедленно нужно доложить, и поэтому с досадным чувством оплошности шагнул к генералу:
— Товарищ генерал, командир батальона капитан Волошин...
— А тише нельзя?
Генерал вполоборота повернул к нему недовольное, в морщинках лицо с седым клочком коротеньких усов.
Секунду они молчали, стоя так друг перед другом, оба напряженные, большие и плечистые.
— Зачем так громко? Мы же не на плацу, И потом, видите, я не совсем в форме... потом доложите...
Генерал, переставив на ящике фонарь, сел с краю, не отрывая руки от виска, на котором кровоточила рана.

Майор в полушубке, что вытирал генералу щеку, повернулся к Маркину:

— Медпункт далеко?

— Через четыреста метров. В овражке.

— Пошлите за врачом.

— Врача у нас нет. Санинструктор, товарищ майор.

— Не имеет значения. Пошлите за санинструктором,

— Гутман! — кивнул Волошин ординарцу.

— Есть!

В землянке воцарилась неловкая гнетущая тишина. Начальство молчало, по обе стороны от него в почтительном молчании замерли Волошин и Маркин. У порога над печкой грел руки какой-то плечистый боец в бушлате. Майор поискал глазами место, чтобы сесть, и увидел Джима, настороженные уши которого торчали из тени.

— Овчарка?

— Овчарка, — сдержанно ответил Волошин и отступил в сторону. Генерал, грузно повернувшись на ящике, с любопытством посмотрел на пса:

— О, зверюга! Как звать?

— Джим, товарищ генерал.

Генерал снисходительно пошлепал ладонью по поле бекеши:

— Джим, Джим, ко мне!

Но Джим, не двинувшись, тихо и угрожающе рыкнул.

— Не пойдет, — сказал Волошин.

— Ну это мы еще посмотрим, — бросил генерал и перевел взгляд на Волошина. — Давно командуете батальоном?

— Семь месяцев, товарищ генерал.

— А чем раньше командовали?

— Ротой в этом же батальоне.

— Подождите, как вы сказали, ваша фамилия?

— Волошин.

— Это не ваша рота захватила переправу в Клепиках?

— Моя, товарищ генерал.

— Он тогда был представлен к ордену, товарищ генерал, — добавил майор, — «Красной Звезды», — уточнил майор, видя, что генерал молчит.

Но генерал никак не среагировал на слова майора и спросил совсем о другом:

— Где передний край вашего батальона?

— По юго-западным склонам, вдоль болота.

— Покажите на карте.

Волошин достал потертую гармошку карты и развернул ее перед генералом:

— Вот. Передовая траншея по промежуточной горизонтали над самым болотом.

При тусклом свете карбидки генерал молча принялся рассматривать ее, заметно относя карту подальше от глаз. К нему наклонился майор, и, вглядевшись в знаки рельефа, объявил уверенно:

— Ну, я же докладывал. Именно так: высота шестьдесят пять ноль.

— Так что же вы мне прогулку устроили по самому переднему краю? — ворчливо сказал генерал, прикрывая рану рукой. — Могли убить.

В тоне генерала, выговаривая майору, звучали отечественные нотки, которые тут же пропали, как только он посмотрел на Волошина.

— Так что же, выходит, высота у противника?

— У противника.

— Почему вы ее не взяли?

— Не было приказано, товарищ генерал.

— Вот так! — недоверчиво сказал генерал и приказал решительным голосом: — Вызывайте сюда командира полка!

— Черноручено! — повернулся Волошин к телефонисту. — «Волгу»!

— «Волга», «Волга», — прикрыв рукой трубку хрипловатым от волнения голосом повторял Черноручено. — «Волга»! Говорит «Береза»...

Майор достал из кармана большую коробку «Казбека», протянул ее генералу, тот одной рукой взял папирусу и прикурил от услужливо поднесенной зажигалки. Потом прикурил сам.

Стоя в напряженно-выжидательной позе, вполоборота к генералу, Волошин почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Скосив глаза в сторону, он увидел Джима, сидевшего в напряженной лозе на задних лапах. Собака смотрела на него преданным грустным взглядом и еле слышно поскуливала.

В настороженной тишине прошуршала палатка, из-под которой в землянку проскользнула Веретенникова, санинструктор седьмой роты. За нею влез ординарец Гутман.

Волошин мрачно двинул бровями и тихо про себя выругался.

Веретенникова тем временем быстро окинула взглядом знакомых и незнакомых людей и, вскинув к ушанке руку, уверенно шагнула к раненому:

— Товарищ генерал, младший сержант Веретенникова прибыла для оказания первой помощи при огнестрельном ранении.

Эта девчонка в явно широковатой для нее солдатской шинели доложила так складно и уверенно, что строгое, насупленное лицо генерала удовлетворенно разгладилось.

— Хорошо, дочка! Посмотри, что тут мне фрицы наделали.

Веретенникова, однако, снова вскинула руку:

— И разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал.

Генерал уже несколько удивленно приподнял голову.

— Прикажите комбату оставить меня в батальоне, — выпалила Вера.

Озадаченный генерал неопределенно хмыкнул и искоса из-под сурово надвинутых бровей взглянул на комбата:

— А что, он вас прогоняет отсюда?

— Отправляет в тыл.

— Таков приказ по полку, — сдержанно объяснил Волошин. — Санинструктор Веретенникова комиссована как непригодная к строевой службе, А вы, товарищ младший сержант, должны бы знать, как в армии полагается обращаться к старшим начальникам!

Веретенникова, однако, оставив без внимания его слова, по-прежнему держала руки по швам и не сводила глаз с генерала.

— Я не могу этого решить, — едва заметно повел плечом генерал. — Обращайтесь к вашему непосредственному начальству.

Девушка обиженно прикусила губу и резким, почти демонстративным движением рванула вперед санитарную сумку. Затем, бегло осмотрев рану, сказала коротко: — Надо остричь.

— Всего? — удивился генерал с нотками юмора в голосе.

— Вокруг раны,

— Ну что ж! Стриги, если есть чем.

Со словами «Найдется» Веретенникова вынула из сумки ножницы и довольно ловко остригла седоватый висок генерала. Генерал терпел. Потом Веретенникова достала сверток бинта, и ее руки начали ловко выстраивать сложную схему головной повязки. Когда она стала пропускать бинт через шею, это не понравилось генералу:

— Отсюда убери. Шея у меня здоровая.

— Так надо. Согласно наставлению.

— Какое наставление! — повернулся к ней генерал. — Мне руководить войсками, а вы из меня чучело делаете!

— Иначе повязка не будет держаться.

— Тогда ты не умеешь перевязывать.

— Умею. Не вас первого.

— Сомневаюсь.

— Так перевязывайте сами.

Точным, сильным рывком, она оборвала бинт, и не успели еще присутствующие в землянке что-либо понять, как взметнулась на входе палатка и санинструктор исчезла в траншее.

Но она не просто исчезла. Откидывая палатку, она вместе с ней оттолкнула входившего в землянку майора Гунько, и тот, нелепо взмахнув руками, отлетел к стенке.

— Что за безобразие! — растерянно воскликнул генерал. Восклицание генерала относилось к исчезнувшему санинструктору, а Гунько его принял на себя:

— Виноват, товарищ генерал! Командир полка майор Гунько! — и так в усердии лихо показал свою выправку, что на сапогах звякнули шпоры.

— Вы что, командир кавалерийского полка? — тоном, не обещавшем ничего хорошего, спросил генерал, в то время как майор кое-как связал на его голове обрывки бинта, оставленные Веретенниковой.

— Никак нет! Стрелкового, товарищ генерал.

— На какого же черта тогда у вас шпоры?

Гунько в замешательстве передернул плечами, бросив украдкой взгляд в сторону Волошина, по лицу которого было видно, что он не очень сочувствует своему командиру полка.

— Вы бы лучше порядок у себя навели! — вскочил энергично генерал. И менее заботились о своем кавалерийском виде! А то у вас бардак в полку, товарищ майор!

Мало что понимая, майор стоял смирно и невинно смотрел в рассерженное лицо генерала.

— А ну, покурите там! — через плечо бросил бойцам генерал.

Гутман, Черноручено и боец в бушлате вылезли в траншею. В землянке стало просторней, генерал отступил в сторону, и огонек тускло осветил немолодое, страдальчески напряженное лицо комполка.

— Какая у вас позиция? Где вы засели? В болоте? А немцы сидят на высотах! Вы что думаете, они вам оттуда будут букеты бросать?

— Я так не думаю, товарищ генерал! — сказал Гунько.

— Ах, вы не думаете? Вы уже поняли? А вы знаете, что все подъезды к вам простреливаются пулеметным огнем? Вот полюбуйтесь! — генерал ткнул пальцем в свой забинтованный лоб.

— Виноват, товарищ генерал, — только и нашелся ответить Гунько.

Волошин едва заметно улыбнулся.

Генерал, не встретив возражения, замолк, подошел к угасшей без присмотра печурке и начал толкать в нее разбросанный по земле хворост. В землянку повалил дым, генерал закашлялся, притворил дверцу.

— И вот он тоже виноват! — сказал генерал, повернув голову в сторону Волошина. — Он должен был взять высоту. А не сидеть в болоте.

— Мне не было приказано ее брать, — ответил Волошин.

— Вот он уже второй раз оправдывает свою бездеятельность отсутствием приказа, — поднялся генерал от печки.

Возле печки тут же оказался майор. В печи загудело, затрещало, все щели ярко засветились пламенем.

— По плану командующего высота в вашей полосе? — спросил генерал.

Командир полка поспешно схватился за свою полевую сумку.

— Так точно. Для меня включительно.

Немного суетливее, чем следовало, он достал из сумки испещренный знаками лист карты, и они склонились над ним в тусклом свете карбидки. Волошин молчал, с покорной готовностью подчиненного.

— Где же включительно? — выругался генерал. — На карте для вас исключительно.

— Так точно, исключительно, — поспешил подтвердить Гунько.

— Так что же вы путаете? Или вы не понимаете знака?

— Понимаю, товарищ генерал.

— Разгильдяи! — генерал отшвырнул карту. — Слишком о себе заботитесь.

Генерал страдальчески приложил руку к повязке.

— Надеюсь, товарищ генерал, ко мне это не относится? — не сдержался Волошин.

— Относится! — без промедления ответил генерал и шагнул к Волошину. — И к вам тоже относится! Вот мы разберемся, и будете завтра брать высоту штурмом. А то расположились мне, печки-лавочки.

Генерал уже сделал шаг к выходу, когда Волошин ответил:

— Судя по всему, высота шестьдесят пять ноль включительно для полосы соседней армии.

Генерал остановился. Его лоб под высоко надетой папахой резко белел в сумраке свежим бинтом.

— Ишь какой умник! Знает: соседней армии! А я вот нарезаю ее вам. А то, соседней! Вы знаете, где соседняя армия? У черта на куличках соседняя армия. Жуковку еще не взяла.

— Тем более нам нельзя вырываться, — возразил Волошин. — Открытый фланг.

— За фланги беспокоишься. А ты бы побольше о фронте думал. О фронте! За фланги позаботятся кому надо.

— Я беспокоюсь за батальон, которым командую. А в батальоне и так семьдесят шесть человек на довольствии.

Генерал замолчал, засунув руки в карманы бекеши, прошагал к печке, назад к ящикам и остановился, задержав взгляд на робком огоньке фонаря.

— Командир полка, вы получили пополнение?

— Так точно. Сегодня в конце дня.

— Пополните его батальон!

— Так точно!

— Мне нужны еще командиры, — с упрямой настойчивостью сказал Волошин. — У меня только один штатный командир роты. Недостает двенадцати командиров взводов. У меня у самого нет заместителя по политчасти — выбыл в госпиталь. Поддерживающая батарея артполка сидит без снарядов.

Наступило молчание. Командир полка, расслабив в колене ногу, продолжая стоять перед генералом, у которого все ниже на глаза оседали его тяжелые косматые брови.

Где-то на поверхности снова громыхнули взрывы, но в этот раз дальше, чем прежде; генерал настороженно вслушался, и, как только эхо разрывов смолкло вдали, спросил у Гунько:

— Вы на лошади?

— Так точно.

— С коневодом? Одну лошадь дадите мне. Поедем в штаб.

— Так мне готовиться к атаке? — грубовато спросил Волошин Гунько.

Гунько, в затруднении сморщив лоб, повернулся было к Волошину, потом к генералу, натягивающему на руки перчатки.

— Вот разберемся, и получите приказ, — ответил тот.

— Уже почти двадцать два часа, товарищ генерал, — посмотрев на свои часы, продолжая Волошин. — В случае чего, когда же мне готовиться?

— Надо быть всегда готовым, товарищ комбат! — сказал генерал.

Но не все еще кончилось для Волошина.

Протянув руку к палатке над входом, генерал вдруг остановился.

— За отсутствие дисциплины в батальоне и эти штучки санитарного инструктора объявляю вам выговор, комбат. Вы слышали?

— Есть! — выдавил Волошин.

Генерал еще раз посмотрел на Волошина и вдруг будто случайно увидел у стенки Джима.

— А собачку мы вашу заберем. Вам она ни к чему, командуйте батальоном. Крохалев!

Палатка на выходе приподнялась, и в землянку влез боец в бушлате.

— Крохалев, возьмите пса!

Боец не очень решительно сделал два шага вперед и с протянутой рукой наклонился к Джиму. Пес угрожающе насторожился и вдруг с такой яростью гавкнул, что Крохалев в испуге отскочил к порогу.

— Что, не идет? Комбат, а ну, дайте своего человека!

Волошин молчал. Волошин смотрел на Джима.

Генерал ждал. Пауза затягивалась.

Гунько деланно встрепенулся от возмущения:

— Вы слышали приказ? Где ваши бойцы? А ну там, в траншее, живо!

В землянку ввалился Черноручено, за его спиной выглядывал Гутман.

— Берите собаку! Живо! — приказал Гунько.

— Гутман, возьмите Джима! — кивнул ординарцу Волошин.

— Куда? Это наш Джим. Куда его брать?

— Прекратите разговор! — не выдержав, сорвался Волошин. — Берите!

Обескураженный холодной неумолимостью комбата, ординарец недоуменно пожал плечами:

— Гм! Мне что! Я выполню... Джим, ко мне!

Пес доверчиво подался Гутману, и тот взял его за ошейник.

Джим смотрел на хозяина. Волошин отвел взгляд в сторону.

— Вот так! — удовлетворенно сказал генерал, — Проводите к штабу, товарищ боец...

Генерал, а за ним вся свита покинули землянку...

* * *

Уголок палатки вверху над входом завернулся, и из щели в землянку пробивался слабый свет серого, блеклого дня.

Как ни прислушивался Волошин — наверху ни звука, словно все вымерло или сбежало куда-то. Даже немец не огрызается, молчит. И в этой настороженно-пугающей тишине мысли приходили такие же...

«Эх, Джим, Джим!.. Предал тебя твой хозяин... А потому что на поверку вышло, что у твоего хозяина рабская душа...

Ну почему я должен был подчиниться генералу? Потому что он — генерал?.. В служебном порядке — пожалуйста.. Обязан... Но здесь-то другое! Генерал позволил себе маленькую прихоть... каприз — увидел собачку!.. Ну почему ты не возразил, а согласился? Это не служебное рвение, а обыкновенное угодничество. Жаль, что у генерала с собой дудки не было, а то ты, может, и сплясал бы... Вспомни ты хотя бы на минуту о человеческом достоинстве... возрази... генерал — человек неглупый, опомнился бы! Ну, не сказал бы спасибо, конечно, но Джим сейчас бы был здесь... Может быть, Гунько прав, сняв тебя с батальона. Может быть, тебе, Волошин, и нельзя доверять жизни людей? Он же присутствовал тогда и видел, чего ты стоишь... А может, и в других случаях я не так поступал?..»

...В землянке Самохина ужинали. Тесно обсев разостланную на полу палатку, бойцы сосредоточенно работали ложками.

Когда Волошин приподнял брезентовый полог над входом, Веретенникова, укладывавшая вещмешок, метнула в комбата отчужденный обиженный взгляд и локтем толкнула лейтенанта Самохина.

— Вадька!

Самохин заветно встрепенулся, увидев комбата, сделал запоздалую попытку встать для доклада.

— Товарищ капитан...

— Ужинайте, — останавливая, поднял руку комбат.

Кто-то подвинулся, давая ему возможность присесть, кто-то перелез в другой угол.

Вверху под перекладиной, потрескивая и коптя дымил озокеритный конец телефонного провода.

Веретенникова еще раз обиженно взглянула на Волошина и занялась лямками вещевого мешка.

— Может, поужинаете с нами, товарищ комбат? — неуверенно предложил Самохин.

Комбат не ответил, бросив взгляд в сторону Веретенниковой.

В блиндаже все приумолкли, почувствовав его настроение, — наверное, тут уже были в курсе того, что произошло на батальонном КП. Волошин знал: они ждали разноса за случай с их санинструктором, окончившийся для него вторым генеральским выговором, но он не хотел начинать с этого. Он выжидал.

Но и они все выжидали, кое-кто изредка поглядывал на санинструктора, желая предугадать, как поступит она в том или ином случае.

В землянке было темновато. Вверху под перекладиной, потрескивая и коптя, дымил озокеритный конец телефонного провода, воняло жженым мазутом, шуршала над входом пожухлая от холода парусина.

Ощущая на себе вопрошающее внимание присутствующих, Волошин достал из кармана дюралевый, с замысловатой чеканкой на крышке портсигар, начал вертеть цигарку. Он выжидал.

Старшина роты Грак и командир взвода сержант Нагорный, сидевшие напротив комбата, сунули ложки за голенища, Самохин застегнул крючки шинели, Веретенникова начала надевать телогрейку. Судя по всему, конец ужина был испорчен, хотя супа в котелках ни у кого не осталось.

— Товарищ Самохин, сколько у вас на сегодня в строю?

— Двадцать четыре человека. С санинструктором.

— Санинструктора не считайте.

Самохин умолк, наверное, ожидая, что скажет комбат. Волошин затянулся, махорка в цигарке странно потрескивала, временами вспыхивая, будто к ней подмешали порох.

— Выделите двух человек. Двух толковых бойцов.

Самохин с заметным облегчением опустился ниже и выдохнул. Подвижный взгляд его темных глаз на молодом лице, соскользнув с комбата, остановился на сержанте Нагорном.

— Нагорный, дай двух человек.

— Отставить! — ровно сказал Волошин. — Наверно, у товарища Нагорного имеется воинское звание?

— Сержант Нагорный, выделите двух бойцов! — четко повторил Самохин.

— Есть!

Нагорный взял с пола автомат и с шумом протиснулся в траншею.

— И еще пошлите за командирами рот. Восьмой и девятой. ДШК тоже.

Самохин только взглянул на Грака, и тот, хотя и без спешки, вылез вслед за Нагорным.

В блиндаже остались только Волошин, ротный Самохин и Веретенникова.

Волошин свободнее вытянул ноги и пригасил самокрутку.

— Так до каких пор будем воду мутить, товарищ Самохин?

— Какую воду?

— Когда будет выполнен мой приказ?

Прежде чем ответить, лейтенант помолчал, бросая вокруг быстрые нервные взгляды.

— Завтра утром пойдет, — неуверенно пробормотал он.

— Никуда я не пойду! — тут же объявила Веретенникова.

— Вера! — с нажимом сказал Самохин.

— Ну что? Что Вера? Куда вы меня прогоняете? Как наступление, так нужна была, тогда не отправляли, а как стало тихо, оборона, так выметайсь! Я год пробыла в этом полку и никуда из него не пойду!

Волошина и злило это, и приводило в растерянность. «Черт знает что! — ругал он себя, поглядывая то на раскрасневшуюся и расстроенную Веретенникову, то на страдальчески нахмуренное лицо ротного. — Наблюдать такую сцену на фронте, в полукилометре от немецкой траншеи». И он не выдержал.

— Что же, — спросил он нарочито грубо, — вы и рожать тут будете?

— Ну и буду! А вам-то какое дело?

— Вера, ты что?! — чуть не хватался за голову Самохин.

— Нет уж, товарищ санинструктор! В моем батальоне роддома нет. Рано или поздно отправитесь в тыл. Так что лучше это сделать вовремя.

— Никуда я от Вадьки не отправлюсь, — девушка всхлипнула и закрыла лицо руками.

— Вера! Ну что ты! Успокойся. Все будет хорошо, пойми.

Самохин успокаивал Веру, уткнувшуюся лицом в телогрейку, а Волошин, почти с презрением глядя на своего ротного, чертыхался про себя: «Чертов бабник! Видный, неглупый парень, хороший командир роты, и на тебе, спутался с этой вздорной девчонкой... Надумали еще фронтовую женитьбу!.. Нашли время!»

Вера помалу начала успокаиваться, и Волошин сказал, чтобы разом покончить с этим уже надоевшим ему конфликтом:

— Завтра утром штурмуем высоту. Атака, наверно, в семь. К шести тридцати чтобы вас в батальоне не было.

Вера, вдруг перестав всхлипывать, насторожилась:

— Что? Чтобы я смылась за полчаса до атаки? Нет уж, дудки. Пусть мне генерал приказывает! Пусть сам маршал! Хоть сам господь бог. Ни за что!

— Ладно, Вера. Не горячись. Ну что ты как маленькая! — уговаривал ее ротный.

— Ну да, не горячись! Долго ты без меня уцелеешь? Дурачок, ты же в первую минуту голову сложишь! За тобой же, как за маленьким, смотреть надо!

— Вот так! — объявил комбат, не желая больше продолжать этот слезливый разговор, тем более что в траншее послышались шаги, и в блиндаж уже влезал Нагорный и с ним еще два бойца.

Почти одновременно бойцы доложили:
— Товарищ комбат, рядовой Дрозд по вашему приказу...
— Товарищ комбат, рядовой Кабаков...
— Стоять тут негде, поэтому садитесь и слушайте, — сказал комбат.
Бойцы послушно опустились в мигающий сумрак у входа.
— Вам боевая задача. Очень ответственная. Вооружиться ножами или штыками, прихватить с собой побольше бумаги — газет или книжку какую разодрать, тихо перейти болото и с обмежка по-пластунски вверх до самой траншеи. Без звука. У траншеи развернуться и таким же манером назад. Вот и все. Понятно?
Бойцы, слегка недоумевая, смотрели на комбата.
— Не поняли? Поясню. Проползти и ножами прощупать землю. Если где мина — не трогать. Только на то место клочок бумаги и камушком прижать. Чтобы ветром не сдуло. И так дальше. Теперь ясно?
— Ясно, — не слишком уверенно сказал Дрозд.
Кабаков шмыгнул носом.
Волошин внимательно посмотрел на него.
— Все это займет у вас не более двух часов. Может, так получится, что на нейтралке окажутся немцы. Тогда послушайте, чем они занимаются. И назад. Я буду вас ждать. Вопросы есть?
— Ясно, — бодрее, чем прежде, ответил Дрозд.
Кабаков опять шмыгнул носом и неопределенно прокашлялся.
— Значит, все ясно? — медлил Волошин. — Тогда сержант Нагорный проводит вас до льда и поставит вам задачу. На местности.
— Есть, — ответил Нагорный.
Бойцы поднялись и, пригнувшись, повернулись к выходу. Кабаков, шедший вторым, остановился.
— Я это... товарищ комбат, кашляю.
— Да? И здорово?
— Как когда. Иногда как найдет...
Кабаков замолчал и с преувеличенным усердием прокашлялся.
Мельком глянув в его глаза и увидев там страх и подавленность, Волошин сказал, стараясь быть сдержаннее:
— Тогда отставить. Вашу кандидатуру отставить. Вместо вас пойдет старший сержант Нагорный.
— Есть, — сказал Нагорный. — Разрешите выполнять?
— Выполняйте. По возвращении ко мне.

Нагорный с Дроздом вылезли, напустив в блиндаж стужи.

Кабаков остался, обреченно опустив голову.

— Боитесь? — спросил Волошин, в упор рассматривая бойца.

— Боюсь, — смиренно и искренне подтвердил боец.

— Лейтенант Самохин, он что у вас, всегда труса празднует?

— Да нет. Вроде не замечалось.

— Давно на фронте?

— Четыре месяца.

— Откуда сам?

— Из Пензенской области.

— Кто дома?

— Мать. И три сестренки.

— Старшие?

— Младшие.

— А отец?

— Нету. В сорок первом из-под Киева прислал письмо, и все.

Веретенникова страдальчески, прерывисто вздохнула. Снаружи послышалась стрельба — пулеметная очередь. Волошин прислушался. Стреляли откуда-то издалека, со стороны.

— Значит, боишься? — язвительно спросил Самохин. — За свою шкуру дрожишь?

— Все боятся. Кому помирать охота? — тихо сказал боец.

— Ах вот как! Еще философию разводишь! Я тебе покажу сейчас!

— Тихо, товарищ лейтенант! — остановил Волошин Самохина, пригнув голову направившегося к бойцу. — Идите на место, Кабаков.

Боец с поспешной неуклюжестью вылез из блиндажа.

Самохин, проводив его взглядом, зло отбросил из-под ног котелок:

— Ну и напрасно! Надо было специально послать, труса.

— Не стоит, Самохин.

— А потому что признался? Да? — не сдерживая себя, прокричал Самохин. — За это вы вину спустили?!

— Да, спустил, — спокойно ответил Волошин, — Помните толстовскую притчу: за разбитую чашку спасибо. Потому что не соврал.

— Притча! — не унимался Самохин. — Ему притча, а Дрозд что, камень? Да? И не боится? Вот шарахнет, и одни ошметки останутся. А этот жить будет, правдивец!

Комбат молчал. Он думал сейчас о разведчиках, посланных им.

В это время Дрозд и Нагорный были уже за болотом. Нагорный первым осторожно привстал на ноги, и тут же под ним хрустнул лед.

Дрозд, уже собиравшийся подняться вслед за ним, тут же прижался снова к земле.

Взлетела ракета, пущенная в их сторону, осветив впереди пологий склон высоты. Там перед глазами разведчиков на мгновение мелькнула длинная лента свежевспаханной земли траншей, опоясывающей вершину высоты. Взлетела вторая ракета, коротко, видимо для острастки, протарахтел пулемет.

— Я от кустика к кустику руками себя тащил, — тихо объяснял свою промашку Нагорный. — Всего раз и надавил ногой — видишь, какой треск...

— Да я тоже, наверное, весь свой пуп стер, — хмыкнул в ответ Дрозд. — Что дальше-то делать?

— Дальше по обмежку к склону и подавно по-пластунски. Давай разойдемся немного в стороны. Нож приготовил? — спросил он и, слазив за пазуху, достал какую-то потрепанную книгу. Осторожно, почти без шума, выдрал из нее половину листов и протянул Дрозду.

— «Дерсу Узала», — прочитал заглавный лист Дрозд. — Хорошая книга, жаль, не прочитал еще.

— Мин не будет — прочитаешь, — сказал Нагорный, затыкая за пояс свою половину. — Назад принесем.

— Нет, не прочитаю, — вздохнул Дрозд, осторожно продвигаясь вперед...

Как мы уже знаем, землянка командира седьмой роты была ниже блиндажа батальонного КП, поэтому вызванные Волошиным командиры рот расселись полукругом возле комбата: Самохин остался сидеть слева, поглядывая на пустующий угол, в котором, совсем еще недавно всхлипывая, возилась с вещмешком Вера; прямо перед комбатом расположился лейтенант Муратов — аккуратный, ловко затянутый ремнями; справа, несколько в стороне от Муратова, присел старший лейтенант Кизевич — мешковатый, в неподпоясанном полушубке, с обвисшими, без погон плечами.

— Не вижу командира ДШК, — взглянув на часы, сказал комбат, ни к кому не обращаясь.

— Он же приданный, — с ноткой иронии заметил Кизевич, — не привык к нашим порядкам.

В это время в траншее послышались торопливые, шаркающие шаги, и Кизевич усмехнулся:

— Топает крупнокалиберный!

В землянку влез щуплый, небрежно одетый, совсем не командирского вида взводный Ярошук.

— Морозец, черт бы на него, все жмет, — сказал он хрипловато.

Оглянув почти с ребяческим простодушием присутствующих, он, запоздало опомнившись, доложил:

— Младший лейтенант Ярошук прибыл...

— Садитесь, товарищ Ярошук, — сказал комбат. А кто-то фыркнул.

— Ну что ж, можно и сесть, если не прогоните, — сказал и сел. — А я это... в окопчике под брезентом кимарнул малость. Промерз как цуцик... У тебя нет закурить, Самохин?.. А бумажки нет? Ну ладно, найдем, — сказал он, принимая щепоть махорки от Самохина.

— Берите, товарищ Ярошук, — улыбаясь, Кизевич протянул газетный клочок взводному. — Вы хоть и младший лейтенант, а курить вам пора уже бросать.

— Благодарствую, — ответил уважительно Ярошук, скручивая цигарку. — И правда, я среди вас самый младший по званию, и самый старший по годам... Мне под пятьдесят. А курить я начал тут, на фронте. Я ведь бывший сельповский работник с Пензенщины. Когда-то при увольнении со срочной службы мне присвоили младшего лейтенанта запаса, так и хожу в этом звании... пока война. Кончится — в свой колхоз пойду... А там что? Там не звездочки, там руки нужны, и курить некогда бывает, — улыбнувшись закончил он.

— Спасибо за информацию... Степан Игнатьевич, — несколько замешкавшись, вспоминая имя и отчество взводного, сказал Волошин, — но пока вы на фронте и командир взвода...

— Само собой, товарищ комбат, службу сполняю справно...

— Та-ак! — поставил точку разговорам Волошин. — Товарищи командиры! Приказа еще нет, но я думаю, будет и, судя по всему, завтра придется брать высоту. Давайте готовиться не теряя времени.

Командиры молчали. Первым, с удивленным видом, вытянув шею из ворота полушубка, заговорил Кизевич:

— Если дивизиона два поработают, может, и возьмем.

— Насчет двух дивизионов сомневаюсь, — нахмурился Волошин. — Боюсь, как бы дело не ограничилось батареей Иванова.

— Утречком мой старшина ходил, — сказал Кизевич. — Сидят, говорит, гаубичники, а промеж станин снарядов по одному ящику.

— Снаряды подвезут. А вы обеспечьте гранатами. Понадобятся. Старшина Грак!

— Слушаю, товарищ комбат, — встрепенулась на пороге темная фигура Грака.

— У вас был ящик с КС. Раздайте его между ротами,

— Есть.

— Так. В седьмой роте три пулемета?

— Так точно, — четко ответил Самохин. — Один «Горюнова» и два РПД.

— Восьмая?

— Восьмая — «Максим» одни, РПД одни, — доложил Муратов.

— Девятая?

— Два «Максима», — ответил Кизевич.

— А трофейный кольт? — записывая что-то в блокнот, как бы между прочим, спросил комбат.

— А что трофейный? Он так.

— Как это так?

— На повозке лежит. Что, я из него стрелять буду?

— Почему вы? У вас есть для того пулеметчик.

Прижимистый Кизевич, как видно, уклонялся от прямого ответа, и комбат, в упор уставясь в него, со значением постучал карандашом по сумке.

— Значит, у вас, старший лейтенант Кизевич, трофейный пулемет на повозке?

— На повозке. А что?

— Передайте его Муратову. Он найдет ему лучшее применение.

— Это за какие заслуги? — болезненно напряг свое узкое, горбоносое лицо Кизевич.

— Так надо.

— Надо! Надо было свой беречь. А то свои поразгрохали, а теперь на чужие зарятся.

— Я у вас ничего не прошу! — вспыхнул Муратов.

— Ну и нечего тогда говорить. А то кольт, кольт...

— Патроны отдайте тоже, — продолжил Волошин ровным голосом. — Сотни три их должно у вас быть. А чтобы Муратов

не искал у себя пулеметчика, передайте и его. Сипак, кажется, его фамилия?

— Какой Сипак? Сипак на прошлой неделе убит. Новый пулеметчик.

Комбат смолк, почувствовав болезненную неловкость от этого известия: «Как же я этого не знал? — виновато думал Волошин. — Я должен был это знать. Сипак же мой старый солдат, с начала боев».

— Передайте нового, — приказал он с прежней твердостью.

— Едрит твои лапти! Еще и нового! Что у меня, запасной полк, что ли? — развел руками Кизевич. — Как только что, все у девятой. Кольт! Может, на него у меня главный расчет был. Я уже из него все ориентиры пристрелял. А теперь получается: отдай жену дяде.

— И правильно. Чтоб не хитрил, — тихо вставил Самохин.

— Ага! А ты не хитришь? Честный какой!

И вдруг Волошин пошел в защиту Кизевича:

— То, что Кизевич умеет по-хозяйски беречь людей и имущество, этого у него не отнимешь. Это пример другим... Сейчас по огневым средствам ослаблена восьмая, и Кизевич ради общего дела поделится с ней. А лейтенанту Муратову надо бы порасчетливее быть с боеприпасами... И темперамент сдерживать, и патроны беречь.

— Как можно беречь, товарищ комбат? Я командую: короткими очэрэдь, короткими очэрэдь! Получается, много короткий очэрэдь — одын длинный очэрэдь! Расход большой!

Напряженная обстановка разрядилась. Ротные засмеялись. Фыркнула в кулак даже Веретенникова.

— Так, все! — объявил Волошин. — Давайте готовиться. Приказ отдам дополнительно.

Комбат неспешно, пока выходили ротный из землянки, сложил блокнот, карту в полевую сумку и так же неспешно вышел в траншею.

Высота мрачным горбом по-прежнему молчаливо дремала в ночной темноте по краю неба.

— Возвратятся разведчики — сразу ко мне на КП, — сказал Волошин вышедшему проводить его Самохину.

— Ясно, — подтянувшись по-уставному, ответил лейтенант.

Не успел Волошин сделать и двух шагов вдоль траншеи, как столкнулся со своим ординарцем.

— Товарищ комбат, прибыло пополнение, — запыхавшись, доложил Гутман.

— Много?
— Девяносто два человека...
— Ого!..
В голосе комбата, в этом коротком восклицаний не послышалось удовлетворения, и он прошагал молча до конца траншейки Самохина. И когда ротный остановился, Волошин, оглянувшись, сказал на прощание:
— Ну, вот и пополнение. Пошлите старшину за людьми... И передайте Муратову и Кизевичу.
— Есть, — ответил Самохин.
Он смотрел вслед комбату. В полумраке траншеи как-то очень уж по-сиротски смиренно ссутулилась его фигура, теперь немногословного, заметно приунывшего...
— Вот я иду и думаю, товарищ комбат, знаете про что?
— Ну? — отозвался Волошин, шагая по невидимой тропе за ординарцем.
— Как до войны, мы, мальчишки, ходили в ночное... костры палили... тихо было, хорошо... и всегда про что-нибудь страшное рассказывали... про разбойников, про волков, про цыган... А вот сейчас война, а вспоминается только про все хорошее, красивое...
— Диалектика души, мил человек.
— Точно! Ведь вот как сейчас? Всего какие-то полкилометра отошли от передовой роты, а что-то изменилось. Ну какой тут, скажем, тыл, а на душе просветление...
— Это потому, что ты в дивизии побывал, — отшутился комбат. — А кстати, как там?
— Там все кумекают. Насчет высоты этой.
— Да? Ну и что?
— А! Послушал, так смешно стало. Батальоны, батареи, взаимодействие! А никому невдомек, что батальон этот — одна рота,
— Да? Что же ты не доложил им?
— А что я? Мое дело маленькое. Привязал Джима ремнем к столу и пошел.
— Ну и как он?
— Сидит. За пять шагов никого не подпускает. Пусть! Еще наплачутся с ним.
— С ним что плакать? Как бы мы без него не заплакали...
На КП было полно людей. Стаяли группами. Молча, подняв воротники и отвернувшись от холодного ветра.
Стояли и сидели также у входа в землянку, где-то слышались приглушенные реплики на непонятном языке.

Ординарец легко соскочил с бруствера, за ним соскочил комбат. Они протиснулись между безразличных к ним, незнакомых бойцов и полезли в землянку...

Тут тоже было тесно. Несколько фигур в шинелях загораживали скупой свет фонаря, у которого склонился Маркин, переписывавший что-то. Заслышав шаги комбата, начштаба поднял голову и выразительно, со смыслом вздохнул.

— Патроны у пополнения есть?

— Патроны-то есть, да что толку.

— А что такое?

— Что? — лейтенант многозначительно кивнул в сторону бойцов. — По-русски ни бельмеса, вот что.

Человек пять в мешковатых шинелях и касках, надвинутых на зимние шапки, молча стояли перед начштаба с терпеливой покорностью на широких остуженных лицах.

— Замучился совсем, — сказал Маркин и громко спросил одного из бойцов: — Место рождения? Область? Семейное положение?

Маркин задавал вопрос, а низенький, с припухшим лицом красноармеец переводил, и очередной боец что-то отвечал коротко и непонятно...

«Ни бельмеса по-русски, говоришь... А разве они виноваты? — глядя на бойцов пополнения, с тревогой рассуждал Волошин. — Но что мы могли сделать за какие-то двадцать лет? Хорошо еще, что безграмотность позади, и то не у всех, наверное... И с жаркого юга в эту промозглую грязь... без отдыха...»

— Много еще писать? — видимо, приняв какое-то решение, твердо спросил Волошин.

— Заканчиваю, — ответил Маркин. Комбат резко обернулся к ординарцу:

— Товарищ Гутман! Стройте пополнение!

— Есть! Пополнение — строиться! — старшинским голосом скомандовал Гутман.

Следом за Гутманом торопливо, толкаясь, вышли новенькие. Волошин поправил портупею, одернул шинель и вышел из землянки...

Приглушенный топот наверху еще не утих, когда комбат, решительно опершись на бруствер, выскочил из траншеи.

Гутман поспешно скомандовал «Смирно!»

В этот момент сзади над высотой взмыла ракета, ее трепетный отсвет прошелся по лицам бойцов, которые с пугливой опаской съежились, однако не оставили строй. Все посмотре-

ли на высоту, потом на комбата, который спокойно прошел до середины строя и остановился.

Ракета догорела, мерцающий над высотой полумрак сменился вокруг плотной ночной темнотой.

— Кто понимает по-русски?

— Я понимай.

— Я тоже.

— Один человек — ко мне!

Кто-то вышел из строя и встал в трех шагах от комбата.

— Становитесь рядом, будете переводить. Больные есть?

Боец негромко сказал несколько слов на своем языке.

— Есть, — ответил по-русски комбату.

— Больным — пять шагов вперед, шагом марш!

Переводчик повернулся лицом к строю и не очень уверенно перевел. Волошин заметил, что слов у него почему-то получилось больше, чем было в его команде.

В это время сзади снова засветила ракета. Волошин, не шевельнувшись, вслушался: «Если начнется стрельба, — лихорадочно подумал он, — значит, разведчики напоролись на немцев и ничего у них сегодня не выйдет...»

Но было тихо, и Волошин, сдерживаясь, чтоб не заметили, освобожденно вздохнул.

Когда снова над ветреным ночным пространством сомкнулась тьма, он заметил, что строй перед ним шевельнулся и несколько человек вышло вперед. Выходили по одному, не сразу, с заметной нерешительностью останавливаясь перед строем, настороженно поглядывая на командира батальона.

— Кто не обучен — три шага вперед, марш!

Боец снова перевел, помедлив, еще вышло шесть человек. Остановились, однако, почти в ряд с теми, что вышли на пять шагов.

Волошин заметил эту неточность, но поправлять не стал, теперь это не имело значения.

— Кто очень боится — тоже!

Переводчик не скомандовал, а скорее объяснил команду, и комбат внутренне сжался, ожидая ее исполнения. Но в этот раз строй стоял неподвижно.

— Так! Вот этим, что вышли, напра-во! Товарищ Гутман, отвести группу назад в штаб.

— Назад? — удивился все понимающий Гутман, но поспешно скомандовал: — За мной шагом марш!

Когда они, по одному перепрыгнув траншею, скрылись в ночи, Волошин подошел к строю ближе. Две поредевшие шеренги с напряженным вниманием уставились на него.

— А с вами будем воевать. Переведите. Вы знаете, не мы начали войну. Они пришли убивать, и мы вынуждены защищать нашу землю. Кто за нас, если мы мужчины, сделает это? Кто защитит наш дом, мать, жену, детей?.. Завтра мы пойдем в бой. Все вместе. Кто-то погибнет. Если будете действовать дружно и напористо, погибнет меньше. Замешкались под огнем — погибнет больше. Запомните закон пехотинца: как можно быстрее добежать до врага и убить его. Не удастся убить его — он убьет вас. Все очень просто. На войне все просто. И страшно. Всем страшно. Главное — победить страх.

Пока переводчик, путаясь, пересказывал его слова, Волошин выжидательно прошелся перед строем.

Обойдя траншею КП, подошли несколько человек и остановились невдалеке от комбата. В переднем из них Волошин узнал старшину седьмой роты Грака.

— Так. Все. Есть вопросы? — обратился комбат к строю. Вопросов не было.

— Восемь, девять, десять, — начал комбат отделять четверки. — Эти сорок бойцов, направо! Старшина Грак, получайте!

Старшина отвел своих в сторону.

— Восьмая и девятая рота — по восемнадцать человек. Получайте!

— Всего только? — удивился присланный сержант из восьмой.

— Только всего. Зато без брака.

Пополнение повели в роты.

Волошин остался один, соскочил в траншею и, в который раз, уставился взглядом на высоту.

В накинутом на плечи полушубке из землянки вышел Маркин.

— А-а, это вы? — оглянулся комбат. — Давайте-ка, начштаба, покумекаем...

Маркин подошел к брустверу и встал рядом с комбатом.

— Соседний за болотом пригорок помните? — Волошин указал рукой куда-то вправо. — С виду это малозаметная среди мелколесья горбинка... ее сейчас и вовсе не видно, да и на карте она обозначена двумя горизонталями...

— Я помню, — кратко ответил начштаба.

— Располагается она, раз помните, далеко за флангом, на соседнем участке. Я примерно догадываюсь, какое придет боевое распоряжение из полка, — Гунько предложит на атаку охватный маневр. Значит, все роты батальона растянем по фронту, так?.. Если так, то эта горбинка, или «Малая» высота,

окажется на фланге, почти в тылу боевого порядка наступающего батальона, так? А вдруг там немцы?

— Я допускаю это.

— А что мы должны предпринять?

— Как прикажете.

— А где ваша инициатива, лейтенант?

— Моя инициатива в выполнении приказа.

— В таком случае приказываю, — сдерживая себя, тихо приказал Волошин, — отправляйтесь в девятую и организуйте разведку этого бугра за болотом.

— Есть! — ответил Маркин и, подпоясываясь ремнем с кобурой на боку, проговорил: — Я, собственно, товарищ капитан, вышел чтобы спросить вас о выбракованном пополнении...

Волошин молча ждал вопроса.

— Думаете, они действительно больные?

— Вовсе не думаю.

— Так как же тогда, за здорово живешь — шагом марш в тыл?

— Надеюсь, лейтенант, — помолчав спросил Волошин, — вы меня за идиота не принимаете?

— Да я что? Я так просто... сказал...

— Кто-кто, а вы-то должны понимать. Мишени на поле боя нам не нужны.

— А эти, что остались, не мишени?

— Это будет зависеть от нас.

— От нас! — с заметным озлоблением сказал начштаба. — Как бы не пришлось на атаку в зад пинать.

— Очень даже возможно. А через неделю-другую. А через две уже награждать будем!

— Если будет кого, — проворчал Маркин, поправляя кобур нагана.

— Все зависит от нас, лейтенант.

— Вот посмотрим, как они утром пойдут, — сказал он уже на ходу... Волошин посмотрел вслед Маркину, постоял, прислушиваясь к темноте.

Высота молчала. Тревожное нетерпение все усиливалось.

Комбат тихо шел по косогору. По-прежнему было темно. Напористый ветер суматошно теребил сухие стебли бурьяна, с тихим присвистом шумел в мерзлых ветвях кустарника. Сдвинув кобуру вперед, он настороженно посматривал по сторонам, влез в какие-то колючие заросли, расцарапал себе лицо и руки, пока выбирался из них...

«Черт! — выругался он, оступившись. — Зачем поперся один? Мало ли что может случиться среди ночи, в полукилометре от немцев. Они ведь тоже, наверно, не спят — организуют охранение, ведут поиск разведчиков и, может, уже рыщут где-либо поблизости... Вот будет радость фрицам, когда сцапают командира батальона!.. Конечно, я, волк стреляный, так не дамся... Ну, загнусь — какая радость? Оставить батальон без командира перед самой атакой... Нет, пожалуй, ничего хуже, чем случайная смерть без своих рядом, без свидетелей. Наверное, найдется такой, что скажет: перебежал к немцам или что-то в этом роде... Спрашивается, зачем пошел один? Без ординарца, без связного... С Джимом было надежно. Джим в таких случаях незаменим своим собачьим чутьем... А вообще-то я разучился ходить без него...»

— Стой! Кто идет? — раздался окрик из темноты.

— Свои, — отозвался Волошин.

— Пропуск?

— Боек.

— Стой!

— В чем дело?

— Пропуск?

«Что за черт? — выругался Волошин. — Не забрел ли я на соседний участок, в другой батальон?»

С неприятным чувством он остановился перед наставленным на него автоматом человека в плащ-палатке, уже кричавшего в темень:

— Товарищ сержант Матвейчук!

— Что такое?

«Неужели это батарея Иванова? — удивился комбат. — А я думал, еще рота Кизевича».

— Кто такой? — вырос перед Волошиным ординарец Матвейчук.

— Это я, Матвейчук.

— А, товарищ капитан? Проходите, — легко узнал его Матвейчук.

Часовой с молчаливой бесстрастностью взял автомат на ремень.

— Капитан тут?

— Тут. Проходите.

Волошин протиснулся через узкий проход в землянку...

В землянке было тепло до духоты. Возле входа на полу стремительным пламенем сипела под синим кофейником паяльная лампа.

Напротив, на устланных лапником нарах, с книжкой в руках лежал командир батареи капитан Иванов.

Маленькая аккумуляторная лампочка под потолком освещала это уютное жилище.

— Привет, бог войны!

— Салют, салют, царица полей! Как раз вовремя. Будем пить кофе.

— Ты все еще кофе пьешь? Завидую, завидую. — Волошин, пригнув голову, приткнулся в ногах командира батареи. — Ладно, немного погреюсь у вас. Как настроение?

— Соответственно обстоятельствам.

— Откуда кофе, аристократ?

— Говорят, Паулюс не успел допить в Сталинграде...

— Что читаешь? — заглянул Волошин на обложку книги. — А, Есенин.

— Представь себе, ребята у немца взяли. Убитого. Зачем ему был Есенин, понять не могу.

— Может, по-русски читал?

— Может... Это же, знаешь, поэт! Поэзия, музыка, чувство! Жаль, до войны я его не читал как следует... Вот послушай:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой...

— Тот вечерний несказанный свет! — закончил Волошин. — Это и я знаю.

— Или вот еще. Почти про нас:

Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо бы роман...

— Ну как?

— В самый раз, — сказа Волошин. — Только романа не хватает. Слушай, как у тебя на батарее с «огурцами»?

— Почти никак.

— В шесть тридцать будет атака.

— Да, мое начальство звонило, распорядилось занять «огурчиков» у соседей. Послал ребят. Снарядов по двадцать будет на гаубицу.

— Для моральной поддержки, — невесело заметил Волошин.

— Для моральной, конечно. Опять же не могу расстрелять все за один раз. Мне же надо и на случай чего. Для самообороны.

Тем временем Матвейчук налил в кружки кофе. Черные сухари.

— Ну, давай кейфанем, — гостеприимно пригласил Иванов. — Знаешь, люблю маленькие приятности, которые в состоянии себе позволить.

— Вот именно, только и утешения. А у нас и этого нет. Пехота! Не то что вы, аристократы войны: перина, кофе, ППЖ еще. Полный комфорт!

— ППЖ не держим, сам знаешь. А остальное почему бы не иметь. Была бы тяга.

— И тяги хватает. Трактора, автомашины. А у меня вон четыре клячи на батальон. Прежде чем оседлать какую, надо подумать, куда поклажу девать.

— Зато у тебя Джим, — выпалил Иванов.

— Был. Нету Джима.

— Что, подстрелили?

— Генерал забрал. Попался на глаза.

— Э, сам виноват! Чудак! Разве можно такого пса генералам показывать? Просил, мне не отдал. Ну и вот.

— Нет, я без него не могу. Мы с ним друг другу жизнь спасли... Было это под Смоленском, когда меня первый раз ранило...

* * *

...Мина разорвалась как раз в тот момент, когда Чернорученко перекидывал катушку с проводом на бруствер.

С Волошина словно ветром сдуло фуражку, и сразу сквозь пальцы руки, метнувшейся к затылку, побежала кровь.

— Товарищ комбат! — испуганно крикнул связист.

— Связь, вперед! — скомандовал комбат. — Политруку принять команду!

— А как же! — чуть не плача твердил связист, показывая на зажатый в руке индивидуальный пакет.

— Главное связь, Черноручено, связь! — беря пакет, твердил он.

Связист подхватил аппарат, катушку с проводом и побежал.

— Комбата ранило! — крикнул он бойцу, пробегавшему рядом. — Давай к нему!

Боец оглянулся, перекинул автомат на ремень и на ходу доставая бинты из санитарной сумки, запетлял между разры-

вами к комбату. Шага три-четыре осталось ему добежать до Волошина, когда за его спиной разорвалась мина. Взрыв толкнул его вперед. Потом боец резко выпрямился и, переломившись, уже мертвый, упал навзничь возле лежащего комбата...

...Когда Волошин снова открыл глаза, он уже знал, кто лежит рядом с ним, зажав в восковой руке надорванный индивидуальный пакет, предназначенный для него. Переведя взгляд, он снова увидел, как в тумане, солдат из похоронной команды. Они были уже ближе к тому месту, где он лежал, увидел, как они собирали с поля убитых, как сносили их в одно место, предварительно извлекая из кармашков гимнастерок патрончики с адресами для «похоронок».

Эту «процедуру» он знал, видел много раз, но именно сейчас почему-то его охватил безотчетный страх. Ему хотелось встать в рост, крикнуть «я живой!», но вместо крика из груди выдавился еле слышный хрип, а при попытке подняться он тут же пошатнулся и нырнул головой в росший рядом обшарпанный куст.

Потревоженная ветками рана на голове снова открылась, и по щеке потекла кровь. И тогда, собрав последние силы, рывками, судорожно цепляясь за каждую попадавшуюся под руки веточку, он пополз в сторону через мелкий кочковатый кустарник...

...Скатившись в овражек, он долго лежал неподвижно.

Совсем рядом, рукой подать, бежала по камням вода.

Склонившись над ручьем, он, захлебываясь, жадно пил и пил, с каждой минутой все больше возвращаясь к жизни...

В какое-то мгновение он приподнял голову, уловив иной звук, как бы накладывающийся на шум воды.

Свернув набок отощавший зад, широко расставив передние лапы, перед ручейком сидела собака. Высунув сухой воспаленный язык, глазами, полными страдальческого ожидания, она смотрела на человека у воды.

— Чего смотришь? — тяжело выдавил первые слова Волошин. В ответ он услышал тихое поскуливание.

— Пить хочешь? — спросил он.

В ответ собака, не меняя сидячей позы, напряглась передними лапами и, поскуливая, подтащила непослушное тело к ручью поближе.

— Э-э, да тебя тоже зацепило!

Волошин изловчился, подхватил в пригоршню воды и, проливая, поднес овчарке. Та с усилием вытянула шею и, кос-

нувшись шершавым языком протянутых ладоней, мгновенно осушила их.

Так Волошин повторил три или четыре раза, пока, утомленный этой работой, не уронил отяжелевшую голову на вытянутые руки.

Потом человек и зверь долго смотрели друг на друга...

Отдохнув, Волошин захотел посмотреть на раненую лапу овчарки и потянулся к ней рукой.

Собака предупреждающе зарычала.

— Ну-ну, не рычи без толку, — спокойно сказал Волошин и потрогал лапу повыше окровавленного места. — У тебя, псина, кость перебита.

На этот раз пес только поскулил.

— Сейчас мы что-нибудь придумаем тебе, — сказал Волошин, доставая индивидуальный пакет. — Только сперва перевяжу себя, а то хреновым помощником тебе буду...

Кое-как перевязав свою рану на голове, он остатком бинта стал перевязывать перелом ноги овчарки. Отломив от росшей рядом лещины два тонких, но прочных прута, наложил их вместо шин на лапу и туго затянул. Покончив с этим, он с усилием поднялся, постоял, опираясь на оказавшуюся под рукой палку, и когда, наконец, перестала покачиваться земля под ногами, сделал первый шаг.

— Ну, поправляйся, — сказал он овчарке и медленно пошел вдоль ручья. Кустарник дальше крупнел, переходя в мелколесье, молодой березняк, и Волошин теперь получал возможность, опираясь на шелковистые стволы берез, останавливаться, давать себе передышку.

Собака смотрела уходящему человеку вслед, и в ее повизгивании слышалось нетерпение. В конце концов она вдруг приподнялась на все четыре лапы, осторожно переступила ими раз, другой и, наконец, осторожно ступая, пошла за человеком...

* * *

— ...Раза два потом я терял сознание, — продолжал рассказ Волошин, — и он был возле меня... А рану-то он мне зализал! — засмеялся комбат. Он поставил пустую кружку на «стол» и вздохнул, потянувшись.

— Как хорошо с тобой, старый дружище! Тепло, уютно подомашнему... Если бы не заботы, сидел бы до утра.

— Еще налить? — спросил Иванов.

— Нет, спасибо. Знаешь, я предпочитаю все-таки чаек... Слушай, а у тебя траншея на высоте пристреляна?

— Репер есть. За это можешь не беспокоиться. Правда, подробности с огневыми точками у нас с тобой требуют уточнения.

— Знаешь, не бахай чересчур вначале, — пропустил замечание Иванова Волошин. — Вначале я уж как-нибудь сам. Мне потом надо. Там, на высотке. Как зацепимся.

— С дорогой бы душой. Но ведь начальство потребует. Ему же, сам знаешь, главное — вначале чтоб грохоту побольше. Чтобы залп был.

— Залп, да. А мне не залп надо. Мне хотя бы по паре снарядов на пулемет ихний. Они же, знаешь, имеют способность с того света возвращаться. Кажется, ты его уже загрохал, два попадания было, а он через пять минут опять лупит.

— Взаимозаменяемость номеров, чего ты хочешь! У них поставлено будь здоров.

— Грешно хвалить противника, но приходится.

— А почему грешно? Насчет войны они ведь мастера, ничего не скажешь.

— Это конечно. Ну, дружище, хорошо у тебя, да надо топать...

Волошин поднялся, застегнул на крючок воротник шинели. Томик стихов Есенина с заломанной страничкой лежал на примятом лапнике, и он сгреб его большой рукой.

— Ты все равно спать будешь, а мне не до сна. Хоть, может, душу отведу, — сказал он.

Иванов поморщился.

— Только с возвратом. А то у меня очередь.

Они оба вышли из землянки на стужу ветреной ночи, молча посмотрели вниз, в сторону невидимой отсюда высоты. Поодаль темнела настороженная фигура часового. Вокруг сонно лежало ночное пространство, полное неясных отдаленных звуков, шума ветра в кустарнике.

— Ну что ж, спасибо за кофе и беседу, — сказал Волошин, с тихой грустью пожимая руку друга. — Завтра другая беседа будет.

— Завтра другая, — согласился Иванов. — Ну как-нибудь. Желаю успеха. А впрочем, зачем желать — вместе ведь будем.

Но не успел Волошин сделать и одного шага, как из блиндажа высунулась встревоженная физиономия Матвейчука:

— Товарищ капитан, вас вызывают!

Иванов поспешил в землянку.

— Не, вас, товарищ капитан...

— Меня?! — удивился Волошин. — Кто?

— Ваш «Десятый»!

Волошин, а следом за ним и Иванов снова торопливо втиснулись в землянку.

— «Двадцатый» слушает! — схватив трубку доложил Волошин.

— Почему вы разгуливаете? — кричала трубка. — Вы что, на Невском проспекте? Почему вас должны разыскивать? А?

— Увязываю с приданным взаимодействие.

— Опять у вас фокусы, сюрпризы! Когда это кончится, Волошин?

— Что вы имеете в виду?

— Почему вернули «карандаши»?

— Я вернул больных.

— Что? Больных? — Гунько коротко хохотнул недобрым издевательским смехом. — Кто тебе сказал, что они больные? Не они ли сами?

— Ну, конечно. У меня же врача нету.

— Слушай, ты... Вы там нормальный или нет? Если вы будете такой легковерный, так у вас завтра в хозяйстве никого не останется.

— Останется, товарищ десятый. А те, кто на санчасть оглядывается, мне не нужны.

— Как это не нужны? Вы понимаете, что вы говорите? С кем вы тогда будете выполнять боевую задачу? Вы просили пополнение. Я вам дал максимум. За счет других, можно сказать. А вы отказываетесь. Я просто не знаю, как это понимать?

Володин печально вздохнул, ему опять становилось тоскливо и муторно от этого бессмысленного разговора.

— Товарищ десятый! Вот и отдайте их тем, кого вы обидели. Мне хватит.

— Хватит?

— Да, хватит.

Трубка примолкла, потом зарокотала опять, но уже в новом, более нетерпеливом тоне.

— Имейте в виду, Волошин, я вам завтра это припомню. Запросите помощи — шиш получите.

— Не сомневаюсь.

— Что?

— Говорю, не сомневаюсь. Только просить не буду.

— Не будете?

— Нет, не буду!

— Хорошо. Нашему разговору есть свидетель — капитан Иванов, кажется?

— Так точно, капитан Иванов, — ответил Волошин.

Трубка замолчала. Волошин досмотрел на Иванова.

— Попили кофе называется, — усмехнулся Иванов.

— А-а! У меня с ним... — и, не договорив, вышел из землянки.

— ...Надо доложить на КП, — говорил Муратов. — Где старшина? Идите на КП.

— Не надо на КП, — сказал Волошин, приближаясь к темным фигурам, образовавшим плотную грудку. — Все вернулись?

— Все, товарищ комбат, — тише сказал Муратов. — На высоте «Малой» наши.

Волошин подошел ближе. С Муратовым стояли трое бойцов, приставив к ногам винтовки.

— Были на высоте?

— Нет, товарищ комбат. До высотки не долезли, трясина там. И так вот, по колено, — сказал один из разведчиков и, распахнув полы шинели, показал темные, наверно мокрые, ноги. — Но мы слышали.

— Что вы слышали?

— Влезли в кусты, сидим, ждем, слышим, по-нашему говорят. «Володя, — говорит, — куда ты подсумку положил?» — «На шинель, — говорит, мои и твои». Ну понятно, наши, — с уверенностью заключил боец.

— Если наши, то надо установить с ними связь — сказал комбат. — Договоримся о взаимодействии на завтра. Вызовите сюда старшего лейтенанта Кизевича.

— Есть!

Боец побежал в направлении девятой роты.

Дожидаясь Кизевича, Волошин присел на твердые комья бруствера.

— Что там, и в самом деле невозможно пройти?

— Вода там, товарищ капитан. Не замерзла. Мы попробовали, провалились, насилу вылезли.

— А те как прошли?

— А кто их знает. Может, где и есть проход. А ночью как найдешь.

Неторопливым шагом подошел из темноты Кизевич.

— У вас найдется толковый сержант? — спросил у него Волошин.

— Это зачем?

— Установить связь с высотой «Малой».

— Что устанавливать! — передернул плечом Кизевич. — Там никого нет.

— Как нет? Вот ваши люди пришли, слышали голоса. Наши, русские.

— Что они могли слышать? Я до вечера туда смотрел — ни живой души. Может, они в темноте не на тот бугор вылезли? Может, правее взяли, там правда кто-то елозил вечером.

Комбат помолчал, не зная, как быть.

— Мы прямо шли, — сказав боец. — Через кустики. Под самый бугор. Но там вода, болото не промерзло.

— Вот то-то, болото! — сострил Кизевич. — Залезешь — не вылезешь.

Однако комбат принял решение;

— Тем не менее пошлите сержанта с бойцом. Пусть точно установят, кто и сколько.

Кизевич молча постоял минуту и пошел в сторону своей роты.

Волошин заметил плохое настроение Муратова, все время молча стоявшего поодаль.

— Как вы распределили пополнение? — вполголоса спросил он.

— Всэх в одын взвод.

— Всэх? А командир взвода?

— Сам буду командир взвода. Буду под рукой держать.

Возле окопчиков, повылезав на поверхность, сидели и стояли бойцы, некоторые копали, по-видимому, лишь бы напрасно не мерзнуть. Комбата с командиром роты узнавали по разговору и почтительно оборачивались к ним, наверное, тут были старослужащие.

— Ну и как настроение у новеньких?

— Какой настроение? Устали, спать хотят. Окопаться не хотят.

— Окопаться необходимо.

— Я сказал: одын ячейка на два человека.

— Двум бойцам в одной ячейке...

— А что делать? Устали, не умэют ничего.

Муратов отчужденно замолчал, словно обиделся на замечание.

— А у вас у самого как настроение?

— А что настроение? Плохой настроение, — просто ответил лейтенант.

— Это почему?

— Часы стал.

— Какие часы?

— Мой часы. Взял и стал. Послушал — стоит. Завел — стоит.

— Ну и что? — подумав, спросил Волошин.

— Так, ничего, — скупо отозвался ротный.

— Значит, барахло часы.

— Немецкие.

— Ну, немецкие — штамповка. Дрянь часы. Мои вот швейцарские не останавливаются.

— Мой барахло, — согласился Муратов. — У Рубцова взял. Артподготовка был, Рубцов смотрел: стоят. Говорит: бери, Муратов, мне будет не надо... В атаке пуля попал под каску.

— Да?

Смысл этих обычно сказанных слов недобрым предчувствием уколол сознание. Волошка поежился, но с видимым усилием превозмог себя и почти бодро заметил:

— Глупости! Простое совпадение — не больше.

— ...Из полка звонили? — спросил Волошин, входя в свою землянку.

На его появление в углу возле телефонного аппарата завозился, начал продувать трубку Черноручено, из-под полушубка высунулась заспанная физиономия ординарца Гутмана.

— Гунько отзывался два раза, — поднял от ящиков сонное лицо Маркин.

— Я уже говорил с ним. Разыскал у Иванова на батарее...

— Вот боевое распоряжение. — Маркин подал тетрадь комбату.

Волошин взял тетрадь, наполовину исписанную знакомым писарским почерком, достал из сумки измятую карту...

«В шесть тридцать атака, — склонившись над картой, периодически заглядывая в тетрадь с приказом, размышлял Волошин. — Почему в шесть тридцать? Только-только рассветает. Что не сделано за ночь, уже не сделаешь — некогда. И люди не отдохнут как следует. В шесть надо уже завтраком накормить. Ни доразведать, ни осмотреться... Нагорный с Дроздом что-то пропали... Тогда уж лучше бы в пять. Затемно...

— Гунько приказал, — прервал его мысли начштаба, — сразу же доложить, как придете.

— Сна на него нет, — проворчал комбат. — Черноручено, вызывай.

Пока Черноручено соединялся со штабом полка, Маркин спросил:

— Ну что, товарищ комбат, вернулись разведчики?

— С «Малой», что вы посылали, — вернулись. Не ясно что-то, послал снова доразведать. А от Нагорного ни слуху ни духу, и о высоте, выходит, мы ни черта не знаем!

В это время Черноручено протянул ему трубку.

— Да, слушаю, — приглушенный расстоянием, послышался недовольный голос командира полка.

— Двадцатый «Березы» слушает, — сказал Волошин.

— А, Волошин! Ну как обстановка? Как подготовился? Все у вас готово?

— Что готово? — сказал Волошин, не скрывая своей досады. — Был у Иванова, «огурчиков» кот наплакал. Какая же поддержка будет?

— Будет, будет поддержка. Это не ваша забота. Об этом позаботятся кому надо.

— Это мне надо. Я атакую, а не кто другой. Потому и забочусь.

— Вот вы атакуете, вы себя и готовьте. Свое хозяйство готовьте. У вас все готово?

— Еще не вернулись разведчики. А на высоте «Малой» еще неизвестно кто: наши или немцы.

— Это на какой? За болотом? А там никого нет. Та высота не занята.

— А если все-таки занята?

— Да ну, ерунда, Волошин. Все вам черти снятся. Вчера мои разведчики вернулись — там пусто.

— Вчера! За ночь тот бугор можно трижды занять и трижды оставить. Товарищ десятый, я прошу разрешения перенести срок сабантуя на час раньше.

Наступила продолжительная пауза, потом Гунько спросил:

— Это почему?

— Ну раньше, понимаете? Пока не рассветет.

Опять на той стороне провода замолчали.

— Нет, нельзя, — решительно сказал Гунько. — Действуйте по плану. План, понимаешь, уже утвержден. Наверху. Так что... По плану.

Волошин скрипнул зубами, но промолчал и, поскольку Гунько тоже неопределенно молчал, опустил клапан трубки и положил ее поперек телефона.

Маркин вопросительно уставился в недовольное лицо Волошина.

— План! Гляжу, завтра нахлебаешься из-за этого плана.

— Если уж план, то точка, — все поняв, со вздохом сказал Маркин. — Теперь Гунько от него ни на шаг...

— Ладно! — сказал Волошин больше себе, чем Маркину. — Вы отдыхайте, Маркин. До четырех ноль-ноль. В четыре я вас подниму, сам часик вздремну.

— Да, я сосну, — согласился Маркин, но все сидел, уставясь в какую-то точку на светлой под фонарем доске ящика.

— И это, дайте мне вашу бритву, — попросил комбат. — Побриться надо.

Доставая из кирзовой сумки аккуратно завернутую в обрывок газеты бритву, мыльницу, маленькое, треснувшее посредине зеркальце. Маркин, грустно усмехнувшись, спросил:

— Это что, привычка у вас — бриться перед боем?

— Нет, — поняв намек, ответил Волошин. — И чистое белье тоже не надеваю.

Комбат стянул с плеч шинель, подвернул воротник гимнастерки, начал готовить бритвенный прибор.

— Просто терпеть не могу на подбородке щетину, и знаю, что завтра времени не будет. Сейчас самая тихая пора ночи, и, кроме немцев, вряд ли кто потревожит.

Натирая мыльной водой обветренный подбородок, Волошин услышал в траншее шаги, приглушенный разговор с часовым на НП, потом шаги притихли, от неумелых рук незнакомо зашевелилась палатка, и в землянку просунулось раскрасневшееся от ветра молодое лицо.

— Разрешите, товарищ капитан?

Маркин мстительно засмеялся, а Волошин сказал не очень гостеприимно:

— Да, пожалуйста.

— А лейтенанту Маркину смешно, — улыбчиво протянув руку Маркину, сказал комсорг.

— Да нет, просто перед этим комбат сказал... — снова засмеялся Маркин.

— Я уж добреюсь, извините, — через губу сказал Волошин. — Ну, что там в полку слыхать?

— А что в полку? Я во втором батальоне, у Паршина был. Вдруг звонок, Миненко: шагом марш к Волошину, утром сабантуй.

— Сабантуй, да, — скребя подбородок, ответил комбат. — Приказано взять высоту.

— Возьмем, раз приказано, — легко заверил комсорг.

— Гляжу, ты оптимист.

— А что ж! Что комсоргу остается? Задор, уверенность и оптимизм.

— Недурно. А Паршин что? Отсиживаться будет?

— Куда там! На совхоз наступает. Пополнение получил.

— Пополнение и я получил. Семьдесят семь человек.

— Ого! Так много!

— Все новенькие. Необстрелянные. Им бы недельку в обороне посидеть. Пообвыкнуть,

— Не получается в обороне.

— К тому же по-русски почти не понимают.

— Это хуже. Хорошо, я их понимаю. Переводчиком буду.

— А ты откуда?

— В Средней Азии жил, Самарканд, Бухара, Чарджоу.

— О, тогда спасибо майору Миненко.

Круглов вдруг поежился, повел плечами и дружелюбно сказал:

— А что это у вас печка затухла? Дрова вышли? Ну, тоже хозяева, в лесу сидят, а дров не имеют...

Прежде чем комбат с Маркиным успели что-либо ответить, комсорг поднял плащ-палатку и исчез в траншее. Последовала пауза.

— Шебутной комсорг, — сказал Маркин, однако поежился в предчувствии тепла.

— А этот тип, — беззлобно выругался Волошин, — дрожит во сне, а что печка холодная, ему хоть бы хны! — и он, обтерев лицо полотенцем, швырнул его в ординарца. Тот только перевернулся на другой бок. — Вы не точны, Маркин, — продолжал Волошин. — Живой — да! Я его знаю давно, еще с тех пор, когда сам командовал седьмой ротой, а лейтенант Круглов был командиром взвода в полковой роте автоматчиков. Расторопный был автоматчик, ничего не скажешь. Впрочем, став комсоргом полка, он, кажется, не изменился...

Снова послышались шаги, и Черноученко распахнул палатку, пропуская Круглова с охапкой настылых ветвей.

— Вот, хоть погрею вас. А то замерзнете.

Он начал с хрустом ломать ветки, заталкивать их в узкую топку печи. Черноученко помогал ему, о чем-то тихо переговариваясь с понравившимся ему человеком.

Волошин, приведя себя в порядок, вынул из кобуры свой пистолет системы ТТ и стал разбирать его.

Комсорг сдвинул на затылок шапку, и, встав на колени, откинулся от печки.

— Люблю огонь! — как-то по-мальчишески сказал он.

Потом посмотрел на свои часы и, взмахнув руками, воскликнул:

— Ого, уже три! Пойду в роту.

— В какую пойдешь?

— Какая прямо под высотой? Самохина?

— Самохина, — сказал, подумав Волошин. — Но я бы посоветовал сходить в восьмую. Муратов там захандрил что-то.

— Это почему?

— Так. Ерунда. Но надо бы подбодрить.

— Хорошо, пойду к Муратову. Старый знакомый все-таки. Вместе в полк прибыли. А потом к Самохину заскочу.

Но не успел Круглов откинуть палатку у входа, как ночная тишина взорвалась обвальным огневым треском и гулом, осветилась взлетевшими ракетами.

В землянке проснулись все разом, ошеломленные тем, что происходило снаружи. Волошин стремительно выскочил из землянки, за ним Маркин, ординарец, Чернорученко...

Гул и треск не спадал... По всему поднебесью, сверкая, неслись, перекрещиваясь и обгоняя друг друга, десятки огненных трас, над высотой то и дело взмывали в небо ракеты, синим дрожащим светом заливая переходящий в болото склон высоты. Там же, слышно было, грохнуло несколько гранатных взрывов, и над болотом, батальонной цепью и пригорком густо неслись, сходясь и рассыпаясь в черной темени неба, огненные нити трасс.

— Черт! Скорее всего, разведчики напоролись!

Волошин бросил подошедшему к нему Маркину: «Докладывай в полк», а сам, крикнув Гутмана, пустился по траншее в поле. Круглов за ним. Спотыкаясь и оступаясь на неровностях поля, они бежали в дрожаще-подсвеченной темноте навстречу грохоту вниз, к цепи седьмой роты.

— Вот так, Круглов, — на ходу говорил Волошин. — Теперь придется выручать разведчиков... если только еще можно их выручить. Если оба они не распластались на склоне...

— Может, еще все обойдется! — еле поспевая за длинноногим Волошиным, отвечал Круглов.

Гутман, торопливо застегиваясь и подпоясываясь, молча бежал следом, озабоченно поглядывая на высоту. Упал, выругался и, пригнувшись, догнал комбата;

— Взбесились они там, что ли?

Волошин не ответил. Чуть замедлив свой бег, он начал примечать опытным взглядом все высверки пулеметных трасс, которые он умел отличать среди множества других автоматических выстрелов.

— Много!.. Не ждал я такого!.. — озабоченно разговаривал сам с собой Волошин, не замечая, что говорит громко.

— Что ты сказал? — спросил Круглов, думая, что комбат говорит ему.

— Говорю, пулеметных точек не меньше шести!.. А значит, их больше... Всю систему они не откроют, конечно...

...Седьмая рота была вся на ногах, никто уже не спал, бойцы, высовываясь из темных окопчиков, тревожно смотрели на беснующуюся огнем высоту, ждали, что последует дальше.

Комбат взял в сторону, сгибаясь, пробежал к знакомой блиндажной траншейке, в которой уже жалось несколько человек и слышался голос Самохина:

— Не лезь, не лезь, не высовывайся! Жить надоело?!

Волошин с ходу спрыгнул в траншею, кто-то посторонился, давая место комбату с Кругловым, следом влез Гутман, и Самохин сообщил озабоченно:

— Видите, что делается? Наверно, Нагорный...

— Еще не вернулся?

— Нет.

— Немедленно десять человек через болото на выручку. Немедленно!

— Есть! — бросил командир роты. — Гамзюк! Гамзюк, бери первый взвод и вниз!

Подсвеченный ракетными отблесками, Гамзюк выскочил из траншеи, пригнувшись, добежал вдоль цели.

Несколько человек нерешительно выбрались из свои окопчиков и, пригнувшись, сбежали к болоту, а навстречу ему летели трассирующие из пары пулеметов, слепо строчащих по кустарнику.

— А вон, гляньте! — кто-то обрадованно воскликнул из траншеи. — Это не Нагорный?

В кустарнике ощущалось какое-то движение. Наверное, это заметили уже и бойцы Гамзюка. Минуту спустя несколько бойцов уже повернули обратно, одна тесная группка их свернула к траншейке, и, дойдя до нее, осторожно положила наземь неподвижное тело.

— Нагорный? Что случилось? — встревоженно спросил Самохин тяжело опустившегося на бруствер старшину.

— Счас, счас, товарищ лейтенант...

Нагорный совершенно выбился из сил. Трудно дыша, он распахнул на себе шинель, скинул шапку и долго еще не мог вымолвить ни слова,

— Счас... Значит, так... Ранили вот его... Дрозда...

— Где ранили? — спросил Волошин.

— Там, возле траншеи. Мы доползли... А как добежали... Сперва поползли, а там эта... Спираль...

— Какая спираль? — удивился командир роты.

— Ну, эта... Бруно...

— Никакой там спирали не было. Вчера я весь день смотрел...

— Вчера не было. Натянули... Ну мы и вперлись. Ни туда ни сюда. Я взял, дотянул...

— Зачем? — взъярился Самохин. — Зачем ты тянул, голова два уха!

— Так а Дрозда как же? Его ж там ранило, — кивнул он в сторону лежащего на земле бойца.

Волошин, поморщившись в темноте, заметил, что там уже появилась маленькая фигурка Веры.

А Нагорный продолжал, оправдываясь:

— Туда как долезли, не было. А потом натянули...

— А-а, они вас там загородили? Вот сволочи! — выругался Самохин.

— Мы, значит, до самой траншеи доползли, слышим, они гергечут... Вдруг и сзади как зашурудит что-то, да так сильно...

— Как это зашурудит?

— Ну, спираль на кольях растягивают. И запутали нас, как карасей в пруду. Ну, а тут его и ранило...

— А мины? — нетерпеливо спросил Самохин.

— Что? Там мин нету. Мы не нашли. Да и те, с проволокой, ходили так смело.

Волошин с облегчением вздохнул.

— Что, сильно ранен? — тихо спросил он бойцов, возившихся с раненым.

— Не поймешь, все в крови, — ответил кто-то из них. Вера молчала, как будто ее здесь вовсе и не было.

— Гранатой его, — отдышавшись сказал Нагорный. — Этот гад, фриц, услыхал и — гранатой. Как раз возле него разорвалась. Осколками... Думал, тоже спекусь... Едва вытащил...

— Молодец, не бросил, — поблагодарил его Волошин. — Старшина Грак!

— Я, товарищ комбат!

— Лично займитесь. Раненого быстро в санроту!

— Есть!

Стрельба все-таки постепенно утихала, постреливали лишь два пулемета с флангов, только ракеты с короткими промежутками все светили над склоном.

Бойцы постепенно разошлись по своим ячейкам. Раненого уже перевязали, и старшина Грак с двумя бойцами понесли его в тыл.

— Светят, — склонившись над бруствером, сказал лейтенант Круглов. — Опасаются новой вылазки.

Самохин о чем-то заговорил с Кругловым. Волошин на шаг отстранился от них и стал смотреть на высоту.

В траншейку прибежал младший лейтенант Ярошук. Разглядев здесь комбата, боком протиснулся к нему.

— Хотел рубануть давеча... А что? Они вон как лупят, а мы молчим.

— Не стоит, — тихо ответил комбат, все еще пребывая в раздумьях. — Поберегите прыть. Понадобится.

— Прыти-то хватит.

— И боеприпасы тоже... Вот что, Ярошук: к утру подтащите пулеметы поближе. Начнется бой, будете поддерживать огнем через болото. Вот тогда и покажете прыть.

— Есть. Я уже тут и позицию присмотрел,

— Вот и давайте.

— Хорош был боец Дрозд, — с сожалением сказал Самохин и погрозил в темноту. — Ну, а тому хрену я покажу! Покажу, как за чужие спины прятаться! Сачек чертов...

Волошин намеренно не среагировал на слова Самохина и посмотрел на часы.

— Ну что ж, скоро завтрак, накормите бойцов. Черт возьми! — выругался он. — Теперь с «Малой» забота, кто там?.. Я к Кизевичу, — бросил он, уходя...

Как подобает дисциплинированному ординарцу, Гутман все время держался сзади, но вдруг несколько шагов пробежал и поравнялся с комбатом.

— Теперь Самохин покажет кузькину мать этому Кабакову. Через него ж Дрозд пострадал?

— Через него, да, — подтвердил Волошин.

— Я б его, эту гниду!.. Ух, ненавижу трусов!

— Да? А сам никогда не боялся?

— Я? Боялся, почему? Но чтоб за других прятаться!.. Этого за мной не было.

— Видишь ли, Гутман, все дело в том, что люди в жизни все разные, разными приходят на фронт. А тут вдруг ко всем одни требования, и, конечно, не все им соответствуют. Надобно время притереться, а времени-то и нет. Вот и получается... несоответствия.

— Ага! Кому-то как раз. А другим страдать? Нет, так я не согласен.

— Конечно, за других страдать — непорядок. Но приходится. Сама война — непорядок! На войне все приходится.

— Нет, я так не хочу. Мне так неинтересно. Так даже страшно.

— А как же ты хочешь?

— Я? Чтоб с музыкой! Чтоб поняли, гады!.. Может, отпустите меня в роту, а, товарищ комбат?

— Об этом потом, — сказал Волошин, подумав. — Вот возьмем высоту...

Сзади послышался глухой стук ног бегущего человека, и комбат остановился.

— Товарищ комбат!

— Да. Что такое?

— Товарищ комбат, — подбежал Прыгунов. — Командир полка срочно к телефону вызывает...

...На КП никто уже не спал, разведчиков ни одного не было. Черноручено с обиженным видом продувал трубку, проверяя связь, и как только в землянку влез командир батальона, сообщил встревоженным голосом:

— Командир полка там ругаются.

— Понятно, будет ругаться, — спокойно сказал Волошин, и, не поворачиваясь к телефонисту, спросил Маркина, который перематывал на ногах портянки: — Как с завтраком? Узнавали?

— Завтрак готов. Прыгунов уже пошел.

— Прыгунов успеет. А роты оповестили?

— Роты уже знают.

— Надо скорее накормить роты. Пойдите и проследите, чтобы все в темпе. Без проволочки.

Как всегда, Маркин молча поднялся и вышел, а командир батальона опустился возле телефона.

— Вызывайте десятого.

Пока Черноручено крутил ручку, Волошин почти с ненавистью смотрел на этот желтый аппарат в футляре.

«Когда надо, не ломается, черт», — думал он в эту минуту.

Но Черноручено уже передавал ему трубку.

— Что там снова у вас? Опять светомаскировка? — недовольно заговорила трубка.

— Нет, не светомаскировка. На нейтралке обнаружены разведчики.

— Чьи разведчики?

— Мои, разумеется.
— Ну и что?
— Один ранен.
— Хоть не оставили его там? Немцам, говорю, не оставили?
— Нет, не оставили. Вынесли и уже отправили в тыл.
— Так, — майор помолчал, — Когда будете докладывать о готовности?
— Когда подготовлюсь. Подразделения только еще начинают завтрак.
— Давай, давай, шевелись, Волошин. У тебя задача номер один. Наибольшей важности. Ее надо выполнить во что бы то ни стало.
— Понятно, что надо выполнить.
— Нет не понятно, а обязательно. Понимаешь? Кровь из носу, а высоту взять.
— А как поддержка?
— Будет, будет поддержка. Минрота Злобина будет целиком задействована на вас.
— Это хорошо. Как приданная?
— Нет. Будет поддерживать. Со своих опэ. — Майор помолчал.
— Мне стволы нужны. Артиллерия с боеприпасами.
— Будет, будет. Я тут увязываю. Все необходимые распоряжения уже отданы.
— Да-а, — опечалясь, вздохнул Волошин. — Распоряжений, конечно, хватит...
— Подбросим патрончиков. Лукашик уже отправился, повез, что там у него наскреблось.
— Товарищ десятый, — оживляясь, перебил его Волошин. — А как все же с атакой? Разрешили бы на полчаса раньше. Или на полчаса позже?
— Нет, будете выполнять, как назначено. Артбатарея открывает огонь ровно в шесть тридцать.

2-я серия

Пока комбат разговаривал по телефону, принесли завтрак. Оживился всегда апатичный Чернорученко, с удовольствием принимаясь хлопотать возле котелков и буханок мерзлого хлеба.

Когда комбат положил на аппарат трубку, телефонист поставил на уголок ящика плоский алюминиевый котелок, на снятую крышку уважительно положил пайку хлеба.

— Вот, товарищ комбат, завтракайте.

Прыгунов на соломе развязывал вещевой мешок.

— Тут вот доппаек вам, товарищ капитан. Старшина завернул. Что тут? А, вот сало...

Он осторожно извлек из вещмешка что-то завернутое в обрывок газеты, положил на ящик.

— Вот вам и лейтенанту.

Это был кулек с печеньком.

Глядя, как Прыгунов старательно выискивает в вещмешке раскрошившиеся остатки печенья, Волошин взял один кусочек на зуб, попробовал и с небрежной щедростью подвинул к краю весь измятый кулек.

— Угощайтесь, Черноручeнко!

— Да ну...

— Ешьте, ешьте. Пока Гутмана нет.

— Это вам, — смутился Черноручeнко. — Мы тут вот, пашано.

— Гутман придет, приберет, — сказал Прыгунов, принимаясь с Черноручeнко за свой котелок с супом... — И лейтенанту тут. Все вместе.

«...А что если еще до начала артподготовки... до рассвета, — лениво пережевывая кусок хлеба рассуждал комбат, — послать на болото роту?.. В момент атаки она бы прикрыла продвижение остальных, взяв огонь на себя... да и сама помогла бы огоньком... В самом деле, а?.. Ночью, в темноте выдвинуться удастся лучше. Кустарники на болоте маскируют... Да, но на роту надо просить разрешение Гунько. А он, уверен, не разрешит... Разве что взводом? Скажем, того же Нагорного?

Мысли Волошина прервал шум, доносившийся из траншеи: застучали шаги, послышался беззаботный смех и обрывки разговора.

Волошин отставил в сторону котелок, засунул в полевую сумку складную алюминиевую ложку.

В землянку втиснулись три плотные командирские фигуры в полушубках, с раскрасневшимися от морозного ветра лицами, затаившими на себе важность возложенных на них задач.

— Привет, комбат, — фамильярно подал Волошину руку первый вошедший капитан Хилько, с виду человек крайне простецкий.

— Привет, начхим, — сдержанно ответил Волошин.

— Мы думали, комбат еще спит, — сказал второй, тонкий, со смуглым лицом, и представился: — Инженер полка капитал Трунин. Это нас подняли ни свет ни заря.

— Да, вас подняли зря, — однозначно ответил Волошин.

— Как то есть зря? — удивился третий, с новенькими погонами майора, плотный, с брюшком, человек в годах. — Как это зря? Разве атака отменяется?

— Атака не отменяется, — с некоторой опаской взглянув на майора, ответил Волошин. — Атака в шесть тридцать.

— Вот-вот! Полковник именно так и ориентировал. Командир дивизии, — уточнил майор, пытаясь озябшими руками достать из брючного кармашка часы. — Значит, значит...

— Значит, осталось полтора часа, — опередил его Волошин, посмотрев на свои.

— Правильно. Поэтому не будем терять времени. Меня интересует наличие конского состава.

— Восемь лошадей, — сдерживаясь, не сразу ответил Волошин.

— Так, так, — заторопился майор. — Ветеринарная обеспеченность?

— Очевидно, вы что-то спутали, у меня атака, а не выводка конского состава,,

— То есть как? — округлил глаза майор.

— Очень просто. Нашли время чем интересоваться. У меня к атаке половина готовности.

— Половина готовности? — в совершенном изумлении переспросил ветврач. — Так ведь через полтора часа...

— Уже через час двадцать, — бросал взгляд на часы Волошин.

— Ну и ну, — пробормотал майор, склонившись к фонарю и пытаясь записать что-то.

— Да, время идет, — подтвердил инженер. — Но атака атакой, по части обороны, однако, не грех позаботиться.

— Это у начальника штаба, — сухо сказал комбат.

— А где начштаба?

— Сейчас должен быть.

— Хорошо, я подожду.

— Да, вы подождите, — увидев, что и третий намерен предъявить свои права, Волошин заторопился: — Черноручено!

— Я! — поднял голову телефонист.

— Берите катушку, аппарат и за мной шагом марш.

Черноручено и Прыгунов еле поспевали вслед за своим комбатом.

Лейтенант Самохин встретил комбата в траншейке возле своего блиндажа. Следом за комбатом прыгнули в траншею Черноручено с Прыгуновым.

— Слушайте, Самохин. Есть одно предложение. Давай сюда Нагорного, — сказал торопливо комбат, посмотрев на часы. — Чернорученко! Ставьте связь здесь.

— Есть! — ответил связист и вместе с Прыгуновым саперной лопаткой стал отрывать ячейку.

— Товарищ комбат, — появившись на бруствере, весело доложил Гутман, напоминая в эту минуту небезызвестного солдата Швейка. — Вот представителя дивизии привел.

Комбат в душе чертыхнулся, глядя, как настырный майор, пыхтя и отдуваясь, лезет в узкую для него траншейку.

— Быстро, однако, вы ходите, комбат, — сказал он. — Хорошо, что ваш ординарец попался.

В это же время подошел вызванный Самохиным старшина Нагорный.

Волошин, Самойлову с Нагорным тихо:

— ...и ваш взвод, Нагорный, должен до атаки выдвинуться за болото... Быстро! Сейчас!

Майор плохо слышал слова комбата и поэтому подвинулся ближе. Но разобрал он только короткое слово Нагорного: «Есть»! Когда Нагорный бегом спустился к ячейкам своего взвода, майор спросил комбата:

— Разве вы уже отдавали приказ?

— Это уточнение исходных позиций, — сказал он, не краснея.

— Разве батальон еще не на исходных позициях?

С этой минуты комбат только и думая про взвод Нагорного, напрягая слух и до боли всматриваясь в ложбинку болота, чуть-чуть серевшую пятнами грязного льда. Часы он как вынул из кармана, так и не выпускал из рук, то и дело посматривая на светящийся циферблат.

Подошел Самохин и тоже стал через бруствер, рядом с комбатом смотреть в сторону болота.

— Как ты думаешь, Самохин, — тихо чтобы не услышал дотошный до всего ветврач, спрашивал Волошин, — прошли они болото?

— Тихо, — отвечал Самохин, — вроде прошли...

Подошли командиры подразделений и молча встали рядом.

— Товарищ капитан, — осторожно, хрипловатым с одышкой шепотом спросил, притиснувшись к Волошину, майор-ветврач. — Я вижу, что вы чем-то обеспокоены?

— Не вернулись еще разведчики, посланные на высоту «Малая», — ответил Волошин. — Эта высотка на фланге девятой роты, а я не знаю точно, есть там немцы или нет.

— А почему вы так поздно ведете разведку?

— Не поздно, а вторично, — отвечал как можно без раздражения Волошин. — Первые сказали, что там слышали якобы голоса наших, но они к самой высотке не дошли — болото... А комполка сказал, что там вообще никого нет... Вот я и сдублировал проверку.

Волошин снова посмотрел на часы. Стрелки встали в одну линию — шесть часов.

— Кизевич еще не пришел? — спросил он просто так, для того чтобы хоть что-то сказать собравшимся командирам, хотя сам видел, что Кизевича нет, и посмотрел на ординарца, который с ракетницей наготове лежал на тыльном бруствере.

Комсорг Круглов, стоявший позади комбата, сказал вполголоса:

— Да, влопались, наверно, ваши разведчики.

Волошин, еще раз посмотрев на часы, на небо, начинающее светлеть, приказал ординарцу:

— Гутман, бегите за командиром девятой.

Ординарец, сорвавшись с бруствера, проворно побежал краем болотца.

В траншее примолкли все. Комбат обвел взглядом присутствующих и, не увидев командира батареи, спросил:

— А где капитан Иванов?

— А вон бежит, кажется, — сказал, оглянувшись, Круглов.

Действительно, с пригорка, слегка пригибаясь, запоздало сбежал командир батареи и, шурша палаткой, упал боком на бруствер. Два телефониста с тяжелой катушкой тянули за ним телефонную связь.

— Сюда, сюда давайте! — негромко крикнул им капитан и виновато сказал собравшимся: — Задержался, прошу прощения. С боеприпасами морока. Только что привезли.

Стоя вполоборота, Волошин сдержанно кивнул головой. Взгляд комбата скользнул по молчаливой фигуре лейтенанта Муратова и остановился на стоящем поодаль Самохине, который, обжигая пальцы, сосредоточенно докуривал «бычка». Он хотел что-то спросить лейтенанта, но по другую сторону траншейки завозился со своим измятым блокнотом ветврач.

— Товарищ командир батальона, прошу ответить еще на один вопрос. Как обеспечивается подвоз боеприпасов?

— Все, что дали, уже подвезли, — сказал Волошин. — Больше не предвидится.

— Как то есть?

— Просто. Больше сегодня не дадут. Выдали все, что было.

— Ах, что было, — понял врач.

— Товарищ майор, — сказал комбат. — Я бы посоветовал вам, пока не рассвело, отправиться на мой КП. А то как начнется, отсюда не выберетесь.

— А я не намерен выбираться, товарищ комбат, — майор обиженно вскинул тронутое щетиной, слегка оплывшее за ночь немолодое лицо, — я прислан командиром дивизии до момента взятия высоты. Я обязан присутствовать в батальоне и осуществлять контроль за выполнением его приказа.

— Ну, как хотите, — спокойно сказал комбат, сразу потеряв интерес к майору; у него было пропасть дел поважнее.

Прибежал Гутман, на ходу бросивший комбату: «Нет разведчиков», потом из сумерек показался командир девятой. Его мрачный вид красноречиво подтверждал невеселое сообщение ординарца, и командир батальона разочарованно отвернулся.

— Товарищи командиры!..

В траншейке и на бруствере все разом притихли, прекратился шорох палаток о землю, наступала важная минута, требовавшая сосредоточенного внимания всех.

— Слушайте боевой приказ, — твердым, слегка напрягшимся голосом начал комбат. — Ориентиры. Номер один...

Отдавая приказ, Волошин старался следовать пунктам устава, хотя у него и была своя, отработанная практикой схема приказа. Но он покосился на ветврача, который озябшими пальцами что-то старательно карябал в своем блокноте. «Наверное, записывает мои слова», — подумал Волошин.

А майор, действительно, в свой блокнотик заносил корявые строчки о комбате:

«Перед самой отдачей приказа, — писал он, — капитан Волошин предложил мне уйти с боевых позиций к нему на КП. Он, как мне кажется...» Тут у него сломался карандаш, и он стал торопливо шарить по карманам...

А в это время командир батальона продолжал:

— Повторяю, главный замысел боя состоит в быстроте действий, роты преодолевают болото броском, как можно скорее выходят на рубеж взвода Нагорного. Командир девятой! Ваша задача особенно важная — как можно глубже охватить высоту «Большую» справа и ни на минуту не упускать из виду высоту «Малую» за болотом.

— А если там немцы? — сказал с бруствера сидевший Кизевич.

— Это должны были выяснить ваши разведчики, — сказал ему Волошин без тени упрека. — Но если там немцы, тогда вам надо сперва сбивать их оттуда.

— Кем сбивать? Взводом?

— Это будет видно. В ходе боя.

Он еще не успел закончить отдачу приказа, как внизу, в наспех отрытой ячейке завозился у телефона Черноручено.

— Десятый вызывает.

С неудовольствием прервав разговор, комбат опустился на корточки и взял из рук телефониста трубку.

— Волошин, осталось пятнадцать минут, Я жду доклада о готовности, — раздраженно напомнил командир полка. — Что вы долго возитесь там? Оперативнее надо.

— Я отдаю боевой приказ, — сказал Волошин.

— Отдавайте и докладывайте. Ровно в шесть тридцать артиллерия должна открыть огонь.

— Я буду готов вовремя.

— Ну-ну. Я жду.

Комбат выпрямился в траншее и неожиданно встретился взглядом с командиром восьмой Муратовым.

— Главный удар осуществляет восьмая, лейтенант Муратов.

— Как всегда, — неопределенно глухо отозвался Муратов.

— Какие вопросы? Что неясно? — спросил комбат, взглянув на часы. Все озабоченно молчали.

— Если вопросов нет — по местам! — сказал комбат. Командиры выскочили из траншеи и, придерживая на бегу полевые сумки, побежали в свои подразделения.

В траншее стало свободнее, вместе с комбатом в ней остался Самохин, странный в своем службистском упрямстве ветврач, капитан Иванов со связистами. Из распахнутого блиндажа выглядывали связные — по одному из роты. Черноручено жался в своей ячейке, а Круглов на бруствере, торопливо прикурив у Гутмана, сказал, обращаясь к комбату:

— Пойду, наверно, к Кизевичу. Гляжу, тут командиров хватает.

— Правильно! — одобрил Волошин. — Идите. Она самая отдаленная. В случае чего...

— Ясно, — сказал комсорг и прощально взмахнул рукой, — Ну, пусть будет удача!

— Пусть! — согласился комбат и шагнул к Иванову. — Паша, как батарея?

— Батарея готова, — сказал Иванов, опуская от глаз бинокль, в который он рассматривал высоту. — Вот только еще не видать ни черта.

Он уже пристроился на бровке бруствера, усадив у ног телефониста молоденького шустрого паренька в зеленой шинельке.

Из-за борта полушубка капитана торчал уголок блокнота и таблицы стрельбы с заложенным в них карандашом. Никаких артприборов у Иванова не было, пристрелку, как всегда, он вел глазомерно, обходясь стареньким, обшарпанным биноклем.

— Да, еще темновато, — взглянув на высоту в бинокль, подтвердил Волошин.

— Еще минут двадцать надо. Пока рассветает. Вблизи видать, а даль вся в потемках. Куда же стрелять? Разрыва не увидишь.

— Надо, значит, подождать, — сказал лейтенант Самохин, запихивая в карманы гранаты. Затем он закинул за плечо ППШ и бросил комбату: — Ну я пошел в цепь.

— Значит, бросок, — напомнил на прощание Волошин. — Два броска — и чтоб на вершине! Только так, не иначе.

— Постараемся, товарищ капитан, — сказал лейтенант, легко выскакивая из траншеи.

Внизу опять зазуммерил телефон, и малоподвижное лицо Черноručенко напряглось, озабоченным взглядом телефонист поискал комбата.

— Вас.

Комбат взял трубку и, уже зная, какой услышит вопрос, сказал почти зло:

— Еще не готов. Как буду готов, доложу.

— Вы затягиваете время, вы срываете сроки атаки! — раздраженно заговорил командир полка. — Что за безобразие, капитан?

— Что время? Мне ни черта не видать! Артиллеристы еще не просматривают высоты.

— Глаза им протереть, твоим артиллеристам! — загремело в трубку. — Уже вполне рассвело, светлее не будет.

— Товарищ десятый, надо выждать еще десять минут, — спокойно сказал комбат. — Зачем же палить в божий свет как в копеечку? Снаряды еще понадобятся.

— Вы просто не готовы, вы только ссылаетесь на артиллеристов! Вы не организовали атаку! — зло кричал командир полка.

— Товарищ десятый! Действительно, я не готов. Как буду готов — доложу.

Он опустил клапан и передал Чернорученко трубку, тут же столкнувшись со встревоженным взглядом майора.

— Это кто? Это из штаба звонили?

— Это из штаба полка, — сказал Волошин.

Майор, помолчав, достал свои толстые старинные часы на белой серебряной цепочке.

— Осталось четыре минуты, — поеживаясь от волнения, сказал он чуть дрогнувшим голосом.

— Надо подождать, — сказал, отрываясь от бинокля, Иванов. — Еще ни черта не видать.

— Подождем! — с решительной твердостью сказал комбат. Радом в немом удивлении застыл майор.

— Как? Вы откладываете атаку?

— Да. На пятнадцать минут.

— Я протестую. Вы нарушаете приказ. Я буду докладывать.

— Можете докладывать, — спокойно сказал комбат. — Вы видите — темно. Куда же стрелять? Командир батареи не видит цели.

— Но приказ в шесть тридцать, — рассеянно смотрел на него майор.

— Приказ отдавался ночью, когда вовсе было темно. Да вот не развиднело по приказу.

Ветврач обескураженно замолчал, сраженный очевидностью доводов, и стал растерянно поглядывать на руку с лежавшими на ней часами.

Волошин тоже вынул часы, минутная стрелка неуклонно приближалась к шестерке, затем незаметно для глаза переползла ее, и внизу опять зазуммерил телефон.

— Скажи, что комбат ушел в цепь, — сказал Волошин, и Черноручено, путаясь и заикаясь, стал объяснять в трубку отсутствие командира батальона.

— Ну, как видимость, Паша? — спросил он Иванова.

— Еще бы десяток минут. Едва заметна стала траншея.

Волошин поднял бинокль.

— Видишь окончание траншеи, самый ее нижний отросток-ус? Там блиндаж или, может быть, дзот с пулеметом.

— Да, вижу. Вчера еще мои засекли.

— Далее на изломе траншеи еще пулемет, ночью сам засек. Этот самый опасный, на дне склона работает.

— Вот его мы и прихлопнем, — уверенно сказав Иванов. — В первую очередь.

— Далее все по траншее. Там пулеметов пять-шесть. Надо накрыть.

— Попробуем.

— Ну и спираль Бруно. Хотя бы по одному попаданию на роту.

Не отрываясь от бинокля, Иванов скомандовал телефонисту:

— Батарея к бою!

— Батарея к бою, — как эхо, тенорком отозвался внизу телефонист и ясными глазами из-под сбитой набекрень шапки посмотрел вверх на комбата, ожидая новых команд.

— По пулемету... Гранатой, взрыватель осколочный... Заряд четвертый... репер номер один левее ноль-сорок. Прицел сорок восемь. Первому один снаряд зарядить!

Телефонист, передав все дословно, несколько секунд выждал и наконец поднял на комбата все тот же ожидающий взгляд синих глаз.

— Первое готово! — почти пропел он.

— Ну что? — вопросительно взглянул на комбата Иванов. — Я готов.

Волошин решительно протянул руку к трубке. Чернорученко понимающе попросил дать десятого.

— Я готов! — сказал комбат, как только услышал в трубке микрофонный щелчок клапана.

Командир полка со стоном что-то вскричал, но комбат, упреждая его, вскинул левую руку по направлению к Гутману.

— Гутман, ракету!

Гутман был наготове, и, хрустнув курком немецкой ракетницы, вскинул ее над головой.

Волошину показалось, что зеленая гроздь ракеты порхнула в тусклое небо мгновением раньше, чем хлопнул выстрел ракетницы, и красиво распустилась в высоте над чахлым кустарником болота.

— Огонь! — тотчас негромко скомандовал Иванов. Секунду спустя, сзади туго ударило в воздух, слабо отдавшись в воздухе, и первый гаубичный снаряд, распарывая упругий воздух, прошел над головами. Потом на несколько секунд его ход где-то там замер, но вот почти у самой макушки высоты возле траншеи обвально грохнул взрыв. Ветер подхватил облако пыли, понес его по склону.

Бойцы торопливо повыскакивали из окопчиков и, пригибаясь, сыпанули с обмежка к болоту.

В течение нескольких секунд комбат видел почти весь свой батальон, за исключением скрытой пригорком роты Кизевича, затем болотный кустарник быстро поглотил всех.

Иванов, не отрываясь от бинокля, продолжал передавать команды, и вверху через их головы, постанывая, шли тяжелые гаубичные снаряды и обрушивались на высоту.

Волошин видел, что Иванов только что перенес огонь на траншеи — значит, с блиндажом и пулеметом, наверно, было покончено.

В это время с высоты длинно застегал пулемет.

Волошин чуть подвернул окуляры бинокля и увидел за болотом, в самом начале склона, несколько серых фигурок, с усилием бегущих по склону вверх. Кто-то из них там упал, поднялся, вперед вырвался один в телогрейке с коротким автоматом в руках, и Волошин невольно радостно выкрикнул: «Нагорный!.. Паша, Нагорный!» И уже оглядываясь на Иванова, кричал:

— Паша, ты видишь? Вон мои вырвались! Это Нагорный атакует траншею!..

Теперь было видно, что пулемет бил по группе Нагорного.

— Паша! Скорей накрой пулемет!.. И проходы, проходы в спирали.

— Где же он? — волновался Иванов. — От черт, не разобрать...

— Накрой пулемет, Паша!... Он их сейчас положит!..

И Нагорный действительно залег, несколько человек упали на серый склон, то ли укрываясь от пулеметного огня, то ли были убиты. Но тут же, будто по желанию комбата, на высоте выросло подряд три пыльных приземистых разрыва, которые, наверно, не накрыли траншеи, зато землей и пылью отгородили от нее распластавшихся на склоне бойцов. И взвод поднялся. Несколько человек, только что показавшихся комбату убитыми, вдруг подхватились с земли и бесстрашно побежали вверх, в еще не осевшую от разрывов пыль...

А роты не поднимались. Роты пропали в кустарнике на болоте.

— Ага, вот он, подлец! Вижу! — радостно вскричал Иванов и закомандовал телефонисту: — Левее ноль-ноль два, уровень больше ноль-ноль один!..

Гаубичные разрывы Иванова мощно крошили траншейный бруствер.

— Был пулемет — нет пулемета! — крикнул Иванов.

Пологий склон высоты заволокло дымным туманом, и рваные клочья пыли косо тянулись в хмурое небо. Видимость резко ухудшилась, бой громыхал вовсю.

— Где роты! — волновался комбат. — Почему они долго не выходят из болота!..

Волошин левой рукой выхватил у Черноручено трубку.

— Але, десятый! Нет десятого? Передайте от пятого с «Орла» — смена НП. Карандаши — на высоте: меняю НП. Поняли? Меняю НП.

И бросив в руки Черноручено трубку, он с поспешностью распрямился в траншее.

— Гутман! Черноручденко! Снять связь и за мной! Быстро!

Черноручченко с несвойственной ему живостью одной рукой выдернул заземление, другой сгреб аппарат. Гутман подхватил катушку...

— Минут десять поддай! — крикнул Волошин Иванову.

— Десять поддам! Но не больше...

— А ты поточнее, — бросил Волошин уже с бруствера.

— Уровень меньше ноль-ноль один, — командовал Иванов...

А комбат уже сбегал по мерзлой траве на измызганные плахи впаянного в кустарник льда...

...Волошин размашисто бежал по льду, истоптанному грязными подошвами только что пробежавших здесь рот, за ним вплотную держались трое связных. Черноручченко с Гутманом вскоре отстали, запутав в кустарнике провод, и комбат приказал одному из связных, тощему парню в короткой шинели, быстро помочь им. Боец с напряженным непониманием взглянул на него, но потом закинул назад сбившуюся на живот противогазную сумку и остановился ждать.

Комбат, пригнув голову, продрался сквозь лозовые заросли в прогал и оглянулся: за ним из-за куста, широко расставляя ноги и осклизаясь, бежал ветврач. Его расстегнутая кобура опустело болталась на животе, узенький ремешок тянулся к руке с зажатым в ней вороненым наганом, которой майор неуклюже взмахивал, стараясь сохранить равновесие при беге.

— А вы куда? — крикнул Волошин, не сдержавшись в своем возбуждении.

Ветврач только раскрыл рот, чтобы ответить, как вдруг оба они вздрогнули, на мгновение потеряв дар речи.

В облачной выси над болотом оглушительно грохнуло раз и второй, перекрыв все остальные звуки боя, и в воздухе родились два черных дымных облачка, словно брошенные в небо клочки шерсти.

— Бризантный! — вырвалось у Волошина тревожно. — Пристрелочный.

И оглянулся на ветврача. Ветврач лежал под нависшими ветвями ольхи, уронив на лед голову в подвязанной под подбородком ушанке.

— Вы что? Раненый? — подбежал к нему Волошин.

Ветврач встрепенулся и с вопросительным ожиданием в глазах внимательно посмотрел на комбата.

— Н-нет, я не ранен, — выдавил он заикаясь.

— Встать и бегом! Бегом! — скомандовал Волошин. — В лозняк! Не могу же я быть нянькой при вас!.. Мне надо к ротам! К ротам!

— Да, да, конечно к ротам, — бормотал, приходя в себя майор. — Вы идите, идите!.. Однако почему наши не стреляют?.. Одни немцы почему?

Но Волошин больше не оглядывался, он бежал к близкому уже краю болота, где должна быть восьмая рота Муратова, а над головой его то и дело разрывались теперь уже счетверенные бризанты, и сотни осколков горячим вихрем проходили по ветвям кустарника, срезая ветки и насквозь прожигая толстый, достигающий самого дна лед.

«Надо во что бы то ни стало поднять батальон, — горячей волной обжигала его единственная мысль, — поднять на последний бросок... в нем единственный выход достичь траншей, где ждет Нагорный... Под высотой... здесь на болоте они не выдержат... бризант всех скосит!»

...Еще рывок, и вот он уже видит бойцов восьмой роты. Новый залп, грохнувший, казалось, в нескольких метрах над головой, сшиб его с ног, и он нелепо упал на жесткую, заиндевелую траву лужайки.

Но тотчас вскочил, окинул взглядом подножие высоты, где неровно залегли бойцы восьмой роты. Кто-то из них уже лихорадочно работал лопаткой, кто-то истошно матерился справа, и он повернул на этот мат, ожидая увидеть там командира роты, и увидел кучку бойцов на коленях, возившихся возле кого-то, лежавшего на траве. Еще не добежав до них, он увидел хромовые сапоги Муратова, волочащиеся по траве, в то время как двое бойцов, подхватив командира роты под мышки и пригибаясь, тащили его к кустарнику.

— Стой! — крикнул он, не услыхав своего голоса, накрытого очередной серией взрывов.

Один из бойцов упал на колени, выронив руку ротного, и уткнулся плечом в траву. Другой лег рядом, растерянным взглядом шаря по окрестности и не узнавая комбата.

— Что с лейтенантом? — спросил Волошин, приседая рядом, но, только взглянув на мертвенно-бескровное лицо ротного, сразу понял: все.

— Оставить убитого! — приказал он.

— Товарищ комбат! — взмолился боец, пожилой человек со слезящимися глазами. — Товарищ комбат, как же так? Его же ранило, мы потащили, а тут... Как же так, товарищ комбат?..

— В цепь! — жестко приказал он. — Приготовиться к атаке!

Внешне рота почти не отреагировала на эту команду.

Выждав минуту, он скомандовал снова:

— По отделению... Короткими перебежками... Вперед!

До него донеслось из цепи несколько невнятных обрывков команд, несколько человек в разных ее местах все же вскочило и, пригнувшись, бросилось вперед, на обмежек. Прямо перед комбатом мелькнула помятая, с рудыми подпалинами на полях шинелька бойца, который проворно взлетел на пригорок, но вдруг выронил к ногам винтовку, повернулся, словно пытаясь оглянуться, и плашмя свалился наземь.

Попадали тотчас и другие, поднявшиеся по команде первыми.

С высоты строчило не меньше четырех пулеметов, и фонтанчики взрывов на земле, как градины, усеяли землю перед ротой.

Те из лежащих бойцов, чья очередь была подняться, еще плотнее припали к земле, и комбат не подал новой команды.

«...Нет, атаковать под таким огнем... невозможно... Просто положить тут весь батальон... Все!» — вслушивался он в громыхающую разноголосицу боя, стараясь найти в ней хоть какую-нибудь оплошность противника.

Волошин на четвереньках пробежал несколько шагов к обмежку и оглянулся, лихорадочно соображая, что предпринять. Гутман с Черноручено, пригнувшись, уже волокли к нему конец провода, за ними на четвереньках ползли трое связных, и за всеми короткими перебежками продвигался ветврач в испачканном, мокром на животе полушубке.

— Связь! Живо!

Пока Черноручено подсоединял концы провода к аппарату, комбат прокричал:

— Связной седьмой роты!

Никто ему не ответил, и он крикнул громче:

— Связной седьмой!

То ли разрывы и пулеметная: трескотня не давала услышать команду, то ли некому было отозваться, и Гутман, обернувшись на локте, крикнул трем связным, намертво припавшим к земле в десяти шагах сзади:

— Эй вы! Оглохли там?

Один из бойцов заворошился, с напряжением на лице вглядываясь в комбата, и тот выругался:

— Какого черта молчишь? А ну, бегом за командиром роты!

Боец, сильно пригибаясь, едва не наступая на обвисшие полы шинели, побежал вдоль болота налево.

— Передайте по цепи: сержанта Ершова — ко мне!

Гутман прокричал громче, и, кажется, его команду передали.

— Связной девятой!

— Я! — приподнялся на траве белобрысый боец.

— Бегом за командиром роты.

Боец отбежал полсотни шагов, как опять грохнуло над самой цепью восьмой и в воздухе зачернели четыре кляксы.

И сразу кто-то закричал леденящим душу криком.

Один боец неподалеку, бросив в цепи винтовку, неуклюже пополз в кустарник, волоча раненую ногу с размотавшейся обмоткой.

— Перебьет так всех, — прокричал кто-то. — Чего лежать?

— Да. Дает, сволочь, чих-пых, — сказал Гутман.

Черноручченко все возился со связью, продувая трубку, и Волошин вскипел:

— Ну, ты долго там?!

Связист, однако, поднял к комбату бледное лицо, растерянно заморгав добрыми глазами.

— Нет связи. Перебило, наверно...

— На линию марш! Быстро!

Черноручченко что-то умоляюще бросил Гутману и, закинув за спину карабин, подхватив в руки провод, побежал в болото.

Немец между тем не жалел ни снарядов, ни патронов.

Наши молчали.

Наконец со стороны девятой роты, куда к этому времени перенес противник обстрел бризантными снарядами, прибежал не комроты, а связной. Кашляя от удушливой, оседавшей в болоте тротиловой вони, боец упал возле Волошина.

— Записка от комроты.

Вот что было набросано рукой Кизевича:

«Наступать не могу, залег в болоте. Выбивают бризантные. Фланкирующие пулеметы с той высоты не дают продвигаться. Прошу разрешения отойти».

Не оборачиваясь, комбат прокричал бойцу:

— Потери большие?

— А?

— Потери, говорю, большие?

— Наверно, человек двадцать. Вон он как лупит с воздуха. А с фланга пулеметы. Старший лейтенант там ругаются... за «Малую»...

Прибежал вызванный с фланга восьмой командир взвода Ершов.

— Сержант Ершов по вашему при...

— Какие потери в восьмой? — не дал ему договорить комбат.

— В роте не подсчитывал, — утирая потное лицо, сказал Ершов. — Наверное, человек восемь. Пригорочек спасает.

— Да-а, а вот у девятой пригорочка не оказалось...

Сзади, неуклюже двигая задом, к комбату подполз ветврач и просипел сдавленным голосом:

— Что случилось, комбат? Почему не поднимаются в атаку?

Комбат посмотрел на него отсутствующим взглядом и не ответил.

— Почему не поднимаете роты в атаку? — настойчиво сипел в ухо ветврач. Лежа рядом, он тяжело дышал, все не выпуская из рук неизвестно для какой надобности вынутый из кобуры наган, ствол которого был плотно забит землей.

— Прочистите оружие, — холодно сказал Волошин. — Разорвет ствол.

Ветврач, спохватясь, начал выколачивать из канала ствола землю.

Когда из кустарника сзади появился лейтенант Круглов со сбившейся набок пряжкой ремня и без тени обычного добродушия на невозмутимом лице, комбат понял, что положение девятой в самом деле критическое. Комсорг размашисто рухнул слева от него, отер потное, в пыли и копоти лицо.

— Комбат, спасайте девятую! Через полчаса всю выбьет.

— Кизевич жив?

— Жив пока. Но потери большие. Главное — это шрапнель. Да и пулеметы справа. Вы правильно опасались: на «Малой» — немцы. Сперва надо брать эту высоту за болотом. Иначе дрянь дело. Без толку людей положите.

Комбат, подумав, оглянулся на Гутмана.

— Как связь?

Гутман вместо ответа развел руками.

— Ракетницу! — потребовал комбат.

Он выхватил из рук ординарца ракетницу, лежа, пошарив в кармане, вынул белый с красной головкой патрон.

— Что ж... Будем считать, фокус не удался. Фокуснички!

И, вскинув руку, дослал в дымное от разрывов небо недолго погоревший там красный огонек ракеты.

Роты по-пластунски и перебежками начали отход за болото...

Комбат не спеша, усталым шагом направился по открытому пространству к траншейке своего НП, откуда и начинал эту неудачную атаку. Его теперь запросто могли срезать пулеметной очередью сзади, могли накрыть разрывом бризантного, но он

уже не слишком опасался за собственную жизнь после того, как столько человеческих жизней осталось на той стороне болота.

Не взглянув на виновато поникшего за бруствером Иванова, он спрыгнул в траншею, очутившись рядом с несколько раньше добежавшим туда ветврачом.

Командиры встретили его молча, и он молчал, глядя, как из кустарника, выпутывая провод, торопливо выбирался Черноручейко.

— Да-а, ерунда какая-то получается, — чувствуя настроение Волошина, сказал наконец Иванов.

— Почему так плохо работала артиллерия? — привстав в траншее, горячечно заговорил ветврач. — Почему вдруг замолчали орудия?

— Чтобы артиллерия работала хорошо, нужны боеприпасы, — сказал Иванов. — А боеприпасов-то кот наплакал.

— Это почему? Кто виноват?

— А это вы в штабе дивизии справьтесь, кто виноват, — стоя боком к майору, сказал комбат. — Подвоз и снабжение в армии осуществляется сверху вниз.

Майор горестно и звучно вздохнул, и Иванов сказал:

— Восемь снарядов осталось. Как было последние выпустить?

Иванов вроде оправдывался перед ветврачом и комбатом...

В подавленном состоянии Волошин стоял, прислонившись к тыльной стенке траншеи. Тем временем из кустарника Гутман с двумя бойцами вынесли на палатке тело Муратова. Тяжело взобравшись на обмежек, они положили убитого возле входа в траншейку, и у комбата на секунду перехватило в горле.

— Накройте лейтенанта! — крикнул он Гутману. — Палаткой накройте!

Рядом выругался Иванов, который вообще никогда не ругался.

Бой, однако, утихал, немецкая батарея сбавила темп, вроде совсем собираясь прекратить огонь, унимались по одному пулеметы.

Волошин продолжал молчать, смотрел на высоту и кустарник, из которого еще тянулись отставшие и раненые. Последними вышли два бойца, один ослабело опирался на плечо другого. Они брели словно слепые, безразлично оглохшие к выстрелам сзади, о чем-то устало переговариваясь между собой. Потом раненый оставил плечо товарища и опустился наземь, другой начал тормошить его, понуждая подняться, и, вскинув голову, тонким голосом прокричал на пригорок:

— Товарищ комроты! Санитара!

Волошин повернулся по направлению его взгляда и увидел лейтенанта Самохина, решительно шагавшего вдоль окопчика своей роты.

— А ну, помоги им! — на ходу крикнул он там кому-то и, подойдя к траншее, грузно ввалился в нее, едва не сбив с ног Черноручено.

— Что ж это получается, товарищ капитан?

Волошин хмуро взглянул в горевшие недобрым огнем глаза ротного. Голова его под косо надвинутой ушанкой была свежезабинтована, а сквозь марлю бинта проступало и расползалось влажное пятно крови. Лейтенант болезненно дотронулся до повязки грязной рукой, и лицо его исказилось в страдальческой гримасе.

— Что, сильно? — спросил комбат.

— Меня ерунда! — махнул рукой лейтенант. — Вот полроты как корова языком слизала. Последнего сержанта ухлопали. Грак ранен в обе ноги. Как же так, товарищ комбат? Это же безобразие! И эта артиллерия, черт бы ее подрал! Ее бы саму в цепь, пусть бы поползала под их дулями.

— Артиллерия ни при чем, — мрачно заметил Волошин. — Артиллерии снаряды нужны.

— Тогда нечего было и начинать это смертоубийство, — горячился Самохин. — Надо было сидеть, пока не подвезут снаряды. А так что? Голыми руками воевать? Он вон полдня бризантными крошит.

Оба капитана подавленно молчали, ветврач с сокрушенным видом опустился на каску на дне траншеи.

Черноручено тем временем наладил связь и переговаривался с телефонистом штаба.

— Сколько человек осталось? — спросил Волошин, собираясь с духом перед докладом командиру полка.

— В роте? Сорок восемь.

— Черноручено, вызывайте десятого!

— Есть!

Волошин собирался в кулак для доклада. Стоял и не видел перед собой никого, словно один на эшафоте.

— Товарищ комбат, — поднял растерянное лицо Черноручено. — Десятого нет.

— Как нет? Вызывайте начальника штаба.

Волошин ждал, и в беспорядочных звуках угасавшего боя он не сразу услышал то, что, наверное, раньше его уловил Гутман. Комбат перехватил направленный на Самохина много-

значительный взгляд ординарца, его чуткую настороженность в глазах, и тогда вдруг услыхал сам.

С высоты слабенько, как из-за дальнего пригорка, простучало раз и второй и заглохло. Потом еще простучало. Стреляли из автомата. Но эти звуки...

— Наш ПШ!.. — сказал не очень уверенно Гутман.

Комбат резко повернулся к Самохину.

— Нагорный вернулся?

— Ну да! Нагорный вернется! Он вон куда выскочил...

Волошин лихорадочно зашарил по склону высоты биноклем.

«Неужели Нагорный ворвался в траншею? — с радостью и страхом спросил себя он. — Но тогда что ж! Тогда сержант там обречен и погибнет, пока мы будем сидеть на исходной позиции?»

Но склон был пуст, разрытый снарядами его верх чернел пыльными пятнами, бруствер траншеи был разворочен до бурой глины, немцев там не было видно. Очереди тоже как будто заглохли...

«Может, все это показалось? — успокаивал свою совесть Волошин, — Может, стреляли немцы? Нет, я же сам слышал треск нашего ПШ, и Нагорного нет в роте... Неужели он сейчас вот погиб и это была последняя очередь его автомата?.. А остальные? Что с ними?»

Волошин обвел взглядом лица командиров в траншее, но лица эти были мрачно-спокойными...

— Товарищ капитан! — услышал комбат тревожно-предупреждающий голос ординарца.

Волошин оглянулся.

В сбегавшей к болоту гривке кустарника с пригорка вниз пробиралась группа людей, и в первом из них, в накинутой поверх шинели палатке, Волошин сразу узнал командира полка.

— Гутман, — окликнул он ординарца. — Бегом в девятую, взять сведения о потерях!

Гутман убежал, а в траншее стало тесно от набившихся людей. Командир полка прибыл сюда со всей своей свитой: адъютантом, ординарцем, заместителем по политчасти майором Миненко; сюда же прибежал и Маркин и двое проверяющих из штаба полка, все время атаки пребывающих на КП батальона.

Волошин, отстранив к стенке начхима, торопливо протиснулся навстречу командиру полка.

— Товарищ майор, атака не удалась, батальон отошел...

— Кто разрешил? — резко перебил его Гунько.

— Не было связи. Немецкая артиллерия...

— Кто разрешил? — жестче оборвал его командир полка. — В траншее сделалось тихо. Предчувствуя скандал, все напряженно рассматривали комья земли на бруствере.

— Я же вам объясняю, — повысил голос Волошин.

— Кто разрешил отойти? Вы получили приказ на атаку?

— Я получил приказ на атаку, но мне не хватило времени разведать высоту, товарищ майор. А там оказалось более восьми пулеметов. К тому же батальон попал под огонь бризантных и потерял треть состава...

— Я спрашиваю, — тише и оттого еще более зловеще повторил свой вопрос Гунько. — Я спрашиваю, кто разрешил вам отвести батальон на исходный рубеж?

Волошин замолк. Он понял, что его ответ не интересует Гунько.

— Кто разрешил отойти?

Стоящий за командиром полка, одетый в новенький полушубок майор Миненко, заметил язвительно:

— Похоже, он первый день командует батальоном. И не понимает, что прежде чем принять такое решение, следует посоветоваться.

Сохраняемое до этого спокойствие комбата разлетелось вдребезги.

— Я не первый день командую батальоном и знаю, что следует. Но одного знания недостаточно. Чтобы доложить, надобна связь, а ее...

— А кто же должен заботиться о связи? — ядовито произнес командир полка.

— В данном случае ваш штаб, товарищ майор. Согласно новому боевому уставу связь в частях организуется сверху вниз и справа налево.

— Грамотный! — невозмутимо сказал командир полка своему заместителю, кивнув в сторону комбата. — Грамотный. А почему не взята высота?

— Я объяснил почему. Не подавив огневых средств, я не могу губить людей в бесплодной атаке...

— Ага, жалеешь людей! — подхватил тут же Гунько. — Жалостливый! Ты слышишь, Миненко? Ему людей жалко. На приказ ему наплевать, его одолела жалость. Вы слышали? — обращался майор ко всем, кто находился в траншее. Но все угнетенно молчали. — Может, ты еще и себя пожалеешь?

— Я себя не жалею. Но бойцов — да. И понапрасну губить батальон не стану, — четко произнес комбат, подумав, что теперь уже терять ему нечего.

— Вот как? — удивился майор. — Тогда я тебя отстраняю. Я тебя отстраняю от командования!.. Ты понял?

— Я понял, — мало что понимая, спокойно ответил Волошин и, чтобы не пошатнуться от охватившей его странной расслабленности, прислонился к стенке траншеи.

Командир полка тем временем окинул взглядом командиров в траншее.

— Лейтенант Маркин!

— Я вас слушаю, — отозвался издали начальник штаба.

— Командуйте батальоном.

— Есть! — не очень уверенно ответил Маркин.

— Навести в батальоне порядок и атаковать высоту. К тринадцати ноль-ноль доложить о взятии! Ясно?

— Ясно, — заметно упавшим голосом выдавил Маркин и Волошин подался от стенки.

— Каким образом он ее возьмет к тринадцати? — бесцеремонно заговорил он. — Вон на соседней немцы. Они бьют батальону во фланг и спину. Сначала надо взять высоту «Малую»...

— Каким образом взять? — смерил его презрительным взглядом Гунько — Могу посоветовать. Выстроить батальон и сказать: видите высоту? Вот там будет обед. В обед там будет кухня. И возьмут.

— Товарищ командир полка! — послышался незнакомый голос из дальнего конца траншеи.

Все в удивлении повернули головы в сторону незнакомого майора, который, странно задвигав плечами под измызганным полушубком, сказал:

— Товарищ командир полка. Одну минутку... Я не согласен.

И ветврач, хрипя астматической грудью, протиснулся по траншее к командиру полка.

— Я не согласен со снятием командира батальона.

Волошин удивился, не поверил своим ушам. Удивился и Гунько.

— Вы? Кто вы такой?

— Я — уполномоченный штабдива, майор ветеринарной службы Казьков.

— Ну и что? — холодно бросил командир полка. — Ну и что, что вы уполномоченный? Командир батальона не обеспечил выполнение боевой задачи, вот я его и отстраняю от должности. С ведома командира дивизии.

— Вы не правы! — резко сказал ветврач. — Я находился в батальоне и видел все своими глазами. Командир батальона действовал правильно.

— Много вы понимаете! — сказал командир полка. — Здесь я хозяин, и я принимаю решения. Вот со своим заместителем. Маркин.

— Я, товарищ майор!

— Вызывайте командиров подразделений, ставьте задачу.

— Есть вызывать командиров подразделений! — как эхо, повторил Маркин, пробегая глазами по лицам тех, которые находились уже в траншее.

Волошина снова качнуло.

«Все! — подумал он горячечно. — Сейчас стараниями исполнительного Маркина будет окончательно погублен мой батальон. Что же делать? Все молчат... Приказ начальника не обсуждается...»

— А снаряды для батареи нам выделены? — рванулся он навстречу командиру полка. — Батареи сидят без снарядов, кто подавит их пулеметы?

— Снаряды я вам не рожу! — сказал Гунько. — Пусть их лучше поищет у себя командир батареи.

— Батарея — не снарядный завод, — твердо сказал сзади Иванов. — Все, что было, я уже израсходовал.

— Так уж и все?

— До последнего снаряда. Можете проверить.

Наступила тягостная пауза, командир полка растерянно поглядел по сторонам, но тут же быстро нашелся:

— Раз нет снарядов, значит по-пластунски! По-пластунски сблизиться с противником и гранатами забросать траншею. Поняли?

— Так точно, — с готовностью, хотя и без подъема, повторил Маркин.

— Гранаты у бойцов есть?

— Есть.

— Товарищ комполка, — снова заворошился в траншее ветврач. — Под таким огнем невозможно даже и ползком. Я видел...

— Мне наплевать, что вы видели! — вскипел Гунько. — Вы не затем присланы в полк, чтобы мешать выполнению боевой задачи.

— Я прислан контролировать ее выполнение, — озлился и ветврач, — и я доложу командиру дивизии. Вы неправильно ставите задачу...

— Не вам меня учить, товарищ ветврач. Маркин!

— Я, товарищ майор!

— Всех в цепь! Командир батареи, приказываю ни на шаг не отставать от командира батальона. Пулеметы... Где пулеметы ДШК?

— Здесь. На своих позициях, — оглянулся Маркин.

— Пулеметы — вперед! Всему батальону ползком вперед!

Маркин растерялся.

— Прямо сейчас? Нужно время для подготовки... отдачи приказа, товарищ майор.

— Я никогда не отнимаю инициативу у подчиненных! — громко, чтобы слышали все, сказал Гунько. — И не боюсь выдвигать молодых. Я только требую беспрекословного выполнения приказа! Итак: сейчас девять часов, Маркин. В тринадцать ноль-ноль вы докладываете о взятии высоты.

— Позвольте, я доложу командиру дивизии, — не унимался ветврач. — Я прошу не начинать атаки до моего доклада комдиву.

— Это не ваше дело, — сказал Гунько и спросил, пренебрежительно полуобернувшись, Волошина: — Командиры рот на местах?

— Кроме командира восьмой, который убит, — мрачно сказал Волошин. — И в роте не осталось ни одного среднего командира.

— А тут где-то Круглов был, — вспомнил замполит.

— Я здесь, товарищ, майор, — послышалось издали от входа в блиндаж.

— Вот он и заменит комроты, — решил Миненко.

— Круглов, принимайте роту. И батальон — вперед!

Явно довольный собой и своей распорядительностью, командир полка сноровисто выскочил из траншеи, за ним вылезли остальные. По одному они перебежали открытый участок поля и скрылись в гривке кустарника.

Штабисты тоже ушли, и последним с некоторой нерешительностью выбрался из траншеи ветврач. Он был озабочен и, ни с кем не простившись, побрел следом за всеми...

«Не знаю, может быть, я не очень строгий судья над собою, — рассуждал Волошин в холодном одиночестве землянки, — но убей меня, не нахожу своей вины, которая привела к такому позору... За что он на меня взъелся?.. Теперь даже трудно припомнить, с чего все началось... Наверно, с каких-то досадных мелочей. А может, и не с мелочей, даже просто мы были слишком разные люди... чтобы длительное время сосуществовать в согласии... Только вчера поздравляли с на-

градой, а сегодня уже отстранен от командования. Обидно! Может быть, в какой другой обстановке я бы даже вздохнул с облегчением, избавившись от гнетущего бремени ответственности, а тут я вздохнуть не могу... Потому что даже если меня никогда больше не вернут к своему батальону и начисто отрешат от его судьбы, все равно я не смогу так просто и вдруг выбросить из своей души эту сотню людей. Только с ними я могу оставаться собой, командиром и человеком... без них я потеряю в себе все... что мне делать? Я же лишен всякой возможности, от всего отстранен. Он не назначил меня даже командиром роты, а просто выставил из батальона... Выходит что я могу только ждать, когда батальон возьмет высоту или весь останется на ее склонах?..

Вдруг он снова услышал голоса. Сперва Маркина, потом, кажется, Гутмана. О чем-то торопливо и неразборчиво они переговаривались, еще подходя, потом остановились, и Маркин спросил:

— У кого ракетница?

— У комбата была, — ответил Гутман.

— Принесите ракетницу, — приказал Маркин.

Волошин почему-то торопливо стал вытаскивать из-за портупеи ракетницу, достал из кармана несколько сигнальных патронов, и когда в блиндаже появился Гутман, он все это молча сунул в протянутые руки ординарца.

Теперь он стал внимательно прислушиваться, что происходит там.

Он услышал, как сильно загремело в отдалении, залпом ударила артиллерия, земля за спиной его содрогнулась, посыпался песок в углу блиндажа, и он, не замечая, в нервном напряжении стал вслух комментировать происходящие там события. По поводу первого залпа артиллерии он сказал:

— Это в стороне совхоза... Наверно, начали артподготовку первый и второй батальоны...

Посмотрел на свои часы. Было ровно десять.

— Вот-вот должен подняться и мой...

Артиллерийская канонада тем временем превращалась в сплошной отдаленный грохот, звучно треснули знакомые разрывы бризантных. Он прислушался и прокомментировал заинтересованно:

— Наверное, немецкая батарея, которая измывалась над нами, перенесла огонь на тот фланг полка. Теперь там у совхоза батальонам не сладко... но для моего батальона в этом, может, спасение... Если без промедления воспользоваться этим переносом, поднять людей и броском ворваться на высоту...

Снова прислушался, обеспокоенно...

— Почему медлит Маркин?..

Тут же он услышал несколько приглушенных команд.

— Это в цепи восьмой... значит, батальон поднялся... Ну, верно, на этот раз без артподготовки. У Павла с десяток снарядов...

Напряженно вслушиваясь во все, что происходило там, Волошин немного отошел от тягостных личных переживаний, весь устремленный вслед за ротами.

— Пока немцы молчат, но ждать осталось немного — восьмая уже наверняка преодолела болото и вышла к обмежку... значит, вот-вот должно грохнуть...

Как он ни ждал этих первых оттуда выстрелов, грохнули они неожиданно, и он даже вздрогнул, услышав в слитном отдаленном грохоте четкий сдвоенный залп.

— Так... мины по нашим! Началось!

Земляной пол блиндажа качнулся, большой мерзлый ком с бруствера упал и разбился и его куски подкатились под палатку, прикрывающую дверь. Тотчас раскатисто залились пулеметы.

Не тронувшись с места, Волошин замер на смятой соломе.

— Строчат по всей высоте. Неужто ребята залегли?..

Все шесть, наверно, раскрылись. Теперь бы Иванову начать расправляться с ними... в самый раз... Но чем? Десятком снарядов?..

Замерев в блиндаже, Волошин внимательно вслушивался в беснующийся грохот боя. ДШК открыли огонь и вдруг все разом смолкли.

— Почему смолкли ДШК? Это мне не нравится...

Вдруг в коротенькой паузе между взрывами он услышал крики.

После паузы крик-команда повторилась. Еще и тревожней...

Не в состоянии больше вынести свою отрешенность, Волошин выскочил из блиндажа...

Сперва он бежал вперед не пригибаясь, выхватывая опытным командирским взглядом из обстановки боя главное — распределение сил рот в данную минуту.

Левый фланг, видел он, где наступала седьмая, явно потерял боевой порядок и часть бойцов, скученно перебегая по склону, устремилась назад, к болоту. Некоторые из них уже достигли кустарника и торопливо исчезали в нем, сопровождаемые минными разрывами.

Восьмая, перешедшая через болото, кажется, уже залегла под знакомым обмежком...

Девятая справа, передвигаясь в редком кустарнике, вроде пыталась еще наступать.

Волошин бросился навстречу отходившей седьмой...

Слегка пригибаясь, он бежал в кустарнике под раскатистым громыханием взрывов. Один раз его сбило с ног недалеким разрывом. Он упал. Вскочив, едва не столкнулся с бойцом, бегущим навстречу, и Волошина передернуло от одного растерзанного вида бойца. Волошину сперва показалось, что боец ранен, так бледен он был, но увидев, как тот проворно метнулся в кустах под нарастающим визгом мин, капитан понял, что это от страха. Тогда, остановившись, он негромко, но властно крикнул:

— А ну, стой! Стой!

Рядом грохнул взрыв, обдав обоих хлюпкой болотной жижей. Волошин упал, распластался за кустом и боец. Но не успело опасть поднятое в воздух облачко, как боец подхватился и с завидным проворством бросился прочь. Капитан выхватил пистолет.

— Стой! Назад!

Он выстрелил подряд два раза над его головой, боец присел, жалостно, с невысказанной тоской в глазах оглянулся.

— Назад! — крикнул Волошин, взмахнув в сторону высоты пистолетом. — Назад! — и снова выстрелил поверх головы бойца.

Не сразу, с усилием преодолевая охвативший его страх и пригнувшись на тонких, в обмотках, ногах, боец подбежал к капитану и упал рядом.

— Как фамилия? — крикнул Волошин. — Фамилия как?

— Гайнатулин!

— Гайнатулин, вперед! — кивнул головой Волошин. — Вперед, марш!

Мелко дрожа, боец поднялся, и они небыстро побежали в измятом кустарнике. В воздухе пулеметные очереди, рвались с треском мины...

Падая и вскакивая, Волошин с Гайнатулиным уже подбегал к краю кустарника, когда встретил еще трех бойцов, перебегавших между разрывами в тыл, и тоже завернул их обратно.

Возле свежей воронки дергался, пытаясь встать, раненый. Боец то вскакивал, вскидывался на колени, то падал, что-то силясь сказать подбежавшим, и только издавал мычание.

— Двоим взять! Быстро! Сдать в медпункт и назад!

Бойцы с нескрываемым страхом на лицах подступали к раненому. Капитан с остальными двумя выбежал из кустарника.

Тут начинался открытый участок, за ним полого поднимался склон и огненные очереди с высоты летели во всех направлениях, пронизывая пространство. Несколько человек, похоже, убитых, в неестественных позах лежали на забросанной комьями примятой стерне. Переждав серию минных разрывов, он опять вскинул голову и увидел бойца, который то замирал, припадая к земле, то, поспешно перебирая руками и ногами, полз в его сторону.

— Товарищ комбат!..

Волошин вгляделся в сплошь серое, словно присыпанное пылью лицо ползущего. Глаза его твердо и озабоченно глянули на капитана, и тот вдруг узнал в нем пулеметчика седьмой Деницика.

— Товарищ комбат, беда...

— Что такое, Денищик, где пулемет?

— Да вот пулемет разбило.

— Ты цел?

— Я-то цел. А напарника... И это, командира роты убило...

— Самохина? — Волошин с усилием преодолел спазму в горле. — Много убитых?

— Хватает. Вон лежат... Да что — пулеметы секут так...

— Денищик! — быстро оправляясь от его известия, сказал капитан. — Ползком в кустарник, и всех назад! Всех назад, в цепь!

— Хорошо, хорошо, товарищ комбат, — с готовностью подхватил боец. — Я понимаю.

— Гайнатулин! — оглянулся Волошин, и лежавший сзади боец недоуменно сморгнул глазами. — Гайнатулин, за мной, вперед!

Не успели они одолеть по-пластунски и двух десятков шагов, как сзади из кустарника снова донесся крик, в котором послышалось что-то знакомое, и капитан оглянулся.

Из низкорослого густого кустарничка ползком и пригнувшись появлялись беглецы седьмой роты. Кто-то их выгонял из укрытия, они оглядывались и, оказавшись на открытом месте, сразу же падали, начиная неохотно ползти вперед. Вскоре капитан увидал и того, чей голос встревожил его, — это была Веретенникова.

«Только здесь ее не хватало! — в сердцах выругался про себя капитан. — А я-то думал, что она на рассвете отправилась в тыл. Выходит, на что-то надеясь, Самохин, пока был жив, скрывал ее в роте. И вот доскрывался. Впрочем, с ним уж ничего не поделаешь... но что делать с ней?»

А Вера, подбежав к Волошину, рухнула наземь.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Минуту она рыдала, уткнувшись лицом в подвернутый рукав шинели, плечи ее содрогались, шапка сползла на затылок.

— Так, хватит! — строго сказал капитан. — Хватит. Слезами никому не поможешь. Где он?

— Я же говорила... Я же так и знала, — подняла некрасивое, мокрое от слез лицо Вера. — Он же все рвался, все вперед и вперед. Я все одергивала, не пускала... А тут... вырвался!

— Где он лежит?

— Там, под самой этой спиралью. Он же вперед всех выскочил, ну и...

— Так, ясно! Давайте на левый фланг! Давайте всех слабаков — вперед! Я послал Денищика, вы ему в помощь.

— Я их задержала, — сказала Вера, вдруг успокаиваясь, и грязными пальцами вытерла лицо. — Я их выгоняла из болота. А то бросили, побежали...

— Всех на склон, в цепь! И дожидайся сигнала вперед!

Вера быстро поползла назад, в сторону левого фланга роты, а он снова оглянулся на Гайнатулина.

— Гайнатулин, за мной, вперед!

...Добравшись до воронки, Волошин перевалил через крайние, безобразно навороченные взрывом глыбы, и оказался в ее спасительной глубине. Первое что он увидел — засыпанного до плеч бойца-пулеметчика с неестественно откинутой рукой, цепко схватившей ручку опрокинутого набок крупнокалиберного пулемета ДШК с загнутой набекрень взрывом стальной пластиной щита. Волошин с усилием оторвал эту руку от пулемета и надавил на спуск. Пулемет, к его удивлению, вздрогнул, коротенькой очередью взбив впереди землю, и конец длинной засыпанной пылью ленты с патронами живо шевельнулся в воронке.

— Гайнатулин, сюда!

Волошин, как спасению, обрадовался этому пулемету. Он заботливо сдунул с прицельной рамки песок, высвободил из-под комьев всю ленту с полсотней желтых крупнокалиберных патронов и, вцепившись в пулеметные ручки, осторожно высунулся из воронки.

Траншей немцев он не увидел. Покатый изгиб склона скрывал ее от его глаз.

— Плохо, Гайнатулин, — сказал он бойцу, который тем временем, видно, поборов в себе испуг, стал сразу спокойней и

деловитей, откопал в воронке еще две коробки с патронами. — Немец нас не видит, и сам на мушку не попадает. Придется нам, наверно, с пулеметом выбраться отсюда... Не в прятки же мы сюда играть забрались?..

Волошин повел взглядом по склону вправо, куда заметно сместились взрывы и устремилась теперь половина пулеметного огня с высоты: там вдалеке за болотцем, у подножья высоты «Малой», копошились бойцы девятой.

— Видишь, Гайнатулин, — не забывал он держать бойца в курсе происходящих событий и видел, как это помогает успокоиться и придти в себя новобранцу, — маленькую высотку? Там наши бойцы девятой... отсюда трудно понять: то ли они готовятся к броску на высоту, то ли это у них не получается и они вот-вот откатятся в болото — во всяком случае трудно им... слишком плотный огонь у немцев...

— Немец сидит траншей, — сказал единственную фразу за все время Гайнатулин.

— Давай попробуем помочь нашим, а? Правда, высотка далековато даже для ДШК, но попробуем. Готовь коробку, Гайнатулин!

Волошин установил на рамке прицел, равный восьмистам метрам, старательно навел по самой верхушке траншеи и плавно надавил спуск. Пулемет мощно заходил в руках, и очередь из десятка двадцатимиллиметровых пуль с визгом ушла к цели.

— Недолет, пока, — сказал деловито Волошин и прибавил прицел. На этот раз он выпустил три очереди кряду. Верхушка высоты закурилась от разрывных.

Гайнатулин подготавливая очередную коробку, деловито-серьезно покивал головой.

То и дело подправляя наводку, Волошин начал бить разрывными по наискось лежавшей от него высоте, во фланг немецкой траншеи, сам оставаясь в относительной от нее безопасности. В промежутках он видел, как зашевелились под ней серые фигурки бойцов.

— Кажется, пособили, — обрадованно пробормотал Волошин.

Сзади вдруг послышался шум, и кто-то ввалился в воронку.

Волошин оторвался от пулемета, сплевывая песок, у его ног сидел весь закопченный, запыленный, с разодранной полой полушубка лейтенант Маркин.

— Куда вы бьете? — сорванным голосом закричал новый комбат. — Куда, к черту лупите?

— Выручаю Кизевича. Вон, под самой высотой залег.

— Что мне Кизевич! — сквозь грохот раздраженно закричал Маркин. Мне эта высота нужна. Ее приказано взять.

— Не взяв ту, не возьмешь эту! — так же раздражаясь, прокричал Волошин.

По обеим сторонам воронки сокрушающе грохнуло несколько разрывов, взвыли осколки. Один из них звонко рубанул по краю щита пулемета. Сверху весомо зашлепали комья и густо посыпалась земля, отряхнувшись от которой, они торопливо вскинули головы: еще кто-то ввалился в воронку, за ним следующий. Оказалось, это был Иванов с телефонистом. Тоже отплевываясь, командир батареи протер запорошенные глаза.

— Дают, сволочи! Хорошо хоть воронок нарыли. А то бы хана...

— Некогда в воронках сидеть! — сказал Маркин. — Пора поднимать. Связь с огневой есть?

— Связь-то есть, — сказал Иванов. — Пока что. А ну, проверь, Сыкунов.

— Слушай, — обернулся к нему Волошин. — Кидани парочку по той высоте. Смотри, вон Кизевич у самой траншеи лежит. Ему бы чуть-чуть. Хоть для психики.

— Разве что парочку, — сказал Иванов, доставая из-за пазухи свой измятый блокнот. — А ну, передавай, Сыкунов.

— Ни в коем случае! — встрепенулся Маркин. — Вы что? Кизевич большей частью отвлекает. Главное для нас — эта высота.

— Они же там все полягут! — закричал Волошин. — Вы посмотрите, куда они добралась. Отойти им нельзя,

— Отойдут, — спокойно сказал Маркин, — Жить захотят, отойдут. Дело не хитрое.

— Теперь им легче вперед, чем назад!

— Давайте весь огонь сюда, по траншее! — жестко затребовал Маркин. — И батареи и ДШК. Через десять минут я поднимаю седьмою и восьмую.

— А девятая? — спросил Волошин и, взглянув, в холодные глаза своего начштаба, не узнал их — столько в них было безжалостной твердости.

— Два снаряда всего, — умоляюще сказал Волошин, едва сдерживая быстро накипавший гнев. — Пойми, ведь Кизевич там вплотную приблизился к своей удаче или к гибели... Два снаряда!

— Нет! — отрубил Маркин. — Огонь для седьмой.

Иванов чужим голосом скомандовал доворот от репера и отвернулся с биноклем в руках, а Волошин на коленях бросился к пулемету.

Дрожащими руками он снова навел его на верхушку «Малой» и, весь горя бешенством, надавил спуск, потом, прицелясь, еще и еще, пока пустой конец ленты не выскользнул из приемника.

С успокоительным сознанием исполненного, он выглянул из-за колеса пулемета: на высоте ветер сносил последние клочья пыли, и он увидел несколько мелькнувших на самой высоте человек, которые тут же и пропали. Потом еще поднялось несколько человек и так же исчезли, словно провалились. Бабахнули разрывы гранат, еще кто-то промелькнул на гребне.

— Кизевич ворвался! Он уже в траншее! — крикнул он Маркину и схватил из-под ног новую коробку с патронами.

Безразличный к его словам Маркин сидел на откосе воронки, со злым видом уставясь на телефониста, который встревоженным голосом вызывал в трубку «Березу». Видимо, на том конце провода не отвечали. Телефонист бросил на аппарат трубку и чуть приподнялся, чтобы выскочить из воронки на линию. Но не успел он сделать и шага, как, ойкнув, схватился за грудь и осел к ногам Иванова.

— Сыкунов, что? Куда тебя, Сыкунов? — всполошился Иванов, обеими руками хватаясь за связиста и пытаясь расстегнуть неподатливые крючки его шинели. Но лицо телефониста быстро бледнело, веки странно задергались, и слабеющим голосом он выдавил:

— Я все... Убит я...

Кажется, он действительно был убит, полузакрытые глаза его остановились на какой-то далекой точке, рука ушла с груди, и Иванов опустил его на дно воронки.

— От черт!

Рядом вскочил и на колени Маркин.

— Мне нужен огонь! Огонь мне, капитан! Посылайте этого! — указал он на Гайнатулина. — Эй, слышь? Быстро на линию, устранить порыв.

Гайнатулин, сморгнув глазами, перевел взгляд на Волошина.

— Вряд ли сумеет, — сказал Волошин. — Он из новеньких.

— А мне наплевать, из новеньких или из стареньких. Мне нужна связь. У меня атака срывается.

Волошин посмотрел на Гайнатулина. Спокойно, просто сказал:

— Давай! Ползком, провод — в руку. Соединишь порыв, — он показал руками как соединять провод. — И назад. Понял?

Боец что-то понял, кивнул головой и на четвереньках переполз через края воронки. Перед глазами Волошина мелькну-

ли нестоптанные усеянные гвоздями подошвы его ботинок, и боец скрылся в поле.

Они стали ждать...

Маркин свободнее вытянул ноги и требовательно уставился на Иванова, нервно сжимавшего в руке молчащую трубку...

Волошин осторожно выглянул из воронки — минные разрывы теперь колошматили высоту «Малую», откуда немцы явно вознамерились вышибить роту Кизевича. Здесь же, по склонам, где расползлись и попрятались по воронкам остатки седьмой и восьмая, только стегали настильные пулеметные трассы.

— Алле, «Береза», алле! — вдруг обрадованно закричал в трубку Иванов. — Это я. Сыкунова нет, убит Сыкунов. Слушайте команды. Сейчас передаю команды...

— Молодец, Гайнатулин, не подвел, — удовлетворенно выдохнул Волошин, бросив укоризненный взгляд в сторону Маркина. — Переживет первый страх, пообвыкнет — и будет хороший боец!..

— Но отсюда же ни черта не видать, — выглядывая из воронки, сказал Иванов. — Надо выдвигаться.

— Выдвигайтесь! — мрачно сказал Маркин и вынул из кармана ракетницу.

— Осторожно, — сказал Иванову Волошин. — Тут они пулеметами стерню стригут.

Иванов смотал с начатой катушки длинный конец провода, и, прихватив за ремень аппарат, вывалился из воронки.

Оба комбата, дожидаясь атаки, остались в воронке. Отношения между ними окончательно рушились, говорить никому не хотелось, и Волошин следил, как змеилась-двигалась на скосе воронки красная нитка провода. Он знал, что, пока она шевелится, с Ивановым все в порядке.

— Вы с пулеметом останетесь? — имея в виду предстоящую атаку, спросил Маркин.

— Я с пулеметом... Да, вам известно, что Самохин убит?

— Знаю. Седьмой пока командует Вера.

— Нашли командира!

— А что? Девка бедовая...

— Бедовая, да беременная. Вы не подумали о том?

— Ну что ж, что беременная. Никто ее тут не держал. Сама осталась. Так что...

— Черт бы вас взял! — не сдержавшись, выругался Волошин,

Он отвернулся от Маркина и снова стал следить за проводом. Провод тихо шевелился у его ног, медленно уходя в поле. Но вот широкая петля провода замерла, на краю во-

ронки, Волошин торопливо расправил ее изгиб, но провод не шевельнулся.

— Ну, что он там? — нетерпеливо сказал Маркин и выглянул из воронки.

Волошин тоже выглянул, но Иванова нигде не увидел.

— Черт знает что! — теряя терпение, выругался Маркин. Волошин вдруг стал выбираться из воронки в том месте, откуда ушел Иванов.

— Вы куда? — крикнул вслед Маркин.

— Я счас...

Волошин торопливо полз по проводу, красной ниткой пролегшему по стерне, и еще издали увидел капитана неподвижно лежащим ничком на искромсанном очередями склоне. Отсюда уже видна высота и брустверный бугорок ближнего конца траншеи немцев с торчащим на сошках стволом немецкого пулемета. Пулемет, попыхивая дымком, бил несколько в сторону. Волошин подполз к Иванову сбоку и легко перевернул на спину его сухощавое тело, уронив на прошлогоднюю стерню его измятую шапку; с уголка губ капитана сползла по щеке тонкая струйка крови. Иванов простонал и отсутствующим взглядом посмотрел на Волошина.

— Дружище, куда тебя? — лихорадочно ощупывая его, спросил Волошин.

— Вот, попало, — простонал Иванов и вдруг зашарил возле себя руками.

— Больно, да? Я перевяжу. Где больно?

— Связь... Связь скорей надо...

— Подожди ты со связью. Давай в воронку назад!

— Нет, надо... передать на огневую...

— Я передам, ладно, — заверил Волошин и перекинул его руку себе на шею, намереваясь тащить его к воронке.

— Передать доворот, — упрямо твердил Иванов, беспомощно запрокинув голову. — Дай трубку.

Дрожащими руками, волнуясь, и матерясь, Волошин расстегнул футляр аппарата и вынул телефонную трубку. Иванов приподнял слабеющую руку, в которую Волошин, отжав клапан, вложил его трубку.

— «Береза»! — едва слышно произнес командир батареи.

— «Береза» слушает! — тотчас бодро отозвалось в трубке. — «Береза» слушает, товарищ капитан.

— «Береза», я ранен. Даю доворот: репер номер три, правее ноль-сорок. Уровень больше ноль-ноль три...

Лежа рядом, Волошин отчетливо различал в трубке повторение его команд, чего сам Иванов, кажется, уже не слышал. Он молчал, трубка тоже молчала, почти выпав из его руки, потом из нее зазвучало с тревогой:

— Что, можно огонь? Можно огонь, товарищ капитан?

— Огонь... Беглый огонь, — немеющими губами прошептал Иванов и затих. Испугавшись, что на огневой могли не расслышать его команду, Волошин подхватил трубку и громко прокричал в нее:

— Всеми снарядами огонь! Открывайте огонь! Вы слышали, комбат скомандовал огонь?

Затем он сунул трубку в футляр и, забросив руку Иванова себе на шею, поволок его назад, к спасительной недалекой воронке.

Он еще не дополз до нее, как земля под ним пружинисто вздрогнула и четыре гаубичных разрыва прогрохотали на высоте возле траншеи. Это было так близко, что осколки со звенящим визгом прошли над головами, и Волошин испугался, как бы какой из них не угодил в раненого...

Он свалил его со спины на краю воронки, потом, ухватив под мышки, стащил вниз.

Маркина здесь уже не было, на скосе одиноко стоял пулемет, да и напротив успокоенно лежали двое убитых.

Иванов был плох, кажется, то и дело терял сознание, и Волошин, не успев отдышаться, бросился его перевязывать. Он расстегнул ремень с пистолетом, испачканный в крови полушубок, под которым оказалась мокрая, в липкой крови гимнастерка... Пуля ударила капитана в грудь. Волошин туго обернул бинт поверх окровавленной гимнастерки и запахнул полушубок.

Потом батарея Иванова дала еще один залп, словно в память о нем, и Волошина снова окатил град каменистой земли. Затем он услышал короткое не очень густое «ура!» и, выкатив ДШК из воронки, пригибаясь, потащил его за собой...

Пригибаясь, Волошин тащил вверх тяжелый ДШК.

В отдалении и сзади бежали бойцы восьмой роты. Видимо, ошеломленные этим броском немцы на минуту растерялись, даже прекратили минометный огонь по высоте «Малой», переносить же его на атакующих в такой близости от своих траншей они, видно, не отваживались. Седьмая с восьмой, живо воспользовавшись этой заминкой, ворвались на высоту, почти достигнув траншеи.

И вдруг оттуда ударили пулеметы, атакующие один за другим стали падать.

Почуяв на бегу, как густо зазвыкали вокруг него пули, Волошин торопливо развернул пулемет и тоже упал, прикрываясь покоробленным его щитом. Стаскивая с плеча тяжелую, с патронами, ленту, он увидел появившегося откуда-то лейтенанта Круглова, который на четвереньках, что-то крича, быстро переполз к нему.

— Товарищ капитан!.. Товарищ капитан, вон видите?.. Вон зараза, из-за бруствера...

Волошин уже увидел заливавшийся на бруствере пулемет, наводчик которого тоже, наверно, заметил их сбоку. Направленный несколько в сторону ствол вдруг круто вывернулся и, казалось, уперся в Волошина.

Не успев еще поднять предохранитель, Волошин передернулся, как от ожога, оглушенный стремительным треском осыпавшей его пулеметной очереди. Однако погнутый, искромсанный осколками щит ДШК спас его. Очередь сыпанула дальше по наступающим, и он, передернув затвором, длинно ударил по пулемету, злорадно ощущая, как его разрывная очередь сметает с рыхлой земли все, что было на бруствере.

Когда он расслабил на спуске онемевшие от усилия пальцы, пулемета там уже не было, лишь что-то пыльно серело неживым бугорком.

— Рота! — вскочив, хрипло закричал Круглов. — Рота, вперед!

Волошин, глянув в сторону, увидел, как вскочившие неподалеку несколько бойцов побежали вслед за комсоргом к траншее, кто-то, не добежав, упал, но кто-то уже взметнулся на бруствере и тут же исчез в траншее.

Огромное напряжение, столько времени томившее Волошина, вдруг разом спало от одной облегчающей мысли, которая вырвалась в слове:

— Зацепились!

И Волошин поднялся, чтобы бежать к траншее...

Полтора десятка бойцов, оказавшихся на стыке седьмой и восьмой рот, ворвались в траншею.

Весь в горячем поту, волоча за собой пулемет, Волошин заметил, как поодаль в траншее мелькнули немецкие каски, несколько раз глубинным подземным грохотом ухнули ручные гранаты, но когда он вскочил на разрытый ногами и засыпанный гильзами бруствер, в траншее уже все было кончено.

Он с облегчением спрыгнул в свежую, еще не утратившую сырого земляного запаха траншею, соображая, где бы приткнуться с громоздким пулеметом, который, по-видимому, надо было протащить дальше, куда побежали бойцы.

Оглянувшись, он увидел бегущего по стерне молодого бойца в новой шинельке и остановился, поджидая его, как откуда-то сверху, с невидимой отсюда позиции, звучно и грозно ударили размеренные очереди. Боец, не добежав двух десятков метров до бруствера, рухнул на землю. Следующее мгновение очереди явно пронеслись у Волошина над головой, он инстинктивно присел, схватившись руками за ручки ДШК, но отсюда не было видно за нарытым на гребне бруствером, откуда бил этот немецкий крупнокалиберный.

Бил, однако, он здорово — настильно по склону, во фланг восьмой, несколько человек которой, не добежав до траншеи, беспомощно распластались на стерне. Другие начали торопливо отползать под спасительную защиту едва приметного бугорка сзади.

И тотчас вверху густо и пронзительно взвыли немецкие мины, кучно легшие пыльными взрывами поперек склона, затем по подножию высоты, по болоту.

Волошин скатил пулемет пониже, на бровку, вперев казенник в противоположную стенку траншеи...

— Та-ак, ясно!.. Надежда на удачу не сбылась...

Сохраняя выдержку, он опустился на дно траншеи и под вой и грохот разрывов свернул цигарку...

— Что ж получается?.. Выходит, батальон разорван на три части, и бой от этого, естественно, усложнился... Теперь определить его исход не сможет и сам господь бог!.. Во всяком случае тем, кто ворвался в траншеи, будет несладко... И сколько нас здесь, неясно...

Он только раз затянулся, как повыше в траншее послышались непонятные крики и близкая автоматная очередь стеганула сверху по брустверу.

— Похоже, нас начинают отсюда вышибать? — сказал он, бросая окурок. Выдернув из кобуры пистолет, Волошин выждал четверть минуты и, пригибаясь, побежал по зигзагообразным изломам траншеи.

На втором или третьем повороте он наскочил на присевшего бойца с примкнутым к винтовке штыком. Тот напряженно вглядывался вперед, откуда доносились крики и треск автоматных очередей. Несколько пуль разбили землю на бруствере, обдав их песком и пылью.

— Что там? — спросил Волошин.

Боец пожал плечами, держа наготове винтовку, сам, однако, не торопясь подаваться вперед, и Волошин крикнул ему:

— Давай назад, к пулемету!

Они с трудом разминулись в тесной траншее, на дне которой он с брезгливостью переступил через убитого, в распахнутой шинели немца, и на очередном повороте едва не угодил под густую очередь вдоль траншеи, успев, однако, отшатнуться за выступ.

Откуда-то спереди на него налетел лейтенант Круглов.

— Что такое, лейтенант?

— Дрянь дело, комбат! Жиманули обратно...

— Спокойно! — сказал Волошин, перегораживая траншею перед выскочившим следом бойцом, по щеке которого лилась на воротник кровь. — Спокойно. А ну, гранаты! Гранатами — огонь!

Боец что-то возбужденно кричал, поминая какого-то Лешку и машинально вытирая плывшую из разбитого виска кровь, по дальше не побежал, сорвал с брезентового ремня гранату и, матерно выругавшись, швырнул ее вдоль траншеи. Когда она грохнула за поворотом, спереди из-за колена выскочили еще двое, и в одном, что был без шинели, в измятой неподпоясанной гимнастерке, Волошин узнал Чернорученко.

— Черноручено, ты что? Где Маркин?

Черноручено вскинул на него недоумевающий взгляд и отвернулся.

— Там, — бросил он и, подхватив винтовку, выстрелил по траншее дважды. Туда же ударил из пистолета Круглов.

— Так. Отсюда ни шагу! — начинал чувствовать обстановку Волошин. — Отсюда ни с места. Вы поняли?

— Так точно, товарищ комбат, — сказал Черноручено, перезаряжая винтовку.

— Да, положеньице! — сказал Круглов, стоя на одном колене в траншее.

Все держали оружие наизготовку. Первым возле излома стоял, пригнувшись, боец с окровавленной щекой, за ним Черноручено. Волошин оглянулся, ища взглядом кого-нибудь сзади, и увидел лишь одного бойца из вчерашнего пополнения, глаза которого на смуглом лице смотрели удивительно спокойно, почти бесстрастно, будто все, что происходило вокруг, было для него делом давно привычным.

— По-русски понимаешь? — спросил Волошин.

— Понимаю, — тихо ответил боец.

— Давай по траншее за пулеметом. Вдвоем возьмете пулемет — и сюда. Понял?

Боец побежал, и Круглов с надеждой спросил:

— А патроны? Патроны хоть есть?

— На одну очередь.

— Так, сколько нас всего? — спросил Волошин. — Четверо? Кажется, бежало больше.

— Остальные там, — обернулся Черноручено. — В блиндаже.

— В каком блиндаже?

— А там блиндаж есть. Как фрицы ударили, они не успели. Мы выскочили, а те нет.

— Лейтенант, надо пробиться к тем, — сказал Волошин.

— Оно бы неплохо. Но...

— Надо пробиться. Дайте гранату.

Черноручено бросил Волошину круглое яичко немецкой гранаты, из которой тот выдернул пуговичку со шнурком и швырнул ее через бруствер. Как только за поворотом грохнуло, Волошин крикнул:

— Быстро вперед!

Черноручено с раненым проворно метнулись за поворот, и он поверх их голов выстрелил вдоль следующего отрезка траншеи. Пробежав десять шагов, они втроем затаились возле очередного поворота. Раненый боец, очевидно, поняв суть дела, выставив автомат за угол, стрекнул короткой очередью. Потом, пригнувшись, прыгнул за угол, за ним прыгнул Волошин, и оба свалились на дно — боец от выстрела немца из-за поворота, а Волошин — наскочив на бойца. Это падение, однако, уберегло капитана от очереди, которая прошлась выше. Тут грохнул винтовочный выстрел Черноручено, и немец в неподпоясанной с широким воротником шинели, выронив из рук автомат, осел поперек траншеи. Волошин с земли выстрелил в него два раза, и, подхватив автомат, вскочил на ноги.

У очередного поворота она затаились, прижавшись спинами к закопченному взрывом гранаты земляному выступу, явно чувствуя за ним немцев.

Волошин схватил ком земли и, размахнувшись, швырнул его через бруствер. Тотчас ударил автомат, и Волошин, пригнувшись, головой вперед ринулся за поворот. Он не отпустил из-под пальца спуска, пока автомат не замолк.

В поднятой очередями пыли впереди мелькнуло несколько спин немцев, н никто из них не упал.

Волошин осторожно глянул из-за выступа и увидел идущие вниз ступеньки и вход в блиндаж, из которого торчал коротенький ствол ППШ.

— Эй, — подал голос Волошин. — Свои!

Ствол дрогнул, и из входа выглянуло чумазое молодое лицо, на котором обрадованно блеснули глаза.

— Комбат! Товарищ комбат!..

Волошин пробежал до следующего поворота и прижался к издолбленной очередями стене.

— Живы? — заглядывая в блиндаж, спросил Круглов.

— Лейтенант ранен.

— Давай выходи! — скомандовал Круглов. — Один пусть останется, остальные выходи!

Держа наизготовку немецкий автомат, Волошин стоял настороже, прижимаясь спиной к стене, не зная, что за поворотом, и ежесекундно ожидая оттуда очереди или гранаты.

— А ну, давай все сюда! — приказал он, когда несколько бойцов выглянуло из блиндажа. — Доставай лопатки! Быстро перерыть траншею, закрыть проход.

Он отступил шаг назад, и первый боец, рослый, в рваной телогрейке парень из стариков, по фамилии Лучкин, вонзив в бровку лопатку, отвалил к ногам пласт еще свежей, по-летнему сырой земли. По другую сторону начал обрушивать землю другой боец, в новенькой зеленой каске.

— Так. Остальные прикройте их. Взять в руки гранаты, — распорядился Круглов. — Ни черта. Еще мы посмотрим.

Из блиндажа выглянул все тот же чумазый боец в сбитой набекрень шапке:

— Товарищ капитан, лейтенант зовет.

Оглянувшись на застывшего возле бойцов Круглова, Волошин вошел.

В полутьме трудно было рассмотреть что-либо. Волошин увидел только торчащие на проходе ноги в сапогах и обмотках и несколько напряженно серевших в полутьме лиц, по виду которых становилось ясно, что это раненые. Тут же, привалясь спиной к стене, полулежал на шинели Маркин.

— Что с вами? — спросил Волошин. — Серьезно ранены?

— Да вот в ногу, — шевельнул лейтенант забинтованной, без сапога, голенью. — Так что, видно, опять вам командовать.

— Зачем было рваться впереди всех? Что и кому вы доказали этим? Управления никакого, батальон разрублен на несколько частей, одна из которых застряла под высотой,

другая сунулась в эту мышеловку... Вы понимаете положение батальона?

— Я уже отпонимался, — с мрачной отрешенностью сказал Маркин. — Я ранен.

— А до ранения вы не удосужились подумать?

— А что мне думать? Прикажут — полезешь, куда и шило не лезет.

— Да-а, — вздохнул Волошин и, тихо выругавшись, опустился у прохода. — И все-таки на безрассудство мы не имеем права...

Уронив на колени руки, Волошин посидел минуту и, почувствовал, как запекло в правой кисти. Поглядел, по пальцам на сапог живо сбежала теплая струйка. Он тронул кисть левой рукой и увидел на пальцах кровь.

— Что за чертовщина, — проворчал себе под нос Волошин. — Даже не заметил, когда ранило. — И спросил уже громко: — У кого есть бинт?

— Вот у него, — послышалось за его спиной, и Волошин вздрогнул. Из полутемного угла блиндажа на него страдальчески смотрели знакомые глаза рядового Авдюшкина, и Волошина пронзило испугом:

— Авдюшкин, ты?

— Я, товарищ комбат.

— Ты что, ранен?

— Раненый, товарищ комбат. Вот ноги у мэнэ простреленные.

— А Нагорный?

— Нагорный убитый. Его гранатой убило. Тут, в траншейке.

— Утром?

— Утречком, ну, — постанывая, с усилием говорил Авдюшкин. — Как мы сунулись, ну и он навалился. Всих пэрэбилы. Ильки я остався. И то во фрыц гэты спас. Пэрэвязав ноги.

— Какой фриц?

— Во, цей, — кивнул годовой Авдюшкин, и только теперь Волошин рассмотрел в сумраке блиндажа тоже бледное лицо немца, который тихо сидел в углу за Авдюшкиным. — Тэж ранитый.

— Пристрелить надо, — сказал от входа чумазый. — Еще его не хватало...

— Ни, не дам, — убежденно сказал Авдюшкин. — Вин мэнэ спас, це хороший фриц. А то б я кровью заплыл в этом блиндаже. А ну, фриц, дай комбату бинта.

Фриц действительно что-то понял из их разговора и, поворошив в кармане шинели, достал свежий сверток бинта, который Авдюшкин протянул Волошину.

Волошин левой рукой начал торопливо обертывать кисть правой. Связывая концы бинта, он прислушался к очередям и разрывам на склоне, с недоумением заметив, что в траншее все пока тихо.

— Так! — привычно-командно сказал Волошин, поднимаясь. — Фрица пока не трогать! — Он бросил взгляд на чумазого. — Надо отбивать траншею. Иначе они нас выбьют отсюда.

— С кем отбивать? — мрачно сказал Маркин.

— С кем есть. Надо собрать все гранаты. Может, немецкие гранаты остались?

— Немецких полно, — зашевелился в углу раненый. — Вот целый ящик.

— А ну, давай его сюда.

Волошин схватился за выдвинутый к нему ящик и выволок его из блиндажа...

Волошин вылез в траншею, таща за собой по ступенькам ящик.

Осмотрелся.

Сверху все грохотали разрывы и стегали пулеметы по склону, не давая подняться ротам;

Бойцы уже перерыли траншею, соорудив в ней невысокую, по пояс, перемычку, и Волошин скомандовал:

— Стоп! Больше не надо. Всем запастись гранатами.

Он указал на ящик, полный гранат.

Подошел лейтенант Круглов.

— Видишь, стегает? — сказал Волошин. — Так ротам не подняться. Им следует срочно помочь отсюда, чтобы они могли помочь нам. Только объединив все усилия, мы можем спасти батальон и чего-то достичь.

— Да, разъединенность — гибель! — согласился комсорг, глядя, как дружно бойцы разбирали из разделенного на соты желтого ящика немецкие гранаты с длинными ручками.

Волошин глазами сосчитал бойцов.

— Бойцов с нами больше десятка, — рассуждал он. — Раненые в блиндаже, конечно, не в счет... Если воспользоваться этой непонятной паузой и с помощью гранат ударить вдоль по траншее, может, удастся пробиться к вершине, чтобы заткнуть глотку тому крупнокалиберному пулемету, который и не дает подняться ротам...

— Что, будем штурмовать траншею? — спросил его Круглов, услышав размышления комбата.

— А что же остается, лейтенант? Лучше штурмовать, чем убегать. Как вы считаете, ведь третьего не дано?

Комсорг подошел поближе и опустился на корточки, жадно досасывая немецкую сигарету.

— Боюсь, мало сил, капитан, — сказал он.

— Больше не будет. Подавим пулемет — поднимутся роты.

— Если подавим, — оказал Круглов, сунув в землю и притопнув ногой окурок. — И если поднимутся,

— Война вся — если, — тихо сказал Волошин. — Но отойти с этой высоты после стольких жертв мы не можем... потому что повторить все сначала у батальона не будет сил... А сидеть в бездействии — значит отдать инициативу немцам, которые, уверен, не замедлят ею воспользоваться.

— Значит, надо пытаться, — уверенно согласился Круглов.

— Да, — обрадовался поддержке Волошин и с благодарностью посмотрел на лейтенанта, который ему так нравился своим простодушием и открытым характером. — Надо отбить хотя бы половину траншеи.

— Ясно, — сказал Круглов, вставая, и негромко скомандовал бойцам: — Приготовиться к штурму!

...Все в ряд они выстроились у поворота с левой стороны траншеи. Первым стал лейтенант Круглов, за ним прижался к стене Волошин, затем Черноручено и остальные.

Перед броском на минуту замерли, прислушиваясь. Из-за бортов шинелей, из карманов телогреек, из-под ремней у бойцов густо торчали деревянные ручки гранат, лица у всех были напряжены и решительны.

Ничего, однако, не услыхав за грохотом разрывов в поле, Круглов по недавнему примеру Волошина снял с головы каску и бросил ее за выступ. Ожидаемой очереди оттуда не последовало, и комсорг первым рванулся дальше, за ним, пригнувшись, сорвались бойцы.

За поворотом никого не оказалось. Разбитая снарядами, с развороченным бруствером траншея была пуста.

Они добежали до следующего поворота и снова остановились. Никого. Круглов обрадованно взглянул на Волошина. Тот ему ответил озабоченным взглядом.

— Сбежали фрицы, — обрадованно не то спросил, не то ответил комсорг.

— Не могли они бросить траншею, — покачал головой Волошин. — Кто-то же должен прикрыть их пулеметы? Значит, где-то они нас поджидают... За которым коленом только?

Они прошли еще два-три поворота и нерешительно остановились. Тут траншея разветвлялась на две: одна шла в прежнем направлении, вторая под острым углом забирала в сторону и выше.

Волошин взглядом указал Круглову на ту, что ответвлялась в сторону, а сам шагнул прямо.

Он сделал всего три шага и, вздрогнув, резко обернулся. Сзади послышался вскрик, тотчас два гранатных разрыва обдали его песком и дымом. Шедший за ним Чернорученко размахнулся гранатой, но бросить ее не успел, из-за развилки в их сторону шарахнулись два бойца, вслед которым жарко пахнула автоматная очередь.

Потом грохнуло дальше, и Волошин, поняв, что это бросили гранаты бойцы, выдернул из ручки шнурок и одновременно с Чернорученко метнул гранату. Гранаты скрылись за бруствером, и еще до того, как они разорвались, из-за поворота вывалился бледный, без шапки, в распоротом на плече полушубке Круглов.

— С-сволочи!..

Он падал, слепо хватаясь за стенку траншеи, и Волошин, крикнув Чернорученко: «Возьми лейтенанта!», швырнул через бруствер в отросток траншеи две гранаты подряд. Оказавшиеся по ту сторону отростка бойцы бросили еще несколько гранат.

Они сунулись под стену головами, пережидая серию оглушающих, засыпавших их землей взрывов и глядя, как Чернорученко, обхватив за поясницу Круглова, поволок его по траншее.

Швырнув еще по гранате, бойцы стали пятиться следом, и Волошин, чтобы не остаться одному, рывком проскочил разделявшие их три шага напротив отростка, из которого снова шибануло автоматным огнем. Однако на долю секунды он упредил пули и даже успел заметить там двух пригнувшихся немцев в касках.

Обсыпанные землей, они отбежали десяток шагов до следующего колена и остановились, направив на поворот оружие в ожидании того, кто первым оттуда выскочит.

— Стоп! — тихо скомандовал он, вдруг осененный новой мыслью. — А ну, разойдись пореже! По одному за поворот! Гранаты бросает первый. Ну, живо!

Бойцы, пригибаясь, послушно побежали по траншее, исчезая за ее изломами, последнего, подпоясанного поверх телогрейки немецким ремнем с выпиленной из пряжки свастикой, он задержал за рукав.

— Ты со мной! Бери две гранаты!

Не успел боец перехватить в левую руку винтовку, как в воздухе над бруствером, кувыркаясь, мелькнула длинная рукоятка гранаты. Они едва пригнулись под стену — выше на бруствере оглушительно грохнуло. Потом грохнуло дальше и сзади.

Зная, что последует дальше, он, не поднимаясь, выстрелял три раза за поворот, и, кажется, вовремя. Кто-то там лишь сунулся, тенью мелькнув в пыли и дыме, и снова исчез за выступом.

Сзади послышались немецкие выкрики, кто-то угрожающе прокричал за изломом, и стало ясно, что немцев, преследующих их, много.

Секанувшая вдоль по траншее автоматная очередь опять вынудила его на четвереньках спасаться за следующим поворотом.

За поворотом, опустившись на одно колено, его поджидал с двумя гранатами в руках тот самый флегматичный боец из пополнения, который недавно бросился ему в глаза своим почти библейским спокойствием. Капитан сгорбился рядом. Оставленный им за поворотом боец больше не появлялся.

— Черт! — выругался Волошин, отирая тыльной стороной руки лоб. — Теперь они нашим способом вышибают нас гранатами...

— Их больше, — коротко сказал боец.

Волошин осторожно выглянул из-за угла и тут же спрятался.

— Ну, бросай! — кивнул он головой бойцу. — Потом я.

Боец не спеша левой рукой дернул пуговицу, и, выждав, пока щелкнет запал, правой рукой без размаха сунул гранату за земляной поворот.

— Беги, капитан! — оглянулся он в дыме после взрыва. — Давай свой гранат!

— Вместе! — поняв его намерение, встряхнул головой Волошин. — Бегом к блиндажу!

— Беги скоро!! — крикнул тот, хватаясь за винтовку. За поворотом — топот ног и крики немцев.

Боясь не успеть, Волошин вскочил и, отбежав на несколько шагов, оглянулся.

— Беги!

Не увидев, что стало с бойцом, он в следующее мгновение содрогнулся от новой тревоги — сзади в траншее началась частая стрельба из винтовок, там же загремели и гранатные

взрывы, как ему показалось — у блиндажа, и он бросился по траншее назад.

Обежав два поворота, увидел свою перемычку и перед ней бойца, с колена торопливо бьющего вдоль траншеи из винтовки.

— Что там?

— Немцы, — бросил боец, клацнув затвором. — Двоих уложил.

Из выхода в блиндаж тоже торчало несколько стволов, которые стреляли туда же в разветвленные вправо и влево от входа в блиндаж траншейные проходы. Волошин прижался к стенке в проходе третьем, прямо ко входу.

— Так, значит, они ударили с тыла... захватили, по-видимому, и начало траншеи, — торопливо пытался вслух, не скрывая своих выводов, рассуждать Волошин. — Сжимают тут, как в гармошке.

— В блиндаж загоняют, — сказал боец, щелкая затвором и целясь.

— В тупик... — уточнил Волошин,

Откуда-то полоснула автоматная очередь и Волошин, спасаясь от нее, сунулся в земляной проем блиндажа и упал на ступеньках, пережидая ошалелое щелканье пуль по стене, с которой обрушился целый пласт глины, наполнив траншею пылью.

Под боком у него оказался знакомый кирзовый сапог с овальной заплаткой на заднике, и он увидел перед собой оттопыренные уши Чернорученко, который короткий очередями тыркал по углу траншеи, и тот постепенно крошился, обваливаясь комками и удлиняя обзор. Горячие гильзы из его автомата сыпались капитану на голову и за шиворот, он тоже поднял свой пистолет, чувствуя при этом, что патроны в магазине вот-вот должны кончиться.

— Молодец, придумал, Чернорученко, — похвалил он своего телефониста. — Пока мы можем простреливать отсюда траншею, немцы прорваться в блиндаж не смогут.

— Так точно, товарищ комбат, — не переставая постреливать, отвечал Чернорученко. — Метров пятнадцать по обе стороны не сунутся.

В траншейном поединке наступила неопределенная пауза.

Но откуда с бруствера слетают разбитые пулями комья земли?

— Чернорученко, — сказал Волошин. — Меня оглушило на правое... послушай, откуда бьет пулемет по брустверу?

— Дак это наш ДШК, — ответил после паузы Чернорученко. — Это, видать, наши снизу бьют по траншее...

— И не дают немцам блокировать блиндаж поверху траншей, — обрадованно продолжил мысль телефониста Волошин. — Не забыл нас батальон...

В это время Чернорученко опять полоснул по траншее очередью. Волошин тоже поднял пистолет.

— Товарищ комбат, дайте я, — сказал кто-то рядом, и Волошин, оглянувшись, увидел бойца с толсто забинтованной головой, который, держа в руках автомат, лез занять его место на входе.

Помедлив, Волошин встал. Боец влез на его место, а капитан спустился на две ступеньки ниже и стал возле самой двери...

В блиндаже, на устланном соломой полу, тесно лежали раненые, в полумраке серели бинты и слабо шевелились бледные лица, в углу кто-то тихо раскачивался в нательной сорочке, остро пахло лекарством. Несколько пар глаз из тесной полутьмы с вопросительным ожиданием уставились на Волошина, и он вдруг ощутил такую беспомощность, какой не ощущал под градом осколков в траншее.

— Ничего! — сказал он в утешение не так им, как больше самому себе. — Будем отбиваться. У кого есть оружие? Давай ближе к выходу.

— Оружие есть. Но что оружие...

— Пока есть оружие, мы — бойцы. Будем держаться.

Ответом ему было трудное, напряженное молчание, кто-то обреченно простонал, и он перевел взгляд на Маркина, который в прежней позе лежал на шинели.

— Черт! Не удалось! — тихо, ни к кому не обращаясь, проговорил Маркин. — Все к чертовой матери!

А Волошина от этой реплики Маркина неприятно передернуло, и он вдруг зашарил по блиндажу взглядом:

— А Круглов здесь? Что с Кругловым?

— Все, нет Круглова, — обернулся на ступеньках Чернорученко. — Вот его автомат. А там сумка, — кивнул он в блиндаж.

Волошин судорожно вздохнул, замотав головой, и почему-то снова неприязненно посмотрел на Маркина.

Кто-то в наброшенной шинели и с забинтованной рукой, неуверенно ступая между телами, пробрался к двери и передал Чернорученко два снаряженных магазина. Бойца с разрезанным до плеча рукавом, у которого оказалась граната, Волошин посадил возле двери. Но одной гранаты для них было мало.

— Гранат надо больше. У кого еще есть гранаты?

— Вот последняя, — сказал Авдюшкин. — Для сэбэ оберегав. Да черт з ей...

Он протянул из угла Ф-1, которую Волошин планкой нацепил себе на ремень возле пряжки. Других гранат у него не осталось.

Теперь он снова был готов к бою и, стоя у сырого, из неошкуренной ели косяка, поглядывал в траншею. Рядом на ступеньках, выставив в разные стороны автоматы, сидели Черноручено и мрачный боец с толсто забинтованной головой.

— Это... Нате вот еще каски, — заботливо передали из блиндажа две немецких каски. Черноручено одну насунул поверх шапки, а вторую раненый боец, примерив, зло бросил в траншею.

— Падлой смердит.

Волошин вынул из брючного кармана часы и с удивлением ахнул: было четверть четвертого.

— А я все думал, что еще утро! — усмехнулся он сам над собой. Вдруг оба сидящих на ступеньках схватились за автоматы, и одновременно с обеих сторон траншеи слишком знакомо мелькнуло в воздухе. Одна из гранат, прежде чем разорваться, торчком поскакала перед дверью...

Как только они рванули, взбив облако пыли, оба автоматчика снова высунулись и ударили из своих ППШ, наполнив блиндаж гулким автоматным треском. Волошин прижался спиной к стене, держа наготове пистолет.

Трудно волоча простреленные, без сапог, ноги, из угла блиндажа выполз и лег возле входа Авдюшкин. В его сжатой руке блеснула малая саперная лопатка.

— Ах гады! Ну идите, гады! — треща автоматом, исступленно кричал на ступеньках раненый.

Очередной бросок гранаты Волошин не успел заметить, возможно, ее перебросили через бруствер, только рядом в траншее вдруг оглушительно грохнуло, пахнув в растворенную дверь блиндажа жарким смрадом, и немецкая каска с головы Черноручено с железным звоном ударилась о притолоку.

На ступеньках, откинувшись навзничь, конвульсивно задергался Черноручено, выпустив из рук автомат. Волошин подхватил этот забитый песком, горячий еще ППШ и отпрянул к закачавшейся на петлях двери.

— Дверь! Дверь! — закричало в блиндаже несколько голосов. — Держите дверь!

Чьи-то проворные руки мощным рывком грохнули плотно закрывшейся дверью, отрезая от себя все, что было за ней в траншее.

Волошин не знал, что произошло с Чернорученко, убит или ранен, не знал, в каком состоянии раненный в голову боец, автомат которого, однако, тоже замолк. Испугавшись, что в блиндаж вот-вот ворвутся немцы, капитан через доски двери выпустил наружу три короткие очереди и снова замер у двери. На минуту там все затихло.

— Маты моя ридная! — взмолился кто-то из раненых.

— Мовчи! — крикнул на него с пола Авдюшкин. — Без тэбе тошно.

Опять настала гнетущая пауза.

— Ух, сволочи! Ух, какие же они сволочи!.. — навзрыд плакал в углу раненый в нательной сорочке. — Неужто конец нам?

— Подождите! — не зная еще, чем можно их и себя утешить, сказал Волошин. — Еще не все потеряно. Еще мы подержимся. У нас ведь броня.

— Броня?!

— А как же! — ободряюще сказал капитан. — Вот — земля родная. Лучше нет в мире брони. Попробуй, пробей. — Стукнул он кулаком в стену. — Там на косогоре, бугорка не было. А тут... Там бы такой блиндаж!

— А це правда! — раздался вдруг просветленный голос. — Я там за лопаточку ховався...

Не успел он договорить, как стены блиндажа снова содрогнулись от мощного взрыва, потом еще одного и еще двух кряду.

Дверь они держали подпертой у самой земли ногами. Волошин из всех сил упирался в ее уголок каблуком сапога, и у него едва хватало силы удержать ногу при взрыве.

Вся верхняя часть двери, иссеченная осколками, засветилась десятками щелей и дыр... Но дверь выдержала.

Гранаты все-таки рвались в отдалении, за три метра в траншее, и он удивился, что ни одна из них не разорвалась под дверью.

— Значит, есть Бог, — сказал кто-то из раненых, — коли он не дает разорваться гранатам у самой двери... а то бы...

— Там не Бог, — сказал Волошин, прильнув к одной из щелей, — там два святых лежат и не дают подкатиться гранатам к двери. Они и мертвые защищают нас живых...

— Господа, открой им двери рая... — почти пропел кто-то из тьмы.

У стены встревоженно завозился Маркин.

Не выпуская из рук пистолет, он выдернул из-под изголовья сумку, коротко бросив в наступившей затем тишине:

— У кого спички?

Кто-то дал ему спички, и лейтенант, поискав в сумке, выдернул оттуда несколько бумажек, свернул их в трубку.

В блиндаже загорелся коптящий небольшой костерок, в который Маркин, нервно сминая, начал совать бумаги.

— Карта у вас? — поднял к Волошину мрачное лицо начштаба.

Волошин молча вынул карту из сумки и бросил Маркину.

Блиндаж скоро наполнился дымом. К горящим документам начштаба, именным спискам и картам кое-кто из бойцов начал подбрасывать свои бумаги, которые быстро начал пожирать огонь. Волошин видел, как кто-то вместе с бумагами бросил к огню конверт и письмо, написанные крупными буквами, и когда огонь уже подобрался к уголку листа, человек вдруг закричал неожиданно:

— Не надо! Не надо!.. Отдайте его мне!

Чьи-то услужливые руки выхватили лист из огня, торопливо потушили тлевший уголок и передали в угол кричавшему. Там послышались всхлипывания...

А немцы все медлили. С трудом вынося эту мучительную паузу, Волошин повернул автомат стволом к двери и протрещал несколькими очередями. Иссеченная пулями и осколками дверь светилась многочисленными дырами, сквозь которые, однако, можно было наблюдать лишь узкий отрезок траншеи напротив.

Заглянув в одну из дыр, капитан увидел нечто такое, что его удивило.

Сначала ему показалось, что это был дым, струи которого, расходясь под потолком, тянулись по воздуху к двери и собирались теперь в траншее. Но приглядевшись, он понял, что это было что-то другое. Плотно-серое дымное облако быстро наполняло траншею, уже скрыв ее противоположную стену и снизу вползая в блиндаж.

Бойцы завозились, закашлялись, и лежавший у двери раненый в руку боец вскричал:

— Братцы! Да они же нас газом! Вы чуете?

— Тихо! — крикнул Волошин. Но было поздно.

Весь блиндаж встревоженно зашевелился, задвигался, кто-то в темноте заплакал, многие начали удушливо кашлять.

Волошин почувствовал, как у него самого нестерпимо защипало в носу и по щекам потекли слезы. Он опустился на корточки.

— Сколько раз ругал начхим, где противогазы, — запоздало каялся кто-то. — Теперь вот подыхать!..

Дымной, удушливой мглы натекло в блиндаж все больше, было темно, дышать становилось нечем. Уткнувшись лицом в суконный рукав шинели, Волошин с трудом делал мелкие вдохи...

А там, за дверью, наверху своим чередом шел огневой бой, к которому он хотя и прислушивался, но уже давно перестал в нем разбираться. А теперь, вероятно, этот бой уже их не касался...

Он не сразу почуял, как кто-то потянул его за рукав, и недоуменно поднял тяжелые глаза.

— Товарищ комбат, возьмите!

Чья-то солдатская рука протягивала ему знакомую матерчатую сумку с противогазом, в котором теперь было спасение. Однако он не сразу решился протянуть свою руку навстречу, он не был готов к этому жесту великодушия... Но рука его инстинктивно, почти без участия воли, взметнулась к узенькой перекрученной лямке.

— Я комбат! Я здесь комбат! — вдруг почти выкрикнул под стеной Маркин, и Волошин, содрогнувшись, отдернул руку.

— Что, спастись хочешь? — просипел он. — Отдайте ему! Отдайте противогаз лейтенанту!

— Я — не спастись! Но здесь я назначен комбатом. Понятно?

— Ты!.. — негодующе выдавил из себя Волошин. — О чем заботишься?

Маркин ничего не сказал больше, противогаз он тоже не взял, его подобрала с прохода чья-то поспешно протянувшаяся из угла рука.

Вдруг снаружи донеслось несколько дальних встревоженных криков, и Волошин, напрягшись, чтобы расслышать их, не сразу увидел, как кто-то решительно шагнул по телам к двери и широко рванул ее на себя.

— Немец! Немца держите! — завопили в блиндаже.

Волошин, который ближе других был к двери, вскочил, бросился следом...

...Когда он выскочил из блиндажа, немец уже скрылся в клубах серого дыма. Задохнувшись, Волошин нажал на спуск автомата, полоснул слепой очередью в дымную мглу траншеи, и сам рванулся вперед, тут же ударившись грудью о ее высокую бровку. Он еще не успел вскочить на ноги, как снова упал, больно сбитый в дыму сапогами бегущего. Не зная, кто это, и совсем задыхаясь от дыма, он из последних сил ухватил бежав-

шего за ноги, опрокинув его в траншею, и, наткнувшись руками на холодный металл оружия, рванул его на себя. Кажется, он не ошибся, это был немец, по крайней мере, автомат оказался немецким. Волошин понял это на ощупь и с земли выпустил весь магазин по отпрянувшему от него немцу и вдоль траншеи, где в клубах серого дыма слышалась возня, гортанные крики, непонятная суматоха бегущих.

Где-то рядом, багрово полыхнув пламенем, разорвалась граната, с разных направлений ударили очереди, но, обливаясь слезами, он уже не мог понять, кто и куда стрелял. Ни секунды не медля, он вскочил и, низко пригибаясь, бросился по траншее к недалекому ее колену.

Здесь он вздохнул на пол-легкого, услышал сзади два или три вскрика, знакомую матерщину и понял, что это выскочили из блиндажа свои. Не дожидаясь их, он шагнул за поворот и побежал вниз по траншее. Он задыхался, ему надо было вдохнуть хоть глоток чистого воздуха...

Немцы ему не встречались, никто в него не стрелял, почти вплотную за ним кто-то бежал, и это его успокаивало. Он только жадно хватал ртом уже посвежевший воздух, пока не стал различать бруствер, бровку траншеи...

Вскоре он услыхал одним ухом недалекую автоматную очередь и пошел медленнее. Он шел по траншее в проклятый тот ус, в который с пулеметом ворвался утром.

За ним волоклись по траншее раненые. Он не видел их и не знал, сколько их было, но слышал их заполошный кашель и голоса.

Немцы исчезли. Это его удивляло и пугало одновременно. Несколь раз он спотыкался о трупы. Но он не смотрел вниз и не знал, свои это или немцы, а шатаясь, как пьяный, и мало что понимая, все шел по траншее в ту сторону, где утром оставил роты и где был его батальон.

Его остановил радостный крик сзади, и он, не поняв, в чем дело, испуганно отпрянул, схватившись за ствол автомата.

— Едрит твои лапти, комбат! — вдруг басом прогудело вверху. Он оторопело откинулся к стенке, чтобы не упасть, привалился плечом к бровке траншеи, в которую, обрушив сухой пласт земли, ввалился старший лейтенант Кизевич.

— Комбат! — почти закричал он и неуклюже облапил Волошина своими длинными руками в меховых варежках. — Живой, значит?

— Я? — не сразу найдясь, переспросил Волошин.

— Ты, кто же! А мы уже вас похоронили. Как увидели, что вас немцы жарят...

— Ты? А рота? — с трудом оправляясь от удушья, слабым голосом проговорил Волошин и закашлялся.

— Вон рота. Слышь, немцев погнала. С тылу зашли, понимаешь? Пуля что: пуля дура — штык молодец! — засмеялся командир роты.

Волошин подумал, какой все-таки молодец у него командир девятой и как он прежде не мог заметить этого. И в ответ на эти мысли его глаза, смотрящие на Кизевича, потеплели.

Кизевич присел в траншее и подрагивающими от волнения руками начал вертеть цигарку. Ветер выдувал махорку, старший лейтенант большим пальцем едва удерживал ее на обрывке газеты.

— Однако вы вовремя. Еще бы пару минут и... — превозмогая саднящую боль в груди, проговорил Волошин.

— Хе, вовремя! За это генерала благодари. Нагрянул на КП и попер. Всех! Так шуганул, что откуда и сила взялась. Сам не ожидал. И всего трое раненых.

— Генерал? Вот как...

— Ну.

Пониже опустившись в траншее, Кизевич торопливо прикурил от зажигалки-патрона, и, жадно затянувшись, поднялся.

За высотой разгоралась перестрелка, и комроты внимательно посмотрел через бруствер. Медленно отходя от пережитого, Волошин не сводил глаз со своего бывшего ротного, и Кизевич вдруг спохватился:

— Да, новость! Гунько-то комдив отстранил. Теперь полком Миненко командует.

— Это хорошо, это хорошо, — рассеянно повторял Волошин.

— А Маркин живой? — спросил Кизевич и, вдруг заторопившись, вогнал в автомат новый магазин-рожок.

— Маркин живой. Там в блиндаже, повыше, — кивнул Волошин.

— Ну я — доложить. Комбат все-таки...

— Конечно, конечно, — понимающе согласился Волошин и посторонился, пропуская комроты-девять...

Было почти тихо. Пронизывающе дул ветер и жал морозец. Верхушка отвоеванной высоты черным покатым горбом вырисовывалась на светлеющей закрайке неба. Из-за нее доносился порой густой пулеметный рокот.

Волошин хоронил убитых.

Трое легкораненых и два бойца из комендантского взвода сносили их со склонов высоты к отростку траншеи, где гау-

бичный снаряд вырыл днем вместительную воронку. Воронку наскоро углубили, зачистили стены — и получилась могила. Место было хорошее — широкий обзор в тыл, на болото и пригорок с вчерашним КП.

Волошин помогал бойцам вытаскивать погибших из обрушенной гранатами траншеи...

Капитан стоял на куче свеженакопанной земли у могилы. Ниже, на разостланных немецких одеялах, в ряд лежали убитые. Крайний от него — лейтенант Круглов в густо окровавленной суконной гимнастерке. Иссеченный пулями полушубок комсорга Волошин накинул на себя — от потери крови и пережитого его пробирала дрожь. Он молчал, скорбно переживая недавнее; всем у могилы деловито распоряжался раненный осколком гранаты в шею Гутман.

Молчаливый боец из новеньких подравнивал дно могилы.

— Раз, два, три, четыре, пять... Итого восемнадцать, — сосчитал неподвижные тела Гутман и заглянул в воронку. — Маловата, холера, надо расширить. Вон еще волокут...

Два бойца за руки и за ноги несли провисшее до земли тело, которое устало опустили на стерню возле мертвой шеренги.

Волошин наклонился над мертвенно-успокоенным лицом, на секунду блеснув попавшим лучом фонарика (что сделал он от растерянности, так как уже светлело достаточно), да так и застыл, пригнувшись.

— Вера?

— Ну, — тяжело отсапываясь, сказал боец. — Там, на спирали, лежала. Зацепилась — насилу выпутали.

— Вот так и бывает!.. — невольно вырвалось у Волошина, сглотнувшего застрявший комок в горле.

Вскоре бойцы принесли кого-то еще, сняли подсумки, шинель, вынули из гимнастерки документы. Гутман, посмотрев, передал Волошину. Развернув новенькую, обернутую газеткой красноармейскую книжку, прочитал фамилию:

«Вот и еще один знакомец, — подумал вслух капитан, — значит, не минула, тебя, Гайнатулин, немецкая пуля... Немного же пришлось тебе испытать этой войны, дорогой боец, хотя и испытал ты ее полной мерой. За один день пережил столько всего, от трусости до геройства, а как погиб — неизвестно».

— Давайте опускать! — поторапливал Гутман, спрыгнув в могилу. — Подтаскивайте, мы перенимаем.

Втроем с капитаном бойцы стали подтаскивать тела убитых к краю могилы и подавать в яму Гутману. Ему помогал боец.

Первым положили лейтенанта Круглова, потом Волошин задержал у края могилы следующего, узнав в нем своего теле-

фониста Черноरученко. У него было залито кровью лицо, разбит висок. Волошин вздохнул.

— Ребята, перевязать бы надо... а то земля... — тихо сказал он.

У кого-то нашелся пакет, и Гутман, стоя в могиле, быстро обмотал бинтом голову и лицо Черноруученко. Потом его опустили в могилу. Они заложили один ряд и начали класть второй. Первым в этом ряду лег лейтенант Самохин, бойцы несли следующего, и Волошин, вдруг вспомнив, сказал:

— Постойте. Давайте сюда санинструктора!

— А что? Какая разница, — возразил боец в бушлате.

— Давай, давай... Там она, недалеко.

Они подняли с земли и поднесли к яме худенькое, почти мальчишеское тело Веретенниковой. Гутман аккуратно уложил ее рядом с Самохиным.

— Пусть лежат. Тут уже никого бояться не будут.

Волошин горестно смотрел в темноту могилы, где Гутман, аккуратно оправив на Вере гимнастерку, сложил на груди ее всегда залитые йодом руки...

Погребение закончилось, оставалось засыпать могилу и соорудить на ней земляной холмик. Волошин, морщась, прижимая к груди раненую натруженную руку, другой взял горсть земли и, рассеивая ее вдоль могилы, ссыпал на тела погибших товарищей. Бойцы лопатами стали засыпать могилу...

«Завтра тыловики вкопают дощатую, с фанерной звездой пирамидку, — грустно размышлял Волошин, глядя, как наполняется землей братская могила, — и на этом долг живых перед мертвыми будет считаться исполненным... Батальон, возможно, продвинется дальше, если будет приказ наступать, получит новое пополнение, из фронтового резерва пришлют офицеров, и еще меньше останется тех, кто пережил этот адский бой и помнил тех, кого они закопали. А потом и совсем никого не останется прежних. Постоянным будет лишь номер полка, номер батальона, и где-то в дали военного прошлого, как дым, растает их фронтовая судьба...»

— Ну во, и порядок! — перебил его размышления голос Гутмана. Опираясь на гладкий черенок немецкой лопаты, Гутман стоял перед свеженасыпанным холмом.

— Можно курить, — сказал он с выдохом.

Заканчивая подчищать землю возле могилы, бойцы вытирали вспотевшие лбы и по одному молча отходили к брустверу возле траншеи.

Волошин, закурив сам, передал свой портсигар Гутману, у которого охотно закурили остальные. Вместо спичек у кого-то

нашлась «катюша», побрызгав синеватыми искорками с кремня, боец высек огонь, и все по очереди прикурили от трута.

— Думал, сегодня закопают, — прервал молчание Гутман. — Да самому закапывать пришлось. Чудо, и только.

— Как шея? — спросил капитан.

— Болит, холера. Недельки две придется покантоваться в санбате. Давно уж не был, прямо соскучился... А вам, — Гутман присел возле Волошина, — и все три... Небось, и кость задета?

Волошин, не поддержав словоохотливого ординарца, устало сидел на бруствере, молчал. На душе его было скорбно и сумрачно, как только может и быть после похорон.

— Стой, тихо! — вдруг вскрикнул Гутман и вскочил с бруствера. Сидевший рядом боец схватил с колен карабин, но карабин не понадобился.

Гутман обрадованно тихо вскрикнул, обращаясь к Волошину:

— Глядите, глядите! Товарищ капитан, Джим!

Волошин оглянулся почти испуганно: перемахнув через черную щель траншеи, на бруствер вскочил сильный, истосковавшийся по своим Джим. Не обращая внимания на посторонних и круто взмыв в воздухе, он очутился на груди у Волошина, едва не повалив его наземь, обдав его усталым от долгого бега дыханием, бурной радостью. Заскулив тихонько и радостно, Джим шершавым языком упруго лизнул его по грязной щеке, и Волошин, не отстраняясь, сжал на своих плечах его сильные холодные лапы.

— Джим!.. Ах ты, Джим! — с горькой радостью ласкал он обретенную свою потерю, думая о другом. После всего, что случилось, радость обретения Джима оказалась куцей, невсамделишней, заслоненной болью множества утрат. Так это и выглядело в этой встрече. Он гладил Джима, говорил ему ласково, а взгляд его и сам он был там, у этого свежего бугра на братской могиле.

— Смотрите, смотрите, он же сорвался! — дернул Гутман на собаке ошейник, с которого свисал недлинный конец оборванного поводка. — Вот же скотина!

— Скотина — не то слово, Гутман, — сказал Волошин, усаживая собаку рядом.

— Ну, не скотина, конечно. Собака! Собачка что надо.

Откуда-то из-за высоты немецкий пулемет выпустил длинную очередь, часть пуль, ударившись о землю, с пронзительным визгом разлетелась в стороны. Раненные бойцы встревоженно поглядывали в небо.

— Так, Гутман! — сказал Волошин, переходя на свой обычный командирский приказной тон. — Ведите раненых.

— А вы что?

— Я остаюсь.

— Остаетесь? — неопределенно переспросил Гутман, молча замер в двух шагах от Волошина.

— Да. Пока остаюсь.

— Ну что ж. Тогда до свидания.

— До свидания, Гутман, — вставая, сказал капитан. — Спасибо за службу. И за дружбу.

— Да что... Не за что, товарищ капитан. Дай бог еще встретиться, — потоптался на месте Гутман и повернулся к бойцам: — Ну что? Ша-агом марш!

Они быстро пошли вниз по изрытому минами склону...

А Волошин, проводив их взглядом, вновь оглянулся на холмик могилы и постоял так минуту.

Будто понимая состояние хозяина, Джим проскулил, тихонько и ласково потерся о его сапоги...

— Ах, Джим, как хорошо, что ты пришел... — не отрывая взгляда от могильного холмика, тихо говорил Волошин. — Это не первая моя зарытая могила, но, понимаешь, как всегда, ее вид вызывает горькое чувство тоски по тем, кто остался там, и почему-то больше всего — по себе самому... Хотя, если разобраться, в моем положении я скорее мог быть объектом зависти, чем сострадания... что ж, пошли, Джим, в свой батальон. И пусть я для них уже не комбат, что это меняет? Я — их товарищ... Главное — быть, Джим, с теми, с кем в муках сроднился, погибал, воскресал и, как умел, делал свое солдатское дело!

Он устало шагал за собакой вдоль разрытого траншейного бруствера, обходя разверзшиеся воронки, держа путь к недалекой вершине высоты, из-за которой мелькали в небе огненные светляки пуль и доносилось отдаленное рычание немецких «машиненгеверов».

Война продолжалась...

На стоп-кадре титр:

«Командир 294-го стрелкового полка Герой Советского Союза майор Волошин Николай Иванович убит 24 марта 1945 года и похоронен в братской могиле, находящейся в 350 метрах северо-западнее пункта Штайндорф (Восточная Пруссия). Справка из архива.

1987 г.

НА ЧОРНЫХ ЛЯДАХ

Літаратурны сцэнарый мастацкага фільма паводле апавяданняў «На Чорных лядах» і «Перад канцом»

Вечар. Бераг ракі.

Зусім блізка к берагу прымыкае лес.

Чутны доўгія кулямётныя чэргі... У адказ — толькі рэдкія вінтовачныя стрэлы...

Кулямёты сякуць у бок лесу...

У цемры мільгаюць нейкія цені з вінтоўкамі ў руках...

У невялікую лагчыну адзін за другім цяжка звальваюцца зверху людзі...

Апошнім скочваецца Камандзір...

— Усё! Не дадуць, свалата, праз раку, на той бераг!..

— Трэба назад, Камандзір, праз балота... Можа, праскочым, — адказвае яму Мяцельскі, ягоны памочнік, мажны, хоць і малады яшчэ чалавек са святлява аброслымі шчэццю пашчэнкамі, апрануты, як і Камандзір, у доўгі, са скарэлымі поламі шынелак.

— Ззаду таксама яны... Аблажылі, бы ваўкоў на паляванні! — гаворыць Камандзір. На параненай шыі ў яго нейкая брудная ануча, мокрая ад крыві і гною. Відаць, што яму балюча і ён паварочваецца ўсім целам.

— Колькі засталося? — пытаецца ён у Мяцельскага.

Той у цемры разглядвае твары застаўшыхся ў жывых:

— Так... Казак... Дзед... Кажухар... А там хто? А, гэта ты, Аўстрыяк?

— Я, — коратка ў цемры адказвае Аўстрыяк, ужо немалады чалавек, з густой, даўно няголенай шчэццю на шчоках, апрануты ў шызы, з двума радамі гузікаў, аўстрыйскі шынель.

— Забела... Сулашчык, — працягвае далей Мяцельскі, — Курбыка...

Адказу няма...

Мяцельскі ўглядваецца ў цемру:

— Курбыка!

— Няма яго... І Аксяневіча таксама няма... Яны там засталіся, каля ракі, — чуецца з цемры голас Валодзькі Сулашчыка, зусім маладога хлопца, гадоў 14–15.

— Параненыя? — усім целам крутануўся ў бок Валодзькі Камандзір.

— Не, — адказвае той, — забіла іх. Я сам бачыў.

Камандзір моршчыцца ад болю, кранае анучу на шыі:

— Гэта добра, што забіла... — ён крыху памаўчаў.

Стала зусім ціха...

І толькі недзе за лесам зрэдку цішыню ўспорваюць кулямётныя чэргі...

— Відаць, роту Улашчыка дабіваюць, — ён звяртаецца да Мяцельскага: — Трэба зірнуць, што там, каля ракі?

Мяцельскі моўчкі вылазіць угору...

Ля ракі гараць вогнішчы... Каля іх мітусяцца чырвонаармейцы...

Мяцельскі звальваецца ўніз:

— Вогнішча расклалі! Не палохаюцца, свалата!

Камандзір усміхнуўся:

— А чаго ім палохацца? Ведаюць, што нас засталося трошкі, патронаў няма. А ззаду балота... Вось яны раніцы і чакаюць. Тактыка простая...

Крыху падумаўшы, ён нягучна кліча:

— Дзед, а дзед!

Да Камандзіра з цемры падсоўваецца Дзед, дужа чорнабароды, з чорнымі густымі брывамі, шараговец...

— Слухай, Дзед, ты гэтыя мясціны ведаеш?

— Так, — адказвае Дзед.

— Што скажаш? — пытаецца Камандзір.

Дзед трошкі падумаў:

— Трэба праз балота паспрабаваць. Толькі не назад, адкуль мы ішлі, а ўзяць улева, у бок Янаўкі. Можа, і пройдзем...

Камандзір устае з зямлі, зноў моршчыцца ад болю...

Дзед аглядае шыю Камандзіра:

— Трэба перавязаць цябе, а тое шыя зусім згніе.

Камандзір:

— Абыдзецца! Ды і няма чым.

Да яго з цемры праціскаецца Валодзька, выцягвае з торбачкі, што звісае ў яго з пляча, нейкі скрутак:

— Вось, Камандзір!

Ён разгортвае даматканы ручнік...

Камандзір разглядае ручнік:

— Не, не трэба... Прыгожы!

— Бяры, бяры, Камандзір! — Валодзька працягвае ручнік.

Камандзір моўчкі бярэ ручнік...

А на беразе ракі гараць вогнішчы... Мітусяцца вакол іх чырвонаармейцы... Чутны галасы, нейкія каманды...

Нізка над балотам сцелецца туман...

Досвітак...

У цішы недзе чутна чвяканне балотнай жыжкі...

Зверху мы бачым балота... Над ім сцелецца туман...

Камера апускаецца ўніз, мы бачым, як прабіраюцца праз балота з палкамі ў руках людзі... Восем чалавек...

Наперадзе ідзе Дзед...

За ім, след у след, ідуць:

...Камандзір...

...Казак...

...Аўстрыяк...

...Забела...

...Кажухар, з тоўста абматанай анучай правай рукой...

...Валодзька... Апошнім ідзе Мяцельскі...

Туман патроху рассейваецца...

У цішыні ўжо дзе-нідзе чуюцца галасы прачнуўшыхся птушак...

Нечакана Мяцельскі, які ішоў ззаду, паслізнуўся і правальваецца ў густую балотную жыжку...

— Валодзька, — здаўлена хрыпіць ён. — Валодзька!

Валодзька аглядваецца...

Ён бачыць, як Мяцельскі тоне ў багне...

Валодзька разварочваецца і асцярожна робіць некалькі крокаў да Мяцельскага, працягвае яму сваю палку:

— Трымайся!

Той хапаецца за Валодзькаву палку...

Усе, хто ішоў наперадзе, замерлі, спыніліся...

Нарэшце Мяцельскі патрошку выбіраецца да Валодзькі...

Камандзір звяртаецца да Дзеда:

— Наперад!

І зноў зверху мы бачым людзей, якія прабіраюцца праз балота...

Сонца ўжо пачало ўсходзіць угору...

Шумяць хвойныя вяршаліны...

Нарэшце людзі выходзяць з балота...

Дзед, які ішоў наперадзе, прыпыняецца каля паваленай сасны...

Да яго падыходзіць Камандзір, за ім усе астатнія:

...Казак...
...Аўстрыяк...
...Кажухар з параненай рукой...
...Забела...
...Валодзька...
...Апошнім падыходзіць Мяцельскі...
— Усё! Далей — Янаўка... Курбыка з гэтай вёскі. Тут у яго бацька з маткай і жонка з дзецьмі...
— Прывал! — коратка кідае Камандзір і садзіцца на паваленую сасну.
Людзі стомлена садзяцца на зямлю...
Здалёк даносіцца царкоўны звон...
Дзед прыслухоўваецца:
— Здаецца, у Янаўцы нешта здарылася. Звон у царкве звоніць.
Камандзір разглядае палеглых на зямлю паўстанцаў...
— Некаму трэба ў вёску ісці. Паглядзець, што там робіцца.
Аўстрыяк прыўзнімаецца з зямлі:
— Камандзір, я схаджу.
Камандзір аглядае Аўстрыяка:
— Не, табе нельга. Ад цябе за вярсту відаць, што ты паўстанец!
Дзед схіляецца да Камандзіра:
— Валодзьку трэба ісці. Ён яшчэ малы, а гэткіх у вёсцы хапае.
Валодзька, нібы пачуўшы, што размова ідзе аб ім, прыўзнімаецца з зямлі...
Камандзір уважліва глядзіць на Валодзьку:
— Валодзя...
— Ужо іду, камандзір! — Валодзька ўзнімаецца з зямлі, папраўляе на плячы вінтоўку і робіць некалькі крокаў наперад...
— Стой! — Камандзір устае з паваленай сасны і падыходзіць да Валодзькі, здымае ў яго вінтоўку. — Паліто здымі, і боты таксама.
Валодзька здымае паліто і боты...
— Ну, цяпер ідзі. Паслухай, што людзі кажуць, пра паўстанне, пра нас. Ідзі! — Камандзір позіркам праводзіць Валодзьку...
Валодзька асцярожна ступае босымі нагамі, ідзе ў бок вёскі...
Наступае цішыня... І толькі недзе непадалёку чуецца трывожнае сакатанне сарок...

Вёска.

Плошча каля вясковай царквы. Пасярэдзіне плошчы стаіць падвода. На ёй ляжаць, прыкрытыя шынялямі, Курбыка і Аксяневіч...

Вакол падводы стаяць чырвонаармейцы з вінтоўкамі. Побач стаяць мясцовыя жыхары...

Чырвонаармейцаў відаць і ў іншых месцах плошчы... Стаяць асядланыя коні...

На краі плошчы стаяць камандзір чырвонаармейцаў і чалавек у скуранцы, з маўзерам на баку...

Да плошчы, з усіх бакоў, чырвонаармейцы зганяюць вяскоўцаў...

Паступова плошча вакол падводы запаўняецца людзьмі...

Да Камандзіра і чэкіста падыходзіць чырвонаармеец:

— Ніхто не пазнае! Відаць, не мясцовыя.

— У горад трэба везці, можа, там хто апазнае, — кажа камандзір чэкісту.

— Пачакаем трохі... Не ў гэтай, дык у суседняй вёсцы апазнаюць. Таму што яны заўсёды толькі каля сваіх хат ваююць! — адказвае чэкіст, робячы сабе самакрутку.

Валодзька цераз людзей разглядае падводу. І, раптам, ён увесь напружваецца... Адкрывае рот і ледзь не крыкнуў...

Хуткі наезд камеры на твары Курбыкі і Аксяневіча...

Рэтраспекцыя.

Бераг ракі. Цемра. Водблескі стрэлаў...

Трымаючыся рукамі за жывот, крычыць Курбыка:

— Да лесу, Валодзька! Бяжы да лесу!..

Валодзька адрывае позірк ад падводы. Асцярожна азіраецца па баках...

Камера плаўна ідзе па тварах вяскоўцаў... Яны пераглядаюцца паміж сабой спадылба... Пазналі...

І раптам, у цішыні, пачуліся дзіцячыя галасы:

— Мамка, мамка, там татка!.. Татка там!.. Татка!

Ад натоўпу да падводы бягуць дзеці: дзяўчынка (5–6 гадоў) і хлопчык (7–8 гадоў).

— Татка, татка!.. Мамка!.. Татка тутака ляжыць!..

Яны хапаюцца за абвіслую руку Курбыкі...

Чэкіст рэзка павярнуўся да камандзіра:

— Ну, вось! Дзеці ёсць дзеці!

Ён хутка накіроўваецца да падводы, праходзіць скрозь натоўп. За ім ідзе камандзір...

Валодзька з трывогай наглядае...

Да падводы кідаецца, з галашэннем, маладая жанчына:
— А мой жа ты Пятрок! А на каго ж ты мяне пакінуў! І дзетак сваіх. І бацькоў сваіх старых на каго ж пакінуў!..
З галашэннем яна абдымае Курбыку...
Чэкіст пытаецца ў камандзіра:
— Бацькі?.. Гэта што, сваякі?
— Не ведаю... Можа, радзіцелі?
Чэкіст пытаецца ў натоўпу:
— Радзіцелі ёсць?.. Хто радзіцелі?!.
Людзі стаяць маўчком... Камера плаўна ідзе па тварах...
Прыкусіўшы губу, стаіць Валодзька...
Каля падводы галосіць жонка Курбыкі... Таўкуцца ля яе дзеці...
Чэкіст абводзіць вачамі натоўп...
Людзі стаяць моўчкі...
— Добра! — кажа чэкіст і падыходзіць да падводы, бярэ на рукі дзяўчынку: — У цябе дзедка з бабкай ёсць?
Дзяўчынка адказвае:
— Ёсць, ёсць! І дзядуля ёсць, і бабуля ёсць!
— А дзе яны?
— Тамака яны, у хаце засталіся.
— А хата дзе твая?
— А тамака, ля жураўліка!
Чэкіст пускае дзяўчынку на зямлю, пытаецца ў камандзіра:
— Дзеці ёсць дзеці! Што гэта: «ля жураўліка»?
Той толькі паціскае ў адказ плячыма...
— Гэта ў іх калодзеж так называецца, таварыш Чэ Ка, «жураўлік» — адказвае чэкісту чырвонаармеец, які стаяў побач.
— Ясна! Ты, вось што, Яжоў, жонку і дзяцей у горад трэба ўзяць з сабой. А я пайду за старымі.
— Дзяцей, можа, не трэба? — нерашуча пытаецца камандзір.
— Трэба, таварыш Яжоў! Трэба!.. Штоб іншым быў прыклад! Каб ведалі, як на савецкую ўладу руку падымаць!.. Пайшлі! — камандуе ён чырвонаармейцу і цераз натоўп накіроўваецца з плошчы...
Чырвонаармейцы аддзіраюць ад падводы жонку і дзяцей Курбыкі і адводзяць іх убок.
Людзі ў натоўпе моўчкі назіраюць за гэтым...
Нехта з жанчын паціху плача...
Нехта хрысціцца...
Пераглядваюцца паміж сабой мужыкі...
Валодзька патроху адступае разам з людзьмі...
Над лесам недзе сакоча трывожна сарока... Недалёка пачуўся голас зязюлі...

Ігар Забела, у студэнцкім адзенні, сядзіць на зямлі, абапіраючыся плячыма да бярозы. Пачуўшы голас зязюлі, адкрывае вочы...

— Зязюля, зязюля, адкажы, колькі мне яшчэ гадкоў засталося жыць? — прыслухоўваецца.

— Ку-ку... ку-ку... ку-ку... — чутна з лесу. — Ку-ку... ку-ку...

Забела пачынае лічыць:

— Раз... два... тры... чатыры... пяць...

Камандзір назірае за Забелам...

Нешта хмыкае сабе пад нос Аўстрыяк...

Назіраюць за Забелам і Дзед з Кажухаром...

...І Казак...

...І Мяцельскі...

— Дваццаць пяць... дваццаць шэсць... дваццаць сем... — Забела перастае лічыць. — Эй, ты, змоўкні! Раскудахталася, зараза!

— Ціха ты, Забела! Забыўся, ці што? — упаўголаса цыкае на яго Камандзір.

Забела зноў прыхіляецца плячыма да бярозы:

— А чаго яна?.. Не можа чалавек столькі жыць!

— Сам жа прасіў! — кажа Камандзір. Прыслухоўваецца...

Недзе побач трэснула сухая галіна...

Усе насцярожана глядзяць у той бок...

Да іх, спяшаючыся, ідзе Валодзька. Садзіцца на зямлю каля паваленай сасны, побач з Камандзірам. Той запытальна глядзіць на Валодзьку.

Валодзька пачынае накручваць на ногі анучы...

— Там... у вёсцы, ля царквы, падвода... А на ёй Курбыка з Аксяневічам, забітыя... Дзеці яго прызналі і жонка...

Усе ўважліва слухаюць Валодзьку...

— Гэты... З Чэка... загадаў жонку і дзяцей у горад адвезці, разам з забітымі. І бацькоў старых таксама забралі! Яны зусім старыя, а ўсё роўна — забралі!.. ЧэКа казаў, што так будзе з усімі, хто супроць савецкай улады. Пад корань, казаў, пад корань!

Паўстанцы слухаюць Валодзьку...

Апусціўшы галаву на грудзі, баюкае параненую руку Кажухар...

Прыхіліўшыся да бярозы, глядзіць угору Забела...

Недзе недалёка чутна сакатанне сарокі...

Кожны думае аб нечым сваім:

Аўстрыяк... Дзед... Мяцельскі... Камандзір...

Валодзька працягвае:

— Мужыкі кажуць, што бальшавікі абклалі лес з усіх бакоў. Роту Улашчыка паклалі каля ракі амаль што ўсю. А зараз дазнаюцца, чые найменш вінаваты. — Камандзір змоўк.

Зноў над імі навісла цішыня... І толькі недзе побач сакоча сарока...

Аўстрыяк устае з зямлі, абыходзіць паляну... спыняецца, слухае сакатанне сарокі...

— Камандзір, трэба вырашаць, што рабіць далей. Відаць, яны хутка пачнуць аблаву, а нам дзявацца няма куды... Добра, калі ўсіх пераб'юць. А калі — не, каго раненым схопяць? Павязуць па вёсках на апазнанне: хто?.. адкуль?.. якія сваякі? І ўсіх — пад корань? — Аўстрыяк цяжка сядае на зямлю.

Забела ўсё глядзіць на неба:

— Вырашай, камандзір, яны хутка пачнуць...

Камандзір крыху падумаў, дастае з кабуры наган, адкідвае ўбок барабан...

...У барабане шэсць патронаў.

Ён кладзе наган у кабуру:

— Праверце, у каго колькі засталося патронаў.

Над палянай заклацалі затворы...

Чуваць галасы:

— Два...

— Таксама два...

— Адзін...

— У мяне тры...

— Адзін...

Затворы перасталі клацаць. Усе глядзяць у бок камандзіра.

— Хранова, камандзір! Нават, адбівацца няма чым! — кажа Аўстрыяк.

— У мяне — шэсць... — задумліва гаворыць камандзір.

А сарочае сакатанне прадаўжаецца...

Камандзір дастае камандзірскую сумку, выцягвае з яе нейкія паперы, дакументы, разглядвае... Скамечвае гэта ўсё і кідае на зямлю. Потым ламае сухія сасновыя лапкі з паваленай сасны, кладзе іх на паперы...

Усе сочаць за Камандзірам...

— Запалкі ёсць у каго? — ціха пытаецца ён.

Усе пачынаюць шукаць па кішэнях...

— У мяне няма, — адказвае Валодзька.

— Дык і табакі няма, — кажа Дзед.

— Няма, — кажа Мяцельскі, памацаў па кішэнях.

Забела працягвае Камандзіру пачак запалак.

Той падпальвае скручаныя паперы...

Вогнішча разгараецца...

Аўстрыяк падкідвае ў вогнішча сухія галінкі...

Камандзір кідае туды яшчэ нейкія дакументы, потым дастае з сумкі тонкі сшытак, пачынае нягучна чытаць:

— Мяцельскі!

— Я! — таксама нягучна адказвае той.

— Казак!

— Я!

— Так... Кажухар!

— Я, — няспешна адказвае Кажухар, баюкаючы параненую руку.

— Забела!.. Забела! — Камандзір узнімае галаву.

— Прысутнічаю! — адказвае Забела. Ён, як і раней, усё глядзіць на неба.

— Адказваць трэба як належыць, — ужо мякчэй кажа Камандзір і працягвае далей: — Зубко!

— Тутака мы, камандзір, тутака! — прыўстае Дзед.

— Аўстрыяк!.. Чорт! Паслухай, Аўстрыяк, я да гэтага часу не ведаю твайго прозвішча! Як запісаў тады, Аўстрыяк, і ўсё!

— А на які хрэн табе маё прозвішча, Камандзір? Так жа лепей: без імя, без прозвішча, без роду-племені!..

— Ну, неяк, ведаеш... Хоць як завуць?

Аўстрыяк усміхнуўся:

— Калісьці Цімохам звалі...

— Вось і добра... Сулашчык!

— Я! — адказвае Валодзька, які сядзіць побач з Камандзірам.

— Значыцца, усе, — ён абводзіць вачамі паўстанцаў. — Дакументы ў каго ёсць? Ці, можа, паперы нейкія?

Усе пачынаюць шукаць па кішэнях...

— Вось! Распіска ад бальшавікоў! Гэта ж калі яны з мяне апошняе зерне з клеці выграблі, дык вось гэту паперку аставілі!

— Кідай яе ў вогнішча! — кажа Камандзір.

Аўстрыяк скамячыў паперку і кідае яе ў вогнішча...

Мяцельскі разглядае белы папяровы прамавугольнік, чытае:

— Мандат! Унтэр-афіцэр Мяцельскі з’яўляецца дэлегатам Усебеларускага кангрэса!.. А бальшавікі гэты кангрэс разагналі, як мышэй! Незалежнасці, кажуць, захацелі? Зараз мы вам пакажам, кажуць, дзе ў вашай незалежнасці зад, а дзе — перад! І паказалі!.. Вось толькі адзін мандат і застаўся! — ён кідае мандат у вогнішча.

— Усё? — пытаецца Камандзір.

Да вогнішча падыходзіць Забела. У руках ён трымае фотакартку.

Камандзір бярэ ў яго з рук фотакартку, разглядае:
Мы бачым ужо немаладую, але даволі прыгожую жанчыну...
— Маці? — ціха пытаецца Камандзір.
— Так... Маці... — таксама ціха адказвае Забела.
Камандзір працягвае яму фотакартку...
— Не, Камандзір... Я сам не магу... — Забела адварочваецца ад вогнішча.
Языкі полымя ў адзін момант узнімаюцца ўгору...
Камандзір агледжвае ўсіх і кідае ў вогнішча сшытак...
Усе моўчкі назіраюць за полымем...
— Падавацца адсюль трэба, Камандзір! Балота тут навокал... І далей трэба ад іх адарвацца, штоб час нейкі пра запас быў... — кажа Мяцельскі, уважліва заглядаючы ў вочы Камандзіру.
— Мусім на Чорныя Ляды ісці, — кажа Дзед. — Тут недалёка, вярсты з тры. І ад вёскі далей, а там знойдзем якую-небудзь баравінку ці ўзгорак...
Камандзір ботамі разгортвае вогнішча, прытопвае вуглі...
— Галінамі прыкрыйце, каб не было відаць! — кажа ён Мяцельскаму і звяртаецца да астатніх: — Пайшлі!
І зноў усе, следам за Дзедам, выцягваюцца ланцужком па лесе...
Неба зацягваецца шэрым хмарамі...
Пачынаецца дождж...
Усё навокал становіцца мокрым: трава, дрэвы, лісце...
А яны ўсё ідуць наперад...
Недзе побач пачуўся грукат грому... Мільгаюць стрэлы маланкі...
Ланцужок людзей цягнецца па даўно не езджанай дарозе (лясной)... Дождж працягваецца...
Камандзір прыпыняецца паміж соснаў, аглядваецца навокал, нешта слухае, пры гэтым паварочваецца ўсім целам, бо не можа паварушыць галавой на балючай шыі...
Побач з Камандзірам праходзіць Аўстрыяк, таксама прыпыняецца, азіраецца, прыслухоўваецца... Потым ідзе далей...
І іншыя па чарзе спыняюцца ля Камандзіра, слухаюць, азіраюцца, бы штосьці выглядваючы па баках, і зноў ідуць наперад...
...Казак...
...Кажухар...
...Забела...
...Валодзька...
...Мяцельскі...
Грукат грому аддаляецца...
Дождж патроху прыпыняецца...

Ланцужок людзей рухаецца па лесе...

Нарэшце наперадзе паказаўся прагал... У доле непадалёк відаць нагрувашчанне карчоў, звалочаных сюды з недарасцярэбленых лядаў...

Дзед спыняецца, чакае Камандзіра...

— Мясціна, канешне, не самая лепшая, але ўжо якая ёсць, — кажа ён Камандзіру.

Камандзір пастаяў, паазіраўся...

— Так... Далей брысці ўжо зусім рызыкоўна.

Ля Камандзіра спыняецца Мяцельскі:

— Што, тут, Камандзір? — ён запытальна зірнуў на Камандзіра.

— Тут.

— Можа б, далей?

— Не, далей нельга, Мяцельскі. Можам не ўправіцца. Адна ж рыдлёўка.

Самотны цень мільгануў і прапаў у вачах Мяцельскага. Ён зразумеў сваю задачу без загаду.

— Казак, давай! — стрымана гукнуў ён.

Чалавек магутнай паставы ў шэрай паддзёўцы, з вінтоўкай і засунутай за дзягу рыдлёўкай, падыходзіць да Мяцельскага, на хаду вымаючы рыдлёўку. Спыняецца, моўчкі глядзіць на яго.

— Ну, што? Капай! — загадвае Мяцельскі.

Без роспыту Казак здымае вінтоўку, пачынае раскопваць мяккую імшарыну...

... пад якой апынуўся светлы, амаль белы баравы жвір.

Да гэтай мясціны падыходзяць іншыя, спыняюцца, моўчкі, з насцярогай пазіраюць у раскапаны дол...

Мяккі, парослы беламошнікам жвір ляціць пад іхнія ногі...

...на старыя змакрэлыя боты... на разлезлыя аўстрыйскія гамашы... на лапці з аборамі на нагах у Дзеда...

Дзед, не страсаючы абсыпаных жвірам лапцяў, адыходзіць наводдаль і апускаецца на дол. Галава яго неяк сама па сабе ўгнулася, унурыўся позірк. Вусны заварушыліся, нібы творачы святую малітву... (*Тэкст малітвы трэба ўдакладніць.*)

Кажухар, трымаючы за пазухай ашчадна правую руку, тоўста абкручаную нейкай анучай, са скрыўленым ад болю, даўно не голеным тварам, патупаў, патупаў каля людзей ды і сеў побач з Дзедам...

— Ну во, братка, як яно ўсё атрымалася... — Кажухару відавочна хацелася пагутарыць, пабедаваць, каб хоць як заглушыць боль у руцэ...

Але Дзед не адказвае — таму, мабыць, што баліць у яго нешта сваё...

— Атрымалася! — ціха паўтарыў Забела, які ачмурэла стаяў насупроць. Вусны яго на момант здрадліва скрывіліся, вочы гатовы былі пакрыцца слязьмі. Неяк, аднак, ён намогся, асіліў нечаканую слабасць, цвярдзей сашчапіў голыя пашчэнкі і адвярнуўся...

Астатнія стаяць вакол ужо выразна азначанай у імшаніку яміны... Хто стаіць адвярнуўшыся... Хто апанурана пазірае сабе пад ногі... хто пазірае на Казака...

...які ўвіхаецца ў яме...

Аўстрыяк нядоўга пастаяў сярод іншых ды, забіраючы паўколам навакол, памалу пайшоў па лесе. Пазірае ўгору...

...між хваёвых вяршалін, што ціха і мерна пагойдваюцца на фоне шэрых аблокаў...

Аўстрыяк глядзіць на аблокі, а ў галаве круцяцца думкі:

«...Марудна капаюць! Так можна і не паспець!.. Ну, нічога, хутка ўсё скончыцца, усё супакоіцца назаўсёды... Ну, чаго шкадаваць? Жыцця? Дык якое гэта жыццё? Гэта пекла, боскае пакаранне, а не жыццё! Дома нялюбая, чужая жонка з чатырма чужымі дзяцьмі. І не заплача: маючы зямлю, хутка прыдбае і новага мужа. Родны брат застанецца адзіным гаспадаром на бедным надзеле. І ніхто яму болей не будзе пагражаць дзяльбой. Усе як-небудзь пражывуць!»

Аўстрыяк аглядваецца ў бок ямы...

Там Казака змяніў Мяцельскі...

Аўстрыяк зноў глядзіць на неба...

Там усё плывуць шэрыя аблокі... Мелка пачаў накрапваць дождж...

Паступова, з размытага малюнка аблокаў і дажджу, перад Аўстрыякам узнікае:

...вясковы падворак, па якім бегаюць куры... Каля пуні, пад навесам, Аўстрыяк рамантуе хамут... Непадалёк ад яго корпаюцца дзеці... Каля будкі на ланцугу ляжыць сабака... Раптам ён ускочыў і забрахаў у бок вуліцы...

Аўстрыяк аглядваецца...

Па вуліцы да яго хаты пад’язджаюць некалькі падвод, на якіх сядзяць чырвонаармейцы з вінтоўкамі. Некаторыя падводы ўжо загружаныя мяшкамі з зернем. З першай падводы злазяць двое і ідуць у падворак.

Сабака каля будкі брэша на іх...

З хаты выходзіць жонка Аўстрыяка з грудным дзіцем на руках...

Двое падыходзяць да Аўстрыяка. Адзін з іх адзеты ў цывільную адзежу, другі, відаць, камандзір чырвонаармейцаў. Цывільны падае Аўстрыяку паперу:

— Вось вам абавязацельства на харчразвёрстку! Вы павінны здаць дваццаць пудоў збожжа на дапамогу Чырвонай Арміі! Распісвайцесь! — ён падае Аўстрыяку паперу і аловак.
Сабака працягвае брахаць...
Ля хаты застыла жонка з дзіцем...
Змоўклі дзеці, з цікавасцю назіраюць за незнаёмымі людзьмі...
Аўстрыяк спачатку здзіўлена глядзіць на цывільнага, потым аглядваецца ў бок жонкі, зноў глядзіць на паперу і раптоўна ўзрываецца:
— А вось, выкусі! — ён суне цывільнаму пад нос фігу. — У мяне дзеці! Сам бачыш! Іх карміць трэба! У мяне ў самога столькі няма!
Цывільны крыху адступае ўбок:
— Ты, гэта, лягчэй, лягчэй! Не з цябе аднаго забіраем! Ува ўсіх бярэм, бо як вось іх карміць трэба! — ён паказвае ў бок чырвонаармейцаў.
— Дык няхай Чырвоная Армія сама пасее і пажне, а не рабуе сялян! Гэта ж колькі трэба было пакутаваць на вайне, ды ў палоне, ісці вось да яе ў прымакі. Ірваць кішкі на гэтай запушчанай гаспадарцы, каб апынуцца на зіму жабраком! І што гэта за ўлада настала, як з ёй жыць? Я ж так імкнуўся дадому, а тут аказалася горш, чым на вайне, чым у палоне... Дык там хоць быў вораг, там прымушалі рабіць, нават каралі смерцю. Але там кармілі. А чым я тут накармлю вось іх?
Дзеці спалохана прыціскаюцца да мацеры. Тая паціху падвывае.
Нават сабака перастаў брахаць і схаваўся ў будку...
Камандзір, павярнуўшыся ў бок падвод, махнуў рукой.
Чырвонаармейцы сыпанулі ў падворак...
Малюнак размываецца, потым у кадры зноў узнікае твар Аўстрыяка... У панурым задуменні ён ідзе да ямы...
Там, угнуўшы шырокую спіну, размашыста шпурляе рыдлёўкай Мяцельскі... Побач стаіць Камандзір.
Аўстрыяк падыходзіць да ямы:
— Ну, ці хутка вы? — са скрухай пытаецца ён.
— Паспееш! — нядобразычліва буркнуў з ямы Мяцельскі.
Аўстрыяк панура адыходзіць ад ямы, мармыча сабе пад нос:
— Паспееш! Вам трэба, каб глыбей! Быццам гэта так важна: глыбока ляжаць у зямлі ці дзе-небудзь валяцца ў кустах. Мёртваму, мусіць, адзін чорт!
Ён прыпыняецца кал Дзеда і Кажухара...
Дзед ціха шэпча памінальную малітву (праваслаўную)...

Кажухар так жа, ледзь чутна, шэпча словы каталіцкай малітвы...

Аўстрыяк неяк рэзка матнуў галавой і пайшоў далей, мармычучы:

— Бач, адпяванне самі сабе наладзілі!

Ён ледзь-ледзь стрымліваецца... Падумаўшы, ён садзіцца на белы імшанік, адкідвае полы свайго аўстрыйскага шыняля і сцягвае з адной нагі бот...

Брудная сапрэлая ануча сама раскруцілася на ступні...

Ён бярэ ў рукі карабін, дасылае патрон у патроннік...

Вялікі палец намацвае спускавую скабу... Рашуча ціскае...

У цішы рэзка грымнуў стрэл...

Усе скалануліся... Дзед з Кажухаром...

...Казак...

...Забела...

...Мяцельскі ў яме...

...Валодзька...

...Камандзір крутнуўся ад ямы. Адразу ўсё зразумеў:

— Не дачакаўся! — сказаў ён, і відавочны боль ценем мільгануў на яго схуднелым твары. — Забела і ты, Казак, давайце яго сюды.

Тыя, не дужа рашуча, падыходзяць да нерухомага, скурчанага на баку Аўстрыяка. Неяк няўмела, яны падхапілі яго за рукі. Казак хацеў было ўзяць карабін Аўстрыяка, але Забела нецярпліва гыркнуў:

— На чорта ён табе!

Яны пацягнулі Аўстрыяка нагамі па доле да ямы...

Мяцельскі працягвае шпурляць рыдлёўкай... Яма значна паглыбела. Мяцельскі капае з нейкай азвярэласцю...

Аднекуль здалёк пачулася трывожнае сакатанне сарокі... Да яе далучаецца другая... Сакатанне становіцца ўсё бліжэй...

Камандзір са злосцю ўглядаецца ў той бок, дзе сакочуць сарокі...

Валодзька падымае з зямлі нейкую палку, бяжыць да сасонніку і шпурляе палку ўгору. Але сарокі толькі пераляцелі на іншыя дрэвы...

Валодзька шукае яшчэ палку, але Камандзір спыняе яго:

— Не бегай, Валодзя, не трэба...

Валодзька вяртаецца да ямы:

— Раскрычаліся на ўвесь лес!

— Хай крычаць... — Камандзір зірнуў на Валодзьку: — У цябе хто-небудзь застаўся?

— Не... Бацьку яшчэ ўвосень забілі, каля Морачы. Я яго сам і пахаваў на лузе... А маці ўжо гады са тры як памер-

ла. Старэйшая сястра была ў Слуцку, дык яе разам з дачкой малой, Леначкай, бальшавікі вывезлі немаведама куды на ўсход. Муж у яе быў падпаручнік, ротай у нашым батальёне камандаваў, дык яны паспелі адысці за Лань, да палякаў. А тыя ўсіх камандзіраў бальшавікам выдалі, дык яго разам з іншымі ў Слуцку расстралялі. А пра сястру, відаць, дазналіся... — Валодзька раптам змоўк, зірнуў на Камандзіра.

Той глядзіць некуды ўбок, быццам не слухае Валодзьку...

Валодзька страпянуўся:

— Камандзір, я разам з усімі ваяваў за Беларусь! Я хачу, як усе! — голас у яго задрыжэў.

Камандзір, не гледзячы на Валодзьку, кажа:

— Добра, добра, Валодзя, — і пайшоў да ямы.

Тым часам Мяцельскі накапаў ужо ладныя кучы жвіру з абодвух бакоў. І калі ён выпрастаўся, каб спіхнуць шапку на патыліцу, у яму скочыў Валодзька:

— Дай я...

Мяцельскі неяк няёмка зірнуў на Валодзьку, потым на камандзіра...

Той апускае галаву да долу, адвярнуўся ўбок...

Мяцельскі без ахвоты аддае хлопцу кароткі тронак рыдлёўкі і выбіраецца з ямы...

А Валодзька з імпэтам уганяе рыдлёўку ў жвір і пачынае шпурляць яго ўгору...

Недалёка ад ямы сядзяць Дзед з Кажухаром, ціха размаўляюць. Кажухар, люляючы сваю параненую руку за пазухай, мерна пагойдваецца ад болю і праз слёзы жаліцца Дзеду:

— Ну завошта такая доля, скажы? Хіба я... проціў Бога, ці што? Ці супроціў людзей? Каб хоць як-небудзь жыць, дык нельга.

— Гэ, чаго захацеў! — зласнавата перапыняе яго Дзед. — Жыць!

— Ну... Жыць і то нельга...

— Было. Аджылі. А цяпер ляжам.

— Ляжам? Божа мой, божа... Я прагну толькі аднаго — скончыць свае пакуты. Усё роўна жыццё спляжана дарэшты. Некалі марыў набыць зямлю, каб зажыць на сваёй гаспадарцы. І, нібы вол, ад зары да зары шыў кажухі, збіраў грошы. Абшыў кажухамі, лічы, такі горад, як Слуцак, а ўся праца абярнулася торбай керанак, на паўпуда солі. Добра, што сын, Уладзя, не глядзі што малады, а ўдаўся разумнейшы за бацьку, не падмануўся на маё рамяство, пайшоў у горад служыць. Можа, чаго і дaслужыцца, асабліва калі выб'ецца ў якое начальства ды

паладзіць з бальшавікамі. Бацька во не паладзіў, за тое мне і расплата... — Кажухар стогне і круціцца, вочы зусім змакрэлі, і ён ужо не саромеецца той макраты, не выцірае іх.

Дзед быццам бы і не прыкмячае таго, не слухае Кажухара, сядзіць, унурыўшыся нерухомым позіркам у дол...

А Кажухар працягвае:

— Божа міласэрны, Маці Царыца Нябесная, не пакінь нас, не адвярніся хоць у гэты астатні час...

— Успомніў! — зноў зласнавата буркнуў Дзед. — Як прыпячэ, тады ўспамінаем. Раней помніць трэба было!

— Ды я ці калі забываўся! Я заўжды помніў, маліўся...

— А цяпер маліся, не маліся — адзін канец!

— Ай, божачка ты мой, божачка!

— Слухай, перастань ты выць! — ужо мякчэй кажа Дзед. — У мяне самога душа баліць... У цябе хоць ёсць каму ўспомніць, во сын твой хаця б. А ў мяне... Дзяцей Бог не даў, а жонка... Пабіў я яе, як раз перад паўстаннем. Не сказаць, штоб без прычыны... была прычына... Яна баба жаласлівая, заўжды каго-небудзь шкадавала — то дзяцей, то суседак, а асабліва каго з радні. Хто бяднейшы. А бяднейшы з усіх у яе малодшы брат Сёмка, дзяцей куча! А сам негаспадарлівы, заўжды з Вялікадня сядзіць без кавалка хлеба. У мяне ў свіронку была прыхавана тарбінка грэчкі, хацеў па вясне засеяць лапік ля сажалкі — не ўсё ж душыцца бульбай ды крупнікам. Але во жонка, як мяне не было дома, добра-такі адсыпала з тае тарбіны брату — бач, згаладнелі дзеці. Згаладнеюць, вядома, бо трэба працаваць, дбаць пра дзяцей ды гаспадарку, а не лайдачыць паўгода на печы! І вось аддала пуд грэчкі, быццам самой непатрэбна. Ну вось я і даў ёй добрага штурхаля! Яна ўпала, загаласіла на ўсю вёску!.. А тут якраз трэба было збірацца ў полк на фарміроўку. Ну, я ўзяў сякі-ткі харч ды так і пайшоў улегцы. Ну, трэба было? Гары яна гарам, тая грэчка!.. Калі б не такі канец, можа б, яшчэ і павініўся і паладзіў з жонкай... Увогуле, яна ў мяне не злапомная, даравала рознае, не першы раз. Але ўжо не павінішся — усё панясеш з сабой. На той свет. І ўсё праз гэтае наша жыццё, спрадвечную галоту! Ні па-людску жыць, і нават не па-людску памерці...

Яны абодва змоўклі...

Камандзір зірнуў у яму...

Відаць, што Валодзька прытаміўся, рыдлёўка ледзь-ледзь трымаецца ў руках...

Камандзір заве:

— Забела! Давай падмяні.

Забела з яўнаю неахвотай лезе ў яму, бярэ ў Валодзькі рыдлёўку і пачынае без усякага запалу капаць...

Валодзька выбіраецца з ямы, адыходзіць убок і садзіцца на імшанік...

Сарок на дрэвах прыбавілася. Яны сакочуць усё болей, бы прадчуваючы тое страшнае, што тут неўзабаве адбудзецца. Іх ужо ніхто не адганяе...

Да Камандзіра падсаджваецца Казак:

— Вось усе начальнікі казалі, і ты таксама, што да зімы мы пераможам, вернемся дадому, падзелім панскую зямлю і зажывем па-людску, па справядлівасці ды ў згодзе — хто б не хацеў. Я б не супраць. Абы ўдалося. На жаль, не ўдалося! Не толькі сваёю сямейкай, але і наогул жыць... Ды што ж... Я не разумнейшы за іншых і, канешне, не шчаслівейшы. Калі вось ты, Камандзір, кажаш, што іначай нельга, значыцца, і праўда, нельга. Значыць, нявыкрутка атрымалася. Прыйдзецца паміраць... Але як усе, так і Казак... Вось толькі б паесці чаго-небудзь. Перад смерцю...

Камандзір здзіўлена зірнуў на Казака:

— Паесці?.. — і раптам ён зарагатаў: — Паесці!...

Казак спачатку збянтэжана глядзіць на яго, а потым таксама зарагатаў разам з Камандзірам...

Камандзір гаворыць скрозь смех:

— Паесці!.. Слуцкую турму памятаеш? Чрэзвычайку?

Казак у адказ матае галавой...

З размытага малюнка ўзнікае цёмны падвал...

Дзверы рэзка расчыняюцца, і ў іх моцна штурханулі нейкага чалавека, адзетага ў афіцэрскі шынель са зрэзанымі гузікамі і хлясцікам, босага. Спатыкнуўшыся, чалавек паваліўся на нечыя целы. Нехта пад ім злосна, па-блатняцку, вылаяўся.

— Прабачце, — выціснуў з сябе чалавек у шынялі. Ён неяк узгрэбся на босыя ногі, не ведаючы, куды ступіць ад дзвярэй. Ля яго ног варушыцца чалавек, нешта бурчыць.

— Ні чорта не бачу... — кажа чалавек у шынялі, і цяпер мы пазнаём яго. Гэта Камандзір.

— І не ўбачыш. Мы тут, бы краты, — адказаў яму нехта глухім шапялявым голасам.

— Вайскоўцы ёсць?

— Наўрад. Будзеш першым, — кажа той жа голас.

— І, можа, апошні, — буркнуў той, з-пад ягоных ног. Гэта Блатняк

— Хай так, — болей бадзёра сказаў Камандзір і апусціўся там, дзе стаяў, — плячамі да самых дзвярэй.

Ягонае з'яўленне ў гэтай цеснай, падобнай на катух камеры, відаць, кагось зацікавіла:

— Адкуль будзеце? — зважліва папытаўся, мяркуючы па ціхманым голасе, немалады чалавек, што мясціўся недзе ў куце.

— З вакзала, — проста адказаў Камандзір.

— Го, з вакзала! — нядобразычліва адазваўся Блатняк. — На вакзале яны і бяруць!

— Чакаў цягніка... — працягвае Камандзір.

— Ну і дурань! Чакаць на вакзале... Ля семафора трэба чакаць і на хаду садзіцца. Цяпер так робяць.

— Наўрад ці ў іх ёсць якая заканамернасць, яны ўсюды бяруць! Мяне, напрыклад, узялі дома. З пасцелі паднялі, — сказаў з кутка Пажылы.

— Яны і з магілы паднімуць, — прашапялявіў недалёкі сусед. — Чэка!

— Чэка! Гэта табе не царская паліцыя, што спала на хаду, — сказаў Блатняк. У яго голасе разам з бояззю чулася стоеная павага да ЧК.

— Ну, не заўжды спала. Бывала, давала і яна дыхту. Асабліва на катарзе, — кажа Шапялявы.

— Хіба што на катарзе... — згаджаецца Блатняк.

— Такога яшчэ не было ў Расеі! — пакутна загаварыў у куце Пажылы. — Былі смутныя часы, бязладдзе. Але такога ачмурэння не было! Бедная, няшчасная Расея...

— Рэвалюцыя, што ж вы хочаце? — даволі бадзёра шапялявіць іншы. — Рэвалюцыя без ахвяр не бывае.

— Пайшла яна на хер, твая рэвалюцыя! — рэзка кінуў у адказ Блатняк. — Ад яе адзін сіфіліс, ад вашай рэвалюцыі!

Шапялявы:

— Не скажы! Калі ёю правільна распарадзіцца...

Блатняк:

— Хто, хто правільна распарадзіцца?.. Троцкі?.. Ленін?..

Шапялявы:

— Ат, што ты разумееш?..

У камеры наступае цішыня...

Камандзір, абапершыся плячамі да сцяны, моўчкі слухае гэту спрэчку, нарэшце пытаецца:

— Даўно вы тут?

— Як хто, — адказвае Пажылы ў куце. — Я чацвёрты дзень. Ён во — два, іншыя — хто колькі.

— Тут доўга не трымаюць! — са значэннем сказаў Блатняк.

— Што — адпраўляюць? А куды? — пытаецца Камандзір.

— Гэ — куды? Вядома, куды!.. У Гунькін роў! — адказвае Блатняк.

— Толькі ж, мабыць, павінны хоць дапрасіць, вынесці нейкі прысуд, хай сабе і фармальны, — сказаў Камандзір.

— Які прысуд? Які прысуд? — гаворыць Шапялявы. — Цяпер могуць і без усякага прысуду, у імя рэвалюцыі!

Камандзір трохі памаўчаў... Потым кажа, як быццам сам сабе:

— Вось... прыехаў! А адсюль да маёй станцыі шэсцьдзясят вёрст...

Пасля нядоўгага маўчання са змроку зноў пачуўся ўпэўнены шапялявы голас:

— А што ж вы хацелі, грамадзяне? Пралетарыят абараняе сваю ўладу. А кожная ўлада павінна ўмець сябе абараніць!

— Яно, можа, і так, — не адразу, мякка пагадзіўся Пажылы ў куце. — Тое вядома з часоў Французскай рэвалюцыі. Толькі вы мне скажыце, чаму гэткая неадэкватная абарона? Напрыклад, я не выступаў супраць іхняй улады. Я нейтральны чалавек, абывацель.

— Вы не абывацель! — запярэчыў Шапялявы. — Вы прадстаўнік чужога варожага класа!

— Ну, добра, я — чужы клас! — памяркоўна сказаў Пажылы. — Вы ж, пэўна, не чужой клясы чалавек?

— Затое, я чужой партыі! — адказвае Шапялявы.

Пажылы:

— Але ж таксама сацыялісты?

Шапялявы:

— Сацыяліст-рэвалюцыянер! Заўважце розніцу!

Пажылы:

— Невялікая, аднак, розніца, як я разумею. І тыя, і другія супраць манархіі.

Шапялявы:

— У тэарэтычным сэнсе так. Але ў тактычным — мы як неба і зямля! Мы, эсэры, нязгодны з бальшавікамі.

Пажылы ўсміхаецца:

— Даволі сумніцельна...

Камандзір некаторы час прыслухоўваецца да іх размовы, потым пытаецца:

— А за што вас, прабачце, сюды?

Шапялявы:

— А ні за што! Выйшла непаразуменне...

— Гэ, непаразуменне! — нервова заварушыўся ля ног Камандзіра Блатняк. — У іх непаразуменняў не бывае. Ім трэба як мага больш шлёпнуць!

— Шлёпнуць, гэта, канешне, — пагадзіўся Шапялявы. — Можа, толькі спярша пакормяць. Павінны ж яны карміць!

Блатняк:
— Не кормяць і не страляюць! Чакаюць, калі самі ногі выцягнем!
Шапялявы:
— Такога царскія сатрапы не дапускалі! Я катаргу прайшоў, ведаю.
— Не кормяць, значыць, трэба думаць, не зацікаўлены ў нашым жыцці! Усё надта лагічна, — уздыхнуў Пажылы.
— У іх там няпраўка выйшла — аўтамабіль сапсаваўся, — зазначыў Блатняк. — Як адрамантуюць, напэўна, адразу... У Гунькін роў...
Тым часам недзе недалёка ў калідоры пачуліся галасы: «Выходзь! Быстра, тваю маць!..» І брыдкая салдацкая лаянка... Падобна, там усчалася тузаніна ці нават бойка... Чуецца тупат шматлікіх ног... Нешта моцна выцяла ў сцяну — аж здрыгануліся прыхінутыя да дзвярэй плечы Камандзіра... Усе насцярожана прымоўклі, чакаюць...
Потым тупат і тузаніна сталі чуваць далей...
— Цяпер ці не наша чарга... — паныла сказаў Шапялявы.
Яму ніхто не адказаў, усе маўчаць...
Пасля маркотнае паўзы першы загаманіў Блатняк:
— А я, якраз перад тым... Ну, у ранку, як сцапалі, не даеў гуляш... — паведаміў ён, як пра нешта важнае. — Такі быў смачны гуляш!.. Вялікая талерка... А я не даеў, дурань!
— А я дык галадаў болей! Каб што не даесці, такога не памятаю... Асабліва хлеб... Найлепшы прысмак! — сказаў Шапялявы.
— Ды і сухар няблага! Калі з квартай кіпятню... Ахвіцэр, у цябе там сухарыка не заваялася? — павярнуўся да Камандзіра Блатняк.
Камандзір усміхнуўся:
— Не заваялася...
— Трэба было даваць дзёру, я ж казаў! — сцішана буркнуў Блатняк, звяртаючыся да іншых. — А то давядуць, што ног не пацягнеш!.. Калі да таго не стрэльнуць...
— Я не супраць, — адгукнуўся Шапялявы.
З кутка разважна азваўся Пажылы:
— Вы думаеце, гэта магчыма? Гэта ж вельмі рызыкоўна, мабыць...
Яму ніхто не адказаў... Зноў наступіла цішыня...
— А што? Як адчыняць дзверы... Каго прывядуць... — кажа са змроку Шапялявы. — Кінуцца і — за вінтоўку! А тут астатнія...
— Хто кінецца? Я чалавек пажылы... Ды суставы хворыя, — сказаў Пажылы.

— Я б сам кінуўся, — кажа Шапялявы, — ды у мяне рука вывіхнутая. Як вялі, дык білі, сапсавалі руку. Бо ўсё роўна — у расход!.. Чуе мая душа — не даюць есці, значыць — прыгавор!

Камандзір маўчыць. Ён нешта ўзгадняе ў сабе — прымае рашэнне...

— Дык вось жа ў нас, вайсковец! — падказвае Блатняк. — Ты ж вайсковец, ага? — звярнуўся ён да Камандзіра.

— Вайсковец...

— Ахвіцэр?

— Афіцэр...

— Дык чаго чакаць? Самы раз будзе! Я ў помач! — кажа Блатняк.

— Ага, тут трэба, каб усе разам! — па-змоўніцку, ціха, прашамкаў Шапялявы. — Ламануць — і ў калідор! А там — каму пашанцуе...

— Калі б паспець... А то могуць на золаку вывесці. Яны заўсёды на золаку возяць! — паведамляе Блатняк.

Камандзір моўчкі думае... Нарэшце кажа:

— Я зразумеў... Але ці ўсе згодны?

— Я згодны! — лёгка сказаў Блатняк.

— Я тожа, — пацвердзіў Шапялявы.

У куце, чутна было, трохі паўздыхаў Пажылы.

— Што ж, калі ўсе парашылі, дык... Адмаўляцца не пахрысціянску будзе. Ужо як-небудзь...

— Во і добра!.. А ты, маўчун, што? — звяртаецца Шапялявы да кагосьці ў цемры. — Ці ўсё спіш?

— Я не сплю, — прагучаў з цемры незнаёмы басавіты голас.

— Дык ты чуў? Ты згодны? — пытаецца Шапялявы.

— Ды я вось... Бегчы я не магу, во якая справа... — чуецца з цемры.

— Тады што ж — застанешся? — пытаецца Шапялявы.

— Мабыць, застануся... — голас з цемры.

Ноч тым часам, мабыць, пераваліла за поўнач, у сутарэнні памалу рабілася цішэй, галасы за сцяной і ў калідоры патроху глухлі... Стала ціха...

— Галоўнае — не кормяць! — сказаў Шапялявы. — Значыць, штосьці ўдумалі.

— А што — тут і дурню вядома! — пагадзіўся Блатняк.

— А калі ў іх усё ж які іншы план? — усумніўся Пажылы. — Калі, напрыклад, сапсаваўся аўтамабіль, дык, мабыць жа, няма і падвозу?

Шапялявы:

— Няма падвозу, дык на плячах прынеслі б. У мяшках. Хлеба ці бульбы. А калі тры дні не нясуць, значыць...

— Значыць — Гунькін роў! — перабівае яго Блатняк.

Камандзір моўчкі слухае... Потым пачынае расціраць схаладзеўшыя босыя ногі...

Блатняк паглядзеў на камандзіра, потым звяртаецца ў цемру:

— Ты, калі не пабяжыш, аддай боты ахвіцэру! Ён босы!

— Дык бярыце, — проста пагадзіўся Казак. Трохі пасапеўшы, ён здзёр з ног боты, перадае іх Блатняку. Той, у сваю чаргу, перадае боты Камандзіру.

— Во, абувайце!

— Ну, дзякуй, — кажа Камандзір. Боты вялікія, растаптаныя, і ён лёгка насунуў іх на свае босыя ногі.

— Цяпер такая справа, — развaжна прамовіў у куце Пажылы. — Можа, каму і пашанцуе, дык гэта... Каб ведалі... Вучыцель я, з Будзевіч. Сергіеня маё прозвішча, пяцьдзясят пяць гадоў маю. У мяне адзін сын на румынскім фронце. Быў... А другі паў пад Смаргонню... А я вось тут...

— А цябе могуць шлёпнуць! Калі не драпанеш! — грубавата зазначыў Блатняк.

— Ну, даволі! А то запалохаў усіх! — глуха абарваў яго Пажылы.

— А што ж, плакаць мне, ці што? На плач яны не зважаюць. Хай па мне плачуць! У Воршы — Любка, у Суражы — Анастасся, а ў Піцеры — Лушка. Лушка асабліва сардэчная была, любіла ў любоў гуляць!

— Мабыць, адлюбілася! — кажа Шапялявы.

— А гэта мы яшчэ пабачым! — падбадзёрвае сябе Блатняк. — Я хлопец спрытны! І не глядзі, што мізэрны!

— А родам — адкуль? — спытаўся Шапялявы.

— Тутэйшы... З Магілёўскай губерні...

— І я з Магілёўскай! Горад такі — Горкі, можа чуў? На каморніка вучыўся. А дома ўжо нікога... Быў брат, ды прапаў на вайне недзе... Вось і ўся біяграфія!

— А казаў — катаржнік? — напомніў Блатняк.

— А як жа! Катаржнік! Пяць гадоў адтрубіў. Рэвалюцыя вызваліла!

— Хар-р-р-ошая рэвалюцыя! — з’едліва зазначыў Блатняк.

З кута загаварыў Пажылы:

— Рэвалюцыя, кажаце, вызваліла і рэвалюцыя ж, мабыць, пасадзіла? Як жа так атрымліваецца, спадар-таварыш сацыяліст?

— Вельмі проста. Справа ў тым, што рэвалюцыя павінна чымсь харчавацца. Дужа пражорлівая жывёліна! Чым больш жрэ, тым болей ёй хочацца! — прашамкаў Шапялявы.

— Во дзіва! — роздумна сказаў Блатняк. А казалі — свабода, свабода!..

— Тут во якая справа, — зазначыў Пажылы. — Гледзячы каму — свабода! Хіба — абстрактная свабода, свабода наогул. Народу ж яна зусім без патрэбы. Падобна на тое, народ не ведае, што з ёй рабіць, бо ён ніколі з ёй справы не меў. Усё ж народу трэба, каб над ім валадарылі. Найлепш — чужаземцы! Прыйдзіце і валадарце намі, бо зямля наша вялікая, а парадку ў ёй няма!..

— Ну, гэта вы дарма! — сказаў Шапялявы. — За свабоду народа сотні сацыялістаў на катарзе гнілі.

Пажылы:

— Але хіба за народ? Можа, за ідэю. А гэта не адно і тое ж! Народ яшчэ не даспеў да гэткай ідэі, як свабода і дэмакратыя. Яму яшчэ бізун самы раз будзе.

Шапялявы:

— Ну вы і рэакцыянер! Манархіст, мабыць?

Пажылы:

— Хай сабе і манархіст. Але вы азірніцеся, што робіць той самы народ. Вунь, у нас, у Будзевічах. Жыў такі пан, Красоўскі, небагаты, шляхетнага роду пан. Палац каменны тры стагоддзі стаяў ля ракі. Дык гэтыя, з Будзевіч, свае ж, сяляне, прыйшлі, пачалі цягнуць, рабаваць. Віна знайшлі, напіліся, запалілі стайню. Стары Красоўскі кажа: што ж вы робіце, як вам не сорамна. А яны: дык ці ж гэта мы пачалі? Гэта ж такі закон у Піцеры выйшаў — свабода! Расея гіне, трэба хапаць, пакуль іншыя не расхапалі! Пакуль свабода! І разрабавалі, і папалілі — і палац, і службы! А старога Красоўскага святар ледзьве ўратаваў ад п'яных!.. А вы кажаце — свабода! Паглядзіце, хто нас сюды папрыводзіў, хто страляць будзе. Хіба то не людзі з народа? А тыя, што ў ЧК сядзяць, хіба не за народ? Хоць бы на словах.

— Во, менавіта на словах! — загарачыўся Шапялявы. — А па сутнасці — гэта шкурнікі! Прыстасаванцы да святой ідэі ўсе гэтыя бальшавікі, чэкісты...

— Якая ідэя, такія і да яе прыстасаванцы! — упарта пярэчыў у куце Пажылы. — Калі ідэя дазваляе гэтак да яе прыстасоўвацца, значыць, дэфектная ідэя!

Шапялявы:

— Ну, пра ідэю так не кажыце! Ідэя роўнасці і брацтва — святая ідэя! З часоў Французскай рэвалюцыі!

— Святая, святая, — няпэўна кажа Пажылы. — Пад гэтую ідэю столькі ўжо крыві пралілося, а ў свеце таго брацтва ні на алтын не прыбавілася! І, мусіць, не прыбавіцца... Адно жаданне — адабраць і падзяліць, тая ж барацьба класаў і саслоўяў!

Шапялявы:

— Мэта нашай рэвалюцыі — з гэтым пакончыць! Раз і навек!

— Э, не, браценька! Як бы ні стала так, што рэвалюцыя — толькі пачатак! Працяг яшчэ будзе... — кажа Пажылы.

Шапялявы:

— Пачатак, можа, і не надта... Затое працяг павінны быць, што трэба!

— Які пачатак, такі і працяг... — адказвае яму Пажылы.

Камандзір усё гэтак жа моўчкі слухае размову, але відаць, што думкі ў яго нейкія свае...

— А вы, афіцэр, скуль будзеце? — запытаўся Пажылы. — Ці са сталіц?

— Не, не са сталіц... З-пад Полацка...

— З фальваркоўцаў?

— З дваран, — падумаўшы, адказвае камандзір.

— Ну, дваране, і яны розныя бываюць, — зазначыў Блатняк. — Ёсць і нішто...

— Яны, можа, і нішто! — запярэчыў Шапялявы. — Але як клас — варожыя рэвалюцыі! Контра!

У куце заварушыўся Пажылы:

— Ну вось, вы ўсё вялікімі катэгорыямі: клас, народ! Гэта палітыкі ды царадворцы маюць у жыцці справу з класамі ды народамі, а мы, абывацелі, болей то з суседам, то з работнікам, то з гандляром. І кожны з іх, паасобку, не падобны да іншага. Як можна так абагульняць? Схаластыка!

— Не класавы ў вас падыход! — без злосці сказаў Шапялявы.

— Не класавы, праўда. Боскі!.. Усё ж Бог стварыў чалавека па сваім падабенстве. Гэта д’ябал падзяліў чалавецтва на класы, саслоўі, на паноў ды нявольнікаў! — кажа Пажылы.

— Каб зручней было ўпраўляць! Каб адно адным паганялі! — як заўжды з’едліва, сказаў Блатняк і папытаўся з выклікам: — Праўда, Маўчун?

— Можа, і праўда... — прагучала з цемры. Голас быў густы і ціхманы, падобна, крануты нутраным надломам спакутаванага чалавека.

Блатняк:

— А цябе завошта сюды, калі не сакрэт?

— За цара, — ціха адказаў Казак.

Блатняк:

— Што ты — ягоная радня якая?

Казак:

— Не, не радня... Ва ўправе служыў... Вартаўніком... А яны прыйшлі партрэт скідваць... Дык гэта... Я ўзяў тапор...

Блатняк:

— І пасек іх?

— Не-а... Аднаго толькі... Галоўнага...

— Да-а... — кажа Шапялявы. — Кепскія твае справы!

— Кепскія, ага, — паныла пагадзіўся Казак.

Начная цішыня ў сутарэнні зноў парушылася нейкімі невыразнымі галасамі ў тым канцы калідора, пачулася лаянка, падобна, некага білі... У камеры ўсе прыціхлі, услухваючыся са страхам...

Камандзір пасунуўся ад дзвярэй убок, дакранаецца да нагі Блатняка:

— Значыць, так. Расчыняць — і я кідаюся. За мной — вы! Адразу ж — астатнія!

— Тады трэба перасесці, — сказаў Блатняк. — Маўчун не пойдзе, дык ён каб у канцы. Хай перасядзе з вучыцелем.

Камандзір агледзеўся ў цемры:

— Правільна. Хай перасядуць!

Маўчун, глуха стогнучы, падняўся са свайго месца і палез у кут да Пажылога. Той таксама нешта мармыча сабе пад нос, мабыць, чымсьці незадаволены...

— Аднак, знясілелі мы, чорт пабяры! — сказаў Блатняк. — У мяне ўжо кішкі да хрыбта прысохлі ад голаду!

— Сволачы! — коратка рэзюмаваў Шапялявы.

Камандзір уважліва прыслухоўваецца... Рух у калідоры заглух...

У камеры ўсталявалася трывожная начная цішыня... Ужо нехта ў цемры пачаў пасопваць... Нехта нешта паціху мармыча сам сабе...

Камандзір, не ўстаючы, сцягвае з сябе шынель і кладзе яго пад сябе. Выбірае найболей зручную позу, каб адразу ўскочыць...

Дрымота між тым пачынае агортваць і яго... Але ён, страпянуўшыся, ціха гукае іншым:

— Не спаць!.. Нікому не спаць!..

І тады ў цемры трохі нехта варухнецца, і зноў усё сціхае...

Камандзіра таксама цягне на сон, і трэба было немалое намаганне, каб адолець дрымоту. І тады ён зноў ціха гукаў:

— Не спаць!.. Нікому не спаць!..

І зноў у цемры варухнуцца цені... І зноў становіцца ціха...

Камандзір усё ж задрамаў... І раптам аж скалыхнуўся ад нечаканага крыку, што раздаўся па той бок дзвярэй:

— Пад'ём! Падгатовіцца: прыём пішчы!.. Пад'ём!.. Прыём пішчы!..

У камеры разам спалохана заварушыліся...
...падскочыў і сеў побач Блатняк...
...санліва ўзняўся Шапялявы...
...прыўзняўся Пажылы...
...Казак у куце нават не варухнуўся...
У сцяне, насупраць Камандзіра, цьмяна азначылася невялічкае закрачанае акенца...
Сталі відаць плечы... галовы... шэрыя твары арыштантаў...
Камандзір упершыню бачыць людзей, з якімі прабыў ноч...
Крык у калідоры чуецца далей...
— Чуеце? Жраць дадуць!.. Чуеце? — збянтэжанасць на твары Блатняка імгненна змянілася бадай што дзіцячай радасцю.
Шапялявы з прагнай увагай імкнуўся злавіць гукі з калідора, і яго запалыя, аброслыя шчэццю шчокі ды разяўлены ад увагі рот, з выбітымі наперадзе зубамі, выдавалі слабасільнага, змардаванага жыццём чалавека...
Крыху далей, у рэдзенькім сяйве святла з акенца, блішчэла лысая галава старога настаўніка з зусім белым пушком — рэштаю валасоў над вушамі...
У густым цені пад акенцам туліцца нябачны ад парога Казак...
Здаецца, паведамленне пра харч усіх збіла з тропу... Камандзір бачыць...
Напружаныя твары Шапялявага... Вучыцеля... Блатняка...
За дзвярмі лязгае замок... Камандзір ускочыў на ногі і чакае...
Дзверы трохі прыадчыніліся і цераз парог на падлогу цяжкавата грукнула старое закапцелае бляшанае вядзерца. У камеру шыбануў знаёмы пах гарачай кашы-пярлоўкі.
— На пяцёх вам.
Камандзір толькі сабраўся кінуцца ў дзверы, як яму спрытна перагарадзіў шлях Блатняк, шмыгнуўшы да вядра...
Дзверы зачыніліся...
— Братва, жывём! — з ненатуральнаю радасцю закрычаў Блатняк. Ён хапае вядзерца і, сноўдаючы на каленях, пачаў уладкоўваць яго пасярод камеры...
Камандзір збянтэжана стаіць ля дзвярэй...
Да вядра на карачках падсоўваецца Шапялявы...
Запаволена, бы нерашуча, пачаў мясціцца ля яго Пажылы...
За ім падняўся і Казак...
Камандзір стаіць, нібы апляваны, глядзіць на ўсіх...
— А як жа есці, без лыжак? — пытаецца Шапялявы.

— А ручкамі! Ручкамі, пан эсэр! Во так! — па-блазенску ёрнічае Блатняк і, тут жа, зачарпнуўшы жменяй не дужа густую кашу, пачаў вылізваць яе з прыгаршчаў...

За ім ў вядзерца палез рукой Шапялявы...

З відавочнай няёмкасцю двума пальцамі нешта зачарпнуў сабе Пажылы...

— Ну, а вы што? Ахвіцэр! І ты, Маўчун! Запрашаць трэба? — занадта жвава круціцца ля кашы Блатняк. — Што, можа, не хочаце? Дык як хочаце! Нам болей перападзе, ха-ха...

Блатняк... Шапялявы... Пажылы... Адпіхваючы адзін аднаго ад вядзерца, яны лезуць за кашай рукамі...

Неяк ураз аслабелы Камандзір ціха апускаецца на свой шынель. Ён ашаломлены і спустошаны...

Казак неяк нервова матнуў галавой і садзіцца ў свой куток...

Шапялявы, паспешліва пражоўваючы кашу, кажа Блатняку:

— Ну, а ты плявузгаў: Гунькін роў, Гунькін роў, бо не кормяць... Во і накармілі!

Блатняк прагна глытае кашу з прыгаршчаў:

— Значыцца, перадумалі!.. Мабыць, яшчэ пачакаюць страляць.

Шапялявы аблізвае пальцы:

— Пэўне, пачакаюць. Бальшавікі — яны таксама розныя... Па тваёй жа тэорыі...

— Само сабой... А ты, вучыцель, што думаеш?

Пажылы моўчкі есць кашу...

Камандзір, прыкрыўшы вочы, сядзіць ля дзвярэй на шынялі...

Вельмі хутка яны ўтрох апаражнілі вядзерца і з асалодаю адваліліся плячамі да сцяны. Падобна, пад'елі... І нават, паспакайнелі... Яны задаволіліся...

— А я вам скажу, — роздумна зашамкаў Шапялявы. — Тое, што мы паначы ўдумалі, маланадзейна. І авантурна. Так вопытныя арыштанты не робяць.

— Абсалютная лухта! — жвава пацвердзіў Блатняк. — Хіба на засыпку. А так, можа, яшчэ...

— Можа, і абыдзецца, — разважае Шапялявы. — Калі разабрацца, дык мяне і праўда выпадкам узялі. Гэта мой корыш тую купчыху экспрапрыяваў, а не я. Ну, ды разбяруцца...

— Дык і са мной, мяркую, разбяруцца. Што я — контра які? Я чэсны пралетар! А што спекульнуў трохі, дык за гэта страляць? — размаўляе Блатняк.

— Цябе, можа, і не застрэляць, — ціха азваўся Пажылы. — Але ж тут афіцэр...

Блатняк:
— Ну і што?
— А тое, што яго падманулі. — гаворыць Пажылы.
— А хто, хто яго падмануў? — загарачыўся Блатняк. — Мы самі падмануліся! Ну, не кормяць, думалі — шлёпнуць! Аж, пэўна, не! Дык што ж нам цяпер — напралом? На злом галавы дзеля ахвіцэра? Тут кожны сам за сябе...
— Рызыка павінна быць апраўданай! — глыбакадумна прашамкаў Шапялявы.
Унутры ў Камандзіра штосьці напялася і разам аслабла... Ён нешта пачаў разумець. Ён слухае іх моўчкі, і адчуваецца, як ягоная разгубленасць ператвараецца ў маўклівы нутраны гнеў...
У камеры раптам настала пакутная напружаная цішыня... У ёй важка і нават злавесна чуецца з-пад акенца:
— Скаты!
— Што? — падняўся і сеў на доле Блатняк. — Хто скаты?
— Вы! — кінуў Казак.
— Вы чулі? Чаму гэта мы — скаты? — нервова пытаецца Блатняк.
— Трэба спярша падумаць, чым гаварыць, — пакрыўджана прашамкаў Шапялявы.
Казак неяк няспрытна варухнуўся ў шэрым святле з аконца сваёй крутаплечай паставай і зноў схаваўся ў цені...
— Абзываецца! За афіцэра заступаешся? — прыдзіраецца да Казака Блатняк. — Дык ахвіцэр не крыўдуе! Праўда, ахвіцэр? — ён павярнуўся да Камандзіра.
Той ва ўпор, не міргнуўшы, гняўліва паўзіраўся ў твар Блатняка...
Блатняк нешта адчуў...
— Ахвіцэр нязгодны! — аб'яўляе ён урэшце. — Ён згодны з бандытам! Во як! Ведама, дзве контры!
— Мала, што скаты! Вы яшчэ і падляцы! — з гневам сказаў Камандзір і адвярнуўся да сцяны.
— Ну, я ж казаў: яны контрыкі! Бандыт ды гэты ахвіцэр! — істэрычна залямантаваў Блатняк. — Іх трэба закласці! У ЧК!
— А што ўтойваць! Класавыя ворагі — пырскаючы слінаю з бяззубага рота, гаварыў Шапялявы.
Перад ім спалохана ўскочыў на калені Пажылы:
— Ціха вы, ціха! А то ўчуюць... Яны ж усіх нас...
Але ягоныя ўгаворы толькі раздражнялі не на жарт раззлаванага Блатняка:
— Што — ціха? Чаму я — ціха? Гэта ён хай ціха! Ён забойца! А гэты, ахвіцэр! Яны ворагі! А я лаяльны да савецкай ула-

ды чалавек! Яны задумалі ўцёкі, ты, пацвярдзі! Хто сабраўся канвой душыць? Хто, ну, скажыце!..

— Змоўкніце! Што вы робіце! — упрошвае Пажылы.

Але ягоныя словы наганяюць на Блатняка яшчэ большую злосць:

— А, і ты? І ты, тожа, за іх? І то, контра, за Бога, проціў рэвалюцыі!

І тады, з-пад акенца насупраць, неяк марудна, бы перасільваючы ў сабе знямогу, падняўся Казак. Ён босымі нагамі пераходзіць цераз выцягнутыя на падлозе боты Шапялявага... Марудна, але рашуча, ён накіроўваецца да Блатняка...

Той, учуўшы нядобрае, завішчэў ля парога:

— Не падхадзі! Не падхадзі!

Казак вялізнаю рукой ухапіў яго за грудкі, згроб, пераламіў у паясніцы і паваліў пад сябе долу...

Шапялявы спалохана адхіснуўся ўбок...

Пажылы абмёр у нерашучасці...

Камандзір разумее, што зараз здарыцца нешта кепскае...

— Стойце! — загадаў ён строга. — Стойце, не трэба!

— Прыкончу скаціну!..

— Не трэба! Адпусціце! — загадвае Камандзір.

Раптам залязгаў замок і дзверы рэзка расчыніліся...

— У чым справа! Што такое?..

У дзвярах стаяць двое чэкістаў, не пераступаючы парог.

— Устаць! Усім устаць!..

Першы хуценька ўскочыў Шапялявы...

За ім з натугай падымаецца Пажылы...

Устае камандзір...

Казак у доле з яўнай неахвотай выпускае з рук Блатняка і таксама, цяжка дыхаючы, узгрэбся на ногі...

Блатняк застаецца ляжаць, бы сканаў... Але раптам ён залямантаваў, перабіраючы нагамі ў стаптаных, з глінай на сподзе, гамашах:

— Таварышы чэка, ён бандыт! — паказвае на Казака. — А гэты — ахвіцэр! — паказвае на камандзіра. — Яны ўцячы згаварыліся і ўдушыць мяне, каб я іх не выдаў! Забярыце іх!.. Бандыта і во — ахвіцэра!..

— Так!.. Выхадзі! Усе выхадзі! — загадвае адзін з чэкістаў.

Спачатку ўсе збянтэжыліся, але, раптам, загаварылі адразу разам:

— Як гэта — выхадзі?.. Мы ні пры чым!.. Гэта яны — контра! У расход іх трэба! — лямантуюць Блатняк, Шапялявы і Пажылы...

Чэкіст:
— Я сказаў: выхадзіць усім! Усе пойдзеце ў расход!
Камандзір зірнуў на Казака...
Той усё зразумеў, ледзь прыкметна кіўнуў галавой...
— Давай! — крыкнуў Камандзір і кідаецца на чэкістаў... За ім рашуча дзвінуў Казак...
З размытага малюнка зноў узнікаюць твары Камандзіра і Казака... Перастае смяяцца Камандзір, за ім Казак.
— І ўсё з-за паўвядра пярлоўкі! — кажа Камандзір.
— Ага, — адказвае Казак. — Нажэрліся — і як ракі, назад...
— Пашанцавала нам тады... А зараз...
Забела тым часам раўняе дол у яме, потым пачынае мераць крокамі:
— Раз... два... тры... чатыры... пяць... шэсць... сем... восем... Восем!.. Як раз... Усё! — крычыць ён угору. — Фініта ля камедыя! — кідае рыдлёўку з ямы.
Камандзір падыходзіць да ямы:
— Ладна, годзе, — і кліча астатніх: — Усе сюды!
Усе неяк нясмела, бы баючыся, узлазяць на жвір, бліжэй да ямы...
Камандзір ціха пытаецца:
— Хто першы?
— Першы ўжо ёсць, — сказаў Мяцельскі. — Во, Аўстрыяка...
— Давай яго сюды! — загадаў Камандзір.
Разварочваючы ботамі рыхлую кучу, Мяцельскі рашуча падвалаквае распластанае цела Аўстрыяка да ямы, уніз галавой падае яго Забелу. Той пераймае цела, сцягвае з краю ямы і выпроствае яго ў доле. Хоча злажыць рукі Аўстрыяка на грудзях, але тыя ніяк не складваюцца... Тырчаць скурчанымі пальцамі ўгору...
— Пакінь, не трэба, — кажа Камандзір і дапамагае Забелу выбрацца з ямы.
Мяцельскі стаіць высока на кучы жвіру:
— Дык як будзем? Па адным ці ўсе разам?
— Па адным, — ціха мовіў Камандзір. — З нагана...
— У яме?
— У яме... Каб меней грукату...
Камандзір абводзіць усіх чужым напружаным позіркам...
Яны ўсё зразумелі і сціхлі, нават, не дыхалі...
— Што ж, спадары... Нам не ўдалося, можа, удасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж, мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь... нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры...

Яны ўсе стаяць і маўчаць... Яны чакаюць...

Камандзір, зглытнуўшы даўкі камяк у набалелым горле, раптам сказаў са знарочыстай строгасцю:

— Хто першы?

Выдалася кароценькая пакутная паўза...

Мяцельскі кідае са злосным адчаем:

— Ат, мацьтваю... Давай я... — І, абрушваючы жвір, рашуча скочыў у яму. — Дайце рэвальвер!

Камандзір расшпіліў на баку кабур, выняў наган і падае Мяцельскаму.

Той ухапіў яго знізу і рухава выцягваецца побач з Аўстрыякам...

— Жыве Беларусь!

— Жыве... — нечакана слабым голасам азваўся Камандзір, але яго перапыніў глухі рэвальверны стрэл у яме.

Дзве сарокі з бліжняй бярозы спалохана пераляцелі далей...

На зямлі зноў настала пакутная паўза... Усе стаяць моўчкі...

— Ну, хто далей?.. Ты, Зубко? — няпэўна павярнуўся Камандзір у бок Дзеда.

Той нерашуча робіць некалькі крокаў праз жвір, спыняецца:

— А ружжо?

— З ружжом, братка, — мякка сказаў Камандзір.

Дзед неяк грузна зваліўся ў яму...

І зноў яны стаяць нерухома, чакаючы...

Стрэл коратка грукнуў і сціх...

— Ну? — павярнуўся Камандзір да астатніх. — Ты? — запытальна зірнуў ён на Кажухара.

— Ды я... Калі адважуся... Калі што, дык прыстралі, Камандзір. Калі што... — і няспрытна ўссеўшы на край ямы, Кажухар ціха споўз туды...

Камандзір павярнуўся да астатніх...

Перад ім стаяць удвох: Казак і Валодзька...

Казак уважліва зірнуў у вочы Камандзіра, затым няспешна, разам з вінтоўкай, лёгка шаснуў у яму, дзе амаль адразу грымнуў стрэл...

На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодзька...

— Сулашчык! — гукнуў да яго Камандзір. — Пастой...

Камандзір падыходзіць да Валодзькі:

— Табе, Сулашчык, заданне: закапаць, зараўняць! Каб следу ніякага не асталося!.. І — жыві!

— Я?

— Ты, а хто ж... Жыві!.. За нас!.. За бацьку!.. Дай я цябе абдыму!

Няспрытна, адною рукой, Камандзір нямоцна абняў Валодзьку. Трохі памарудзіў і, густа абрушваючы жвір, зваліўся ў яму...

Валодзька застаўся стаяць — ашаломлены, разгублены... Скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл...

І наступае цішыня... Толькі недзе здалёк чуецца сакатанне сарок.

Валодзька закопвае яму-магілу і плача... Ужо можна было не стрымліваць слёз, саромецца тут не было каго... У яму ён не зірнуў ні разу, ён гроб і гроб рыдлёўкай рыхлы жвір з берагоў...

На небе з'явіліся цёмныя аблокі... Здалёк пачуўся грукат навальніцы... Пачынаецца дождж...

Валодзька закідвае галлём тую мясціну, дзе была яма, і з рыдлёўкай у руцэ пацягнуўся па лядзе да лесу...

Прыпыняецца, размахнуўся і кідае, далёка-далёка ад сябе, рыдлёўку ў густы лес. Апошні раз абярнуўся ў бок, дзе была яма, і зноў цягнецца па лесе...

Грукат навальніцы становіцца ўсё мацней, мільгаюць маланкі... Усё мацней ідзе дождж...

А Валодзька ўсё ідзе па лесе... Слёзы на яго вачах перамешваюцца разам з дажджом...

І над Валодзькам... над лядамі... над лесам... на фоне навальніцы гучыць дыктарскі тэкст:

«Яны ведалі, што прысуд ім быў вынесены даўно, гэты зыход быў відавочны, як толькі яны кінулі выклік страшнай сіле і сталі са зброяй у строй. Выклік быў дзёрзкі і рашучы, а сілы ўсё ж малыя. Як заўжды, масы засталіся ўбаку, не падтрымала іх Беларусь. Але яны павінны былі пачаць. Для іх было відавочна: тое трэба было калісь зрабіць, раней ці пазней. Без таго, без іхняе безагляднае адвагі, ахвяр і крыві ўся іх нацыянальная справа, бы невылечны сухотнік, асуджана на вялы, задоўжаны скон. Цяпер гэтаму не бываць! Зерне кінута, па вясне ўгрэецца глеба, будуць усходы! Колькі б зіма ні доўжылася, настане вясна! Яны ж угнояць глебу, мусіць, такое іх гістарычнае прызначэнне, так трэба. Для вольнай радзімы, для гісторыі...»

[1994 г.]

КАМЕНТАРЫ

Дзявяты том Поўнага збора твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава змяшчае кінасцэнарыі «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Западня» (сцэнарый Л. Мартынюка, пры ўдзеле В. Быкава), «Двое в ночи», «Волчья стая», «Долгие версты войны», «Ушедшие в вечность (Обелиск)» (у суаўтарстве з Р. Віктаравым), «Его батальон» (пры ўдзеле А. Карпава), «На Чорных лядах» (сцэнарый В. Панамарова, пры ўдзеле В. Быкава).

Творы падаюцца паводле храналагічнага прынцыпу на мове арыгіналаў: беларускай ці рускай. У «Каментарах» да твораў выяўляюцца значныя варыянтныя тэксталагічныя разыходжанні.

Нягледзячы на тое, што кінадраматургія займае даволі значнае месца ў творчасці Васіля Быкава, сам пісьменнік не надаваў ёй вялікай увагі і не ўключаў гэтыя тэксты ў Зборы твораў ці ў асобныя выданні. «Грэбаванне» Васілём Быкавым сваёй кінадраматургіяй можна, напэўна, патлумачыць не толькі скептычным стаўленнем пісьменніка да экранізацый сваіх твораў. Мабыць, адна з галоўных прычын — быкаўская кінадраматургія ўсё-такі другасная, за некаторымі выключэннямі (як, напрыклад, арыгінальны сцэнарый 3-й серыі мастацкага тэлефільма «Долгие версты войны») яна створана па матывах аповесцяў. Па-другое, зададзенасць рамак драматургічнага жанру пазбаўляла В. Быкава абсалютнай творчай самастойнасці. Так, яшчэ ў 1968 г. ён раіў сябру А. Адамовічу[1]: «Мне лично хочется, чтобы ты писал больше (в этой связи я не могу одобрить твоей связи-волокиты с кино, которое в наше время ничего общего с искусством не имеет, разве что дает возможность заработать. [...])»[2]. У 1975 г. пры-

[1] Адамовіч Алесь (Аляксандр Міхайлавіч; 1927–1994) — беларускі пісьменнік, крытык, літаратуразнавец; доктар філалагічных навук (1963), прафесар (1971), член-карэспандэнт АН БССР (1980); лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Коласа (1976).

[2] З ліста ад 29 верасня 1968 г. Машынапіс з подпісам В. Быкава. Арыгінал. Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры (далей — ДМГБЛ). КП 029538.

знаваўся В. Аскоцкаму[1]: «Теперь вот кино. Снят более-менее сносно один фильм в Минске по “Волчьей стае”, на “Ленфильме” же после того, как там тоже вытянули из меня все жилы и сняли полкартины, фильм закрыли и режиссера сняли. Надоело мне все это, ты не можешь себе представить как. [...] И отбиться совершенно невозможно, негде от них прятаться, просто насилуют — деликатно, но с мертвой хваткой»[2]. Іншым разам пісаў: «Совершенно не работалось, не отдыхалось, не пилось даже. Не пришлось мне съездить и в Баку, куда я хотел. И все это проклятое кино!.. С театром я уже покончил, надеюсь в ближайшее время покончить с кино (будь оно проклято) и почувствовать себя человеком, если, конечно, не заниматься еще и литературой»[3]. Пазней пісаў Л. Лазараву[4]: «...все мои фильмы получились сопливые, смотреть нечего»[5]. І ў той жа час рэзюмаваў: «Несколько лет жизни я выбросил коту под хвост в образе театра и кино, которые не дали мне взамен ничего, кроме дули. Напрасно потраченные годы, горы бумаги, масса усилий, сведенных чиновниками и бездарями от кино к обычной серой халтуре»[6].

Невыпадкова М. Кузняцоў, разважаючы пра праблему ўзаемаадносінаў кінематографа «с таким своеобразным писателем, как Василь Быков», пісаў: «Его рассказы и повести как будто специально созданы для кинематографа: компактные, емкие, с драматичнейшим сюжетом, с резко, даже резчайше очерченными характерами (“черное — белое!”), с острейшей, нередко трагедийной и в то же время философской концовкой. Сейчас большинство из них экранизировано. И какое удручающее разочарование: серые картины, “еще раз о войне”, не оставившие сколько-нибудь заметного следа. Возникло даже мнение, что кино “не умеет” ставить Быкова.

Казалось бы, рассказы и повести В. Быкова всецело в русле “второго рождения военной темы”: та же воинствующая точность реалий военного быта, острота ситуации, нравственная проблема-

---

[1] Аскоцкі Валянцін Дзмітрыевіч (1931–2010) — рускі крытык, літаратуразнавец, публіцыст; кандыдат філалагічных навук (1968); сакратар Саюза пісьменнікаў Масквы.

[2] З ліста ад 9 чэрвеня 1975 г. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

[3] З ліста да В. Аскоцкага ад 21 лістапада 1975 г. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

[4] Лазараў Лазар Ільіч (1924–2010) — расійскі крытык, літаратуразнавец; кандыдат філалагічных навук (1954); з 1961 г. працаваў у часопісе «Вопросы литературы», з 1992 г. — яго галоўны рэдактар. Аўтар шматлікіх крытычных нарысаў пра В. Быкава і кнігі «Василь Быков: Очерк творчества» (1979).

[5] З ліста ад 8 сакавіка 1976 г. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

[6] З ліста да В. Аскоцкага ад 1 сакавіка 1976 г. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

тика. Однако постепенно стало выясняться, что это и “то”, и “не то”. Ситуация у него была не просто острая и критическая, а наиострейшая, наикритичнейшая: герои стоят перед выбором — смерть или жизнь ценой предательства. Речь идет не просто о победе, а о цене ее и ее смысле. [...]

В экранизациях Быкова не было, прежде всего, его чрезвычайной достоверности войны, “документальности”. То ли в силу врожденной робости дарования, то ли еще почему, но режиссеры не осмеливались на эту достоверность, создавая привычное и шаблонное изображение войны “вообще”. Что касается “большего”, то на него не было даже и намека»[1].

А так пра «кінематаграфічны» перыяд жыцця сябра пісаў А. Адамовіч: «Косяком пошли фильмы “по Быкову”. От них В. Быкову, его писательскому авторитету, пожалуй, не поздоровится. Кино такая штука: или добавит, приплюсует талант создателей фильма к тому, что заключено в экранизируемой прозе, или отнимет, и тоже на величину, равную теперь уже их бесталанности. [...]

Литератора, приходящего в кино, поражает, как здесь всё и все знают больше самого писателя: что надо и чего не надо нашему зрителю, сколько правды о войне — “в самый раз”, а сколько — “зритель не выдержит”.

Я тоже зритель, но никак не подозревал, что я такой слабонервный и так мало правды способен унести, переварить. Во всех почти фильмах “по Быкову” убран тот жар и холод, которые мы физически ощущаем вместе с героями, читая его прозу. И главное — без чего и вовсе нет Быкова! — исчезает острота социально-нравственных коллизий. Читателю — можно, зрителю — противопоказано...»[2].

У другой палове XX стагоддзя па творах В. Быкава было пастаўлена дзевятнаццаць мастацкіх фільмаў. Да значнай часткі з іх пісьменнік сам напісаў сцэнарыі ці зрабіў гэта ў суаўтарстве з рэжысёрамі-пастаноўшчыкамі: «Третья ракета», «Альпийская балла-

---

[1] Кузнецов М. Книги и фильмы. М.: Знание, 1978. С. 46–47.

[2] Адамович А. О современной военной прозе. М.: Советский писатель, 1981. С. 37. Заўважым, што адну экранізацыю А. Адамовіч і В. Быкаў усё-такі вылучалі: «Восхождение» Л. Шапіцькі. Так, В. Быкаў пісаў: «“Узыходжаньне” — найлепшая за ўвесь дзясятак экранізацыяў маіх аповесьцяў» (Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Мінск: Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква: Время, 2009. Т. 8. С. 290). У асабістым архіве малодшага сына пісьменніка Васіля Васільевіча Быкава ў г. Гродна (далей — Архіў В. Быкава (Гродна) захоўваецца «Типовой договор о переделке повествовательного произведения в киносценарий (об уступке права экранизации)» ад 17 верасня 1975 г. за подпісамі намесніка генеральнага дырэктара к/с «Мосфильм» М. Іванова і В. Быкава, згодна з якім пісьменнік даваў дазвол на перапрацоўку «Сотнікава».

да», «Западня», «Волчья стая», «Дожить до рассвета»[1], «Долгие версты войны», «Обелиск», «Его батальон», «На Чорных лядах». У іншых выпадках уступіў права на перапрацоўку сваіх твораў для іх далейшай экранізацыі: так былі зняты кароткаметражны мастацкі фільм «Желаю удачи» (1968, к/с «Беларусьфільм»; сцэнарый У. Бяляева, рэжысёр В. Смагін; па матывах апавядання «Чацвёртая няўдача»[2]), «Восхождение» (1977, к/с «Мосфильм»; сцэнарый Ю. Клепікава, Л. Шапіцькі, рэж. Л. Шапіцька; прэмія Ватыкана, галоўная прэмія і прэмія Міжнароднай асацыяцыі кінапрэсы на Міжнародным к/ф у Заходнім Берліне), «Фруза» (1981, ПТА «Телефильм», к/с «Беларусьфільм»; сц. Ф. Конева, рэж. В. Нікіфараў)[3], «Крохи войны» (1985, к/с «Профиль» (Польшча); сцэнарый А. Баршчыньскага, Я. Хадкевіча; па матывах аповесцяў «Круглянскі мост» і «Трэцяя ракета»), «Знак беды» (1986, к/с «Беларусьфільм»; сцэнарый Я. Грыгор'ева, А. Нікіча, рэжысёр М. Пташук), «Круглянский мост» (1989, Студыя імя Ю. Тарыча, к/с «Беларусьфільм»; сцэнарый М. Шэлехава; рэжысёр А. Мароз)[4], «Карьер» (1990, к/с «Мосфильм»;

---

[1] Пастаўлены рэжысёрамі М. Яршовым і В. Сакаловым у 1975 г. на к/с «Ленфильм» па сцэнарыю В. Быкава (у суаўтарстве з В. Сакаловым). У Архіве В. Быкава (Гродна) захоўваецца «Типовой сценарный договор» ад 20 чэрвеня 1974 г. за подпісамі дырэктара Другога творчага аб'яднання к/с «Ленфильм» А. Аршанскага, В. Сакалова і В. Быкава. Сцэнарый Рэдкалегіяй Поўнага збору твораў пакуль не знойдзены.

[2] У фондзе к/с «Беларусьфільм» у папцы з матэрыяламі па фільму «Желаю удачи» захоўваецца «Авторский договор» ад 8 ліпеня 1968 г. на права набыцця апавядання «Чацвёртая няўдача» з мэтай экранізацыі, за подпісамі дырэктара к/с «Беларусьфільм» В. Паўцова і В. Быкава (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей — БДАМЛМ). Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 508. Арк. 23). Мяркуючы па ўсім, ініцыятыва экранізацыі зыходзіла ад кінастудыі — на гэта ўказвае наступны ліст:

«Главному редактору студии “Беларусьфильм”

Настоящим выражаю моё согласие на экранизацию рассказа “Четвёртая неудача” по сценарию, написанному по Вашему выбору.

В. Быков

19/XII–67 г.»

(Аўтограф. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 508. Арк. 2). Сцэнарый быў падрыхтаваны на «Беларусьфільме» для дыпломнай працы выпускніка рэжысёрскага факультэта Усесаюзнага дзяржаўнага інстытута кінематаграфіі В. Смагіна.

[3] У фондзе к/с «Беларусьфільм» у папцы з матэрыяламі па фільму «Фруза» захоўваецца «Типовой договор об уступке права экранизации (переделки) произведения» ад 19 чэрвеня 1981 г. за подпісамі дырэктара к/с «Беларусьфільм» Я. Вайтовіча і В. Быкава. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 277. Арк. 7–8.

[4] У фондзе к/с «Беларусьфільм» у папцы з матэрыяламі па фільму «Круглянский мост» захоўваецца «Типовой договор об уступке права

сц. Э. Валадарскага, рэж. М. Скуйбін), «Одна ночь» (1991, Беларускае тэлебачанне; сцэнарыст і рэжысёр У. Колас), «Пойти и не вернуться» (1992, к/с «Беларусьфільм»; сцэнарый А. Карпава, рэжысёр М. Князеў)[1].

экранизации (переделки) произведения» ад 18 красавіка 1987 г. за подпісамі дырэктара к/с «Беларусьфільм» У. Гарбачова і В. Быкава: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 996. Арк. 79.

[1] У фондзе к/с «Беларусьфільм» захоўваецца машынапісная копія літаратурнага сцэнарыя фільма «Пойти и не вернуться» (1-я і 2-я серыі: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1649. Арк. 1–54; Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1650. Арк. 1–54), на 1-м аркушы пазначана: «Василь Быков», «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ», «Сценарий двухсерийного телефильма», «Минск—1988 г.», злева ўнізе: «Вх. № 31 10.04.89 г.»; на апошнім аркушы: «В. Быков», «Минск, 1988 г.». Сярод іншых дакументаў таксама захоўваецца «Предуведомление к написанному сценарию двухсерийного телевизионного фильма “ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ”» (2 машынапісныя аркушы ў 2 экз.; БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1653. Арк. 33–36) — лібрэта літаратурнага сцэнарыя, якое заканчваецца наступным чынам: «Если эта тема своей гражданственной и нравственной позицией заинтересует вас, мы, автор сценария и режиссер, готовы к работе по ее осуществлению как государственный заказ. Автор сценария Василь Быков, режиссер Александр Карпов». Аднак ёсць падставы меркаваць, што «Предуведомление» было напісана выключна А. Карпавым. У лісце ж мастацкага кіраўніка студыі «Кадр» В. Нікіфарава і галоўнага рэдактара студыі М. Шэлехава да в. а. генеральнага дырэктара «Союзтелефильма» Г. Тараненкі адзначалася, што «сценарий “Пойти и не вернуться” авторами задуман как завершение трилогии историко-патриотической темы “Человек и война”» (З ліста ад 11 красавіка 1989 г. Машынапіс. Копія. Тамсама, арк. 30). У наступным лісце В. Нікіфарава і М. Шэлехава паведамлялася пра ўключэнне «Пойти и не вернуться» ў тэматычны план вытворчасці тэлефільмаў на 1990 г. студыі «Кадр» к/с «Беларусьфільм», аднак пры гэтым адзначалася, што «по причинам нежелательности производства двухсерийных картин для телеэкрана [...] были даны рекомендации создать односерийную телекартину» (З ліста да галоўнага рэдактара ТПА «Союзтелефильм» Г. Грошава, без даты. Машынапіс. Копія. Тамсама, арк. 28). Між тым у «Заключении художественного совета студии “Кадр” на литературный сценарий односерийного телевизионного фильма “Пойти и не вернуться”» ў якасці аўтара пазначаны ўжо не толькі В. Быкаў, але і А. Карпаў (Тамсама, арк. 26–27), а ў заключэнні на рэжысёрскі сцэнарый А. Карпаў названы і рэжысёрам-пастаноўшчыкам, і адзіным аўтарам сцэнарыя («Заключение (производственное) на режиссерский сценарий односерийного телевизионного художественного фильма “Пойти и не вернуться” (по мотивам одноименной повести В. Быкова). Студия “Кадр”» ад 25 студзеня 1990 г. за подпісам старшага рэдактара па вытворчаму рэдагаванню сцэнарыяў Л. Чыжэўскай. Машынапіс). Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1654. Арк. 34). І тады ж, у студзені 1990 г., А. Карпаў, як аўтар сцэнарыя, падпісаў дамову («Типовой сценарный договор

На пачатку XXI стагоддзя былі зняты кароткаметражныя кінастужкі «Мать» (2003, відэаальманах «Территория сопротивления» (Беларусь); сцэнарыст і рэжысёр Я. Сяцько; студэнцкая праца па матывах апавядання «Сваякі» і аповесці «Знак бяды»; прыз журы Міжнароднага кінафестываля (далей — МКФ) «Славянская юность: мечты и надежды» (Масква, Расія), 2004; Галоўны прыз МКФ «Золотой Витязь» (Чалябінск, Расія), 2005), «Отражение» (2003, Беларуская акадэмія мастацтваў, сцэнарыст і рэжысёр А. Голубеў; па матывах апавядання «Адна ноч»), «Пойти и не вернуться» (2004, сцэнарыст і рэжысёр Я. Сяцько (Беларусь), дыпломная праца), «Обреченные на войну» (2009, «Кинопродвижение» (Расія), сцэнарый В. Жулінай, А. Ісаевай, рэжысёр В. Жуліна; экранізацыя аповесці «Пайсці і не вярнуцца»; прыз актрысе Н. Лашчынінай за лепшую жаночую ролю на VII Міжнародным фестывалі ваеннага кіно імя Ю. М. Озерава (Растоў-на-Доне, Расія, 2009).

Але не ўсе намеры кінематаграфістаў былі ажыццёўлены. Так, яшчэ ў 1966 г. В. Быкаў атрымаў з Творчага аб'яднання «Юность» кінастудыі «Мосфильм» тэлеграму з прапановай аб экранізацыі «Мёртвым не баліць»[1]. Аднак ужо праз месяц пачалася шматгадовая кампанія шальмавання пісьменніка, і, відаць, таму гэтае пытанне больш не ўздымалася. Таксама не дазволілі экранізаваць гэтую аповесць на «Беларусьфільме» Л. Мартынюку[2] — ні ў 1966–1967 гг., ні пазней — у 1990 г. Па сведчанні Л. Мартынюка, у 1966 г. ён перадаў

для художественных многосерийных телефильмов» № 26 за подпісамі дырэктара к/с «Беларусьфільм» У. Гарбачова і А. Карпава. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1653. Арк. 22–24), В. Быкаў жа заключыў дамову на ўступку права экранізацыі («Типовой сценарный договор об уступке права экранизации (переделки) произведения» № 25 за подпісамі У. Гарбачова і В. Быкава. Тамсама, арк. 25; пазней з А. Карпавым была заключана новая аналагічная дамова: «Типовой сценарный договор для художественных многосерийных телефильмов» ад 29 лістапада 1991 г. за подпісамі У. Гарбачова і А. Карпава. Тамсама, арк. 14–16; 2-і экз. — арк. 17–19; 3-і экз. — арк. 7–9). Зыходзячы з гэтага можна зрабіць вывад, што В. Быкаў не з'яўляецца аўтарам сцэнарыя «Пойти и не вернуться». Гэта ж пацвярджае і сын рэжысёра А. Карпава — Аляксандр Карпаў (Паводле гутаркі аўтара каментароў з А. Карпавым. Снежань 2011 г.). Дададзім таксама, што 6 лютага 1990 г. фільм быў пастаўлены на кансервацыю (Згодна з загадам № 73 У. Гарбачова ад 6 лютага 1990 г. Машынапіс. Арыгінал. БДАМЛіМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1654. Арк. 29). Здымкі карціны пачаліся ў лютым 1992 г., але з прычыны хваробы А. Карпава новым рэжысёрам-пастаноўшчыкам «Пойти и не вернуться» стаў М. Князеў.

[1] Тэлеграма дырэктара ТА «Юность» Ю. Салдаценкі ад 17 сакавіка 1966 г. Арыгінал. Архіў В. Быкава.

[2] Мартынюк Леанід Уладзіміравіч (нар. у 1932) — беларускі рэжысёр, сцэнарыст, журналіст.

М. Лужаніну[1] аўтарскі экзэмпляр машынапісу «Мёртвым не баліць» з просьбай аб пастаноўцы аповесці (В. Быкаў сказаў па тэлефоне: «Леанід, пішы сцэнарый. Сучасны сюжэт выкінь. Я згодзен. Веру ў цябе. З богам!»[2]). Адмоўны адказ атрымаў праз некалькі тыдняў ужо ад дырэктара «Беларусьфільма» У. Іваноўскага. Далейшыя спробы Л. Мартынюка экранізаваць «Мёртвым не баліць» таксама нічым не скончыліся, нават на пачатку 1990-х гг., але цяпер ужо з-за адсутнасці фінансавання[3]. Праз дзесяцігоддзе не атрымаў дазвол на экранізацыю «Мёртвым не баліць» ад Міністэрства культуры Беларусі і В. Панамароў[4], якому пісьменнік дазволіў у 1999 г. паставіць дзве свае аповесці, у тым ліку «У тумане»[5].

А яшчэ ў 1973 г. не дазволілі экранізаваць «Сотнікава» І. Дабралюбаву[6], хоць сцэнарый В. Быкавым быў не толькі напісаны, але нават перароблены — мяркуючы па ўсім, з прычыны прэтэнзій кінематаграфічнай цэнзуры. Тады ж не атрымаў дазвол ад Дзяржаўнага камітэта СССР па кінематаграфіі на напісанне сцэнарыя па «Круглянскаму мосту» і Э. Валадарскі[7].

А на пачатку 2000-х ужо зноў не пашчасціла І. Дабралюбаву, калі ён задумаў зняць апавяданне «Жоўты пясочак», — тагачасны міністр культуры Беларусі Л. Гуляка спаслаўся на адсутнасць грошай[8] (што,

---

[1] Лужанін Максім (Каратай Аляксандр Амвросьевіч; 1909–2001) — беларускі пісьменнік, крытык, перакладчык. З 1959 г. член сцэнарнай калегіі «Беларусьфільма»; у 1967–1971 гг. — галоўны рэдактар кінастудыі.

[2] Тут і ў падобных выпадках далей каментары даюцца паводле гутаркі аўтара каментароў з Л. Мартынюком. Люты 2010 г.

[3] У асабістым архіве Л. Мартынюка (далей — Архіў Л. Мартынюка) захоўваюцца два малюнкі В. Быкава, верагодна, 1989 г., на якіх пісьменнік схематычна нарысаваў асноўныя месцы падзей аповесці «Мёртвым не баліць», а таксама «Проект сметы затрат на производство к/к “Мёртвым не больно”» і «Заявка на войска и технику на 1990 год по студии “Диалог”» ад 7 верасня 1989 г. за подпісам дырэктара «Диалога» Л. Баталавай. За кінасцэнарый (напісаны Л. Мартынюком, але аўтарам пазначаны В. Быкаў) пісьменнік атрымаў ганарар, аднак палову грошай аддаў рэжысёру — у адрозненне ад усіх іншых літаратараў, з кім працаваў Л. Мартынюк і ад імя каго пісаў сцэнарыі.

[4] Панамароў Валерый Дзмітрыевіч (нар. у 1943) — беларускі рэжысёр, сцэнарыст.

[5] «Доверенность» ад 9 мая 1999 г. Машынапіс. Подпіс — аўтограф. Арыгінал. Архіў В. Панамарова.

[6] Дабралюбаў Ігар Міхайлавіч (1933–2010) — беларускі рэжысёр, сцэнарыст; народны артыст БССР (1985); лаўрэат прэміі ЛКСМБ (1970); прафесар Інстытута сучасных ведаў імя А. М. Шырокава.

[7] Валадарскі Эдуард Якаўлевіч (нар. у 1941) — рускі пісьменнік, драматург, сцэнарыст.

[8] Гл.: Добролюбов И. Осколки памяти. Минск: Харвест, 2006. С. 215–219; Шапран С. Кина не будет?: У Минкультуры не находится денег на

аднак, не перашкаджала з’яўляцца новым стужкам «Беларусьфільма», але не «па Быкаву»). У 2000 г. без адказу засталася і заяўка ў адрас кіраўніцтва беларускай кінастудыі ад рэжысёра В. Нікіфарава, які меркаваў экранізаваць аповесць «Ваўчыная яма», — яго заяўка на «Беларусьфільме» нават не разглядалася, хаця пісьменнік даваў В. Нікіфараву сваю згоду на «исключительное участие в организации финансирования, производства и постановки фильма»[1].

Між тым, праблемы ўзнікалі і раней — яшчэ са «Знаком беды», калі супраць яго выступіў сакратар ЦК КПСС Я. Лігачоў (услед за ім і ЦК КПБ — у асобе загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ І. Антановіча). Фільм быў выратаваны толькі дзякуючы таму, што спадабаўся сям’і Генеральнага сакратара ЦК КПСС М. Гарбачова[2]. Аднак яшчэ адна экранізацыя В. Быкава — карціна «На Чорных лядах» (1995) — на шырокі экран так і не выйшла.

З іншага боку — такі «дзіўны» факт: у 1974 г. сцэнарый адной з серый тэлефільма «Долгие вёрсты войны» В. Быкаў напісаў па матывах «Праклятай вышыні»[3] — адной з трох яго знакамітых «новомирских» аповесцяў, якія пасля часопіснай публікацыі апынуліся пад забаронай. Хоць у гэты ж самы час аўтару не дазволілі ўключыць «Праклятую вышыню» ў двухтомнік[4], і ўпершыню ў кніжным фармаце яна выйшла толькі ў 1982 г., у перакладзе на рускую — у 1986-м.

Пры падрыхтоўцы чаргорвых тамоў Поўнага збора твораў Рэдкалегія сутыкнулася з пэўнымі цяжкасцямі. Па-першае, пэўная складанасць палягала ў вызначэнні суаўтарства некаторых кінасцэнарыяў. Напрыклад: хоць у выпадку з фільмам «Западня» ва ўсіх дакументах і фільмаграфіях к/с «Беларусьфільм» В. Быкаў пазначаны як адзін з суаўтараў сцэнарыя (разам з рэжысёрам-пастаноўшчыкам Л. Мартынюком), аднак, як вынікае з цытаванага ніжэй ліста пісьменніка ды іншых крыніцаў, сцэнарый ён не пісаў. Але паколькі, па сведчанні Л. Мартынюка, В. Быкаў меў непасрэднае дачыненне да стварэння другога варыянта сцэнарыя, Рэдкалегіяй Поўнага збора твораў было прынята рашэнне ўключыць літаратурны сцэнарый «Западни» ў адпаведны том.

Па-другое, некаторыя са сцэнарыяў маюць два-тры варыянты («Третья ракета», «Альпийская баллада», «Волчья яма»), таму

экранизацию Игорем Добролюбовым рассказа Василя Быкова / инт. с И. Добролюбовым // Белорусская деловая газета. 2002. 26 сент.

[1] З ліста В. Быкава да В. Нікіфарава ад 28 кастр. 1999 г. Машынапіс. Подпіс — аўтограф. Арыгінал. Ліст і заяўка захоўваліся ў асабістым архіве В. Нікіфарава, у 2007 г. перададзеныя рэжысёрам у Архіў В. Быкава.

[2] Гл.: Михаил Пташук: Исповедь кинорежиссера. Сценарий художественного фильма. Публикации. Воспоминания / ред.-сост. Л. М. Пташук. Минск: Мастацкая літаратура, 2004. С. 36–40, 42, 44–46.

[3] Упершыню надрукавана ў 1968 г. у часопісе «Маладосць» (№ 5) і пад назвай «Атака с ходу» — у «Новом мире» (№ 5; пер. аўтара)

[4] Быкаў В. Выбр. тв.: у 2 т. Мінск: Мастацкая літаратура, 1974.

паўставала пытанне: якому з варыянтаў аддаць перавагу. Рэдкалегіяй зноў жа было прынята рашэнне спыніцца на апошняй рэдакцыі — як найбліжэйшай да экраннага ўвасаблення (але зноў жа не канчатковай, паколькі далей з літаратурным сцэнарыем працаваў рэжысёр, у выніку чаго з'яўляўся рэжысёрскі сцэнарый, у які пасля зноў уносіліся змены і рабіліся скарачэнні; пэўныя карэктывы чакалі затым і сам кінафільм). Хаця нельга выключаць, што аўтарскай задуме В. Быкава ў найбольшай ступені адпавядае ўсё-ткі першы варыянт сцэнарыя, аднак наяўнасць некалькіх рэдакцый аднаго і таго ж сцэнарыя тлумачыцца ўмяшальніцтвам у кінематаграфічны працэс шмат якіх інстанцый і асобаў, пра што В. Быкаў напісаў яшчэ ў 1970-я гг.: «Мне кажется, что процесс создания фильма увлекает куда более, чем написание книги. Иногда он захватывает. Писатель-одиночка, войдя в качестве автора в съемочную группу, попадает как бы в стремнину, неудержимо мчащуюся к своему финишу, за которым — многомилионная аудитория зрителей. Экранизация литературного произведения, хотя она и не часто удается, всегда грандиозная его популяризация. [...]

И тем не менее требовательный литератор вряд ли может вполне удовлетвориться сложившейся ныне практикой создания фильма.

Пожалуй, ни в одном из искусств личность автора, его талант и право не находятся в такой поистине непостижимой зависимости от многочисленных привходящих факторов, как в кино. Не в пример народному хозяйству, где главным двигателем научно-технического прогресса все решительнее становится специалист, в кино этот специалист — фигура, более всего напоминающая тупоумного разгильдяя школьника, по отношению к которому считается вполне допустимым постоянно его опекать, контролировать, вдалбливать в его тупую голову элементарные вещи. Нередко положение, когда неудачи того или иного фильма никак не отнесешь на счет сценариста или постановщика. Очень часто эти неудачи — следствие узости взгляда, эстетической глухоты, а то и откровенной перестраховки людей, чьи имена хотя и не находят места на титрах, но тем не менее решают судьбу фильма. Режиссер-постановщик зачастую не более чем лицо с обязанностями кинопрораба, которому поручается перевести на язык образов положения и идеи, скрепленные печатью и подписями тех, кто, обладая решающей в этой области властью, практически не несет никакой ответственности за качество фильма.

Понятно, что атмосфера неусыпной опеки и бюрократической регламентации, вполне привычная на ряде республиканских студий, — не самое лучшее из условий для развития кинематографа. Очевидно, этим в известной мере объясняется тот все еще безрадостный факт, что разборчивые литераторы все-таки сторонятся киностудий»[1]. Між іншым, тут жа В. Быкавым была зроблена істотная праўка — у першай

[1] Чарнавы аўтограф (2 аркушы). Архіў В. Быкава (Гродна).

рэдакцыі сказа: «...личность автора, его талант и право не находятся в такой поистине непостижимой зависимости от многочисленных привходящих факторов...» замест апошніх трох слоў было — «многочисленного бюрократического аппарата». Невыпадкова ў лісце да Л. Мартынюка В. Быкаў пісаў: «Я дал себе слово завязать с кино, у меня больше нет сил, а главное — нет нервов — все повытащили по пучку, по волоконцу. И — понапрасну. Столько написано и снято и хоть бы одна удача...»[1].

Пісьменнік вяртаўся да гэтай тэмы і значна пазней, але ўжо з вядомай доляй іроніі: «Кіно, казалі, мастацтва калектыўнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм ня зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць, апроч студыйнага кіраўніцтва, яшчэ Камітэт па кіно, Галоўны камітэт у Маскве, Саюз кінематаграфістаў. Ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды. І яшчэ — палітупраўленьне вайсковай акругі — карціна ж вайсковая. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 асобаў маюць права ўмяшацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, зьмяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў апраўдаць той хлеб, які еў на сваёй хлебнай пасадзе»[2].

Так ці інакш, але аўтарства другой ці трэцяй рэдакцыі кінасцэнарыяў належыць таксама В. Быкаву. Зрэшты, заўвагі і рэкамендацыі рабіліся аўтару не толькі з ідэалагічных меркаванняў, але і з чыста кінематаграфічнага пункту гледжання, што ў падобных выпадках не псавала твор, а, наадварот, спрыяла яго ўдасканаленню. Такім чынам у выніку праходжання праз жорны сцэнарна-рэдакцыйных калегій і мастацкіх саветаў адзін і той жа сцэнарый мог нешта безумоўна страціць, але здаралася — і нешта прыдбаць.

Заўважым таксама, што «калектыўнасць» кінамастацтва асабліва яскрава прасочваецца на прыкладах стварэння практычна ўсіх карцін па быкаўскіх сцэнарыях перыяду 1960–1970-х гадоў. Па сутнасці, пісьменнік апынуўся закладнікам савецкай кінематаграфічнай сістэмы, у якой панавала няўмольная цэнзура, прычым у нечым нават яшчэ больш пільная і жорсткая за цэнзуру ўласна літаратурную. Адзіная яе «вартасць» — звычайна яна пакідала пасля сябе сляды — у выглядзе пратаколаў, пастаноў, заключэнняў, рэкамендацый і г. д., аналізуючы якія можна зразумець, чаму практычна ўсе фільмы «па Быкаву» аказаліся настолькі не падобнымі да быкаўскай прозы.

---

[1] З ліста без даты. Аўтограф. Арыгінал. Архіў Л. Мартынюка.

[2] Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 8. С. 181.

Третья ракета
Киносценарий (стар. 5)

Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе к/с «Беларусьфільм»: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 68–164.

Датуецца сакавіком 1962 г.

Гэта першы вопыт працы В. Быкава ў кінематографе. Перадгісторыя напісання сцэнарыя «Третьей ракеты» вядомая са слоў самога аўтара: «Нехта параіў студыі новую аповесьць Быкава — амаль гатовы сцэнар[1]. Так сказалі і мне. Трэба толькі папрацаваць з рэжысэрам-пастаноўшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ВГІКу Рычард Віктараў[2]. У тых жа Каралішчавічах ладкуецца сэмінар сцэнарыстаў, прыедуць спэцыялісты з Масквы, можна будзе канчаткова зладкаваць і сцэнар. Я ўзяў у рэдакцыі за свой кошт адпачынак і паехаў у Менск[3].

Кіно для мяне было справай новаю, вопыту ніякога. Але на студыі было столькі разумных спэцыялістаў, таленавітых рэжысэраў, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысэра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што называлася сцэнарам, а болей нагадвала сумніўны канспэкт празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжаньняў, абмеркаваньняў, кансультацыяў, зацьверджаньняў. Пісалася і перапісвалася — спачатку ў Менску, затым у Каралішчавічах. [...]

Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысэр-пастаноўшчык схуднеў, падобна, пачаў вар'яцець, ня ведаў, на якім сьвеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Просьценькая сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту — як было, як трэба, як ня трэба і што скажа начальства. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. [...]

---

[1] Аповесць «Трэцяя ракета» прапанаваў для экранізацыі літаратурны крытык Р. Бярозкін, у сувязі з гэтым начальнік сцэнарнага аддзела М. Лужанін звярнуўся да дырэктара к/с «Беларусьфільм» І. Дорскага з просьбай адзначыць Р. Бярозкіна грашовай прэміяй. (Паводле ліста М. Лужаніна да І. Дорскага ад 21 сакавіка 1962 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 54.)

[2] Віктараў Рычард Мікалаевіч (1929–1983) — рэжысёр, сцэнарыст; заслужаны дзеяч мастацтваў РСФСР (1974); лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя братоў Васільевых (1977), Дзяржаўнай прэміі СССР (1982).

[3] І. Дорскі запрашаў В. Быкава прыехаць у Мінск 25 студзеня 1962 г. для перамоў пра экранізацыю «Трэцяй ракеты». (Паводле ліста І. Дорскага да В. Быкава ад 20 студз. 1962 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 67.) Семінар кінадраматургаў праходзіў у Доме творчасці СП БССР «Каралішчавічы» 6 лютага — 3 сакавіка 1962 г.

Агульнымі высілкамі фільм быў зьняты. Атрымаўся так сабе, шэранькі сераднячок. Здымаўся дапатопнай апаратурай, на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасьці. Затое ва ўсіх адносінах правільны: гераічны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўныя асуджаліся»[1].

Праўда, яшчэ ў 1963 г. В. Быкаў наступным чынам характарызаваў тую карціну ў лісце да паэткі Л. Геніюш: «...хоць першы блін («Ракета») атрымаўся не дужа ўдалы і дагэтуль яго ўсё лаюць у Маскве амаль на кожным вялікім мерапрыемстве, а таксама ў газетах. Кажуць, што атрымаўся пацыфізм і камернасць; мне ж недахопы фільма (а іх багата) здаюцца ў іншым. Ну, але ліха з імі»[2].

Тагачасная кінакрытыка сапраўды ўпікала аўтараў «Третьей ракеты» за падобныя «істотныя недахопы». Так, напрыклад, В. Говар пісаў: «Перамясціліся некаторыя акцэнты, і расказ аб мужнасці савецкіх людзей у барацьбе з фашызмам адышоў на другі план, аўтары фільма разглядаюць усе падзеі з абстрактных гуманістычных пазіцый»[3]. У сваю чаргу ў лісце да Н. Гілевіча[4] Быкаў пісаў: «...на фільм гэты я ўжо даўно плюнуў, як кажуць. Не па-мойму ён зроблен, шмат што не так, дрэнна, слаба — чорт з ім, з фільмам. Гэта балаган, а не мастацтва — кіно. У літаратуры, нягледзячы на ўсё, усё больш твайго, аўтарскага, а кіно — дрэнь»[5].

Сцэнарый, згодна з дамовай ад 31 студзеня 1962 г.[6], павінен быў быць гатовы 1 чэрвеня 1962 г., але быў здадзены В. Быкавым яшчэ 9 сакавіка[7] і праз чатыры дні прыняты мастацкім саветам «Беларусьфільма» ды накіраваны для зацвярджэння ў Міністэрстве культуры БССР. Праўда, яшчэ падчас пасяджэння мастацкага савета

---

[1] Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 8. С. 180, 181.

[2] З ліста ад 14 снежня 1963 г. Аўтограф. Арыгінал. Аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (ЦНБ НАНБ). Ф. 31. Воп. 1. Адз. зах. 299. Арк. 3.

[3] Говар В. Суд высокай чалавечнасці // Чырвоная змена. 1963. 28 верасня.

[4] Гілевіч Ніл Сымонавіч (нар. у 1931) — беларускі паэт, фальклярыст, літаратуразнавец, драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч; народны паэт Беларусі (1991).

[5] З ліста ад 8 верасня 1963 г. Арыгінал. Архіў Н. Гілевіча.

[6] Згодна з «Типовым сценарным договором (для художественных фильмов)» ад 31 студзеня 1962 г. за подпісамі І. Дорскага і В. Быкава пісьменніку выплочвалася ўзнагарода ў памеры чатырох тысяч рублёў (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 65–66), але пазней, 13 сакавіка 1962 г., быў падпісаны новы «Типовой сценарный договор (для художественных фильмов)» (за подпісамі таксама І. Дорскага і В. Быкава), у якім фігуравала іншая сума — шэсць тысяч (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 55–56).

[7] Паводле «Учетной карточки». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 1.

неаднаразова гучалі перасцярогі ў «натуралізме» і «пацыфізме», што даволі дзіўна, паколькі кіраўніцтва СССР (ЦК КПСС разам з саюзным КДБ) угледзела матывы «пацыфізма-натуралізма» ў творчасці В. Быкава толькі ў 1966 г. — у сувязі з выхадам на старонках «Нового мира» аповесці «Мёртвым не баліць», беларускія ж кінематаграфісты праявілі «зайздросную пільнасць» на чатыры гады раней, яшчэ пры абмеркаванні літаратурнага сцэнарыя «Третья ракета»:

«ФРАЙМАН[1] — Сценарный отдел рекомендует запустить сценарий в режиссерскую разработку. Сценарий создан по очень интересной повести. Сценарий своеобразно, интересно, правдиво рассказывает об одном маленьком эпизоде, в котором раскрывается большая человеческая тема. Достоинство сценария в том, что в нем очень ощутимы люди — герои повествования. Они нарисованы с очень точным знанием жизни. Рассказ трагический, но в этом героизме — правда, суровая и мужественная. Сценарий по проблеме очень человечен и с беспощадной ненавистью разоблачает подлость. Этим он нам близок и современен. Фильм на военном материале будет звучать по-новому. Это фильм о солдатах. Они очень хорошо показаны, раскрыты. [...]

КОРШ-САБЛИН[2] — Есть 2 вопроса: 1. Все ли написанное воспринимается как достоинство? Все ли нормально? Надо ли так делать режиссерский сценарий, не внося поправок? 2. Дорабатывать ли литературный сценарий или пускать в режиссерскую разработку?

Меня насторожило несколько вещей. Есть небольшой перебор натурализма — сказал Фрайман. Литературное произведение нельзя целиком переносить на экран. Здесь очень много натуралистических эпизодов. [...] Правдиво звучит при чтении, а с экрана правдивость переходит в другое качество. Я чувствую интонацию Ремарка[3] — ужасы войны. А это уже переплетается с пацифизмом. Эпизод с немцем. Ситуация интересная. Но надо абсолютно точно определить отношение к немцу. [...]

ЛУЖАНИН[4] — Образ Лозняка должен быть усилен бытовыми деталями, чтобы нам ясно было, кто же такой Лозняк. И другим

---

[1] Фрайман Міхаіл Паўлавіч (нар. у 1921) — беларускі сцэнарыст; заслужаны дзеяч мастацтваў БССР (1974). З 1948 г. — старшы рэдактар сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі к/с «Беларусьфільм».

[2] Корш-Саблін Уладзімір Уладзіміравіч (1900–1974) — беларускі рэжысёр; народны артыст СССР (1969); лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1950), Дзяржаўнай прэміі БССР (1967). З 1926 г. — на к/ф-цы «Советская Беларусь» трэста «Белгоскино»; у 1945–1960, 1969–1974 гг. — мастацкі кіраўнік к/с «Беларусьфільм»; з 1957 г. — старшыня аргбюро СРК БССР; з 1965 г. — першы сакратар праўлення СК БССР.

[3] Рэмарк Эрых Марыя (1898–1970) — нямецкі пісьменнік, прадстаўнік літаратуры «страчанага пакалення», якая ўзнікла ў 1920-я гг. пасля трагічнага вопыту Першай сусветнай вайны.

[4] На гэтым пасяджэнні М. Лужанін выконваў абавязкі старшыні мастацкага савета.

дать такие детали. Оставить дикторский текст только в необходимых местах. Разговор о Ремарке возникает именно из-за незрелости дикторского текста. Натурализм — это дело режиссера. О немце. Образ в некоторой степени заданный. Но враг умирающий — уже не враг. Отношение Лозняка к немцу должно быть более тактичным. Отношение Лозняка к Люсе — это любовь. Своим приходом и своей гибелью Люся стала товарищем. И Лозняк мстит и за Люсю, и за остальных товарищей. [...]».[1]

Між тым прэтэнзіі адносна «пацыфізма-натуралізма» будуць галоўнымі і ў прынятай услед за тым пастанове калегіі Міністэрства культуры:

«1. Принять представленный киностудией “Беларусьфильм” литературный сценарий В. Быкова “Третья ракета”.

2. Рекомендовать киностудии при разработке режиссерского сценария: найти детали, более четко раскрывающие биографии главных героев фильма; устранить элементы натурализма в отдельных эпизодах; в диалогах исключить возможное проявление пацифистских настроений и сократить до минимума дикторский текст[2].

3. Считать целесообразной консультацию по сценарию у военных специалистов»[3].

Адзначым, што ў справе матэрыялаў па фільму «Третья ракета» захаваліся два машынапісы літаратурнага сцэнарыя — абодва маюць аднолькавую колькасць старонак (96) і адрозніваюцца толькі тым, што

---

[1] Паводле «Протокола заседания художественного совета» ад 13 сак. 1962 г. Машынапіс. Копія за подпісам Р. Раманоўскай. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 57, 58–60.

[2] Згодна са «Справкой о выполнении решений коллегии Министерства культуры БССР по сценариям, запущенным в производство в 1962 г.» падчас здымак фільма «Третья ракета» «учтены следующие рекомендации коллегии Министерства культуры БССР. [...]

б) В отдельных эпизодах устранены элементы натурализма.

Это замечание будет также учтено при монтаже картины.

д) Диалог ряда сцен пересмотрены с целью уточнения взаимоотношений действующих лиц» (Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 40).

[3] Паводле «Постановления коллегии Министерства культуры Белорусской ССР № 30 от 19 апреля 1962 г. о литературном киносценарии В. Быкова “Третья ракета”» за подпісам старшыні калегіі міністра культуры БССР Г. Кісялёва. Машынапіс на афіцыйным бланку з гербам БССР, уверсе: «Министерство культуры Белорусской ССР»; ніжэй службовая памета ад рукі: «Сценарный отдел, т. Лужанину А. А. *И. Дорский*»; унізе штамп: «Кінастудыя “БЕЛАРУСЬФІЛЬМ” Атрымана 20/IV. Уваходзячы № 728». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 52.

ў адным машынапісе[1] рукой В. Быкава зроблены алоўкам нешматлікія праўкі, якія носяць стылёва-лексічны характар і былі ўлічаны ў другім машынапісе[2]. Да істотных змяненняў можна аднесці наступныя:

Стар. 8. *Иди сюда. Другую работу дам.* — У першай рэдакцыі далей ідзе, але закрэслена: «Малость почище».

Стар. 37. *А-а! Ты-ты! Заряжай!* — У першай рэдакцыі: «— А-а! Трусишь! Заряжай!», але папраўлена.

Стар. 43. *...познав ее во всей жестокости, мы проклинаем ее.* — У першай рэдакцыі: «Познав ее во всей жестокости, гадости и радости, мы проклинаем ее», але папраўлена.

У далейшым мастацкім саветам «Беларусьфільма» абмяркоўваўся ўжо рэжысёрскі сцэнарый, аднак, як бачна з пратакола чарговага пасяджэння, прысутныя зноў і зноў вярталіся да першакрыніцы — літаратурнага сцэнарыя В. Быкава.

Рабочая версія фільма была гатовая на пачатку 1963 г. Яна таксама абмяркоўвалася падчас пасяджэння мастацкага савета «Беларусьфільма». Хаця гутарка ішла, уласна кажучы, пра кінематаграфічны прадукт, аднак прэтэнзіі тычыліся, па сутнасці, зноў жа працы сцэнарыста В. Быкава, — так, да прыкладу, К. Губарэвіч[3] убачыў у «Третьей ракете» як «ремаркизм, но в лучшем смысле», так і «ремаркизм худшего толка»:

«[...] ГУБАРЕВИЧ — Картина, конечно, получается, и будет интересная и своеобразная. И автор и режиссер скрупулезно исследовали быт войны. И меня не смущает, что вначале мы неспеша всматриваемся в лицо каждого человека.

Смущает несколько, когда начинается закадровый голос Лозняка, и до самого него доходит камера позже.

Для нашего кино это новая струя. Здесь есть ремаркизм, но в лучшем смысле.

Что меня не устраивает. Жаль, что в этом материале ушла тема Люси. По повести мы помним, какой свет она вносила. Была тема большой нераскрытой любви и Лозняка, и Кривенка. А здесь верх взял Лешка. И лирическая тема ушла в песок.

Смущает увлечение красотой смерти. И нужно ли показывать каждую смерть? Это уже ремаркизм худшего толка.

---

[1] Машынапіс. Аўтарызаваная копія з нязначнымі праўкамі алоўкам. Злева ўверсе на першай стар. памета ад рукі: «7/III.62 г.». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 165–260.

[2] Машынапіс. Копія. На першай стар.: «ВАСИЛИЙ БЫКОВ. ТРЕТЬЯ РАКЕТА (киносценарий)»; унізе: «1962 год “Беларусьфильм”». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 68–164.

[3] Губарэвіч Кастусь (Канстанцін Лявонцьевіч; 1907–1987) — беларускі драматург, сцэнарыст, крытык, рэдактар к/с «Беларусьфільм»; заслужаны дзеяч мастацтваў БССР (1966); лаўрэат прэміі ЛКСМБ (1968), Дзяржаўнай прэміі БССР (1972).

В отношении стрельбы. Здесь секрет режиссерского приема. В сочетании со звуком этот прием достигнет цели. Это нагнетает такую экспрессию, что этот момент может явиться кульминацией картины. Кусок этой пальбы — тяжелейший солдатский труд.

Я не понял, что за блик в финале? Это солнце? Непонятно. А есть прекрасный кадр для концовки: он лежит и глазами прислушивается к победному наступлению.

МАКАЁНОК[1] — [...] Фильм не о том, что как это было. Это рассказ о том, что я уже пережил во время той войны. Я запомнил не бой, не гром пушек, а тех людей, к которым я по-разному относился. И это настроение, давно мною пережитое, должно быть в закадровом голосе. Пока этого не хватает. [...] Мне все время хочется внимательно присмотреться к людям. Этого не получилось. Длинноты есть во многих кадрах. Об эпизоде со стрельбой. Звук во многом восполнит, но все-таки длинно. Сейчас это просто работа. А должна быть работа на предельном напряжении нервов. После этого я ожидал увидеть человека в полном изнеможении. А этого нет. Он сидит абсолютно спокойно. Может быть, можно доснять крупный план?

Музыка тут очень нужна. Не хватает интима. [...] Я не говорил о достоинствах картины. Они говорят сами за себя.

ГЛЕБОВ[2] — [...] Я не специалист в кино и не обращаю внимания на снопы, стоящие на песке. Но меня по-настоящему тронуло это желание авторов попытаться рассказать правду. Я не понимаю, где кадр длиннее или короче, но я вижу правду, трогательную до слезы. И это очень трудно сделать. Я иногда чувствую себя на месте этих людей. [...]»[3].

Але прэтэнзіі да фільма (а, па сутнасці, да літаратурнага сцэнарыя) не скончыліся: менш чым праз месяц аўтараў «Третьей ракеты» ўпікалі не толькі за «натуралізм» і «асуджанасць» (якую, між іншым, не заўважалі раней) — сярод членаў мастацкага савета знайшліся і тыя, хто ўвогуле не зразумеў ідэі фільма...

У выніку меркаванне і заўвагі мастацкага савета былі абагульнены ў наступным заключэнні:

«Просмотрев на одной пленке законченный производством фильм “ТРЕТЬЯ РАКЕТА”, художественный совет студии считает, что студией создано интересное, волнующее произведение, по-новому рас-

---

[1] Макаёнак Андрэй Ягоравіч (1920–1982) — беларускі драматург; народны пісьменнік БССР (1977).

[2] Глебаў Яўген Аляксандравіч (1929–2000) — беларускі кампазітар; народны артыст СССР (1984).

[3] Паводле «Протокола заседания художественного Совета киностудии “Беларусьфильм”» ад 7 лютага 1963 г. Машынапіс. Копія за подпісам Р. Раманоўскай. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 32–33, 34, 35, 36, 37, 38–39.

крывающее тему войны, тему мужества и героизма простых советских солдат.

Рассказ о трагической истории, происшедшей в небольшом фронтовом окопе в течение одних суток, впечатляет своей сильной глубокой правдой увиденных обстоятельств войны. В этом главное достоинство фильма, причина его огромного эмоционального воздействия.

Фильм привлекает интересными, точными и глубокими характеристиками героев — людей с разными, неповторимыми судьбами. Рядовые труженики войны, они проявляют невиданное мужество, отдавая свою жизнь на алтарь победы. Отчетливо ощутимо стремление глубоко проникнуть в духовную жизнь солдат, увидеть в их характерах то, что рождало героизм. Крупным планом как бы выхвачено то, что произошло в окопе в течение суток неимоверно тяжелых испытаний, крупным планом нам дано увидеть все то, что произошло с людьми, понять, какие они, почему они себя так вели. Вся художественная манера фильма отмечена стремлением попристальнее вглядеться в человека, в мир его чувств и мыслей.

Художественный совет считает, что режиссер фильма Р. ВИКТОРОВ интересно себя проявил в этой работе, сделав определенный шаг вперед в своей творческой биографии.

В кинематографической интерпретации литературного материала режиссер остается верным авторскому замыслу, его сущности и своеобразию. Простота, суровая правда кинематографического рассказа соответствует духу литературной первоосновы. Выбор художественных средств подчинен главному: раскрытию нравственного величия простого человека, широты его души.

Фильм отмечен определенными актерскими удачами. Правдив и прост образ командира орудия, бывшего колхозника, бывалого, рассудительного сержанта Желтых в исполнении Г. Жженова. Запоминается наводчик якут Петров, интересный образ которого создает артист С. Федотов. Сложный противоречивый образ бывшего студента Лукьянова удалось создать артисту И. Комарову.

Удивительную душевную чистоту, честность, непримиримость и беспощадность к подлости и предательству раскрывает арт. С. Любшин в образе Лозняка, главного героя фильма, от лица которого ведется киноповествование.

Особо следует отметить интересное изобразительное решение фильма, найденное молодыми операторами А. Кирилловым и Н. Хубовым, художниками В. Дементьевым и Е. Игнатьевым.

Точность в изображении окопного быта, выразительность батальных сцен, тонкость в обрисовке переживаний героев, строгая и сдержанная манера в выборе художественных средств, лирическая взволнованность, предельная правда во всем — делают фильм художественно цельным и глубоком эмоциональным.

Художественный совет студии принимает фильм. В целях устранения допущенных в фильме отдельных мелких недочетов, снижающих

его художественную ценность, предлагается при второй перезаписи учесть следующее:

1. Проверить и исправить звуковое оформление ряда эпизодов, сделав его более точным, естественным и эмоциональным [...].

2. Продумать в отдельных местах закадровый голос, убрав его в ряде мест, где он совершенно излишен и не дополняет изображение (рассуждения Лозняка о несправедливости на войне, его мысли о Люсе, внутренний монолог в финальном кадре фильма и т. д.).

3. Для усиления финала фильма рекомендовать исключение финального кадра "с солнцем" и закадрового текста»[1].

Аднак у маскоўскіх кіначыноўнікаў знайшлося значна больш прэтэнзій да карціны, прычым палова з іх уваходзіла ў відавочную супярэчнасць з літаратурнай першакрыніцай — аповесцю «Трэцяя ракета» і мела адкрыта ідэалагічна-прапагандысцкую накіраванасць:

«22 марта 1963 г.
№ 1/843

Министру культуры БССР
тов. Киселеву Г. Я.

Копия: директору
киностудии
"Беларусьфильм"
тов. Дорскому И. Л.

Главное управление по производству фильмов, просмотрев законченный производством и принятый Министерством культуры БССР фильм "Третья ракета", считает, что над фильмом должна быть проделана дополнительная работа.

В фильме имеется целый ряд реплик и рассуждений по поводу жестокости и несправедливости войн. При этом не сделано отчетливого различия между "войнами".

В фильме ясно присутствуют некоторые мотивы обреченности героев, в результате этого моральная стойкость советского человека, способного выдержать любое испытание, — несколько утрачивает свою очевидность и художественную выразительность. В фильме имеются неоднократные указания на то, что действие происходит в 1944 г. Вместе с тем в фильме отсутствуют конкретно исторические приметы общей военной атмосферы того времени, когда по существу дело шло на победу. Рассказ ведется об одном тяжелом бое и одной огневой точке и при этом показано превосходящее техническое оснащение противника.

---

[1] «Заключение художественного совета киностудии "Беларусьфильм"» ад 1 сак. 1963 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛІМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 12–14.

Учитывая это обстоятельство, Главное управление считает необходимым исключить из фильма указание на время действия.

Напряженному драматическому действию фильма и его основному замыслу мало соответствуют невыразительные однотонные внутренние монологи основового героя — Лозника[1]. Кроме того, не очень точный по идейной направленности текст плохо произносится актером.

Главное управление по производству фильмов провело детальное обсуждение картины совместно с директором студии Дорским и авторами фильма — писателем В. Быковым и режиссером Р. Викторовым.

По согласованию с авторами фильма Главное управление рекомендует внести в фильм следующие исправления:

1. В начале фильма поставить титр, свидетельствующий о том, что фильм создается в память тех, кто героически погиб, защищая социалистическое Отечество.

2. Изменить смысл сцены прихода комбата с приказом о передислокации пушки.

Из этой сцены следует исключить мотив об извечном споре на войне между командиром и солдатом и пререкания в связи с этим между командиром орудия Желтых и комбатом.

В этой сцене должно быть ясно, что комбат отдает приказание о конкретном боевом задании, что героям фильма предстоит совершить чрезвычайно важное и необходимое для исхода сражения дело. Тем самым следует подчеркнуть смысл о необходимости подвига героев, который в дальнейшем они совершают.

3. Сцену ухода Желтых в штаб после объяснения с комбатом следует переосмыслить, исключив из нее мотив того, что Желтых отправился в штаб, чтобы обжаловать несправедливый приказ комбата.

4. В эпизоде танковой атаки исключить план убегающей и отступающей пехоты.

5. Переосмыслить разговор Лозника и Лукьянова по поводу войны, обрушивающей на каждого человека страдания, в том числе на всех немцев. В эту сцену следует, на наш взгляд, ввести закадровый голос Лозника, который противоречил бы Лукьянову, был принципиально не согласен с таким неверным утверждением своего товарища.

6. Следует изменить смысл рассказа Желтых о погибших родственниках в предыдущих войнах. В этот рассказ должны быть внесены слова, подчеркивающие необходимость и важность той борьбы, которую ведут советские воины против фашизма.

7. В кадре, показывающем Петрова, скорбящего над убитым командиром, заменить текст закадрового голоса Лозника. В новой редакции текста должна быть проведена мысль о том, что присутствие орудийного расчета на этом пятачке земли крайне необходимо. Это

---

[1] Менавіта так у дакуменце.

даст возможность подчеркнуть осмысленность подвига и его военную целесообразность.

8. В сцене исповеди умирающего Лукьянова следует исключить слова о том, что все бессмысленно.

9. В сцене встречи героев с умирающим немцем следует изменить надпись на фотографии немца. Здесь не следует уточнять время действия событий.

10. В фильме следует переработать финал в соответствии с договоренностью съемочной группы и Главного управления.

В финале должна быть усилена мысль о том, что борьба продолжается, что все происшедшие трагические события не убили в герое волю к победе и что погибшие сделали необходимое для победы дело. В финале также должно быть усилено решение темы победы в звуке.

11. Нуждаются в перетонировке все закадровые реплики Лозника, невыразительно прочитанные актером при первой записи.

Зам. Начальника Главного управления
по производству фильмов *В. Разумовский*

Член сценарно-редакционной коллегии *Т. Юренева*»[1].

Аб тым, што на «Беларусьфильме» гэтыя рэкамендацыі не былі пакінуты без увагі, сведчыць наступны дакумент:

«Апрель 1964 г.

Заместителю председателя
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по кинематографии
тов. БАСКАКОВУ В. Е.

[...] считаем необходимым напомнить о том, что фильм сдавался дважды.

По первому варианту Главным управлением по производству фильмов были даны существенные поправки, которые полностью были выполнены.

Как доказательство этому приводим пункты замечаний, указанных в письме от 22/III—1963 г. за № 1/843, и их выполнение группой:

“...Главное управление по производству фильмов провело детальное обсуждение картины совместно с директором студии Дорским

[1] Машынапіс на афіцыйным бланку з гербам СССР, уверсе: «Министерство культуры СССР Главное управление по производству фильмов». На першай стар. уверсе службовая памета ад рукі: «Т. Лужанину А. А. для исполнения [*подпіс неразб.*]»; унізе штамп: «Кінастудыя “БЕЛАРУСЬФІЛЬМ” Атрымана 26/III. Уваходзячы № 351». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 7–9.

и авторами фильма — писателем В. Быковым и режиссером Р. Викторовым.

По согласованию с авторами фильма Главное управление рекомендует внести в фильм следующие исправления:

1. В начале фильм поставить титр, свидетельствующий о том, что фильм создается в память о тех, кто героически погиб, защищая социалистическое отечество.

Сделано посвящение, которое идет в надписи и которое читает голос Левитана:

“Вам, живущим под солнцем с верою в счастье и мир, о тех, кто в смертельной борьбе с фашизмом выстоял и победил”.

2. Изменить смысл сцены прихода комбата с приказом о передислокации пушки.

Из этой сцены следует исключить мотив об извечном споре на войне между командиром и солдатом и пререкания в связи с этим между командиром орудия Желтых и комбатом.

В этой сцене должно быть ясно, что комбат отдает приказание о конкретном боевом задании, что героям фильма предстоит совершить чрезвычайно важное и необходимое для исхода сражения дело. Тем самым следует подчеркнуть смысл о необходимости подвига героев, который в дальнейшем они совершают.

Сцена перемонтирована, переозвучена и вошла в последний вариант следующим диалогом (окончание сцены):

К о м б а т: — ...и учтите, участок самый пробойный. Чтоб дорогу мне закупорили, как бутылку!

Ж е л т ы х: — А что, ожидается что-нибудь?

К о м б а т: — Возможно. И знайте, хлопцы, от вас многое будет зависеть.

Ж е л т ы х: — Ясно!

Комбат уходит.

3. Сцену ухода Желтых в штаб после объяснения с комбатом следует переосмыслить, исключив из нее мотив того, что Желтых отправился в штаб, чтобы обжаловать несправедливый приказ комбата.

Желтых говорит о том, что он идет к взводному, чтобы сообщить о дислокации пушки.

4. В эпизоде танковой атаки исключить план убегающей и отступающей пехоты.

Исключено три плана.

5. Переосмыслить разговор Лозняка и Лукьянова по поводу войны, обрушивающей на каждого человека страдания, в том числе на всех немцев. В эту сцену следует, на наш взгляд, ввести закадровый голос Лозняка, который противоречил бы Лукьянова, был принципиально не согласен с таким неверным утверждением своего товарища.

Вырезана половина сцены. Весь разговор о немцах вообще выброшен.

6. Следует изменить смысл рассказа Желтых о погибших родственниках в предыдущих войнах. В этот рассказ должны быть внесены слова, подчеркивающие необходимость и важность той борьбы, которую ведут советские воины против фашизма.

Сцена перемонтирована и переозвучена.

Желтых в конце сцены говорит так:

"...Теперь уж ничего не скажешь — если мы этот фашизм не уничтожили, то кто ж тогда?!"

7. В кадре, показывающем Петрова, скорбящего над убитым командиром, заменить текст закадрового голоса Лозняка. В новой редакции текста должна быть проведена мысль о том, что присутствие орудийного расчета на этом пятачке земли крайне необходимо. Это даст возможность подчеркнуть осмысленность подвига и его военную целесообразность.

Текст заменен на следующий:

Л о з н я к: — Нужно во что бы то ни стало держать дорогу, нужно не дать им пройти! Не дать им пройти!..

8. В сцене исповеди умирающего Лукьянова следует исключить слова о том, что все бессмысленно.

Этот текст выброшен.

9. В сцене встречи героев с умирающим немцем следует изменить надпись на фотографии немца. Здесь не следует уточнять время действия событий.

Сцена вообще сокращена, выброшена надпись на фотографии и голос Лозняка. В картине вообще время действия не указано.

10. В фильме следует переработать финал в соответствии с договоренностью съемочной группы и Главного управления.

В финале должна быть усилена мысль о том, что борьба продолжается, что все происшедшие трагические события не убили в герое волю к победе и что погибшие сделали необходимое для победы дело. В финале также должно быть усилено решение темы победы в звуке.

Вставлена сцена с нашими солдатами, которые которые видят героизм сорокапятчиков и высоко оценивают его. Герой поднимается из окопа и стоит, смотря на наступление наших войск. На этом изображении снова надпись — посвящение, которое является как бы обрамлением фильма.

11. Нуждаются в перетонировке все закадровые реплики Лозняка, невыразительно прочитанные актером при первой записи.

Все закадровые реплики были перетонированы, а три четверти их было вообще выброшено.

Кроме того, сама группа кое-что изменила и дополнила для усиления идейного звучания фильма.

[...]

Директор киностудии
"Беларусьфильм" (И. Дорский)»[1].

Невыпадкова дырэктар карціны С. Тульман і Р. Віктараў пасля тлумачылі: «В монтажно-тонировочном периоде, особенно к концу его, возникла необходимость отказаться еще от ряда рассуждений героев. Это было сделано в связи с замечаниями Министерства культуры БССР и Главного управления по производству фильмов Министерства культуры СССР в целях более четкой идейной направленности фильма»[2].

Фільм, які быў здадзены 28 лютага 1963 г.[3] і беларускай кінастудыяй прыняты толькі 24 ліпеня 1963 г., затым быў прадстаўлены Міністэрству культуры БССР і тады ж атрымаў дазвол на выпуск[4]. Выйшаў на экран 23 верасня 1963 г.[5]

Ён атрымаў дзве першыя прэміі на IV кінафестывалі Прыбалтыкі і Беларусі (Мінск, 1964) — дыпломы за лепшы сцэнарый[6] і аператарам А. Кірылаву і М. Хубаву — за лепшае выяўленчае майстэрства.

---

[1] Машынапіс. Копія на афіцыйным бланку, уверсе: «Министерство культуры БССР киностудия "Беларусьфильм"». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 2–5.

[2] З «Объяснительной записки к производственному отчету по фильму "Третья ракета"» за подпісамі С. Тульмана і Р. Віктарава. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей — НА РБ). Ф. 969. Воп. 2. Адз. зах. 10. Арк. 14.

[3] Паводле «Калькуляции по художественному и мультипликационному кинофильмам и для фильмов-спектаклей». НА РБ. Ф. 969. Воп. 2. Адз. зах. 10. Арк. 1.

[4] Паводле «Акта о выпуске на экраны республики кинофильма "Третья ракета" (дубляж)». Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 371. Арк. 17.

[5] Тут і далей дата выхаду на экран падаецца паводле: Все белорусские фильмы: Каталог-справочник. Т. 1. Игровое кино (1926–1970); Т. 2. Игровое кино (1971–1983) / авт.-сост. И. Авдеев, Л. Зайцева; науч. ред. А. В. Красинский. Мінск: Беларус. навука, 1996, 2000.

[6] «Диплом Союза работников кинематографии СССР за сценарий "Третья ракета" на смотре-соревновании кинофильмов производства киностудий Литовской, Эстонской и Белорусской ССР» за подпісам старшыні журы Ю. Ягорава і членаў журы ад 6 крас. 1964 г. Арыгінал. Музей Максіма Багдановіча (Гродна). КП 556/42.

Рэцэнзіі: Михайлова И. Герои не умирают // Гродненская правда. 1963. 10 сент.; Пчелинцев В. Вспыхнула «Третья ракета» // Знамя юности. 1963. 11 сент.; Климашевская И. Первая встреча, первые впечатления // Советская Белоруссия. 1963. 12 сент.; Фуриков Л. О времени суровом // Советская Россия. 1963. 17 сент.; Муратов Л. Экран говорит: войне — нет! // Вечерний Ленинград. 1963. 23 сент.; Лазарев Л. На безымянной высоте // Известия. 1963. 28 сент.; Кузьміцкая Н. Салдацкі лёс // Настаўніцкая газета. 1963. 28 верас.; Говар В. Суд высокай чалавечнасці // Чырвоная змена. 1963. 28 верас.; Ратнікаў Г. Побач са смерцю // Мінская праўда. 1963. 29 верас.; Виногура С. Путь к победе не прям // Знамя юности. 1963. 2 окт.; Смаль В. Лёс чалавечы, лёс народны // Звязда. 1963. 6 кастр.; Бяляўскі М. Праўда вялікая і малая // Літаратура і мастацтва. 1963. 15 кастр.; Разумный В. Герой рождается в коллективе // Советская культура. 1963. 31 окт.; Черномыс А., Федоров В. Так в чем же красота подвига? // Красная звезда. 1964. 29 янв.; Миронов Л. Правда подвига // Советский экран. 1964. № 6. С. 20; Разумный В. Герой и героическое // Советская культура. 1965. 13 апр.; Михайлова С. И существует объединение // Искусство кино. 1967. № 7. С. 99; Міхайлава С. Пошукі і здзяйсненні // Маладосць. 1968. № 1. С. 109–110; Бондарева Е. Повести и фильмы: Произведения В. Быкова на экране // Неман. 1977. № 10. С. 159; Зеленко Н. Актер ведет разведку // Экран. 1964. М., 1965. С. 145–147; История белорусского кино: в 2 т. Т. 2. Минск, 1970. С. 155–157; История советского кино: в 4 т. Т. 4. М., 1978. С. 175–176; Смаль В. Человек. Война. Подвиг. Минск, 1979. С. 70–71; Ратников Г. На экране — Великая Отечественная // Современное белорусское кино. Минск, 1985. С. 110–111; Бондарава Е. Кінематограф і літаратура: Творы беларускіх пісьменнікаў на экране. Мінск, 1993. С. 84–85.

Альпийская баллада

Литературный сценарий (стар. 76)

Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе кінастудыі «Беларусьфільм»: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 179–264.

Датуецца паводле паметы ад рукі на апошнім аркушы машынапісу: «8/III–64 г.».

Прапанову напісаць кінасцэнарый па матывах аповесці «Альпійская балада» В. Быкаў атрымаў напрыканцы 1963 г. — у лістападзе ён пісаў Н. Гілевічу: «Пісаць прозу пакуль не збіраюся. Збіраюся з 12 лістапада ў Каралішчавічы пісаць сцэнарый»[1]. А ў снежні паведамляў Л. Геніюш: «Нядаўна прыехаў з Мінска, дзе прабыў тыдзень у Каралішчавічах на семінары кінадраматургаў. Мінская студыя збіраецца зрабіць карціну па новай аповесці, ну і просіць мяне напісаць сцэнарый. Відаць, так і зраблю [...]»[2]. І ўжо вясной 1964 г.: «Я ездзіў на кінастудыю, выклікалі на рэдакцыйную калегію. Хочуць ставіць фільм па баладзе, ужо ёсць рэжысёр, напісаў я і сцэнарый, хоць яшчэ не ўсё добра ў ім. Я думаю, няхай робяць, характар Івана мне таксама да спадобы, хоць я і не меў на ўвазе ствараць вобраз святога, без страху і дакору рыцара. Гэта просты хлопец, які пражыў нялюдскае жыццё (25 год), але які захаваў у сабе ўсё самае высакароднае, хоць яно ў яго і не ляжыць на плячах і не блішчыць»[3].

Пазней пісьменнік наступным чынам прыгадваў тыя даўнія падзеі: «...вядома, напомніла пра сябе Беларуская кінастудыя — сказалі, што можна зьняць вельмі прыгожы, рамантычна-патрыятычны фільм міжнароднага гучаньня. Я не знайшоў аргумэнтаў супроць. Мабыць, ранейшыя пакуты з “Трэцяй ракетай” пачалі забывацца, думалася, тут будзе інакш. [...]

Як пісаць сцэнары, я ўжо ведаў, нешта даволі хутка накрэмзаў. Здымаць фільм узяўся вопытны рэжысэр Барыс Сьцяпанаў[4].

Некалі Алесь Адамовіч казаў, што ўсе савецкія рэжысэры аднолькавыя і адрозніваюцца адзін ад аднаго хіба тым, як адносяцца да сцэнару. Адны бясконца перарабляюць яго самі, змушаюць на тое аўтара,

---

[1] З ліста ад 22 кастрычніка 1963 г. Арыгінал. Архіў Н. Гілевіча.

[2] З ліста ад 14 снежня 1963 г. Аўтограф. Арыгінал. ЦНБ НАНБ. Ф. 31. Воп. 1. Адз. зах. 299. Арк. 3.

[3] З ліста да Л. Геніюш ад 2 сакавіка 1964 г. Аўтограф. Арыгінал. ЦНБ НАНБ. Ф. 31. Воп. 1. Адз. зах. 299. Арк. 12.

[4] Сцяпанаў Барыс Міхайлавіч (1927–1992) — беларускі рэжысёр; заслужаны дзеяч мастацтваў БССР (1976). «Альпийская баллада» была другой вялікай кінематаграфічнай працай Сцяпанава (скончыў Усесаюзны дзяржаўны ін-т кінематаграфіі ў 1956 г.), які да гэтага часу зняў толькі кароткаметражны фільм «Секретарь укома» (1961) і мастацкі фільм «Последний хлеб» (1963).

а то і наймаюць памагатых. Другія, атрымаўшы сцэнар, кідаюць яго на сьметнік і здымаюць самі, як хочуць. Хто зь іх лепшы, невядома, але вынік заўсёды аднолькавы.

Мой папярэдні рэжысэр Рычард Віктараў, відаць, адносіўся да першай рэжысэрскай групы, ён выціскаў зь мяне ды іншых, хто да таго меў дачыненьне, усе сокі, дамагаючыся дасканаласьці. Другі ж, Сьцяпанаў, як толькі атрымаў зацьверджаны сцэнар, адразу ж кудысьці зьнік. І толькі калі група выехала на натурныя здымкі, запрасіў аўтара прыехаць, найперш каб адпачыць на прыродзе»[1].

Дамова з В. Быкавым на напісанне сцэнарыя была заключаная 28 лютага 1964 г.; згодна з ёй пісьменнік атрымліваў узнагароду ў памеры пяці тысячаў рублёў і яшчэ адну тысячу пасля запуску фільма ў вытворчасць[2]. Прыняццю гэтага рашэння папярэднічала абмеркаванне літаратурнага сцэнарыя «Альпийской баллады»[3].

У выніку сцэнарый быў прыняты ў якасці першага варыянта. Аўтару прапаноўвалася прадставіць папраўлены варыянт 15 сакавіка, для чаго яму было накіравана наступнае заключэнне:

«В основу сценария положена идея антифашистской солидарности всех стран, персонифицированная в образах Ивана и Джулии.

В борьбе с немецкими оккупантами ведущее место занимали народы Советского Союза и к ним тянулись сердца всех, кто сопротивлялся фашизму. Любовь Джулии к Ивану с этой точки зрения — не просто влечение молодости, а преклонение перед непобедимым духом советских людей, которые и в жесточайших условиях лагерной жизни возглавляли освободительную борьбу.

Для раскрытия этого замысла автор нашел форму остросюжетного развития действия, что, несомненно, придаст картине хороший зрелищный интерес.

Вместе с тем в сценарии еще не все до конца проработано. Коллегия рекомендует автору произвести в сценарии следующие доработки:

1. Необходимо более четко подчеркнуть мысль, что любовь Джулии к Ивану имеет в своей основе глубочайшее уважение к советскому человеку-борцу. В сценарии же пока преобладают элементы иного свойства, что значительно мельчит большую и благородную тему.

---

[1] Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 8. С. 189.

[2] Паводле «Типового сценарного договора (для художественных фильмов)» ад 28 лютага 1964 г. за подпісамі І. Дорскага і В. Быкава. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 77–78.

[3] Захаваўся «Протокол заседания сценарно-редакционной коллегии» ад 28 лютага 1964 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 73, 74–76.

2. Очень важным звеном сценария следует считать содержание разговора Ивана и Джулии на протяжении всего побега. Но разговоры на темы культа личности и состояния колхозов в то время и в той ситуации неправомерны и во многом надуманны.

В этой части сценария особенно важно поработать над содержанием разговоров.

3. Форма разговоров также вызывает сомнение. Конгломерат итальянских, немецких и искаженных русских слов не донесет до зрителя мыслей, заложенных в них. Здесь также важно найти органический прием, который не обеднил бы содержание фильма.

4. Не прояснена ситуация с сумасшедшим немцем, убежавшим из концлагеря. Если он действительно сумасшедший, то как он мог обмануть охрану лагеря и почему он становится сознательным провокатором, когда наводит гестаповцев на след Ивана и Джулии? Все поступки его — результат логики нормального человека. Кроме того, вызывает возражение сцена, когда Иван заставляет сумасшедшего человека за кусок хлеба поносить Гитлера.

5. Искусственной представляется сцена спасения Джулии. Если Иван был уверен, что он спасет ее, бросив в пропасть на снег, — почему он сам не воспользовался этой возможностью? Не лучше ли поставить сюжетную точку несколько раньше, поскольку эта ситуация досказывается в письме.

6. Само письмо очень длинно, особенно в финале.

7. Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что с момента прекращения погони в начале сценария и до появления ее в конце пропадает ощущение опасности, драматизма положения героев. Эта часть фильма может оказаться не наполненной действием и содержанием, если не считать разговора, содержание которого тоже следует переосмыслить.

8. Очень важно было бы наполнить сценарий материалом прошлой жизни Ивана и Джулии в лагере, чтобы эти образы стали несколько объемнее по своему жизненному и человеческому содержанию»[1].

Другі варыянт сцэнарыя быў дасланы В. Быкавым па пошце 9 сакавіка 1964 г.[2] Праз дзесяць дзён адбылося яго абмеркаванне. У выніку з'явілася другое заключэнне:

---

[1] «Заключение сценарно-редакционной коллегии по сценарию “Альпийская баллада” В. Быкова» ад 4 лют. 1964 г. Машынапіс за подпісам М. Лужаніна. На першай стар. справа ўверсе: «Утверждаю: директор киностудии “Беларусьфильм” *И. Дорский*. 5 марта 1964 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 66–68.

[2] Згодна са штэмпелем на канверце. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 63.

«Сценарий В. Быкова “Альпийская баллада” — произведение в высшей степени поэтичное, полное драматизма и глубокого содержания. Его идейный смысл и значение выходят за рамки просто рассказа о высоких и светлых чувствах героев, их благородстве и мужестве, хотя и это само по себе уже немало.

Однако гораздо важнее, что через историю побега из гитлеровского лагеря белоруса Ивана и итальянки Джулии, через их характеры, их отношения автор сумел показать и солидарность разных народов в борьбе с фашизмом, и ненависть людей к фашизму, и их великую любовь к советской стране, веру в нее, преклонение перед силой духа и мужеством советского человека.

Эта сила духа и ее природа ярко и полно раскрыта в образе Ивана, образе обобщенном. Ибо душевная стойкость и несгибаемость Ивана, его человечность и доброта, чистота и благородство, его любовь к Родине, к социалистической Родине, выдержавшая самые тяжкие испытания, — качества, отличающие именно советских людей, советский народ. И Джулия вверяет Ивану себя, свою жизнь, дарит ему свою любовь, потому что Иван для нее — воплощение его прекрасной, необыкновенной родины, которой Джулия восхищалась всегда. [...]

Сценарно-редакционная коллегия принимает сценарий “Альпийская баллада”. Но считает, что при режиссерской разработке автору и режиссеру необходимо учесть следующее:

1. В этом варианте сценария найден более верный ключ к психологическому решению политического спора героев, однако следует найти точный посыл для возникновения такого разговора.

2. Финал сценария не следует обрывать, как это сделано сейчас, из финала должно быть ясно, что Иван спас Джулию, а сам погиб.

3. Надо проверить обязательность дикторского текста в фильме и попытаться обойтись без него. В случае если такая необходимость возникнет, найти для дикторского текста точное место и интонацию.

4. Найти зрительное решение эпилога. Текст письма нуждается в сокращении.

5. Обратить самое серьезное внимание на диалог, особенно на речь Джулии.

Еще раз подумать над тем, как герои объясняются друг с другом и как поймет Джулию зритель. Во всяком случае, надо максимально сократить употребление Джулией русских слов, оставив самые необходимые. В ряде мест Иван может служить как бы переводчиком, объясняя вслух для себя то, что говорит Джулия»[1].

---

[1] «Заключение сценарно-редакционной коллегии на литературный сценарий В. Быкова “Альпийская баллада”». Машынапіс за подпісам К. Губарэвіча (?). Справа ўверсе на першай стар.: «Утверждаю: директор

Ужо ў жніўні з прапановамі Б. Сцяпанаву пры распрацоўцы рэжысёрскага сцэнарыя выступіў галоўны рэдактар сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі «Беларусьфільма» А. Куляшоў[1]:

«1. Беседы Ивана и Джулии о Советской стране нужно разработать тоньше и точнее. Они меньше всего должны походить на урок, а являться духовным завещанием Ивана, средством привлечь симпатии к своей стране и ее великому делу, укрепить любовь к ней путем раскрытия большой правды о нашей жизни, радостях и бедах.

2. Сумасшедший входит в повествование неорганично и потому выглядит не живым героем, а приемом, движущим действие.

3. Диалог Ивана и Джулии, особенно ее письмо, остаются все же многословными»[2].

Прэтэнзіі былі і ў Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі, які, прымаючы сцэнарый В. Быкава, тым не менш рэкамендаваў аўтару і рэжысёру ўлічыць наступнае (гэтае заключэнне было таксама накіравана намесніку старшыні Дзяржкамітэта Савета Міністраў СССР па кінематаграфіі В. Баскакаву):

«1. Снять с Ивана все еще имеющийся налет мученической судьбы в прошлом.

В беседах Ивана с Джулией должен раскрываться облик советского человека, беспредельно любящего свою Родину, мужественного и умного.

2. Смягчить, облагородить отношение Ивана к сумасшедшему немцу.

3. Обратить серьезное внимание на диалог, особенно на речь Джулии, добиваясь лаконизма и образности общения.

4. В прологе не следует сообщать зрителю, что Иван погиб.

5. Найти более обогащенное зрительное решение эпилога. Текст письма Джулии нуждается в сокращении»[3].

киностудии “Беларусьфильм” *И. Дорский.* 20 марта 1964 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛІМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 54, 55.

[1] Куляшоў Аркадзь Аляксандравіч (1914–1978) — беларускі паэт, перакладчык; народны паэт БССР (1968); лаўрэат Сталінскай прэміі (1946), Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Купалы (1970). У 1958–1967 гг. начальнік сцэнарнага аддзела, потым галоўны рэдактар на к/с «Беларусьфільм».

[2] «Заключение на сценарий В. Быкова» ад 26 жн. 1964 г. Машынапіс. Копія. Справа ўверсе на першай стар.: «Утверждаю: директор киностудии “Беларусьфильм” /И. ДОРСКИЙ/ 26 августа 1964 г.» БДАМЛІМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 52.

[3] Паводле «Заключения на сценарий В. Быкова “Альпийская баллада”» за подпісам галоўнага рэдактара Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі Г. Тарана. Машынапіс. Копія. Справа ўверсе: «Утверждаю. И. о. председателя Госкомитета Совета Министров БССР по кинематографии *П. Жуковский.* 27.VIII.64 г.». Подпісы — аўтограф.

Але было яшчэ адно заключэнне на сцэнарый «Альпийской баллады», на гэты раз з Масквы:

«24 ноября 1964 г.
При ответе ссылаться на № 1/1588

Директору киностудии
"Беларусьфильм"
тов. Дорскому И. Л.

Председателю комитета СМ БССР
по кинематографии
тов. Павленку Б. В.

Сценарно-редакционная коллегия рассмотрела литературный сценарий "Альпийская баллада" (автор В. Быков, режиссер Б. Степанов) и сообщает, что сценарий утверждается.

При работе над режиссерским сценарием следует учесть замечания, высказанные при обсуждении.

1. Необходимо освободиться от эпизодов, в которых ведутся разговоры, связанные с культом личности, как не относящиеся непосредственно ни к сюжету данной вещи, ни к характеристикам главных героев. Особенно нарочито звучат эти рассуждения, если учесть, что герои говорят на разных языках.

2. Вызывает возражения сон Ивана, где он видит пышное убранство стола немцев. Эти ассоциации неорганичны для характера Ивана и для той жизненной ситуации, в которой он находится[1].

3. Очистить язык героев и пользоваться только той лексикой, которая возможна и правдоподобна в этой ситуации. Следует подумать о сокращении диалогов.

4. В начале сценария несколько чрезмерно и неправильно используется мотив похоронных, когда ходят по селу люди и смотрят, сколько народу там погибло.

5. Неточно решена сцена с чисткой сапог. Как будто только уничтожающий взгляд Джулии пробудил в нем гнев. Этот эпизод необходимо сделать с точным и определенным прочтением.

С учетом высказанных замечаний сценарий может быть запущен в режиссерскую разработку, с представлением для рассмотрения ре-

---

НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 29. Арк. 54. Копія таксама захоўваецца: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 50.

[1] Пазней дырэктар карціны Г. Вольскі тлумачыў прычыну скарачэння метража фільма: «Такое сокращение произошло за счет объектов "I сон Ивана" и "II сон Ивана" (общий метраж — 51,5 м), не вошедших в фильм в целях улучшения идейно-художественного качества фильма [...]» (З «Объяснения к калькуляции по производственному отчету кинокартины "Альпийская баллада"» за подпісамі Г. Вольскага і начальніка планавага аддзела Н. Будай. Арыгінал. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 124. Арк. 20.)

жиссерского варианта в Главное управление художественной кинематографии.

К данному заключению прилагается стенограмма обсуждения, где высказаны соображения по поводу общей направленности вещи, ее стилистики и эмоциональной тональности[1].

Желательно, чтобы и более мелкие замечания, высказанные на обсуждении (по стенограмме), были учтены авторами в их дальнейшей работе.

А. Дымшиц[2],
Т. Юренева[3]»[4].

Тым часам абмеркаванне «Альпийской баллады» працягвалася — ужо ў ліпені 1965 г. была наладжана сустрэча з італьянскім рэжысёрам Джузэпе дэ Санцісам[5], чые развагі адносна рэжысёрскага сцэнарыя стэнаграфіраваліся. Дэ Санціс гаварыў у прыватнасці:

«Все, что я скажу, это личное мнение. Не думаю, что надо в искусстве давать советы, ибо искусство — это нечто личное, индивидуальное. [...]

---

[1] Стэнаграма ў справе матэрыялаў па фільму «Альпийская баллада» адсутнічае.

[2] Дымшыц А. Л. — галоўны рэдактар сцэнарнай рэдкалегіі Галоўнага ўпраўлення мастацкай кінематаграфіі Дзяржкамітэта Савета Міністраў СССР па кінематаграфіі.

[3] Юрэнева Тамара Восіпаўна — член сцэнарнай рэдкалегіі Галоўнага ўпраўлення мастацкай кінематаграфіі Дзяржкамітэта Савета Міністраў СССР па кінематаграфіі.

[4] Ліст ад 24 лістап. 1964 г. за № 1/1588. Машынапіс на афіцыйным бланку з гербам СССР, уверсе: «Государственный комитет Совета Министров СССР по кинематографии», «Главное управление художественной кинематографии»; злева ўверсе пячатка Дзяржкамітэта СМ БССР па кінематаграфіі ад 26.XI.64 г. за № 2199 і службовая памета ад рукі: «Тов. Тарану. *Б. Павленок*», унізе: «В дело. *Г. Таран.* 28/XI—64 г.». Подпісы — аўтограф. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 29. Арк. 248–249. Аналагічны ліст захоўваецца: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 34–35. Злева ўверсе службовая памета ад рукі: «Тов. Кулешову, тов. Фрайману, тов. Лужанину. *А. Порицкий*» і ўнізе: «режиссеру, автору, редактору», «Вх. 835 27/XI.64». Подпісы — аўтограф.

[5] Джузэпе дэ Санціс (1917–1997) — італьянскі рэжысёр, сцэнарыст; адзін з заснавальнікаў неарэалізма. Па сведчанні актрысы Л. Румянцавай, якая выканала ў «Альпийской балладе» роль Джуліі, дэ Санціс, жадаючы экранізаваць аповесць В. Быкава, звяртаўся да кіраўніцтва Дзяржкіно СССР з просьбай прадаць кінасцэнарый «Альпийская баллада», але безвынікова (паводле: Шапран С., Кривец Н. Василь Быков всю жизнь скрывал, что выдумал «Альпийскую балладу» // «Комсомольская правда» в Белоруссии. 2008. 19–25 июня).

Надо понимать, что это мнение итальянского режиссера, творчество которого развивалось в искусстве неореализма. [...]

Я прочел сценарий 4–5 раз. И вот мои впечатления. [...]

Сценарий профессионален, хорошо построен, читается на одном дыхании, нарастает драматургия.

Что же не нравится? [...]

Идея хороша, построение хорошо. Но есть нечто традиционное. Построение напоминает построение многих других советских фильмов. [...]

Все мы знаем, что такое социалистический реализм. У вас очень много говорят о реализме, но когда дело доходит до конца, то выходит романтизм.

Видение мира и отношения между людьми идут не по линии реалистической, а по романтической.

Меня не интересуют никакие "измы".

Искусство имеет одно имя — искусство.

«Измов» же столько, сколько в мире художников. [...]

Основной недостаток — отсутствие конфликта.

Двое бегут вместе. Одна цель. Оба коммунисты. Любят друг друга. И нет ни тени сомнений между ними.

Конфликт с явлениями внешними, с природой. Конфликт внешний, а не внутренний. Даже немцы, враги, рассматриваются как элемент внешний. [...]

Может быть фильм и бесконфликтный, лирический. Это и есть традиционность. Если бы традиционная линия была сломана, сюжет предложил бы много возможностей в смысле диалектики. Мы — коммунисты. И мы стремимся быть в союзе с другими силами. Отношения между двумя людьми можно строить на конфликте взглядов. Женщина могла быть не коммунистка, а просто антифашистка. Если бы она была на других позициях, был бы конфликт человеческий, идеологический, было бы интересно. Она могла бы быть католичка.

Сейчас в Италии идет интересный диалог с католиками, это большая сила. Герой мог бы ей многое объяснять. Политически они могли бы жестоко спорить. Но в отношении основной проблемы — спасти жизнь, любить — они были бы согласны.

Когда у людей разных направлений есть одна цель, они могут договориться.

Не знаю, сочли бы вы возможным сейчас изменить это. Для переделки надо бы немного. Но хотя бы одна вещь должна быть учтена.

Надо убрать целую часть, когда женщина много и хорошо говорит об СССР. Здесь фильм становится националистичным. Когда она целует раны — неприятно. И получается слишком пропагандистски. Надо бы развивать в личном, лирическом плане. Немного подрезать — и фильм будет правдивее.

Итальянская женщина не смогла бы это сделать — целовать раны. Это невозможно психологически.

Я люблю парадоксы и гиперболы, но тогда надо создавать общую структуру, где они были бы здесь в центре. А здесь они возникают неожиданно. [...]

Нравится начало. Взрыв бомбы.

Не нравится:

1. Немец, который чистит сапоги. Много подобного мы видели. [...]

2. Сцена с собакой. Тоже часто видели. Я подумал о вариантах. Вместо двух собак хотя бы одна. Ее он может ранить. И потом, ему жалко ее и он старается ей помочь. У собаки и у него одна ситуация, одно положение. Если бы он уделил внимание собаке, это внесло бы новизну и придало бы ему гуманные черты.

Не нравится еще и когда он душит собаку. Сцена приобретает реальную силу. Более уместно он проявляет силу в более значительных моментах, а здесь это излишне.

3. Хорошо — встреча с девушкой. Хороша сцена, когда он дает ей пощечину. Хорошо бы, чтобы после паузы она вернула бы ему пощечину. От этого ему стало смешно, он смеется.

4. Есть ситуация, недостаточно развитая. Когда она вынимает занозу. Сцена написана очень поверхностно. Обнаженная нога мужчины в руках женщины всегда производит впечатление. Это вызвало бы у него прилив нежности. Ноги интеллигента, рабочего и крестьянина — разные. [...] Эту сцену следовало бы развить. И о том, что он колхозник, он может сказать здесь. Эта сцена очень важная. [...]

6. Есть еще интересная сцена, недостаточно развитая. Когда под дождем он говорит ей укрыться под скалой. Тут начинается недоразумение. Эта сцена недостаточно углублена. Она могла бы сказать соответствующие слова, решив, что он хочет заняться любовью. А ему смешно — любовь в таком положении. Они могут поссориться. И будет правдиво.

7. В фильме есть сны. Я не против всяких сновидений. Финал довольно хороший. Другие неоправданы.

1-й сон — видит в грезах побег. К чему, если это нового не дает. [...] Это сцена формалистического вкуса. Если первые сцены надо оставить ради финала, чтобы композиционно иметь возможность дать последний сон, лучше нам узнать из них новое о герое. [...]

8. Не нравится разговор о колхозе. Сладковато. Если уже говорить об этом, то покрепче.

9. Диалог: “Ты — фашистка“. — “Нет, коммунистка“. Это плохо. Это не тема фильма. Если бы это была тема, то с ней лицом к лицу надо было стать с самого начала и разрабатывать ее покрепче.

10. Снегопад. “Я ухожу“. Он уходит, она остается. И идет повторение первой сцены, когда Джулия уже сказала “прощай”. Здесь рвется стиль.

11. Сцена, когда он ее несет. Это самая лучшая сцена. Режиссеру надо посоветовать: надо давать крупными планами одни головы и ручной камерой. Ни фон, ни место здесь неважно. Это первая любовная сцена, надо войти в души. Огромное усилие мужчины и беспомощная женщина. Пусть даже с техническими недостатками. Как будто скрытой камерой. [...]

13. Грезы, где он, девушка и мать, и потом просыпается среди великолепного пейзажа с маками. Получается сон во сне. Сила маков — само по себе волшебство. Последующая сцена с маками убивается. Надо или убрать грезы, или сцену с маками сделать более реальной и грустной. Необходим контраст.

14. В маках все хорошо до купанья. Затем фильм останавливается, замедляется и садится. [...]

15. После земляники уже надо заняться любовью. Этого уже ждет публика.

Все остальное очень нравится. Несколько длинновато, но нравится. И финал хорош. Сделан с хорошей романтикой. [...]»[1].

У снежні адбылося абмеркаванне зманціраванага матэрыялу «Альпийской баллады», на якім прысутнічаў і В. Быкаў[2].

У выніку «Альпийская баллада» мастацкім саветам была прынята і прадстаўлена на зацвярджэнне ў Маскву[3]. У заключэнні па фільму галоўны рэдактар Дзяржкіно БССР Г. Таран пісаў: «Талантливое литературное произведение, переложенное на язык кино, засверкало новыми гранями и, можно сказать, не опасаясь крайности суждений, стало явлением образного искусства. [...]

Удача фильма во многом предопределена исполнением роли Ивана артистом С. Любшиным и талантливой игрой неожиданно открытой для кино молодой актрисы Л. Румянцевой, создавшей трогательный образ Джулии.

Фильм "Альпийская баллада" может быть отнесен к числу лучших работ студии "Беларусьфильм"»[4].

---

[1] БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 19–23, 24. Упершыню надрукавана ў перакладзе на беларускую мову: Ратнікаў Г. Блаславенне: Васіль Быкаў і Джузэпе дэ Санціс // Літаратура і мастацтва. 1994. 25 сак.

[2] Гл. «Протокол заседания Художественного Совета киностудии и Правления СРК БССР» ад 15 снеж. 1965 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 13, 14, 15, 16, 17.

[3] Паводле «Заключения Художественного Совета киностудии "Беларусьфильм" по фильму "Альпийская баллада"» ад 5 студз. 1966 г. Машынапіс за подпісам М. Лужаніна. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 12.

[4] Паводле «Заключения на художественный фильм "Альпийская баллада" производства киностудии "Беларусьфильм"». Студз. 1966 г. Машынапіс. Копія за подпісам Г. Тарана. Справа ўверсе: «Утверждаю. Председатель Комитета по кинематографии при Совете Министров

Аднак у Маскве таксама парэкамендавалі зрабіць пэўныя скарачэнні:

«19 января 1966 г.
При ответе ссылаться на № 19/73

Председателю Комитета по
кинематографии
при Совете Министров
Белорусской ССР
тов. Павленку Б. В.

И. О. Директора киностудии
"Беларусьфильм"
тов. Порицкому А. М.

Главное управление художественной кинематографии просмотрело художественный фильм "Альпийская баллада" и принимает его к выпуску на союзный экран с монтажными поправками.

В период сдачи исходных материалов Главное управление рекомендует произвести монтажные сокращения в эпизодах перевала, явно затянутых, отредактировать размышления Джулии о жизни в колхозе, сократить эпизод купания, особенно кадры с обнаженной героиней.

Последующий за этим эпизод необходимо переосмыслить, т. к. он затянут и просто неудачно сыгран актерами. Отсюда вместо сочувствия к любви героев рождается чувство раздражения и недоумения от нарочитости этого сюжетного поворота.

Начальник Главного управления *Ю. Егоров*»[1].

Сам В. Быкаў наступным чынам характарызаваў «Альпийскую балладу»: «Фильм, на мой взгляд, получился довольно слабый во всех отношениях: без режиссуры, с неудачным подбором актеров, выхолощенной идеей и бесконфликтностью. Остался только пейзаж, который в общем интересен и который во всю мощь современной кинооптики эксплуатирует оператор»[2]. І пазней больш падрабязна спыніўся на прычынах няўдачы фільма: «На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага

Белорусской ССР *Б. Павленок.* января 1966 года». Подпісы — аўтограф. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 110. Арк. 12.

[1] Машынапіс на афіцыйным бланку з гербам СССР, уверсе: «Комитет по кинематографии при Совете Министров СССР», «Главное управление художественной кинематографии»; злева ўверсе службовая памета ад рукі: «т. Куляшову А. А., т. Степанову Б. Н. к исполнению. *А. Порицкий*»; унізе штамп: «Кінастудыя "Беларусьфільм" канцылярыя Атрымана: 24/І Уваходзячы № 76». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 10.

[2] З ліста да Г. Бакланава без даты. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

кіраўніцтву “Беларусьфільма” Станіслава Любшына, Джуліі — Любу Румянцаву. Абодва акторы — кожны сам па сабе, можа, і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт ня склалі. Тым болей, што на здымках адразу ўступілі ва ўзаемны канфлікт, зь якога так і ня здолелі выйсьці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла свой нэгатыўны ўплыў на ўсю атмасфэру ў калектыве. Зноў жа неўзабаве пачаліся творчыя (перарослыя ў асабістыя) паядынкі характараў рэжысэра і апэратара Толі Забалоцкага. Апэратар, казалі, цягнуў творчую коўдру на свой бок, а рэжысэр спрабаваў не паддацца. Урэшце, здаецца, рэжысэр паддаўся, і фільм атрымаўся ні то, ні сё. А шкада. На маю думку, у тым сюжэцце былі закладзены пэўныя кінэматаграфічныя магчымасьці, і пры належных умовах можна было б зрабіць прыгожую, паэтычную трагедыю каханьня. На жаль, таго не адбылося»[1].

Рашэнне пра выпуск фільма было прынята Дзяржкіно СССР 15 студзеня 1966 г.[2], а 26 сакавіка 1966 г. «Альпийская баллада» выйшла на экран.

Фільм быў адзначаны Прызам за лепшы фільм на МКФ у Дэлі (Індыя, 1968); дыпломам Саюза кінематаграфістаў СССР (Л. Румянцавай за лепшае выкананне жаночай ролі і А. Забалоцкаму за выдатную аператарскую працу на VI кінафестывалі рэспублік Прыбалтыкі, Беларусі і Малдавіі), Вільнюс, 1966.

Рэцэнзіі: Мацайтис С. Альпийская баллада // Советская Литва. 1966. 18 марта; Закржевская Л. Баллада о мужестве // Литературная газета. 1966. 22 марта; Рошаль Г. Экран: поле борьбы // Литературная газета. 1966. 29 марта; Орлов В. Мужающее мастерство // Труд. 1966. 7 апр.; Касьянова Л. Альпийская баллада // Советское кино. 1966. 7 мая; Говар В. На эмацыянальным фоне... // Літаратура і мастацтва. 1966. 24 мая; Хлоплянкина Т. Границы экрана // Советская Россия. 1966. 29 июня; Нечай О. Баллада о мужестве // Знамя юности. 1966. 21 июля; Орлов В. Альпийская баллада // Вечерняя Москва. 1966. 19 сент.; Бондарава Е. Новая старонка гераічнага кіналетапісу // Чырвоная змена. 1966. 22 верас.; Крупеня Я. Новыя сустрэчы са старым знаёмым // Настаўніцкая газета. 1966. 24 верас.; Арлова Т. Двое і вайна // Мінская праўда. 1966. 28 верас.; Воеводина Г. Альпийская баллада // Советский фильм. № 9. С. 6; Шалуновский В. Альпийская баллада // Спутник кинозрителя. 1966. № 9. С. 10–11; Зоркий А. Диссонансы // Советская культура. 1966. 4 окт.; Смольский Р. Баллада о человечности // Сельская газета. 1966. 21 окт.; Медведев Б. Должен

---

[1] Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 8. С. 190.

[2] Паводле «Справки о сроках сдачи исходных материалов Управлению кинофикации и кинопроката по законченным производством фильмов» за подпісамі галоўнага інжэнера Б. Папова, начальніка планавага аддзела Н. Будай, старшыні фабкама А. Васільева. Машынапіс. Копія. Подпісы — аўтограф. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 110. Арк. 103.

быть человек счастлив? // Советский экран. 1966. № 16. С. 4–5; Айтматов Ч. Многоликий экран // Правда. 1967. 15 янв.; Якавенка І. Выпадак? Не, прызнанне // Мінская праўда. 1967. 27 студз.; Михайлова С. И существует объединение // Искусство кино. 1967. № 7. С. 100; Иванова В. Любовь Румянцева // Экран 1966–1967. М., 1967. С. 79–80; Міхайлава С. Пошукі і здзяйсненні // Маладосць. 1968. № 1. С. 110–111; Бондарева Е. Повести и фильмы // Неман. 1977. № 10. С. 160–162; Бобкова А., Бондарева Е. Режиссеры в поиске // Кино Советской Белоруссии. М., 1975. С. 196–198; Смаль В. Человек. Война. Подвиг. Минск, 1979. С. 117–118; История советского кино: в 4 т. Т. 4. М., 1978. С. 177–178; Ратников Г. На экране — Великая Отечественная // Современное белорусское кино. Минск, 1985. С. 112–114; Бондарава Е. Кінематограф і літаратура: Творы беларускіх пісьменнікаў на экране. Мінск, 1993. С. 86–88; Гісторыя кінамастацтва Беларусі: у 4 т. Т. 2. 1960–1985 гг. / Г. В. Ратнікаў, А. А. Карпілава, А. В. Красінскі. Мінск: Беларус. навука, 2002. С. 63, 118–120.

* * *

У справе матэрыялаў па фільму захоўваецца лібрэта сцэнарыя, якое «Беларусьфільм» перадаваў Дзяржкамітэту Савета Міністраў СССР па кінематаграфіі:

«12 ноября 1964 г.

Заместителю председателя
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по кинематографии
тов. БАСКАКОВУ В. Е.

Направляем либретто сценария “Альпийская баллада”, написанного В. БЫКОВЫМ, для решения вопроса о приглашении итальянской актрисы для участия в съемках фильма.

Директор киностудии “Беларусьфильм” (И. Дорский).[1]

[1] Машынапіс. Копія на афіцыйным бланку, уверсе: «Министерство культуры БССР», «Киностудия “Беларусьфильм”». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 37.

Альпийская баллада
Либретто

Это фильм — о любви и ненависти, о низости и высоком духовном взлете, о гордости и благородстве в труднейшие годы борьбы с немецким фашизмом.

1944 год. Австрийские Альпы. Концлагерь. Группа заключенных растаскивает развалины на заводе после его бомбежки союзной авиацией. Невдалеке пятеро узников обезвреживают невзорвавшуюся бомбу. Это — флюгпункты, штрафники, люди, лишенные всякой надежды выжить. Они решаются на сверхрискованный шаг — взорвать бомбу и в последний раз попытаться добыть свободу.

Впрочем, один должен погибнуть. Кто — решает жребий. Но жребий достается самому слабому и больному, который уже не в состоянии разбить взрыватель. В яме, где они работают, наступает гнетущее замешательство. И тогда атлетического сложения заключенный, русский военнопленный по имени Иван, берется взорвать бомбу.

Он оглядывается на цех и встречается взглядом с командофюрером — эсэсовцем Зандлером. Ничего не подозревая, тот подзывает Ивана к себе и приказывает почистить сапоги. Происходит столкновение, Иван, не сдержавшись, наносит эсэсовцу удар в лицо. Фашист падает, выхватывает пистолет, но выстрелить не успевает — в яме взрывается бомба. Здание рушится, облако пыли накрывает команду узников. Иван обломком бетона добивает контуженного Зандлера и, отняв у него пистолет, бежит.

Короткое замешательство охраны. Иван преодолевает внешнюю ограду завода и прорывается на окраину города. Дальше — лес и горы. Разбегаются и другие, слышны выстрелы, крики, лай собак. На опушке леса его настигают овчарки, одну он убивает выстрелом, второй удается его ухватить. Непродолжительная, но ожесточенная схватка насмерть. Побеждает человек. Подобрав пистолет, Иван бежит в чащу.

Он ждет погони, выстрелов, собак. Но вдруг слышит приглушенный окрик, который никак не может быть вражеским. Значит, это — бежавший узник. Иван устремляется еще быстрее — одному уйти легче. Вблизи слышится треск мотоциклов, Иван вынужден укрыться, и его догоняет девушка. Она тоже из лагеря и бежит следом за русским. Иван в замешательстве: их так легко заметить с дороги. Он хватает девушку за руку и тащит в укрытие, но с ее ноги спадает колодка, и узница бросается назад за колодкой. И это в самый напряженный момент, когда рядом мотоциклы. В порыве раздражения Иван бьет ее по щеке, впрочем, тут же пожалев об этом.

К счастью, мотоциклисты проскакивают, не заметив их, и двое беглецов имеют возможность рассмотреть друг друга. Иван, однако, все сердится, не скрывая того: спутница явно ему ни к чему. Куда с ней, такой? А девушка хороша — мила и изящна. Она итальянка и намерена пробраться туда же, куда и он — на фронт, чтобы бить немцев.

Эта наивность злит Ивана, который не прочь уйти от нее, но пока не решается этого сделать. Молча они лезут все выше в горы, а выбившись из сил, ночуют в глухом ущелье.

Все последующее — это их путь на перевал — ряд приключений.

Беглецы знакомятся: он — сын белорусского крестьянина, она — дочь коммерсанта из Рима. Зовут ее Джулия. Объясняются оба на смеси русско-немецко-итальянских слов, отлично понимая друг друга. У австрийца-лесничего Иван отнимает хлеб и кожаную куртку. Это все: буханка хлеба, куртка, деревянные колодки — на двоих. Маловато для того, чтобы преодолеть Альпы, но выбора нет. Вчерашняя неприязнь к Джулии постепенно угасает. Она ему даже чем-то начинает нравиться. И суровый неразговорчивый парень, человек безрадостного детства и более чем жестокой военной судьбы, впервые в жизни чувствует душевное расположение к женщине. Но путь чрезвычайно труден, и вскоре она выбивается из сил. Ночью во время снегопада при восхождении на перевал Джулия, обессилев, отказывается идти дальше.

Короткая ссора. Рассерженный Иван оставляет Джулию на тропе и уходит. Но он не может идти один и возвращается. Взваливает девушку на спину, несколько часов, изнемогая, несет ее в снежном буране. В нем созревает хорошее и очень человеческое чувство.

С трудом преодолевает Иван перевал и под утро без сил падает на траву в зоне лугов.

Просыпается он погожим солнечным утром. Сказочная красота альпийских маков. Джулии нет. В тревоге он мечется по лугу и находит ее в укромном уголке у водопада: обнаженная, она моется. Они встречаются, как после долгой и трудной разлуки. Иван не может понять всей сложности своих переживаний, упрямо сопротивляется непонятному чувству.

Они делят хлеб, питаются ягодами и не спешат из пустынного уголка вниз, где немцы, засады, овчарки. Этот день безраздельно принадлежит им. Правда, тут они переживают трудные минуты первой размолвки, но свежесть и чистота чувства торжествуют. Большая любовь приходит к обоим.

Третья совместная в их пути ночь приносит нежность, сон и под утро очень нелегкие размышления о будущем. Что дальше? Как уберечь счастье, если так трудно отстоять жизнь? Пока в мире фашизм, этот мир против них.

Утром начинается погоня.

Эсэсовцы долго преследуют беглецов. Отстреливаясь, те уходят вверх. Короткое счастье рушится. Но они уже полюбили друг друга и это придает силы. Иван спокоен и тверд, он мужественно встречает опасность. Джулия самоотверженна в их единоборстве за жизнь. Но немцы загоняют беглецов в западню. На краю недоступного ущелья им остается или сдаться, или умереть.

Иван продолжает отстреливаться, тогда эсэсовцы спускают собак. Иван и Джулия решают покончить с собой, но в последний момент Иван бросает девушку в пропасть на нерастаявший сумет снега.

Ивана разрывают собаки.

Это — финал.

Через много лет в далекую белорусскую деревеньку приходит полная душевной теплоты весть от неизвестной итальянки — Джулии Новелли из Рима. Джулия сообщает о себе и своем невероятном спасении. И о сыне, выращенном без отца. И шлет сердечные слова благодарности людям за Ивана, которого не может забыть... Это очень печально. И светло. Это наша борьба и наша жизнь. И наша судьба...[1]

* * *

У фондзе к/с «Беларусьфільм» ў папцы з матэрыяламі па фільму «Альпийская баллада» захоўваецца тры рэдакцыі сцэнарыя. Першая, машынапісная копія (82 старонкі; БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 354–435), са шматлікімі заўвагамі і паметамі, зробленымі алоўкам і фіялетавымі чарніламі; пад назвай «Альпийская баллада» пазначана: «Киносценарий»; на першай старонцы злева ўверсе службовая пазнака ад рукі: «принят редсоветом как первый вариант. 28/II–64 г.». Другая рэдакцыя (89 старонкі; тамсама, арк. 265–353) — таксама машынапісная копія з невялікімі арфаграфічнымі праўкамі; пад назвай «Альпийская баллада» пазначана: «Литературный сценарий». Трэці машынапіс (91 старонка; тамсама, арк. 179–264) — арыгінал апошняй рэдакцыі літаратурнага сцэнарыя з праўкамі аўтара; на першай старонцы злева ўверсе службовая пазнака ад рукі: «Принят редсоветом 20/III–64 и рекомендован в режиссерскую разработку»; на апошняй старонцы ад рукі: «В. Быков 8/III–64 г.».

Пры тэксталагічным параўнанні ўсіх трох рэдакцый звяртаюць на сябе ўвагу наступныя істотныя разыходжанні:

Стар. 78. *Они были гефтлинги, точнее флюгпункты — люди, лишенные всякой надежды выжить на этом комбинате смерти, и единственное, что еще беспокоило их, — это желание в последний раз попытаться добыть свободу или, в случае неудачи, покинуть этот свет, посильней стукнув дверями фашистского райха.* — У 1-й рэдакцыі сцэнарыя гэты сказ адсутнічае (1-я рэдакцыя (I), БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 357; 2-я рэдакцыя (II), тамсама, арк. 268; 3-я рэдакцыя (III), тамсама, арк. 181).

Стар. 80. *Нет, он тоже не стремился умереть — жаждал жить, но, оказывается, в жизни бывают моменты, когда недостает накопленной с годами выдержки, чтобы пережить одну минуту неловко-*

---

[1] Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 402. Арк. 38–41.

сти. — Гэты сказ адсутнічае ў абедзвюх ранейшых рэдакцыях (I, арк. 359; II, арк. 270; III, арк. 183).

Стар. 82. *Только бы достичь леса, спасительной хвойной чащи, только бы успеть скрыться, прежде чем появятся преследователи, — это намерение в те несколько минут отмежевало от него все его прошлое и будущее, сосредоточив всю его волю на жажде спастись. Но добежать до леса он не успел.* — Гэтыя два сказы адсутнічаюць у ранейшых рэдакцыях (I, арк. 362; II, арк. 274; III, арк. 187).

Стар. 84. *Кто это? — подумал он. [...] На двоих сил у него не было.* — Гэты абзац адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 364; II, арк. 276; III, арк. 189).

Стар. 85. *Это было так неожиданно, как и его пощечина, и показалось ему таким необычным, что в Иване будто сдвинулось что-то, сместилось — человеческое на минуту озарило его заскорузлую от страданий душу.* — Гэты сказ адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 365; II, арк. 277; III, арк. 190).

Стар. 85. *Он старался быть безразличным к ней, если бы она отстала совсем, возможно, вздохнул бы с облегчением, но все же, пока она шла за ним, не мог и прогнать ее.* — Гэты сказ адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 366; II, арк. 278; III, арк. 191).

Стар. 88. *Первый сон.* — У 1-й рэдакцыі «Первый сон» адсутнічае (I, арк. 369; II, арк. 281–283; III, арк. 194–196).

Стар. 88. *...роскошно сервированный стол с вином, хрусталем, фарфором.* — У 2-й рэдакцыі далей ішоў наступны сказ: «На огромном фарфоровом с позолотой блюде горка свежего густо дымящегося картофеля, на другом, на капустных листьях, каравай деревенского хлеба, рядом кусок сала и горка колбасы» (II, арк. 282; III, арк. 195). Скарочаны В. Быкавым, відаць, з той прычыны, што чыноўнікі Галоўнага ўпраўлення мастацкай кінематаграфіі Дзяржкамітэта Савета Міністраў СССР па кінематаграфіі, прымаючы сцэнарый, асобным пунктам пазначылі: «Вызывает возражения сон Ивана, где он видит пышное убранство стола немцев. Эти ассоциации неорганичны для характера Ивана и для той жизненной ситуации, в которой он находится».

Стар. 90. *«Дорога! — невесело подумал Иван. — Ничего себе дорога!» Но выбор у них был небольшой, и, если уж посчастливилось вырваться из ада, так глупо было бы спасовать и дать повесить себя под барабанный бой на черной удавке.* — Гэты абзац адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 371; II, арк. 285; III, арк. 198).

Стар. 91. *Эти слова для него мало что значили. [...] Вряд ли из нее получится надежный товарищ в этом его четвертом побеге, думал Иван, утешаясь только той мыслью, что в спутники себе он ее не выбирал.* — Гэты абзац адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 372; II, арк. 286; III, арк. 199).

Стар. 93. *Все время его точило сомнение в отношении австрийца, от которого теперь можно было ждать разного. [...] Они вынудили*

его и на это унижение, и оттого он еще более ненавидел их. — Гэты абзац адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 375; II, арк. 290; III, арк. 201а).

Стар. 105. — *Ну что ж! Пропадай, — с деланным равнодушием говорит он и требует: — Давай тужурку.*

Она снимает с себя тужурку, кладет ее на камень, потом сбрасывает с ног колодки и составляет их рядом. Он застывшей ногой отодвигает колодки в сторону.

— Оставь себе. В лагерь бежать, — говорит он, натягивая на себя тужурку. — У 1-й рэдакцыі гэты эпізод выглядае наступным чынам:

«— Ну что ж! Пропадай, — с деланным равнодушием говорит он и требует: — Давай клумпесы.

Она снимает с ног колодки и составляет их рядом. Он торопливо одевает их.

— Скидывай тужурку.

Она послушно снимает и тужурку, которую он тут же натягивает на себя» (I, арк. 390; II, арк. 306; III, арк. 216).

Стар. 108. *Второй сон.* — У 1-й рэдакцыі «Второй сон» адсутнічае (I, арк. 395; II, арк. 311–312; III, арк. 221–222).

Стар. 116. — *И Сибирь биль! Плёхой кольхоз биль?* — У 1-й рэдакцыі: — «Голяд биль! И энкеведэ биль? Тюрьма биль?» (I, арк. 404; II, арк. 322; III, арк. 231).

Стар. 116. — *Один пляхой руссо сказаль.* — У 1-й рэдакцыі: «— Один руссо лягер сказаль» (I, арк. 404; II, арк. 322; III, арк. 231).

Стар. 116. — *Невинни люди Сибирь гналь?*

— В Сибирь? — У 1-й рэдакцыі: «— Невинни люди тюрьма браль?» (I, арк. 404; II, арк. 322; III, арк. 231).

Стар. 116. *Ну конечно, она что-то слышала о том, что происходило в его стране в те давние годы, возможно, ей представляли это совсем в ином свете, нежели было на деле. [...] Иван это понял с отчетливой ясностью, и ему стало легче и спокойнее, будто решилось что-то и осталось только дождаться результата.* — Два гэтыя абзацы адсутнічаюць у ранейшых рэдакцыях (I, арк. 405; II, арк. 324; III, арк. 232).

Стар. 117. *Он подкрался очень близко и теперь настороженно стоит в траве, умоляюще глядя на Ивана. [...]*

Иван, сжимая пистолет, провожает его невеселым озабоченным взглядом. — У 1-й рэдакцыі гэты раздзел выглядае інакш:

«Он нечаянно натыкается тут на Ивана и, в испуге отпрянув в сторону, громко икает. В тот же миг он вскидывает вверх руки и торопливо лепечет:

— Никс, никс шиссен! Их ариер! Их ариер! (Не стреляй! Я ариец.)

Немец страшен, почерневший от пота и грязи, с искаженным выражением нечеловечески худого лица, в расстегнутой куртке и в клочья изодранных штанах. Иван молча несколько секунд вглядывается в него, затем опускает пистолет.

— Их ариер! Их ариер! — сиплым голосом убеждает немец, видимо, принявший Ивана за австрийца или эсэсмана.

— Никс эршиссен! Их лояль дойч! Зэр герн габэн фюрер! (Не убивай! Я лояльный немец. Я преданно люблю фюрера.) — говорит он и нерешительно опускает руки.

— Пошел к черту! — с раздражением бросает Иван. — Фюрер твой — швайн!

Немец опять икает, умолкает и будто окаменевает. Маленькая лысая голова его на длинной шее смущенно втягивается в плечи.

— Ты болван! А Гитлер твой собака. Хунд фюрер, понял?

Немец молчит. Иван приказывает:

— А ну говори: Гитлер швайн!

Немец еще раз икает, оглядывается и по-идиотски, будто затравленная собака, глядит на Ивана. Тогда Иван, ощутив в себе злорадное намерение переломать лояльность этого арийца, вытаскивает из тужурки хлеб.

— Брот? — вскрикивает немец.

— Брот, да. А ну, Гимлер капут!

— Никс. Никс капут! — испуганно отзывается немец.

Иван настойчивее:

— Гимлер капут!

— Гимлер... Гимлер капут! — испуганно повторяет безумец и оглядывается.

— Во, во! А ну еще: фашизм капут! — Иван поднимает руку с хлебом.

— Фашизм капут!

— Громче! Штаркер!

— Фашизм капут!

— Гут! Гитлер капут!

— Гитлер капут! — неуверенно повторяет немец.

— Громче!

— Гитлер капут!

— Фашизм капут! Геринг капут! — кричит Иван и немец повторяет этот его крик, уже не оглядываясь. Гулкое эхо начинает отдаваться в ущелье.

— Ну вот! Оказывается, и ариец может на фюрера лаять. Только тренировка требуется.

Немец выжидательно и покорно стоит, не отрывая глаз от куска хлеба.

— Из рус Иван! Форштей? — говорит Иван.

Немец от этих слов опять мучительно передергивается, руки его тянутся вверх.

— Никс шиссен! Никс шиссен!

— Ладно! Пошел к черту. Лови вот!

Иван отламывает от хлебного куска корку и швыряет ее немцу. Тот бросается наземь, хватает ее вместе с песком и травой и бокомбоком трусливо бежит вниз по склону.

Иван, играя пистолетом, в задумчивости провожает его злым озабоченным взглядом» (I, арк. 405–407; II, арк. 324–325; III, арк. 233–234).

Стар. 119. — *Карашо.* — У 1-й рэдакцыі: «— Карашо, Иван. Очен вундершон. (Чудесный.)» (I, арк. 409; II, арк. 327; III, арк. 236).

Стар. 121. — *Хороший, говоришь, а власовцем обзывала, — вспомнив недавнюю размолвку, говорит Иван. [...]*

— Джулия мнёго слышал Россия. — У 2-й рэдакцыі гэтая гутарка зусім кароткая — пасля слоў Івана: «Сам он сволочь. Из кулаков, видно» ідзе аповед Джуліі: «Джулия мнёго слышаль Россия» і г. д. па тэксце. У 1-й рэдакцыі гэты эпізод выглядае інакш:

«— Хороший, говоришь, а не веришь! Вон как кричала, — вспомнив недавнюю размолвку, говорит Иван.

Джулия, вдруг посерьезнев, вздыхает.

— Нон вэришь. Джулия вэришь Иванио. Иванио знат правда. Джулия нон понимат правда. Нон понимат, почему руссо нон бостоваль, нон протэсто?

Иван тоже делается серьезным, все, чего они только коснулись в разговоре, очень сложно, и он не знает, как это объяснить ей.

— Ты плохо представляешь все это. Против кого протестовать было?

— Почему позволят Сталин? Вожд Сталин?

— Сталин? Понимаешь, — задумчиво говорит он, разламывая пальцами стебельки. — Разве Сталин обо всем знал? От него же скрывали. Всякие сволочи.

— Почему нон жалобы Сталин?

— Жалобы? Писали и жалобы. Только не доходили до него.

— Почему так несправьядливо?

Иван молчит, нелегко задумавшись. Джулия во все глаза глядит на него.

— Да, брат, была проруха. Черт ее знает почему. Страху нагнали на всю страну... Знаешь, когда забрали Анатолия Евгеньевича, учителя нашего, я места себе не находил. Все думал, как дать Сталину знать? Как помочь людям? И решил, надо самому добраться в Москву. Ну подремонтировал отцовские сапоги и вечерком по холодку рванул в Полоцк. Это железная дорога там была, эйзенбан, и станция. Денег не было, отважился зайцем, по-немецки шварцфарт.

— Шварцфарт? Это опасно! — сдвинув брови, говорит Джулия.

— Ну что там опасно! Вот хуже было, когда за Смоленском высадили и в милицию. Стали допрашивать: кто, куда, по какому делу? Вижу, не прорвешься в Москву, дай, думаю, расскажу тут, что у нас, в Белоруссии, творится, может, помогут. Рассказал. Видно, все же неплохие люди попались, слушали внимательно, а потом говорят: мотай домой и помалкивай. Не то сам окажешься, где твой Анатолий Евгеньевич. Так ни с чем и вернулся.

— Руссо феномено! Парадоксо. Удивително, — пожимая плечами, говорит Джулия. — Джулия мнёго слышал Россия» (I, арк. 412–413; II, арк. 329–330; III, арк. 238–241).

Стар. 123. — *Она и есть самая справедливая, — замечает Иван. — Я вот на тракториста выучился, и бесплатно. А учителей сколько стало. Из тех же мужиков.*

Пауза. Джулия задумывается.

— Ничего, — улыбнувшись, говорит Иван. — Главное — вот этого душегуба бы одолеть — Гитлера. — У 1-й рэдакцыі:

«— Она и есть самая справедливая, — замечает Иван. — У нас эксплуатации нет — раз. Буржуев разных также...

Джулия с шутливой грубоватостью шлепает его по руке.

— Джулия нон все говори. Иван нон мешай.

И после непродолжительной паузы, за время которой ее подвижное лицо опять омрачается трудно пережитым, продолжает:

— Руссо синьорина Оля мнёго говориль лягер Россия. Джулия нон вериль плёхо Россия — плёхо дэвушка Оля. Думаль, Оля говори нон правда. Тут Иван говори: Россия — голяд. Это биль очен болно Джулия.

— Ничего, — улыбнувшись, говорит Иван. — Все одолеем: голод, несправедливость. Главное бы вот этого душегуба одолеть — Гитлера» (I, арк. 413–414; II, арк. 330–331; III, арк. 241–242).

Стар. 124. *Что-то недосказанное, второстепенное, все время державшее их на расстоянии друг от друга, было преодолено, пережито счастливо и почти внезапно. Среди дремучей первозданности гор в одном шаге от смерти родилось неизведанное, таинственное и властное, оно жило, жаждало, пугало и звало...* — Гэтыя два сказы адсутнічаюць у ранейшых рэдакцыях (I, арк. 415; II, арк. 332; III, арк. 243).

Стар. 125. *Кто бы мог подумать, что эта девчонка за два дня станет для него тем, чем не стала ни одна из своих соотечественниц — пленит его душу в такое, казалось бы, самое неподходящее для этого время? [...] Как все запуталось, перемешалось на этом свете, неизвестно только, кто перемешал это — бог или люди?* — Гэтыя тры сказы адсутнічаюць у ранейшых рэдакцыях (I, арк. 416; II, арк. 334; III, арк. 244–245).

Стар. 127. *Третий сон.* — У 1-й рэдакцыі «Третий сон» адсутнічае (I, арк. 419; II, арк. 337–338; III, арк. 248).

Стар. 128. *«Проклятый сумасшедший, почему я не убил его? — в отчаянии думал Иван. — Все они сволочи, одного поля ягоды...»* — Адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 420; II, арк. 339; III, арк. 249).

Стар. 129. *«Черт! [...] Имея уже немалый опыт побегов, он понимал всю сложность такого положения и знал, что если немцы обнаружат их, то уже не упустят».* — Адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 421; II, арк. 340; III, арк. 251).

Стар. 133. *«Что за напасть, что они хотят?» — думал Иван. [...]*

Но что? — Адсутнічае ў 1-й рэдакцыі. У 2-й рэдакцыі адсутнічаюць толькі два сказы: «Что за напасть, что они хотят? — думал Иван»; «Но что?» (I, арк. 427; II, арк. 346; III, арк. 257).

Стар. 134. *Казалось, все уже кончено, и он не успокаивал ее, не утешал — он не находил для этого слов.* — Адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 428; II, арк. 347; III, арк. 258).

Стар. 135. *Заламывая руки, Джулия в отчаянии скользит взглядом по мрачным утесам. [...]*

Вдруг Джулия замирает. — Гэты фрагмент адсутнічае ў 1-й рэдакцыі (I, арк. 429; II, арк. 349; III, арк. 259–260).

Стар. 136. *Где ест Мадонна?* — У 1-й рэдакцыі далей ідзе сказ: «Где ест справьядлівост?» (I, арк. 429; II, арк. 350; III, арк. 260).

Стар. 136. *— Будет кара! — точно очнувшись, говорит он. — Будет!* — У 1-й рэдакцыі: «— Есть справедливость! — точно очнувшись, кричит Иван. — Будет кара! Будет!» (I, арк. 429; II, арк. 350; III, арк. 260).

Стар. 136. *Он свернет головы этим гадам!* — У 1-й рэдакцыі: «Уж он свернет головы этим сволочам!» (I, арк. 429; II, арк. 350; III, арк. 260).

Стар. 136. *— Он карашо? [...]*

— Да! — твердо говорит он. — Я пошутил. Я соврал! Россия чудесная! Самая лучшая! — Гэты фрагмент адсутнічае ў 2-й рэдакцыі. У 1-й рэдакцыі пасля гэтых слоў ідзе: «Справедливая. Сильная. И люди, и земля, и власть! А что еще будет! После Гитлера! Вот увидишь!» (I, арк. 430; II, арк. 350; III, арк. 260).

Стар. 136. *— Я зналь. Руссо очен любят шутиль, — сквозь слезы, но светло улыбается она.* — У 1-й рэдакцыі:

«— Зачем так шютиль? Плёхо шутиль...

— Прости.

— Я знат, — почти сквозь слезы, но светло улыбается она. — Я знат. Я нон верить тебе. Я думаль: немножко Иван говори неправда. Я нон ошибалься» (I, арк. 430; II, арк. 350; III, арк. 260).

Стар. 136. *В это время немцы пускают собак. [...]*

И вот в кадре пейзаж меняется, горы исчезают, появляются нивы, поля, перелески, озера, и над всем этим на фоне утихающей музыки звучат величественно, скорбно, человечно слова из письма Джулии... — У 2-й рэдакцыі гэты эпізод выглядае наступным чынам:

«В это время немцы пускают собак.

Пять пегих, спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремляются по склону вниз. Иван вскакивает и хватает Джулию за руку. Та бросается к нему на грудь и захлебывается в плаче. Он отрывает ее от себя и, толкнув на самый край пропасти, вскидывает пистолет. В ее глазах уже нет плача — в них только молчаливая готовность умереть.

Но Иван бросает взгляд в ущелье и у него мелькает надежда.

— Прыгай!

Джулия испуганно отшатывается.

— Прыгай на снег! — кричит он и оглядывается.

Собаки уже рядом.

Тогда он двумя руками сильно толкает ее, она падает вниз, кувыркается по снежному намету и в ущелье, отдаляясь, гремит ее крик:

— Ив-а-а-ан!

Он тут же оборачивается — на прыжке уже взвилась собака, Иван стреляет в нее, потом в следующую. Остальные сбивают его с ног.

— А-а-ан! — доносится далекий женский голос, но пейзаж на экране уже белорусский: озеро, солнечный полдень, тихие спокойные облака...

Камера идет высоко над озерно-лесным краем, затем начинает снижаться над озером. Торжественно и величаво звучат слова письма Джулии:»

У 1-й рэдакцыі:

«Она как-то разом светлеет лицом, потом вскакивает на колени и, повернувшись к немцам, запевает:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Иван, удивившись, сначала округляет глаза, бросает взгляд в седловину, где так же удивленно замирают немцы. И он начинает подпевать Джулии.

Над бездной ущелья, в ветреном просторе гор несется светлая мелодия мира, мечты и любви.

Вскоре, однако, немцы выпускают длинную беспорядочную очередь, пули высекают пыльные дымки на камнях. Иван дергает Джулию и оба они склоняются за выступ скалы.

Несколько минут они лежат под каменным барьером. Над ущельем грохочут очереди. Потом наступает тишина и в ней что-то страшное.

Джулия хочет что-то сказать, но Иван жестом останавливает ее, вслушивается — ветер доносит из-за седловины лай собак. Это ведут овчарок.

Ивана взрывает гнев, он дико ругается и поднимается из-за камней — оборванный, заросший щетиной, страшный. Широко расставив ноги, он потрясает тяжелыми кулаками.

— Звери! Сволочи! Сами боитесь! Помощников ведете! Ведите, ну! Пускайте! Не взять вам нас! Вот! Поняли?

Немцы в седловине не стреляют, они суетятся, принимая собак. Ивана бьет лихорадка, он дрожит. Это конец. Он последним взором окидывает горы, дальний хребет, бросает взгляд в небо — там облачно и мрачно.

Собаки на подходе к седловине — лай их становится звучней.

Джулия, поняв все, вдруг бросается к Ивану и закрывает лицо руками.

— Иван, нон собак! Нон! Иван эршиссен! Скоро, скоро!

Иван вновь становится спокоен и тверд. Он поднимается на ноги, снимает с предохранителя пистолет. Джулия, всхлипывая, твердит-просит:

— Скоро, Иван! Скоро!

В это время немцы пускают собак.

Один, два, три, четыре, пять пегих спущенных с поводков овчарок, распластавшись на бегу, устремляются к лощине. Иван хватает Джулию за руку, та бросается ему на шею и захлебывается в плаче. Он отрывает ее от себя, толкает к краю обрыва. Девушка не сопротивляется, лишь всхлипывает, будто задыхаясь, глаза ее становятся огромны и в них — отчаянный, задушенный внутри крик.

На обрыве Иван бросает взгляд в глубину ущелья, оно попрежнему мрачно и сыро, тумана, однако, там стало меньше и в нем стал заметен узкий длинный язык нерастаявшего снега, который поднимался высоко кверху.

Это породило надежду, Иван опускает уже поднятый для выстрела пистолет и толкает Джулию на самый край пропасти.

— Прыгай!

Джулия испуганно отшатывается.

— Прыгай на снег!

Она опять отшатывается и закрывает лицо руками.

Собаки тем временем уже рядом, их лай раздается уже за самой спиной.

Иван зажимает пистолет в зубах, хватает девушку за воротник и брюки, в отчаянном напряжении сил вскидывает ее над собой и бросает в пропасть. В последнее мгновение он успевает увидеть, как она перелетает через каменный карниз. Тогда он, хромая, делает несколько шагов от обрыва.

Собаки выскакивают из-за пригорка, бешенно взвывают. Впереди всех мчится одноухий бульдог-волкодав. Перемахнув через камни, он взмывает в воздух в последнем прыжке, и Иван, не целясь, стреляет в упор в его ощеренную клыкастую пасть. Одноухий с лёта, юзом проносится мимо него в пропасть.

Тотчас же прыгают еще два, Иван стреляет последний раз, но сообразить, попал или нет, уже не успевает.

Его недоумение обрывает бешенный удар в грудь, боль пронизывает горло, небо опрокидывается. На несколько секунд все тонет в визге, вое, волтузне собачей свалки. Потом все утихает...

Эпилог

Двор Борисихи. Почтальонка читает письмо. Несколько женщин с граблями. Несколько подростков. Знакомый нам дед. Старая Борисиха сидит на завалинке, ушедши в себя, и на ее отрешенном морщинистом лице медленно катятся две слезы.

В напряженной тишине звучит взволнованный молодой голос девушки-почтальонки» (I, арк. 430–433; II, арк. 350–351; III, арк. 261).

Стар. 137. *На экране — жизнь страны: пашут поле, идут плоты по реке, дымят заводские трубы...* — У 1-й рэдакцыі гэты фрагмент адсутнічае. У 2-й рэдакцыі: «— Иван! — отчетливее зовет кого-то над озером женщина. Поодаль слышится возня в воде, шаги на отмели. В воде расплываются круги» (I, арк. 433; II, арк. 352; III, арк. 262).

Стар. 137. *Мне пришлось разделить с Ним последние три дня его жизни — три огромных, как вечность, дня любви, познания и счастья. [...] Долгие месяцы моего одиночества полнились лишь тремя скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним.* — У 2-й рэдакцыі гэты фрагмент выглядае наступным чынам: «Мне пришлось разделить с Ним последние три дня его жизни. Своей гибелью он искупил мне жизнь, которая без него поначалу казалась мне лишенной всякого смысла. Долгие месяцы моего одиночества полнились лишь тремя скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним, и вся моя последующая жизнь проходит в ярком свете, излученном встречей с его личностью». У 1-й рэдакцыі: «Мне пришлось разделить с Ним последние три дня его жизни — три огромных, как вечность, дня любви, познания и счастья. Богу не угодно было дать мне разделить с ним и смерть — рок или обычный нерастаявший сумет снега помешал мне разбиться в пропасти, которую я предпочла крематорию. Потом меня подобрал человек, не лишенный доброго сердца в груди. Конечно, это случилось позже, а в тот первый миг в пропасти, когда я открыла глаза и поняла, что жива, Ивана в живых уже не было. Случилось так, что он опередил меня — вверху под облаками утихал вой псов и лишь эхо Его последних двух выстрелов, отдаляясь, грохотало в ущелье.

Так со временем я возвратилась к жизни, которая без него поначалу казалась мне лишенной всякого смысла. Долгие месяцы моего одиночества полнились лишь тремя скорбными и счастливыми днями, прожитыми с Ним» (I, арк. 434; II, арк. 352; III, арк. 262).

Стар. 137. *На экране молодежь, клуб, в скверике силуэт двоих, склонившихся один к другому.* — У 1-й рэдакцыі адсутнічае. У 2-й рэдакцыі: «Камера снижается над деревенькой у двух озер, идет несколько в сторону, к берегу, на голос, который упрямо зовет:

— Ива-ан!» (I, арк. 434; II, арк. 352; III, арк. 262).

Стар. 137. *Я бы могла описать вам, какой это был человек, но, думаю, вы лучше меня знаете Его. [...] И еще — фото... хотя бы какое-нибудь: детское, юношеское, или чего лучше — солдатское.* — У 2-й

рэдакцыі гэты фрагмент адсутнічае (I, арк. 434–435; II, арк. 352; III, арк. 262–263).

Стар. 138. *Камера идет дальше. На экране — памятник на площади, и голуби и дети.* — Адсутнічае ў ранейшых рэдакцыях (I, арк. 435; II, арк. 352; III, арк. 263).

Стар. 138. *С благодарением всем...* — У 2-й рэдакцыі: «С благословением всем» (I, арк. 435; II, арк. 353; III, арк. 264).

Стар. 138. *Уважающая вас Джулия.* — У 2-й рэдакцыі далей ідзе з абзаца: «Камера на самом берегу озера.

— Иван! — нетерпеливо в последний раз зовет женщина за кадром. Близко на воде раздаются шаги, зеркальная поверхность колеблет отраженную чью-то тень, хлопает вода и в кадр входит Иван.

Это пухлый неторопливый пятилетний карапуз, лобатая, доверчивая его мордашка вопросительно заглядывает в объектив камеры, улыбается, он занят водой и не хочет отрываться от своего занятия.

Это новый Иван, который, на смену погибшим, в мире и тишине растет в Терешках» (I, арк. 435; II, арк. 353; III, арк. 264).

* * *

Стар. 78. *Гефтлинг.* — Зняволены *(ням.)*.

Стар. 80. *Ком!* — Да мяне! *(Ням.)*

Стар. 86. *Руссо очень, очень фурьёзо? Как это дойч? Бёзе?* — Рускі вельмі, вельмі злосны? Як гэта па-нямецку? Злосны? *(Італ.-рус.-ням.)*

Стар. 86. *Я — гут.* — Я — добры *(рус.-ням.)*.

Стар. 87. *Ду гут. Их гут!* — Ты добры. Я добрая! *(Ням.)*

Стар. 87. *Тэдэско-гефтлинг.* — Немец-зняволены *(італ.-ням.)*.

Стар. 87. *Ну, шлауфен, понимаешь?* — Ну спать, разумееш? *(Ням.-рас.)*

Стар. 89. *Баста шляуфен. Марш-марш надо!* — Хопіць спаць. Ісці трэба! *(Італ.-ням.)*

Стар. 89. *О, Остфронт! Рус фронт!* — О, Усходні фронт! Рускі фронт! *(Ням.)*

Стар. 89. *Си, си!* — Так, так! *(Італ.)*

Стар. 91. *А, понималь: ляндвиршафт?* — А, разумею: сельская гаспадарка? *(Рус.-ням.)*

Стар. 91. *Ля вораре.* — Працаваць *(італ.)*.

Стар. 94. *Бене человек.* — Добры чалавек *(італ.-рус.)*.

Стар. 94. *Данке.* — Дзякуй *(ням.)*.

Стар. 94. *Давай все-все манджаре!* — Давай усё-ўсё есці! *(Рус.-італ.)*

Стар. 107. *Руссо аллес, аллес вундершон!* — Рускія ўсе, усе цудоўныя! *(Італ.-ням.)*

Стар. 113. *Ми пар ди удире анкора,*
Ля воче туа, им медзо ой фьори

Пэр нон софрире,
Пэр нон морире
Ио ти пенсо, о ти амо...
— Мне здаецца, што я яшчэ чую
Твой голас між кветак.
Каб не пакутваць,
Каб не памерці,
Я думаю пра цябе і цябе люблю... *(Італ.)*
Стар. 115. *Эссен!* — Ежа! *(ням.)*

Западня
Киносценарий Л. Мартынюка, при участии В. Быкова
(стар. 139)

Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе к/с «Беларусьфільм»: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426, арк. 37–64.

Датуецца 1965 г.

Сцэнарый напісаны па матывах аднайменнай аповесці рэжысёрам-пастаноўшчыкам кароткаметражнага мастацкага фільма «Западня» Л. Мартынюком пры ўдзеле В. Быкава.

Існуе два варыянты літаратурнага сцэнарыя (памерам адпаведна ў 23 і 31 машынапісныя старонкі). Аўтарства першага, па сведчанні самога Л. Мартынюка, належыць выключна яму. Пра гэта ж пісаў і В. Быкаў тагачаснаму выконваючаму абавязкі дырэктара «Беларусьфільма» і адначасова старшыні сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі кінастудыі ў адказ на яго просьбу даслаць сцэнарый[1]:

«Уважаемый тов. Порицкий!

Я не писал сценария по моей повести “Западня”, предоставив это не слишком веселое дело дипломанту Л. Мартынюку, который месяца четыре назад приезжал в Гродно для переговоров по этому поводу. Он согласился. Но в каком состоянии находится сейчас эта работа, сказать не могу, т. к., кроме повести, к данному замыслу ничем более не причастен. Но мне думается, что сценарий Мартынюком уже написан и Студия его получит.

С уважением,

В. Быков

5 марта 1965 г.».[2]

---

[1] Паводле ліста А. Парыцкага да В. Быкава ад 3 сакавіка 1965 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 107.

[2] Аўтограф. Арыгінал. Уверсе злева службовыя паметы ад рукі: «Тов. Лужанину А. А. *А. Порицкий*», «[*неразб.*]! М[ожет] б[ыть], надо написать Мартынюку. *М. Лужанин*». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 106.

Пацвярджаў гэта і Л. Мартынюк у тлумачальным лісце да кіраўніцтва «Беларусьфільма»: «Мое авторство в сценарии — случайность, т. к. это желание В. Быкова. И дальше все замечания по сценарию он просит адресовать ко мне, обещая консультацию»[1]. Заўважым, што думка напісаць сцэнарый без удзела пісьменніка належыла не Л. Мартынюку — вось што раіў будучаму рэжысёру-пастаноўшчыку «Западни» больш вопытны І. Дабралюбаў, які ўжо добра ведаў беларускае кінематаграфічнае асяроддзе і які рэкамендаваў Л. Мартынюку звярнуць увагу на гэтую аповесць пасля публікацыі яе ў часопісе «Юность» (1964, № 7):

«Лит[ературный] или уже реж[иссерский] сценарий пиши! Не тяни! Договорись только с Быковым о согласии, заручись поддержкой и одобрением проделанной тобой работы.

Не афишируй, особенно в пределах республики и студии, что сценарий пишешь сам. [...]

...упаси бог тебе заявить, что ты сам написал по повести Быкова литературный сценарий. Сразу же найдут три миллиона погрешностей и будут настоятельно предлагать соавтора или, еще хуже, скажут, чтобы сценарий заново написал, так как твой — это типичное ничто, кто-нибудь из драматургов»[2].

Па сведчанні Л. Мартынюка, пры сустрэчы ў Гродна, В. Быкаў параіў: «Ты не ваяваў, і дзеля таго, каб адчуць праўду атмасферы вайны, перачытай “Севастопольские рассказы” Талстога. Там усё праўда». І прыкладна тады ж зрабіў дароўны надпіс на выданні «Роман-газеты» (№ 19)[3], куды была ўключана «Пастка»:

«Лёне Мартынюку,

с дружбой и надеждой, что в кино получится лучше, чем в этой книге. Пусть твоим девизом будет: ломоть черствого хлеба, густо посыпанный солью.

Искренне

В. Быков

6 [?]/XI–64 г.».

---

[1] З ліста Л. Мартынюка да А. Парыцкага, А. Куляшова, С. Скварцова ад 25 сак. 1965 г. Аўтограф. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 104.

[2] З ліста І. Дабралюбава да Л. Мартынюка без даты. Аўтограф. Арыгінал. Архіў Л. Мартынюка.

[3] Быков В. Повести огненных лет. М.: Художественная литература, 1964.

Першы варыянт сцэнарыя, прадстаўлены Л. Мартынюком яшчэ да заключэння дамовы[1], быў разгледжаны на рэдакцыйным савеце 11 мая 1965 г., на якім прысутнічаў і В. Быкаў.

Пры размове сам-насам В. Быкаў сказаў Л. Мартынюку: «Тое, што ты прыдумаў, гэта ўсё цікава, але гэта ўсё не маё». Між тым прадстаўлены сцэнарый быў прыняты ў якасці першага варыянта; аўтарам былі зроблены наступныя рэкамендацыі: «...найти точный финал, который эмоционально и смыслово завершил бы новеллу.

2. Уточнить образ Петухова, сделать его тоньше, избежать прямолинейности в его характере»[2].

Быў прызначаны тэрмін здачы выпраўленага варыянта — 15 чэрвеня; з В. Быкавым і Л. Мартынюком, як аўтарамі, была падпісана дамова[3].

Другі варыянт сцэнарыя здадзены Л. Мартынюком 21 мая[4] і меў іншую назву — «Убитый»[5]. Пасля кансультацый з пісьменнікам у

---

[1] Прадстаўлены 28 сакавіка 1965 г. — паводле службовай паметы на сцэнарыі «Западни». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 279.

[2] Паводле «Заключения сценарно-редакционной коллегии на литературный сценарий “Западня”». Машынапіс за подпісамі К. Губарэвіча (?), Р. Раманоўскай. На першай стар. справа ўверсе: «Утверждаю: и. о. директора киностудии “Беларусьфильм” *А. Порицкий*. 14 мая 1965 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 66–67.

[3] «Типовой сценарный договор (для художественных фильмов)» ад 12 мая 1965 г. за подпісамі А. Парыцкага, В. Быкава, Л. Мартынюка. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 72–73; яшчэ адзін экзэмпляр дамовы захоўваецца ў асабістым архіве Л. Мартынюка. Заўважым, што, па сведчанні Л. Мартынюка, палову свайго ганарара В. Быкаў перадаў яму — як непасрэднаму аўтару сцэнарыя.

[4] Паводле «Учетной карточки». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 1, а таксама «Расписки» аб атрыманні редкалегіяй к/с «Беларусьфільм» літаратурнага сцэнарыя «Западня» ў 3-х экз. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 34.

[5] Машынапіс. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 246, 248–277. На першай стар. пазначана: «КИНОСТУДИЯ “БЕЛАРУСЬФИЛЬМ”»; ніжэй: «УБИТЫЙ Сценарий короткометражного фильма по мотивам повести В. Быкова “Западня”», «АВТОРЫ — В. БЫКОВ, Л. МАРТЫНЮК»; унізе: «ВЫСШИЕ КУРСЫ КИНОРЕЖИССЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО КИНЕМАТОГРАФИИ», «МОСКВА — 1965 год». У справе матэрыялаў па фільму «Западня» захоўваюцца тры машынапісы другога варыянта літаратурнага сцэнарыя — адзін пад назвай «Убитый» і два пад назвай «Западня» (арк. 37–64; 214–244); у другім экзэмпляры зроблена істотная купюра — сінім чарнілам выкраслены наступны фрагмент з салдацкіх рэплік:

«Что, спросила тех, что лежат там, плашмя, в поле после нашей атаки?..

– О, о! — слышен возглас всеобщего восторга» (арк. 216).

Гродна і Мінску рэжысёр значна перапрацаваў сцэнарый (па словах Л. Мартынюка, В. Быкаў выступаў у якасці вуснага суаўтара), наўмысна вярнуўшыся да літаратурнай першакрыніцы. Перапісаным аказаўся ў тым ліку фінал, да якога ў сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі было больш за ўсё прэтэнзій. Так, у першым варыянце ён выглядаў наступным чынам:

«Потом в поле его зрения попали знакомые валенки с желтыми старыми подпалинами, и он, вздрогнув, поднял голову: напротив стоял Орловец...

Климченко поднял голову и увидел перед собой страшное от густой щетины лицо ротного, на котором бешено горели глаза.

Лейтенант онемело и безразлично взглянул в гневную пропасть его зрачков.

В следующее мгновение он, Климченко, с нестерпимым звоном в ухе полетел на землю.

Молча, затаив дыхание от боли в голове, он медленно встал и изо всей силы ударил ротного.

— Пристрелить его, гада! — крикнул ординарец Орловца.

Несколько солдат осуждающе обернулись на его крик. Другие были в растерянности. Климченко опустил голову и когда он поднял глаза, то увидел... эту же растерянность в глазах Орловца, который понял что-то, вглядываясь в открытое окровавленное, но не сломленное лицо лейтенанта.

И, словно не выдержав этого взгляда, Климченко расслабленно опустился на землю, защемил меж колен лицо и выдавил из себя нечеловеческий, полный отчаяния и боли стон:

— Братцы мои!.. Сумка у них и списки...

Кругом гневно загудели бойцы:

— Сволочи! Это все они, сволочи!

— Ну, если возьмем высоту...

— Возьмем!

Перекрывая гомон, Орловец вдруг крикнул:

— Тихо! Молчать! Коли ни черта не понимаете... Ну что мне теперь с тобой делать... Так говорил все же не ты...

Климченко с удивлением поднял голову на Орловца, вдруг быстро вскочил, глаза его пылали бешенством, он рванулся к Голаноге и дернул дуло его автомата.

— Дай!

Ёсць падставы меркаваць, што 21 мая быў здадзены варыянт пад назвай «Убитый» — у машынапісе алоўкам зроблены невялікія стылёва-лексічныя праўкі, якія былі ўлічаны ў варыянце пад назвай «Западня», падрыхтаваным, відаць, пасля 2 чэрвеня — пасля абмеркавання сцэнарна-рэдакцыйнай калегіяй (якую, між іншым, не задаволіла назва «Убитый»).

Голанога, бессмысленно моргнув глазами, отдал автомат взводному. Климченко, будто обезумев, рванулся по склону туда, вверх к высоте.

За ним побежал один солдат, второй, третий, четвертый...

— Отставить! Стой! Назад! — летел им вслед голос Орловца. — Климченко, назад! Все назад! Бегом!

И все остановились. И пошли обратно к оврагу.

Климченко дошел до края, где скрылся командир роты, и увидел его уже внизу у ручья. Рядом с ним стоял офицер в белом полушубке с двумя солдатами.

— Сдать оружие! — донесся до Климченко голос офицера.

— За что? — тихо, про себя, спросил Климченко и ветер как бы разнес над оврагом: — За что? За что?..

— За что, капитан, скажите?

— Ничего, Климченко, не бойсь! Иди сюда. Разберемся.

— Ты победил, сволочь! — сказал Климченко, будто в тумане видя перед собой Чернова. — Сволочь... сволочь?.. — словно повторило эхо, — победил... победил... победил?..

— Взять его! — махнул Петухов — офицер в белом полушубке. И два солдата из комендантского взвода неохотно полезли на обрыв.

— Постойте! Что вы делаете? Вы соображаете или нет? — бросился к Петухову Орловец.

— Трибунал все сообразит! Порядка не знаешь!?

— Ах ты, шкура!

— Я, я? Ах, и ты? И ты тоже? Сдать оружие!

— Что? Оружие? А ты мне его давал? Вон! Вон отсюда! Я здесь командир!

Разъяренный Петухов рванул с плеча ротного его измятый, рассеченный осколком погон:

— Сгною, гад!..

Орловец судорожно начал расстегивать кабуру.

Но в этот момент между ними встал Климченко, окружили солдаты.

— Уйдите, капитан, — сдавленно прошептал он.

Солдаты отделили Орловца от Петухова.

— Ну, вы меня запомните!.. Вы меня всю жизнь помнить будете! — говорил Петухов, оправляя шинель и шапку, потом он повернулся и скорым шагом пошел в тыл по оврагу. За ним не спеша семенили два бойца из комендантского взвода.

Грохнул далекий выстрел орудия, второй, третий, и над оврагом прошелестели снаряды, разорвавшись на высоте.

— Через десять минут атака! Все по местам! — заорал Орловец. Солдаты разбегались по траншеям.

— Ну, а ты чего стоишь? — обернулся Орловец к Климченко. — Слыхал команду? Приказ знает Голанога. Марш к взводу!

Климченко вздрогнул: так неожиданен был для него этот, в сущности, обычный приказ.

— Приведи себя ну хоть немножко в порядок! — виновато, но в то же время грозно сказал Орловец. — Через десять минут пойдем...

Бойцы торопливо располагались в цепь на краю оврага. Климченко тоже взобрался по обрыву наверх и лег между бойцами.

Кто-то сунул ему автомат.

Кто-то передал телогрейку, и лейтенант надел ее.

Рядом оказался Голанога. Затянувшись цыгаркой, он передал ее Климченко.

С благодарностью приняв этот знак солдатской признательности, Климченко два раза жадно затянулся и несколько громче, чем было необходимо, дрогнувшим от волнения голосом крикнул: — Взвод! В атаку! — и побежал.

Весна. День. Солнечно.

На земле видна тень бегущего человека. Слышно только его простуженное дыхание и стук сапогов. Перед его глазами мелькают — прошлогодняя стерня, серая шинель убитого солдата, немецкая каска, брошенная винтовка. И вдруг — резкий, лихорадочный стук пулемета и разрывы пуль, надвигающиеся на тень бегущего, и слова сознания: «Упасть! Упасть! Нет, отпрыгнуть в сторону...» И стон, хриплый, утробный. Камера, словно повторяя движение человека, резко склоняется к его путающимся ногам, потом к животу, и мы видим на мгновение четыре ножа в животе человека, понимая по обмундированию, что это военный, и в следующий миг ножи пропадают, а из-под скрещенных рук этого человека появляются струйки крови. Так он медленно падает набок, скорчившись, прямо себе под ноги. Потом он видит свои ноги и ему кажется, что кто-то кладет на них огромный камень, потом второй, третий. Камни все ближе и ближе накрывают его, он старается их раздвинуть, но их все больше и больше и они закрывают от него и небо, и облака, и солнце, которое на мгновение плеснуло ему светом в глаза. И сразу наступила темнота.

В черном провале сознания Климченко возникают отдельные слова и звуки:

— Доложите в особый отдел...

...Проблеск света среди заваливших Климченко камней, который закрывает наркозная маска.

Звук упавшего на цементный пол хирургического инструмента.

...Шум мотора самолета, то пропадающий, то нарастающий вновь.

И вдруг взрывы снарядов один за другим и крик:

— Война! Война! Война!

И уходящая из глаз Климченко каменная тяжесть, которая открывает взгляду лейтенанта распахнутое окно и склоненное над ним лицо сестры.

И взрывы один за другим.

И испуганные широко раскрытые глаза Климченко.

И вид через окно на реку, закованную льдом, на берегу которой совсем юная девушка в белоснежном халате кричит:

— Весна! Весна!..

А по реке взметались глыбы льда.

Подрывники делали свое дело.

А мост подвесной конструкции уходит прямо от нас к противоположному берегу, прямо к солнцу, низковисящему над горизонтом. Потом наступает успокоительная тишина, в которой слышен весенний голос жаворонка — голос жизни и нескончаемости бытия.

На этом кадре, который вдруг замирает, и идут последующие титры фильма»[1].

Трэба адзначыць, што фінал другога варыянта сцэнарыя быў бліжэй да першапачатковай рэдакцыі аповесці. Справа ў тым, што «Пастку» (тады В. Быкаў называў яе апавяданнем «Хмарнае неба»[2]) аўтар яшчэ ў 1963 г. прапанаваў часопісу «Маладосць», дзе яна была адрэдагавана і падрыхтавана да друку, але апублікавана не была. Упершыню «Пастка» выйшла ў 1964 г. у перакладзе М. Гарбачова ў часопісе «Юность»; у арыгінале ўпершыню апублікаваная: Быкаў В. Адна ноч. Мінск: Беларусь, 1965. Але ў гэтай рэдакцыі фінал быў шчаслівым, у той час як першапачаткова Клімчанка застрэліўся з аўтамата, а абуранага капітана роты Арлаўца вывеў упаўнаважаны асобага аддзела. Такім чынам, у смерці лейтэнанта Клімчанкі пісьменнік бачыў больш праўды жыцця, чым у яго шчаслівым выратаванні, і, мабыць, таму разам з Л. Мартынюком прывёў яго да пагібелі — хай цяпер у кінасцэнарыі. Невыпадкова, відаць, была абраная і іншая назва — «Убитый»: так акцэнтавалася гібель галоўнага героя, тады як у першай рэдакцыі літаратурнага сцэнарыя яму «даравалася» жыццё.

Другі варыянт сцэнарыя абмяркоўваўся на пасяджэнні сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі 2 чэрвеня 1965 г.[3] У выніку галоўны рэдактар сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі А. Куляшоў падпісаў наступнае заключэнне:

«Литературный сценарий “Западня” представляет собою законченное художественное произведение.

Авторы сценария Василь Быков и Леонид Мартынюк в работе над вторым вариантом учли замечания и пожелания, предъявленные ранее сценарно-редакционной коллегией.

---

[1] БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 297–301.

[2] Машынапіс з рэдактарскімі і аўтарскімі праўкамі захоўваецца: БДАМЛМ. Ф. 37. Воп. 1. Адз. зах. 297.

[3] Гл. «Протокол заседания сценарно-редакционной коллегии» ад 2 чэрв. 1965 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 31–33.

Определилась художественная форма киноновеллы, очень динамичной, яркой в проявлении характеров главных героев; достаточно полно для литературного сценария выписан второй план.

Образы главных героев в этом варианте сценария стали более полнокровными, исчезли длинноты в диалогах, точнее и интереснее обозначились острые драматические ситуации и предполагаемые в режиссерской разработке мизансцены.

В настоящем варианте сжатое и лаконичное изложение событий, насыщенных острыми драматическими столкновениями человеческих характеров, судеб, философий, минимальное жизненное время, отпущенное героям для решения внезапно вставших перед ними проблем, позволяют надеяться на интересное режиссерское решение.

Тема человеческого доверия, жизнестойкости советского общества разрабатываются авторами в кульминационном эпизоде возвращения Климченко.

В финале, когда павшего в бою Климченко торжественно несут с поля боя, звучит жизнеутверждающий пафос героизма простых советских людей, боровшихся с фашизмом и победивших его»[1].

У сваю чаргу галоўным рэдактарам Дзяржкіно БССР Г. Таранам было падрыхтавана, аднак не падпісана наступнае заключэнне:

«Литературный сценарий “Западня” представляет собою законченное литературное произведение.

Авторы сценария Василь Быков и Леонид Мартынюк в работе над вторым вариантом учли замечания и пожелания, высказанные ранее сценарно-редакционной коллегией.

Определить тему сценария только как военную — значит дать ему, на наш взгляд, самую общую характеристику, в значительной мере даже внешнюю. Сфера, в которой проявляет себя герой “Западни” — лейтенант Климченко — нравственная, морально-этическая. “Меряется жизнь и смерть большою мерою”, — писал А. Довженко, и эта мера высокой гражданственности положена в основу “Западни”. Это фактически баллада о герое необычайной стойкости, идейной силы и нравственной чистоты.

Случилось обратное — советский офицер во время атаки попал в плен. И не имея сил сломить его физически, враг решил сломить его морально. И дальше произошло почти все так, как и предполагал его следователь — предатель Чернов, отпуская Климченко к своим. Все было так: и штабной офицер, мечущийся по оврагу с пи-

---

[1] «Заключение на литературный сценарий “Западня” (2-й вариант)» за подпісам А. Куляшова. Машынапіс. Справа ўверсе: «Утверждаю: и. о. директора киностудии “Беларусьфильм” *А. Порицкий*. 5 июня 1965 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 30; НА РБ. Ф. 969, воп. 3. Адз. зах. 68. Арк. 93.

столетом, были первые слова “Предатель” и приказ офицера “Взять” Климченко под стражу.

Но было и то, против чего бессильными оказались и черновы, и фашизм, стоявший за их спинами — сила высокого человеческого доверия. Доверия к тому, кто воевал бок о бок с тобой, кто не мог, не хотел, никогда бы не сумел предать. Проще было не поверить, легче — казнить, тяжелее — взять вину на себя. Люди Климченко выбрали последнее.

При всей исключительности этого случая, он очень правдив. Правдив по чувствам, по неибежности именно такого конца.

Тема человеческого доверия, жизнестойкости советского общества утверждается авторами в кульминационном эпизоде возвращения Климченко.

Авторам удалось строго определить форму киноновеллы. Они отказались от заманчивой возможности дать ответвление от сюжета одноименной повести, чтобы исследовать своих героев в иной обстановке. Герой взят под наблюдение только в моменты жизни, когда он должен принимать сугубо важные решения. И нам кажется, что напряженность будущего фильма будет не чисто сюжетная, а психологическая.

Авторам и режиссеру будущего фильма следует уточнить в режиссерской разработке моменты:

1. Правомерны ли в первом эпизоде (окоп) философские рассуждения о смерти? Ведь солдаты, готовящиеся к атаке, вряд ли будут говорить о том, что грозит каждому из них.

2. Следует точнее решить в режиссерском сценарии сцену возвращения Климченко. Надо объяснить — почему поверили солдаты своему лейтенанту после того, как он побывал в плену, и от его имени вел передачу Чернов.

3. Стоит продумать финальную сцену. Возможно, предложенный в первом варианте сценария финал — Климченко уходит в атаку — будет более ёмок и многозначителен, более точен и оптимистичен по звучанию»[1].

У Дзяржкамітэце Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі сцэнарый не зацвярджаўся, але па просьбе Л. Мартынюка быў дасланы на кансультацыю ў Галоўнае ўпраўленне мастацкай кінематаграфіі[2]. Далейшыя перыпетыі яго лёсу былі вядомыя мастацкаму савету «Беларусьфільма» са слоў С. Скварцова: «Второй вариант сценария был наиболее близок к тому, что написал Быков. Он был утвержден

---

[1] З чарнавой рэдакцыі «Заключения на литературный сценарий “Западня” (2-й вариант)». Машынапіс. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 68. Арк. 91–92.

[2] Паводле ліста А. Куляшова да В. Быкава ад 16 ліп. 1965 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 27.

коллегией. Он был запрещен нашим Комитетом и потом направлен в Москву. Там его утвердили и дали на него деньги. Замечания знает только Мартынюк»[1]. Л. Мартынюк сапраўды ведаў пра заўвагі Масквы, бо быў знаёмы з лістом намесніка начальніка Галоўнага ўпраўлення мастацкай кінематаграфіі Камітэта па кінематаграфіі пры Савеце Міністраў СССР І. Кокаравай і члена сцэнарнай рэдкалегіі Галоўнага ўпраўлення Т. Юрэневай, якія пісалі старшыні Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі Б. Паўлёнку:

«На наш взгляд, рассказ В. Быкова, также как и созданный на его основе сценарий, представляют собой интересное художественное произведение, которое может послужить основой для создания фильма выпускника Режиссерских курсов Л. Мартынюка. Этот вопрос уже много времени тому назад при Вашем согласии был положительно решен Советом режиссерских курсов.

Нас несколько удивила Ваша неожиданная новая позиция по данному сценарию. Насколько нам известно, у Вас до сих пор не было вообще никаких критических замечаний, а сейчас Вы ставите под сомнение произведение в целом. Главное управление, обсуждая сценарий “Западня”, высказало целый ряд пожеланий авторам и режиссеру, которые будут способствовать уточнению смысла данного произведения. Однако, повторяю, нам не известно, чтобы со стороны Комитета Белорусской ССР и киностудии были высказаны ранее какие-либо пожелания и критические советы.

Анализируя сценарий “Западня”, мы гораздо ранее Вашего письма пришли к выводу о том, что данное произведение нуждается в некотором уточнении по смыслу, и у Главного управления имеется договоренность с режиссером фильма Л. Мартынюком об изменении финала сценария и его начальных эпизодов. По нашей рекомендации авторы сценария и режиссер будут заканчивать фильм не смертью героя, а сценами атаки, нового боя, в который идет человек, много переживший, для того, чтобы защищать Родину. Фильм должен стать рассказом о мужестве и стойкости советских солдат, которые превыше всего ставят гражданский долг. Таким образом при этих изменениях фильм, на наш взгляд, будет освобожден от некоторого пессимистического оттенка, который в сценарии имеется.

Главное управление считает, что этими поправками сценарий “Западня” может быть принят к постановке.

В связи с Вашим письмом нам хочется высказать пожелание, чтобы студия более точно вела работу с авторами и режиссерами, тем более когда это касается таких незаурядных писателей, как В. Быков. Совместными усилиями нескольких редакционных коллегий и ре-

---

[1] Паводле «Протокола заседания Художественного совета киностудии» ад 27 верас. 1965 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 23.

жиссерских курсов сначала сценарий был утвержден без каких бы то ни было официальных замечаний, а потом он начинает подвергаться сомнению в целом.

Мы высказываем эти соображения для того, чтобы в дальнейшем не давать повода писательской общественности подвергать нас с Вами основательной критике»[1].

Адзначым, што «нечаканая новая пазіцыя» старшыні Дзяржкіно БССР магла быць абумоўлена тым, што ў гэты час у ЦК КПСС быццам бы абмяркоўвалась шырокамаштабная антыбыкаўская кампанія, якая пачала разгортвацца ў наступным годзе — пасля выхаду ў «Новом мире» аповесці «Мёртвым не баліць». Ва ўсялякім выпадку менавіта такое тлумачэнне са ссылкай на адказнага супрацоўніка ЦК В. Шауру[2] даў праз многія гады рэжысёру «Западни» Б. Паўлёнак, які не ўяўляў, як у такой абстаноўцы можна прадстаўляць у Дзяржкіно СССР фільм, зняты па Быкаву (заўважым таксама, што тры гады пасля выхаду «Западни» Л. Мартынюку не дазвалялі здымаць кіно).

Што ж тычыцца прыведзенага вышэй выказвання С. Скварцова, дык яно прагучала падчас абмеркавання ўжо рэжысёрскага сцэнарыя, прэтэнзіі да якога былі практычна ва ўсіх, у тым ліку аўтара «Pасткі»:

«БЫКОВ. Моему соавтору и режиссеру очень трудно. Это его первая работа. У меня другого видения, кроме изложенного мною в повести, нет. Коллегия правильно определила, что нужно держаться ближе к литературной первооснове. Правда жизни требует одной единственной развязки, концепции.

Нам казалось, что для художественной законченности сценария нужно было какое-то дополнение. Мы это сделали в литературном сценарии. Сейчас герой отделывается легким испугом[3].

---

[1] Машынапіс. Копія. Архіў Л. Мартынюка.

[2] Шаура Васілій Філімонавіч (1912–2007) — савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч; сакратар ЦК КПБ (1960–1965); загадчык Аддзела культуры ЦК КПСС (1965–1986); кандыдат у члены ЦК КПСС (1966–1986). Прозвішча В. Шауры фігуруе ў службовых запісках ЦК КПСС і КДБ СССР у сувязі са справай В. Быкава.

[3] Паводле рэжысёрскага сцэнарыя, пасля вяртання з палона Клімчанка, сустрэўшыся вачыма з Арлаўцом, практычна адразу хапае аўтамат у Галаногі і кідаецца ўбок вышыні, але Арлавец спыняе яго воклікам. Таксама значна скарочана-спрошчана сцэна з асабістам:

«Он проходит мимо Галаноги и слышит его слова:

— Стерпи, сынок! Что теперь сделаешь! Закон, как-нибудь...

...недоуменный взгляд Климченко...

...Голанога кивнул в сторону оврага:

— Особый отдел...

Климченко, словно еще не понимая слов старого солдата, подошел к склону оврага и замер...

Внизу стоял Орловец и о чем-то говорил с офицером в белом полушубке. Рядом стояли солдаты из комендантского взвода.

Я думаю, что стоит поднять доработанный и утвержденный вариант литературного сценария.

Особых отступлений в режиссерском сценарии я не вижу. Но там есть некоторые умолчания, которые в фильме не пройдут безнаказанно...».[1]

Такім чынам бачна, што хаця Галоўнае ўпраўленне мастацкай кінематаграфіі і выратавала сцэнарый ад забароны, але разам з беларускім Дзяржкамітэтам па кінематаграфіі прымусіла Л. Мартынюка ўнесці ў рэжысёрскі сцэнарый «Западня (Глазами солдата)»[2] пэўныя змены, аднак і ў такім выглядзе ён не быў прыняты мастацкім саветам[3]. Праз тры дні В. Быкаў напісаў наступны ліст:

«Сценарной коллегии киностудии “Беларусьфильм”

Уважаемые товарищи!

Уезжая в продолжительную командировку и не имея возможности принять участия в очередном заседании художественного совета, хотел бы довести до сведения заинтересованных лиц студии о следующем:

1. С поправками, внесенными в последний вариант сценария “Западня”, согласен.

Офицер штаба сделал шаг вперед и громко сказал:

— Солдат прошу разойтись! Лейтенант Климченко, сдайте оружие...

Лейтенант оглянулся.

По обеим сторонам от него стояли солдаты. Не один из них не шелохнулся.

— За что? За что? — закричал Климченко. —За что, капитан, скажите?

— Взять его! — приказал офицер штаба. Солдаты нехотя полезли на обрыв.

Орловец шагнул к нему:

— постойте! У меня сейчас атака! Вы соображаете или нет?

Офицер сквозь сжатые губы бросил:

— Порядка не знаешь?!.

— я здесь командир! После боя разберетесь.

Гулко ударили залпы, и мы не слышали, о чем говорят внизу офицеры. Но вот офицер штаба резко повернулся и пошел в сопровождении солдат в тыл по оврагу, а Орловец полез вверх.

...Климченко с немой благодарностью смотрел на него. Ротный поднялся и крикнул:

— Через пять минут атака! Все по местам! Приказ знает Голанога» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 206–209).

[1] Гл. «Протокол заседания Художественного совета киностудии» ад 27 верасня 1965 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 21–22, 23.

[2] БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 157–212.

[3] Паводле службовай паметы на рэжысёрскім сцэнарыі. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 157.

2. Продолжаю тем не менее считать, что для режиссерского сценария значительно более перспективным является литературный вариант сценария, утвержденный в Главке.

3. Считаю, что размер будущего фильма, определенный как 3 части, недостаточен для данного материала и неизбежно повлечет за собой скороговорку, пагубную для картины. В данном случае совершенно необходима 4-я часть.

С уважением,

В. Быков

30/9–65 г.»[1].

Другі варыянт рэжысёрскага сцэнарыя пад назвай «Западня (Высота 218)»[2] быў разгледжаны мастацкім саветам 11 кастрычніка 1965 г.[3]; падрабязнасці таго пасяджэння не вядомыя, паколькі не захаваўся пратакол. Што ж тычыцца новага варыянта рэжысёрскага сцэнарыя, дык адзначым толькі, што яго фінал зноў быў зменены: Клімчанка разам з ротай пабег у атаку, яго далейшы лёс невядомы. Да таго ж была яшчэ больш скарочана-спрошчана кульмінацыйная сцэна вяртання Клімчанкі: у сцэнарыі няма ніводнай спасылкі, што «офицер в белом полушубке» — гэта ўпаўнаважаны асобага аддзела. Праўда, Л. Мартынюк вярнуў з другога варыянта літаратурнага сцэнарыя наступны фрагмент дыялога:

«Офицер прячет пистолет в кобуру.
— Вы будете отвечать! — смотрит он на Орловца.
Орловец:
— Отвечу!»[4].

Але і тут не абышлося без спрошчвання канфлікта.

Між іншым, што тычыцца вобраза асабіста Петухова, дык гэтае пытанне праз паўгода было зноў узнята — ужо падчас абмеркавання мантажа карціны мастацкім саветам «Беларусьфільма» разам з Бюро Саюза кінематаграфістаў БССР. Так, У. Корш-Саблін гаварыў: «Правильно показываете немцев. Но впечатление, что особист еще хуже, больше нечеловек, чем немцы». У сваю чаргу Б. Паўлёнак

---

[1] Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 20.

[2] БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 108–156. Адзначым, што ў гэтай рэдакцыі Л. Мартынюк, па сутнасці, надзяліў Клімчанку (які ў аповесці рускі) біяграфічнымі рысамі В. Быкава, калі Шварц вывучае дакументы лейтэнанта: «Награжден орденом “Красная звезда”... Три раза ранен... Белорус... Родился в Витебске... Комсомолец...» (арк. 129).

[3] Паводле службовай паметы на рэжысёрскім сцэнарыі. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 108.

[4] БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 153.

заявіў: «Не нужен в картине особист. Это вчерашний день и никому не надо». Аднак яму запярэчыў Л. Мартынюк: «Без особиста нет западни. [...] Если нет особиста, то Чернов хороший парень и [Климченко] просто отпустили к своим. Люди верят Климченко и в этом смысл нашей картины. А особиста мы не делаем страшной личностью. Просто человек выполняет свой долг»[1]. Верагодна, менавіта гэтае абмеркаванне і, у прыватнасці, заўвага старшыні Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі Б. Паўлёнка і прымусілі В. Быкава выступіць з новым лістом:

«Художественному совету и Сценарной коллегии студии “Беларусьфильм”

Недавно[2] я просмотрел неоконченный вариант короткометражной к/картины “Западня”, снятой Л. Мартынюком по моей повести, и считаю необходимым заявить о следующем:

1). Отснятый материал соответствует духу и теме повести, ряд сцен разработаны с должной достоверностью и проникновением в идею произведения;

2). Некоторые сцены страдают от неизбежной при таком размере скороговорки и беглости, что в общем понятно и с моей стороны возражений не вызывает;

3). Я возражаю против попытки заставить постановщика исключить из картины Петухова как образ и истолковать идею фильма любым отличным от повести образом.

В. Быков,
автор повести и соавтор сценария
к/ф “Западня”.

20/III–66 г.»[3].

Карціна была прынятая не толькі на «Беларусьфільме»[4], але і ў Дзяржкіно БССР[5], затым, 12 красавіка, і Галоўным упраўленнем

---

[1] Паводле «Протокола заседания Худсовета киностудии “Беларусьфильм” совместно с Бюро СК БССР» ад 18 сак. 1966 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 7, 8, 9.

[2] Зыходзячы з ліста В. Быкава да Л. Мартынюка ад 26 лют. 1966 г. (Архіў Л. Мартынюка), карціну пісьменнік бачыў 12 сакавіка.

[3] Аўтограф. Арыгінал. Злева ўверсе службовыя паметы ад рукі: «Тов. Лужанину А. А. *А. Порицкий.* 23/III 66 г.»; «В дело. *М. Лужанин*». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 5.

[4] Паводле «Заключения Художественного совета киностудии “Беларусьфильм” по короткометражному фильму “Западня”» ад 25 сак. 1966 г. Машынапіс за подпісамі А. Парыцкага, Р. Раманоўскай. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 2–3.

[5] Паводле «Заключения на короткометражный (3 части) художественный фильм “Западня” производства киностудии “Беларусьфильм”» за

фільмаў Дзяржкіно СССР, праўда, з некаторымі агаворкамі: «Работа выпускника высших режиссерских курсов Л. Мартынюка в целом заслуживает положительной оценки. [...] Главное управление художественной кинематографии [...] рекомендует режиссеру Л. Мартынюку дополнительно поработать над звуковым рядом, уточнить ритмический монтаж, а также сократить отдельные планы в начале и середине фильма»[1].

Аднак нечакана праблемы ўзніклі з Галоўкінапракатам, кіраўніцтва якога, выказаўшы шэраг прэтэнзій па фільму, адмовілася выдаваць адпаведнае пасведчанне. Пасля таго, як папраўкі былі ўлічаны, 19 мая карціна ў другі раз была прадстаўлена ў Галоўнае ўпраўленне мастацкіх фільмаў, у якога, зрэшты, з'явілася яшчэ адна прэтэнзія. У Маскву быў камандзіраваны Л. Мартынюк, які ўжо на месцы ўнёс праўкі ў «Западню». Увогуле цікавая статыстыка: «фильм в производстве находился 105 дней, сдача фильма длилась 70 дней»[2].

«Западня» выйшла на экран у лістападзе 1966 г.

Рэцэнзіі: Поляков С. Перед дорогой на большой экран // Знамя юности. 1966. 28 июля; Бондарева Е. Повести и фильмы // Нёман. 1977. № 10. С. 159–160; Ратников Г. На экране — Великая Отечественная // Современное белорусское кино. Минск, 1985. С. 10–111; Бондарава Е. Кінематограф і літаратура: Творы беларускіх пісьменнікаў на экране. Мінск, 1993. С. 85–86.

* * *

У справе матэрыялаў па фільму «Западня» захоўваецца «Либретто сценария»[3], аўтарам якога з'яўляецца Л. Мартынюк, хаця ў машынапісе пазначаны зноў жа два прозвішчы:

подпісам Г. Тарана. Машынапіс. Справа ўверсе: «Утверждаю: председатель Комитета по кинематографии при Совете Министров БССР *Б. Павленок*». Подпіс — аўтограф. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 111. Арк. 115.

[1] З ліста І. Кокаравай Б. Паўлёнку і А. Парыцкаму № 19/406 ад 11 крас. 1966 г. Машынапіс. Копія. Унізе пячатка к/с «Беларусьфільм» і подпіс начальніка планавага аддзела Н. Будай. Архіў Л. Мартынюка.

[2] Паводле «Объяснительной записки к производственному отчету короткометражного художественного фильма "ЗАПАДНЯ" в 3-х частях производства киностудии "Беларусьфильм"» за подпісам дырэктара карціны С. Вайнера. Машынапіс. Копія. НА РБ. Ф. 969. Воп. 3. Адз. зах. 126. Арк. 143.

[3] На першай стар. злева ўверсе службовая памета: «Утверждаю: и. о. директора киностудии "Беларусьфильм" / А. Порицкий/». Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 426. Арк. 99–101.

«В. Быков, Л. Мартынюк

Западня

Либретто сценария короткометражного фильма (4 части) по одноименной повести Быкова

Отцам и братьям нашим, выстоявшим в борьбе против фашистской Германии, жизнестойкости нашего общества, теме большого человеческого доверия посвящают авторы этот фильм.

Осенью 1943 года на одном из участков Белорусского фронта случилось следующее...

Рота автоматчиков несколько раз безуспешно атаковала хорошо укрепленную фашистскую позицию на Н-ской высоте, которая держала под обстрелом стратегическую дорогу и задерживала наступление наших войск.

Получив подкрепление, рота готовилась к последнему и решающему броску.

После последней неудачной атаки в одном из окопов собрались солдаты взвода лейтенанта Климченко. Но не о бое шел разговор. Прибыло довольствие, сухой паек, а значит, предполагалось наступление. По-разному относятся солдаты к своему пайку, ведь он рассчитан на три дня и, казалось бы, надо умело разделить пайку на три дня. Но это редко кто делает. Ведь для многих эта атака может оказаться последней, и поэтому с шутками и прибаутками солдаты устраивают уничтожение пайка. И никто всерьез не принимает замечаний лейтенанта, который журит своих боевых товарищей за такое "легкомыслие". В этой сцене чувствуется большая симпатия, особенно старослужащих к молодому лейтенанту. Мы узнаем, что он воюет с ними вместе вот уже целый год. Особенно по-отечески относится к Климченко старый солдат Голанога. Дело в том, что у него такой же сын, который воюет где-то на другом фронте.

Появляется ординарец командира роты и передает Климченко распоряжение явиться на рекогносцировку. По длинным лабиринтам траншей пробирается лейтенант к командному пункту комроты. Солдаты готовятся к предстоящей атаке.

Ротный — капитан Орловец, человек горячий и вспыльчивый, раздосадованный неудачными атаками, только что состоявшимся разговором с командиром батальона, начинает в резких тонах обвинять взвод Климченко за трусость. Лейтенант не выдерживает, и между ними вспыхивает очень резкий разговор о том, кто виноват в том, что взвод Климченко залег. Лейтенанта поддерживают и другие взводные, говоря, что во время наступления надо держать артиллерийский огонь по правому флангу, откуда бьют немецкие крупнокалиберные пулементы, до того момента, пока взвод не подойдет совсем близко к немецким траншеям. Наступает примирение, но отчуждение между ротным и Климченко остается. Орловец говорит о том, как будет проходить атака.

Вначале все было хорошо. Рота вплотную за огневым валом вышла на рубеж, но и на этот раз фланговый пулемент противника не оказался выведенным из строя и перерезал путь наступающим. Тогда, несмотря на шквальный огонь, лейтенант поднимает своих людей, но успевает добежать к немецкой траншее только один.

В рукопашном бою, стараясь спасти своего ординарца, он не замечает подбежавшего к нему сзади немца. Удар прикладом, и Климченко теряет сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что его тащит за ноги по траншее немец. Видимо, он решил, что советский офицер убит. Немец хотел уж было дострелить Климченко, когда в траншее появился немецкий офицер. Так лейтенант оказался плененным.

Его вели все глубже и глубже в тыл. Немецкие солдаты с удивлением рассматривали его. В 1943 году наших пленных было уже мало, и для немцев советский офицер казался диковинкой. Потом его куда-то везли на машине, и вскоре он оказался в немецком пропагандистском отделе. Его здесь перевязали, предложили поесть, закурить. Климченко решил молчать. Но велико было его удивление, когда молодой и очень симпатичный немецкий офицер начал с ним разговор на чистейшем русском языке. Разговор на первый взгляд очень задушевный, откровенный, в котором офицер Чернов старался дать понять, что он хочет спасти жизнь Климченко. Чернов, словно паук, плетет вокруг лейтенанта свою паутину, но все оказывается напрасным. Не выдержав, он даже при своем начальнике, который зашел поинтересоваться, как идет допрос, бьет Климченко за то, что тот отказывается от сигарет, предложенных немцем.

Тогда Чернов идет на шантаж, говоря, что если Климченко не выступит с обращением по радио к своим солдатам, то это сделает сам Чернов. Климченко неумолим. Чернов, унижаясь, просит его пойти на предательство. И мы понимаем, что в этом предательстве Чернов хочет найти оправдание своему предательству, которое он совершил когда-то из-за малодушия и боязни смерти и из-за своей морали, что надо приспосабливаться в жизни в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Но ни эти разговоры, ни жестокое избиение не могут сломить духа Климченко.

И вот ночью, запертый в кузов, железный ящик машины, он слышит слова передачи от его имени, которую сфабриковал Чернов.

Утром его выводят из машины, связывают и куда-то ведут. Постепенно Климченко понимает, что они приближаются к передовой.

Звякает за спиной Климченко затвор взведенного пулемета и Чернов приказывает лейтенанту идти в поле, к своим.

Лейтенант идет, но немцы не стреляют. Они знают о страшном замысле, о страшной мести, которую приготовил советскому офицеру Чернов. Понимает это и Климченко, но он верит в то, что люди, с которыми он воевал, не смогут и подумать, что он предатель. И все же некоторые поверили.

Разъяренный случившимся ЧП, Орловец даже влепил лейтенанту в ухо. Но когда тут же получил в ответ и увидел Климченко плачущим, он понял все. Поняли это даже те солдаты, которые кричали на него: трус! предатель!

Но законы войны суровы — каждый человек, попавший в плен, должен предстать перед трибуналом.

И если соладты и ротный поняли, что случилось великое несчастье, особенно в тот момент, когда лейтенант, видя опущенные головы солдат, схватил автомат и один бросился на высоту и, дрогнув и поняв его порыв, за ним побежали остальные, то исполнитель устава и закона — капитан из особого отдела Петухов не может оставить этот случай без расследования. Но делает он это грубо, не учитывая того состояния, в котором находится лейтенант и люди капитана Орловца. Эта грубость окончательно ставит комроты на сторону Климченко, он его защищает, он говорит, что пошлет его сейчас вместе со всеми в атаку, и поэтому между ним и Петуховым вспыхивает резкий разговор. Но когда на сторону лейтенанта становятся все солдаты, Петухову ничего не остается, как уйти.

Рота готовится к атаке. Солдаты наспех одевают Климченко, дают ему оружие, кто-то передает самокрутку.

И вот рота вновь идет на высоту. И по тому, как бегут солдаты на врага, мы понимаем, что таких людей ничто уже не может остановить, что эти солдаты дойдут до Берлина.

(В. Быков)
(Л. Мартынюк)».

* * *

Стар. 144. *Фойер!* — Огонь! (*Ням.*)

Стар. 145. *Майн гот!* — Мой бог! (*Ням.*)

Стар. 152. *Хальт! Шиссен будэм делайт!* — Стой! Страляць будзем делайт! (*Скаж. ням.*)

Стар. 153. *Абшнайден кнопфе!* — Расшпіліцца! (*Скаж. ням.*)

Двое в ночи
Киносценарий по повести «Сотников» (стар. 160)

Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў Архіве В. Быкава (Гродна).

Можа быць датавана 1972 г.

В. Быкаў ніколі публічна не прыгадваў той факт, што напісаў кінасцэнарый па аповесці «Сотнікаў», які быў створаны па просьбе кінарэжысёра І. Дабралюбава. Праца была пачата ў першай палове 1972 г., на гэта ўказвае ліст галоўнага рэдактара к/с «Беларусьфільм»

М. Лужаніна ад 22 мая 1972 г.: «Посылаем договор на “Сотникова”. [...] Просим сообщить время окончания работы. Желательно всячески ускорить сдачу сценария»[1].

Сцэнарый падрыхтаваны не пазней ліпеня 1972 г., ва ўсялякім выпадку гэта вынікае з тэлеграмы І. Дабралюбава: «...экземпляр сценария взят сценарной коллегией студии находится мной Новополоцке Таран обещал сообщить мне срок заседания редколлегии “Сотникова” необходимо запускать этом году [...] Добролюбов»[2]. І тады ж, у ліпені, В. Быкаў атрымаў яшчэ адну тэлеграму з «Беларусьфільма»: «Связи необходимостью дополнительной консультации обсуждение вашего сценария откладывается дату обсуждения сообщим дополнительно уважением Таран»[3].

Між іншым заўважым, што І. Дабралюбаў хваляваўся, што нехта з рэжысёраў таксама звернецца да В. Быкава з аналагічнай прапановай — ён пісаў: «Чует сердце, что после появления целого каскада статей про тебя и про твое творчество к тебе полетят нарочные и предложения по сценариям. Верю, что “Сотникова”, кроме меня, делать никто не будет. Верю тебе и твоему слову. Какого авторитета и силы бы ни были кинематографические предложения»[4]. І ўжо значна пазней прыгадваў: «Давным-давно [...] я прочел только что опубликованную в журнале повесть Василия Владимировича Быкова “Сотников”[5]. Потрясенный, я тут же сел в свою машину и помчался в Гродно к Василию Владимировичу. Приехал, встретились друзья-товарищи.

— Хочу снимать, — говорю.

Я так волновался, что, как сказал Вася, у него на кухне “поставил мировой рекорд” по количеству выпитого кофе. А он спокойно сказал:

— Ладно, напишу сценарий. Лично для тебя напишу.

И через некоторое время появляется оглушительный сценарий — “Сотников”.

---

[1] З ліста за № 1064 на афіцыйным бланку, уверсе: «Государственный комитет Совета министров БССР по кинематографии», «киностудия “Беларусьфильм”». Машынапіс. Подпіс — аўтограф. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

[2] Тэлеграма да В. Быкава ад 5 ліп. 1972 г. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

[3] Тэлеграма ад 14 ліп. 1972 г. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

[4] З ліста І. Дабралюбава да В. Быкава без даты. Машынапіс, аўтограф. Арыгінал. На штэмпелі — 12.03.1972 г. Архіў В. Быкава (Гродна).

[5] Аповесць упершыню надрукавана ў 1970 г.: Новый мир. № 5 (пер. аўтара); Полымя. № 11. Зыходзячы з паштоўкі І. Дабралюбава, рэжысёр звярнуўся да Быкава з просьбай аб кінасцэнарыі ў 1971 г., ва ўсялякім выпадку ён пісаў у снежні таго года: «Верю, что НАША работа с тобой впереди! И будет!» (З паштоўкі без даты. Машынапіс. Арыгінал. На штэмпелі — 26.12.1971 г. Архіў В. Быкава (Гродна).

Я с ним туда — меня оттуда, я сюда — меня туда. Водили здесь по всем кабинетам, вплоть до самого верха, в Москве — по Госкино, и кто-то такой ловкий, гадкий, мерзкий лейбл приклеил: мол, это сценарий не о Великой Отечественной войне, а “о гражданской войне в период Отечественной”. Вот так.

В общем, выгнали отовсюду, не дали снимать, не вышло у нас с Быковым ничего.

Вскоре звонит мне Вася и сообщает, что ленинградский драматург с московским режиссером будут делать картину по этой повести[1]. Решение Госкино. Вот и все. Оторвали у меня кусок сердца и отдали в другие руки»[2].

Заўважым таксама, што В. Быкавым былі падрыхтаваны, як мінімум, дзве рэдакцыі кінасцэнарыя — на гэта ўказваюць не толькі

---

[1] Зыходзячы з паметы на адной з паштовак 1972 г. з Архіва В. Быкава (Гродна) — «5–33–85 Шепитько Москва, Мосфильм» (праўда, памета зроблена не рукой Быкава — відаць, нехта з родных пісьменніка адказаў тады на тэлефонны званок рэжысёра) — задума экранізаваць «Сотнікава» ўзнікла ў Шапіцькі Ларысы Яфімаўны (1938–1979) прыкладна ў той жа час, калі дазволу на экранізацыю спрабаваў дамагчыся І. Дабралюбаў. В. Быкаў прыгадваў: «...атрымаў ліст з “Масфільму”, дзе маладая рэжысэрка Ларыса Шапіцька прапаноўвала зьняць фільм па “Сотнікаву”. Зрабіць тое параіў ёй наш агульны сябра Алесь Адамовіч. І я пагадзіўся. Праўда, ёй належала яшчэ атрымаць д а б р о ад кіраўніцтва студыі, кінаглаўку, аддзелу культуры ЦК. Але прабіўная Ларыса мела надзею і ўсё брала на сябе.

Аднак далёка ня ўсё заладзілася на самым пачатку. Найперш турбаваў сцэнар — хто напіша? Кіраўніцтва студыі пярэчыла супраць аўтарства Быкава. Я пагадзіўся — хай будзе хто іншы, паводле іхняга выбару. Выбралі маладога таленавітага кінасцэнарыста і паэта Генадзя Шпалікава, які напісаў хутка і добра. Праўда, знайшліся прэтэнзіі, нешта хацелі зьмяніць у параўнаньні з аповесьцю. Я даў сваю згоду [...].

У спакоі, аднак, ня кідалі, мітусьня вакол сцэнару працягвалася. Патрабавалася мая аўтарская падтрымка, і я прыяжджаў у Менск, дзе Ларыса вяла перамовы ўжо зь “Беларусьфільмам”. З тых перамоваў нічога ня выйшла [...]» (Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 8. С. 288).

Тым не менш Л. Шапіцька ўсё-такі дамаглася свайго, але толькі праз некалькі гадоў — экранізацыя «Сотнікава» пад назвай «Восхождение» з'явілася ў 1977 г. Аўтары сцэнарыя: Ю. Клепікаў (а не Г. Шпалікаў), Л. Шапіцька. У Архіве В. Быкава (Гродна) захоўваюцца машынапіс кінасцэнарыя (80 старонак) з суправаджальным лістом Л. Шапіцькі, а таксама «Типовой договор о переделке повествовательного произведения в киносценарий (об уступке права экранизации)», згодна з якім Быкаў перадаў «Мосфильму» права перапрацаваць аповесць «Сотнікаў» у кінасцэнарый і стварыць на яго аснове кінафільм; дамова ад 17 верасня 1975 г. падпісана намеснікам генеральнага дырэктара к/с «Мосфильм» М. Івановым і В. Быкавым.

[2] Добролюбов И. Осколки памяти. С. 214–215.

істотныя праўкі ў сцэнарыі, але і тэлеграма А. Асіпенкі[1], які, змяніўшы на пасадзе галоўнага рэдактара студыі М. Лужаніна, у сярэдзіне верасня запрашаў аўтара «Сотнікава» прыехаць на кінастудыю для «разговора о сценарии»[2], а таксама наступны яго ліст: «Учитывая Вашу просьбу, киностудия “Беларусьфильм” продлевает срок сдачи сценария “Сотников” до 25 октября 1972 года»[3]. Ужо ў лістападзе А. Асіпенка паведамляў: «Ваш сценарий “Сотников” направлен на утверждение в Главное управление художественной кинематографии 21 ноября 1972 г.»[4]. Такім чынам, другая рэдакцыя сцэнарыя напісана не пазней лістапада 1972 г.

Адзначым таксама, што пратаколы абмеркавання сцэнарыя В. Быкава не захаваліся. У Архіве В. Быкава (Гродна) зберагаецца толькі ліст І. Дабралюбава, з якога вынікае, што сцэнарый не выратавала нават умяшальніцтва сакратара ЦК КПБ А. Кузьміна[5]:

«Вот уже несколько дней, как стало известно, что Госкино закрыло нашего “Сотникова”. Письма-заключения они еще не прислали, так что я не знаю и не могу тебе точно сообщить ту формулировку, которую пристегнули к сценарию. Да и в этом ли дело? Какая бы ни была формулировка, а сценария в производстве нет и картины не будет.

Насколько я огорчен, один бог знает.

Знаю, что к Ермашу[6] ходил Александр Трифонович, но и из этого ничего не вышло. Видно, где-то в более высоких инстанциях произошли какие-то изменения. По отношению к сценарию»[7].

---

[1] Асіпенка Алесь (Аляксандр Харытонавіч; 1919–1994) — беларускі пісьменнік, сцэнарыст. У 1972–1976 гг. галоўны рэдактар сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі, галоўны рэдактар сцэнарнай майстэрні к/с «Беларусьфільм».

[2] З тэлеграмы ад 12 верас. 1972 г. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

[3] З ліста за № 1878 ад 15 верас. 1972 г. на афіцыйным бланку, уверсе: «Государственный комитет Совета министров БССР по кинематографии», «киностудия “Беларусьфильм”». Машынапіс. Подпіс — аўтограф. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

[4] З ліста за № 2402 ад 27 лістап. 1972 г. на афіцыйным бланку; уверсе: «Государственный комитет Совета министров БССР по кинематографии», «киностудия “Беларусьфильм”». Машынапіс. Подпіс — аўтограф. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

[5] Кузьмін Аляксандр Трыфанавіч (1918–2003) — беларускі дзяржаўны і партыйны дзеяч; загадчык Аддзела агітацыі і прапаганды ЦК КПБ (1962–1971); сакратар ЦК КПБ па ідэалогіі (1971–1986).

[6] Ярмаш Філіп Цімафеевіч (1923–2002) — у 1972–1978 гг. старшыня Дзяржаўнага камітэта Савета Міністраў СССР па кінематаграфіі, у 1978–1986 гг. старшыня Дзяржаўнага камітэта СССР па кінематаграфіі; кандыдат у члены ЦК КПСС (1976–1989).

[7] З ліста І. Дабралюбава да В. Быкава ад 9 лютага 1973 г. Машынапіс. Подпіс — аўтограф. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна). Між іншым, па сведчанні рэжысёра Э. Клімава, кіраўнік Дзяржкіно СССР Ф. Ярмаш выступаў і супраць экранізацыі Л. Шапіцькі, аднак у той раз на абарону

Назва кінасцэнарыя, мяркуем, невыпадковая: вядома, што назва «Сотнікаў» дадзена аповесці ў рэдакцыі часопіса «Новый мир», аўтарская ж назва — «Ліквідацыя». Былі і іншыя варыянты, якія В. Быкаў пакінуў на апошнім аркушы аўтаперакладa аповесці на расийскую мову, у тым ліку — «Две судьбы»[1]. Да таго ж, па словах А. Пяткевіча[2], пісьменнік гаварыў, што адна з папярэдніх назваў была «Двое ўначы»: «Я яшчэ сказаў Быкаву, — распавядаў А. Пяткевіч, — што гэта добрая назва, паколькі тут адзначана, што абодва — і Сотнікаў, і Рыбак — аднолькавыя»[3] (між іншым, быў яшчэ адзін варыянт, па сутнасці, з той жа самай унутранай матывацыяй — «Рыбак і Сотнікаў»[4]). Хоць, безумоўна, такая назва падаецца не зусім арыгінальнай, бо выклікае асацыяцыі з вядомай аповесцю рускага пісьменніка Э. Казакевіча «Двое в степи» (1948).

Экзэмпляр сцэнарыя захаваўся ў Архіве В. Быкава (Гродна) — 67 машынапісных і 2 рукапісныя старонкі са шматлікімі праўкамі, рукапіснымі і машынапіснымі ўклейкамі. На першай, машынапіснай старонцы пазначана імя аўтара, ніжэй назвы «Двое в ночи» — «Киносценарий по повести "Сотников"». На другой, уверсе, двойчы напісана сінімі чарніламі — «Двое в ночи», ніжэй ідуць перакрэсленыя чарнавая і затым чыставая рэдакцыі ўступу: «Это древняя, как мир, история...» і г. д. па тэксце.

Сцэнарый значна папраўлены В. Быкавым, аднак у першую чаргу звяртаюць на сябе ўвагу праўкі, на якія пісьменнік хутчэй за ўсё вымушаны быў пайсці, бо асобныя месцы ў сцэнарыі адзначаны алоўкам (вертыкальнай лініяй побач), і малаверагодна, што гэта зроблена В. Быкавым — магчыма, рэдактарам з кінастудыі, бо наўрад ці аўтар такім чынам самацэнзураваў свой твор; да таго ж практычна ўсе праўкі і ўстаўкі зроблены В. Быкавым сінім чарнілам двух адценняў, аловак жа для гэтай мэты ім практычна не выкарыстоўваўся. Падругое, сустракаюцца праўкі відавочна нелагічныя. Гэта тычыцца раптоўнага з'яўлення ў сцэнарыі вялікай колькасці немцаў, якія замяняюць перакрэсленых аўтарам паліцаяў (колькасць якіх, адпаведна, адразу памяншаецца), што падчас прыводзіць да нестыкоўкі асоб-

---

фільма паўстаў ужо першы сакратар ЦК КПБ П. Машэраў, што і вырашыла лёс карціны (паводле: Данейко Е. Элем Климов: Мы разрушили стену и наткнулись на зеркало // Белорусская деловая газета. 1999. 2 июня).

[1] БДАМЛМ. Ф. 165. Воп. 1. Адз. зах. 26. Арк. 95.

[2] Пяткевіч Аляксей Міхайлавіч (н. 1931) — беларускі літаратуразнавец; працаваў у Гродзенскім педагагічным інстытуце імя Я. Купалы загадчыкам кафедры (1968–1974); прафесар.

[3] З гутаркі аўтара каментароў з А. Пяткевічам. Чэрвень 2005 г.

[4] Гл.: Пётар Вайль: Быкаўская вайна — ня бой дзеля перамогі, а бой безь пераможцаў // Быкаў на Свабодзе. Выд. 2-е. [Без м.] Радыё «Свабодная Эўропа» / Радыё «Свабода». 2005. С. 376.

ных планаў сцэнарыя. Так, напрыклад, на двор да Дзёмчыхі, згодна з першай рэдакцыяй, прыходзяць тры паліцаі (10-ы раздзел), аднак В. Быкавым выпраўлена — «несколько немцев» і праз тры абзацы: «немцы уже вошли в сени». Паліцаі тут нават не згадваюцца, аднак размову «немцы» вядуць на рускай мове, і нават вядома імя аднаго з іх — Стась (праўда, далей у гэтым жа раздзеле В. Быкаў не выправіў «паліцаяў» на «немцаў»). Таксама паспешліва ўпісаны ў эпізод «гер Будила», пазнейшая характарыстыка якога («здешний палач. Это был буйволоподобный двухметрового роста детина с обезьяньей мордой и длинными руками») выкрэслена, відаць, з той прычыны, каб прама не ўказваць на «тутэйшасць» ката. Новыя персанажы-немцы з'яўляцца і ў далейшым (напрыклад, падчас допыту Сотнікава Партновым у канцылярыю ўвойдзе шэф СД і паліцыі бяспекі), хоць іх няма ў аповесці і не было ў першай рэдакцыі сцэнарыя. Гэтае, падчас нічым неапраўданае, умяшальніцтва ў драматургічны твор было б цяжка матываваць, калі б ні прыведзенае вышэй сведчанне І. Дабралюбава: «...кто-то такой ловкий, гадкий, мерзкий лейбл приклеил: мол, это сценарий не о Великой Отечественной войне, а "о гражданской войне в период Отечественной"».

Відаць, менавіта наяўнасць паліцаяў і ўказвала цэнзарам на матыў грамадзянскай вайны ў сцэнарыі. Трэба думаць, з-за гэтага аўтар і пачаў «пазбаўляцца» ад паліцаяў. Заўважым, што яшчэ падчас падрыхтоўкі аповесці да друку і ў прыватнасці пры яе абмеркаванні на рэдкалегіі часопіса «Полымя» 17 жніўня 1970 г. І. Пташнікаў[1] закінуў аўтару «Сотнікава» папрок, быццам у творы «занадта многа нашых. Мала немцаў»[2], а А. Вялюгін[3] адзначыў, што «ў Б[ыкава] змаганне з З[-яй] сілай як у грамадзянскую вайну — быў Камінскі[4],

[1] Пташнікаў Іван Мікалаевіч (нар. у 1932) — беларускі пісьменнік. З 1962 г. — рэдактар аддзела прозы часопіса «Полымя».

[2] Стэнаграма пасяджэння не захавалася; тут і ніжэй цытуецца паводле запісаў В. Быкава з нататніка. Аўтограф. Архіў В. Быкава (Гродна).

[3] Вялюгін Анатоль Сцяпанавіч (1923–1994) — беларускі паэт, кінадраматург, перакладчык. У 1946–1984 гг. — рэдактар аддзела паэзіі часопіса «Полымя».

[4] Камінскі Браніслаў Уладзіслававіч (1899–1944) — брыгадэфюрэр СС, генерал-маёр войск СС, стваральнік і кіраўнік РВНА («Руская вызвалечная народная армія»). У 1935 г. выключаны з ВКП(б) за крытыку калектывізацыі; у 1937 г. арыштаваны і асуджаны; на пачатку 1941 г. вызвалены і адпраўлены на пасяленне ў п. Локаць (Бранская вобл.). Пасля стварэння Локацкага самаўпраўлення — намеснік бургамістра К. Васкабойніка, затым обер-бургамістр Локацкай акругі самаўпраўлення. Увосень 1942 г. стварыў для абароны ад партызан першую брыгаду РВНА. У 1943 г. прымаў удзел у карных антыпартызанскіх аперацыях у раёне г. Лепеля (Віцебская вобл.). У 1944 г. падраздзяленне перайменавана ў Народную брыгаду Камінскага; яна прымала ўдзел у падаўленні Варшаўскага паўстання.

быў Гіль[1] [...]». Але ў той раз падобныя прэтэнзіі не мелі сур'ёзных наступстваў, хаця П. Кавалёў[2] і І. Пташнікаў, абагульняючы заўвагі па аповесці, звярталіся да яе аўтара: «Хацелася, каб Вы абавязкова паказалі больш галоўных віноўнікаў усёй трагедыі — фашысцкіх захопнікаў, а не мясцовую паліцыю: вядома, што паліцаі былі толькі фашысцкімі паслугачамі і г. д.»[3]. І хаця В. Быкаў побач з гэтым пунктам пазначыў алоўкам «болей немцаў», аднак колькасць немцаў ён павялічыў толькі ў сцэнарыі.

Што тычыцца заўваг кінацэнзараў, дык не выключана, што менавіта яны прымусілі пісьменніка пазбавіцца і ад аднаго з эпізадычных персанажаў: паліцая па прозвішчу Тарасюк (замест яго паўсюль упісаны паліцай Стась). Справа ў тым, што ў сцэнарыі (таксама як і ў аповесці) ёсць ужо адзін адмоўны персанаж з украінскім прозвішчам — усё той жа Стась Гаманюк. Пасля публікацыі ў 1966 г. у «Новом мире» аповесці «Мёртвым не баліць» В. Быкаву працяглы час ставілі ў віну «пространные намеки с попыткой противопоставить украинцев белорусам, утверждение, будто бы все украинцы чуть ли не с раскрытыми объятиями встречали гитлеровцев»[4]. І таму, па сведчанні былога прадстаўніка Галоўліта СССР У. Соладзіна (у 1961–1991 гг. узначальваў аддзел па кантролю грамадска-палітычнай і мастацкай літаратуры), «у прозе Васіля Быкава асабліва адсочваліся суадносіны "станоўчых" і "адмоўных" герояў па нацыянальных прыкметах: колькі і якіх рускіх, беларусаў, украінцаў»[5]. У. Соладзін прызнаваўся: «По "сигналу", поступившему из украинского Лита, ЦК посадил наш Главлит "на подсчет украинских фамилий в повестях

---

[1] Гіль Уладзімір Уладзіміравіч (1906–1944) — у 1941 г. падпалкоўнік Чырвонай Арміі. Апынуўшыся ў палоне, стаў камендантам лагера; пазней закончыў разведшколу СД у Берліне. Стварыў у канцлагеры Заксенхаўзен «Баявы саюз рускіх нацыяналістаў» (БСРН), які пасля вызвалення членаў саюза з лагера пераўтварыўся ў антыпартызанскае ваеннае фарміраванне. Пачынаючы з 1942 г., атрады У. Гіля дзейнічалі на тэрыторыі Польшчы, затым — Беларусі. У 1943 г., пасля няўдалага выступлення супраць партызан, У. Гіль, атрымаўшы асабістыя гарантыі, разам з вялікай часткай БСРН перайшоў на бок партызан. Разам з ордэнам Чырвонай Зоркі атрымаў званне палкоўніка Чырвонай Арміі.

[2] Кавалёў Павел (1912–1995) — беларускі пісьменнік. Галоўны рэдактар часопіса «Полымя» (1967–1972).

[3] Машынапіс на афіцыйным бланку часопіса «Полымя» ад 19 жн. 1970 г. за подпісамі П. Кавалёва, І. Пташнікава. Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна). Копія захоўваецца: БДАМЛМ. Ф. 42. Воп. 1. Адз. зах. 621. Арк. 7–8.

[4] Цыбенов Н. Зачем же так оскорблять солдатскую память: Об одной повести В. Быкова // Байкал, 1966, № 3, с. 138. Гл. таксама: Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 8. С. 195, 207; Лубкіўскі Р. Вялікі Беларус // Наш Быкаў: Кніга ўспамінаў / уклад. Г. Бураўкін. Мінск: ГА БТ «Кніга», 2004. С. 491; Аскоцкі В. Праз гады — праз жыццё // Наш Быкаў. С. 422–423.

[5] Аскоцкі В. Праз гады — праз жыццё // Наш Быкаў. С. 423.

Василя Быкова. И что вы думаете, — сидели, считали!..”»[1]. І калі ў аповесці «Сотнікаў» галоўлітаўскія цэнзары ці не даглядзелі, ці проста пакінулі без ўвагі ўкраінскія прозвішчы адмоўных персанажаў, дык у кінасцэнарыі цэнзура, відаць, праявіла большую пільнасць: Тарасюк аўтарам быў выкраслены.

Сярод іншых істотных правак, зробленых В. Быкавым у сцэнарыі «Двое в ночи», вылучаюцца наступныя:

Стар. 160. *Пролог.* — «Пролог», трэба думаць, быў дапісаны Быкавым пазней, бо адрозніваецца шрыфтом асноўнага машынапісу; да таго ж парушана нумарацыя аркушаў — 1-ы раздзел, які ідзе пасля «Пролога» (памерам у два аркушы), пранумараваны, пачынаючы з адзінкі.

Стар. 164. — *А ты откуда знаешь? [...]*

— Пройдет, конечно. Только бы до жилья дотопать. А то... Такой славный хуторок был! Ах, сволочи, сволочи!.. — Увесь гэты фрагмент, надрукаваны на іншай друкарскай машынцы, уклеены.

Стар. 165. — *Вот, узнаешь? Гузаковский маслозаводик-то. Одни головешечки да кирпич.*

— Это до меня еще.

— Ах, до тебя. Это мы с группой Лукашкина постарались. В декабре. И мост на Ислянке. В одну ночь — два объекта. Тих!.. Что такое?.. — Рукапісная ўстаўка (на асобным кавалачку паперы) замест закрэсленага ў машынапісе: «— Вот за пригорочком и Гузаки. Уж там что-нибудь... Тихо!»

Стар. 167. — *Мы не полицаи, чтоб требовать водки.* — Дапісана. Наступны сказ: «— Что ж, обойдемся без водки» закрэслены, відавочна, з-за таго, што гэты фрагмент (пачынаючы з фразы: «— Догадываешься, кто мы?») адзначаны алоўкам.

Стар. 169. — *Это еще как посмотреть, — сказал старик. — Своим я не враг.* — У машынапісе:

«— Смотря кому враг, — твердо сказал старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг», але папраўлена.

Стар. 169. — *Кто стрелял? Наши?*

— В тот раз полицаи. Водки требовали.

— Нам водки не надо... Корова есть? — У машынапісе:

«— Кто стрелял?

— А такие, как вы. Водки требовали.

— Да-а... Корова есть?», але папраўлена, відаць, з-за таго, што дыялог адзначаны алоўкам.

Стар. 170. *То полицаи, то немцы.* — Дапісана.

---

[1] З ліста В. Аскоцкага да В. Быкава без даты. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

Стар. 170. *...к стенке вон ставят...* — Дапісана ўверсе над закрэсленым: «водки требуют». Гэтая фраза жонкі старасты таксама адзначана алоўкам.

Стар. 173. *Он не боялся умереть в бою, но он страшился своей беспомощности. [...] У него было две обоймы патронов, девять пуль он пошлет по немцам, десятую пустит в себя.* — Рукапісны тэкст уклеены.

Стар. 180. *Несколько немцев...* — Напісана замест закрэсленага ў машынапісе: «Трое полицаев».

Стар. 180. *Снизу доносились голоса, немцы уже вошли в сени.* — У машынапісе: «Снизу доносились голоса полицейских и Демчихи», але папраўлена.

Стар. 180. *...и Рыбак испуганно покосился на него.* — Далей зроблена дапіска (злева ад тэкста): «Рыбак: Держись! Держись, может еще пронесет. Кажется, они не за нами», але закрэслена алоўкам.

Стар. 181. *— Яволь, гер Будила!* — Дапісана.

Стар. 181. *...ярился Будила. [...]*

Только бы не обнаружил их тут — и не погубил детей и эту несчастную женщину. — Рукапісная ўклейка.

Стар. 182. *С поднятыми руками они стояли возле дымохода, и Сотников кашлял — теперь можно было не сдерживаться. [...]*

Почему они забрались сюда, почему зашли в эту деревню, почему не погибли в поле, когда их было лишь двое? — Рукапісная ўклейка.

Стар. 182. *Два полицая и немец шарили...* — У машынапісе: «Два полицая шарили», але папраўлена.

Стар. 183. *— Не переломают — за нас Германия, чмур! [...]*

Из хаты вытащили Демчиху. — Рукапісная ўклейка.

Стар. 183. *— Швейг! — гаркнул фельдфебель, и старший полицай подскочил к женщине.* — Дапісана.

Стар. 184. *Местечковой улицей они подъезжали к зданию СД и полиции. [...]*

Вдруг связанными руками он дернул из ее рта кляп. — Рукапісная ўклейка.

Стар. 184. *— Ты что! Ты что, чмур! — взревел Будила...* — У машынапісе: «взревел старший полицай», але папраўлена.

Стар. 184. *Больше здесь никого не было, и, не сдержавшись, Сотников простонал, громко и протяжно. [...]*

Конечно, решимости у него хватало, но вот как быть, если не хватит выдержки и простой физической силы? — Рукапісная ўклейка.

Стар. 186. *Широко распахнулась дверь, и в канцелярию быстрым шагом вошел шеф СД и полиции безопасности. [...]*

— Каждый пропадает за себя, — сказал Сотников. — Рукапісная ўклейка.

Стар. 187. *— Ты мне брось эту агитацию!* — Напісана замест закрэсленага ў машынапісе: «— Так хватит играть в прятки!»

Стар. 187. *Если мне петля, то тебе будет хуже.* — Напісана замест закрэсленага: «Вы сами должны понимать, чем рискуете».

Стар. 188. — *Нет! [...]*

— Ах так? Будилу — ко мне! — Рукапісная ўклейка.

Стар. 188. *...уже знакомый ему Будила. Войдя, он плотоядно осклабился при виде очередной...* — Напісана замест закрэсленага: «здешний палач. Это был буйволоподобный двухметрового роста детина с обезьяньей мордой и длинными руками. Войдя, он сразу нацелился на свою».

Стар. 188. *...ходь ко мне! Ужо я перемацаю твои косточки, большевистская гнида!* — Напісана замест закрэсленага: «большевистская гнида!»

Стар. 195. — *Я им послужу! [...]*

— Да, брат, у тебя ветер в голове и никаких принципов. — Рукапісная ўклейка.

Стар. 195. — *Зато у тебя их чересчур много!* — Дапісана.

Стар. 195. *...чихая на все и всякие принципы, и думает, как спасти свою голову.* — Дапісана.

Стар. 198. *Батька мужик был, а он на учителя выучился. А теперь вон новой власти как служит!* — Напісана замест закрэсленага: «Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно». Гэты фрагмент дыялога таксама адзначаны алоўкам.

Стар. 199. *...еще один сюрприз — этот староста. Кажется, свой человек, а вчера они видели в нем врага. И просчитались.* — Напісана замест закрэсленага: «неловко все же получается с этим старостой. Кажется, мы в нем едва не ошиблись. Но что теперь делать?»

Стар. 199. *Немцы построили всех и повели в карьер, где глину брали. Выскочила я...* — Дапісана.

Стар. 199. *«Ни за что не ходи, — говорит, — прячься». [...]*

Особенно Будила этот. Руки мне все выкручивал... — Рукапісная ўклейка і асобны аркуш з рукапісным тэкстам.

Стар. 204. *Здесь было полно немцев, которые куда-то собирались, заряжали оружие. [...] Это была овца старосты, брошенная им в кустарнике.* — Дапісана побач з тэкстам.

Стар. 204. *Рассматривая двор и немцев, рядом...* — У машынапісе: «на их пути встали полицаи. Следом», але папраўлена.

Стар. 204. *...язвительно намекнул Будила.* — У машынапісе: «коренастый мордатый полицай», але папраўлена.

Стар. 204. *На крыльцо из помещения тем временем...* — У машынапісе: «помещения полиции», але папраўлена.

Стар. 204. *...пять или шесть немцев в фуражках...* — У машынапісе: «два или три немца в фуражках», але папраўлена.

Стар. 204. *Немцы во дворе притихли.* — У машынапісе: «полицаи», але папраўлена.

Стар. 204. *Первым шагнул на ступеньки шеф СД с маленькой...* — Напісана замест закрэсленага: «видный плечистый полицай с маленькой».

Стар. 205. *Шеф обернулся к Портнову, который шел следом. [...]*

— Это есть ерклёрунг — просьба, — пояснил Портнов. — Дапісана.

Стар. 205. — *Маршірен, маршірен! — бросил шеф, натягивая перчатки и сходя со ступенек на снег.* — Дапісана.

Стар. 205. — *Стась!*

Стась подскочил к Демчихе... — У машынапісе: «— Тарасюк!

Полицай, вязавший Рыбака, подскочил к Демчихе», але папраўлена.

Стар. 206. — *Врешь! Стась!!*

Стась, наготове стоявший за спиной... — У машынапісе не Стась, а Тарасюк, але папраўлена.

Стар. 206. — *Готово! — сказал Стась.* — У машынапісе — «Тарасюк».

Стар. 206. *Площадь была оцеплена густым рядом немецких солдат.* — Дапісана.

Стар. 207. *Немецкий солдат с помощью Рыбака...* — Напісана замест закрэсленага: «Рыбак и еще один полицай».

Стар. 207. *...что-то скомандовал шеф, и немец, ведший Сотникова...* — У машынапісе: «что-то скомандовал Будила, и полицай, ведший Сотникова», але папраўлена.

Стар. 207. *Будила и немцы...* — У машынапісе: «Полицаи», але папраўлена.

Стар. 208. *Шеренга стоявших в оцеплении немцев замерла.* — Дапісана.

Стар. 208. *На коленях он отполз в сторону и с усилием встал.* — Дапісана.

Стар. 209. *Но Рыбак не обращает на них внимание, он оглядывается по сторонам.* — Дапісана.

Стар. 210. *...подпоясываясь, выходит немец.* — У машынапісе: «кто-то выходит», але папраўлена.

Стар. 210. *Черт, неужели нельзя и умереть? Неужели и умереть нельзя? Да что же это такое?..* — Дапісана побач з тэкстам.

Стар. 210. *Взгляд Рыбака в совершенной растерянности скользит по доскам уборной, опускается вниз. На лице его замешательство, в глазах безысходность.*

Выхода для него нет. — У машынапісе: «Взгляд Рыбака напоследок мечется в бессилии по доскам уборной, опускается вниз. На лице его страх и замешательство. В глазах застывает страх и безысходность», але папраўлена і дапісана.

Волчья стая

Киносценарий (стар. 211)

Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе к/с «Беларусьфільм»: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 1083. Арк. 119–189.

Датуецца 1974 г.

Літаратурны сцэнарый фільма «Волчья стая» (рэжысёр Б. Сцяпанаў) мае тры варыянты, другі напісаны В. Быкавым пасля заўваг, зробленых сцэнарнай рэдкалегіяй «Беларусьфільма» падчас пасяджэння 21 сакавіка 1974 г. Пратакол гэтага пасяджэння, мяркуючы па ўсім, быў перададзены В. Быкаву, таксама як і наступнае заключэнне:

«Ретроспекции, имеющиеся в сценарии, носят иллюстративный, информационный характер и не способствуют обогащению эмоционального звучания сценария. Некоторые из них вообще излишни. Следует их либо полностью переосмыслить, либо исключить, переведя заключенную в них информацию в диалог персонажей.

Нуждаются в углублении характеристики героев, о судьбах и взаимоотношениях которых хотелось бы узнать полнее. В частности, не ясна предыстория отношений Клавы, Платонова, Левчука.

В начальных эпизодах сценария хотелось бы ярче подчеркнуть отношение партизан к Клаве — женщине и будущей матери.

В финале уточнить эпизод, в котором партизаны предпринимают попытки спасти Клаву и ее ребенка, четче объяснить мотивы поступков Левчука, усилить роль деда Грибоеда, подчеркнув момент его самопожертвования, показать гибель Клавы.

На взгляд сценарной редакционной коллегии, не вызывается необходимостью появление предателя-полицая.

Хотелось бы, чтоб автор продумал характер закадровых размышлений Левчука перед встречей со спасенным им человеком».[1]

Другі варыянт сцэнарыя быў падрыхтаваны В. Быкавым, магчыма, на пачатку красавіка 1974 г. і, відаць, не выклікаў асаблівых пярэчанняў на «Беларусьфільме»:

---

[1] Паводле «Заключения сценарной редакционной коллегии по литературному сценарию В. Быкова “Волчья стая”» ад 25 сак. 1974 г. Машынапіс за подпісамі А. Асіпенкі, Н. Кругавых, О. Пушкіна. На першай стар. справа ўверсе: «“Утверждаю” директор киностудии “Беларусьфильм” *В. Ивановский*. 25 марта 1974 г.». Подпісы — аўтограф. Архіў В. Быкава (Гродна).

«Заключение
киностудии “Беларусьфильм” по литературному сценарию
В. Быкова “Волчья стая”

...Тридцать лет искал Левчук человека, о котором знал лишь одно — сам рискуя жизнью, спас его, новорожденного, в суровую годину партизанских сражений. И вот он находит улицу, дом, квартиру...

А память неотвратимо и властно воскрешает грозные дни минувшего, заставляет вновь и вновь их пережить.

Сегодняшний день, в который врывается прошлое, — в сценарии В. Быкова не просто прием для завязки действия, а та непрерывающаяся «связь времен» в душе героя, свято хранящего память о товарищах по оружию, нравственный кодекс жизни не только в грозные годы испытаний, но и сегодня, для всех... Историю, рассказанную автором, делают значительной, наполняют высоким смыслом его герои, люди, к которым сразу проникаешься доверием, с которыми вместе переживаешь.

В. Быков знакомит нас с характерами своеобразными, незаурядными, и в то же время такими обычными, живыми, неповторимыми.

...Немногословный, чуть угрюмый и по-крестьянски находчивый Левчук, от которого вроде и трудно ждать подвига, но который в любой момент готов на самые тяжкие испытания; дед Грибоед — фигура полная трагизма и вместе с тем глубокой народной мудрости и благородства; “Партизанская Мадонна” Клава — олицетворение любви, материнства и беззаветного мужества; каждый со своей судьбой, своей мерой любви и ненависти, с верой в Победу над волчьей стаей... Их нельзя не полюбить.

Все это позволяет надеяться на то, что на основе этого сценария может быть создано интересное, значительное произведение для экрана.

Главный редактор киностудии “Беларусьфильм” *А. Осипенко*

Редактор фильма *Л. Поздняк*

16.IV.74.»[1]

У сваю чаргу Галоўная сцэнарная рэдакцыйная калегія Дзяржкіно СССР у асобах галоўнага рэдактара Д. Арлова і галоўнага рэдактара групы ваенна-патрыятычнага фільма Ю. Платонава дазваляла запуск у рэжысёрскую распрацоўку сцэнарый В. Быкава, але з улікам наступных прапаноў:

---

[1] Машынапіс. На першай стар. справа ўверсе: «“Утверждаю” директор киностудии “Беларусьфильм” *В. Ивановский*. 16 апреля 1974 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 883. Арк. 368–369.

«а) прояснить судьбу партизанки Клавы после того, как она оставляет группу Левчука;

б) диалоги с участием Грибоеда приблизить к русскому тексту: многие слова и выражения могут оказаться непонятными для массового зрителя;

в) сцена с волками ничего не добавляет образу главного героя, не разбивает сюжет. Одновременно она вносит путаницу и в без того сложную систему ретроспекций. Предлагаем авторам обойтись без этого эпизода, одновременно сменив название сценария»[1].

Мяркуючы па ўсім, сам В. Быкаў застаўся незадаволены кінастужкай — яшчэ падчас здымак ён пісаў П. Панчанку[2]: «Цяпер вось па ёй [па аповесці. — *Рэд.*] здымаюць фільм у Пастаўскім раёне, але фільм, як заўжды, цягне ўсё на слабіну, — на звычайнасць. Нядаўна быў там, толькі вярнуўся»[3]. А ў лісце да В. Аскоцкага прызнаваўся: «...все лето возился в кино, которое надоело хуже театра»[4].

Фільм быў прыняты дырэкцыяй к/с «Беларусьфільм» 3 сакавіка 1975 г.[5] Выйшаў на экран 17 лістапада 1975 г. (у 1976 г. дубляваны на беларускую мову).

Рэцэнзіі: Бабкова А. Сцежкі да перамогі // Літаратура і мастацтва. 1974. 1 лістап.; Демушкин Е. В ответе за будущее // Литературная газета. 1974. 13 дек.; Мацкевич А. Герои повести — герои экрана // Советская культура. 1974. 10 дек.; Крупеня Я. Сцвярджэнне мужнасці і дабраты // Звязда. 1975. 13 лістап.; Николаев В. Недосказанная история // Советский фильм. 1975. № 10. С. 18–19; Хлоплянкина Т. Волчья стая // Спутник кинозрителя. 1975. № 11. С. 2; Фрольцова Н. Люди

---

[1] Машынапіс. Копія. Уверсе: «ГОСКИНО СССР Главная сценарная редакционная коллегия по художественным фильмам», «29 апреля 1974 г. № 1/295»; ніжэй: «Председателю Государственного Комитета Совета Министров Белорусской ССР по кинематографии тов. Матвееву В. В., директору киностудии “Беларусьфильм” тов. Ивановскому В. Э.»; унізе службовая памета: «верно [*подпіс неразб.*]». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп 1. Адз. зах. 883. Арк. 367.

[2] Панчанка Пімен Емяльянавіч (1917–1995) — народны паэт БССР (1973). У 1958–1966 гг. галоўны рэдактар часопіса «Маладосць», у 1966–1972 гг. сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР; ганаровы акадэмік АН Беларусі (1994); лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1981), Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Купалы (1968), Літаратурнай прэміі імя Я. Купалы (1959).

[3] З ліста ад 24 жн. 1974 г. «Бачу Вас побач... »: Лісты Васіля Быкава да Пімена Панчанкі / публ. З. К. Панчанкі; падрыхт. да друку А. Урбана // Полымя. 2001. № 8. С. 162.

[4] З ліста ад 6 кастр. 1974 г. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

[5] Згодна з «Актом о принятии законченного производством кинофильма “Волчья стая”» ад 3 сак. 1975 г. Машынапіс за подпісам У. Матвеева. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 883. Арк. 201.

и волчья стая // Вечерний Минск. 1975. 21 нояб.; Егоров А. Поиски и потери // Советская культура. 1975. 25 нояб.; Подберезский Г. Испытание огнем // Сельская газета. 1975. 5 дек.; Аграновский Э., Козак А. Выбор // Заря (г. Брест). 1975. 5 дек.; Рунин Б. Четверо против волчьей стаи // Советский экран. 1975. № 20. С. 3–4; Байран М. Роздум пасля сеанса // Літаратура і мастацтва. 1976. 19 сак.; Бондарева Е. Киногод-75: заметки критика с четвертого смотра-конкурса работ киностудии «Беларусьфильм» // Вечерний Минск. 1976. 12 мая; Дубоўскі М. Без пэўных пазіцый // Літаратура і мастацтва. 1976, 3 верас.; Савицкий Н. Дорогами войны // Советская культура. 1976. 2 нояб.; Бондарева Е. Повести и фильмы // Неман. 1977. № 10. С. 162–164; Бобкова А. Зритель есть зритель // Знамя юности. 1978. 13 июня; Аронов А. Кто входит в наш дом? // Московский комсомолец. 1980. 16 марта; Зайцава Л. Жанр у экранізацыях сучаснай прозы: Аповесці В. Быкава ў кіно // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1981. № 4. С. 90–91; Смаль В. Человек. Война. Подвиг. Минск, 1979. С. 118–119; Зайцева Л. Жанровая палитра белорусского кино. Минск, 1983. С. 10–11; Маматова Л. Ветви могучей кроны. М., 1986. С. 35–42, 67–68; Ратников Г. На экране — Великая Отечественная // Современное белорусское кино. С. 114–117; Гісторыя кінамастацтва Беларусі: у 4 т. Т. 2. С. 127–130.

У фондзе к/с «Беларусьфільм» у папцы з матэрыяламі па фільму «Волчья стая» захоўваецца тры рэдакцыі літаратурнага сцэнарыя. Першая — аўтарызаваны машынапіс (58 старонак; БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 1083. Арк. 1–58) з нязначнымі праўкамі, зробленымі чорным чарнілам; уверсе першай старонкі, па цэнтры, напісана (але не В. Быкавым): «Волчья стая», злева ўверсе: «[*неразб.*] принят. Заявка утверждена 21/III–74 г.». Другая рэдакцыя — аўтарызаваная машынапісная копія з нязначнымі праўкамі, зробленымі сінім чарнілам (58 старонак; там жа, арк. 59–118); на першай старонцы надрукавана: «В. БЫКОВ», ніжэй: «ВОЛЧЬЯ СТАЯ Киносценарий», яшчэ ніжэй рукой В. Быкава напісана: «2-й вариант»; злева ўверсе службовая памета ад рукі: «[*неразб.*] обсужден. [*неразб.*] Принят. Перед отправкой в Главк на утверждение внести исправления, высказанные коллегией»; злева пасярэдзіне подпіс І. Шамякіна і дата: «9.IV.74 г.»; унізе: «вх. 4 8/IV–74»; на наступнай старонцы злева ўверсе службовая памета ад рукі: «Утвержден на редсовете 12[?]/IV.74 г. Принят». Трэцяя рэдакцыя — таксама машынапіс (70 старонак; там жа, арк. 119–189); на першай старонцы надрукавана: «В. БЫКОВ», пасярэдзіне: «“ВОЛЧЬЯ СТАЯ”», ўнізе: «“Беларусьфільм” — 1974 г.»; злева ўверсе службовая памета ад рукі: «Вариант [*неразб.*] Госкино СССР. 17/IV–74 г.». Пры параўнанні гэтых варыянтаў, акрамя не надта істотных стылёва-лексічных разыходжанняў, звяртаюць на сябе ўвагу наступныя тэксталагічныя змяненні, зробленыя аўтарам:

Стар. 212. *На одной из этих табличек он вдруг видит: «ул. Космонавтов», и лицо его прояснется.* — У першай рэдакцыі далей ішло з новага абзаца: «Ну вот и нашел, — думает он. — Теперь где-то тут, близко...» (1-я рэдакцыя (І). БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 1083. Арк. 2; 2-я рэдакцыя (ІІ), там жа, арк. 62; 3-я рэдакцыя (ІІІ), там жа, арк. 121).

Стар. 212. *Постепенно созерцательное выражение на его лице сменяется нетерпением и озабоченностью.* — У першай рэдакцыі далей ішло з новага абзаца: «Значит, тут где-то. Интересно, кто ему откроет? Если бы сам... Хотя разве узнаешь его? А может, и узнаешь! Наверное же, чем-то похож на отца, а отец-то помнится хорошо. Высокий, белокурый, глаза спокойные... Капитан Платонов!» (І, арк. 2; ІІ, арк. 62; 3-я рэдакцыя (ІІІ), там жа, арк. 121).

Стар. 212. *Какой тут указан корпус?* — У першай рэдакцыі: «Какой тут племяш указал мне корпус?» (І, арк. 3; ІІ, арк. 63; ІІІ, арк. 122).

Стар. 213. *...от этой их детской осведомленности.* — У першай рэдакцыі адсутнічае (І, арк. 4; ІІ, арк. 64; ІІІ, арк. 123).

Стар. 213. *А какую квартиру надо?*

— Квартира пятьдесят вторая.

— Пятьдесят вторая... А там написано. Вверху над каждой дверью написано. — У першай рэдакцыі адсутнічае (І, арк. 4; ІІ, арк. 64; ІІІ, арк. 123).

Стар. 213. *...и побежали наискосок через дорожку.* — У першай рэдакцыі адсутнічае (І, арк. 4; ІІ, арк. 64; ІІІ, арк. 124).

Стар. 214. *Надо свидеться. И поговорить. Все-таки есть о чем поговорить. Главное, узнать — как и что он? Да и рассказать о себе. Пусть знает. Тоже не мешает и ему обо всем узнать. Хотя и через тридцать лет.* — У першай рэдакцыі: «Столько сюда стремиться, столько о нем передумал! Судьба, видно, связала его с этим человеком до конца его дней — тут уж ничего не попишешь. Хочешь того или нет. Поэтому надо свидеться, поговорить. Все-таки есть о чем поговорить. Главное, узнать — как и что он? Да и рассказать свое...» (І, арк. 6; ІІ, арк. 66; ІІІ, арк. 126).

Стар. 215. *И мы должны позаботиться о вашей судьбе и судьбе ребенка.*

— Позаботишься тут о ней! Сама на рожон лезет. — У першай рэдакцыі адсутнічае (І, арк. 7; ІІ, арк. 67; ІІІ, арк. 127).

Стар. 216. Не *хватало мне еще шляться по бабам. Нашли подходящего...* — У першай рэдакцыі: «Не хватало еще...» (І, арк. 8; ІІ, арк. 68; ІІІ, арк. 128).

Стар. 216. *Начштаба, шурша плащ-палаткой, направился в кустарник, Пайкин исчез и еще раньше.* — У першай рэдакцыі адсутнічае (І, арк. 8; ІІ, арк. 68; ІІІ, арк. 129).

Стар. 216. *...растерянно проговорил Левчук, подтягивая ремень на пиджаке.* — У першай рэдакцыі адсутнічае (І, арк. 8; ІІ, арк. 69; ІІІ, арк. 129).

Стар. 217. *Кисель кинул «бычка» докурить, только рукой потянулся и — трах, получай! [...]*

— Сказал! — зло говорит Левчук... — У першай рэдакцыі замест гэтага фрагмента:

«Долгая гряда — песчаный, поросший соснами пригорок, в котором нарыты окопчики. В одном сидит Левчук с прикладом ручного пулемета у плеча. Бой только что утих. Левчук отрывает приклад от плеча, достает из кармана завернутый в тряпицу кусок хлеба и не спеша ест его. Съев все до крошки, оглядывается — похоже, сосед закуривает, и Левчук окликает его:

— Эй, Кисель, кинь «бычка»!

Вскоре со стороны соседа летит ветка с зажатым в ее разломе окурком, но она падает, не долетев до окопчика, Левчук тянется за ней рукой. И в этот момент под его руками хлестко щелкает, лицо осыпают песок и хвоя, доносится звук выстрела. Левчук хватается за плечо, по пальцам руки течет кровь. Он раздосадован, но еще больше удивлен и вскакивает.

— Ах вы, сволочи!

Он хватается за пулемет, но первое прикосновение приклада к плечу вызывает в нем боль, и он снова опускается в окоп, где кое-как перевязывает себя тряпицей, в которой был завернут хлеб. Потом кричит Киселю:

— Эй, Кисель, я ранен! Ранен я. Передай ротному.

— Здорово? — спрашивает сосед.

— А черт его знает! В плечо.

— Ну, в плечо — ерунда! Отоспишься в санчасти...

— Отоспался! — зло говорит Левчук» (I, арк. 9–10; II, арк. 69; III, арк. 130).

Стар. 222. *...и, взглянув на солнце, он вдруг сказал:*

— Смотри, Клава, солнце взошло!

[...]

На середине картофельного поля раненый, придя в себя, приподнимает голову. — У першай рэдакцыі замест гэтага фрагмента: «и перед его взглядом появилась другая Клава, какой она была около года назад...

...По лесной дороге едут сани, запряженные парой лошадей, по обе стороны стоит зимний сосновый лес, в санях Левчук в тулупе, его двое товарищей-партизан и молоденькая девушка, одетая в новенький полушубочек, шапку, с валенками на ногах. В соломе стоят две упаковки с рацией. Клава неспокойно вертится, оглядывается, восторгаясь лесом, природой, вдруг она видит на дереве белку, сани останавливаются, она бросается за белкой по лесу. Рядом бежит Левчук, он не сводит влюбленных глаз с девушки, у обоих радостно и безмятежно на душе.

Они останавливаются на опушке кустарника, впереди раскинулась картофельная нива, и Левчук не сразу, оглядевшись, сворачивает на нее. Идут вдоль по бороздам, Клава несколько отстает, раненый то и дело сползает с лошади на бок, и они, остановившись, поправляют его, поджидая Клаву. И снова в памяти Левчука всплывает картинка прошлого...

...Группа партизан устраивается на ночлег в деревне, хозяин расстилает на полу солому, они укладываются на ней. Клава располагается на печке, она оживлена, любопытно расспрашивает о всех незнакомых для нее вещах. Потом они тянут из шапки Левчука бумажки с часами ночного караула, Клава вытягивает время с 3 до 5 — самое неудобное время ночи, но поменяться отказывается. И вот Левчук, зайдя ночью в дом, вглядывается в стрелки ходиков на стене — пора будить Клаву, он подходит к печке, минуту смотрит, как радистка сладко спит в тепле, и выходит обратно. На утро она обиженно плачет из-за того, он морщится, чувствуя себя виноватым...

Они на середине картофельного поля и идут, придерживая раненого, который, придя в себя, приподнимает голову» (I, арк. 17–18; II, арк. 77–78; III, арк. 139–140).

Стар. 224. *Вдруг Левчук, тяжело дыша, останавливается.*

[...]

— Ладно, — говорит Левчук. — Потом... Быстро пошли!.. А то... — У першай і другой рэдакцыях адсутнічае (I, арк. 21; II, арк. 80; III, арк. 143–144).

Стар. 227. *Запряженные парой, знакомые сани мчатся по лесной дороге. [...]*

Левчук хмурится, потом берет две упаковки радиостанции и с совершенно убитым видом несет их следом в землянку. — У першай рэдакцыі замест гэтага фрагмента: «...Землянка, маленькое окошко бросает слабый свет на самодельный, грубо сколоченный стол, за которым у рации сидит Клава. Распахивается дверь, и на пороге появляется начштаба капитан Платонов.

— Клавка, пожелай мне ни пуха ни пера! — говорит он, радостно улыбаясь, и она бросается ему навстречу.

— Витя! — сдавленно говорит она. — А почему ты? Левчук же должен идти.

— Понимаешь, балбес этакий, твой Левчук. Вчера на задании поддал, и командир его засадил в яму. На трое суток. Вот понимаешь... Но ты не беспокойся. Это пустяк...

— Ага, хороший пустяк! Там же полно полицаев. Да и немцы. Там же рота СД.

— Ерунда! Мы быстро. За одну ночь...

Он обнимает ее и выходит, она бросается следом, но раздаются звуки морзянки, и она возвращается к рации.

...Тем временем Левчук сидит на телогрейке в яме. Утро. С похмелья болит голова, он задумчив и мрачен. И вдруг сверху слышится:

— Привезли! Капитана привезли!

Левчук, не обращая внимания на крики часового, выскакивает из ямы и бежит по лесу к штабной землянке, у которой стоит повозка с убитым начальником штаба и рыдает Клава.

Вокруг, уронив головы, стоят партизаны. Останавливается и Левчук...» (У другой і трэцяй рэдакцыях гэты эпізод будзе ўстаўлены пазней.)

У другой рэдакцыі: «Запряженные парой, знакомые сани мчатся по лесной дороге. [...] Среди них выделяется рослая фигура начштаба Платонова, он красиво улыбается, обнажая белые зубы. Лошади идут шагом, Клава толкает Левчука.

— Кто это? Вон тот, в полушубке?

— Это... Это начальник штаба. Платонов, — говорит Левчук, нахмурившись.

Сани останавливаются, Клава ловко выскакивает на снег, и тут же к ней с протянутой рукой подходит Платонов.

— Ну, здравствуй, девушка. Как доехалось?

Он улыбается белозубой улыбкой, и Клава не в силах оторвать взгляда от его лица, тоже улыбается. Левчук хмурится и отходит в сторону.

Начштаба ведет радистку в землянку. Левчук забирает рацию и с убитым видом, не спеша, идет следом» (I, арк. 23–24; II, арк. 83; III, арк. 147).

Стар. 228. *Один остался...*

— Плохо, значит, старался, — сказал Левчук.

[...]

— Куды весялей... А ты заслужаны, кажаш. Каб хоть Валодька... — У першай рэдакцыі: «Один остался... И все что хотел человеком быть... у том причина.

...Погожая осень, крестьяне копают картошку. Под лесом работает Грибоед с семьей: женой и старухой-матерью, старший из детей, тринадцатилетний Володька, помогает отцу с лошадью. Младшие сидят на меже возле костерка.

Грибоед поворачивает коня в конце загона и вдруг слышит:

— Эй, человек!

Он оборачивается — кто-то в военной форме с оружием машет ему из кустов. Грибоед оставляет лошадь и идет к нему...

...В сумерках он везет из леса в свой дом тяжело раненого. Другой, раненый легче, идет рядом. Он говорит:

— На время, отец. Вот поправится, и мы пойдем. А пока надо помочь...

...На его кровати в избе лежит забинтованный человек, жена Грибоеда поит его молоком из кружки, рядом стоит другой.

— Ну во и добра, — говорит женщина. — Всего кружку выпил, значит, на поправку пойдешь.

— Спасибо, родная...

...Уже лежит снег, начало зимы. Грибоед колет дрова во дворе, вдруг прибегает Володька.

— Татачка, немцы!

— Запрагай каня! Хутка!

Грибоед бросается в избу к раненым, Володька выводит кобылку, запрягает в сани, Грибоед выносит из избы раненого, они выезжают со двора на дорогу к лесу, как вдруг немцы открывают огонь. Грибоед изо всей силы стегает лошадь, та срывается вскачь, и тогда рядом тихо ойкает Володька. Отец хватается за него, мальчонка оседает в санях, они прорываются в лес, но побледневший мальчишка без сознания. Разрывная пуля попала ему в живот...» (I, арк. 26–27; II, арк. 85–86; III, арк. 149–150).

Стар. 231. *...Землянка, маленькое окошко бросает слабый свет на самодельный, грубо сколоченный стол, за которым у рации сидит Клава. [...]*

Останавливается и Левчук... — У першай рэдакцыі замест гэтага фрагмента: «Левчук терпеливо сидит на скамейке под стеной гаража, солнце скрылось за крышами высоких домов. Двор живет своей привычной для него жизнью: возятся дети в песочнице, взрослые подметают дорожки, выбивают ковры. Старушки уже оставили свой пост у подъезда и скрылись в доме.

Наблюдая жизнь большого двора, Левчук думал свои, важные теперь для него думы.

Вот интересно — какой он? Веселый, общительный? У Платонова было такое живое лицо, приятно смотреть. И кто он? Возможно, инженер, специалист по машинам, может, сам даже строит машины, автомобили например. Это было бы здорово! Или врач — тоже неплохо. Может, даже лучше, если бы врач. А то теперь в медицине почти сплошь женщины, а что женщины? Только ругаться с ними... Может, он уже кандидат каких там наук. Было бы приятно. (Левчук сдержанно улыбается.) Хотя, конечно, главное, чтоб был человеком: приветливым в обращении, не пьяницей, чтоб не ругался. Хорошо еще, когда человек удачливый в жизни, но не за счет других. А то сколько их развелось, этих ловкачей, строящих свое благополучие за счет других! Умных с выгодой для себя.

Конечно, было бы очень здорово, если бы он оказался таким, каким хочется. Но... В жизни не часто так получается, как хочешь.

И все-таки надо надеяться.

Тем более, что столько с ним связано, словно с родным сыном, которого не дал бог. Три дочки. А что дочки — все у них от матери, а отца ничего. Ну да что фантазировать — скоро, наверно, все выяснится...» (I, арк. 30–31; II, арк. 89–90; III, арк. 155). У трэцяй рэдакцыі гэты фрагмент упісаны Быкавым у самым канцы сцэнарыя (арк. 186–187).

Стар. 237. — *Гэ, то ж той, што перабег да немцев. Кудрауцау той.*

— Кудрявцев?

— Ну. Што вясной боты у Гусака украл. Той, немецкий агент. — У першай рэдакцыі адсутнічае (I, арк. 39; II, арк. 98; III, арк. 165).

Стар. 238. *...знакомый голос Кудрявцева...* — У першай рэдакцыі: «знакомый голос предателя» (I, арк. 40; II, арк. 99; III, арк. 166).

Стар. 239. *...а сам подался к Клаве.*

— Ну, давай! Сразу за малинник и в рожь! Быстро! — У першай рэдакцыі замест гэтага: «чтоб дверь не захлопнулась, и повернулся к Клаве» (I, арк. 42; II, арк. 101; III, арк. 168).

Стар. 239. *— Ах, холеры! — давясь от дыма, просипел Грибоед. — Забьют же! Левчук, ты давай! А я тут уже...*

Что-то поняв, Левчук бросился по лестнице... — У першай рэдакцыі замест гэтага: «— Грибоед, бей! По ним бей! — крикнул Левчук, а сам бросился по лестнице» (I, арк. 42; II, арк. 101; III, арк. 169).

Стар. 240. *Оставшись один, Грибоед достает из кармана последнюю обойму, вынимает из нее пятый патрон и сует в нагрудный карман. [...]*

Грибоед пытается встать, чтобы бежать, но тут сзади сквозь дым раздается трассирующая автоматная очередь, и он тихо опускается на землю. — У першай рэдакцыі адсутнічае (I, арк. 42; II, арк. 101–102; III, арк. 169–170).

Стар. 240. *Левчук, пригнувшись, бежит в дыму по истоптанной ржи, падает, снова вскакивает, все дальше уходя от пожара, от немцев, к лесу.* — У першай рэдакцыі: «Откуда-то из-под него рикошетом брызнула пуля, он вскочил и в дыму, пригнувшись, бросился в рожь. Сразу же запутался ногами в стеблях, упал, снова вскочил, изо всех сил побежал прочь от пожара, от немцев, к лесу» (I, арк. 42–43; II, арк. 102; III, арк. 170).

Стар. 241. *Он уже не поднялся, а так и остался лежать, лишившись всех сил.* — У першай рэдакцыі: «Он уже не поднялся, только перевалился на спину, взглянул в предвечернее небо и закрыл глаза...» (I, арк. 43–44; II, арк. 103; III, арк. 171).

Стар. 241. *Дверь 52-й...* — Ва ўсіх рэдакцыях: «58-й», але на пачатку сцэнарыя называецца 52-я кватэра (I, арк. 44; II, арк. 103; III, арк. 171).

Стар. 241. *...и снова возвращается на скамейку под стеной гаража.* — У першай рэдакцыі далей ідзе: «Задумывается.

— А волки когда-то действительно задали страха...» (I, арк. 44; II, арк. 103; III, арк. 171).

Стар. 243. *— Все-таки застрелили, гады!* — У першай рэдакцыі: «— Эх, дед-Грибоед!» (I, арк. 47; II, арк. 107; III, арк. 175).

Стар. 246. *— Forwerts, dort nicht tief!*

— Hier ist der kluft! — У трэцяй рэдакцыі тут пропуск, але ў ранейшых рэдакцыях упісана В. Быкавым (I, арк. 51; II, арк. 110; III, арк. 180).

Стар. 250. *Левчук терпеливо сидит на скамейке под стеной гаража. [...]*

Через то проклятое ранение пришлось расстаться с рукой, занял место Грибоеда в санчасти. — У першай рэдакцыі: «Сидя на скамейке

под стеной гаража, Левчук то и дело поглядывает на третий подъезд и на балконы над ним. Не сразу он начинает выделять из них один на третьем этаже — обыкновенный, как и все здесь, балкон с узкой стеклянной дверью, цветами в вазонах-корытцах, подвешенных на краю перил. На этом балконе стоит плетеное кресло-качалка и с крыши свешивается толстый провод антенны.

Перед тем, как уехать, он должен узнать, какой он? Пусть не такой, каким бы хотелось видеть, но все же. Слишком уж много у Левчука связано с этим мальчонкой, чтобы он отступился. Тем более, что тот памятный случай — и есть самый яркий в его боевом прошлом. После уже не пришлось ничего: кончилась блокада — отняли руку, занял место Грибоеда в санчасти» (I, арк. 56–57; II, арк. 116–117; III, арк. 186–187).

Стар. 251. *Неслышно выйдя из квартиры, она поливает из стеклянной банки цветы. [...]*

— Да, да, заходите... — У першай рэдакцыі: «Неслышно выйдя из квартиры, она поливает из стеклянной банки цветы, бросает рассеянный взгляд вниз и так же неслышно исчезает в раскрытых дверях квартиры.

Левчук на минуту замирает в напряжении, поняв, что дождался. Преодолевая вдруг охватившее его волнение, поднимается и расслабленно идет к подъезду. Медленно поднимается по знакомой лестнице на третий этаж. Знакомая дверь закрыта, но за ней слышится присутствие людей, и он нажимает кнопку звонка. Из квартиры доносится мужской голос:

— Да, да! Заходите. Там не закрыто.

И он, забыв снять кепку, поворачивает ручку двери» (I, арк. 57–58; II, арк. 117–118; III, арк. 188–189).

Долгие версты войны
Киносценарий (стар. 252)

Сцэнарый 1-й і 2-й серый (адпаведна пад назвамі «Солнце высоко» і «Высота в тумане») друкуецца паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе к/с «Беларусьфільм»: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 139–178, 179–245; сцэнарый 3-й серыі пад назвай «На восходе солнца»[1] друкуецца паводле: Быков В. На восходе солнца:

---

[1] Заўважым, што аналагічна называецца апавяданне В. Быкава 1959 г. (гл.: Быкаў В. Поўны зб. тв.: у 14 т. Т. 7. С. 265–270). Да таго ж у Архіве В. Быкава захоўваюцца дзве рукапісныя старонкі, на адной пазначана:

«На ўсходзе сонца...

(раман)

— Дзень

Киноповесть // Смена. 1975. № 13, 14. Цалкам кінасцэнарый друкуецца ўпершыню.

Датуецца 1974 г.

Першапачаткова на к/с «Беларусьфільм» па папярэднім узгадненні з Дзяржаўным камітэтам Савета Міністраў БССР па кінематаграфіі і ТА «Экран» Цэнтральнага тэлебачання (Масква) планавалася экранізацыя адразу трох аповесцяў В. Быкава: «Журавлиный крик», «Дожить до рассвета», «Атака с ходу» (на беларускай мове вядомая як «Праклятая вышыня»), але пазней другая аповесць была выключана са спіса, бо размова пра яе экранізацыю зайшла на кінастудыі «Ленфильм»[1], і таму В. Быкавым была зроблена іншая прапанова:

«Главной сценарной коллегии
киностудии "Беларусьфильм"

Заявка

Настоящим предлагаю написание сценария для многосерийного телефильма под общим названием "Кровавые вёрсты войны".

Содержание фильма:

Фильм первый — "Крещение" — экранизация повести "Журавлиный крик",

Фильм второй — "Трудные вёрсты" — экранизация повести "Атака с ходу",

Фильм третий — "За два шага от победы" — оригинальный киносценарий.

– Вечар
– Ноч
– Ранак
– Шырокія рэтраспекцыі кожнага, асабліва ўначы.
– Застаўся Васюкоў, былы партызан.
– Герой».

На другой старонцы:

«У аповесці
"На ўсходзе сонца"
даць некаму гэта ў якасці рэтраспекцыі
(ноччу думае)».

[1] У Архіве В. Быкава (Гродна) захоўваюцца тэлеграма ад 2 снежня 1972 (?) г.: «Уважаемый Василий Владимирович Второе творческое объединение киностудии "Ленфильм" просит вашего согласился [неразб.] вами договора на право приобретения повести "Дожить до рассвета" в целях экранизации. Директор Второго объединения Каракоз», а таксама «Типовой сценарный договор» ад 20 чэрв. 1974 г. за подпісамі дырэктара 2-го ТА к/с «Ленфильм» А. Аршанскага, рэжысёра В. Сакалова і В. Быкава, згодна з якім Быкаў і Сакалоў павінны былі прадставіць літаратурны сцэнарый пад умоўнай назвай «Дожить до рассвета» не пазней 21 ліпеня таго ж года.

Подробное изложение содержания всего фильма, в основу которого положена идея борьбы советского народа в годы Великой Отечественной войны, прилагается.

В. Быков

27 мая 1974 г.
Гродно[1].

Василь Быков

Кровавые версты войны[2]

Фильм первый
Крещение

Часть первая

Осень. Заволоченное тучами небо. Ветер. Железнодорожный переезд в поле: обломанный шлагбаум, будка-сторожка. На обочине стоит группа бойцов в шинелях с петлицами и перед ними комбат. Он ставит боевую задачу: перекрыть на фланге дорогу.

Бойцы внимательно и озабоченно слушают. Их пятеро: старшина Карпенко, белобрысый рядовой Свист, Фишер, высокий неуклюжий боец в очках, приземистый Пшеничный, молодой парень Овсеев и совсем молодой, не обстрелянный еще боец Васюков.

Наконец командир батальона уходит, старшина Карпенко командует начинать окапываться. Он разводит бойцов по их местам. Но тут обнаруживается, что у Фишера нет лопаты, следует короткая стычка со старшиной.

Бойцы окапываются. Тем временем темнеет. Начинает моросить дождь. Карпенко подзывает Фишера, который без дела сидит в канаве, и ведет его в поле — в секрет.

---

[1] Машынапіс. Арыгінал. Подпіс — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 3. Ужо ў літаратурным сцэнарыі серыі атрымалі іншыя назвы: «Солнце высоко», «Высота в тумане», «На восходе солнца»; у рэжысёрскім сцэнарыі 1-я серыя атрымае назву «Журавлиный крик».

[2] Лібрэта сцэнарыя друкуецца паводле аўтарызаванага машынапісу. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 4–17. Між тым, у Архіве В. Быкава захоўваецца чарнавы аўтограф лібрэта: 16 рукапісных пранумараваных старонак. На першай уверсе наклеена папера з надрукаваным тэкстам: «Василь Быков», «КРОВАВЫЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ», «Фильм первый», «КРЕЩЕНИЕ», «Часть первая» (слова «Кровавые» закрэслена чырвоным чарнілам, уверсе напісана сінім чарнілам: «Солдатские»); уверсе 8-й старонкі надрукавана: «Фильм второй», «ТРУДНЫЕ ВЁРСТЫ», «Часть первая» (назва трэцяга фільма (стар. 12) напісана ад рукі). Аўтограф і машынапіс тэксталагічна практычна ідэнтычныя.

Они идут по дороге. Но вот Карпенко замечает, что Фишер отстал, он оборачивается — тот на ходу листает какую-то книгу. Карпенко заинтересованно останавливается, из короткого разговора становится ясно, что книга эта — работа Челлини об искусстве и что Фишер — ленинградский искусствовед. Несколько смягчившись, Карпенко определяет место секрета в поле и показывает Фишеру, как надо отрыть окопчик.

В это время за переездом на дороге раздаются выстрелы, несколько очередей, Карпенко, оставив Фишера, бежит к бойцам и застает их в некоторой тревоге. Особенно встревожен Пшеничный, который подозревает окружение и настаивает на отходе. Старшина быстро водворяет порядок, выговорив Пшеничному.

Обиженный выговором, Пшеничный залезает в свой окопчик и, схоронясь от посторонних взглядов, достает из вещмешка хлеб, сало, начинает есть. В его сознании проносятся некоторые картины из его детства: кулак — отец, деревенская жизнь на хуторе. Он недоволен, подавлен войной и властью Карпенко.

Тем временем Карпенко обходит траншею и придирчиво замеряет ее глубину. Он заставляет Свиста копать глубже, старательно копают Овсеев, Васюков.

Когда траншея готова, бойцы по одному сходятся в будку-сторожку. Сначала туда проникает Овсеев, потом Свист и остальные. Свист разжигает печурку, и они устраиваются подле нее. Старшина ложится на деревянный топчан. Все смотрят в огонь, в котором варится концентрат с остатками сала, украденного Свистом из вещмешка Пшеничного. После ужина разбитной Свист рассказывает о своей жизни в Саратове, о суде и заключении. Все его слушают. Когда приходит очередь Овсеева караулить, он выходит из сторожки и становится под ее крышу. Идет дождь. Под его шум Овсеев размышляет о своей жизни городского самолюбивого парня, который всегда и всюду привык быть первым, лучшим, и только тут, на войне, попал в число обычных и незаметных.

Отстояв свое, он открывает дверь сторожки, требуя смены, Карпенко приказывает сменить Васюкову, но с пола вскакивает Пшеничный. Овсеев заходит в сторожку.

Некоторое время бойцы рассуждают о войне, о жизни, о немцах, потом по одному засыпают. Не спит только Васюков, он думает о матери и сестренке, которые остались в Белоруссии за линией фронта.

А вытянувшемуся на топчане Карпенко снится трудный, какой-то кошмарный сон из его бедняцкого прошлого, потом дурной эпизод из финской войны, в которой участвовал Карпенко. Старшина просыпается, прикуривает от уголька из печки и долго сидит, размышляя о своем задании и своей жизни.

Тем временем снаружи беспокойно ходит вокруг сторожки Пшеничный. Он встревожен, озабочен, он принимает какое-то реше-

ние, перебегает кювет и, оглянувшись, быстро идет по дороге от переезда, в сторону поля. Он говорит какие-то слова, из которых можно понять, что он решил кончить с войной, сдаться в плен. Шаг его все ускоряется, он бросает за канаву винтовку, нащупывает за пазухой немецкий пропуск-листовку. Наступает рассвет, над полем стелется холодный туман. Пшеничный подходит к окраине деревни и встречает немецких мотоциклистов. Он поднимает руки и бормочет про плен, немцы обыскивают его, выворачивают карманы и, посовещавшись, приказывают идти по дороге. Почуяв неладное, он идет, и крайний мотоциклист стреляет ему в спину. Мотоциклисты устремляются по дороге на переезд.

В предрассветном тумане в поле, на дне неглубокого окопчика, сидит Фишер. Он озяб, голоден, мысли его далеки от этого поля, он вспоминает Ленинград, свою в нем довоенную жизни, размышляет об искусстве и переживает оттого, что из него получается неудачный боец, мало приспособленный к бою, к войне. Стекла его очков заплывают дождем, он то дремлет, то прохватывается, высовывается из окопчика, прислушивается.

Недалекие выстрелы в деревне заставляют его забеспокоиться, он перезаряжает винтовку, близоруко всматривается на дорогу. Спустя минуту на ней появляются мотоциклы, и Фишер начинает мучительно в них целиться. Наконец он стреляет, но, разумеется, мимо, стреляет еще и еще и к его радости передний мотоцикл останавливается, кого-то там он ранил. Он перезаряжает винтовку, но в это время с дороги раздается пулеметная очередь, Фишер роняет винтовку и сползает в окоп. Один мотоцикл сворачивает с дороги, направляясь к окопчику Фишера, молодой немец разряжает в него автомат и, подойдя, брезгливо переворачивает ногой противогазную сумку Фишера, из которой вываливается кусок хлеба и томик Челлини[1]. Ветер перелистывает ее страницы...

Часть вторая

Старшина Карпенко в сторожке громовым голосом командует: “В ружье!” Все выскакивают наружу и разбегаются по своим местам. Обнаруживается исчезновение Пшеничного. Все слушают перестрелку Фишера. Но утренний туман не дает им ничего видеть в поле.

Наконец из тумана появляются мотоциклисты с двумя бронетранспортерами. Карпенко командует подпустить их к мостку на дороге. Свист замирает у своего ПТРа. Бронетранспортеры начинают обстрел переезда, защитники которого в напряжении ждут выстрела противотанкового ружья. Наконец Свист открывает огонь. Первый

---

[1] Чэліні Бенвенута (1500–1571) — італьянскі скульптар, мастак эпохі Адраджэння.

бронетранспортер съезжает в канаву, второй пытается развернуться, но загорается. Переезд открывает дружный огонь. Стреляет Свист, боязливо стреляет Васюков, Овсеев. Немецкие мотоциклисты пытаются спастись, но многие из них остаются на дороге. Бой стихает. Карпенко отрывает от плеча приклад своего ручного пулемета. Все довольны, среди защитников переезда нет даже раненых. Всеобщее оживление, воспоминание, обилие впечатлений. Рассуждения о Фишере и о Пшеничном.

Свист предлагает сбегать в низинку к подбитым транспортерам, Карпенко разрешает. Бронебойщик берет с собой Васюкова и они идут за мостик. Картина немецкого разгрома: обгоревшие бронетранспортеры, убитые немцы, опрокинутые мотоциклы. Васюкову боязно и брезгливо, а Свист шарит в поисках трофеев, находит ручной пулемет и моток снаряженных лент, со всем этим бойцы возвращаются на переезд.

Карпенко одобрительно осматривает пулемет, вручает его Овсееву. Разглядывает врученные ему Свистом часы. Упрекает его за мародерство, но часы прибирает в карман и пристегивает на цепочку.

Овсеев с Васюковым возятся с пулеметом, и вдруг Овсеев предлагает пулемет Васюкову. Тот, однако, не знаком с ним. Судя по всему, роль пулеметчика явно не устраивает хитрого Овсеева. Их разговор прерывает команда Карпенко: “К бою!”

Впереди на дороге появляется колонна гитлеровцев, во главе которой идут три танка.

Переезд замирает в тревожном ожидании. Все молчат, лишь Свист пытается рассказать анекдот, но на этот раз его плохо слушают. Когда танки спускаются в лощину, переезд открывает огонь. Бьет противотанковое ружье Свиста, но и танки начинают обстрел переезда. Одним из первых разрывов разносит сторожку, длинный ствол ПТР оказывается перебитым осколком, Свист дико матерится.

Начинается жестокий бой. Ранен старшина Карпенко. Из его головы на бруствер льется кровь. Его перевязывает Свист. Танк приближается к мостику. Свист хватает гранаты и, крикнув Овсееву, чтобы тот прикрыл его огнем, бросается навстречу танку. Он бежит вдоль насыпи, как раз на мостике они сходятся, и Свист бросает гранату. Сам он отбежать уже не успевает...

На переезде остаются двое: Овсеев и Васюков. Старшина бредит на дне окопа. В бое наступает пауза. Васюков бросается к раненому, но тот не узнает бойца.

И тогда к Васюкову подбегает Овсеев. Следует короткая стычка, Овсеев предлагает смываться, Васюков не может на это решиться без приказа. Они ждут.

И вот переезд атакуют немцы. Отстреливаясь, два бойца отходят. Сначала за канаву. Потом за дорогу. Они стреляют из винтовок и

перебегают от укрытия к укрытию. Овсеев падает. Васюков остается один. Продолжая вести огонь, он пятится, отползает, перебегает...[1]

Фильм второй
Трудные версты

Часть первая

Снег с дождем, раскисшая дорога, по которой движется разбредшийся строй роты автоматчиков. Впереди шагает командир роты Ананьев, сзади и немного в стороне — его ординарец ефрейтор Васюков. Ананьев вызывает командиров взводов. К нему подходит пожилой нерасторопный старшина Пилипенко. Васюков бежит звать младшего лейтенанта Ванина.

В это время на дороге появляется ротная собачонка Пулька, кто-то из бойцов пугает ее, и она перепрыгивает за канаву с водой. Ванин вступается за Пульку, подбирает ее с дороги за пазуху и является к командиру роты.

В голове колонны собираются командиры взводов, замполит роты Гриневич, тут же присутствует и Васюков. Командир роты предупреждает о близости противника и приказывает сменить головной дозор. Тут же выясняется, что из взвода Пилипенко отстал пожилой боец Чумак, и Васюкова посылают отыскать его на дороге и доставить в роту.

Васюков бежит вдоль колонны и в конце ее встречает отставшего Чумака, его ведет санинструктор роты Цветков. Следует разговор, который прерывается вспыхнувшей впереди ракетой. Васюков бежит в голову колонны, где остановились командиры. Вскоре из донесения дозора становится ясно, что впереди на высоте окапываются немцы и что есть возможность их атаковать и сбить с высоты. Васюкова на этот раз посылают за ротой.

Васюков ведет роту. Ананьев разворачивает ее в цепь, и бесшумно в ночной оснеженной тьме рота атакует высоту. Следует короткая схватка с немцами в их недооборудованной траншее, гранатный бой, в ходе которого Васюков спасает Ананьева, но сам оказывается раненным гранатным осколком в плечо.

Раненый Васюков бредет по траншее в поисках санинструктора и находит его в брошенном нецами блиндаже. Цветков перевязывает его. В это время в блиндаж Ванин приводит пленного раненого немца, приказывает Цветкову его перевязать. Немец дерется, они сгребают его и перевязывают силой, после чего оставляют в блиндаже до утра.

---

[1] У чарнавым аўтографе далей ішоў сказ: «По его лицу текут слезы отчаяния...», але быў закрэслены.

Васюков выходит в траншею. Он разыскивает Ананьева и находит его возле умирающего бойца Кривошеева. Потом идет во взвод Пилипенко. Там возле пулемета настороженно притихли Чумак и боец Шнейдер. Где-то затаились немцы. Солдатский разговор о командирах. Потом Васюкова вызывает в блиндаж командир роты.

В блиндаже Ананьев, Гриневич, Пилипенко. Они наскоро ужинают. Шнейдер рассматривает документы пленного, которого Ананьев заставляет выпить водки, чтобы развязать язык. Но пленный, быстро охмелев, поет немецкую солдатскую песенку и засыпает. Ананьев сочиняет донесение командиру батальона. Следует разговор, который постепенно затихает. Ананьев уходит во взвод Пилипенко.

В блиндаже водворяется тишина.

Часть вторая

Кто-то приподнимает край палатки и вызывает замполита Гриневича. За ним вскоре выходит Васюков. Командиры собираются в дальнем конце траншеи и вглядываются в ночь, где вроде бы появились немцы. Ананьев запускает очередь из пулемета, но безрезультатно. Туда идет Ванин с одним бойцом.

Командир роты Ананьев отправляет Васюкова с ранеными и пленным в тыл. За речку его провожает Цветков.

Вдруг утренняя тишина сзади разрывается выстрелами, на высоте — ураганный огонь, бойцы бегут с высоты к речке. За ними, пытаясь остановить бегущих, бежит Ананьев, с помощью Васюкова ему удается остановить роту и развернуть ее в цепь. При этом замполит роты оказывается раненным, Ванин пропадает бесследно. В последовавшей за тем стычке Ананьев отстраняет от должности старшину Пилипенко.

В это время в наступившей тишине на склоне высоты появляется немец с Чумаком. Остановившись, он кричит что-то, — Шнейдер переводит. Оказывается, немцы просят обменять Чумака на пленного немца. После недолгого совещания Ананьев решает разменять пленных и отправляет на высоту рядового Шапу[1] с немцем.

Приходит Гриневич, начинается неприятный разговор с командиром роты, который заканчивается ничем. Раненый Гриневич отправляется вдоль насыпи в тыл.

Однако замполит попадает под огонь с высоты, и Шапа вскоре приносит его. Лейтенант тяжело ранен в голову.

Ананьев готовит роту к атаке. Разговор с Пилипенко. На первый взвод ставит Шапу. Рота идет в атаку.

Васюков остается у речки с раненым Гриневичем. В тумане на высоте ничего не видно. Тянутся минуты напряженного ожидания.

---

[1] У кінасцэнарыі — «Щапа».

Вдруг впереди разгорается ожесточенная схватка. Кто — кого? Бредет раненый. Не выдержав, Васюков бросается через речку и на пашне натыкается на группу немцев, заходящих с тылу. Завязывается поединок одного с пятью, потом с тремя. Васюков еще раз ранен, но тут с высоты ему на выручку подбегает Пилипенко с бойцами, они подбирают раненого, несут его в тыл.

— Все хорошо! Мы их тоже турнули. И еще не так турнем. Погодите...

Фильм третий

В двух шагах от победы[1]

Часть первая

Германия, весна 45 года. По дороге идут машины в сторону тыла, и одна пробирается на фронт. В ней семеро случайных попутчиков: выписавшийся из госпиталя майор со звездой Героя на груди, разведчик с орденом Красного знамени, в кабине старший техник-лейтенант с портфелем, девушка-санинструктор Зина и в углу кузова притихший сержант с двумя медалями “За отвагу”. Это Васюков, возвращающийся из госпиталя на передовую.

Где-то машина разминается со “студабеккером”, полным раненых. Майор спрашивает: “Ну как там?” Один из раненых отвечает: “Доколачиваем сволочей! Слышали, Гитлер застрелился?” — “Слыхали...” — “Давайте скорее, а то не успеете...” — “Плакать не будем, если и не успеем, — отвечает майор. — Мы свое отбахали”...

Вдруг колонна впереди идущих машин останавливается. Старший техник-лейтенант выходит из кабины, идет вперед и скоро возвращается. “Гиблое дело: мост взорван”. Кто-то предлагает поискать брод.

Они сворачивают на боковую дорожку, проезжают немного и видят, как с того берега через реку перебираются вброд два бойца. Майор скидывает сапоги, идет в воду. За ним остальные. Машина остается на этом берегу, с ней шофер Воробей и старший техник-лейтенант.

Все переходят реку, но майор попадает в яму и оказывается до пояса мокрым. Тем временем наступает вечер. Над речкой — прекрасный модерновый особняк. Майор всходит на крыльцо и стучит в дверь.

Ему открывает старый мужчина-немец. Майор, а за ним и все остальные проходят в помещение. Следует разговор. Майор произносит слово “брод”, и немец приносит кусочек хлеба. Недоразумение разъясняется. Все смеются. Группа располагается на отдых.

Васюков осматривает богатое убранство комнат: ковры, гобелены, мебель из темного дерева. Вспоминает свое крестьянское жилище... Одна дверь кажется ему подозрительной. Но он сталкивается

[1] Ніжэй В. Быкавым напісана: «год 45-й», але закрэслена.

с красивой молодой женщиной в брючках. Это Ирма. Та отвлекает его внимание.

Васюков спускается вниз в общую комнату, где без брюк сидит мокрый майор и другие. В это время вбегает шофер Воробей, который с порога кричит, что сегодня в 24.00 капитуляция. Все радостно оживляются. Майор требует ехать дальше, но машина застряла в реке.

Капитуляция! Пожилой зампотех плачет. Майор хохочет. Разведчик бросается впляс. В это время во двор въезжает повозка, из которой вылезают двое: капитан с толстой полевой сумкой и боец с автоматом на изготовку. Потом из повозки выбирается молодой человек без погонов. Это — офицер прокуратуры, конвоир и арестованный за трусость младший лейтенант Терещенко.

Организуется импровизированный ужин, кое-что было у бойцов, кое-что принес хозяин. Появляется Ирма — молодая хозяйка. Она вместе с Зиной готовит скромный ужин. Стол сервируется отличнейшим мейсенским фарфором[1]. Рассаживаются. Капитан не знает, как быть с запертым в отдельной комнате арестантом. Но в разгар ужина майор приглашает и того к столу. Тут же из-за подозрительной двери появляется и молодой человек в немецкой форме. Выясняется, что это муж Ирмы, дезертировавший с фронта. Короткое замешательство, но в конце концов и он получает свою рюмку вина.

После ужина располагаются на отдых. Майор не отходит от Ирмы. За ним ревниво наблюдает Зина, с которой увлеченно беседует капитан. Терещенко отправляется в свою комнату. К нему подходит Васюков. Разговор. Потом Васюков бродит по пустым комнатам и выходит на балкон. Тихо. Темно. Впереди поблескивает река. Он вспоминает погибших: старшину Карпенко, Свиста, Ананьева, Ванина. И тут видит: через реку вброд молча пробирается колонна людей, тускло поблескивает их оружие, пулеметы, с той стороны спускаются крытые брезентом машины.

Часть вторая

— Стой! — кричит Васюков с балкона. — Кто такие? Стой!

В ответ слышится отрывистая немецкая команда, и по особняку открывают огонь, из окон со звоном вылетают стекла. Васюков кричит в комнату: “Немцы!” и хватается за автомат.

Он несколькими очередями бьет по броду и колонне, немцы шарахаются в стороны и назад, обходят особняк. Но на том берегу и в реке

[1] Мейсен — марка нямецкага фарфора; назва паходзіць ад таго месца, дзе ўпершыню ў Еўропе ў 1710 г. пачалі вырабляць фарфор — у саксонскім г. Мейсен. Мейсенскі фарфор замаўлялі ў тым ліку каранаваныя асобы Еўропы.

остаются их автомашины, которые под огнем не могут перебраться на этот берег. Это эсэсовцы, прорывающиеся на запад к союзникам.

В доме все на ногах. Майор, поняв в чем дело, приказывает занять места в окнах и дверях. Дом открывает огонь. Немцы устанавливают на берегу пулемет, который разбивает парапет балкона, где укрывался Васюков. Васюков перебегает на чердак и из слухового окна начинает обстреливать колонну в реке. Но группа эсэсовцев все же прорывается к дому.

Гранатами они выбивают дверь. Их встречает хозяин, протестуя против разбоя после капитуляции, они убивают его и врываются в помещение. Против них с автоматом в руках встает муж Ирмы, несколько минут тянется поединок между ним и эсэсовским офицером, в результате эсэсовцы хватают раненого дезертира и вешают его в подъезде. Трое эсэсовцев насилуют в подвале Ирму.

Тем временем на втором этаже идет бой. Ослепленный взрывом гранаты, кончает самоубийством капитан, его пистолет подхватывает разжалованный младший лейтенант, он храбро сражается с группой эсэсовцев, но те теснят его, и он отступает по лестнице вверх, к чердаку.

В большом зале, как тигр, борется за свою жизнь майор. С ним же Зина. Они сдерживают большую группу эсэсовцев, но у майора кончаются патроны. Он запускает в эсэсовцев мебелью, посудой — прекрасным мейсенским фарфором. Зина бросается к убитому немцу, чтобы снять с него автомат, но погибает от очереди в упор. От очереди в спину падает вскоре майор.

А по саду вдоль ограды бежит вырвавшийся из дома старший техник-лейтенант. Он шепчет какие-то слова. Он не хочет погибать в конце войны. Но сетчатая ограда высока, перелезть ее негде, и его настигают эсэсовцы.

Последние защитники дома — разведчик с орденом и разжалованный лейтенант, теснимые немцами, взбираются все выше, к чердаку, где по-прежнему держит под обстрелом место переправы Васюков. Пехота прорвалась, но машины пройти не могут и с ними не может пройти большая группа солдат. Две машины горят — одна в воде, другая на этом берегу. Васюков, перебегая с места на место, ведет меткий огонь. От наседавших снизу эсэсовцев его прикрывает разжалованный младший лейтенант. Тот уже трижды ранен. Когда ранен Васюков, он отматывает со своей раны кусок бинта и перевязывает голову Васюкова. У самого из раны хлещет кровь.

— Оставь себе. Ведь пропадешь, — говорит Васюков.

— Черт с ним. Мне надо, чтобы ты уцелел, — отвечает Терещенко.

У них кончаются патроны, и они заваливают люк рухлядью. Снизу ломятся немцы. Когда уже надежды выжить не остается, Васюков находит единственный патрон в кармане. Но один патрон они не могут разделить на двоих...

В этот момент они обнаруживают, что немцы отхлынули. Эсэсовцы поспешно бегут от брода, машины брошены на том берегу. По большой дороге к переправе мчатся наши тридцатичетверки...

Васюков спускается с чердака и без сил опускает руки на засыпанные щебенкой ступеньки крыльца. Из дома выползает Терещенко. На пороге он теряет сознание. Из реки выбирается первая тридцатьчетверка, и, глядя на нее, Васюков шепчет:

— Все!.. Все!.. Неужели же наконец все?

По его лицу текут слезы».

Архівы захоўваюць і машынапісны тэкст аўтарскай заяўкі:

«Заявка
на трехсерийный телевизионный художественный
фильм "Долгие версты войны"

Сценарий трехсерийного телевизионного художественного фильма "Долгие версты войны" охватит большой промежуток времени и целый ряд фронтовых событий, основным участником которых будет, пройдя по всему фильму, рядовой Васюков — молодой человек, каких тысячи, — оторванных войной от занятий мирных дней.

На фронт приходит Васюков застенчивым боязливым парнем, не сразу и нелегко дается ему солдатская наука. Основа ее основ — проверка боем, ее молодой солдат выдерживает с честью, как и все, что сопряжено с великим напряжением фронтовых будней.

Постепенно зритель увидит, как закаляется характер бойца; грязь и кровь, дым пожарищ и пороховой дым битвы явились тем чистилищем, в котором выкристаллизовалось и окрепло все то лучшее в человеке, что и является его сущностью; от эпизода к эпизоду, от боя к бою крепнет солдат духом и телом, и становится именно таким, какому оказалось по плечу выйти победителем из всех сражений.

Первая серия фильма (условное название "Крещение") будет написана по мотивам повести "Журавлиный крик". На локальном эпизоде обороны переезда будет показана небольшая группа бойцов во главе со старшиной Карпенко. Разной жизнью жили эти люди до войны, по-разному они встречают и бой, в котором, возможно, никому не удастся остаться в живых. От начала до конца мужественно ведет себя командир, отчаянно дерется с врагом боец Свист, при первом же удобном случае бросает товарищей и, решившись на измену, пытается сдаться в плен Пшеничный, гибнет, не причинив никакого урона врагу, мало приспособленный к войне, к бою солдат Фишер, всячески хитрит, пытаясь сделать поменьше, а в бою — выжить, приспособленец Овсеев, с трудом находит в себе силы устоять против врага Васюков, которому до этого не приходилось думать о возможности собственной гибели и, разумеется, не приходилось убивать. С этого боя Васюков "начинается" как солдат, как боец, которому суждено будет выполнить свой долг до конца.

В основу второй серии “Трудные версты” ляжет материал повести “Атака с ходу”. Командир роты Ананьев, старшина Пилипенко, замполит Гриневич, рядовые Чумак и Шнейдер, — здесь тоже цельные характеры, исключительное напряжение событий, в центре которых солдат Васюков — уже опытный воин, не кланяющийся пулям и снарядам. В отличие от повести “Атака с ходу” финал сценария переисполнен оптимизма и дает возможность вести героев и развивать события до завершающего этапа[1].

Третья серия “В двух шагах от победы” — оригинальный сценарий. События, охватываемые в нем, происходят в Германии весной 1945 года, накануне Победы.

Уже гитлеровское командование согласилось на капитуляцию, по существу наступил конец войне. Но не для всех. Небольшая колонна грузовиков с советскими бойцами вынуждена задержаться в усадьбе, на берегу реки, т. к. мост взорван. У всех приподнятое настроение, война кончилась. Люди безмятежно отдыхают в ожидании, пока будет найден брод. И тут Васюков, стоящий на посту, замечает еще одну колонну. В ответ на его окрик раздаются выстрелы, завязывается неравный и героический бой, в котором люди гибнут, по существу, уже

---

[1] Для кінасцэнарыя аўтар значна перапрацаваў аповесць — мабыць, дастаткова сказаць, што ў «Праклятай вышыні» Чумак быў абменены на палоннага немца, а ў фінале загінуў не толькі Васюкоў, але і ўся рота Ананьева; у кінасцэнарыі ж Чумак гіне якраз падчас абмену, Васюкоў застаецца жывы, таксама як узяла ў другі раз вышыню і рота Ананьева. Як бачна, В. Быкаў сапраўды значна змяніў сюжэтныя ходы і, галоўнае, драматычны фінал аповесці. У гэты ж самы час, пры абмеркаванні пытання пра ўключэнне «Праклятай вышыні» ў двухтомнік, які рыхтаваўся ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» да 50-годдзя пісьменніка, В. Быкаў таксама быў гатовы на пэўныя змены, але не настолькі кардынальныя: ён пісаў рэдактару выдавецтва А. Бачылу: «З “Праклятай вышынёй” я сёе-тое зрабіў, каб можна было спаслацца на тое, што аўтар перапрацаваў аповесць. Пульку не забівае Грыневіч, яе забірае з сабой Ванін, які адпраўляецца ў разведку. Перайначыў канцоўку, дзе з’яўляецца і Пулька, якую забіваюць немцы. Васюкоў распачынае з імі перастрэлку, далейшы лёс яго недаказаны» (З ліста ад 16 мая 1973 г. Аўтограф. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 323. Воп. 1. Адз. зах. 167. Арк. 3). Але гэта не выратавала аповесць: яна не была ўключана ў двухтомнік. Ідэя ж грунтоўнай перапрацоўкі твора дзеля кінасцэнарыя зыходзіла, відаць, не ад В. Быкава, што засведчана галоўным рэдактарам к/с «Беларусьфільм» А. Асіпенкам: «...автор пошел навстречу пожеланию студии: во многом изменяет сюжетные коллизии своих ранних повестей, обогащая их новым содержанием». А рэжысёр-пастаноўшчык фільма А. Карпаў гаварыў яшчэ падчас абмеркавання заяўкі пісьменніка: «“Атака с ходу” требует нового финала — успеха в атаке» (паводле «Протокола заседания сценарно-редакционной коллегии» ад 12 ліп. 1974 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 23).

после войны. Этот бой, а, следовательно, и фильм, будет как реквием советскому воину-освободителю, самоотверженно выстоявшему до конца и вырвавшему победу у врага в жесточайшей войне, каких не знала история.

Фильм "Долгие версты войны" должен явиться заметным явлением, повествующем о боевой славе советских воинов».[1]

Заўважым тут, што ў аснове сюжэта сцэнарыя 3-й серыі ляжыць сапраўдны гістарычны факт, пра што В. Быкаў распавёў у прадмове да першай публікацыі кінасцэнарыя:

«Тяжелейшая борьба нашего народа против немецко-фашистских захватчиков породила массовый героизм советских воинов на всех фронтах Великой Отечественной войны. Примерами героических подвигов изобилуют все четыре года войны — от памятного воскресенья сорок первого года до ее последнего дня, когда немецкая военная машина вермахта была окончательно разгромлена. Но даже и вконец разгромленные гитлеровские части обычно сопротивлялись до последней возможности, продолжая убивать всех, кто попадался на пути их поспешного отхода на Запад, навстречу наступающим армиям союзников.

История войны знает немало случаев, когда для многих солдат война не кончилась 9 мая, когда еще и после победного дня продолжались стычки с частями и подразделениями СС, унесшие немало жизней наших солдат и офицеров, воинский долг для которых, как и на протяжении всей войны, был в этот день дороже естественного желания выжить.

В основу данного сценария положен действительный случай, имевший место на Третьем Украинском фронте, когда несколько советских военнослужащих, случайно оказавшихся 9 мая 1945 года в стороне от расположения основной массы войск, приняли на себя удар отходящей на запад эсэсовской группировки. Связав ее боем у переправы, они на несколько часов задержали эту группировку, дав тем возможность нашим танкистам настигнуть и разгромить ее у последней черты. Но этот их подвиг стоил большинству жизни, с которой они расстались в солнечный, радостный день нашей великой Победы.

Телефильм по данному сценарию снимается на студии "Беларусьфильм", режиссер-постановщик — Александр Карпов[2].

Автор».[3]

---

[1] Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 17–19.

[2] Карпаў Аляксандр Якаўлевіч (1922–1998) — рэжысёр, сцэнарыст; з 1956 г. рэжысёр к/с «Казахфильм»; з 1968 г. рэжысёр к/с «Беларусьфільм»; заслужаны дзеяч мастацтваў Казахскай ССР (1964) і БССР (1985); лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Казахскай ССР (1966).

[3] Смена. 1975. № 13. С. 21.

2 ліпеня В. Быкаў быў запрошаны выконваючым абавязкі намесніка галоўнага рэдактара кінастудыі «Беларусьфільм» Э. Калядзенкай для перамоў адносна напісання сцэнарыя[1], аднак пісьменнік адказаў тэлеграмай: «Этой неделе приехать киностудию не смогу. Быков»[2]. Між тым, перамовы гэтыя, відаць, усё ж адбыліся, таксама як і кансультацыі з прадстаўнікамі сцэнарнай рэдакцыйнай калегіі і аддзела замоў ТА «Экран», у выніку чаго ўзнікла задума стварэння больш шырокага па ахопе падзей вайны фільма[3]. Ужо 12 ліпеня заяўка пісьменніка з Гродна абмяркоўвалася на пасяджэнні сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі «Беларусьфільма».

У выніку заяўка была прынята, а 17 ліпеня з В. Быкавым падпісалі дамову[4], згодна з якой сцэнарый тэлефільма «Долгие версты войны» (з трох серый: арыгінальнай «За два шага до победы» і дзвюх серый па матывах аповесцяў «Жураўліны крык» і «Атака з ходу») патрэбна было здаць не пазней за 15 верасня 1974 г. У сваю чаргу кінастудыя абавязвалася выплаціць аўтару ганарар (першая серыя — шэсць тысяч, другая і трэцяя — па чатыры тысячы рублёў).

Сцэнарый 1-й серыі пісьменнік прывёз на кінастудыю 26 жніўня 1974 г.[5] Сцэнарый 2-й серыі быў дасланы ім па пошце 14 верасня[6]. Тэрмін напісання сцэнарыя 3-й серыі невядомы.

Менш чым праз тыдзень адбылося чарговае пасяджэнне сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі. У выніку гэтага пасяджэння было прынята заключэнне, шэраг пунктаў якога кардынальна змяняў аўтарскую задуму:

«...автор значительно переработал литературную основу своих повестей, органично соединил их с оригинальной частью сценария, придал литературному триптиху о войне строгую и четкую кинематографическую форму. [...]

---

[1] Паводле тэлеграмы Э. Калядзенкі да В. Быкава ад 1 ліп. 1974 г. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 20.

[2] Тэлеграма да Э. Калядзенкі ад 2 ліп. 1974 г. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 21.

[3] Паводле ліста дырэктара «Беларусьфільма» Я. Вайтовіча і Э. Калядзенкі да дырэктара ТА «Экран» Б. Хесіна і галоўнага рэдактара С. Жданавай. Ліп. 1975 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 101.

[4] «Типовой сценарный договор (для художественных фильмов)» ад 17 ліп. 1974 г. за подпісамі намесніка дырэктара к/с «Беларусьфільм» Ю. Філіна і В. Быкава. Архіў В. Быкава (Гродна); БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 25–26.

[5] Паводле службовай запіскі. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 28. Гэтая ж дата пазначана і на першай стар. сцэнарыя 1-й серыі. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 139.

[6] Паводле штэмпеля на канверце. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 29.

Однако в дальнейшей работе необходимо обратить внимание на следующие моменты:

В первой серии —

а) бойцу — бывшему искусствоведу изменить фамилию[1], ввести эпизод проявления заботы о нем, когда он находится в «секрете»[2];

б) в развитии образа Овсеева, оставив его сомнения и страх перед смертельным исходом боя, исключить намек на дезертирство в тыл[3];

в) точнее обозначить кулацкий дух Пшеничного и мотив его предательства;

г) снять мотив абсолютной безвыходности положения Васюкова в финале первой серии[4].

Во второй серии —

а) ввести в экспозицию масштабный показ наступательного движения войск, а в переходе на роту уточнить настроение солдат, усталых, но яро преследующих врага;

б) яснее акцентировать рывок и ранение Васюкова в бою как стремление прикрыть собой командира.

В третьей серии —

---

[1] У пазнейшай рэдакцыі літаратурнага сцэнарыя прозвішча Фішара зменена на «Філін» (Архіў В. Быкава (Гродна); у рэжысёрскім сцэнарыі — на «Фалін» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 289–676). Выпадкова ці не, але прозвішча намесніка дырэктара к/с «Беларусьфільм» было таксама Філін.

[2] Паводле рэжысёрскага сцэнарыя, пасля вячэры Карпенка адпраўляе Свіста аднесці Фаліну (Фішару) кашу, але выканаць гэтае заданне вызываецца Пшанічны, старшына пагаджаецца: «Посмотри, как он там. Если что — подменишь» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 374).

[3] У рэжысёрскім сцэнарыі Аўсееў пасля маналога («Погибать в двадцать лет! Зачем? Прожить только двадцать лет!.. Зачем? Вся душа... каждая клеточка тела протестует против! Я хочу жить! Жить! К дьяволу эту войну, ее муки... кровь... если человеку нужно такое простое и ясное — жить!.. Сколько радости в жизни, а тут погибать в самом ее начале!.. Это... это преступление перед природой!.. Нет! Нет!..») у адказ на рэпліку Клімчука («Я про тебя никогда так плохо не думал...») перапытвае: «Что?.. Что ты сказал?.. Ты думаешь — я трус?.. Ты думал, что я трус!.. Что я боюсь их», пасля чаго «Овсеев сбросил шинель, вскочил на бруствер и, подняв руки, сжатые в кулаки, шагнул вперед. Но шаг этот сделать не успел. Раздался выстрел, он качнулся назад, выпрямился, развернулся к товарищу и рухнул в траншею...» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 440, 441–442.)

[4] Калі ў літаратурным сцэнарыі Васюкоў, застаўшыся адзін, чакае танкавую атаку, дык у рэжысёрскім сцэнарыі няма ўказанняў на новую атаку — «На поле боя воцарилась тишина. Немцы не появлялись» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 442).

а) заметнее акцентировать гуманистический, патриотический мотив решения бойцов принять на себя бой с эсэсовцами уже после капитуляции вермахта;

б) в эпизодах боя яснее показать связь Васюкова с командиром.

По всем сериям в диалогах желательно избежать излишне прямых вульгаризмов».[1]

У сваю чаргу і ТА «Экран» пасля разгляду сцэнарыя і абмеркавання яго сумесна з прадстаўніком Галоўнага палітычнага ўпраўлення Савецкай Арміі падпалкоўнікам А. Сабельнікавым палічыла мэтазгодным запусціць сцэнарый у рэжысёрскую распрацоўку, але таксама з улікам заўваг — як сугучных рэкамендацыям беларускіх калег, так і новых:

«В процессе режиссерской разработки просим продолжить работу над психологической характеристикой действующих лиц.

Хотелось бы, чтобы авторское внимание было сосредоточено не только на внешней событийности, но и на углублении морально-нравственных внутренних процессов, происходящих с героями.

Необходимо подчеркнуть в сценарии закономерность и настоятельную необходимость всех военных операций, обрисованных в произведении, в общем ходе войны.

Учитывая то обстоятельство, что в данном варианте сценария недостаточно интересным и выразительным получился образ солдата Васюкова, советуем авторам подумать о том, чтобы главным героем фильма стал Ананьев. В связи с этим необходимо включить его в действие с первой серии фильма.

Замечания по сериям:

I серия:

а) снять мотив абсолютной безвыходности положения Васюкова в финале сценария;

б) уточнить образ Овсеева, оставив его сомнения и страх перед смертельным исходом боя, исключить намек на дезертирство в тыл;

в) точнее обозначить истоки предательства Пшеничного;

г) бойцу, бывшему искусствоведу, изменить фамилию, ввести в эпизод проявления заботы о нем, когда он находится в «секрете».

II серия:

а) необходимо подчеркнуть стратегическое значение того факта, что высота была взята бойцами Ананьева. В фильме должна быть ясна настоятельная необходимость взятия этой высоты;

б) ввести в экспозицию масштабный показ наступательного движения Советской Армии;

---

[1] Паводле «Заключения сценарно-редакционной коллегии на литературный сценарий “Долгие версты войны” (3 серии)» ад 19 верасня 1974 г. Машынапіс. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 39–40.

в) ярче показать настроение бойцов роты — усталых, но яро преследующих врага;

г) яснее акцентировать рывок и ранение Васюкова в бою, как стремление прикрыть собой командира;

д) более ярко прописать политрука Гриневича, раскрыв его интеллектуальную и человеческую значительность;

е) следует отредактировать текст Ананьева, убрав излишнюю грубость.

III серия:

а) заметнее акцентировать гуманистический, патриотический мотив решения бойцов принять на себя бой с эсэсовцами уже после капитуляции вермахта;

б) в эпизодах боя яснее показать связь Васюкова с командиром;

в) следует подумать о правомерности и необходимости присвоения Ананьеву звания Героя Советского Союза.

По всем трем сериям в диалогах желательно избежать излишне прямых вульгаризмов».[1]

Між іншым, і сам А. Карпаў, маючы на ўвазе В. Быкава, скажа падчас абмеркавання ўжо яго, рэжысёрскага сцэнарыя: «Да, я согласен, что это может быть калька его произведения. Он перенес литературу бережно, болезненно... Конечно, трудно все это переводить на язык кино, да и времени у нас было маловато.

У меня только страх, как бы чего не упустить дорогого, быковского.

Относительно боя. Он не сделан. Его очень трудно делать на бумаге. Бой будет отраженный. Да, я сам боюсь, чтобы не получилась одна трескотня. Для Быкова грамматика боя была второстепенным делом, а главное — исследование»[2]. І пазней рэжысёр прызнаецца: «...повторить прозу Быкова на экране нельзя»[3].

---

[1] Паводле «Заключения по литературному сценарию трехсерийного телевизионного художественного фильма “Долгие версты войны” (автор В. Быков, режиссер А. Карпов)». Машынапіс за подпісамі загадчыка аддзела І. Вараб’ёва, члена галоўнай сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі В. Шытавай, старшага рэдактара В. Чарных. На першай стар. справа ўверсе: «“Утверждаю” Директор творческого объединения “Экран” *Б. Хессин*. 29 ноября 1974 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 36–38.

[2] Паводле «Протокола заседания бюро художественного совета» ад 31 студз. 1975 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 54.

[3] Паводле «Протокола заседания Художественного совета киностудии “Беларусьфильм”» ад 17 сак. 1975 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 63.

2 снежня 1974 г. наместнікам дырэктара ТА «Экран» Т. Агароднікавай быў дазволены запуск у рэжысёрскую распрацоўку літаратурнага сцэнарыя В. Быкава «Долгие вёрсты войны»[1].

Рэжысёрскі сцэнарый быў падрыхтаваны А. Карпавым даволі хутка, але тут дарэчы будзе прыгадаць заўвагі, якія былі зроблены пісьменнікам:

«Замечания к режиссерскому сценарию
"Долгие версты войны"

Режиссерский сценарий написан в соответствии с литературным сценарием.

Считаю необходимым изменить схему присутствия главных героев в частях. Ввиду того, что исключение Ананьева из второй или третьей части влечет за собой нежелательные потери образно-изобразительного порядка, по моему мнению следует его, заявив в первой части, задействовать во второй и третьей.

Образ солдата дать:
в первой части — Глечика
во второй части — Васюкова
в третьей части — снова Глечика.

Схема действия Ананьева-Глечика-Васюкова таким образом предлагается следующей:

	I ч.	II ч.	III ч.
Ананьев	—	+	+
Глечик	+	—	+
Васюков	—	+	—

Такая схема вносит в фильм впечатление неправильности и разрушает нарочитость в композиции.

В соответствии с этим следует написать [*неразб.*] воспоминаний Ананьева (во II ч.) и переписать сцену встречи Ананьева с Глечиком (в III ч.)

Других замечаний не имеется.

В. Быков

4.II.75 г.»[2]

---

[1] Паводле ліста Т. Агароднікавай да Ю. Філіна ад 2 снежня 1974 г. Машынапіс на афіцыйным бланку, уверсе: «Государственный Комитет Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию», «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКРАН»; ніжэй службовая памета ад рукі: «т. Будай Н. П. 2/XII.74 г. *Ю. Филин*»; унізе стар. ад рукі: «т. Кавелашвили И. Д. Внесите предложение по запуску в реж. разработку с 4/XII–74 г. 2/XII–74 *Ю. Филин*» і штамп: «Кінастудыя "БЕЛАРУСЬФІЛЬМ" КАНЦЫЛЯРЫЯ Атрымана: 8.XII.74 Уваходзячы № 1725». Арыгінал. Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 887. Арк. 656.

[2] Аўтограф (1 старонка ў пашкоджаным выглядзе). Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 44.

Тым часам бюро мастацкага савета ПТА «Телефильм» разам са сцэнарна-рэдакцыйнай калегіяй вынеслі сваю рэзалюцыю на рэжысёрскі сцэнарый, у якой асаблівую ўвагу звяртае на сябе пункт першы:

«...в режиссерском сценарии учтены замечания заказчика и в целом определилась образная система сценария, точнее стали психологические характеристики действующих лиц, углубились морально-нравственные процессы, происходящие с героями.

Более оправданным стал посыл необходимости военных операций, обрисованных в сценарии, в общем ходе войны.

Эмоциональнее и логичнее выстроен финал второй серии.

Стала более органичной и законченной линия взаимоотношений Ананьева и Зины.

При окончательной подготовке сценария к съемкам Бюро художественного совета ПТО "Телефильм" считает необходимым обратить внимание режиссера на следующее:

1. Выверить экспозиционную хронику первой серии, избегая резкого противопоставления упоенного успехом противника и подчеркнуто измотанного вида советских солдат.

2. Усилить драматургию первой серии, возможно, поиском приемов более глубокого знакомства с судьбами действующих лиц. Четче проявить значимость их заданий. [...]

5. Учитывая новую схему действия Ананьева-Глечика-Васюкова на протяжении трех серий необходимо заметнее для зрителя акцентировать сцену расставания Ананьева с молодым солдатом в начале 1-й серии, точно определить место для ретроспекции этой сцены во 2-й серии, переработать в психологическом и действенном плане сцену встречи Ананьева с Глечиком в 3-й серии. [...]».[1]

У Маскве ж, у ТА «Экран» таксама прасілі ўлічыць іх рэкамендацыі, частка якіх зноў датычылася літаратурнай першакрыніцы і насіла адкрыта ідэалагічна-прапагандысцкі характар:

«1. Хотелось бы, чтобы авторское внимание было сосредоточено не только на внешней событийности, но и на углублении нравственных внутренних процессов, происходящих с героями.

2. Необходимо подчеркнуть в сценарии закономерность и необходимость всех военных операций, описанных в сценарии, в общем ходе войны.

3. Необходимо точнее расставить идейно-политические акценты: начальный период войны следует показать политически точнее, в

---

[1] Паводле «Заключения на режиссерский сценарий "Долгие версты войны" (3 серии)». Машынапіс за подпісам Э. Калядзенкі. На першай стар. уверсе: «Утверждаю: директор ПТО "Телефильм" *И. Кавелашвили*. 11 февраля 1975 г.». На другой стар. ад рукі: «Замечания получил *А. Карпов*». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 56, 57.

соответствии с исторической перспективой; в изображении событий и действующих лиц 1[-й] серии необходимо снять впечатление безысходности, обреченности; яснее и глубже показать духовные, нравственные силы народа, истоки нашей победы в Отечественной войне.

4. Необходимо внести коррективы в расстановку действующих лиц сценария с тем, чтобы среди героев сценария не преобладали люди в идейном отношении неустойчивые. В связи с этим следует, в частности, внести изменения в характеристику Свиста»[1].

5. Более основательно должен быть заявлен и прописан в 1-й серии образ Ананьева. [...]»[2].

У ТА «Экран» у нечым падобныя па характары былі «пажаданні» і па 2-й і па 3-й серыях рэжысёрскага сцэнарыя (пры гэтым зноў акцэнтавалася ўвага на рэкамендацыях да першага фільма, якія мелі, «в известной мере, отношение не только к 1[-й] серии, но и ко всему сценарию в целом».[3]

Між тым здымкі карціны не маглі пачацца без чарговага заключэння сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі ПТА «Телефильм» цяпер ужо на новы варыянт рэжысёрскага сцэнарыя, у якім беларускі бок даваў справаздачу пра тое, як былі ўлічаны ранейшыя рэкамендацыі і заўвагі ТА «Экран»:

«В новом варианте сценария:

1. Уточнилась необходимость военной операции на переезде в общем ходе войны.

2. В изображении событий и действующих лиц уменьшилось впечатление безысходности эмоционального состояния солдат, глубже раскрыты их духовные силы.

3. В связи с этим углубились мотивы нравственного возмужания героев.

4. Внесены коррективы в расстановку действующих лиц сценария, определилась судьба Свиста, как детдомовца.

---

[1] У рэжысёрскім сцэнарыі Свіст будзе дзетдомаўцам, сам ён скажа пра сябе: «В детдоме вся самодеятельность на мне держалась. И чтец, и швец, и на ложках игрец. [...] Государство... кормило, воспитывало, и вот красноармеец вышел. [...] А мне нравится в армии, потому как почти в детдоме... Один за всех — все за одного» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп, 1. Адз. зах. 881. Арк. 354, 370).

[2] Паводле «Заключения по 1 серии режиссерского сценария “Долгие версты войны”». Машынапіс. Копія за подпісам старшага рэдактара В. Катасонава. На першай стар. уверсе: «“Утверждаю” Главный редактор творческого объединения “Экран” С. ЖДАНОВА. 21 апреля 1975 года». На другой стар. службовая памета ад рукі: «Пол. 30.IV.75 г.». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 72–73.

[3] Гл. «Заключения по 2–3 сериям режиссерского сценария “Долгие версты войны”». Машынапіс. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 74–75.

5. Как один из основных образов сценария занял большое место в 1-й серии и более значимо проявлен Ананьев.

6. В связи с изменением характеристик действующих лиц доработаны и освобождены от многословия диалоги сценария.

Однако в дальнейшей работе необходимо обратить внимание на следующее:

поскольку в начале сценария есть ссылка на героическую оборону Могилева, исключить в диалогах упоминание о выходе батальона из окружения под Смоленском.

В диалоге Овсеева с Климуковым "О жизни и смерти" исключить излишнюю литературность.

При съемках эпизодов боя обратить внимание на реальное соответствие потерь противника относительно вооружения и возможностей группы наших бойцов»[1].

У адказ з Масквы ішлі новыя інструкцыі:

«...просим учесть следующие рекомендации:

1. Несколько облегченными, недостаточно драматичными выглядят эпизоды боя советских солдат с немцами (оба эпизода — и с транспортерами, и с танками). Просим в эпизодах боя добавить отдельные сцены, реплики, детали с тем, чтобы эпизоды эти с точки зрения военной выглядели более убедительно, более драматично.

2. Просим тему трусости Овсеева исключить (так как в этом плане в сценарии ощущается известный перебор: Пшеничный, Овсеев, Терещенко (3[-я] серия).

3. В отдельных сценах требуют уточнения диалоги, которые отличаются многословием, психологически неточны, недостаточно соответствуют характерам и ситуации. [...]»[2].

У далейшым ліставанне паміж беларускімі і маскоўскімі кіначыноўнікамі датычылася непасрэдна самой карціны (сярод іншага,

---

[1] Паводле «Заключения на первую серию режиссерского сценария "Долгие версты войны"». Машынапіс. На першай стар. уверсе: «Утверждаю: и. о. директора ПТО "Телефильм" *И. Кавелашвили*. 11 июня 1975 г.». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 82–83.

[2] Паводле «Заключения по 1[-й] серии режиссерского сценария телефильма "Долгие версты войны"» ад 19 чэрв. 1975 г. Машынапіс за подпісамі В. Катасонава, Т. Агароднікавай. Уверсе: «"Утверждаю" Главный редактор творческого объединения "Экран" *С. Жданова*»; унізе службовая памета ад рукі: «Пол. 23.VI.75 г.». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 881. Адз. зах. 86. Гэтае заключэнне пазней было прадубліравана, але быў дададзены істотны пункт: «4. Необходимо, чтобы кто-то из оставшихся в заслоне, выполнял роль политрука». Машынапіс за подпісамі Т. Агароднікавай, В. Катасонава. Уверсе: «"УТВЕРЖДАЮ" Главный редактор творческого объединения "Экран" *С. Жданова*. 30 июня 1975 г.»; унізе службовая памета ад рукі: «Исх. 5–23/2166 28.07.75». Подпісы — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 881. Адз. зах. 94.

напрыклад, рэкамендавалася: «В трактовке образа Пшеничного нет необходимости акцентировать его социальное происхождение. Убрать слова по поводу Сталина (“...сын за отца не отвечает”)[1]. Несколько иначе решить эпизод сдачи в плен Пшеничного, т. к. в данном варианте это выглядит не логично»[2]). Невыпадкова В. Быкаў пісаў у гэты час А. Адамовічу: «Завяз в кино и никак не могу вытащить из него ноги. Просто надоело до чертиков. Тем более, что заранее знаешь, что ничего путного в итоге не будет — одна морока»[3]. Сапраўды, гэтыя бясконцыя «рэкамендацыі» і «пажаданні» літаральна разбуралі задуму сцэнарыста В. Быкава. Аднак, як падаецца, з самымі абсурднымі патрабаваннямі выступіў зацверджаны загадам міністра абароны СССР ваенны кансультант фільма — яго т. зв. «заўвагі» неслі адкрыта цэнзарскі характар; генерала-кансультанта цікавіла не тое, што было ці магло быць на вайне, а тое, як яно павінна быць паводле армейскага статута:

«Замечания
главного военного консультанта генерал-лейтенанта
танковых войск М. М. Зайцева по кинокартине
“Долгие версты войны”

1. Сократить начальные планы идущих солдат.

2. Заменить слово “драпать” на слово “отходить” и реплику “рядовой Климчук” на “боец Климчук”.

3. Заменить обращение “ты” солдат к старшине на “вы”.

4. Сократить монолог Авсеева перед подвигом, т. к. он звучит излишне пацифистским.

5. Убрать частое упоминание (муссирование) о том, что оставленный заслон — смертники, оставив только разговор об этом в будке.

6. У Пшеничного снять реплики, подчеркивающие его недисциплинированность, строже сделать реакцию старшины на поведение

---

[1] У рэжысёрскім сцэнарыі: «Пшеничный выступил вперед Овсеева.

— Соцпроисхождение мое ни при чем, понял? Я с собственного мозоля жил.

Карпенко, сдерживая себя:

— Ты-то с собственного. А отец с чьего мозоля жил?

— Пошел ты знаешь куда! Причем тут отец? Сталин сказал: “Сын за отца не отвечает”» (БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 341). У літаратурным сцэнарыі спасылка на Сталіна адсутнічае.

[2] Паводле «Заключения по материалу фильма “Долгие версты войны” (III серия)». Машынапіс за подпісам члена галоўнай сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі М. Мадэнавай. На другой стар. службовая памета: «Пол. 8.XII.75 г.»; ніжэй подпіс А. Карпава. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 108, 109.

[3] З ліста ад 7 чэрв. 1975 г. Аўтограф. Арыгінал. ДМГБЛ. КП 029545.

Пшеничного. В связи с этим сократить эпизод в будке, убрать реплику “На, стреляй!”

По 2-й серии

1. В начале серии убрать грубые слова Ананьева в адрес старшины, т. к. они звучат как оскорбление.

2. Сократить планы, показывающие неорганизованность кадровых войск.

В данном монтаже рота похожа на партизанский отряд.

3. Исключить сцену “отказ санинструктора перевязывать пленного немца”. К пленному должны отнестись более гуманно, в таком виде как сейчас сцена может быть неправильно истолкована западными идеологами. Обращение к немцу “цудик” недопустимо, так же, как и срывание погонов.

4. Эпизод “обмен пленного” места на войне не имел.

5. Сцена “обмывание взятой высоты” в данной редакции похожа на пьянку. Может быть, следует сделать так, чтобы Ананьев предлагал выпить только комиссару, а он бы отказался.

6. Вторая атака выглядит бессмысленной тратой людей. Она должна быть более подготовленной.

По 3-й серии

1. Ухаживание за девушкой нужно подать “по-рыцарски”, пока оно слишком развязно.

2. Пересмотреть диалог Климчука и Терещенко на чердаке во время боя, выявив переходный момент от трусости к героизму.

3. Реплику “украли часы” заменить на “не сберег”»[1].

І ўжо нават прымаючы ў студзені 1976 г. тэлефільм «Долгие вёрсты войны», на Цэнтральным тэлебачанні ў каторы раз прасілі ўлічыць іх пажаданні:

«1. Изменить название фильма как недостаточно точно раскрывающее его содержание[2]. [...]

Рекомендации по I[-й] серии:

1. Прояснить мотив, связанный с обороной взводом переезда.

2. Прояснить сцену расстрела Пшеничного.

3. В разговоре Овсеева и Климчука (перед гибелью Овсеева) сократить до минимума монолог Овсеева.

---

[1] Машынапіс. Копія. На другой стар. унізе пазнака ад рукі: «9.I.76 г.».

[2] У гэтай сувязі пісьменнікам накіравана на к/с «Беларусьфільм» тэлеграма: «Настаиваю прежнем названии фильма тчк прошу разъяснить руководству зпт что слово долгие не обозначает величину времени демонстрации фильма а является его символом расширительным смыслом [...]. Быков» (Тэлеграма да Ю. Філіна ад 31 студз. 1976 г. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 121).

По II[-й] серии:

1. Следует мотивировать необходимость взятия высоты ротой Ананьева с тем, чтобы снять ощущение напрасных потерь. В связи с этим, политрук Гриневич должен поддержать решение Ананьева о взятии высоты, а в дальнейшем (после ухода с высоты) не подвергать сомнению правильность этого решения.

2. В разговоре Ананьева с бойцами необходимо исключить отдельные реплики (напр[имер], старшины, в эпизоде с Ваниным и Васюковым), которые дают повод сделать вывод о том, что в роте слабая дисциплина (пререкания с командирами, попытки обсуждения приказов и т. д.)

3. Сократить, по возможности, эпизоды в блиндаже, когда в роте Ананьева "отмечают" взятие высоты.

4. Сократить и перемонтировать сцену "Воспоминание Ананьева" (ретроспекция из первой серии).

5. В одной из сцен (когда Ананьев посылает бойца с донесением в полк) мы узнаем, что рота от полка находится в 20 км. Это неправдоподобно. Практически так далеко от полка рота не может находиться. Необходимо "сократить" расстояние.

По III[-й] серии:

1. В эпизоде "Возвращение Ананьева из госпиталя на фронт" следует дать реплики о фронтовой жизни Ананьева в последний год войны.

2. В монологе Матвеева реплику "виновата нация" заменить на другую.

3. В финальных эпизодах необходимо снять ощущение того, что все сражавшиеся погибли.

4. Сократить сцену на чердаке. В разговоре Климчука с Терещенко исключить фразу "...лишь бы ты остался в живых".

5. Продолжить поиски финала фильма с большей смысловой и эмоциональной завершенностью»[1].

Як пасля атрапартавала бюро мастацкага савета ПТА «Телефильм», пажаданні ТА «Экран» былі выкананы:

«По первому фильму:

1. Прояснен мотив, связанный с обороной переезда. В частности, политрук говорит: "Батальон отходит оборонять станцию".

2. Монтажно уточнена сцена расстрела Пшеничного немцами.

---

[1] Паводле «Заключения по художественному телевизионному фильму "Долгие версты войны" (3 серии)». Машынапіс за подпісамі І. Вараб'ёва, М. Мадэнавай, В. Катасонава. На першай стар. уверсе службовыя паметы ад рукі: «[*неразб.*] сделать копии. Для режиссера, редактора, худрука, глав. редактора 26.I.76 г. [*подпіс неразб.*] P. S. Сохранить в деле и конверт», «№ 67–5.1.76 03Ф». На другой стар. унізе памета ад рукі: «Пол. 26.I.76 г.». Подпісы – аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 117–118.

3. В разговоре Овсеева и Климчука (перед гибелью Овсеева) сокращен монолог Овсеева, монтажно сцена уплотнилась.

По второму фильму:

1. а) В первом случае (при решении — взять высоту) текст Гриневича сокращен, сомнение снято.

б) Во втором случае (после ухода с высоты) из текста Гриневича изъяты фразы "Я тебе говорил — не надо брать", "Зачем было выпендриваться". Вставлена фраза комиссара в поддержку Ананьева: "Конечно, высоту вернуть надо".

2. В разговорах Ананьева с бойцами, насколько позволило безущербное для характеров сокращение, исключены "недисциплинированные" реплики бойцов.

3. Сокращен эпизод в блиндаже, когда Ананьев отмечает взятие высоты. Сокращены реплики Ананьева к немцу: "Сволочь", "цудик".

4. Сокращена и перемонтирована сцена смерти Кривошеева.

5. Сокращена и перемонтирована сцена "Воспоминания Ананьева".

6. Сокращено расстояние роты от полка с 20 км до 5 километров.

По третьему фильму:

1. В эпизоде "Возвращение Ананьева из госпиталя на фронт" внесена фраза Ананьева "Всего неделю в госпитале был".

2. В монологе Матвеева заменена реплика "виновата нация" на "вся Германия виновата".

3. В финале снято ощущение гибели всех действующих лиц.

4. Сокращена сцена на чердаке. В разговоре Климчука и Терещенко исключена фраза "...лишь бы ты остался в живых".

5. Найден новый финал II[-го] и III[-го] фильмов»[1].

Карціна выйшла пад аўтарскай назвай — «Долгие версты войны» — 4, 5, 7 мая 1976 г. Яна атрымала Дыплом гледачоў на VII Усесаюзным фестывалі тэлефільмаў (Ленінград, 1977).

Рэцэнзіі: Бабкова А. І будзе бой... // Чырвоная змена. 1975. 25 кастр.; Мацкевич А. Версты в бессмертие // Вечерний Минск. 1975. 1 сент.; Авдеев И. Долгие версты войны // Знамя юности. 1976. 26 марта; Бондарева Е. Слагаемые качества: Размышления критика о путях развития белорусского кино // Советская культура. 1976. 9 апр.; Нечай О. Долгие версты войны // Советская Белоруссия. 1976. 6 мая; Смоляницкая Ю. Долгие версты войны // Ленинское знамя (г. Москва). 1976. 21 мая; Касьянава Л. І наш агульны клопат // Літаратура і мастацтва. 1976. 3 верас.; Буравкин Г. Крупным планом: Герои военных повестей В. Быкова на телеэкране // Правда. 1976. 5 окт.; Савицкий Н. Дорогами войны: Проза В. Быкова на телеэкра-

[1] Паводле «Заключения по художественному телевизионному фильму "Долгие версты войны" (3 серии)». Машынапіс за подпісамі в. а. мастацкага кіраўніка ПТО «Телефильм» Б. Сцяпанава, Л. Пташук. На першай стар. уверсе: «Утверждаю: директор ПТО "Телефильм" *Ю. Филин*». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 122–123.

не // Советская культура. 1976. 2 нояб.; Бондарева Е. Повести и фильмы // Неман. 1977. № 10. С. 164–167; Бобкова А. Зритель есть зритель // Знамя юности. 1978. 13 июня; В пути: Белорусское кино сегодня / [Из беседы за «круглым столом» на выездном секретариате Союза кинематографистов СССР] // Искусство кино. 1978. № 6. С. 24–25; Бабкова А. Гэты «нечаканы» глядач // Чырвоная змена. 1978. 18 ліп.; Нечай О. По заказу Гостелерадио: «Беларусьфильм» // Телевидение и радиовещание. 1982. № 12. С. 20; Ратнікаў Г. Узыходжанне: Праблемы экранізацыі прозы Васіля Быкава // Мастацтва Беларусі. 1984. № 5. С. 55–56; Пінчук Л. Памяць вечная, памяць жывая: Вялікая Айчынная вайна ў творах беларускіх кінематаграфістаў // Мастацтва Беларусі. 1985. № 6. С. 2–4; Нечай О. Становление художественного телефильма. Минск, 1976. С. 108–117; Нечай О. Телевизионное кино Белоруссии // Современное белорусское кино. Минск, 1985. С. 213–216; Ратников Г. На экране — Великая Отечественная // Современное белорусское кино. С. 119–120; Мясников Г. Советское кинодекорационное искусство (1975–1986). М., 1987. С. 65; Бондарава Е. Кінематограф і літаратура: Творы беларускіх пісьменнікаў на экране. Мінск, 1993. С. 96–101; Гісторыя кінамастацтва Беларусі: у 4 т. Т. 3. Тэлевізійнае кіно: 1956–2002 гг. / В. Ф. Нячай, В. А. Мядзведзева, Н. А. Агафонава; навук. рэд. В. Ф. Нячай. Мінск: Беларус. навука, 2004. С. 11–12, 60–62.

Разам з тым трэба прыгадаць яшчэ адзін інцыдэнт, што меў месца пасля таго, як аўтару сцэнарыя быў накіраваны наступны ліст:

«№ 18 5 января 1976 г.

тов. Быкову В. В.
г. Гродно, ул. Свердлова, 18 кв. 30

Уважаемый Василий Владимирович!

Проверкой, произведенной на киностудии КРУ Министерства финансов БССР, установлено, что при заключении с Вами договора на написание литературного сценария трехсерийного телефильма “Долгие версты войны” завышена договорная сумма на 3 тысячи рублей.

Из расчета максимальных ставок следовало оплатить за сценарий I серии 4 тыс. руб. (написан по мотивам рассказа “Атака с ходу” (“Проклятая высота”) 50 % от 4 тысяч — 2 т. р. и за оригинальный сценарий III серии “На восходе солнца” — 50 % от 6 тысяч — 3 тысячи рублей.

Приносим свои извинения и просим считать договорную сумму сценария 9 тысяч рублей.

С уважением

Директор киностудии *Е. Войтович*
Главный бухгалтер *А. Бабицкая*»[1].

---

[1] Машынапіс на афіцыйным бланку, уверсе: «Государственный комитет Совета Министров БССР по кинематографии», «Киностудия “Беларусьфильм”». Арыгінал. Архіў В. Быкава (Гродна).

У адказ пісьменнікам была дасланая тэлеграма:

«Получил ваше сообщение о занижении гонорара фильма Долгие версты войны против договорных на три тысячи руб считаю этот факт противозаконным зпт передаю конфликт судебные органы зпт требую снять имя автора из титров до удовлетворения иска тчк приветом Быков».[1]

Паводзіны кіраўніцтва студыі здаюцца больш чым дзіўнымі, бо яшчэ ў лістападзе 1975 г. в. а. галоўнага рэдактара «Беларусьфільма» Э. Калядзенка звяртаўся з пісьмовым запытам у Беларускае рэспубліканскае аддзяленне Усесаюзнага агенцтва па аўтарскіх правах (УААП):

«[...] Для первой серии автор использовал мотивы своей повести “Журавлиный крик”, для второй — повести “Атака с ходу”, третья серия оригинальная.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что студия не покупала права экранизации повестей у автора (что за каждую повесть предусматривает вознаграждение до 2 тыс. рублей), В. Быкову был определен общий гонорар за три серии в 12 тыс. рублей.

Просим разъяснить, завышена ли сумма гонорара, нарушены ли положения об оплате, авторские права».[2]

Адказ з УААПа не прымусіў сябе чакаць:

«...общая сумма гонорара автору В. Быкову за написание сценария трехсерийного художественного фильма должна быть определена в размере 14000 рублей.

Из них:

1. Вознаграждение за уступку права экранизации опубликованного произведения, два произведения по 2000 руб. = 4000 руб.

2. За сценарии х)т, написанные по мотивам опубликованных произведений

1 серия — 4000 руб. (100%),

2 серия — 2000 руб. (50 % ставки гонорара),

3 серия — 4000 руб. (50 % от ставки оригинального произведения).

---

[1] Тэлеграма дырэктару к/с «Беларусьфільм» ад 8 студз. 1976 г. Арыгінал. Уверсе службовая памета ад рукі: «Коляденко Э. Н., Филину Ю. С., Бабицкой А. А., Кочетковой И. С. Разберитесь в этом конфликте. Проконсультируйтесь в соответствующих органах. Дайте предложение, как строить дальнейшие взаимоотношения с автором. *Е. Войтович.* 10/I.76 г.»; тут жа штамп: «Кінастудыя “Беларусьфільм” канцылярыя Атрымана 9.I.76 Уваходзячы № 57». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 115.

[2] Ліст Э. Калядзенкі да В. Хорсуна ад 6 лістап. 1975 г. Машынапіс. Копія. Подпіс — аўтограф. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 103.

Итого: 14000 рублей».[1]

Напрыканцы студзеня 1976 г. В. Быкаў яшчэ раз нагадаў пра невыкананне «Беларусьфільмам» ранейшай дамоўленасці — ён тэлеграфіраваў, у прыватнасці: «...напоминаю студии факт невыполнения ею договорных обязательств относительно автора...»[2]. Трэба думаць, ганарар пісьменніку быў усё ж выплачаны, бо на тэлеграме зроблена службовая памета: «Согласовано, что бухгалтерия переведет гонорар сегодня же. 3.II». Таксама як і на прыгаданым лісце з УААПа значыцца лютаўская рэзалюцыя дырэктара кінастудыі: «т. Бабицкой А. А. Оплатить согласно договора 12 тыс. руб. *Е. Войтович.* 6/II.76 г.».

* * *

У Архіве В. Быкава захоўваецца чарнавы аўтограф значнай часткі сцэнарыя 3-й серыі — сшытак без вокладкі, у якім 21 старонка спісана пераважна з аднаго боку: пачынаючы са слоў старога немца: «Прима вин!» і заканчваючы сказам: «Потом переносится в сорок третий, и перед его взором проходят лица бойцов-автоматчиков: Чумака, Кривошеева, Шапы, лейтенанта Гриневича и Ананьева, старшего лейтенанта в фуражке и мокрой плащ-палатке...». У другім сшытку — заканчэнне сцэнарыя (пачынаючы са сказа: «Светает»), усяго 34 старонкі, таксама спісаныя пераважна з аднаго боку. На пачатку сшытка пазначана: «На восходе солнца»; напрыканцы тэкста на асобнай старонцы малюнак рукой Быкава: сядзіба з паркам, устае сонца.

Пры параўнанні чарнавога аўтографа, літаратурнага сцэнарыя і публікацыі ў часопісе «Смена» можна прыйсці да высновы, што тэксты практычна ідэнтычныя, за выключэннем невялікіх разыходжанняў моўна-стылёвага характару: так, у аўтографе і літаратурным сцэнарыі гаспадары сядзібы гавораць: «Здрафствуйте» і «тофарищ», у публікацыі ж у «Смене» літара «ф» захаваная толькі аднойчы (ва ўсіх аналагічных выпадках у дадзеным Зборы твораў яна ўзноўлена). Да таго ж, у чарнавым аўтографе адсутнічае эпізод, калі Ананьеў гаворыць пра намер ажаніцца з Зінай — пачынаючы з яго слоў: «А теперь... А теперь я вам должен сказать [...]» і заканчваючы: «А ну, еще раз за Победу!» (у чарнавым аўтографе: «Вот как надо пить за Победу! Ну, взяли!»).

У Архіве В. Быкава (Гродна) захоўваецца, відаць, пазнейшая рэдакцыя значнай часткі сцэнарыя. У папцы з надпісам (але не рукой

---

[1] З ліста ст. юрысконсульта В. Асмалоўскага да Э. Калядзенкі ад 10 лістап. 1975 г. Машынапіс. Арыгінал. Унізе штамп: «Кінастудыя “Беларусьфільм” канцылярыя Атрымана 13.XI.75 Уваходзячы № 1815». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 104.

[2] З тэлеграмы В. Быкава да Ю. Філіна ад 31 студзеня 1976 г. Арыгінал. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 881. Арк. 121.

аўтара): «В. Быков “Долгие вёрсты войны” 3 серии (литературный сценарий)» знаходзяцца 2 рукапісныя і 92 машынапісныя старонкі сцэнарыя 1-й і 3-й серыі са шматлікімі праўкамі і ўстаўкамі, зробленымі самім пісьменнікам.

Сцэнарый 1-й серыі налічвае 42 машынапісныя старонкі (на першай пазначана: «ВАСИЛЬ БЫКОВ», ніжэй: «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ ВОЙНЫ», «Фильм первый», назва «СОЛНЦЕ ВЫСОКО» закрэслена, уверсе напісана: «Журавлиный крик»). Тэкст сюжэтна супадае з ранейшай рэдакцыяй сцэнарыя 1-й серыі. Што ж датычыць тэксталагічных разыходжанняў, дык паўсюль папраўлена: «комбат» на «командир», «Ананьев», «капитан» — на «лейтенант», «Фишер» — на «Филин», «Васюков» — на «Глечик». Сярод іншых істотных змяненняў звяртаюць на сябе ўвагу наступныя:

Стар. 252. — *Ого! Целые сутки!*

— А что? Тихо пока, немцы где-то застряли. Так что — ни пера, ни пуха! — Тут зроблена машынапісная ўклейка:

«— Ого! Целые сутки!?

— А что? Тихо пока. Да этим проселком они вряд ли и пойдут. Большак рядом, — говорит Ананьев, заметно бодрясь, и Карпенко от этого еще больше мрачнеет, понимая, что все не просто. — Ну, ни пера, ни пуха, ядрена вошь!».

Стар. 253. *...продолжительным взглядом проводил уходящего комбата.* — Закрэслена.

Стар. 253. — *Овсеев, держи место!*

[...] Карпенко прошел дальше к линии железной дороги. — Выкраслена.

Стар. 253. *...тупо глядел...* — Папраўлена: «озабоченно»

Стар. 253. *Старшина с Васюковым...* — Папраўлена: «Овсеевым».

Стар. 253. — *Если окна завесить... — нерешительно начал Васюков.*

— Некогда завешивать. [...] В центре. — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка: «Овсеев тоже протянул руку, пощупал печку.

— Что, думаешь теплая? — сдержанно усмехнулся Карпенко.

— А давайте протопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться. А, старшина?

— Ты что, к теще на блины пришел? Греться! Подожди, вот придет утро, он тебя согреет. Жарко станет.

— Ну что ж. А пока какой смысл мерзнуть? Окна завесить, натопить печурку... Как в раю будет.

— Хватит уговаривать. Я не барышня. Становись вон за Свистом и рой. Ясно?

Они вышли из будки и Карпенко столкнулся с Глечиком, который тащил откуда-то изогнутый железный прут.

— Вот вместо лома. Копать буду, — улыбнулся Глечик. Старшина придирчиво посмотрел на него.

— Так. Давай вот возле угла и рой. А я по другую сторону. В центре».

Стар. 254. *Фишер с недовольным видом...* — Папраўлена: «Филин с растерянным видом».

Стар. 254. *Поставлю в секрет.* — Закрэслена.

Стар. 254. *...закинул за плечо винтовку...* — Далей дапісана: «подхватил с бруствера его лопатку».

Стар. 255. *И крови хватало.* — Далей зроблена машынапісная ўклейка:

«— Крови да. Кровь лили всегда. И сколько еще прольется!

— Думаете, затянется это?

— Что, война? Ого! Только еще начинается. Еще, брат ты мой, все впереди.

— Трудное дело!

— Куда уж трудней. Кадровой не служил?

— Не пришлось. Учился, все освобождали. Кто знал, что вот так придется... Другим занимался.

— Плохо. Прохлопал, значит.

— Писал монографию об итальянской скульптуре эпохи Возрождения. Знаете, такой материал! Столько имен!.. На всю жизнь хватило бы.

— Да... Я тоже. Только пришел с кадровой, женился. Учительницу взял. У самого четыре класса, а жена с образованием. На льнозаводе работал.

— Вы понимаете, в эту весну неожиданно открыл для себя Пизано. Какие рельефы, какие рельефы! С ума сойти можно. Каждая деталь так скомпонована, так все объединено в целое...

— Дали квартиру. Не то чтоб большую — комнатку в бывшем поповском доме. Жить стали. Ребенок весной родился.

— Сын? — улыбнувшись, спросил Филин.

— Дочка, — сказал Карпенко. — Такая славная куколка! Дочка вот, а полюбил больше сына.

— Да. И все насмарку.

— Все насмарку. Верно. Это верно, пожалуй. Но все-таки мы еще им покажем кузькину мать. Не может быть! Такая армия, столько народу...

Филин вздохнул, невесело оглядывая темнеющее пространство».

Стар. 255. *— Вот как надо. Кадровой не служил?*

— Не довелось.

— Оно и видать. А теперь... Видно, не тебя мне надо было в секрет ставить. — Замест гэтага зроблена машынапіная ўклейка:

«— Вот как надо! И сиди, как мыша. Перекусить что имеешь?

— Вот два сухаря, — схватился за карман Филин.

— Не богато. Видно, не тебя мне надо бы в секрет ставить.

— Почему? — насторожился Филин».

Стар. 256. *— Ладно, хватит уши вострить! — прикрикнул на него Свист. — Где старшина?*

— *Фишера в секрет повел, — сказал Васюков.* — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка: «[не унимался Пшеничный.] — Обойдут и хлопнут. Мокрое место останется.

— А, может, сюда еще и не пойдут. Лейтенант сказал... — начал было Глечик, но его перебил Пшеничный:

— Лейтенант сказал! А для чего тебя здесь оставили? Для чего? Для отдыха что ль?

— Не для отдыха, конечно.

— Соображать надо. Заслон, понял? Значит, чтоб заслониться с фланга. А знаешь, что на флангах бывает?

— Разное бывает, — мрачно сказал Овсеев.

— То-то. Хорошее вряд ли. А вообще...

Все помолчали, вслушиваясь. Пшеничный бросил на бруствер винтовку и сел рядом.

— Смертники мы!

— Хорошего мало — понятно, — сказал Свист. — Но и нечего кудахтать. Еще ничего не случилось!

— А это? — зло ткнул через плечо Пшеничный. — Это тебе что? Шуточки?

— Это ничего не значит. На войне всюду стреляют.

Все настороженно вслушивались, не зная, как отнестись к этому переполоху за лесом.

— Ладно, хватит уши вострить! — наконец крикнул на бойцов Свист. — Вон старшина бежит».

Стар. 256. — *Не на соцпроисхождение. [...]*

— *Да пошел ты!* — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка: «— А что ж! Вот оно вылезает, твое соцпроисхождение.

— Соцпроисхождение мое ни при чем, понял? Я рабочий, каменщик, понял? Я с собственного мозоля жил.

— Ты-то с собственного. А отец с чьего мозоля жил?

— Пошел ты знаешь куда! Причем тут отец? Сталин сказал: сын за отца не отвечает.

— Ты за себя сперва ответь! Панику мне разводить! Я тебя присеку!

— Ну, присеки! — бросился Пшеничный грудью к Карпенко, на ходу раздирая шинель. — Присеки! Стреляй, если ты такой! Мне все равно! Я натерпелся, хватит!

— Спокойно! — твердо сказал Карпенко. — Спокойно! Понадобится — не дрогну. Поступлю, как положено. По уставу.

— Давай, поступай» (далей па тэксце: «Как положено! Кем положено?» і г. д.).

Стар. 257. *Но дудки! Пшеничный тоже не дурачок. Еще вы узнаете Пшеничного. Подождите маленько...* — Закрэслена, уверсе напісана: «Защищать родину. А она меня защитит? Классово-чуждый...».

Стар. 258. — *Недалеко. Да что толку?* — Закрэслена.

Стар. 260. *Хуже всех, что ли?* — Папраўлена: «Шелудивый, что ли?».

Стар. 262. — *Васюков, пойди-ка Овсеева подмени. Пусть каши поет.* — Папраўлена: «Глечик, надо Филина проведать. Каши отнести. Слышь?»

Стар. 262. *Но не успел еще Васюков встать, как его опередил Пшеничный.*

— Я пойду. А он пусть меня сменит.

— Ну, давай ты.

Пшеничный быстро собрался и вылез в дверь. В будку вошел озябший Овсеев. — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка з рукапіснымі ўстаўкамі: «Но не успел Глечик встать, как рядом вскочил Пшеничный.

— Я отнесу.

— Хе, — сказал Свист. — Доверь козлу капусту. Еще слопает.

— Не слопаю. Не такой как ты. По чужим сидорам лазать.

— Давай, ладно. Посмотри, как он там. Если что — подменишь.

Пшеничный быстро собрался, Карпенко старательно отложил в его котелок каши, и боец вылез в дверь. В будку заглянул Овсеев».

Стар. 262. *Каши вот тебе оставили.* — Далей дапісана: «А ты, Глечик, на пост».

Стар. 263. — *А ты, Васюков?*

— *Не знаю, товарищ старшина.* — Выкраслена.

Стар. 263. — *Да, выходит, в меньшинстве мое мнение.* — Папраўлена: «Да, выходит, ненадежное дело».

Стар. 263. — *Пшеничный, ну как?*

— Тихо пока.

— Ну смотри! На рассвете стучи подъем.

— Сделаю... — Папраўлена:

«— Глечик, ну как?

— Тихо пока.

— Ну смотри! К рассвету Свист сменит.

— Есть, товарищ старшина».

Стар. 265. — *Чего не спишь?* — Дапісана: «— Сменился? Чего не спишь?».

Стар. 265. *Когда дверь за старшиной закрылась, Пшеничный, зло оглянувшись на нее, просипел:*

— Я вам постучу подъем!

[...] Сторожка едва белела вдали, впереди никого больше не было. — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка: «Начинает светать. Свежими лужами отсвечивает дорога, по которой быстро идет Пшеничный. Временами он замедляет шаг и выедает из котелка остатки каши. Пустой котелок не бросил, пристегнул к поясному ремню. Иногда он оглядывается назад и что-то бормочет про себя — раздраженное и злое.

Так он прошел мимо двух берез на обочине, посмотрел в сторону окопчика Филина. Но Филин его не интересовал больше. Сзади

едва белела в сумерках сторожка на переезде, больше нигде никого не было».

Стар. 265. *Потом достал...* — Папраўлена і дапісана: «Съеденная каша только разожгла аппетит, и он [достал]».

Стар. 265. *...поглядывая по сторонам.* — Далей зроблена машынапісная ўклейка: «— Думаете, Пшеничный такой дурак, чтобы погибать ни за что? Пусть дураки гибнут. А я еще поживу. Я еще с вами сквитаюсь! А то — мурло, подкулачник! И — погибай. Пошли вы к... Свою судьбу я сам выберу. Авось умнее, чем вы».

Стар. 269. *— Пшеничный! Ну ж, гадина!.. [...]*

[...]

— Нет, менять не будем. — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка:

«— Молодец Филин. Но где же Пшеничный?

— Пшеничный не возвращался.

— А где тогда он?

— А перебег к немцам, — сказал Свист. — Давно примеривался.

— Неужели перебег?

— Перебег, факт, — сказал Свист.

— Жаль, проворонили. Теперь он...

— Теперь он нас и продаст всех, — сказал Овсеев.

— Это он могеть, — невесело согласился Карпенко.

— Так что надо менять позицию, — предложил Овсеев.

— Нет, позицию менять не станем».

Стар. 271. *Но и пулемет пригодится.* — Папраўлена: «Но пулемет важнее».

Стар. 272. *За этим занятием и застал его подошедший Овсеев. [...]*

Поняв, что за ним никто не смотрит, он боком прошел в крайнюю ячейку Пшеничного, дальше скрытого хода не было, и он выглянул над картофельным полем, изучая дорогу к лесу. — Увесь фрагмент закрэслены.

Стар. 275. *Тот не шевельнулся, тогда он приподнял его и позвал Овсеева:*

— Овсеев!

[...] Немцы уходили за березы в сторону деревни. — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка: «Из-за поворота траншеи появился Овсеев. Его побледневшее лицо выражало испуг и озабоченность.

— Глечик, ты слышь! Глечик!

Глечик непонимающе посмотрел на него.

— Слышь, решайся! Решайся, говорю, пока не поздно.

— Что — решайся?

— Смываться! Давай по очереди. Один прикрывает, другой бежит. Пока не поздно...

Глечик ровнее сел у ног старшины.

— Не можно.

— Дурак! Не можно... Ты что — не понимаешь?..

— Нет, я понимаю... Но нельзя. Солнце еще высоко.

— Черт с ним, с солнцем! Через полчаса нам копец будет. Что мы сможем, вдвоем?

— Нельзя. Ведь приказ.

— Ну и что? Подумаешь, приказ! Что тут судьба всей войны решается? Задрыпанный переезд...

— А может и решается. Кто знает?

— А пошел ты!

Овсеев махнул рукой и бросился вдоль по траншее. В конце ее он тихонько выглянул в сторону немцев, потом посмотрел через тыльный бруствер в поле. Поблизости никого не было, и он с винтовкой в руке вскарабкался на бруствер.

Он уже готов был выскочить, как несколько пуль с низинки ударили по брустверу. Овсеев вздрогнул и, корчась, вытянулся на бруствере, выронив в траншею винтовку.

Глечик, сидя возле Карпенко, прислушивался к выстрелам в поле. Его лицо застыло в отчаянии.

Несколько посидев, он поднялся, поглядел через бруствер. Немцы были уже далеко, за березами».

Стар. 275. *Но самого Овсеева нигде не было.* — Папраўлена: «Но самого Овсеева здесь уже не было».

Стар. 276. *— Подлюга! Одного оставил...* — Выкраслена.

Сцэнарый 3-й серыі налічвае 2-е рукапісныя і 50 машынапісных старонак (на першай пазначана: «ВАСИЛЬ БЫКОВ» (закрэслена), ніжэй: «ФИЛЬМ ТРЕТИЙ», «НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА»). Тэкст сюжэтна супадае з ранейшай рэдакцыяй. Што тычыцца тэксталагічных разыходжанняў, дык прозвішча «Васюкоў» папраўлена спачатку на «Бусюков», затым на «Кисляков» (далей паўсюль таксама выпраўлена на «Кисляков»). Да таго ж вылучаюцца наступныя змяненні:

Стар. 323. *Вот с ее помощью, — обнимает он Зину. [...]*

— А ничего. Это свой парень, Васюков. Когда-то был у меня ординарцем. — Папраўлена: «На КПП вот посадили в машину. Старшина помогла. Без нее бы не влез.

— Ну что вы, товарищ майор! Так лихо бегаете...

— Куда там. На одной ноге... Вот знакомьтесь: автоматчик Кисляков. Когда-то воевали вместе».

Стар. 323. *Не дорвался. А Ванин, тот, наоборот, добряк был, не дожил. Помнишь Ванина?*

— Ну.

— За высотой, где тебя ранило, его убили. Потом уже тело обнаружили. — Папраўлена: «Не дорвался, под Варшавой погиб. Ванин на Смоленщине. Да мало ли еще кто где. А мы вот дошли. Повезло все-таки.

— Повезло.
— Только бы к концу не опоздать. Слышь, доколачивают».
Стар. 324. *И вот Зина сменила свой ППГ на санчасть. [...]*
— Люблю кадры сам подбирать. Чтоб воевать было надежнее. — Зроблена машынапісная ўклейка: «Вон старшину подбиваю сменить свой медсанбат на санчасть. Кстати, как тебя звать, старшина?
— Старшина Богданова.
— А по имени как? Лена, Маня?
Старшина передергивает плечом, недоверчиво поглядывая на игривое лицо майора.
— А зачем вам имя? Я вон, за мостом слезаю.
— Ну а все-таки? Письмецо, например, черкнуть. Может, я влюбился.
— Так и поверю, — говорит старшина.
— Ну а все-таки? Как мамка звала?
—Зина, ну.
— Зина? Хорошее имя. Давай все-таки к нам, в гвардию, а?
— Нет уж. У меня своя гвардия есть.
— Напрасно. Люблю кадры сам подбирать, — говорит майор, обращаясь к разведчику. — Чтоб воевать надежнее».
Стар. 325. *Не стоять же, когда война вот-вот кончится.* — Папраўлена: «когда война кончается»; далей зроблена машынапісная ўклейка: «В кузове, подхватив шинель, поднимается Зина.
— Мне надо слезать.
— Куда еще слезать? С нами поедешь.
— Товарищ майор, мне туда надо, — указывает она по дороге.
— Ерунда! Там не проедешь. Ты же видишь?
— Я могу пройти.
— Сиди, сиди. Объедем, вывезем, все будет в ажуре.
— Товарищ майор!..
— Сиди, говорю!
Одной рукой Ананьев игриво обхватывает старшину и сажает ее на прежнее место. Зина стеснительно отстраняется, настаивая на своем.
— Мне надо туда. Вы не имеете права!
— А я прикажу. Я же майор все-таки.
— Вы грубиан, а не майор. Я вам не подчиненная.
— А я подчиню. У меня сила. Вон, орлы какие!
— Я буду жаловаться. Это безобразие!
— Пока жалоба дойдет, война кончится, — смеется разведчик, и Зина недовольно смолкает в углу возле кабины».
Стар. 325. *...мимо аккуратной деревни с черепичными крышами...* — Дапісана: «мимо аккуратной деревни с кирхой и черепичными крышами».
Стар. 326. *— Не лезьте глубоко, товариш майор! — говорит Зина. — Вам нельзя колено мочить.* — Закрэслена, але адноўлена і папраўлена: «говорит Кисляков. — У вас же колено...».

Стар. 326. *— Не лезь глубоко, Петя, смотри не намочи колено! — говорит из кузова Зина.* — Закрэслена.

Стар. 326. *— Петя, нога! Смотри ногу, товарищ майор!* — Папраўлена: «— Смотрите ногу, товарищ майор! — говорит Кисляков».

Стар. 327. *Зина сухим бинтом перевязывает Ананьеву колено. [...]*

— Ничего! Ерунда! Заживет, как на собаке. — Адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка (з новага абзаца): «Ананьев, хромая, находит место поудобнее и тяжело опускается наземь.

— Вот все мокрое.

— Надо перевязать, — говорит разведчик. — Старшина!

— Да ладно, я сам, — говорит майор, разматывая мокрый бинт. Зина, недовольно хмурясь и прыгая на одной ноге, выливает из сапога воду.

— Перевяжи майора, — говорит разведчик.

— Сам перевяжется, — рассерженно бросает Зина и отворачивается.

Ананьев с помощью разведчика разматывают бинт, неумело перевязывает ногу, и Зина, смягчившись, бросает им перевязочный пакет.

— Держите!

— Вот спасибо, — говорит Ананьев, разрывая бинт. Вдвоем, они начинают обматывать бинтом ногу, и Зина не выдерживает.

— Ну кто же так перевязывает! Разве так на колене удержится. А ну дайте сюда!

Она сама принимается за перевязку, и Ананьев улыбается.

— Вот это дело! А то гляжу, такая злая!

— Я не злая.

— Правильно! Зачем быть злой? Женщина злая — некрасивая.

— Ну и пусть. Как же не злиться — куда вы меня завезли?

— А ничего. С нами не пропадешь! Доставим в найлучшем виде. Или в медсанбате миленок ждет?

— Начальник ждет. Подполковник медслужбы Бурмакова.

— Ну, Бурмакова пусть подождет. Готово? — говорит Ананьев. — Вот и хорошо. Теперь заживет, как на собаке».

Стар. 327. *Ананьева пыталась поддержать Зина, но он отстранил ее.* — Папраўлена: «Ананьева пытался поддержать разведчик, но он отстранил его».

Стар. 329. *— Ух, ты! Вот это красотка! Глянь-ка, Зина! В штанах!* — Закрэслена, унізе напісана: «— Ну и что ж! Подумаешь!».

Стар. 329. *У камина, развешивая мокрые бинты, неприязненно покосилась на Ирму Зина.* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 331. *— Боже мой! Боже мой! — приговаривала Зина.* — У гэтай рэдакцыі: «— Боже мой! Боже мой! Мир! — приговаривала, не веря своим словам, Зина», але закрэслена, побач напісана: «— Товарищ майор, неужели все, мир?».

Стар. 331. *Гитлер капут, понимаешь?* — Папраўлена: «Война капут».

Стар. 331. — *Нет, нет, так надо! — говорит Ирма и, собрав хлеб, складывает его в серебряную хлебницу.* — Далей ідзе машынапісная ўклейка:

«— Гляди, как у них принято. Как в санатории: каждый бери, сколько хочешь, — смеется Ананьев.

Зина бросает быстрый взгляд на Ирму, потом на майора, и перекладывает хлеб по-своему — каждому на тарелку.

— По-нашему будет!

— Найн, найн! — говорит Ирма, но, встретив твердый взгляд Зины, умолкает.

— Правильно, Зина! — одобряет Ананьев. — Праздник наш и наши порядки. Нечего там...»

Стар. 332. *Зина, а ну!* — Выкраслена.

Стар. 332. *...и Зина с гордостью ставит...* — Папраўлена: «и с гордым видом ставит».

Стар. 333. — *А теперь... [...]*

— Не тебе одной подфартило. Победа! — говорит Ананьев и поднимает бокал. — А ну, еще раз за Победу! — Гэты фрагмент адсутнічае, зроблена машынапісная ўклейка:

«— Ну вот, Зинка-старшинка! А ты не хотела с нами. Так бы и победу проворонила! А то вот видишь? Хорошо здесь?

— Хорошо, — улыбнувшись, говорит Зина. — Ваше здоровье.

— Э, нет, не так. Давай чокнемся.

Они со значением чокаются. Потом майор поворачивается к Ирме и тоже церемонно чокается. Их взгляды встречаются, Ирма кокетливо улыбается майору, и Зина отставляет рюмку. Ананьев свою выпивает почти до дна.

— Вот это дело!

— Берет как надо! Не то что эта мозольная жидкость, — говорит разведчик.

— Первый сорт спиртик. Что морщишься, Кисляков? Дерет?

— Дерет! — улыбается Кисляков.

— Зина, а ты что же не выпила?

— Я не буду, — холодно говорит Зина.

— Чудачка! Чего это ты? Чокнулась, а не пьешь?

— Вон с ней пейте. Раз чокаетесь.

— Ах, ах! Приревновала? Уже! Русская к немке приревновала? Вот здорово!

— А вот и нет! — вспыхнув, вскакивает Зина, но майор шутливо хватает ее за руки.

— Чудачка! Да разве я... Она же немка, ты понимаешь? А ты русская.

— Вот именно! — смягчаясь, говорит Зина.

— Значит, своя, родная. Зинуля, старшинка, давай я твои ручки обцелую.

Зина прячет за спину руки, которые пытается схватить Ананьев. Ирма поджимает губы.

— Мой ест муж! — что-то почувствовав, обиженно говорит она. Старик согласно кивает головой.

— Я, я...

— Ладно, о чем речь! — говорит майор и широко разведенными руками пытается обнять обеих. — Ведь победа же, ядрена вошь! Вы понимаете? Ни обстрела, ни бомбежки, домой поедем, жениться будем. Зинку вон замуж выдадим да за такого героя... Давайте еще выпьем!».

Стар. 334. *Зина молча и ревниво наблюдает за захмелевшим Ананьевым...* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 335. *...отстраняется от Ирмы и Зины, которых он пытается обнять одновременно...* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 337. *...затем Зину, которая счастливо льнет к нему...* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 338. *Почему меня не убили под Курском? На Сандомирском плацдарме... Или еще где.* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 339. *Это ж так повезло!* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 339. *Вот положеньице!..* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 339. *...и вспоминает год сорок первый — гибель старшины Карпенко в окопе, подвиг Свиста.* — Пасля гэтага сказа Быкавым зроблена ўстаўка, дапісаная на асобным аркушы (злева пазначана: «стр. 30»): «Потом вспоминает последнюю отчаянную схватку на переезде, как он метался по траншее от пулемета к пулемету, швырял под танки гранаты, как взрывом был полузасыпан в траншее и потерял сознание. Он не слышал, как немцы ходили по траншее, наступая ему на грудь, как они вывернули его карманы, как ночью он пришел в себя и выбрался из траншеи. Он полз по полю к лесу, ориентируясь по звездам, и на него наткнулись разведчики».

Стар. 340. *...и несколькими дисками в сумке.* — Далей дапісана: «Он сразу попадает под пули».

Стар. 340. *— Видно, на запад прорываются.* — Далей дапісана: «Самые головорезы — эсэсовцы. Патроны хоть есть?

— Патроны-то есть. Вот полная сумка».

Стар. 340. *...и волочит ее за собой.* — Далей дапісана: «Сквозь грохот стрельбы доносится голос Ананьева:

— Кисляков! Кисляков! Бей по переправе! Не пропускай ни одного гада!

— Бью! Бью, товарищ майор!».

Стар. 341. *— Петя, ты ж ранен! — бросается к майору Зина. [...] Зина размеренно стреляет из-за косяка из пистолета.* — Гэты фрагмент закрэслены алоўкам, але чарніламі зроблены наступныя праўкі: «Товарищ майор, вы же [ранен]ы», «Старшина, [береги патроны...]». Тут жа зроблена рукапісная ўстаўка:

«— А может пропустить? — говорит разведчик. — Пусть бы шли ко всем чертям...

— Ну да! — оборачивается Ананьев. — Ты знаешь, чего они там натворят? С тыла как врежут, вот будет денек Победы...

Разведчик молчит».

Стар. 341. *На рассвете им надо переправиться, а мы мешаем.* — Далей дапісана: «К союзничкам спешат, под их крылышко!».

Стар. 341. *— А вон, слышь? — указывает Зина...* — Папраўлена: «Он поднимает голову».

Стар. 341. *— Ах это он! Вот молодец! Надо ему кого на подмогу.* — Папраўлена: «Кисляков, держись! Держись, Кисляков, подмогу пришлем».

Стар. 342. *Рывками бьет из пистолета через подоконник Зина — выстрелит и присядет, выстрелит и присядет.* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 343. *К нему бросается Зина.* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 343. *Ее плечи сотрясают рыдания.*

— Боже, что же это делается! Ведь Победа же, капитуляция, что же это такое...

— Ничего, — говорит Ананьев. — Ничего. Как-нибудь. Подождите. — Закрэслена, уверсе напісана: «Ее руки опущены.

— Товарищ майор, у меня два патрона.

— Побереги, Зина! Патроны побереги.

— У меня два. Больше нет.

— Ладно, [— говорит Ананьев. —] Ладно. [Как-нибудь], может».

Стар. 343. *Давай, давай, Васюков!* — Закрэслена.

Стар. 344. *От Петра Петровича.* — Папраўлена: «От Петра Первого»

Стар. 344. *...и Зина, метнувшись из-за стены, подхватывает автомат. Она укрывается за косяком у двери...* — Закрэслена алоўкам.

Стар. 345. *— Зина, не выходи! [...]*

— Ничего, ничего! — говорит Ананьев, вскакивая. — Ты держись! Главное, ты держись! — Гэты фрагмент перакрэслены алоўкам, хоць і зроблена праўка чарніламі: зварот «Петя!» зменены на «Товарищ майор».

Стар. 345. *Зина из-за косяка бьет по ним сзади, двое падают, автомат из рук убитого отлетает к стене, и Ананьев бросается за ним. [...]*

Почти со сладострастием на лице он разряжает его в девушку, которая покорно опускается на широкую грудь майора. — Гэты фрагмент таксама перакрэслены алоўкам, хаця зварот «Петя!» перапраўлены чарнілами на «Ой».

Трэба таксама адзначыць, што наўрад ці В. Быкаў думаў скарачаць літаральна ўсе месцы, закрэсленыя алоўкам (выкрасленае чарнілам у каментарах не агаворваецца), — магчыма, такім чынам ён пазначаў тыя эпізоды, дзе размова ішла пра старшыну медслужбы Зінаіду Багданаву, бо ў сувязі са змяненнем яе ролі ў сюжэце (у пазнейшай рэдакцыі яна толькі па дарозе пазнаёмілася з маёрам Ананьевым) сталі патрэбныя і пэўныя карэктывы ў сцэнарыі. На карысць таго,

што аўтар меркаваў пакінуць некаторыя месцы, дзе размова ішла пра Зіну — сяброўку Ананьева, сведчаць праўкі, зробленыя чарнілам якраз у адзначаных алоўкам эпізодах.

Магчыма, В. Быкаў збіраўся ўнесці ў сцэнарый 3-й серыі і іншыя праўкі: у машынапісу ёсць рукапісныя сімвалы яшчэ пяці ўставак разам з лічбамі: 29, 36, 37, 42 — звычайна так пісьменнік пазначаў устаўкі ў тэкст. Але самі ўстаўкі адсутнічаюць — захаваліся толькі два рукапісныя аркушы з эпізодамі, якія маюць непасрэднае дачыненне да сюжэта 3-й серыі, але пазнака, што яны павінны быць уманціраваны ў сцэнарый, адсутнічае (за выключэннем адной устаўкі). Так, на першым аркушы В. Быкавым значна пашырана адна сцэна ў нямецкай сядзібе:

«Молчаливый часовой вводит в зал Терещенко и немца.

— Ну что, лейтенант, — говорит Ананьев, — до Победы дожил?

Терещенко вздыхает.

— Лучше бы мне не дожить.

— Что, совесть замучила? И много людей погубил?

— Немцы разгромили роту, — говорит капитан. — По его вот вине.

— Точно, л[ейтена]нт? — спрашивает Ананьев.

— Так точно, — подтверждает Терещенко.

— Ай-яй! Как же это? А еще небось подчиненных воспитывал? За стойкость и мужество агитировал. А сам?

— Агитировать легче всего...

— Наверно. И немец — гляди, какой кувырок сделал? А небось тоже за Гитлера лямку тянул. Эй ты, — обращается Ананьев к немцу. — Где воевал? На каких участках?

Немец, подобравшись, дельно отвечает:

— Сорок первый год — Ростоф нах Дон...

— В Ростове-на-Дону? — радостно удивляется Ананьев. — Гляди-ка, а я там был в сорок первом. Там мы вам хорошо всыпали. Показали кузькину мать.

— Потом, как это... — с трудом подбирая слова, говорит немец. — Мерефа. Недалеко Харьков...

— Знаю. Это не в 43[-м]?

— Ф сорок три.

— Опять! Какое совпадение. Тут уж вы нам дали, это точно. Надавали по шее, что надо. У меня там весь б[атальо]н ляснул. Деревню Кигичевку помнишь?

— Я, я, — радостно закивал немец. — Кигичефка! Іх жиль руская женщина Мария...

— О, было дело... Мне там из танка болванкой едва голову не сшибли. По головам лупили... Ну ладно, что вспоминать. Садитесь, гренадеры!

Немец и Терещенко нерешительно садятся за стол. Ананьев наливает им в рюмки.

— Чтоб больше не пришлось. Хорошие же люди, как погляжу, а вот чуть не угробили друг друга.

Вдруг с другого конца стола вскакивает ст[арший] тех[ник]-л[ейтена]нт.

— А почему вы думаете, он там вас не угробил? Ну почему? — говорит он неприятно напряженным тоном, и Ананьев задерживает рюмку.

— Не попал, разумеется. Промахнулся.

— Вот! — стучит по столу ст[арший] тех[ник]-л[ейтена]нт. — Потому как промахнулся. Как и их Гитлер! Если бы не промахнулись — не сидеть нам тут. Они бы на нас сидели. На косточках наших.

Тон, каким сказано это, заставляет всех настороженно замолкнуть. Только старик растерянно бормочет:

— Гитлер! Гитлер...

— Ах Гитлер! — подхватывает ст[арший] тех[ник]-л[ейтена]нт. — Теперь на Гитлера валите? И сами хороши! Пешки вы, коль отдали себя Гитлеру. Зачем была вся ваша история. Вся ваша культура? Не один Гитлер, — все виноваты. Все!! — кричит он.

— Ну ладно, — примирительно говорит Ананьев. — На всех не вали.

— Нет, буду валить на всех. За их Гитлера виноваты все. Вся немецкая нация. Была бы моя власть, я бы их... — сверкает глазами ст[арший] тех[ник]-л[ейтена]нт.

— Ладно, — говорит Ананьев. — Ты думаешь, на войне свет клином сошелся? Вот кончилась, мир будет. Там разберутся.

— Лучше нас никто не разберется. Мы им судьи, никто другой, — успокаиваясь, говорит ст[арший] тех[ник]-л[ейтена]нт.

— Больно ты горячий судья. Ладно. Все-таки Победа, черт возьми. За победу, гвардейцы!».

На другой старонцы ад рукі В. Быкавым па-іншаму апісана сустрэча Ананьева і Глечыка:

«— Тов[арищ] л[ейтена]нт! — вдруг кричит Глечик и срывается вдогонку за машиной. Он машет рукой, кричит, и полуторка не сразу останавливается на дороге.

Глечик, оставив попутчика, подбегает к машине, лицо его горит радостью встречи, гармонист, прекратив игру, недоуменно глядит на младшего сержанта. Трое пассажиров в кузове поворачивают головы в его сторону.

— Тов[арищ] л[ейтена]нт!

— Какой тебе л[ейтена]нт! — говорит разведчик. — Это майор!

— Тов[арищ] м[айо]р! — смущенно говорит Глечик. — Помните... Моя фамилия — Глечик.

— Глечик? — не понимая, еще привстает майор. Это был тот самый к[оманди]р роты Ананьев.

— Ну. Помните, в сорок первом. На переезде. Еще старшина Карпенко...

— Да ну! — удивляется, вспомнив, м[айо]р. — Глечик! Живой! Гляди ты! А мы же всех вас тогда... А ну лезь сюда!

Глечик карабкается через борт, на него с любопытством глядят санинструкторша Зина, сидящая рядом с Ананьевым, снисходительно окидывает его взглядом разведчик-сержант с орденом Крас[ного] Зн[амени] на груди и автоматом между колен. Ананьев отдает ему ставшей ненужной гармошку.

Закинув в кузов шинель, Глечик забирается сам.

— А я гляжу... — радостно говорит он. — Товарищ л[ейтена]нт. Виноват: снизу не видно, тов[арищ] м[айо]р. Глазам не поверил... Давай подъедем! — кричит он своему спутнику, но тот машет рукой: мол, езжайте, я дойду сам.

— Глечик! — говорит Ананьев. — Вот уж не ждал. Ведь вы же погибли тогда?

— Погибли, — говорит Глечик. — Старшину в траншее убило, Свист... Помните, бронебойщик был... Так он танк подорвал, но и сам... Филин, в очках такой был, ученым все звали... И он. Ну и остальные. Только я вот.

— Понятно, — озабоченно говорит Ананьев и, обращаясь к попутчикам, объясняет: — Вот боец мой по 41[-му] году... Тогда такой салажонок был, а теперь гляди: мл[адший] с[ержа]нт. И главное до конца-то войны дожили?

— Дожили. Почти что.

— Да уж. Не сегодня, завтра Победа. А ты далеко топаешь?

— Да в Прутвиц сказали.

— И мы в Прутвиц. Так что поедем вместе. Небось, из госпиталя?

— Из госпиталя, — говорит Глечик.

— Признайся, выписался или дал деру?

— Я? Выписался, тов[арищ] м[айо]р. Документ имею.

— А я, скажу по секрету, дал деру. Нога не шибко того. Выписывать ни в какую. Ну я и драпанул. На КПП вот подсадили в машину. Старшина помогла. Без нее бы не влез.

— Ну что вы, тов[арищ] м[айо]р. Так лихо бегаете, — говорит Зина.

— Куда там. На одной нгоге... А ты в пехоте по-прежнему?

— В пехоте, — вздыхает Глечик.

— Ничего. Не долго уже осталось пехоте. И арт[иллерии] и авиации. Главное, Берлин взят, так что... Эх сколько об этом денечке мечтало. Да не дожили. А мы вот дожили. Повезло все-таки.

— Повезло.

— Только бы к концу не опоздать. Слышь, доколачивают...».

На гэтай жа старонцы, на адвароце (злева ўверсе напісана і абведзена — «Дубков»), В. Быкаў зрабіў яшчэ два запісы: адзін датычыць сцэнарыя 3-й серыі (гл. раней у каментарах: «Потом вспоминает по-

следнюю отчаянную схватку на переезде...»); другі, відаць, — сцэнарыя 2-й серыі (які ў гэтай папцы адсутнічае):

«Ананьев вышел из блиндажа и остановился в траншее.

— Тихо? — спросил он бойца, зябко поеживающегося в ячейке.

— Тихо, тов[арищ] ст[арший] л[ейтена]нт, — отвечает боец. — На станцию драпанули.

— На станцию, да. Станцию они прикроют. Когда-то мы тоже станцию прикрывали. Осенью в 41[-м]...

Он замолкает. Перед его взглядом встает тот самый пасмурный день и переезд, шесть человек, оставленных на нем, их прощальные взгляды вслед уходящей колонне.

— Удержали ту станцию? — спрашивает боец.

— Удержали, а как же. На сутки, как и было приказано. Правда, на переезде взвод был оставлен... Все ляснули...».

* * *

Стар. 266. *Форвертс!* — Наперад! (*Ням.*)

Стар. 327. *А, шляуфен! Я, я.* — А, спаць! Так, так (*скаж. ням.*).

Стар. 329. *Битте, гер официр!* — Калі ласка, гер афіцэр! (*Ням.*)

Стар. 329. *Битте дойч брот.* — Калі ласка, нямецкі хлеб *(ням.)*.

Стар. 329. *Никс тохтер. Ирма швигертохтер, ферштейн?* — Не дачка. Ірма нявестка, разумееце? (*Скаж. ням.*)

Стар. 332. *Никс шнапс. Зер гуте вин! Прима вин!* — Не шнапс. Вельмі добрае віно! Першакласнае віно! (*Скаж. ням.*)

Стар. 333. *Ахтунг! Айн момент!* — Увага! Адзін мамент! (*Ням.*)

Стар. 334. *Никс, никс золдат, никс официр — майн гатте.* — Не, не салдат, не афіцэр — мой муж (*скаж. ням.*).

Стар. 342. *Форвертс! Хайль Гитлер!* — Наперад! Хайль Гітлер! (*Ням.*)

Стар. 342. *Эсэсшвайне!* — Эсэсаўскія свінні! (*Ням.*)

Стар. 343. *Даст ист эсэс! Капут! Аллес капут!* — Гэта ўсё! Усім смерць! (*Ням.*)

Стар. 346. *Дас ист цивильмайстер.* — Гэта цывільны майстар (*ням.*).

Стар. 346. *Дас ист верротэр! Эргёген!* — Гэта здраднік! Падняць! (*Ням.*)

Стар. 346. *Игр дас ист верротэр! Игр вердербен штурцен Дойчлянд!* — Вы, гэта здраднік! Вы прашкаджаеце разбурыць Германію! (*Скаж. ням.*)

Ушедшие в вечность (Обелиск)
Киносценарий В. Быкова, Р. Викторова (стар. 352)

Друкуецца ўпершыню паводле копіі з машынапісу, які пастаўлены на ўлік у фондзе Творча-вытворчага аб'яднання «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького»: Расійскі дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва (Масква, Расія). Ф. 2468. Воп. 9. Адз. зах. 1264, 1265, 1266; часова захоўваецца на к/с імя М. Горкага.

Датуецца 1975 г.

Копія сцэнарыя прадстаўлена Рэдкалегіі Поўнага збора твораў В. Быкава генеральным дырэктарам к/с імя М. Горкага С. Яршовым дзякуючы дапамозе дырэктара Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Т. Гараевай ды пісьменніка, кіраўніка Федэральнай нацыянальнай аўтаноміі «Беларусы Расіі» В. Казакова.

Сцэнарый (71 старонка) напісаны В. Быкавым у суаўтарстве з рэжысёрам Р. Віктаравым. На першай старонцы на машынцы пазначана — справа ўверсе: «В. БЫКОВ, Р. ВИКТОРОВ»; ніжэй пасярэдзіне: «УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ (ОБЕЛИСК)», «Киносценарий»; унізе: «Москва 1975 г.».

Захавалася адно дакументальнае сведчанне — пра працу над гэтым сцэнарыем В. Быкаў пісаў В. Аскоцкаму: «А тут вот еще сидит очередной режиссер со студии им. Горького — вытягивает из меня по странице сценарий по "Обелиску". Можешь себе представить, каково мне»[1].

Нельга выключаць, што ўжо падчас абмеркавання літаратурнага сцэнарыя В. Быкава і Р. Віктарава аўтарам быў выказаны шэраг істотных прэтэнзій — на гэта ўказвае «Заключение на режиссерский сценарий "Обелиск"», у якім, у прыватнасці, гаворыцца: «Режиссерский сценарий "Обелиск", в точности сохраняя идейную и художественную концепцию литературного сценария, приобрел в режиссерской разработке большую драматургическую стройность и емкость. Психологически более убедительными стали образы главных действующих лиц (это в первую очередь относится к образу Мороза). Введение некоторых новых сцен, таких, например, как сцена родительского собрания, и диалогов позволило точнее и глубже вскрыть суть происходящих в сценарии событий.

В режиссерском сценарии учтены все замечания, высказанные Главной сценарной редакционной коллегией Госкино СССР, и творчески осмыслены пожелания сценарной редколлегии студии»[2].

---

[1] З ліста ад 9 чэрвеня 1975 г. Аўтограф. Копія. Архіў В. Быкава.

[2] Паводле «Заключения на режиссерский сценарий "Обелиск"» ад 11 верас. 1975 г. галоўнага рэдактара III творчага аб'яднання А. Грыгарана, рэдактара фільма І. Салаўёвай. Машынапіс. Копія. ТВА «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

На тое, што да літаратурнага сцэнарыя ў Дзяржкіно СССР маглі быць выказаны даволі сур'ёзныя прэтэнзіі, указвае ў тым ліку і наступны ліст, у якім заўвагі зроблены ўжо рэжысёрскаму сцэнарыю:

«1. Поминки по Миклашевичу не должны выглядеть пьянкой. Убрать ящик с водкой, смакование выпивки, пьяные возгласы и выкрики.

2. Сократить количество полицаев до необходимого минимума, заменив остальных немцами.

3. Сократить начало [...].

4. Более тщательно отредактировать отдельные реплики и диалоги, освободив их от нарочитых грубостей, вульгаризмов, излишней ругани. Снять реплику на стр. 13-й: «А его не репрессировали. Его забыли!» Из монолога Мороза на стр. 113 «Коля, мы погибнем не зря...» убрать слова: "А после победы вспомнят о нас" и до конца абзаца»[1].

Фільм «Обелиск» быў пастаўлены Р. Віктаравым у 1976 г.

* * *

Стар. 378. *Паша громко, по-немецки.* — Відавочна, што далей павінен быў ісці фрагмент з верша І.-В. Гётэ, але ў кінасцэнарыі ён адсутнічае.

Стар. 378. *Паша продолжает.* — Тое ж самае.

Стар. 379. *Коля переводит.* — Тое ж самае.

Его батальон

Киносценарий В. Быкова, при участии А. Карпова (стар. 400)

Друкуецца ўпершыню паводле машынапісу, які захоўваецца ў фондзе к/с «Беларусьфільм»: БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1071. Арк. 1–147.

Датуецца паводле машынапіснай пазнакі на апошняй старонцы машынапісу: «28 февраля 1987 г., г. Минск»[2].

---

[1] Паводле ліста намесніка галоўнага рэдактара калегіі Э. Барабаша і галоўнага рэдактара групы ваенна-патрыятычнага фільма Д. Мікаша да дырэктара к/с імя М. Горкага Г. Брыцікава і галоўнага рэдактара А. Баліхіна за № 1/664 ад 16 верас. 1975 г. Машынапіс на афіцыйным бланку, уверсе: «Государственный комитет Совета Министров СССР по кинематографии (Госкино СССР)», «Главная сценарная редакционная коллегия по художественным фильмам»; справа ўнізе службовая памета ад рукі: «вх. 409. 18.09.75»; пасярэдзіне аркуша ад рукі: «19/IX» і подпіс (неразб.). Арыгінал. ТВА «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького».

[2] На першай старонцы машынапісу «ЕГО БАТАЛЬОН сценарий двухсерийного художественного фильма» пазначана: «Минск, март 1987 г.».

Сцэнарый двухсерыйнага мастацкага тэлевізійнага фільма «Его батальон» напісаны пры ўдзеле рэжысёра-пастаноўшчыка А. Карпава (на апошняй старонцы аўтарызаванага машынапісу літаратурнага сцэнарыя, з нязначнымі рукапіснымі праўкамі, стаяць подпісы В. Быкава і А. Карпава[1]). Фільм створаны па замове ТА «Экран» Цэнтральнага тэлебачання (Масква). Дамова з В. Быкавым падпісана ў кастрычніку 1987 г.[2]

Гэта першы выпадак у кінематаграфічным лёсе пісьменніка, калі ў мастацкага савета не знайшлося ніводнай прэтэнзіі да літаратурнага сцэнарыя, — прынятае па выніках абмеркавання заключэнне было цалкам станоўчае:

«В литературном сценарии Василя Быкова успешно реализованы драматургические возможности его одноименной повести. Сюжетно это произведение возвращает нас к суровым реалиям минувшей войны, но по своему идейно-нравственному содержанию оно всецело принадлежит нашим дням. В основе конфликта между Волошиным и Гунько — столкновение несовместимых жизненных позиций: гражданское мужество восстает против угодничества и карьеризма, активная человечность отрицает казенное бездушие, независимый и ищущий ум дает бой тупой исполнительности. Глубокая, созвучная нашему времени идея раскрывается ненавязчиво, без педалирования и дидактики, в напряженном взаимодействии характеров и обстоятельств. Писательская манера Быкова — неторопливость и основательность психологического рисунка — позволяет проследить внутреннюю жизнь героя, на острие трагических событий обнажается его душевная суть, зримо предстает перед нами Личность.

Сценарная запись сделана с учетом художественно-изобразительных особенностей телевизионного кино. Батальные сцены решены локально, эмоциональные пики поддерживаются закадровым текстом. Заметна, однако, некоторая “расточительность” диалогов, необязателен общий, “забегающий вперед” пролог. Необходимые незначительные по объему сокращения могут быть сделаны в режиссерской разработке, но при этом необходимо сохранить созданное драматургом сюжетное пространство и в разумных пределах увеличить экранное время фильма.

Художественный совет студии “Диалог” одобряет литературный сценарий В. Быкова “Его батальон” и представляет для утверждения

БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1071. Арк. 1.

[1] БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1071. Арк. 147а.

[2] «Типовой сценарный договор для художественных многосерийных фильмов» ад 25 кастрычніка 1987 г. за подпісамі У. Гарбачова і В. Быкава. На апошняй стар. унізе памета, зробленая рукой В. Быкава: «Членом профсоюза не состою». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1075. Арк. 51–56.

в ПО “Экран”. Одновременно студия ходатайствует об увеличении планового объема каждой из двух серий с семи до девяти частей»[1].

Між тым у Маскве па сцэнарыю ўзнік шэраг пытанняў, якія былі абагульнены ў заключэнні галоўнай сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі:

«Рассмотрев и одобряя литературный сценарий “Его батальон”, т/о “Экран” отмечает значительные художественные достоинства: суровую правдивость, мужественность рассказа, возвращающего нас к будням войны, и вместе с тем его идейно-нравственное созвучие нашему времени. Редкая психологическая насыщенность повествования, писательская способность увидеть и раскрыть личности не только в главных героях, но даже и в эпизодических персонажах, сочетаясь с высокой драматичностью сюжета, позволяют достичь большого эмоционально-нравственного впечатления.

Надеемся и верим, что режиссеру удастся осуществить бережную, внимательную телеинтерпретацию литературной основы, отыскать творчески адекватную ей экранную образность.

Одновременно полагаем нужным высказать ряд соображений и замечаний.

Определенная внешняя статичность I серии контрастна взрывчатой динамичности второй; это предъявляет к режиссерской разработке особые требования. В I серии, на наш взгляд, целесообразно четче акцентировать основные драматургические узлы ради поддержания скрытого внутреннего напряжения (разрабатывая конфликт Волошина и Гунько, в то же время иметь сквозным стержнем постоянное беспокойство комбата за бойцов, посланных в разведку). II-ю серию, преимущественно батальную, желательно трактовать по возможности локально, имея центром внимания не столько сами обстоятельства, сколько людей в этих обстоятельствах.

Рекомендуем еще раз продумать финальную коллизию: в первой части автор столь выразительно доказал объективную невозможность взять высоту силами батальона, что в дальнейшем непонятно, за счет чего все же это происходит. [...] В связи с этим возникает вопрос: так прав ли был Волошин, приказав отступить?.. Поскольку здесь — основа сценарного конфликта, считаем важным отчетливее вскрыть причину успеха 2-го штурма.

Поддерживая прием, связанный с комментарием от лица Волошина, полагаем желательным его развить, подыскав для ряда

---

[1] Паводле «Заключения художественного совета студии “Диалог” киностудии “Беларусьфильм” на литературный сценарий двухсерийного художественного фильма “Его батальон”». Машынапіс за подпісамі галоўнага рэдактара студыі «Диалог» У. Іваноўскага, рэдактара фільма І. Дылеўскага. На першай стар. справа ўверсе: «Утверждаю: Художественный руководитель студии “Диалог” *И. Добролюбов*». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 1. Адз. зах. 1075. Арк. 49–50.

эпизодов фрагменты текста, наиболее точно решающие задачу (как осмысляющую, так и информативную). [...]

Думается, принципиальная смысловая информация со стр. 5 эмоциональнее и глубже воспринималась бы из диалогов комбата с товарищами.

Монолог Волошина на стр. 27 нарушает художественно-временное единство повествования [...].

Не вполне, по нашему мнению, органично включена в повествование ретроспекция с Джимом; советуем обдумать ее необходимость.

В "забегающем вперед" прологе хотелось бы отчетливее выделить посылку (желание комбата осмыслить неудачу), и вместе с тем предусмотреть четкую временную отбивку от дальнейшего рассказа.

Поддерживаем мнение студии о желательности в ряде мест сокращения необязательного материала»[1].

Аднак гэтыя заўвагі не выходзілі за межы выключна літаратурнага аналізу — рэкамендацыі ідэалагічнай накіраванасці тут адсутнічаюць. І не дзіўна, бо час быў ужо іншым — у разгар абвешчанай Генеральным сакратаром ЦК КПСС М. С. Гарбачовым «перабудовы» ў тым ліку і члены мастацкага савета «Беларусьфільма» адкрыта гаварылі пра тое, што раней з быкаўскіх сцэнарыяў няўмольна выкрэслівалася:

«В целом война изображена как война, без котурн, когда и люди бестолковы, и приказы, когда накануне атаки батальон не знает, где разведка, т. е. все так, как бывает в жизни. Поэтому и Волошин, с одной стороны, сверхгерой, а, с другой стороны, он беспомощен, как все люди (Маркоўскі Я. М.[2]).[3]

Что происходит в сценарии? Частный конфликт. Да, знаем о том, что нами командовали тупицы, что чаще всего страдали интеллигенты. Мы попросту закормлены войной, тем более рассказанной с позиции хрестоматии. Поэтому говорить обо всем этом в двух сериях просто непозволительно (Лук'янаў М. В.[4])[5].

Сейчас фильмы стало снимать трудно, ибо стало возможным говорить с экрана обо всем, что раньше могло прозвучать только в сим-

---

[1] Паводле «Заключения по литературному сценарию 2-серийного художественного телефильма "Его батальон"». Машынапіс за подпісам члена галоўнай сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі Е. Карчагінай. На першай стар. справа ўверсе: «"Утверждаю" Главный редактор творческого объединения "Экран" *Г. Грошев.* 11 декабря 1987 г.». На другой стар. унізе памета ад рукі: «Исх. 15–23/4530». БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1075. Арк. 47–48.

[2] Маркоўскі Яўген Мікалаевіч (нар. у 1947) — беларускі рэжысёр.

[3] Паводле «Протокола заседания бюро худсовета студии "Диалог"» ад 3 лютага 1988 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1075. Арк. 40.

[4] Лук'янаў Мікалай Валянцінавіч (нар. у 1949) — беларускі рэжысёр, сцэнарыст.

[5] Паводле «Протокола заседания бюро худсовета студии "Диалог"» ад 3 лют. 1988 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1075. Арк. 41.

волике, в изобразительном решении фильма. В этой картине ничего кроме голой правды нет. Привлекает в ней то, что Карпов верен главной мысли повести, тому, что хотел сказать Быков (Фральцова Н. Ц.[1]).

...не надо делать "хеппи-энд". Я бы кончил титрами на одинокой фигуре Волошина. Тем более что эта картина моно, т. е. сугубо волошинская, глядя на которого вспоминается сам Быков, по-человечески чуткий, душевный и предельно интеллигентный (Дабралюбаў І. М.).[2]

У некоторой части художников сейчас бытует убеждение, что тема войны изжила себя, что она на исходе восприятия у нового поколения и что если ее продолжать, то требуется новый подход, новое мышление, а отсюда и нахождение чего-то нового в поиске драматургии и изобразительного решения. В этом есть определенная правда. Но я бы хотел задаться вопросом: а в чем заключается призыв к новому мышлению для такого писателя, как Василь Быков? И ему перестраиваться, ему, писателю, посвятившему себя разработке темы "человек и война" и "человек и совесть"? Не оказался ли Быков тем писателем, которому нет надобности перестраиваться? Не оказался ли он в авангарде тех писателей, по которым надо перестраиваться! Я убежден, что его писательское слово и слово кинематографистов, берущих сегодня его произведения для экранизации, осталось сегодня новым словом, не требующим обновления и осовременивания» (Карпаў А. Я.)».[3]

Фільм прыняты 2 сакавіка 1989 г.[4]

* * *

Стар. 434. *Ты жива еще, моя старушка?*
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет! —
Страфа з верша С. Ясеніна «Письмо матери».

---

[1] Фральцова Ніна Ціханаўна (нар. у 1944) — беларускі кінакрытык, сцэнарыст; доктар філалагічных навук.

[2] Паводле «Протокола заседания худсовета студии "Диалог" киностудии "Беларусьфильм"» ад 2 лютага 1989 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1075. Арк. 20.

[3] Паводле «Протокола заседания худсовета студии "Диалог"» ад 11 красавіка 1988 г. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1075. Арк. 27–28.

[4] Паводле «Приемо-сдаточного акта двухсерийного цветного телевизионного фильма "Его батальон"» ад 2 сак. 1989 г. Машынапіс за подпісамі У. Гарбачова і дырэктара ТА «Экран» Г. Тараненкі. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1076. Арк. 14.

На Чорных лядах
Кінасцэнарый В. Панамарова пры ўдзеле В. Быкава паводле апавяданняў «На Чорных лядах» і «Перад канцом» (стар. 507)

Друкуецца ўпершыню паводле копіі з арыгінала машынапісу, які захоўваецца ў асабістым архіве В. Панамарова. Датуецца 1994 г.

Задума аб'яднаць апавяданні В. Быкава «Перад канцом» і «На Чорных лядах» у адзін кінасцэнарый з'явілася ў рэжысёра В. Панамарова пасля публікацыі гэтых твораў у 1994 г. у часопісе «Полымя» (№ 1). Па яго сведчанні, аўтар ухваліў задуму і, як мінімум, тройчы знаёміўся з накідамі да будучага сцэнарыя, які быў напісаны В. Панамаровым.

Фільм «На Чорных лядах» пастаўлены ў 1995 г. Арыгінал аўтарызаванага машынапісу сцэнарыя налічвае 47 старонак з нязначнымі праўкамі, якія зроблены В. Панамаровым. На першым аркушы пазначана: «Васіль Быкаў, Валерый Панамароў», ніжэй: «НА ЧОРНЫХ ЛЯДАХ Літаратурны сцэнарый мастацкага фільма паводле апавяданняў Васіля Быкава "На Чорных лядах" і "Перад канцом"»; на апошнім: «Аўтары сцэнарыя: Васіль Быкаў, Валерый Панамароў» (подпісы — аўтограф).

Гэта адзіная ў фільмаграфіі В. Быкава карціна, якая аказалася, па сутнасці, забароненай. В. Панамароў сведчыў: «Все, кто имел хоть какое-то отношение к фильму "На Чорных лядах", в той или иной степени пострадал. Ну а мне так просто и прямо, глядя в глаза: "Какого... ты связался с Быковым? Вон один из наших попробовал — и на всю жизнь зарекся. Потому что очень кушать хочется. [...]"»[1].

Лёс ужо гатовага фільма «На Чорных лядах» некаторы час заставаўся няпэўным, пакуль не адбылося пасяджэнне пашыранага мастацкага савета «Беларусьфільма», на якім абмяркоўвалася карціна:

«*Михаил Шелехов (главный редактор "Беларусьфильма"):*

«Трудно себе в жизни представить коллективное самоубийство, тем более крестьянское. А в "Черных лядах" пол-фильма посвящено этому, хотя я знаю из истории того же Антоновского крестьянского восстания в России, таких случаев не бывало. Не бывало и случаев массового психоза и уныния. Или здесь попытка представить коллективное самоубийство как черту белорусского характера? Для меня фильм несет отрицательный пафос, отрицательную энергию. [...]». [...]

Нина Фрольцова (кинокритик):

«Нельзя без юмора относиться к этому фильму. Режиссер тоже должен застрелиться — вслед за своими героями. Да, сейчас время выбора, но это коллективное самоубийство, оно не то, что в жизнь, оно ни в какую философию не вписывается. Как можно было давать деньги на такой фильм!» [...]

---

[1] Пономарев В. Премьера, которой не было, или Почему зритель так и не увидел фильм по произведениям Василя Быкова // Народная воля. 1999. 2 сак.

Григорий Бородулин (поэт):

«Это элитарный белорусский фильм. Герои пожертвовали собой, а не так, как по методу партизанско-советской войны. Сколько убитых стоило Белоруссии за Кубэ. Хатынь тоже. Деревня — на одну лихую вылазку партизан. Фильм белорусский, с белорусскими актерами». [...]

[...] *Ефросинья Бондарева*[1]*:*

«Фильм "На Черных лядах" опоздал. Весь этот период уже освещен. Это антирыночный фильм, закадровый голос — это антикиношный стиль. Выбор актеров не лучший. Есть недоверие к материалу: казалось бы, фильм должен волновать, но на деле остается тоскливость»[2].

У справе фільма «На Чорных лядах», якая захоўваецца ў фондзе к/с «Беларусьфільм», адсутнічае не толькі гэтая стэнаграма, але ўвогуле ўсе стэнаграмы абмеркавання карціны. Адзіны афіцыйны дакумент, які ёсць у гэтай справе і які дае нейкае ўяўленне пра гісторыю стварэння фільма, — гэта загад тагачаснага генеральнага дырэктара «Беларусьфільма» Ю. Цвяткова:

«...Члены сценарно-редакционной коллегии и дирекция студии 3 апреля 1995 г. посмотрели смонтированный материал, признали, что он снят на низком художественном уровне, и не приняли редакцию фильма. Съемочной группе было отказано в озвучании фильма, к автору сценария В. Быкову обратились с предложением доработать диалоги и закадровый текст. После выполненных работ, сокращений и перемонтажа картины редактор фильма М. Шелехов сообщил о проведенных исправлениях, которые все же не дали удовлетворительных результатов. По решению дирекции 19 апреля 1995 г. фильм был показан народному артисту СССР В. Турову, после чего были проведены дополнительные работы по озвучанию фильма и его перезапись[3]. 18 мая 1995 г. фильм на 2-х пленках при участии съемочной

---

[1] Бондарава Ефрасіння Леанідаўна (1922–2011) — беларускі кінакрытык; заслужаны дзеяч навукі БССР (1977); доктар філалагічных навук (1977); прафесар (1975). Пазней Е. Бондарава гаварыла інакш: «И вот теперь лежит на полке кинодрама "На Чорных лядах". Спорная по концепции, но одна из сильнейших, созданных за последнее время на киностудии и в творчестве В. Пономарева, картин. Неужели ее судьба не экранная? Не разумнее ли говорить о драматических страницах истории не только на уровне идейно-политическом, но и эстетическом?» (Белорусское игровое кино на пороге XXI века: реальность и перспектива: сборник материалов научно-практической конференции Белорусского союза кинематографистов, Министерства культуры Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Национальной киностудии «Беларусьфильм». Минск, 1–20 декабря 1999 года. Минск, 2000. С. 18).

[2] Ростиков Е. Кино, вино и политиканствующие поэты, или Куда уходят деньги, отпущенные на развитие белорусской культуры // Знамя юности. 1995. 23 авг.

[3] Па сведчанні ж В. Панамарова, «Виктор Туров, будучи в то время художественным руководителем киностудии, по просьбе Юрия Цветкова,

групы и автора сценария был показан заместителю министра В. Рылатко. При этом приемо-сдаточный акт руководству Министерства не предъявлялся. После выполнения очередных рекомендаций, которые группа учла лишь частично, общий художественный уровень фильма “На Черных лядах” не изменился. При сдаче фильма членами Художественного совета и представителями Министерства культуры и печати РБ были высказаны серьезные замечания по редакции фильма, закадровым монологам, музыкальному оформлению в целом, по творческой работе режиссер-постановщика В. Пономарева»[1].

Адзначым таксама, што сам В. Быкаў гаварыў: «Фильм сделан в духе моей прозы»[2]. У той жа час некаторыя адыёзныя публіцысты называлі ідэю сцэнарыя «насквозь ложной, антиисторической, а главное — аморальной»[3]. Тым не менш, што тычыцца вынікаў прыгаданага вышэй пасяджэння пашыранага мастацкага савета, дык фільм «На Чорных лядах» быў усё ж прыняты, але на шырокі экран не выйшаў. Пра яго далейшы лёс распавядаў на старонках газеты «Народная воля» В. Панамароў:

«Казалось бы, все было готово к премьере. [...] 4 декабря я вдруг узнаю: премьера фильма отменяется. [...] ...копия фильма исчезла из фильмотеки студии (*единственная копия!*). [...]

Фильм уже полтора года лежит на полке. [...] Известно лишь то, что еще в прошлом году в срочном порядке была изготовлена видеокопия фильма и отправлена куда-то «наверх». Удалось лишь провести премьеру в марте этого года в Доме литератора и организовать просмотр в Союзе кинематографистов. [...]

Кстати, до настоящего времени нет ни одного официального документа, запрещающего фильм, а, наоборот, есть официальный акт о приемке его Министерством культуры. Есть удостоверение Государственного регистра, разрешающее показ фильма везде [...].

бывшего в то время генеральным директором киностудии, посмотрел смонтированный и озвученный материал и категорически запретил осуществлять любое вмешательство в картину и вообще приближаться ни к фильму, ни к режиссеру. Как он тогда сказал: “...На пушечный выстрел!”. Кроме того, Виктор Туров еще сказал, что фильм “На Чорных лядах” один из самых сильных на киностудии за последнее время и его можно посылать на любой международный кинофестиваль» (З ліста В. Панамарова да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі без даты. 2010 г. Машынапіс. Копія. Архіў В. Быкава).

[1] З загада № 274 генеральнага дырэктара к/с «Беларусьфільм» Ю. Цвяткова ад 31 мая 1995 г. Машынапіс. Копія. БДАМЛМ. Ф. 112. Воп. 3. Адз. зах. 1824. Арк. 83–84.

[2] Букчин С. «Вся наша история соткана из трагизма» / инт. с В. Быковым // Народная воля, 1998, 23 мая.

[3] Ростиков Е. Кино, вино и политиканствующие поэты, или Куда уходят деньги, отпущенные на развитие белорусской культуры // Знамя юности. 1995. 23 авг.

Давление на фильм, на его авторов началось еще тогда, когда он готовился к речевому озвучанию. [...]

По инициативе главного редактора киностудии Михаила Шелехова, кстати, редактора нашего фильма, вдруг возникает вопрос о срочном приглашении из Москвы автора-доработчика сценария взамен Василя Быкова, который должен быстренько переписать все то, что написал Быков; опытного режиссера, опять же из первопрестольной, взамен Валерия Пономарева [...]; немедленно заменить монтажера Людмилу Микуло [...]. И, конечно же, никакой оригинальной музыки, кстати, написанной специально для нашего фильма известным белорусским композитором Сергеем Бельтюковым [...].

В день сдачи фильма в просмотровом зале вдруг появляются какие-то неизвестные люди. [...] Накануне Василь Быков и я были предупреждены о том, что с некоторыми членами худсовета проведена соответствующая разъяснительная работа и им популярно и четко была определена задача: во что бы то ни стало фильм “положить на полку” под любым, как говорится, “соусом”. Причем попутно прозрачно намекая на то, что такое “пожелание” якобы идет с “самого” верха, потому что там, на “самом” верху, в упор “не любят” Василя Быкова!

Конечно же, фильм был воспринят неоднозначно. [...]

Вот два самых главных обвинения.

Первое. Фильм вреден с идеологической точки зрения, так как все события, происходящие в нем, поступки героев чужды для белорусского народа, искажают дух и природу белоруса, который приучен быть покорным и смиренным [...].

Второе. Авторы своим фильмом вбивают клин во взаимоотношения между Беларусью и Россией. Когда я спросил, в чем же это выражается конкретно, последовал ответ: у вас в фильме все белорусы разговаривают на белорусском языке, а некоторые персонажи почему-то на русском и к тому же один из них и вовсе отрицательный. Тогда я сказал, что белорусы разговаривают на своем родном белорусском языке, потому что они белорусы, русские говорят на своем языке, потому что они русские [...]. И потом, на мой взгляд, никто и никогда никакого клина между белорусами и русскими не вобьет! А вот сама система власти и отношение тех, кто стоит у власти, к своим народам — это совсем другой вопрос! [...]

Наконец-то, через полтора года после принятия картины, была достигнута договоренность о премьере и с замминистра культуры Юрием Николаевичем Цветковым, и с руководством киностудии, и с Белкиновидеопрокатом, и с директором кинотеатра “Москва” Л. В. Мухой. Условились — премьера состоится 22 октября.

Но... Через 2–3 дня мне звонит Муха и говорит: надо перенести премьеру на более поздний срок, так как в кинотеатре идет какой-то американский боевик [...]. Перенесли премьеру на 8 ноября.

Проходит несколько дней, и вдруг Муха сообщает мне, что на 8 ноября не получается, мол, в кинотеатре начался ремонт и надо пере-

нести премьеру на один из дней где-то после 24 ноября. Договорились на 6 декабря. [...]

В промежутках между этими договорами-переговорами мне позвонили домой и довольно вежливо поинтересовались: правда ли, что я бегаю по инстанциям и проталкиваю свои фильмы “Тутэйшыя” и “На Чорных лядах”? Я ответил: “Правда”. Тогда тот же голос сказал: “А может, уже хватит?”. И в трубке послышался сплошной гудок.

А через несколько дней раздались те самые два выстрела [...]. Скажу только: выстрелы были не из боевого оружия, а скорее всего из газово-дробового. Брали на испуг. А когда и этот номер не прошел — за день до премьеры исчезла копия фильма.

Я как-то случайно обратил внимание на хронологию переноса даты премьеры. [...] Сопоставив эти даты с датами переноса референдума[1], нетрудно прийти к выводу: как только переносилась дата проведения референдума, так тут же переносилась и дата премьеры фильма. Кто-то очень и очень сильно страховался! Как бы чего не вышло! [...]

Я уверен [...], что копия фильма “На Чорных лядах” никуда не исчезла, ее никто не крал! Просто кому-то очень было нужно, чтобы премьера не состоялась, чтобы фильм не увидели зрители. [...]

Или — это очередной удар по Василю Быкову, чья гражданская и творческая позиция не устраивает тех, кто там, “наверху”.

От редакции. [...] ...кто же этот “всемогущий” чиновник, под дудку которого пляшут и в Минкультуре, и на киностудии, и в обычных кинотеатрах? Если верить той информации, которую получила газета, то им является печально известный заместитель главы Администрации президента В. Заметалин. Что ж, “сусловы” в Беларуси, видимо, не перевелись...»[2].

Рэцэнзіі: «На Чорных лядах»: Молочко Е. Василь Быков — классик. Но фильм по его рассказу обречен на неуспех // Народная газета. 1995. 4 ліп.; Мікалайчанка А. «На Чорных лядах» у чорныя дні... // Наша слова. 1995. № 35; Авдеев И. Скандал с двойным дном // Свободные новости плюс. 1996. 19–26 июля; Гісторыя кінамастацтва Беларусі: у 4 т. / Л. М. Зайцава і інш.; навук. рэд. Л. М. Зайцава. Мінск: Беларус. навука, 2004. Т. 4: 1986–2003 гг. С. 181–185.

Сяргей Шапран

---

[1] Відаць, рэферэндума па пытаннях: аб прыняцці новай рэдакцыі Канстытуцыі 1994 г. са зменамі і дапаўненнямі, аб пераносе Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь на 3 ліпеня і інш.

[2] Пономарев В. Блокада // Народная воля. 1996. № 121.

ЗМЕСТ

Третья ракета
Киносценарий 5

Альпийская баллада
Литературный сценарий 76

Западня
Л. Мартынюк, при участии В. Быкова. Сценарий короткометражного фильма по мотивам повести «Западня» 139

Двое в ночи
Киносценарий по повести «Сотников» 160

Волчья стая 211

Долгие версты войны 252

Ушедшие в вечность (Обелиск)
В. Быков, Р. Викторов. Киносценарий 352

Его батальон
В. Быков, при участии А. Карпова. Сценарий двухсерийного художественного фильма 400

На Чорных лядах
В. Панамароў, пры ўдзеле В. Быкава. Літаратурны сцэнарый мастацкага фільма паводле апавяданняў «На Чорных лядах» і «Перад канцом» 507

Каментары 539

Быкаў, В.
Б95 Поўны збор твораў : у 14 т. / Васіль Быкаў. — Мінск : Кнігазбор, 2012. — Т. 9 : Кінасцэнарыі. — 684 с.
ISBN 978-985-7007-44-8.

Гэта першы ў гісторыі Поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава (1924–2003).

Дзявяты том склалі кінасцэнарыі 1962–1994 гг.: «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Западня» (кінасцэнарый Л. Мартынюка, пры ўдзеле В. Быкава), «Двое в ночи», «Волчья стая», «Долгие версты войны», «Ушедшие в вечность (Обелиск)» (кінасцэнарый В. Быкава, Р. Віктарава), «Его батальон» (кінасцэнарый В. Быкава, пры ўдзеле А. Карпава), «На Чорных лядах» (кінасцэнарый В. Панамарова, пры ўдзеле В. Быкава).

УДК 821.161.3-2
ББК 84(4Беи)-6

Літаратурна-мастацкае выданне

ВАСІЛЬ БЫКАЎ

Поўны збор твораў
у чатырнаццаці тамах

Том 9

Кінасцэнарыі

Адказны за выпуск *Генадзь Вінярскі*
Рэдактар *Алесь Пашкевіч*
Набор *Сюзанны Паўкштэлы*
Вёрстка *Ларысы Ваўчок*
Карэктары *Юлія Аверчанка, Алена Шагун*

Падпісана да друку 4.01.2012. Фармат 84x108 1/32.
Папера афсетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 35,91.
Ул.-выд. арк. 30,35. Наклад 500 ас. Зак. 919.

ПУП «Кнігазбор».
Ліцэнзія № 02330/0003924 ад 08.04.11.
Вул. Я. Лучыны, 38-93, 220112, Мінск.
Тэл./факс (017) 207-62-33,
тэл. (029) 772-19-14, 682-83-86.
E-mail: bkniha@tut.by

Пры ўдзеле ТАА «Выдавецтва “Время”».
Вул. Пятніцкая, 25, 115326, Масква, Расія.

ISBN 978-985-7007-44-8

Надрукавана з арыгінала-макета заказчыка
ў ААТ «Аргбуд».
Ліцэнзія № 02330/0494197 ад 03.04.09.
Вул. Берасцянская, 16, 220034, Мінск.